НОВЫЙ МИР

7

1974

НОВЫЙ МИР 7 1974

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания L № 7 Июль, 1974 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ — **Поют озера, стихи** 3

ВАСИЛЬ БЫКОВ — **Волчья стая,** повесть. Перевел с белорусского автор 5

РИММА КАЗАКОВА — **Учась у света и тени,** стихи 81

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ: **Константы Ильдефонс Галчинский** — Песни, Восемнадцать желудей, Панна Венус. **Ярослав Ивашкевич** — Счастье, Взлет, Август, Зеленый сад среди зимы, Омела, Закопане, Птицы. Перевели Александр Големба, В. Британишский, Н. А. Астафьева 84

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — **Свет в августе,** роман. Перевел с английского В. Голышев 95

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ — **Добрая осень** 175

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

О. ОРЕСТОВ — **Другая жизнь и берег дальний** (Об англичанах, их нравах и привычках) 205

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ЯКИМЕНКО — **Критерии оценок.** Методологические проблемы современной литературной критики 230

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

А. ЖЕЛОХОВЦЕВ — **Погоня за Конфуцием** 250

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 256

В. Елисеева. Лично ответствен.— **Елена Клепикова.** Север сокровенный.— **Л. Антопольский.** Нет контакта.— **Рейнер Розенберг.** О марксистском наследии — современно. Перевел с немецкого П. Френкель. — **Л. Лазарев.** Это печаталось в газете.

Политика и наука 275

Л. Леонтьев. Троянский конь антикоммунизма. — **И. Кон.** Этнос и этнография.

КОРОТКО О КНИГАХ — Ник. Кружков. — Альберт Беляев. Выше нас — одно море. Рассказы и повести. ◆ Олег Смирнов. — Пограничники. Сборник. ◆ В. Соколюк. — Яннис Рицос. Избранное. ◆ И. Подольская. — А. Белкин. Читая Достоевского и Чехова 284

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 287

© «Новый мир», 1974.

ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ

★

ПОЮТ ОЗЕРА

Ты окружен зеленою грядой.
Ты опьянен сосновыми лесами.
Ты оглушен весеннею водой.
Ты ослеплен родными небесами.
Как бурно испаряется вода!
Прогрелись неглубокие озера
и вот запели! И такого хора
не слышал ты нигде и никогда.
Поют озера, улетая в небо.
И только влажный грунт на дне ложбин
напомнит в пору созреванья хлеба,
как это пенье слушал ты один.
Как ликовала бедная природа,
как в старых руслах полного Днепра,
спасаясь от мазута и азота,
уже цвела лягушечья икра.
В лицо дышала свежестью долина.
Подсочный бор живицей истекал.
И сапоги засасывала глина,
как будто край родной не отпускал.
И, глядя в небо, от грачей рябое,
лес выдыхая и вдыхая луг,
ты позабыл, что все вокруг родное,
ты ликовал — живое все вокруг!

ПОДЕНКА

Где золотая бабочка-поденка?
Бывало, в детстве в речке голубой
язь на струе выплескивался звонко
и белый дождь шумел над головой.

Как будто свет из глины, из земли
поденок золотистые спирали
просачивались в небо, и текли,
и на закате дружно умирали.

На город быстро надвигалась тень,
и даже солнце меркло на мгновенье,
и в детском сердце зрело сожаленье —
к столетию приравнивался день!

И долго-долго их несла река.
На перекатах рыбы жировали,
и в небе птицы сытые стояли
и не могли подняться в облака.

С тех пор прошло всего лишь десять лет.
И память детства спрашивает звонко:
где золотая бабочка-поденка?
Из мокрой глины не пробился свет.

Она осталась в мае незабвенном —
возможно, щелочь проточила ход
и растеклась по жилам сокровенным
подземных рек и родниковых вод.

Уже рыболовецкая артель
сокращена. И на воде ни всплеска.
И пароходы огибают мель
там, где до дна не доставала леска.

Мы проживем без бабочки речной,
но как бы год не приравнять к минуте.
Взлетает чайка с траурной каймой —
опять крыло испачкала в мазуте.

***

На лето уже не надейся.
Ольха растеряла листву.
Очнешься в плену чернолесья —
и зябко смотреть в синеву.
Остыла грибная охота.
Последняя радость — работа!

Невесело возле реки.
Фарватер забили пески.
В лиманы ушли судаки.
На юг улетели чирки.
С рябины сошла позолота.
Последняя радость — работа!

Ты скажешь — знакомая нота,
но я повторяюсь не зря.
Синица поет без расчета.
Задаром восходит заря.
Промерзли родные болота.
Последняя радость — работа!

ВАСИЛЬ БЫКОВ

★

ВОЛЧЬЯ СТАЯ

Повесть

1

С трудом протиснувшись в людском потоке через распахнутые железные ворота, Левчук очутился на просторной, запруженной автомобилями привокзальной площади. Здесь толпа пассажиров из только что пришедшего поезда рассыпалась в разных направлениях, и он замедлил свой и без того не слишком уверенный шаг. Он не знал, куда направиться дальше — по уходящей от вокзала улице в город или к двум желтым автобусам, поджидавшим пассажиров на выезде с площади. В нерешительности остановившись, опустил на горячий, в масляных пятнах асфальт не новый, с металлическими уголками чемоданчик и осмотрелся. Пожалуй, надо было спросить. В кармане у него лежал помятый конверт с адресом, но адрес он знал на память и теперь присматривался, к кому бы из прохожих ему обратиться.

В этот предвечерный час людей на площади было немало, но все проходили мимо с видом такой неотложной поспешности и такой занятости, что он долго и неуверенно вглядывался в их лица, прежде чем обратиться к такому же, наверно, как сам, немолодому человеку с газетой, которую тот развернул, отойдя от киоска.

— Скажите, пожалуйста, как попасть на улицу Космонавтов? Пешком или надо ехать автобусом?

Человек поднял от газеты не очень довольное, как Левчуку показалось, лицо и сквозь стекла очков строго посмотрел на него. Ответил не сразу: то ли вспоминал улицу, то ли присматривался к незнакомому, явно нездешнему человеку в сером примятом пиджаке и синей рубашке, несмотря на жару застегнутой до воротника на все пуговицы. Под этим испытующим взглядом Левчук пожалел, что не завязал дома галстук, который несколько лет без надобности висел в шкафу на специально для того вбитом гвоздике. Но он не любил да и не умел завязывать галстуки и оделся в дорогу так, как одевался дома по праздникам: в серый, почти еще новый костюм и первый раз надетую, хотя и давно уже купленную сорочку из модного когда-то нейлона. Здесь, однако, все были одеты иначе — в легкие, с короткими рукавами тенниски или по случаю выходного, наверно,— в белые рубашки с галстуками. Но не большая беда, решил он, сойдет и попроще — не хватало ему забот о своем внешнем виде...

— Космонавтов, Космонавтов... — повторил человек, вспоминая улицу, и оглянулся.— Вон садитесь в автобус. В семерку. Доедете до площади, там перейдете на другую сторону, где гастроном, и пересядете на одиннадцатый. Одиннадцатым проедете две остановки, потом спросите. Там пройти метров двести.

— Спасибо,— сказал Левчук, хотя и не очень запомнил этот не простой для него маршрут. Но он не хотел задерживать, видно, занятого своими делами человека и только спросил: — Это далеко? Километров пять будет?

— Каких пять? Километра два-три, не больше.

— Ну, три можно и пешком,— сказал он, обрадовавшись, что нужная ему улица оказалась ближе, чем ему показалось сначала.

Не спеша он пошел по тротуару, стараясь своим чемоданчиком не очень мешать прохожим. Шли по двое, по трое, а то и небольшими группками — молодые и постарше, все заметно торопясь и почему-то все навстречу ему, в сторону вокзала. Возле попавшегося ему на пути продуктового магазина народу было и еще больше, он взглянул в блестящие стекла витрины и удивился: у прилавка, словно пчелиный рой, гудела плотная толпа покупателей. Все это было похоже на приближение какого-то праздника или городского события, он прислушался к обрывкам торопливых разговоров рядом, но что-либо понять не смог и все шел, пока не увидел на огромном щите оранжевое слово «футбол». Побойдя ближе, прочитал объявление о намеченной на сегодня встрече двух футбольных команд и с некоторым удивлением понял причину оживления на городской улице.

Футболом он мало интересовался, даже по телевизору редко смотрел футбольные матчи, считая, что футбол может увлекать ребятишек, молодежь да тех, кто в него играет, а для пожилых и здравомыслящих — занятие это малосерьезное, детская забава, игра.

Но горожане, наверно, относились к этой игре иначе, и теперь по улице трудно было пройти. Чем меньше времени оставалось до начала матча, тем заметнее торопились люди. Переполненные автобусы едва ползли возле тротуаров, из незакрытых дверей гроздьями свисали пассажиры. Зато в обратном направлении большинство автобусов катило пустыми. Он ненадолго остановился на углу улицы и молча поудивлялся этой особенности городского быта.

Потом он долго и не спеша шел по тротуару. Чтобы не надоедать прохожим расспросами о дороге, посматривал на углы домов с названиями улиц, пока не увидел на стене одного из них синюю табличку с долгожданными словами «Ул. Космонавтов». Номера, однако, тут не было, он прошел к следующему зданию и убедился, что нужный дом еще далеко. И он пошел дальше, приглядываясь по дороге к жизни большого города, в котором никогда прежде не был и даже не предполагал быть, если бы не обрадовавшее его письмо племянника. Правда, кроме адреса, племянник ничего больше не сообщил, даже не разузнал, где и кем работает Виктор, что у него за семья. Но о чем мог разузнать студент-первокурсник, который случайно наткнулся на знакомую фамилию в газете и по его просьбе раздобыл в паспортном столе адрес. Вот теперь сам обо всем и узнает — за этим ехал.

Прежде всего ему радостно было сознавать, что Виктору удалось пережить войну, после которой судьба, надо полагать, отнеслась к нему благосклоннее. Если живет на такой видной улице, то, наверно, не последний человек в городе, может, даже какой-либо начальник. В этом смысле самолюбие Левчука было удовлетворено, он чувствовал, что тут ему почти повезло. Хотя он понимал, конечно, что достоинство человека не определяется только его профессией или должностью — важен еще ум, характер, а также его отношение к людям, которые в конце концов и решают, чего каждый стоит.

Присматриваясь к огромным, многоэтажным, из светлого кирпича фасадам со множеством балконов, заставленных у кого чем — лежаками, раскладушками, старыми стульями, легкими столиками и ящиками, разным домашним хламом, опутанным бельевыми веревка-

ми, — он старался представить себе его квартиру, тоже, конечно, с балконом где-нибудь на верхнем этаже дома. Он считал, что квартира тем лучше, чем выше она расположена — больше солнца и воздуха, а главное — далеко видать, если не до конца, то хотя бы до половины города. Лет шесть назад он гостил у сестры жены в Харькове, и там ему очень понравилось наблюдать по вечерам с балкона, хотя тот и был не очень высоко — на третьем этаже десятиэтажного дома.

Интересно все же, как его примут...

Сперва, конечно, он постучит в дверь. Не очень чтоб громко и настойчиво, не кулаком, а лучше кончиком пальца, как перед отъездом наставляла его жена, и, когда откроется дверь, отступит на шаг назад. Кепку, пожалуй, лучше снять раньше, может, еще в подъезде или на лестнице. Когда ему откроют, он сперва спросит, здесь ли живет тот, кто ему нужен. Хорошо если бы открыл сам Виктор, наверно, он бы его узнал, хотя и прошло тридцать лет — время, за которое мог до неузнаваемости измениться любой. Но все равно, наверно, узнал бы. Он хорошо помнил его отца, а сын должен хоть чем-нибудь походить на отца. Если же откроет жена или кто из детей... Нет, пожалуй, дети еще малые. Хотя вполне могут открыть и дети. Если ребенку пять или шесть лет, почему бы не открыть дверь гостю. Тогда он спросит хозяина и назовет себя.

Тут, чувствовал он, наступит самое важное и самое трудное. Он уже знал, как это радостно и тревожно встретить давнего своего знакомого. И воспоминание, и удивление, и даже какое-то чувство неловкости от того странного открытия, что ты знал и помнил вовсе не этого стоящего перед тобой незнакомого человека, а другого, навечно оставшегося в далеком твоем прошлом, воскресить которое не в состоянии никто, кроме твоей не мутнеющей с годами памяти... Потом его, наверно, пригласят в комнату и он переступит порог. Само собой, квартира у них хорошая — блестящий паркет, диваны, ковры,— не хуже чем у многих теперь в городе. У порога он оставит свой чемоданчик и снимет ботинки. Обязательно надо не забыть снять ботинки, говорят, в городе теперь повелся такой обычай, чтобы обувь снимать у порога. Это дома он привык в кирзе или резине переться прямо от порога к столу, но здесь он не дома. Значит, перво-наперво снять ботинки. Носки у него новые, купленные перед поездкой в сельмаге за рубль шестьдесят шесть копеек, с носками конфуза не будет.

Потом пойдет разговор, конечно, разговор будет не легкий. Сколько он ни думал, не мог представить себе, как и с чего они начнут разговор. Но там будет видно. Наверно, его пригласят за стол, и тогда он вернется за своим чемоданчиком, в котором всю дорогу тихонько булькает большая бутылка с заграничной наклейкой и дожидается своего часа кое-какой деревенский гостинец. Хотя и в городе теперь сытно, но кольцо деревенской колбасы, баночка меду да пара копченых лещей собственного улова, наверно, окажутся не лишними на хозяйском столе.

Задумавшись, он прошел дальше чем следовало и вместо седьмого десятка увидел на углу цифру восемьдесят восемь. Немного подосадовав на себя, повернул обратно, быстрым шагом миновал скверик, здание с огромной, на целый этаж вывеской «Парикмахерская» и увидел на углу номер семьдесят шесть. Минуту он в недоумении глядел на него, не в состоянии понять, куда же девался целый десяток домов, как услышал вежливый голосок рядом:

— Дядя, а какой вам дом надо?

Сзади на тротуаре стояли две девочки — одна, белоголовая, лет восьми, помахивая вокруг себя сеткой с пакетом молока, простодушно рассматривала его. Другая, чернявенькая, ростом чуть выше подружки,

в коротких мальчишечьих штанишках, вылизывала из бумажки мороженое, несколько сдержаннее наблюдая за ним.

— Мне — семьдесят восьмой. Не знаете, где такой?

— Семьдесят восьмой? Знаем. А какой корпус?

— Корпус?

О корпусе он слышал впервые, на корпус он просто не обратил внимания, запомнив лишь номера дома и квартиры. Какой еще может быть корпус?

Чтобы убедиться, что не ошибается, он опустил на тротуар тяжеловатый-таки свой чемоданчик и достал из внутреннего кармана пиджака потертый конверт с понадобившимся теперь адресом. Действительно, после номера дома была еще буква К и цифра 3, а потом уже значился номер квартиры.

— Вот, кажется, три. Корпус три, так кажется.

Девочки, разом заглянув в его бумажку, подтвердили, что корпус действительно третий, и сообщили, что они знают, где этот дом.

— Там Нелька-злая живет, это за грибком-песочницей,— сказала чернявенькая с мороженым.— Мы вам покажем.

С некоторой неловкостью он пошел следом за ними. Девочки обошли угол дома, за которым оказался огромный не очень еще обжитой двор в окружении нескольких пятиэтажных домов, отделенных друг от друга вытоптанными площадками, полосами асфальта и рядами молодых, недавно посаженных деревцев. На скамейках возле подъездов судачили женщины, где-то между домами бухал волейбольный мяч, и по асфальту гоняли на велосипедах мальчишки. Всюду бегала, горланила, суетилась детвора. Девочки шли рядом, и меньшая спросила, заглядывая ему в лицо:

— Дядя, а почему у вас другой руки нет?

Подружка понимающе перебила ее тихим голосом:

— Ну что ты спрашиваешь, Ирка? Дядину руку на войне оторвало. Правда, дядя?

— Правда, правда. Догадливая ты, молодец.

— У нас во дворе живет дядя Коля, так у него только одна нога. Другую у него немцы оторвали. Он на маленькой машине ездит. Маленькая такая машинка, чуть больше мотоцикла.

— А моего дедушку фашисты на войне убили,— печально вздохнув, сообщила подружка.

— Они хотели уничтожить всех, но наши солдаты не дали. Правда, дядя?

— Правда, правда,— сказал он, с улыбкой слушая их лепет о том, что ему было так близко и знакомо. Меньшая тем временем, забежав вперед, повернулась к нему, продолжая раскручивать возле себя сетку с пакетом.

— Дядя, а у вас есть медали? У моего дедушки было шесть медалей. На карточке видела.

— Шесть это хорошо,— сказал он, избегая ответа на ее вопрос.— Значит, герой был твой дедушка.

— А вы? Вы тоже герой? — забавно жмурясь от солнца, допытывалась меньшая.

— Я? Да какой я герой! Я не герой. Так...

— Вон этот дом,— показала чернявая через зеленый ряд молодых липок на такой же, как и все тут, пятиэтажный дом из серого силикатного кирпича.— Третий корпус.

— Ну, спасибо, девчатки. Большое спасибо! — сказал он почти растроганно. Девочки обе разом охотно пропели свое п о ж а л у й с т а и побежали по дорожке в сторону, а он, вдруг заволновавшись, замедлил шаг. Значит, уже приехал! Почему-то захотелось отодвинуть

на какое-то после и этот дом и предстоящую встречу с тем, о ком он думал, вспоминал, не забывал все эти долгие тридцать лет. Но он преодолел в себе это неуместное теперь малодушие — коль уж приехал, то надо было идти, хотя бы взглянуть одним глазом, поздороваться, убедиться, что не ошибся, что это именно тот, который столько для него значил.

Сначала он подошел к углу дома и сличил номер в бумажке с тем, что оранжевой краской был выведен на шершавой стене. Но девочки не ошиблись, действительно на стене значилось К-3, он спрятал письмо в карман, тщательно застегнул его на пуговицу, взял чемоданчик. Теперь надо было разыскать квартиру, что, пожалуй, тоже не просто в такой громадине на сотню или больше квартир.

Не очень решительно, оглядываясь по сторонам, он направился к первому подъезду, согнав по пути серую кошку, лениво разлегшуюся возле клумбы. Прежде чем открыть дверь, перечитал на ней сообщение о номере почтового индекса, о том, что, уходя из квартиры, следует выключать электроприборы, ознакомился с напечатанным на папиросной бумажке объявлением о собрании квартиросъемщиков по поводу благоустройства дворовой территории. Выше над дверью висела табличка с указанием подъезда и номерами квартир — от первой до двадцатой, следовательно, нужной ему квартиры здесь не было. Поняв это, он прошел вдоль дома, миновал подъезд номер два и свернул в третий.

На скамейке у самой двери сидели две древние, одетые, несмотря на жару, во все теплое старухи, одна даже в валенках на ногах, другая, державшая в руках палку, сосредоточенно водила ею по асфальту. Прервав свою тихую беседу, они внимательно пригляделись к нему, очевидно ожидая вопроса. Но он ни о чем не спросил, он уже знал, где и что надо искать, и с некоторой неловкостью прошел мимо, вглядываясь в табличку над дверью. Кажется, на этот раз он не ошибся, нужная ему квартира была здесь. Почувствовав, как дрогнуло сердце в груди, он открыл ногой дверь и вошел в подъезд.

На первой площадке было четыре квартиры — от сороковой до сорок четвертой,— и он не спеша пошел выше, миновал синий ящик с рядами занумерованных отделений, из которых торчали уголки газет. Присмотревшись к номерам, он понял, что пятьдесят вторая должна быть этажом выше.

На очередной лестничной площадке пришлось перевести дыхание: с непривычки к крутому подъему одолела одышка. К тому же он не мог отделаться от странной, все время донимавшей его неловкости, словно он шел с обременительной просьбой или был виноват в чем-то. Конечно, как он ни думал, как ни успокаивал себя, а понимал, что волноваться еще придется. Наверно, было бы лучше эту встречу устроить несколькими годами раньше, да разве он что-нибудь знал о нем раньше?

Дверь пятьдесят второй оказалась на площадке слева, как и у всех тут, она была окрашена масляной краской, с аккуратным половичком у порога, номером сверху. Поставив у ног чемоданчик, он передохнул и не сразу, преодолевая в себе нерешительность, тихо постучал согнутым пальцем. Потом, выждав, постучал снова. Показалось, где-то раздались голоса, но прислушавшись, он понял, что это звучало радио, и постучал еще. На этот его стук открылась дверь соседней квартиры.

— А вы позвоните,— сказала с порога женщина, торопливо вытирая передником руки. Пока он недоуменно осматривал дверь в поисках звонка, она переступила порог и сама нажала едва заметную на дверном косяке черную кнопку. За дверью трижды раздался пронзительный треск, но и после этого пятьдесят вторая не открылась.

— Значит, нет дома,— сказала женщина.— С утра тут малая бегала да вот что-то не видно. Наверно, пошли куда в город.

Обескураженный неудачей, он устало прислонился к перилам. Как-то он не подумал раньше, что хозяев может не оказаться дома, что они могут куда-либо пойти или уехать. Впрочем, понятное дело. Разве он сам весь день сидит дома? Даже и теперь, когда вышел на пенсию.

Но, видно, делать тут было нечего — не ждать же бог знает сколько на этой площадке,— и он отправился вниз. Соседка перед тем как закрыть свою дверь крикнула сзади:

— Да футбол же сегодня! Как бы не на футболе они.

Может, и на футболе или еще где. Мало ли куда можно пойти в городе в погожий выходной день — в парк, кино, ресторан, театр; наверно, интересных мест тут хватает, не то что в деревне. Уж не надеялся ли он, дурак, что они тридцать лет будут сидеть дома и ждать, когда он заявится к ним в гости?

Он протопал вниз шесть крутоватых лестничных маршей и вышел из подъезда. Старухи при его появлении снова прервали свою беседу и снова с преувеличенным интересом уставились на него. Но в этот раз он не почувствовал прежней неловкости и остановился на краю дорожки, размышляя, как поступить дальше. Наверное, все-таки надо подождать. Тем более что после долгой ходьбы хотелось присесть, вытянуть ноги. Осмотревшись, он заметил в глубине двора в тени какого-то кирпичного строения свободную скамейку и медленным шагом утомленного человека направился к ней.

Поставив на скамейку чемоданчик, он сел сам и с наслаждением вытянул натруженные ноги. Тут он отругал себя за то, что послушал жену и надел новые ботинки — лучше бы ехать в старых, разношенных. Теперь неплохо было бы их совсем снять с ног, но, оглянувшись, он постеснялся: вокруг были люди, в песочнице под деревянным грибком играли дети. Невдалеке у такой же, как эта, постройки — гаража двое мужчин возились возле разобранного с поднятым капотом «Москвича». Отсюда ему хорошо был виден подъезд со старухами и было удобно наблюдать за прохожими — казалось, он сразу узнает хозяина пятьдесят второй, как только тот появится у своего подъезда.

И он решил никуда не ходить, дожидаться тут. Сидеть было, в общем, покойно, не жарко в тени, можно было не торопясь наблюдать жизнь нового городского квартала, который он видел впервые и в котором ему многое нравилось. Правда, мысли его то и дело возвращались к его давнему прошлому, к тем двум партизанским дням, которые в конце концов и привели его на эту скамейку. Теперь ему не было надобности припоминать, напрягать свою немолодую уже память, все, что произошло тогда, помнилось до мельчайших подробностей, так если бы это случилось вчера. Три десятка лет, минувших с тех пор, ничего не приглушили в его цепкой памяти, наверно потому, что все, пережитое им в те двое суток, оказалось хотя и самым трудным, но и самым значительным в его жизни.

Множество раз он передумывал, вспоминал, переосмысливал события тех дней, каждый раз относясь к ним по-разному. Что-то вызвало в нем запоздалое чувство неловкости, даже досады за себя тогдашнего, а что и составляло предмет его скромной человеческой гордости. Все-таки это была война, с которой не могло сравниться ничто последующее в его жизни, а он был молод, здоров и особенно не задумывался над смыслом своих поступков, которые в большинстве сводились лишь к одному — убить врага и самому увернуться от пули.

2

Тогда все шло само по себе — трудно, тревожно, голодно, они пятые сутки отбивались от наседавших карателей, вымотались до предела, и Левчуку очень хотелось спать. Но только он задремал под елкой, как кто-то его окликнул. Голос этот показался знакомым, и сон его с той минуты ослаб, готовый исчезнуть совсем. Но не исчез. Сон был такой неотвязный и с такой силой владел организмом, что Левчук не проснулся и продолжал лежать в зыбком состоянии между забытьем и явью. В полусонное его сознание то и дело врывалось ощущение тревожной лесной реальности — шума ветвей в кустарнике, какого-то разговора поодаль, звуков негромкой, хотя и недалекой стрельбы, которая не затихала вокруг с первого дня блокады. Однако Левчук упорно обманывал себя, что ничего не слышит, и спал, ни за что на свете не желая проснуться. Ему надо было поспать пару часов или хотя бы час, кажется, он впервые в жизни заимел такое право на сон, которого теперь, кроме немцев, никто не мог лишить его в этом лесу — ни старшина, ни ротный, ни даже сам командир отряда.

Левчук был ранен.

Ранило его под вечер на Долгой Гряде, вскоре после того, как рота отбила четвертую за день атаку и каратели, постаскивав с болота своих убитых и раненых, немного успокоились. Наверно, они ожидали какой-то приказ, а начальство их медлило. Впрочем, было отчего. Нередко случается на войне, что командир, четыре атаки которого не приносят успеха, почувствует надобность подумать, прежде чем отдать команду на пятую. Уже несколько поднаторевший в военных делах Левчук догадался, сидя в своем неглубоком, перевитом корнями окопчике, что каратели выдохлись и для роты наступил какой-никакой перерыв. Выждав еще немного, он опустил на бруствер увесистый приклад своего «дегтяря» и достал из кармана недоеденную вчера горбушку. Настороженно поглядывая перед собой на неширокое лесное пространство с осокой, кустарником и неглубоким мшистым болотцем, он сжевал хлеб, несколько заморив червяка, и почувствовал, что хочет курить. Как на беду курево кончилось, и он, прислушавшись, окликнул соседа, сидевшего невдалеке в таком же мелком, отрытом в песке окопчике, от которого в тихом вечернем воздухе уже потянуло душистым дымком махорки.

— Кисель! Кинь «бычка»!

Кисель, немного погодя, кинул, однако не очень удачно — надломленная ветка с зажатым в разломе «бычком» упала, не долетев до окопчика, и Левчук не без некоторой опаски потянулся за ней рукой. Но достать руки не хватило, и он, высунувшись из окопа по пояс, потянулся снова. В этот момент под рукой что-то стремительно щелкнуло, по лицу стегануло хвоей, сухим песком и недалеко за болотцем ахнул винтовочный выстрел. Бросив злополучный «бычок», Левчук рванулся назад в окопчик, не сразу почувствовав, как в рукаве потеплело, и он с удивлением увидел на плече в пиджаке небольшую дырочку от пули.

— Ах ты холера!

Это было куда как скверно, чтобы его ранило да еще таким глупым образом. Но — ранило, и, по-видимому, серьезно: кровь вскоре густо потекла по пальцам, в плече запекло, защипало. Опустившись в окопчик и выругавшись, Левчук кое-как обернул плечо несвежей ситцевой тряпкой, в которую заворачивал хлеб, и сжал зубы. Только со временем до его сознания стал доходить весь невеселый смысл его ранения, взяла злость на себя за неосторожность, а больше на тех, за болотцем. Испытывая все усиливающуюся боль в плече, он схватился

за пулемет, чтобы хорошей очередью чесануть по лозняку, из которого его так вероломно подкараулили, да только сдавленно ойкнул. От прикосновения пулеметного приклада к плечу его пронизала такая боль, что Левчук сразу понял: отныне он не пулеметчик. Тогда, не высовываясь из окопа, он снова прокричал Киселю:

— Скажи ротному: ранило! Ранило меня, слышь?

Хорошо, что уже смеркалось, солнце после бесконечного знойного дня сползло с небосклона, болотце заволакивалось реденькой кисеей тумана, сквозь которую уже плохо было видать. Немцы так и не начали своей пятой атаки. Когда немного стемнело, на сосновый пригорок прибежал ротный Межевич.

— Что, ранило? — растянувшись рядом на сухой хвое, спросил он, вглядываясь в притуманенное болото, из которого тянуло пороховой вонью и повеяло вечерней прохладой.

— Да вот, в плечо.

— В правое?

— Ну.

— Ладно, что ж,— сказал ротный.— Дуй к Пайкину. Пулемет отдашь Киселю.

— Кому? Тоже нашли пулеметчика!..

В этом распоряжении ротного Левчук поначалу усмотрел что-то оскорбительное для себя: отдать исправный, ухоженный им пулемет Киселю, этому деревенскому дядьке, который как следует не освоился еще и с винтовкой, означало для Левчука сравняться с ним и во всем прочем. Но Левчук не хотел с ним равняться, пулеметчик была у них специальность особая, на которую подбирали лучших партизан, бывших красноармейцев. Правда, красноармейцев уже не осталось и пулемет действительно вручить было некому. А впрочем, пусть ротный решает, как знает, рассудил Левчук, не его это забота, теперь он раненый.

С подчеркнутым безразличием он отнес пулемет под соседнюю сосну Киселю, а сам налегке побрел в глубь леса к ручью. Там был тыл этого обложенного карателями урочища и размещалось хозяйство Верховца с Пайкиным, их отрядных «помощников смерти», как в шутку называли врачей партизаны. Отчасти они имели для того основание, так как Пайкин до войны работал зубным врачом, а Верховец вряд ли когда-нибудь вообще держал в руках бинт. Однако лучших врачей у них не нашлось, и эти два и лечили, и перевязывали, и даже, случалось, отрезали руки или ноги, как тому Крицкому, у которого приключилась гангрена. И ничего, говорят, живет где-то на хуторе, поправляется. Хотя и с одной ногой.

Возле ручья у шалаша санчасти уже сидело несколько человек раненых, Левчук дождался своей очереди, и доктор впотьмах, кое-как обтерев жгучей перекисью водорода его окровавленное плечо, туго стянул его самодельным холщовым бинтом.

— Суй руку за пазуху и носи. Ничего страшного. Через неделю будешь кувалдой махать.

Кому не известно, что хорошее слово доктора иногда лечит лучше его лекарства. Левчук сразу почувствовал, как притихла его боль в плече, и подумал, что, как только настанет утро, сразу вернется на Долгую Гряду в роту. А пока он поспит. Больше всего на свете он хотел спать и теперь заимел на это полное право...

После короткой невнятной тревоги он снова, кажется, задремал под елью на ее жестких узловатых корнях, но скоро опять услыхал близкий топот, голоса, шорох повозки в кустах и какую-то суету рядом. Он узнал голос Пайкина, а также их нового начальника штаба и еще кого-то из знакомых, хотя со сна и не мог понять кого.

— Не пойду я. Не пойду никуда...

Конечно, это была Клава Шорохина, отрядная их радистка! Ее звонкий голос Левчук узнал бы за километр среди сотен других голосов, а сейчас он слышался рядом, в десяти шагах от него. Сон его сразу пропал, он проснулся, хотя и не мог еще раскрыть глаз, только повел под телогрейкой раненым плечом и затаил дыхание.

— Как это — не пойдешь? Как не пойдешь? Что мы тебе тут больницу откроем? — гудел знакомый злой бас их нового начальника штаба, недавнего комроты-один.— Пайкин!

— Я тут, товарищ начштаба.

— Отправляйте! Сейчас же отправляйте вместе с Тихоновым! До Язминок как-нибудь доберутся, а там у Лесковца перебудет. В Первомайской.

— Не пойду! — опять послышалось из темноты безысходно-тоскливое в своей безнадежности возражение Клавы.

— Поймите, Шорохина,— мягче вступил в разговор Пайкин.— Вам ведь нельзя тут. Вы же сами сказали: пора.

— Ну и пусть!

— Убьют же к чертовой матери! — кажется не на шутку разозлился начштаба.— На прорыв идем, на пузе ползти придется! Ты понимаешь это?

— Пусть убивают!

— Пусть убивают — вы слышали? Раньше надо было, чтобы убили!

Наступила неловкая пауза, слышно было, как тихонько всхлипнула Клава да где-то поодаль стегал коня ездовой: «Каб ты сдох, вовкарэзина!» По всей видимости, тылы куда-то собирались переезжать, но Левчук все еще не хотел просыпаться, прогонять сон и даже не раскрыл глаз — наоборот, затаился, придержал дыхание и слушал.

— Пайкин! — решительным тоном произнес начштаба.— Сажайте в повозку и отправляйте. С Левчуком отправляйте, если что, он досмотрит. Но где Левчук? Ты же говорил тут?

— Тут был. Я перевязывал.

«Вот тебе и поспал!» — уныло подумал Левчук, все еще не шевелясь, будто надеясь, что, может, вместо него позовут другого.

— Левчук! А Левчук! Грибоед, где Левчук?

— Да тут где-то спал. Я видел,— предательски просипел поодаль знакомый голос ездового санчасти Грибоеда, и Левчук молча про себя выругался: он видел! Кто его просил видеть?

— Ищите Левчука! — распорядился начштаба.— Кладите на воз Тихонова. И через гать. Пока еще там дыру не заткнули. Левчук! — зло крикнул начальник штаба.

— Я! Ну что? — с раздражением, которое теперь он не счел нужным скрывать, отозвался Левчук и не спеша выбрался из-под обвисших до самой земли ветвей елки.

Во мраке лесной ночи ни черта не было видно, но по неясным разрозненным звукам, приглушенным голосам партизан, какому-то суетному ночному оживлению он понял, что стойбище снималось с места. Из-под елок выезжали повозки, суетясь в темноте, возчики запрягали коней. Кто-то шевелился рядом, и по шороху плащ-палатки на рослой фигуре Левчук узнал начальника штаба.

— Левчук! Топкую гать знаешь?

— Ну знаю.

— Давай; Тихонова отвезешь! А то пропадет парень. В Первомайскую бригаду отвезешь. Через гать. Разведка вернулась, говорят, дыра. Можно еще проскочить.

— Ну во еще! — с неприязнью сказал Левчук.— Чего я в Первомайской не видел! Я в роту пойду!

— Какую роту? Какую роту, если ты ранен. Пайкин, куда он ранен?

— В плечо. Пулевое касательное.

— Ну вот, касательное. Так что давай на гать. Вот повозка под твое начало. И это... Клаву захватишь.

— Тоже в Первомайскую? — недовольно проворчал Левчук.

— Клаву? — Начштаба на секунду запнулся, казалось, он не имел определенного мнения, куда лучше отправить Клаву. И тогда из темноты тихо отозвался Пайкин:

— Клаву лучше бы в какую деревню. К бабе. К какой-нибудь опытной бабе.

— Бабе, бабе! — раздраженно подхватил Левчук и отвернулся, левой рукой сдвигая на ремне жесткую немецкую кобуру с парабеллумом, который надавил под елкой бедро.— Не хватало мне еще...

Что касалось Клавы, то он уже догадывался, в чем было дело, но он и во сне не видел таких нелепых забот — все пойдут на прорыв, а ему отбиваться неизвестно куда, в Первомайскую бригаду да еще при такой компании — Грибоед, Клава, этот доходяга Тихонов... Левчук, как только пришел вечером с Долгой Гряды, обратил на него внимание — десантник отрешенно лежал возле шалаша санчасти, прикрытый какой-то дерюжкой, из-под которой как чурбан торчала обмотанная бумажными бинтами его голова. Глаза его тоже были забинтованы, он не шевелился и, казалось, не дышал даже, и Левчук с непонятной опаской прошел мимо, подумав, что, наверно, отфорсил десантничек. Да и эта Клавка... Было время, когда Левчук посчитал бы за счастье проехаться с ней лишний километр по лесу, но не теперь. Теперь Клава его не интересовала.

Вот же чертово это ранение, сколько оно задало ему забот и, судя по всему, еще не меньше задаст впереди! Близкий свет эта Первомайская бригада, попробуй добраться до нее через фашистскую осаду, мало что разведка сказала: дыра! Еще неизвестно, какая и куда там дыра, поеживаясь от ночной сырости, сам с собою рассуждал Левчук. Лучше бы он не отдавал Киселю пулемет и совсем не появлялся в этой санчасти.

Левчук уже собрался было поругаться с начальством и вернуться в роту, наверное, ротный бы не прогнал и он бы снова стал воевать вместе с другими, чем переться неизвестно куда и зачем. Но когда он вознамерился заявить о том, заявлять уже не стало кому. Начштаба пошел прочь, в кустах прошуршала и стихла его плащ-палатка, а Пайкин и еще раньше исчез в темноте. Рядом, постебывая хвостом по оглоблям, стояла лошадь, возле которой, прилаживая сбрую, топал ездовой Грибоед, да тихонько всхлипывая, ждала в стороне Клава, и Левчук, не обращая ни на кого внимания, выругался.

— Подсуропили, начальнички! Ну ладно же, трасцу вашей матери!

3

В сплошной темноте они ехали по лесу. Временами повозка едва не опрокидывалась на каких-то ямах и выворотнях, ветви кустарника нещадно скребли по телеге и стегали по седокам. Нагнув голову и оберегая под накинутой телогрейкой плечо, Левчук перестал уже и понимать, куда они едут. Хорошо, что Грибоед, кажется, знал местность и не спрашивал дорогу, лошадь с немалым усилием тащила повозку — думалось, едут правильно. Еще не отойдя от своей злости, Левчук

молчал, слушая, как погромыхивает вокруг и больше всего сзади; иногда где-то загоралась ракета, и ее далекий дрожащий отсвет долго мерцал на верхушках деревьев, подсвечивая и без того светловатое летнее небо.

Кое-как продравшись сквозь густую чащобу кустарника, они наконец выехали на лесную дорожку. Повозка пошла ровнее, и Левчук уселся удобнее, слегка потеснив неподвижно лежавшего рядом десантника. Похоже, тот спал или был без сознания, и Левчук тихонько потянул за ствол его автомат, который мешал в телеге и ему и раненому. Но только он потянул автомат сильнее, Тихонов залапал подле себя рукой и цепко ухватился ею за шейку приклада.

— Н-не... Не трожь...

«Чудак! — удивленно подумал Левчук, сделав вид, что автомат его не интересует.— И чего он за него держится?..»

По правде говоря, Левчук был не прочь завладеть этим автоматом, потому как чувствовал, что скоро тот ему очень понадобится. В этой дороге вряд ли можно было избежать встречи с немцами, а у него был лишь парабеллум с двумя пачками патронов в запасе да у Грибоеда торчала за спиной винтовка. Возможно, еще был какой-нибудь браунинг у Клавы — в общем, очень немного для того, чтобы пробиться за двадцать пять километров в Первомайскую бригаду. Особенно если за гатью немцы, что, пожалуй, так и окажется. Не может того быть, чтобы, блокировав урочище, они оставили неперекрытой гать. Мало что докладывает разведка...

Подумав так, Левчук тронул Грибоеда за локоть.

— Стой!

Ездовой потянул вожжи, лошадь остановилась, они настороженно прислушались. Погромыхивало далеко сзади, поблизости было тихо. Утихло, казалось, и под Дубровлянами, где весь вечер и ночь особенно люто грохотала стрельба, рядом отчетливо слышно было усталое дыхание лошади да шум ночного ветра в кустарнике.

— Далеко гать?

— Ды близко уже,— сказал Грибоед, не поворачивая к нему головы.— Выгарину проедем, а там соснячок и гребля.

— Туда не поедем,— решил Левчук.

— Во як! А куды ж?

— Давай куда в сторону.

— Як жа в сторону? — подумав, несогласно сказал Грибоед, по-прежнему не оборачиваясь к Левчуку.— Там болото.

— Поедем через болото.

Грибоед недолго подумал и с очевидным нежеланием свернул лошадь с дороги. Но по бездорожью лошадь идти не хотела, тем более через заросли, и ездовой, что-то ворча про себя, слез с повозки и взял коня под уздцы. Левчук тоже соскочил на землю, и, оберегая здоровой рукой раненую, полез через кустарник вперед.

Он сам не знал почему, но упрямо не хотел ехать на гать, если бы даже в безопасности этой дороги его убеждали семь разведок. Гать не могла быть незанятой немцами — это он чувствовал всей своей кожей. Правда, он не знал и другой дороги, где-то тут должно начаться болото, а как перебраться через него с лошадью и телегой, он не имел представления и успокаивал себя тем, что там будет видно. Он уже был научен войной и знал, что многое становится ясным в свое время, на месте, что любой самый дальновидный план немногого стоит, что как ни планируй, ни обдумывай, немцы или обстановка все переиначат. За время своей партизанской жизни он привык поступать непосредственно, исходя из обстановки, а не держаться, как слепой тына,

какого-то плана, через который недолго оказаться в Могилевской губернии и еще потащить за собой других.

Грибоед же, кажется, рассуждал иначе, и пока они продирались сквозь заросли, раздраженно покрикивал на лошадь, обзывая ее то холерой, то злыднем, то дергал за уздечку, то хлестал по бокам кнутовищем. Левчуку начала надоедать эта его показная злобивость, и он собрался прикрикнуть на ездового, как заросли кончились. Началась луговина, вокруг посветлело, прояснилось небо над головой; по росистой траве стлался холодный туман, тянуло запахом гнили и водорослей — впереди лежало болото.

Повозка остановилась, а Левчук прошел по невысокой траве, пока под сапогами не начало чавкать. Тогда он вслушался. Издали все еще доносились выстрелы, но вблизи было тихо; потонув до половины в тумане, на болоте дремали кусты ольшаника, где-то негромко скрипел коростель, другие птицы, наверно, все спали. Левчук еще прошел немного вперед, под сапогами становилось все мягче, начался мшаник, ноги в нем завязали по шиколотку; в правом, с дырой, сапоге уже стало мокро. Но ехать тут, пожалуй, еще было можно, лошадь пройдет, а за ней пройдет и повозка.

— Эй, давай там! — негромко крикнул он в серый туманный сумрак.

Левчук ожидал, что Грибоед вскоре тронется и догонит его, но минуту спустя ничего за собой не услышав, он рассердился. Видно, этот ездовой слишком много брал на себя, чтобы не слушаться старшего, каким тут все-таки был назначен Левчук. Немного выждав, он скорым шагом вернулся к опушке и застал повозку на том самом месте, где и оставил ее. Похоже, Грибоед и не думал двигаться и, ссутулясь в своем кургузом немецком мундирчике, стоял возле лошади.

— Ты что?

— А куды ж ехать?

— Как куды? За мной едь! Куда я иду, туда и езжай.

— В болото?

— Какое болото! Держит же.

— Тут пока держить, а далей багна. Ужо я ведаю.

Левчук готов был вскипеть — он ведает! Багна, значит, надо перебираться через багну, не сидеть же тут до рассвета — разве этот ездовой первый день на войне?

Но он знал, что Грибоед не первый день на войне, что он, может, не меньше других научен этой войной, и это сдерживало Левчука от того, чтобы обругать ездового. Он только удивился, услышав, как тот недовольно заворчал о гати:

— Сказали же через гать треба. Так же сказали? А то — болото...

— На гать, говоришь, да? — взъярился Левчук.— Тебя сколько раз стреляли? Два раза стреляли? Ну так вот, на гати застрелят в третий. В третий уже хорошо застрелят.— И, смягчаясь, добавил: — Что тебе немцы — дураки гать так оставить? Мало что начальник сказал. Надо и свою голову иметь.

Покорно выслушав его, Грибоед трудно вздохнул.

— Так што ж! Я не против. Но как только?

— Двигай за мной!

Повозка медленно и бесшумно покатилась по невысокой траве, к самому краю болота. Лошадь все чаще стала припадать то на переднюю, то на заднюю ногу, которые временами проваливались глубоко, и, чтобы вытащить их, надо было сильно опереться остальными, и тогда проваливались эти остальные. И она все время дергалась так, стараясь выбраться на более твердое, только твердого тут, наверно, оставалось все меньше. Клава тоже слезла с повозки и шла сзади, Грибоед,

часто останавливаясь, брал лошадь за уздечку и вел точно по следам Левчука. Но вот пришло время, когда и Левчук остановился: начинались заросли осоки, трясина; над болотистым пространством ползло низкое клочьё тумана, между которым тускло поблескивали частые окна стоячей воды.

— Ну вот и въехали! — выдохнул Грибоед и притих возле лошади, от которой клубами валил пар, лошадиные бока ходили ходуном в одышке. Задние ее ноги уже до колен утопли в болоте.

— Ничего, ничего! А ну обожди, пусть конь передохнет.

Левчук бросил в повозку телогрейку и, хватаясь здоровой рукой за низкорослые кусты ольшаника, решительно полез в болото, забирая несколько в сторону, наискосок,— так еще можно было держаться. Он уже не берег своих ног, которые до колен были мокрые, в сапогах хлюпало и чавкало, мешала раненая рука, и он держал ее на груди, засунув за пазуху. Очень скоро он провалился, едва не до пояса, как-то выбрался под ольховый куст, где вроде бы было потверже,— надо было прикинуть, в каком направлении двигаться дальше.

— Эй, давай сюда!

Повозка дернулась, лошадь выбросила вперед переднюю ногу и сразу же провалилась по самый живот. Левчук, оглянувшись, подумал: вылезет,— но не вылезла. Лошадь бросалась в стороны, билась, но выбраться из ямы не могла. Тогда он, булькая сапогами в жидкой грязи, вернулся и, пока Грибоед тянул коня за уздечку, уперся здоровым плечом в зад повозки. Минуту он толкал ее изо всех сил, намокнув по грудь, и повозка, как-то свалившись на бок, выползла из топи. Сзади, подобрав над белыми коленками юбку, перебралась через развороченное место Клава.

— О, господи!

— Вот тебе и господи! — язвительно подхватил Левчук.— Закаляйся, понадобится.

Он снова отправился вперед, шаря в воде ногами. Но всюду было глубоко и зыбко, и он по пояс в воде с немалым усилием долго брел по трясине. Однако пригодного пути тут, наверно, не было. Он прошел сотню шагов, но так и не достиг берега — всюду была топь, осока, травянистые кочки и широкие окна черной воды, над которыми курился сизый туман. Тогда он вернулся к повозке и ухватился рукой за оглоблю.

— А ну взяли!

Грибоед потянул за уздечку, лошадь послушно шагнула раз и другой, напрягла все свои лошадиные силы, повозка немного сдвинулась с места и остановилась.

— Давай, давай!

Они вдвоем не на шутку впряглись вместе с лошадью: Левчук тянул за оглоблю, Грибоед с другой стороны — за гуж, лошадка билась, дергалась, все глубже погружаясь в черную, разбитую ногами жижу. Она старалась и смело шла, казалось, в самую прорву, куда ее вел ездовой, сверхлошадиным усилием волоча за собой телегу, колеса которой уже погрузились в трясину. Все они были по грудь в воде и в болотной жиже; по лицу и спине Левчука лился пот. Сзади, как могла, толкала телегу Клава.

Наверное, они пробарахтались до утра в этой прорве, а конца болота все не было. И тогда пришло время, когда все молча остановились. Чтобы окончательно не погрузиться в болото, они держались за оглобли и телегу; по хребет ушедшая в воду лошадь вытянула вперед голову, стараясь как-то дышать. Казалось, если бы не повозка сзади, то она бы поплыла по этой топи. Только куда было плыть?

Левчук впервые засомневался в правильности своего выбора и

пожалел, что сунулся в это болото. Может, действительно лучше было ехать на гать — авось проскочили бы. А теперь ни взад, ни вперед, хоть дожидайся рассвета. Или бросай тут повозку и неси на себе десантника. Хорошо еще, что Клава не нарекала, терпела все молча и даже в меру своих сил толкала повозку.

— Вот влезли так влезли! — сокрушенно сказал Левчук.

— Я же говорил! — живо подхватил Грибоед.— Влезли, як дурни якия. Як теперь вылезем?

— Может, с километр проехали,— тихо отозвалась сзади Клава.— О боже, я уже не могу...

— Треба назад,— сказал ездовой.— А то и коня утопим, и этого. Ды и сами. Тут окна есть — ого! По голову и еще останется.

Левчук растерянно вытирал рукавом лоб и молчал. Он сам не знал, как теперь быть, куда податься: вперед или назад? Да и сил почти уже не осталось ни у лошади, ни у людей: все до конца вымотались. Действительно, чем так выкладываться, подумал Левчук, может, лучше попытаться проскочить через гать?

— Стойте! — немного отдышавшись, сказал он.— Я посмотрю.

Он снова полез в болото, стараясь как можно меньше плескаться в воде, и в одном месте так провалился в окне, что едва не скрылся весь, с головой. Все же кое-как удержался, ухватившись за кочку, но кочка, все ниже оседая в воду, оказалась плохой опорой, и он понял, что долго на ней не удержится. Тогда он резко отпрянул в сторону, к травяным зарослям, где оказалось помельче, и побрел, как он думал, не поперек, а вдоль по болоту. Теперь он уже думал не о том, как одолеть это проклятое болото, а хотя бы не утопить лошадь и не утонуть самому. Действительно, тут начиналась, пожалуй, самая глубь, прогалы воды стали шире, меньше стало травы, лоза и ольшаник совсем исчезли. Тут уже кстати была бы лодка, а не лошадь с повозкой, и Левчук в который уже раз выругал себя за опрометчивость. Как нелепо все получилось, обеспокоенно думал он, наверно, придется выбираться тем же путем назад.

С этой, еще окончательно не оформленной мыслью он начал пробираться к повозке, одиноко застывшей посреди болота с двумя фигурами возле. Они терпеливо дожидались его, но скоро должно было начаться утро, а утром им на голом болоте — не место.

Но Левчук еще не дошел до них и ничего не придумал, как недалеко в ночи стремительным эхом прокатился по лесу выстрел. Через секунду ему ответил второй, дробным треском рассыпалась пулеметная очередь, глухо и важно кахнул миномет, и мина, звонко пропев в самой высоте неба, лопнула где-то в лесу. И тут началось — загрохотало, завизжало, заахало, удивительно, откуда что и взялось в этой сонной туманной ночи.

Они все замерли там, где стояли. Левчук, разинув от удивления рот, впился взглядом в ночь, стараясь что-то понять или увидеть в ней, но в затуманенном полумраке ничего не было видно. И тут он почти содрогнулся в торжествующей злой догадке.

— На гати, ага?

— На гати,— уныло подтвердил Грибоед.

И они стояли, раздавленные сознанием внезапной беды, обрушившейся на других, и почти почувствовав, как просто эта беда могла обрушиться на них, четверых. Но они вот избежали ее, а каково сейчас тем, кто попал под этот огонь? Слушая стрельбу, все думали: кто кого? Но тут, наверно, нечего было и думать: стреляли немцы, весь огонь шел с той, их стороны. Опять же и минометы — в отряде минометов не было. Значит, кто-то все-таки не удержался от соблазна

проскочить по гати, понадеявшись на разведку, и теперь вот расплачивается. Теперь там невесело.

И Левчук, знобко ежась от стужи или от осознания своей неожиданной удачливости, с радостным озлоблением набросился на своих помощников:

— Ну вот, вашу мать! А вы — назад! А ну давай вперед! Изо всех сил вперед! Раз, два — взяли!

Прислушиваясь к стрельбе, они снова взялись толкать и тянуть повозку, стегать и понукать выбившуюся из сил лошаденку. Однако силы у них были уже не те, что вначале, да и повозку, наверно, засосало как следует. Напрасно помучившись, Левчук разогнулся. Перестрелка на гати все громыхала в ночной дали, и он, немного передохнув, снова полез в болото, забирая то влево, то вправо, широко шаря в воде ногами. Хорошо, что сапоги у него были кожаные, не кирзачи, намокнув в воде, они сели, плотно обтянув ноги, и не спадали, иначе бы он скоро остался босой.

Он решил прежде самому отыскать какой-нибудь путь к берегу, если только где не провалится с головой в прорву, а уж потом вывести за собой повозку. Теперь он перестал обращать внимание на глубину, все равно по шею был мокрый, и, хватаясь рукой за кочки, где шел, а где плыл, раздвигая грудью густую, вонючую топь. Слух его при этом все время ловил звуки боя на гати, который то затихал, то начинался снова, и было трудно понять, чья там берет верх. Может, наши сбили немецкий заслон, а может, заслон перестрелял партизан. «Ну и дураки,— думал Левчук.— Зачем было переть на рожон, лучше уж так, по болоту. Если только там, за болотом, тоже не засели немцы...»

Удивительное дело, но теперь ему вовсе не казалось страшным болото, скорее наоборот: страшно было там, на дороге и гати, а болото не впервые уже укрывало его, спасало, теперь он просто любил болото. Только бы оно не оказалось бездонным и, конечно, не очень бескрайним.

Как-то неожиданно для себя он различил в тумане вершины кустарника и с радостью понял, что это берег. В самом деле, через каких-нибудь двадцать шагов болото кончилось, за неширокой полосой осоки виднелись кусты ольшаника, перед которыми расстилалась лужайка с прокосами свежей травы. Он не стал даже вылезать на сухое, живо повернул назад, в болото, и по пояс в воде побрел к повозке. В этот раз он едва не потерял ее, пройдя в тумане дальше чем следовало, но услышал сзади тихое хлюпанье воды и вернулся. В полузатопленной телеге сидела Клава, наверно, спасала от воды десантника, Грибоед бултыхался возле коня, не давая тому совсем погрузиться в болото. Они молчаливо дожидались его.

— Вот что! — сказал Левчук, хватаясь за оглоблю.— Надо по отдельности. Распрягай лошадь, перевезем Тихонова, потом, может, повозку. Берег тут, недалеко...

4

Начинало светать, когда в белом, как молоко, тумане они выбрались наконец из болота. Потерявшего сознание Тихонова вывезли верхом, взвалив на мокрую спину лошади, которую вел под уздцы Левчук; Грибоед и Клава поддерживали раненого по сторонам. Ездовой, кроме того, тащил дугу и седелку, которые он не захотел бросить в болоте, где осталась затопленная их повозка. Но повозку они надеялись достать в какой-либо деревне — была бы лошадь да упряжь.

На берегу у них едва нашлось силы снять с лошади обмякшее тело

десантника, они уложили его в прокосе на мокрую от тумана траву, и сами попадали тут же. Подняв ногу, Левчук вылил из левого сапога жидкую грязь, из правого она вытекала сама через дырку. Грибоед летом ходил по-крестьянски босой, и теперь у него не было забот с обувью. Вынув из винтовки затвор, он продувал ее забитый грязью ствол. Рядом тихонько лежала Клава, и над всеми, низко опустив голову и лихорадочно дыша запавшими боками, стояла лошадь с мокрым хомутом на шее.

— Ну вот! А вы говорили! — с усталым удовлетворением выдохнул Левчук.

Одним ухом он ловил нечастые уже выстрелы с гати, а другим чутко прислушивался к обманчивой тишине этого болотного берега. Тут как раз начиналось самое опасное, на каждом шагу им могли встретиться немцы. Сторожко поглядывая по сторонам, чтобы быть готовым к любой неожиданности, он левой рукой вынул из размякшей кожаной кобуры свой парабеллум, вытер его о полу пиджака. Две картонные пачки с патронами раскисли в воде, и он выбросил их на траву, ссыпав патроны в карман. Затем подобрал с земли автомат Тихонова. Десантник был без сознания и только бормотал что-то, пока они возились с ним на болоте, а теперь и вовсе затих. Жаль, что при автомате был всего один магазин, Левчук отомкнул его и взвесил в руке, но магазин, пожалуй, был полон. Чтобы убедиться в том, он хотел снять крышку, но передумал: становилось чертовски холодно. Мокрая одежда студила тело, сушиться же пока было негде, приходилось ждать, когда поднимется солнце. Хотя небо над лесом совсем прояснилось, но до восхода еще оставалось около получаса. И тогда на стылой сырой траве задвигался раненый.

— Пить... Пить!

— Что? Пить? Сейчас, сейчас, браток! Сейчас мы тебя напоим,— с готовностью отозвался Левчук.— Грибоед, а ну сходи, посмотри, может, ручей где.

Грибоед вставил в винтовку затвор и не спеша побрел в тумане по берегу, а Левчук перевел взгляд на Клаву, тихонько дрожавшую рядом. Мимолетное ощущение жалости к ней заставило его скинуть с плеча подмоченную его телогрейку.

— На, укройся. А то...

Клава укрылась и снова прилегла боком на травяном прокосе.

— Пить! — опять требовательно произнес десантник и зашевелился, будто испугался чего-то.

— Тихо, тихо. Сейчас принесет пить,— придержала его Клава.

— Клава? — по голосу узнал девушку раненый,— Клава, где мы?

— Да тут, за болотом. Лежи, лежи...

— Мы прорвались?

— Почти да. Ты не беспокойся.

— Где доктор Пайкин?

— Пайкин?

— Зачем тебе Пайкин? — сказал Левчук.— Пайкина тут нет.

Тихонов помолчал и, будто заподозрив неладное, испуганно зашарил подле себя по траве.

— Автомат! Где мой автомат?

— Тут твой автомат. Куда денется,— сказал Левчук.

Но раненый требовательно протянул руку.

— Дай автомат.

— На, пожалуйста! Что только ты с ним будешь делать?

Слепо придвинув к себе оружие, десантник вроде успокоился, хотя этот его покой и оставался заметно напряженным, как перед новым

рывком. И действительно, вскоре без всякой связи с предыдущим Тихонов глухо спросил:

— Я умру, да?

— Чего это ты умрешь? — нарочно грубовато удивился Левчук.— Вынесем, жить будешь.

— Куда... Куда вы меня несете?

— В одно хорошее место.

Тихонов помолчал, подумав о чем-то, и снова вспомнил о докторе.

— Позовите доктора.

— Кого?

— Доктора. Пайкина позовите! Или вы оглохли? Клава!

— Доктора тут нет. Он куда-то пошел,— нашлась Клава и ласково погладила десантника по рукаву.

Тот облизал запекшиеся губы и растерянно заговорил дрогнувшим голосом:

— Как же... Ведь мне надо знать. Ослеп я. Зачем я слепой? Я не хочу жить.

— Ничего, ничего,— бодро сказал Левчук.— Еще захочешь. Потерпи немного.

— Мне надо... Мне надо знать...

Раненый замолк на полуслове, Левчук с Клавой переглянулись — мало еще им было забот,— и Клава сказала тихонько:

— Не повезло Тихонову.

— Как сказать,— несогласно заметил Левчук.— Война не кончилась, еще неизвестно, кому повезло, а кому нет.

Вскоре пришел Грибоед с шапкой, полной воды, которую он, не найдя ручья, зачерпнул из болота. Но десантник, видно, опять был в беспамятстве. Ездовой нерешительно потоптался с шапкой в руках, из которой лилась вода.

— Котелка нет? — спросил Левчук.

— Нет.

— Эх ты, дед-Грибоед! Незапасливый ты.

— Я таки дед, як ты внук. Мне сорок пять годов только,— обидчиво сказал ездовой и выплеснул воду.

— Тебе? Сорок пять?

— Ну.

— Гляди-ка. А я думал все шестьдесят. Чего же ты такой старый?

— Того,— уклончиво бросил Грибоед.

— Дела! — вздохнул Левчук и перевел разговор на другое.— Надо посмотреть, может, где деревня какая.

— Залозье тут где-то,— отвернувшись, сказал ездовой.— Не спалено еще было.

— Тогда пойдем.

— А коли это самое... А коли там немцы?

Если там немцы, то, конечно, идти не годилось. Наверно, было бы лучше разведать сначала одному, а остальным подождать в кустах. А то в случае чего с раненым им не очень легко будет уйти от беды, которая могла тут настигнуть их всюду. Только ждать в этой мокряди возле болота у них не хватало терпения, и на прокосе первой зябко зашевелилась Клава.

— Левчук, надо идти,— со сдержанной настойчивостью сказала она.

— Вот видишь! Надо, значит, идти.

Они не сразу, по одному, повставали, взвалили на лошадь раненого, все не выпускавшего из рук автомата, который они кое-как приладили к хомуту. Нащупав оружие, Тихонов обхватил руками скользкую, в тине, шею лошади и положил на нее желтую, в бинтах, го-

лову. Придерживая его с двух сторон, они повели лошадь на край лужка, где в тумане обрывался кустарник и как будто начиналось поле.

Несколько минут спустя между низкорослых кустов ольшаника показалась опушка, и они, чтобы обойти открытое поле, свернули по ней в сторону. Изголодавшаяся лошадь то и дело хватала из-под ног пучки высокой травы, раненый едва не падал с ее спины, и они с усилием удерживали его на лошади, которую Грибоед сердито пинал кулаком в бок и ругался:

— Тихо ты, вовкорезина! Не нажрэшся...

— Ну чего ты! — сочувственно сказал Левчук.— Она ведь тоже живая, есть хочет.

Небо быстро светлело. Туман с болота почти уже сошел, стало видать далеко; впереди над лесом багровым пожаром пылал край неба, вот-вот должно было взойти солнце. В утренней лесной сырости было чертовски холодно, людей пробирал озноб, мокрая одежда не сохла и все липла к телу; в раскисшей обуви скользили и чавкали ноги. У Левчука к тому же вовсю болело плечо. Стараясь как можно меньше им двигать, он левой рукой поддерживал под мышку десантника, а сам все шарил по сторонам взглядом, с нетерпением ожидая увидеть это Залозье.

Но, судя по всему, место им попалось лесное, довольно пустынное, до деревни, наверно, надо было потопать. И они медленно шли, после сумятошной ночи едва передвигая ноги и с трудом отгоняя от себя сон. Более-менее благополучно преодолев болото, Левчук немного успокоился и теперь думал о том, как там обошлось на гати — прорвался отряд или нет? Если нет, то сегодня там будет жарко. Этих карателей наперло пропасть, а в отряде давно уже было туговато с патронами и, наверно, вовсе не осталось гранат. Командир, в общем, правильно решил прорываться, но куда? Интересно еще, кого это он пустил на гать, уж не тылы ли с санчастью, которые, конечно, там и остались. Называется, понадеялись на разведку.

Когда-то Левчук тоже воевал в разведке и отлично знал цену некоторых ее докладов. Сходят в разведку, и многое ли удается узнать о противнике? А начальство требует предельной ясности, ну и понятно: немало догадок выдается за истину. И он вспомнил, как год назад, будучи разведчиком, ездил в Кировскую бригаду за первой в отряде рацией, присланной для них из Москвы.

Новость о том, что у них будет рация, наделала тогда немало радостного шума в отряде — шутка сказать, они смогут поддерживать связь непосредственно с самым главным партизанским штабом в Москве. Командиры провели по этому поводу митинг, выступали партизаны, комиссар Ильяшевич — все брали на себя обязательства, обещали, клялись. В неблизкий поход за радистами выделили троих лучших разведчиков во главе с Левчуком, который тогда тоже был лучший, не то, что сейчас. Вечером перед выездом комиссар с начальником штаба долго инструктировали их: как ехать, что с собой взять, как разговаривать с гостями, что можно сказать, а чего и не надо. Такого инструктажа Левчук не помнил ни до, ни после того, отправляли как на самое важное задание.

Был март, кончалась зима, все веселее светило солнце. Днем хорошо подтаивало, а ночью под утро дорога была, как стекло, санки бежали со звоном и шорохом: цокот копыт по ледку был слышен, казалось, на всю округу. В одну ночь они отмахали шестьдесят километров и к утру появились в штабе Кировской, где и встретили своих радистов. Старшим из двоих был сержант Лещев — немолодой, болезненного вида человек с желтым лицом и прокуренными до жел-

тизны зубами, который им не понравился с первого раза: слишком уж придирчиво стал выяснять, где располагается отряд, как они поедут, удобны ли сани, насколько отдохнули кони и есть ли чем укрыться в дороге, потому что у него хромовые сапоги на одну портянку. Они достали для него попону и еще укутали ноги соломой, и то он все мерз и жаловался на сырость, дурацкий климат и специфические партизанские условия, которые для него не годились. Зато радисточка очаровала всех с первого взгляда, такая она была ладненькая в своем новеньком белом полушубочке и маленьких валеночках, мило поскрипывавших на утреннем морозце; уши ее пушистой цигейковой шапки были кокетливо подвязаны на затылке, на лбу рассыпалась светлая челочка, а на маленьких руках аккуратно сидели маленькие меховые рукавички с белым шнурком, закинутым за воротник полушубка. Не в пример сержанту ей здесь все нравилось, и она без конца смеялась и хлопала рукавичками, восторженно радуясь лесу, березовой роще, дятлу на елке. А когда по дороге увидела белку, игриво летавшую в ветвях, остановила сани и побежала за ней по снегу, пока не промочила валенки. Ее нежные щечки с ямочками по-детски раскраснелись, а глаза излучали столько веселья, что Левчук просто проглотил язык, забыв весь их вчерашний инструктаж. Он мучительно перебирал в голове и не находил ни одной подходящей фразы, которую было бы кстати произнести при этой девушке. Остальные тоже онемели, будто оглушенные ее девичьей привлекательностью, и только дымили в санях самосадом. Наконец она не могла не заметить этой неестественной скованности ее спутников и, мило прикидываясь, что не понимает, в чем дело, спросила:

— Мальчики, ну что же вы молчите? Вроде не русские...

Тут она, между прочим, попала в точку. Из них троих русского не было ни одного — был украинец Зеленко и два белоруса, Левчук и Межевич. И этот Зеленко, который, кроме как на своем родном языке, не мог ни слова сказать по-другому, пошутил некстати:

— А мы — нимцы!

И надо же было тогда Левчуку в тон Зеленко выкинуть свою и еще более нелепую шутку, которую ему и теперь вспоминать стыдно. Но кто знал, что так обернется. Сидя сзади в санях, он при тех глупых словах Зеленко вдруг распахнул на себе тулуп, под которым с зимы для тепла носил суконный, со множеством галунов и нашивок трофейный мундир, и крикнул:

— Хэнде хох!

Не успели они опомниться, как их новый радист опрометью кувыркнулся с саней и скрылся за канавой в густой полосе молодого ельничка. Удивленный Зеленко придержал коня, они молча уставились взглядами в ельник, откуда, направленный на них, торчал вороненый ствол ППШ.

— Стой! Ни с места! — прозвучал оттуда чужой, напуганный голос человека, который сейчас мог сделать, что хочешь.

Они еще не сообразили, как реагировать на все это, как рядом, в санях, раздался заливистый озорной смех их радистки. Откинувшись на соломе, она безудержно хохотала, уронив на дорогу шапку, из-под которой вывалилась целая копна светлых, бережно подрезанных волос.

— Ой, не могу! Ой, кончаюсь!..

Несмело поддаваясь ее веселью, они заулыбались, с опаской поглядывая на ельник, откуда не сразу, настороженно вылез радист. Не опуская автомата, он остановился на дороге, будто не зная, как отнестись ко всему этому и прежде всего к обескураживающему смеху его напарницы.

Наконец, вволю насмеявшись, она взяла с дороги шапку и аккуратно подобрала в нее рассыпавшиеся свои волосы.

— Ладно, Лещев, хватит! Посмешили партизан...

Лещев после этих слов нерешительно опустил автомат, подошел и боком сел на самый задок саней, будто еще не веря, что напрасно испугался сам и напрасно напугал остальных. Все замолчали, было неловко, Клава с трудом отходила от своего долгого смеха.

А на другой день она плакала.

Какой-то отряд в Волкобродском урочище ввязался в бой с полицаями, и разведчики вынуждены были объезжать это неподходящее место, припозднились и заночевали в знакомой деревне у связного. Дядька хорошо принял их, натопил в хате и разостлал на полу куль соломы, на котором они и улеглись спать. Радистка же попросилась на печь, к хозяйке, где она никогда в жизни не спала. Она долго и подробно расспрашивала хозяйку, как и что там нагревается, куда идет дым, какие и для чего травы торчат по углам и что в мешочках в печурке. Перед тем, как лечь спать, они распределили время охраны во дворе, хотя дядька и взялся охранять их сам, но Левчук не хотел полагаться на одного дядьку. Чтобы никто не остался в обиде, как это было заведено в разведке, бросили жребий — каждый вытащил из его шапки бумажку с обозначенным на ней часом заступления на пост. Всем по паре часов за ночь — такая работа! Она также захотела стоять наравне со всеми и вытащила бумажку четвертой смены, с трех до пяти,— самое неудобное и сонное время ночи. Стоявший до трех Левчук предложил поменяться, но она ни за что не согласилась, она хотела исполнять свои партизанские обязанности наравне со всеми. Левчук не очень настаивал, он старался угождать ей во всем, и ночью, отстояв свое время, продрогший от холода, зашел в хату. На загнетке мерцала заставленная заслонкой коптилка, храпели на соломе ребята, он тихонько протопал в промерзших сапогах к запечью и позвал радистку. Она не отозвалась, а иначе будить он не решился, он просто не отважился дотронуться своей рукой до ее высунувшегося из-под одеяла остренького в гимнастерке плеча. Позвал еще раз, но она так сладко спала, что он третий раз звать не стал, погрел возле печи руки и вышел. Он отстоял и еще два часа — за нее, а потом уже разбудил ребят, и они начали собираться в дорогу.

Вот тогда она и расплакалась.

Плакала от обиды на себя, оттого, что так безбожно проспала свою первую в жизни боевую службу и что они так некстати пожалели ее. Весь следующий день она была угнетенно-молчаливая, и Левчук ругал себя за нерешительность, за робость, но ведь он же хотел как лучше. Он мерил на свой партизанский аршин, кто знал, что у этой москвички свои, иные, чем у него, мерки...

5

Кустарник на опушке сворачивал в сторону, впереди лежало картофельное поле, а деревни не было видно. Они ненадолго остановили коня, осмотрелись. От самой опушки в поле тянулись свежие, наверно, только на днях окученные борозды картофеля с фиолетовыми звездочками на сочной ботве, и они вошли в них. Бороздой пошире повели лошадь, сами пошли рядом.

Ботва была не очень высокой и не мешала идти. Поодаль виднелся ряд каких-то деревцев и кустарника, дальше была лощина, и за

ней темнел хвойный лес. Где было нужное им Залозье, никто из них не знал.

Они шли молча, часто поправляя на лошади Тихонова, который начал сползать на сторону. Постанывая и свесив голову, раненый, однако, цепко держался за автомат, надетый ремнем на хомут. Было похоже, что он в сознании, и действительно, минуту спустя десантник выдавил сквозь сжатые зубы:

— Долго еще?

— Что — долго? — не понял Левчук.

— Мучиться мне еще долго?

— Недолго, недолго. Потерпи малость.

— Где немцы?

— Да нет тут немцев. Чего ты боишься?

— Я не боюсь. Я не хочу бестолку мучиться.

Левчук не стал разубеждать его: он чувствовал какую-то его правду и признавал за ним право требовать. Он уже насмотрелся на разных раненых и знал, что тяжелые иногда словно дети — и капризные, и привередливые,— и что обращаться с ними надо по-хорошему, с лаской. Правда, иногда надо и построже. Строгость годилась для каждого, хотя не всякий раз ее позволяла совесть, некоторых просто жаль было донимать строгостью.

Они еще недалеко отошли от опушки, как вдруг сзади раздался встревоженный голос Клавы:

— Левчук! Левчук, глянь!

Левчук оглянулся — девушка присела в борозде и, втянув голову в плечи, смотрела в сторону, где в реденьком кустарнике не более чем в километре от них стояло несколько крытых брезентом машин, между которыми расхаживали фигуры в зеленом. Это были немцы.

Левчук только взглянул туда, и в его груди что-то недобро оборвалось от пронзительно ясной мысли — попались! Попались-таки хорошо — среди поля, с конем, теперь что?..

Но бежать, наверно, было уже поздно, Грибоед сразу упал, весь скрывшись в ботве, и Левчук рванул на себя тяжелое тело десантника. Одной рукой он не смог его удержать, и они вместе рухнули в картошку. Тихонов застонал, но тут же притих, растянувшись в борозде, а лошадь, оказавшись предоставленной себе самой, озадаченно уставилась вдаль на дорогу.

— Вот влезли так влезли! Это тебе не болото! — минуту спустя просипел Грибоед.

Левчук хотел было податься поближе к лошади, чтобы стащить с хомута автомат, но автомата там не оказалось, наверно, падая, его сгреб с собою десантник. Тогда Левчук осторожно выглянул из ботвы: прикрытые кустарником машины находились на прежнем месте, из одной, кажется, кто-то вышел, вдали тихо брякнула дверца. Наверно, там проходила дорога и немцы остановились на ней по какой-то своей временной надобности. Похоже, в поле они не смотрели и ничего еще не заметили.

А может, они скоро уедут?

В тягостном ожидании партизаны затаились среди росистого с ночи картофеля. Над лесом тем временем взошло солнце и широко разложило над полем блестящий веер прохладных с утра лучей. Наверно, эти лучи слепили немцев, которые потому и не замечали посторонних в поле.

Солнце поднялось выше, а они все лежали, неизвестно чего ожидая и на что надеясь. Тихонов держался спокойно, не двигался и молчал, хотя, как показалось Левчуку, слышал и понимал все, что здесь происходило. Левчук то и дело выглядывал из ботвы и скоро

заметил, что там, на дороге, уже кто-то стоит лицом к полю и смотрит в их сторону. Наверно, то же заметил и Грибоед, который злым шепотом принялся отгонять лошадь.

— Пошла! Пошла прочь! Прочь ты, холера!..

Но было уже поздно: немцы наверняка увидели одинокую лошадь в поле. Вскоре к первому подошел второй — высокий, в длинной шинели немец с ведром в руке, недолго они поговорили о чем-то, размахивая руками и всматриваясь в их сторону. И Левчук с уверенностью понял, что немцы их еще не заметили, заметили только лошадь.

А вдруг они пойдут за ней в поле?

Эта мысль не на шутку встревожила Левчука, и он тоже зашикал на их бедную, еще не обсохшую с ночи лошадку.

— Прочь отсюда! Прочь! А ну прочь! Пошла!..

Неразумное животное постояло, поозиралось по сторонам и без всякого внимания к непонятным окрикам ее хозяев стала обрывать губами ботву. Левчук едва не завыл с досады, но он не мог приподняться, чтобы отогнать лошадь. Он не мог даже как следует взмахнуть на нее.

— Грибоед! Грибоед! Отгони! Скорее отгони!

— Пошла, холера! Прэчь! А ну прэчь! Пошла!.. — громким шепотом старался Грибоед отпугнуть лошадь, но та, повернувшись поперек борозд, спокойно щипала молодую ботву.

— Чтоб ты издохла! Чтоб тебя волки съели!..

Если бы она издохла, для них бы, наверно, наступило облегчение. Но издыхать она явно не собиралась, а дорвавшись до ботвы, спешила насытиться, хотя и с хомутом на шее. И они, приуныв, съежились в своих бороздах, то и дело с тревогой выглядывая на дорогу.

— Что, немцы далеко? — забеспокоился раненый.

— Тихо! Лежи ты!.. — одернул его Левчук.

— Немцы далеко?

— Тихо! Какое далеко... Вон, на дороге...

— Сюда идут?

— Да нет. Лежи...

— Каб же нет, — просипел в своей борозде Грибоед, который, выглянув, тут же скрылся в ботве. — Идут уже.

Левчук только на какую-то долю секунды высунул из картошки голову, но и той доли было достаточно, чтобы увидеть, как два немца, неторопливо перешагивая через борозды, направлялись к ним. Что к ним, в том не было никакого сомнения — направление их движения Левчук определил точно. Но лошадь, похрупывая ботву, уже удалилась шагов, может, на двадцать, может быть, со временем она отошла бы и дальше. Слабая надежда мелькнула в сознании Левчука, только в ней и было спасение — другого не находилось.

— Где немцы? — снова встревожился Тихонов.

— Тихо! Замри!

— Где немцы? Идут?

— Идут! Тих...

— Брать идут? Нет уж, меня не возьмут!..

Последние его слова, которые он почти выкрикнул, предчувствием новой беды встряхнули Левчука. Через ботву он бросился к раненому, как вдруг от того брызнула и рассыпалась по картофелю автоматная очередь.

Теряя самообладание, Левчук рванул у него автомат, посчитав в запале, что десантник выстрелил в немцев. Но тут же он увидел разодранный окровавленный бинт на запрокинутой его голове, из ко-

торой, впитываясь в мягкую землю, медленно плыла кровь. Тогда он понял другое и вскочил, оборвав ремень автомата. С колена, не целясь, он дал короткую очередь в сторону немцев, которые сначала остановились в картошке, а потом прытко бросились назад, к дороге. Рядом звучно бахнул винтовочный выстрел Грибоеда, Левчук крикнул: «Беги!», и они, пригибаясь, изо всех сил побежали назад, к опушке.

— Ах ты дурак! Ах, обормот! — на бегу ругался Левчук, такого он не ожидал. По сути, это было предательством. Он не посчитался ни с кем, он заботился только о самом себе. О своей легкой смерти... Левчук быстро догнал Клаву, тоже бежавшую на опушку. На бегу они то и дело оглядывались на машины, куда уже добежали немцы и откуда прозвучало несколько выстрелов из винтовок — пули с тугим свистом прошли над головами. Но от дороги до опушки было все же не близко, и, погодя, Левчук начал обретать прежнюю уверенность, поняв, что они уйдут. Кустарник был рядом, в кустарнике далекие выстрелы им не страшны.

Прежде чем забежать за кусты, Левчук оглянулся: несколько немцев возле машин смотрели им вслед. Но, наверно, не надеясь попасть, они не стреляли. Поодаль в картофеле, помахивая хвостом, сиротливо стояла лошадь с хомутом на шее. Тихонова отсюда уже не было видно.

— Балда стоеросовая! — не мог успокоиться Левчук.— Столько мучились с ним. А он...

Один за другим они скрылись в кустарнике и долго еще шли и бежали, стараясь как можно дальше уйти от этого злополучного места. Кустарник тут был негустой, с березнячком и редкими молодыми елками, места, что казались погуще, Левчук обходил стороной. Они могли бежать и быстрее, если бы не все время отставшая Клава, которую они боялись тут потерять, и сдерживали свой шаг. Девушка с немалым усилием догоняла их и, чтобы не упасть, хваталась руками за стволы и ветви деревьев. Чувствовала она себя плохо, Левчук видел это, но тут останавливаться не годилось, надо было уходить как можно дальше, и он упрямо стремился вперед.

Спустя какое-то время они выбрались из мелколесья на широкую луговую пойму с редкими кустами лозняка в высокой траве. На краю ее Левчук позволил себе задержаться, чтобы отдышаться и подождать Клаву. Немцы их, кажется, не преследовали, но внутри у него все мелко дрожало, и он думал, что они только чудом избежали гибели. И все через Тихонова, который убил себя, на что, конечно, он имел полное право, но ведь тем самым он едва не погубил и остальных. Пристально всматриваясь в кусты на лугу, чтобы опять не наскочить где на немцев, он почему-то не в лад со своим настроением подумал: а может, десантник их спас? В самом деле, если бы он не выстрелил и тем не испугал немцев, те, разумеется, подошли бы ближе и наверняка обнаружили бы их в картофеле. Стала бы неизбежной стычка, в которой еще неизвестно, кому бы повезло больше, очень просто могли полечь все.

Вот тебе и балда!..

Действительно, было похоже на то, что десантник их спас. Освободил от себя — это уж точно. Уже за одно это следовало быть ему благодарным, иначе как бы они убежали без лошади, с раненым? Война преподала Левчуку несколько самых удивительных уроков, он много узнал на ней и считал, что больше удивить его невозможно. Но вот, выходит, все удивлялся. Наверно, ее неожиданностям не будет конца, и вряд ли хватит всей жизни, чтобы как следует разобраться в ее причудах.

Вот хотя бы и Клава.

Радистка со страдальческим выражением тронутого коричневатыми пятнами лица догнала мужчин и тяжело опустилась коленями на траву.

— Ой, не могу... Не могу я...

— Ну вот еще! — не сдержался Левчук.— Что ж тогда? Отошли всего километр...

— Ды ужо километры два,— поправил Грибоед.

— Так что ж — два! Для них это — пара минут. Видели машины?

Ему никто не возразил, все замолчали. Клава, сидя в своей прежней позе, устало опиралась руками оземь и все запаленно дышала, готовая вот-вот расплакаться, а они двое стояли над ней и не знали, что делать. Грибоед хмуро поглядывал на нее из-под своей зимней шапки, что-то озабоченное тая в своих чувствах,— может, жалость, а может, упрек за все, что с нею случилось. Левчук был на нее почти зол, ясно сознавая, что задерживаться тут не годится. Им тут не место, тут их запросто могут настигнуть немцы.

— Так. Давай поднимайся. Луг перейдем, вон соснячок, там передохнем.

Клава придержала дыхание, и, сделав над собой заметное усилие, поднялась.

Они медленно, с остановками перешли луг, перебрались через обросший осокой ручей, через который Грибоед перевел Клаву. В редком соснячке взобрались на пригорок, и Клава снова в изнеможении упала на сухую вересковую поросль. Мужчины остановились. Левчук снял с головы пропитанную потом кепку, он уже согрелся, уже с неба неплохо пригревало солнце, день обещал быть жарким и безветренным. День этот надо было пережить, что в их положении было не легче, чем пережить вечность. Особенно с такой спутницей.

— Да, дела! — проговорил Левчук и внимательно посмотрел на Грибоеда. Тот, трудно, сипато дыша, выжидательно стоял в своем узкоплечем мундирчике, оснащенном по немецкой моде множеством карманов и пуговиц.— Хоть бы где баба какая. Какой лагерь семейный, что ли. Как на грех...

— Коня надо и повозку. Без коня как?..— рассудительно сказал Грибоед.

— Была повозка. И конь. Проворонили балбесы... Вот что! Давай, дед, иди искать деревню. Может, где есть недалеко. Без немцев чтоб.

Грибоед не стал долго тянуть, озабоченно взглянул на Клаву и неслышным шагом направился с пригорка.

— И не задерживайся, слышь? — крикнул ему вслед Левчук.

Клава затихла на траве, а Левчук огляделся. За сосняком, кажется, лежало невспаханное поле, за которым опять тянулись леса, и нигде не было видно никаких признаков близкой деревни. Стояла утренняя тишина, в сосновых ветвях беззаботно возились птицы; выстрелов или человеческих голосов не было слышно. Присматриваясь к сосняку, Левчук полукругом прошел по взлобку, послушал — вроде нигде никого. Тогда он вернулся к Клаве и, все вслушиваясь в лесные шорохи, сел подле девушки. Подумав, что, наверно, Грибоед вернется не скоро, стащил сапоги, разбросал по траве сырые портянки.

Клава лежала на боку и большими, полными тоски глазами смотрела в сосняк.

— Наделала я вам забот. Ты уж меня извини, Левчук.

— Что извинять. После войны сочтемся.

— Ох, как только дожить до ее конца? Не доживу я.

— Должна дожить. Он не дожил, а ты должна. Надо постараться.

— Разве ж я не стараюсь...

Она вдруг заплакала, тихонько и жалостно, а он сидел рядом, вытянув к солнцу красные натертые стопы и молчал. Он не утешал ее, потому что не умел утешать, к тому же он считал, что в том, что с ней случилось, Клава была виновата сама.

6

Тихо всхлипывая, Клава плакала долго, и Левчук в конце концов не стерпел.

— Ничего,— сказал он, смягчаясь.— Как-нибудь. Ты потерпи.

— Ой, я уж так терплю, но... Сам знаешь.

— Главное, к какому-нибудь жилью прибиться. Да вот ни черта нет. Все вокруг посжигали.

— А если где не сожгли, так ведь немцы,— сказала Клава с наболевшей тоской. Видно, она об одном этом только и думала всю дорогу.

— Немцы, конечно,— невесело согласился Левчук.

Он старался вести себя сдержанно и с виду казаться безразличным к ней, а внутри в нем все возмущалось — такого поворота событий он не ожидал. Еще вчера он сидел на Долгой Гряде и думал только о том, отобьют очередную атаку карателей или нет, а если нет, то куда и как бежать, где спасаться. И вдруг это проклятое ранение, которое все так переиначило, навалив на него новые обязанности с Тихоновым да еще Клавой. Что ему теперь делать, если ей вдруг приспичит? Он даже начал бояться, чтобы этого не случилось тут же, и искоса поглядывал на нее. Но Клава, полежав немного и, наверно, переведя дух, села ровнее на ватнике, по-прежнему опираясь оземь руками. Ее шитые на заказ кожаные сапожки с белыми, вытертыми о траву носками были мокрые, юбчонка тоже подмокла снизу, и Левчук сказал:

— Сними сапоги. Пусть подсохнут.

— Да ну...

— Сними, сними! — И поняв, что ей неловко сделать это в ее состоянии, поднялся.— А ну дай!

Левой рукой он стащил с ее ног один, а затем и другой сапог. Клава после минутного замешательства почувствовала себя свободнее и подняла к нему благодарный взгляд.

— У тебя как плечо? Перевязать, может?

— Ерунда. Не надо.

Он уже притерпелся к ране в плече и все жалел, что пошел в санчасть, лучше бы остался в роте. Глядишь, пробился бы со всеми из кольца и не знал бы забот, которые теперь одолевали его.

— Ну и Тихонов! Не знаю даже, что и думать,— сказал он, присев на траве невдалеке от Клавы.

— Испугался. А может...

— Испугался, факт. Но что бы мы делали, если бы не испугался?

— А может, он ради нас? — сказала Клава.

— А кто его знает? Разве теперь поймешь? Чужая душа — потемки.

— Знаешь, хорошего человека издали видно.

— Ну да! А плохие они что, думаешь, не маскируются? Под хороших? Вон как тот гад! Уж такой симпатяга был...

— Ты о ком?

— Все о том же.

— Что теперь о том говорить! — недолго помолчав, сказала Клава.— После мы все умные.

— Вот именно — после. И умные и строгие. А поначалу такие добренькие. Уши развесили, а он нож в спину.

— Платонов и тогда говорил: есть подозрение. Но ведь доказательств-то не было.

— А, доказательств ждал? Ну и дождался.

Они помолчали недолго, Левчук, откинувшись на локоть, кусал травинку, обводя взглядом сосняк. И Клава, что-то преодолев в себе, заговорила негромким голосом:

— Конечно, насчет Платонова мы теперь можем судить по-разному. Осуждать его. Но каково и ему было? Я же помню, он говорил мне: что-то нечисто, но как узнаешь? Для того чтобы узнать, время надо.

— Надо было шлепнуть обоих,— просто решил Левчук.— А что? Раз сомнение, то и обоих. Чтоб без сомнения. Вон у Кислякова было: прибежал дядька из деревни, просится в отряд, а у самого брат в полиции. Ну что делать? Как говорится, бабка надвое гадала: может, честный, а может, и агент. Ну и шлепнули. И все хорошо. Немного первое время совесть щемила, но пощемила и перестала. Зато никаких сюрпризов.

— Нет, так нельзя,— тихо сказала Клава.— Вы все обозлились на этой войне. Оно понятно, но нехорошо это. Вот Платонов был не такой. Он был человечный. Может, потому у нас с ним так и получилось. Он другого человека чувствовал, как себя самого.

— Вот-вот-вот! — подхватил Левчук и сел ровно.— Человечный! Через эту его человечность вот как тебе быть? Да и нам тоже...

— Что ж, может, и будет плохо. Но все равно он хороший. Главное — добрый. А доброта не может стать злом.

— Что ты говоришь? — язвительно удивился Левчук и вскочил на ноги.— Не может? Вот смотри. Я буду добрый и скоренько сплавлю тебя куда в деревню. В первую попавшуюся. Ты же хочешь, чтобы скорее куда определиться. Ведь правда? Чтобы тебе успокоиться. Вот я тебя и пристрою. А немцы через день и схватят. Так нет, я не добрый, я тебя мучаю вот, тащу, а ты проклинаешь меня, правда? И все-таки я, может, куда затащу, где спокойнее. Где ты родишь по-человечески. И присмотреть будет кому.

Он выпалил это одним духом, может, чересчур запальчиво, и она замолчала, не ответив. Но Левчуку не надо было ни ее согласия, ни возражения — он был уверен в своей правоте. Он давно воевал и знал, что на войне другой правоты быть не может. Какая-то там доброта — не для войны. Может, в свое время она и не плохая штука, может, даже случается кстати, но не тогда, когда тебя в любой момент подстерегает пуля.

Клава затихла, погрузившись в свои нелегкие думы, а он босиком отошел по колючей траве на пригорок, через верхушки сбегавших вниз сосенок посмотрел на пойму. Кажется, в той стороне не было ни дорог, ни деревень, не слышно было никакого звука и не видно никакого признака присутствия немцев. Наверно, все же они неплохо забились в эту лесную глушь, если бы только им попалась какая-нибудь деревня. Им теперь крайне нужна была какая-нибудь деревенька, хутор, лесная сторожка с людьми, без помощи которых Клава не могла обойтись.

Левчук тихонько прошелся по пригорку между молодых сосенок, послушал и, осторожно ступая босыми ногами по колючей земле, вернулся к Клаве. Радистка лежала на боку с закрытыми глазами, и он с некоторым удивлением вспомнил, как она оправдывала Пла-

тонова. Довел девчонку до невеселой жизни, погиб сам, но и мертвый все еще для нее что-то значил. Впрочем, любила, потому вся эта каторга, на которую он ее обрекал, и кажется ей сладким раем.

Он тихонько присел на траву, ближе пододвинул к себе автомат. Очень хотелось лечь, расслабить усталое тело, но он боялся невзначай заснуть и не ложился. В тиши утреннего леса он начал думать об их положении, о бедолаге Тихонове, о том, где бродит теперь Грибоед. И, конечно, не мог не думать о Клаве.

Насчет Платонова она, возможно, была и права, Платонов был человек рассудительный, на редкость справедливый ко всем, и не по-военному спокойный. Левчук знал его еще с довоенного времени, когда они вместе служили в Бресте — Левчук командиром отделения связи, а капитан Платонов — ПНШ полка по разведке. После окружения и разгрома дивизии Левчук перебился зиму в деревне у отца, а весной, когда их группа слилась с группой Ударцева, он встретил там и Платонова. И удивительное дело: бои, разгром, лесная, полная явных и скрытых опасностей жизнь, казалось, ничуть не повлияли на характер капитана, который по-прежнему оставался уравновешенным, бодрым, одинаковым со всеми — начальниками и подчиненными, никогда не порол горячки, всегда старался поступать обдуманно, наверняка. Он изменил себе только однажды, поступив второпях, необдуманно, и эта его необдуманность стоила ему жизни.

Началось все с двух красноармейцев, которые в конце мая появились в отряде.

Они прибежали со станции, где большая команда военнопленных перегружала с узкоколейки лес для отправки его в Германию. В отряд их привела Зойка, отрядная связная из путейской казармы, которую они упросили связать их с партизанами. И Зойка связала. В отряде к тому времени уже было немало бежавших из плена, поэтому появление еще двух беглецов ни у кого не вызвало удивления. Удивиться и даже встревожиться пришлось несколько позже, когда с новичками начали беседовать в особом отделе.

Первым вызвали туда Шевцова, высокого исхудавшего от непосильных работ человека, до армии, по его словам, работавшего инженером в Кемерове. Он рассказал, что год искал случая вырваться из плена и найти партизан. Теперь он был счастлив, что его мечта осуществилась, и просил дать ему оружие, чтобы бить тех, кто причинил ему столько страданий и горя.

Все было просто, обычно, как и со многими другими в отряде. Шевцова без особых сомнений зачислили во вторую роту и отправили за ручей в ротный шалаш.

Беседу с его напарником пришлось отложить на вечер, потому что начальник особого отдела Зенович должен был куда-то уезжать и коновод с оседланной лошадью уже дожидался возле землянки. Вернулся Зенович поздно, когда партизаны, поужинав, располагались на отдых, и возле своей землянки нашел второго беглеца по фамилии Кудрявцев. Оказывается, около часа тот дожидался начальника, к которому у него было неотложное дело. Зенович слегка удивился, но, отдав коня коноводу, открыл дверь землянки и зажег на столе коптилку.

Кудрявцев — привлекательный на вид парень с простодушной улыбкой на чернобровом лице — сразу и подробно рассказал о себе: как в тяжелых боях потерял свой танк, как товарищи спасли его из огня и даже показал на спине шрам от тяжелого ранения, из-за которого оказался в плену. Родом он был из Ленинграда, до армии работал на знаменитом заводе, любил родину и ненавидел немцев, с которыми готов был драться в любой партизанской должности, хо-

тя сам, между прочим, имел специальность радиста высшего класса. И еще он заявил по секрету, что его напарника Шевцова незадолго до их побега несколько раз вызывали к шефу СД, похоже, вербовали в агенты. Впрочем, возможно, Кудрявцев и ошибается, так как сам при беседах в СД, разумеется, не присутствовал, но, как патриот и честный человек, не может не поставить об этом в известность командование отряда. Зенович нарочно спокойно сказал, что ему обо всем известно, хотя об истории с СД он слышал впервые. Наскоро закончив с ним разговор, он тут же послал дежурного за Шевцовым.

Шевцова привели не скоро, оказывается, тот уже спал и, услышав теперь о вызовах в СД, очень удивился. Или, может, сделал вид, что удивляется. Он отрицал, что его вызывали в СД, клялся, что не брал никаких обязательств перед немцами и не является их агентом. О Кудрявцеве он ничего плохого сказать не мог — вместе работали, вместе спали в бараке, улучив момент, бежали во время переноски старых лежаков с эстакады.

Зенович доложил обо всем командиру, и, посоветовавшись, они велели обыскать Шевцова. Когда той же ночью ребята распороли отвороты его брюк, то обнаружили в них ситцевую тряпицу с какими-то цифрами, написанными водостойкой краской. Что это такое, Шевцов объяснить не мог, но все поняли, что это немецкий шифр. Такие штучки партизанам уже были известны, и Шевцова на другой день расстреляли в овраге.

А Кудрявцев этим поступком снискал всеобщую симпатию среди партизан отряда. Действительно, помог разоблачить немецкого агента и тем, можно сказать, спас отряд; не трудно было представить, что бы случилось с отрядом, если бы в нем оставался этот Шевцов. Да и вообще новый партизан оказался удивительно симпатичным парнем, отличным стрелком, понимал толк в ремонте часов и вдобавок ко всему великолепно играл на гармошке. Гармошка, правда, была у них никудышная, с прорванным мехом и все время западавшими клавишами, голоса ее были разлажены, тем не менее Кудрявцев играл на ней так здорово, что можно было заслушаться. Улучив свободную минуту, он садился на пенек возле шалаша первой роты и начинал потихоньку наигрывать «Страдание» или «Синенький скромный платочек», возле него собирались ребята, все слушали да смотрели, как ловко бегают по клавишам его пальцы, а сам гармонист светло всем улыбается, сдержанно радуясь своей игре.

Как-то не сразу и незаметно к шалашу первой роты стала наведываться Клава.

Приходила она одна, и с какою-то застенчивой робостью останавливалась возле березок, поодаль от горластой группки ребят, которые сразу же начинали зазывать ее подойти ближе. Кудрявцев, по обыкновению, живо отзывался на ее появление у березок и дальше играл, улыбаясь, уже только одной ей. Клава, замечая это к себе внимание, немного терялась, но стояла, слушала, легко и приветливо отбиваясь от приставаний чрезмерно развязных ребят. Впрочем, к ней особенно не приставали, в отряде уже было кое-что известно о ее отношениях с начштаба Платоновым. Левчук в то время обычно находился там же или поблизости за каким-либо пустяковым занятием, но он всегда замечал ее появление возле гармониста, и ни один ее шаг, взгляд, улыбка не ускользали от его внимания. Он сразу заметил симпатию к ней Кудрявцева, и это его насторожило.

Левчук сам точно не знал, любил ли он Клаву, может, она просто немного нравилась ему, но он ничем не показал этого, потому что не хотел переходить дорогу Платонову. Еще в первый день, когда он привез ее из Кировской, с первого взгляда между ним новой ра-

дисткой и их начальником штаба он понял, что так у них не обойдется: очень уж они были подходящими друг для друга. И он отступился от нее, но только ради одного Платонова и более отступаться не хотел ни для кого на свете. Даже если бы тот был, как ангел, красивый и играл на органе, а не на этой разбитой гармошке. И Левчук тихо, но упрямо, со всей ревностной молодой силой возненавидел их новоявленного партизана, всеобщего любимца Кудрявцева. Однажды он даже решился о нем поговорить с Платоновым и даже остановил начштаба, встретив его на тропке, но того позвали в штабную землянку, и Левчук, минуту выждав, пошел по своему делу. Потом он очень жалел, что их разговор сорвался. Кто знает, может бы, он предотвратил бы большую беду, которая вскоре разразилась в отряде.

Как-то у Клавы начались нелады с рацией, однажды она пропустила сеанс утренней связи, так как не могла настроить свой «Северок». Лещева в то время в отряде уже не было — откомандировали в группу Теслюка, и тогда в штабе вспомнили о Кудрявцеве. Он охотно взялся помочь, что-то там подвинтил, подладил, и рация действительно заработала. Правда, тут же оказалось, что долго она не продержится, что надо заменить какую-то зубчатку. Но где было взять в лесу эту зубчатку? И Кудрявцев, подумав, сказал, что попробует ее раздобыть на станции у знакомого человека, который может довериться ему и никому больше. Платонов подумал, посовещался с Клавой, и они решили рискнуть, послать Кудрявцева, только не одного, а с группой, и командиром группы был назначен Левчук. Левчук уже много раз ходил на ту станцию, имел там кое-каких знакомых и не придал этому заданию большого значения. Он бывал на заданиях куда более трудных, и все обходилось, считал, что обойдется и на этот раз.

На станцию Левчук должен был отправиться в воскресенье, а в субботу, возвращаясь из Клесцов, во главе трех разведчиков забрел по дороге на хутор к знакомому хозяину, который хлебосольно их угостил. И когда, прибыв в отряд, Левчук доложил командиру о выполнении задания, тот сразу же распорядился отправить его в яму возле караульной землянки, где у них помещалась гауптвахта. Левчук вскипел, наговорил командиру грубостей, после чего был вынужден сдать автомат и под конвоем командирского ординарца отправиться к яме. Там он в сердцах швырнул в нее свою телогрейку, спрыгнул сам и сразу же улегся спать, подумав, что утром его отпустят.

Но его не отпустили ни утром, ни вечером, он просидел в яме до понедельника, пока в отряде не разнесся слух, что на станции, попав в засаду, погиб их начштаба Платонов.

Услышав об этом, Левчук не мог больше выдержать, не обращая внимания на окрики часового, выскочил из ямы и бросился к штабной землянке, возле которой уже билась на траве Клава и бушевал командир отряда. Другие командиры ходили с поникшими головами и тяжело вздыхали.

Как и предчувствовал Левчук, в неожиданной гибели начштаба была и его большая вина. Из-за его ареста командовать группой взялся Платонов, который вечером в воскресенье вместе с Кудрявцевым и тремя партизанами отправился на станцию. Двое из этих партизан сидели теперь перед командиром и рассказывали, как все случилось.

Их предал Кудрявцев.

Сначала все шло хорошо и не наводило ни на какие подозрения, в вечерних сумерках они подобрались к станционным огородам и

укрылись в густой, разросшейся за лето конопле. Выждав, когда стемнеет совсем, Кудрявцев узеньким переулочком отправился к знакомому дядьке, остальные начали ждать. Ждать пришлось долго, думали, с Кудрявцевым случилось что-нибудь непредвиденное. Потеряв терпение, Платонов вылез в темноте из конопли, чтобы взглянуть, что делается поблизости. Но не успел капитан подлезть под изгородь, как послышался его сдавленный крик, поодаль грянули выстрелы. Ребята бросились из конопли на другую сторону огорода, но и там наткнулись на полицейских, ударивших по меже из автоматов. Поняв, что попали в засаду, все бросились врассыпную и уже на бегу услыхали голос Кудрявцева, кричавшего полицаям: «Того, того держите, в кубанке!»

В кубанке у них был Платонов.

Потом стало известно, что начальника штаба с простреленной грудью привезли на допрос в полицию, где он, не приходя в сознание, скоро скончался. Кудрявцев после той акции куда-то пропал со станции. Наверно, хозяева перебросили его в другое место, где тоже ценили хорошую игру на гармошке.

Клава безутешно убивалась, скрипел зубами Левчук. Спустя несколько дней его перевели из взвода разведки в третью роту рядовым пулеметчиком.

7

Грибоед пришел часа через три, не раньше.

Левчук уже передвинулся в тень, стало жарко, портянки на солнце сделались жесткими, как из жести, сапоги тоже подсохли, и он едва натянул их на ноги. Клаву почему-то стал сотрясать озноб, она то и дело вздрагивала, и Левчук прикрыл ее телогрейкой, уговаривая успокоиться, заснуть. Он думал, что во сне не должно начаться то. Его самого неудержимо клонило в сон. Но спать он себе не позволил. Чтобы разогнать сонливость, решил чем-либо заняться: отомкнул диск от автомата, снял крышку. Диск был неполон, Левчук сосчитал патроны, их оказалось всего сорок три — на четыре хорошие очереди. И он снова собрал магазин, приладил оборванный ремень и стал нетерпеливо выглядывать Грибоеда. Он ждал его с той стороны, в которую тот ушел, но ездовой появился из сосновых зарослей сзади и первым делом принялся отряхивать от хвои свою косматую шапку.

— Ну что? — не стерпел Левчук, ничего определенного не увидев на лице ездового.

Подойдя ближе, тот молча положил на траву винтовку, устало опустился сам и снял с головы шапку, обнажив потный, лишенный загара, морщинистый лоб. Последний раз брился он, видно, на прошлой неделе, и все его лицо было покрыто густой беспорядочной порослью.

— Ды як сказать? Деревня там есть одна. Но спаленная.

— Что радости — спаленная! — разочарованно бросил Левчук.— Нам с людьми надо.

— Спаленная, ага,— не обращая внимания на его недовольство, продолжал Грибоед.— Гуменцо и уцелело только. С краю. Думал, пустое, гляжу баба ходить там, возле жита.

— Баба?

— Баба, ага.

— Говорил с ней?

— Да я не говорил. Я увидал и назад. Спешил же.

— Ага, ну хорошо!— подхватился Левчук.— Тогда давай, Клава. Вставай! Это далеко?

— Ды не очень. Вунь за соснячком ров, ручей гэты. Затем растяроб... Жито там,— начал припоминать Грибоед.

— Ну сколько? Километр, два, три?

— Может, два, ага. Йли три.

— Пошли!

Клава с усилием поднялась, пошатнулась, едва устояв на ногах. Потом с трудом встал Грибоед. Выглядел он уставшим, наверно, ему тоже надо бы сперва отдохнуть, но Левчук спешил дойти до людей, чтобы избавиться от затянувшейся лесной неопределенности. Все-таки в нем жила и с каждым часом усиливалась тревога за Клаву.

Они не спеша, чтобы не оставить сзади радистку, сошли с соснового пригорка, обошли овраг, за которым вскоре набрели на лесную дорожку. Прежде чем пойти по ней, Левчук посмотрел направо, налево, пригляделся к следам. Но следы тут были все старые — замытые дождем колеи, несвежие отпечатки копыт и колес, похоже, тут давно уже не ездили. Тем не менее Левчук сдвинул на плече автомат, чтобы тот был под рукой, стволом вперед, и пошел, вглядываясь в каждый поворот дороги.

— Ды никого тут нет, чего глядеть,— заметив настороженность Левчука, сказал Грибоед.— Я же шел...

— Гляди, какой смелый: шел! — огрызнулся Левчук.— А если немцы?

— А черт с ними. Видно, такая судьба. Куда денешься...

— Ну знаешь... Это ты так можешь себе думать. А нам еще жить хочется. Правда, Клава?

Ковыляя сзади, Клава не отозвалась. Видно, ей было не до шуток. Кусая засохшие губы, радистка уже едва терпела эту дорогу. Левчук озабоченно сдвинул брови — хотя бы скорее дойти до этого разведанного Грибоедом гумна, а то еще приспичит в лесу, что тогда с ней делать? Слова Грибоеда относительно своей судьбы не понравились Левчуку, который вообще был против всякой покорности, тем более в войну. Хотя и нетрудно было понять этого ездового, которого не очень баловала жизнь и совсем доконала война.

— А я, знаешь, так и жить не очень хочу. Можно сказать, и совсем не хочу,— загребая босыми ногами слежалый песок, говорил Грибоед.— Зачем мне та жизнь, если моих никого не осталось? Ни бабы, ни дитенков. Война кончится, что я? Кому буду нужный?

— Чудак ты! — сказал Левчук.— Война кончится, в почете будешь. Ты же вон какой заслуженный! С первой весны в партизанах?

— С первой, ага.

— Орден заработаешь, человеком станешь. Хотя, конечно, для ордена надо не обозником быть.

— Э, зачем мне орден! Мне бы Володьку моего. Всех бы отдал— и дочек и бабу. Лишь бы Володьку одного...

— Володьку что, тогда убило? — заинтересованно спросил Левчук.

— Ну. Считай, на моих руках. Разрывная в бок. И кишечки вылезли. Такие тоненькие, как у птички. Собирал, собирал, да что... Разрывная!

— Да, это плохо,— посочувствовал Левчук.— Хуже некуда.

Плохого в эту войну хватало, но судьба Грибоеда была особенно скверной. Трудно сказать, то ли для этого были какие причины, то ли все решала слепая власть случая, но пережил старик столько, что не пожелаешь врагу. Частично через свою доброту, как считал

Левчук, который уже был наслышан в отряде о несчастьях этого человека.

Грибоед с семьей жил на Выселках, так называлась деревня, стоявшая в стороне от больших дорог возле пущи. Усадьба его была и еще дальше — на отшибе от деревни, почти на опушке леса. Фронт в то первое военное лето прокатился по здешним местам никем не замеченный — крестьяне не видели ни отступления наших, ни прихода гитлеровцев. Люди долго еще занимались тем, чем занимались сотни лет до войны, и в тот день копали картошку. Копал ее и Калистрат Грибоед с женой и престарелой матерью, им помогали дети— старшие Галя и Володька; Шура и самая меньшая Манечка грелись возле костерка на меже — пекли картошку. Грибоед спешил, оставалось копать немного, как, вдруг распрямившись, увидел на краю ольшаника человека, который молча махал рукой — звал его подойти.

Грибоед бросил в корзину картофелину и оглянулся. Жена, сосредоточенно перегребая руками землю, ничего не замечала вокруг, и он, широко перешагивая через борозды, пошел к опушке.

Спрятавшись за молодой сосенкой, незнакомец ждал. Это был обросший бородкой, еще не старый человек в военном бушлате с немецким автоматом в руках. Он расспросил Грибоеда о немцах, полиции и попросил помочь — невдалеке за болотцем остались его товарищи, двое из них ранены и сами идти не могут. Кроме того, им надо где-то укрыться на время. Грибоед все понял и, ничего не сказав, вернулся на поле, запряг кобылку и поехал по дорожке в ольшаник. Тут к нему подсел тот военный с немецким автоматом в руках.

Они отъехали недалеко, военный показал место в еловой чаще возле дороги, где ждали его товарищи. Их было трое — двое тяжело раненных, которые сами идти не могли, и молоденький курносый боец с нежным пушком на щеках, по имени Веня. Они перенесли раненых в повозку и, когда стемнело, приехали к Грибоеду на усадьбу.

Три недели раненые — полковник-танкист и политрук — лежали в избе, бабы, как могли, ухаживали за ними, однажды Грибоед привозил из местечка знакомого фельдшера, хорошо заплатил ему, и фельдшер оставил какое-то лекарство, которым сказал присыпать раны. Лекарство оказалось хорошее, раны неплохо заживали, хотя и не так скоро, как хотелось бы раненым. Их здоровые товарищи — Терехов с Веней — часто отлучались с усадьбы и по нескольку дней не ночевали дома. Они ничего не рассказывали хозяину, но он знал— искали партизан.

Все обходилось более-менее благополучно, постепенно полковник начал подниматься с кровати и прохаживаться по избе, политрук пока еще только начинал садиться в постели, как на Выселки заявилась полиция.

Правда, Грибоед заметил опасность вовремя, раненых наспех забросали тряпьем в запечье, и когда два полицая зашли в избу, посторонних в ней не было видно. Чтобы задобрить полицаев, Грибоед сунул им бутылку самогона, жена достала из кубла кусок сала, и довольные бобики смылись похмеляться. Однако похмелившись, они продолжали облаву и, отъезжая в местечко, увели с собой трех незнакомых, обнаруженных в Выселках, их хозяев забрали тоже. Вечером, когда вернулись домой Терехов с Веней, они все недолго посовещались и решили в ближайшее время переселяться в лес.

За ольшаником по соседству с усадьбой вырыли землянку, тщательно укрыли ее мхом и лапником и так замаскировали, что в десяти шагах невозможно было угадать, где тут землянка. Внутри поста-

вили склепанную из жести печурку, хорошо натопили ее и в ночь под Октябрьские праздники переправили туда раненых. Правда, долгое время просидеть там безвылазно было невозможно, надо было заботиться о пище, одежде, и по ночам военные наведывались к Грибоеду, да и он нередко заходил в землянку. Пока не нападал снег, все обходилось благополучно, но после первых же снегопадов начали оставаться следы, и чем дальше, тем больше. Образовалась даже небольшая тропинка от усадьбы в ольшаник. Как Грибоед ни маскировал ее от чужого глаза, все-таки недобрые люди что-то заметили и донесли немцам.

Его спас случай, или, может, судьба, как считал Грибоед. Другим повезло меньше.

Незадолго до Нового года кончились дрова, которых теперь требовалось вдвое больше, потому что в землянке топили подолгу и часто — все равно было холодно, особенно раненым. Но хороших дров поблизости уже не осталось, крестьяне ездили за десять километров в пущу. Как-то утречком на рассвете Грибоед разбудил Володьку, запряг в сани кобылку, и они поехали к знакомой делянке, где несколько лет лежали заготовленные, да так и не вывезенные в Донбасс штабеля рудстойки. Делянка была неблизко, но Грибоед имел намерение к ночи управиться и одним заездом подбросить дров и в землянку. Тем более что с утра посыпал мелкий снежок, значит, следа не будет, что и требовалось для безопасности.

Однако произошло непредвиденное. Когда они с нагруженными санями переезжали Кривой ручей, сломались два копыла в санях, бревна осели концами в снег, кобылка как ни старалась, не смогла взобраться на ровное. Пришлось разгружать сани и вытаскивать дрова из овражка за три раза, потому они припозднились и только около полуночи подъезжали к Выселкам. Грибоед шел рядом с кобылкой, Володька, притомившись, сидел на дровах; недоспав утром, мальчишка начинал клевать носом, и отец все оглядывался, чтобы тот сонный не свалился под полоз.

Им оставалось, может, километра два до землянки, как в ночной тишине посыпались выстрелы.

Выстрелов было немного — несколько раз бахнули винтовки, протрещал и смолк автомат. Вроде бы донесся и крик, или, может, им так показалось, и все снова затихло. Встревоженный недобрым предчувствием, Грибоед свернул с дороги под ельник и, передав вожжи Володьке, пустился через лес к землянке.

Еще не добежав до нее, он понял, что случилась беда. Дверь в землянке была сорвана с самодельных петель, на снегу валялись соломенные матрацы, скамейка, кое-какое тряпье из землянки, снег вокруг был истоптан чужими ногами. Наверно, тут же произошла и перестрелка, несколько гильз, подобранных Грибоедом, свежо воняли порохом.

Грибоед бросился по снегу через ручей к своей недалекой усадьбе, и вскоре услышал, как там распоряжались полицаи. Раздавался зычный командирский голос, слышался женский плач, там громили его усадьбу, как потом оказалось, забирали семью и погружали на сани имущество.

Грибоед простоял под кустами до того времени, пока не увидел, как трое саней отправились на большак в местечко. Тогда он подался было к ограбленной своей хате, но, увидев ее распахнутую настежь дверь, затаился за вербой. Он уже понимал, что все пропало, что уцелел только он да Володька. Бобики могли также оставить засаду, и Грибоед, постояв за вербой, потащился назад, в кустарник.

Он вернулся к напуганному Володьке, сказал, что теперь они ос-

тались вдвоем, сбросил с саней дрова и направил кобылку в самую глушь пущи. Там они построили под елкой шалаш, в котором продрожали от стужи два дня и две ночи, доели последний кусок хлеба, прихваченный с собой в лес. Начали голодать. Спустя еще два дня голод и тревога о семье снова погнала Грибоеда в Выселки. На этот раз там засады не было, Грибоед походил по выстуженной, непривычно молчаливой хате, подобрал кое-что из одежды, ведро, набрал картошки из погреба — больше тут ничего не осталось, все забрала полиция. Эти жалкие остатки его имущества, а также картошка и спасали их первое время в пуще, не давая замерзнуть или помереть с голода. Неделю спустя они построили крохотную земляночку в чаще, смастерили печку, которая хотя и страшно дымила, но немного и грела.

Так отец с сыном решили дожить до весны и, возможно, дожили бы, если бы не их молодая жеребая кобылка, которой тоже хотелось есть. Сена же в пуще зимой нигде не было, оно было в пуне в Выселках, и Грибоед, жалея скотину, раза два съездил на усадьбу. Все обошлось хорошо, его никто не встретил, а выследить было нельзя: время Грибоед выбирал под метель, чтобы не оставалось следов.

Однажды поехать за сеном напросился и Володька. Мальчишка за время их лесной жизни заметно соскучился без людей, замкнулся в молчаливом одиночестве, перестал смеяться, видно, тосковал по сестренкам и матери. Сначала Грибоед не обращал на это большого внимания, но потом начал даже бояться, кабы с мальчишкой не случилось плохое — уж очень не по возрасту свалилась на него эта беда. И когда сын начал проситься в их недалекий ночной путь, скрепя сердце Грибоед согласился.

Все-таки он не хотел его брать, что-то щемило в нем скверным предчувствием, но он не совладал с жалостью к последнему своему ребенку и не прогнал его в землянку, когда тот начал устраиваться в передке саней.

Ночь была ветреная и непогожая, сильно шумели елки в лесу, по снегу гуляла метель, кобылка почти всю дорогу шла шагом, отворачивая голову от ветра. К полуночи они переехали пущу, свернули на едва заметную дорогу к Выселкам. Уже близко была усадьба, уже Грибоед нетерпеливо вглядывался сквозь ветреный мрак, стараясь что-нибудь различить в нем. С надеждой думалось человеку: а вдруг блеснет знакомый огонек в окне и он найдет там своих дочерей и жену, которых, возможно, выпустили из полиции, потому что за что же их там держать? В чем они виноваты перед немецкой властью?

Но не суждено было Грибоеду увидеть никого из своих, не знал он, что его жену давно замучили на допросах в полиции, а детей куда-то увезли, что старая мать его, не стерпев мук, тихо скончалась в полицейском подвале, а в его дворе уже третий день подряд сидят в засаде трое полицейских.

Между тем Калистрат Грибоед погонял кобылку, и они все ближе подъезжали к своей беде. Уже стала заметна в сумраке кривая верба возле ворот, колодезь с журавлем, разломанный чужими лошадями тын у сарая. И тогда кобылка его почему-то остановилась, вскинула голову и тихонько тревожно всхрапнула. Он уже знал этот ее чисто собачий, не лошадиный, обычай и потянул вожжи. Изо всех сил он всматривался в темный двор, но ничего там заметить не мог. И все-таки он почувствовал: что-то там есть. Володька тоже не на шутку встревожился и тихо приговаривал в санях: «Тата, не езжай! Не езжай, тата!»

И он начал торопливо разворачивать кобылку.

Но не успела кобылка выбраться из придорожного снега и вывернуть на дорогу оглобли, как со двора раздался злой окрик: «Стой!» Грибоед с размаху ударил кобылку кнутом, одновременно грохнул винтовочный выстрел. Володька сразу же ткнулся в сани, что-то проговорив чужим, изменившимся голосом, а он, не обращая на него внимания, поднялся в санях на колени и что было силы погнал кобылку. Будто чуя людскую беду, та с места рванула галопом, они мигом проскочили открытый участок дороги и под частые выстрелы сзади въехали в лес. Только заехав поглубже в чащу, Грибоед остановил сани и схватил за плечи Володьку.

Володька лежал на боку, обеими руками запахнув на животе полы армячка. Отец разорвал его судорожно сведенные руки, распахнул армячок и ужаснулся. Из кровавой раны, будто живые, полезли, странно пузырясь под руками, тоненькие Володькины кишки. Тихонько скуля, мальчик испуганно подбирал их под окровавленную сорочку и плакал от боли и беды, справиться с которой не было уже возможности.

Он привез его в землянку еще живого. Володька что-то говорил слабым голосом, звал мать, потом стих и до утра лежал молча, лишь слабо подергивая ногой или рукой.

На рассвете он вовсе затих...

8

Узенькой лесной дорожкой они перешли мысок соснового бора, миновали старую, заросшую мелким сосняком вырубку и свернули влево. Четверть часа спустя Грибоед вывел их к краю холмистого ржаного поля. На нескольких разделенных низкими, небрежно обпаханными межами полосках дозревала реденькая рожь, между чахлых стеблей которой синели дремучие заросли васильков, белели головки ромашек. Грибоед выбрал межу пошире и свернул на нее; стегая ногами в жесткой межевой траве, они пошли следом.

— Во и вёска,— сказал ездовой.

Левчук ожидал увидеть какие-нибудь строения или хотя бы соломенные крыши с трубами — обычные признаки близкой деревни, но он не увидел ничего этого. Недавнее ее тут присутствие угадывалось разве что по нескольким высоким деревьям, видневшимся поодаль за рожью. Деревни не было. Подойдя ближе, они увидели за обросшими сорняком изгородями обкуренные остатки печей, местами обугленные, недогоревшие углы сараев, раскатанные бревна в заросших травой дворах. От многих строений остались лишь камни фундаментов. Близкие к пожарищам деревья стояли засохнув, с голыми, без листьев сучьями. Высокая липа над колодцем зеленела одной своей стороной — другая, обожженная, странно тянула к небу черные ветви. На затоптанных, без грядок, огородах валялись разбитые кадки, разная домашняя утварь, палки, иссохшие серые тряпки. Наверно, деревню сожгли по весне, еще до вспашки огородов, озимые в поле росли уже ничейными, а яровых нигде не было видно. Поле возле огородов лежало заброшенным, густо зарастая лебедой и осотом.

— Куда это ты нас привел? — остановился Левчук.— Где же тут люди?

— Чакай, чакай! Ходи сюды.

Грибоед расторопно припустил куда-то краем деревни, они перешли неглубокий овражек возле кустарника, выбравшись из которого сразу увидели маленькое, в две постройки, гумно на пригорке возле ольшаника.

— Ну во! Бачыли? Там она собирала что-то. Зёлки какие или что.

— Так, тихо. Побудьте тут,— отстранил ездового Левчук, и сам скорым шагом пошел к гумну.

Из ольшаника выбегала, наверно, грязная по весне, а теперь сильно усохшая корявая дорожка, которая, немного не достигнув гумна, сворачивала в сторону бывшей деревни. Свежих следов на ней не было, но эта дорожка не понравилась Левчуку, и он, прежде чем перейти ее, осмотрелся. Из двух построек гумна ближе к дороге стояла поветь с остатками прошлогодней соломы в одном конце. Дальше был старый покосившийся ток с продранной крышей, в дырах которой будто ребра торчали латы и стропила. Левчук поодаль обошел кучу камней на углу, заросли густого малинника у стены и оказался с той стороны, где находилась дверь. Дверь была прикрыта, и поблизости никого не было. На верху яблони-дичка, росшей на краю ржи, тихо раскачивался большой старый ворон, который, повернув голову, настороженно посмотрел на него. Левчук взмахнул рукой, но ворон даже не моргнул глазом, и только когда Левчук двинул с плеча автомат, тот лениво взмахнул крыльями и нехотя полетел в сторону деревни.

Нигде никого не увидев, Левчук тихонько приоткрыл одну половинку двери. В току стоял сумрак, пахло гнилой соломой и пылью; над головой из тока с тихим писком прошмыгнули две ласточки, наверно, тут были их гнезда. Левчук шире распахнул дверь и переступил порог.

Нет, похоже, Грибоед не ошибся, когда говорил про женщину,— действительно, в этом току кто-то жил.

Под стенкой на охапке слежалой соломы была расстелена старенькая дерюжка, валялись какие-то лохмотья, тут же стояла кадушка для воды, висел кожушок на стенке. На чисто подметенном земляном полу у двери ровно стояли кожаные бахилы с обрезанными голенищами. Темные стены светились многочисленными щелями между бревен. Слева от входа была еще одна низенькая дверь, наверно в овин, там же, косо прислоненная к стене, стояла сколоченная из палок лестница.

Левчук подождал, послушал и тихонько окликнул:

— Эй! Есть кто живой?

Никто не отозвался, наверно в току никого не было. Но рано или поздно должен же кто-то сюда прийти, если живет тут, подумал Левчук и вышел наружу. Грибоед с Клавой напряженно смотрели на него из кустов.

— Давай сюда! — махнул он здоровой рукой.

Когда те подошли, он широко распахнул дверь — заходите! — и Клава подбитым шагом, хватаясь за дверь, первой вошла в ток. Окинув пугливым взглядом это мрачное людское пристанище, она увидела на полу дерюжку и сразу обессиленно опустилась на нее.

— Ну вот! Отсюда уже никуда не пойдем,— сказал Левчук.— Но где же хозяйка?

Грибоед, не заходя в ток, обошел его обросшие малинником и крапивой углы, постоял, послушал. Но нет, поблизости никого не было. Было тихо. Лишь под свежими порывами утреннего ветра шумела недалекая яблоня да с тихим шорохом качалась на ниве рожь.

А Левчук тем временем, осмотрев углы этой постройки, стал на поперечину лестницы, заглянул на чердак овина. Он думал, что, может, здешние жители где-то попрятались. Но и на овине никого не было: земляная присыпка, не тронутая человеческой ногой труха, да помет ласточек. Из серого гнездышка под стропилом выглядывали любопытные головки птенцов, слышался встревоженный писк. Лев-

чук спустился на землю и распахнул низкую дверь. В тесном прокопченном закутке овина был сумрак. Маленькое, затянутое паутиной окошко бросало немного света на черную печку-каменку, от которой шел затхлый, удушливо-дымный смрад.

— Ладно, что ж, подождем. Ты как, немного еще потерпишь?— обратился он к Клаве, но та не ответила.— Теперь бы поесть чего...

Поесть было бы кстати, но у них не было даже куска хлеба, и о пропитании предстояло еще позаботиться. Левчук вышел во двор, осмотрел ток снаружи, повглядывался в недалекий ольшаник. Но, видимо, хозяева ушли куда-то далеко. И Левчук тихонько побрел краем ржи, перешел дорогу, постоял, чтобы увериться, что вокруг все спокойно, заглянул за крайние кусты ольшаника.

Там простиралась широкая лесная прогалина или край поля, дальше темнел ельник, и внимание Левчука привлекла полоска картофеля возле ячменя. Картошка была с рослой ботвой, на крайних бороздах лежали сухие стебли — значит, ее уже и подкапывали. Подумав, что, накопав, ее можно сварить, он скорым шагом направился назад — поискать какое-нибудь ведро или корзину.

— Эй, дед! Давай посудину, бульба есть! — крикнул он в распахнутые двери тока.

Однако Грибоед, не ответив, продолжал тихо сидеть на корточках возле прикрытой дерюжкой Клавы, которая недобро изгибалась на соломе, и у Левчука все опустилось внутри от мысли — неужели начинается? Он тихо переступил порог, но Грибоед, услышав его, замахал рукой, и он молча вышел назад. Бедная Клава, подумал Левчук, кажется, все же пришло ее время, и нет никакой нигде бабы, он же в таком деле помочь ей не мог. Разве что Грибоед?

Левчук постоял возле дверей в ожидании, не скажет ли еще что Грибоед, но тот молчал. Тогда Левчук вспомнил, что в таких случаях вроде бы полагается греть воду, значит, надо разжечь костер. Он бросился искать топливо, и под поветью нашел несколько сухих палок, которые разломал ногой, и тут же на дворе, неловко управляясь левой рукой, разжег костерок. Хуже было с посудиной для воды. Но, поискав, он обнаружил в малиннике заброшенный дырявый казанок, щепкой заткнул дыру в его дне и сбегал к ручью за водой. Все время он прислушивался к звукам из тока, и хотя почти ничего не слышал, сам не заходил туда. Он начал хозяйничать возле огня, который неплохо разгорался на ветру, и вода в казанке стала понемногу греться.

— Во и добра,— сказал Грибоед, выскочив из тока.— Догадливый!

— Ну как там? — спросил Левчук.

— Ничога. Все добра.

— А ты того... Что-нибудь понимаешь?

— Ды ужо ж, што-небудь,— уклончиво ответил Грибоед, схватил какую-то тряпку, что сушилась на прислоненной под стеной бороне, и снова исчез в току.

Тем лучше, подумал Левчук, с помощью Грибоеда, может, еще как-нибудь и обойдется. Хуже, если бы с Клавой остался один он, чем бы он ей помог? Теперь он не знал, что там делалось, но его внимание к току усилилось, и он начал тревожиться — а вдруг что будет не так?

Но, по-видимому, все шло как и следует в таких случаях. Вскоре Грибоед выбежал из тока и замусоленной полой своего мундира суетливо выхватил из огня казанок.

— Что, уже?

— Уже, уже...

Левчук несколько удивился: он ждал, не послышится ли сперва

детский плач или хотя бы стон матери, а тут ни плача, ни стона, и этот старый повитуха говорит, что все.

— За́раз, за́раз,— несколько громче, наверно для него, сказал Грибоед из тока.— За́раз!

Левчук стоял за дверью и волновался, словно отец, волноваться которому уже не придется. Эта обязанность перепала им, его товарищам по войне, и теперь многое в отношениях Левчука к Клаве определялось его отношением к Платонову. Во всяком случае, Левчук чувствовал себя обязанным не столько ради самой Клавы, сколько для их погибшего начальника штаба.

— Так кто там? — нетерпеливо спросил Левчук.— Парень иль девка?

— Мужик! — каким-то незнакомым, подобревшим голосом сказал Грибоед.— Харошы дятюк. Иди сюды...

С неожиданным, просто невероятным для него любопытством Левчук шагнул в ток и взглянул на небольшой сверток из парашютного шелка в руках Грибоеда. Рядом в полумраке чужой соломенной постели почти со страхом в измученных глазах смотрела на них Клава.

— Во, погляди! Аккурат Платонов. Ага?

Маленькое сморщенное личико, плотно закрытые глазки — видать, что живое существо и ничего больше. Но, чтобы подбодрить мать и сделать приятное ее повитухе, Левчук согласился:

— Конечно, конечно...

— Во нас опять трое мужиков,— обычным озабоченным голосом сказал Грибоед.— Чым тольки кормиться будем?

Левчук спохватился. Он, который все это время чувствовал тут себя почти лишним, понял свою новую обязанность, схватил казанок и выскочил из тока. Продравшись сквозь чащу ольшаника на картофельное поле, он левой рукой начал торопливо выдирать ботву, за которой тянулись из земли небольшие, по голубиному яйцу, картофелины. Его теперь полнило какое-то новое, еще не испытанное им или, может, забытое чувство причастности к извечной человеческой жизни, в которой не было места войне, и его отношения к Клаве явственно менялись с небрежно-придирчивых на уважительные, почти родственные. Теперь она была для него уже не та кокетливая Клавка, которую он некогда привез в отряд, и не партизанская девка, нагулявшая ребенка с их хотя бы и пользующимся уважением начальником, а прежде всего молодая женщина-мать, присмотреть которую было их человеческим долгом. Кроме того, он слишком хорошо знал, каково ей будет в этом ее неожиданном лесном материнстве, и стремился хотя бы вначале облегчить все то нелегкое, что уготовила ей их партизанская судьба. Как ни удивительно, но именно сейчас, через Клавку, он впервые за много лет почувствовал себя не бойцом-партизаном, не разведчиком или пулеметчиком, а прежде всего человеком, и это было для него ново и чрезвычайно приятно. Так, будто не было уже и войны.

Закинув за спину автомат, он занялся картошкой — перемыл ее в холодном ручье, наполнил казанок водой, снова раздул огонь и приладил на него казанок.

— У меня соли есть трохи,— сказал Грибоед, выйдя из тока и увидев на костре картошку.

— Да ну! Может, у тебя и хлеб есть? — отозвался Левчук.

— Не, хлеба нема. А посолить трохи буде.

Ездовой опустился возле костра на колени, из нагрудного кармана мундира достал красную тряпицу, развернул ее, затем развернул бумажку и двумя пальцами взял щепоть соли.

— Больше бери! Что эта твоя щепоть! — сказал Левчук.

Грибоед взял чуть больше, но, подумав, отсыпал и тремя пальцами бросил соль в казанок.

— Ощажать треба. Где ее возьмешь после...

— Ну как там Клавка? — спросил Левчук.

— Заснула. Хай поспить, ей теперь треба.

— А малый?

— И малый спить. Сиську пососал и спить. А что ему...

— Ну хорошо. Сядь, посиди тут.

— Не, я ужо в засень. А то горячо. Боюсь, голову напяче.

Действительно, солнце поднималось все выше, в гумне стало жарко, и не верилось даже, что еще недавно они страдали от стужи. Но что жара или стужа — главное, они ушли от немцев, зашились в лесную глушь, где не было никого — ни партизан, ни крестьян, ни немцев, в казанке доваривалась свежая бульбочка, обещая голодным какое ни есть насыщение. Все-таки самая большая беда их миновала, и если бы не смерть Тихонова, то Левчук, наверно, был бы доволен сегодняшней своей судьбой.

Правда, его немного тревожило отсутствие хозяев этого немудрящего жилища, все-таки им были нужны хозяин или еще лучше хозяйка, которые бы взяли на себя дальнейшую заботу о Клаве. К тому же Левчуку было необходимо кое о чем расспросить их, а может, и разжиться повозкой, если уж они не сумели сберечь свою. Но это была забота вообще, можно даже сказать на потом, главная же забота с Клавой вроде бы уладилась благополучно, авось уладятся как-нибудь и остальные.

Картошка кипела, и, чтобы не прозевать, когда она сварится, Левчук все ширял в казанок протиркой, вынутой им из приклада ППШ. Протирка, однако, лезла с трудом, надо было еще варить, и он подкладывал в огонь все, что находил поблизости — обломки струхлевших палок, доску, разломал тонкую жердь с изгороди. Грибоед с утомленным видом сидел на бороне под стеной и озабоченно глядел в огонь.

— Ну что невеселый, дед? — взглянул на него Левчук.— Все же хорошо.

— Хорошо, да не все,— вздохнул Грибоед.

— Ну, а что? Тихонов?

— А хоть бы и Тихонов. Молодой еще. Хиба жить не хотел?

— Жить всем хочется. Да всем не выходит.

— Во пра то и думаю. А тут малое...

Малое, конечно, не вовремя, даже очень не вовремя, подумал Левчук. Если бы хотя на какую неделю раньше, когда не было этой блокады, а теперь действительно, каково ей будет с малым среди чужих людей, которых еще неизвестно где отыскать в этом гибельном, разоренном краю.

— Видно, надо еще где искать,— сказал Левчук.— А то черт его знает, дождешься ли тут кого.

Грибоед сидел молча, сосредоточенно глядел в костер, и Левчук, у которого от голода подвело живот, махнул здоровой рукой.

— Ладно. Сначала поедим бульбочки, а там видать будет...

9

Он просидел во дворе часа два, если не больше. Солнце спустилось за крышу соседнего дома, и двор утонул в широкой, растянувшейся тени. К Левчуку никто не подходил, не тревожил его на этой доске-лавке, двор жил своей обычной для него жизнью — дети

развлекались соответственно своему возрасту, взрослые занимались хозяйственными делами выходного дня — поодаль от подъезда стряхивали половики, подметали дорожки; молодой мужчина возле забора выколачивал пестрый тяжелый ковер, и мощные удары его выбивалки отдавались гулким далеким эхом. Бабки посидели еще немного без солнца и потащились в свои квартиры, а мужчины возле недалекого гаража все еще ковырялись в чреве разобранного ими «Москвича». Там же вертелось несколько любопытных мальчишек.

Левчук хорошо изучил этот двор, все его углы и дорожки. В общем, тут ему нравилось — чисто, досмотрено, только чересчур много шума и людей — как на базаре в праздник. Правда, ко всему, наверно, нужна привычка. Он, например, привык к сельской тишине, которая редко нарушается человеческим гомоном, а больше голосами животных, птиц, далеким тарахтеньем трактора в поле. Тут же и гомон, и грохот, и тарахтенье — все вместе.

Перебирая в памяти разное из той давней истории, Левчук не мог избавиться от мысли-вопроса: к т о он теперь? И к а к о й он? Иногда, задумавшись, он зримо представлял себе его рослую фигуру, лицо уверенного в себе человека с внимательной доброй улыбкой. Левчук не любил людей молчаливых, хотя сам не очень был разговорчив, но это сам. О н должен быть во всех отношениях лучшим. Возможно, он какой-нибудь инженер, специалист по части машин или механизмов, которых теперь развелось во множестве всюду. Может, даже сам строит машины, автомобили, к примеру. Автомобили Левчук уважал издавна, когда-то даже мечтал стать шофером, если бы не рука. Но с одной рукой не очень кем станешь. Года три назад в их колхоз приезжали из города шефы — инженер и техник, налаживали на ферме кормокухню, он немного поговорил с ними — понравились очень. Левчук даже подумал: а может, и о н тоже специалист высокого класса. В общем, было приятно.

А может, он врач в какой-нибудь известной больнице, делает операции, лечит людей. Левчук знал, как это важно — умело лечить людей, сам после войны частенько наведывался в больницы, был даже в санатории инвалидов войны в Крыму. Там же у него случилось досадное недоразумение с врачихой, и он думал, что если бы на ее месте был доктор — мужчина, то, возможно, никакого недоразумения и не произошло бы. И ему потом несколько раз даже приснилось, что его лечит о н, хотя и не знает, кого он лечит, и Левчук не может ему рассказать о себе, потому что разве поверит? Действительно, все существовало лишь в его памяти, какие же у него еще доказательства?

Конечно, о н мог стать кем хочешь — даже в голову сразу не придет, кем он мог быть в этой жизни, если человек не глупый и учился. Учился так это уж точно, окончил институт и еще что-то, может, даже кандидат или как там у них называются эти ученые. Одна девка из соседней деревни вышла в городе замуж за сильно ученого, летом вместе приезжали к матери, и жена не называла мужа иначе, как м о й к а н д и д а т. А мать, известно, темноватая женщина, все перепутала и раза два назвала его депутатом. Но он не обиделся.

Наверно еще, он хозяйственный, любит считать копейку и уж никак не увлекается чаркой, ставшей главной радостью многих мужчин. Правда, Левчук и сам когда-то имел такой грех, но уж давно выпивает только по праздникам или по какому-нибудь уважительному случаю, если, к примеру, заявятся гости. Но жизнь Левчука ему не в пример — о н должен быть лучше.

Еще, он не сквернословит, ни в коем случае. Не то чтобы совсем не сказал когда грубого слова, но уж не так, как некоторые из нынешних — что ни слово, то мат. Таких Левчук не уважал нисколько, хотя бы они были куда как ученые или даже начальники. Это в войну, среди крови, голода, смерти ссорились и ругались, а теперь за что? Чего теперь не хватает в жизни?

Но кем бы он ни был по специальности или положению, прежде всего должен быть человеком. Левчук не вкладывал в это понятие какого-нибудь сложного или философского смысла, это у него формулировалось просто: быть добрым, умным и удачливым, но не за счет других. Он уже нагляделся в жизни на разных ловкачей, строивших свое благополучие за счет ближних и умевших быть умными с выгодой для себя. С наибольшею для себя пользой. Таких Левчук ненавидел, как можно было ненавидеть на войне тех, кто пытался выжить ценой гибели ближних. Сам он никогда нигде не схитрил, никого не обманул с корыстью для себя, это ему было противно, и он ненавидел все малые или большие хитрости в людях.

Впрочем, все это были его мечты, мысли, передуманные им за долгие тридцать лет — ровно половину своей не очень удавшейся жизни. На деле же, знал он, все может оказаться не так. Но он не хотел, чтобы оказалось не так, он жаждал, чтобы было так, как должно быть, как бы он хотел, чтобы было с его сыном, которого не дал ему бог. Вместо сына родились три дочки со всеми чертами их матери, ее характером, внешностью. Отцовского в них ничего не было. Виктор, конечно, не сын, но столько с ним связано. Все, что Левчук пережил потом, до конца войны, хотя тоже было не легче, но уже не то. Тогда же он выложился весь, может, даже превзошел себя, и на другой раз у него просто не хватило бы пороха...

10

Очередной раз ткнув в казанок протиркой, Левчук почувствовал, как та долезла до дна, и сказал Грибоеду отцедить — самому с одной рукой сделать это было неловко. Грибоед прикрыл казанок полой шерстяного, наверно, когда-то шикарного, с кантами мундира и опрокинул его над травой. Воды там оказалось немного, он дождался, когда она выльется вся до капли, и поставил казанок на огонь.

— Хай посохнет.

— Что там сохнуть! Неси в ток, есть будем.

Грибоед опять взял казанок, из которого валил пар, Левчук раскрыл двери тока. Задремавшая было Клава с маленьким белым свертком в руках очнулась от шума и слабо, как показалось Левчуку, улыбнулась одними губами.

— Давай есть будем! Вот бульбочка свежая. Наверно, свежей не ела в этом году?

Она сделала попытку приподняться, и Левчук ей помог, подвернул под спину соломы, подмял от стены кожушок. Не выпуская из рук малого, Клава кое-как устроилась, поправила на лбу волосы.

— Спить? — спросил Грибоед, подвигая к ней казанок.

— Спит. Что-то все спит и спит,— сказала радистка с некоторою даже тревогой в голосе.

— Ничего. Пускай спить. Буде, значит, як батька, спокойный.

— Спасибо вам, дядька,— покорно сказала Клава.

— Нема за что. Конешне, якая баба может бы лепей управилась...

— А и ты неплохо,— сказал Левчук.— Ни крику, ни плачу.

— Гэта не я. Што я? Гэта яна во.

Они вдвоем, обжигая пальцы, начали доставать из казанка горячие картофелины, а Клава покойно сидела, откинувшись к стене с малым под рукой. Левчук, взглянув на нее, сказал:

— Ну ешь. Чего ты?

— Там, в сумке, ложка была,— сказала она.

И он, вытащив из-под Клавы тощую немецкую сумку, порылся в ее содержимом.

— Ложка — вот, на.

— И фляжечка там. Достань уж. Ради такого случая.

— Фляжка? Ого! Го-го! — не сдержался Левчук и действительно вскоре извлек из сумки белую алюминиевую флягу, в которой что-то тихонько плеснулось.— Самогон?

— Спирту немного. Держала все...

— Ох, ты молодчина! — проникновенно сказал Левчук.— Дай тебе бог здоровьечка, малому тоже. Грибоед, как — киданем?

— Ды ужо ж, коли такое дело,— смущенно ответил Грибоед, и глаза его как-то по-хорошему блеснули в пестрых от множества теней сумерках тока.

Они охотно и с некоторой даже торжественностью выпили разведенного во фляге спирта: сначала Левчук — глотнул, выдохнул, сделал небольшую паузу и со смаком закусил картофелиной. Флягу передал Грибоеду, который сперва поморщился, сделал небольшой глоток, поморщился больше — всеми покрытыми щетиной частями своего обвялого, без времени состарившегося лица.

— А хай на его! Ужо самогонка лепей.

— Сравнил! Это же чистый, фабричный. А то самогон...

— Так что, что фабричный. Кажу, приемней, мякчей быдта.

— А ты выпьешь? — Левчук поднял глаза на Клаву.

— Так нельзя же мне, видно,— смущенно ответила Клава.

— А чаму? — сказал Грибоед.— И выпей. Бывало моя, как кормила, так иногда и выпье. В свята. Ребенок тады добра спить.

— Ну я немножко...

Она поднесла флягу к губам и немножко сглотнула, будто попробовала, Левчук удовлетворенно крякнул — чужое удовольствие он готов был переживать как свое собственное.

— Ну вот и хорошо! Теперь есть будем. Бульбочка хотя и нечищеная, а вкуснота. Правда?

— Вкусная картошка, да. Я, кажется, никогда в жизни такой не ела.

— Как грибы! Соли бы чуток побольше, а, Грибоед? — с намеком сказал Левчук. Но Грибоед только повертел головой.

— Нет, не дам. Савсем мало осталося. Яще треба буде.

— Не знал я, не знал. Скупой ты.

— Ну и что, что скупой? Каб же ее больше было. А так... На раз языком лизнуть.

Клава съела пару картофелин и откинулась спиной к стене.

— Ой, как в голове закружилось! — сказала она.

— Это ничего, это пройдет,— успокоил ее Левчук.— У меня у самого оркестр играет. Так весело.

Грибоед неодобрительно посмотрел на него. Морщины на лице ездового прорезались четче, что-то характерное и осуждающее появилось в его всегда обеспокоенном взгляде.

— Чаго веселиться? Яще солнце вунь где.

— Ну и что?

— А то. До вечера яще вунь кольки.

Левчук с очевидным аппетитом уплетал картошку. Как и двое других, он устал за ночь, проголодался и теперь захмелел немного,

тем не менее неизвестно почему чувствовал себя уверенным и сильным. Конечно, он понимал, что может случиться разное, но у него был автомат, одна крепкая, здоровая рука, хотя и второй он уже наловчился, превозмогая боль, помогать здоровой. За войну он перебывал в десятках самых невероятных переделок, изо всех пока что выбирался живым, и теперь не представлял себе, что в этой тиши с ними может случиться скверное. Самым скверным, конечно, было погибнуть, но гибель не очень пугала его, он свыкся с ее неизбежностью и, пока был живой, не очень пугался смерти. Силы для борьбы у него доставало, так же как и готовности постоять за себя.

Другие вели себя иначе.

На Грибоеда все заметнее начала находить какая-то тяжелая задумчивость, будто он вспоминал что-нибудь невеселое. Жуя картофелину, враз переставал двигать челюстями и замирал, неподвижным взглядом уставясь перед собой. Клава все успевала делать одновременно: и ела, и все время с какой-то нервной обеспокоенностью охаживала младенца, вместе с тем будто вслушивалась во что-то, слышимое одной ей. Левчук уже не однажды заметил за ней эту особенность и, доедая картофелину, сказал:

— Что ты все ушами стрижешь?

— Я? Кажется, слышно что-то. Голоса вроде...

Они все прислушались, но ничего определенного не было слышно, и Левчук, чтобы окончательно убедиться в их безопасности, взял за шейку автомат и вышел из тока.

Время приближалось к полудню, на гумне здорово припекало солнце, слабо шумела под ветром яблоня, и нигде никого не было видно. Над разомлевшим от жары пространством растекалась дремотная тишь. Левчук обошел гумно и вернулся в ток.

— Мерещится тебе, Клавка. Нигде — никого.

— Может, и кажется,— успокоенно согласилась Клава.— Это у меня бывает. Я малая такая была трусиха! Боялась дома одна остаться. Особенно вечером. Жили в Москве на Солянке, дом старый, мышей была тьма. Отец часто в разъездах, а мама когда припозднится, так я забьюсь за буфет в угол и плачу. Мышей боялась.

— Мышей? — удивился Грибоед.

— Мышей, да.

— Мышей чаго ж бояться. Хиба они укусять?

— Мыши — не волки. Волки — да. Волков и я боялся. Напугали когда-то,— сказал Левчук и с наслаждением вытянулся на твердом земляном полу.— Теперь бы кимарнуть часок. Как думаешь, Грибоед?

— Як знаешь. Ты — старший.

Грибоед без особой охоты доедал из казанка картошку. Левчук зевнул раз и другой, прикидывая, как бы так сделать, чтобы оставить Грибоеда посторожить, а самому действительно немного вздремнуть. Спать хотелось зверски, особенно теперь, когда он немного удовлетворил чувство голода да еще глотнул спирту. Но он ничего не успел сказать Грибоеду, как рядом, недобро всхлипнув, зашлась в каком-то безудержном плаче Клава, и Левчук подхватился с пола.

— Что такое? Ты чего? Ну чего ты? Все же хорошо, Клава!

Но она все содрогалась в беззвучном рыдании, спрятав в ладонях лицо. Левчук не мог взять в толк, что случилось, и всячески пытался ее успокоить, а Грибоед тихо сидел, подобрав под себя босые ноги, и печально глядел на обоих.

— Ну ладна, чаго ты? — погодя, сказал он Левчуку.— Ну и что! Хай поплача. У кожнага нешта ёсть, каб поплакать. У неё своё. Хай.

Левчук сел на прежнее место, и Клава действительно, раза два всхлипнув, рукавом гимнастерки вытерла глаза.

— Извините. Не удержалась. Больше не буду.

— Ты брось так шутить,— серьезно заметил Левчук.— А то знаешь... И мы заревем, на тебя глядя.

Губы ее снова скривились, казалось, она снова не сдержит в себе какую-то обиду, и Грибоед поспешил заверить ее:

— Ничога. Все добра. Галовнае — дитёнок ёсть. Ладный таки. Вырасте. Война проклятая скончится, все наладится. У маладых все хутка налаживается. Старому уже тупик, а у молодых все впереди. Не треба убиваться. Кому теперь лёгко? Мне, думаешь, лёгко? Каб мне ваше горе...

— Да,— помолчав, заметил Левчук.— Давайте о чем веселом. Вот могу рассказать, как я перед войной чуть не женился.

Но Грибоед, занятый собственной мыслью, никак не отозвался на шутливое предложение Левчука и все сидел, печально уставясь перед собой.

— Век сабе не дарую: ну нашто я его тады в Выселки взял? Пачаму я его не побил, пачаму в землянке не кинул?

— Ты это про кого? Про сына?

— Ну. Пра Володьку. Век сабе не дарую...

— А я вот себе не дарую — отца не послушал,— подхватив разговор, оживился Левчук и сел ровно.— Это ж я в сорок первом домой прибег — хорошо, недалеко бежать было — от Кобрина до Старобина. Под Старобином деревня моя, Курочки называется. Как немцы расколошматили полк, так мы кто где оказались: кто в плену, кто на восток подался, кто в лес. А я к бате прибег. Прибег, военное с себя сбросил, цивильное натянул, бате помогаю, живу. Батя говорит: спрячься, пока суд да дело, а я где там! Герой! Кого я буду бояться? Немцев пока нет, один полицай на деревню — Козлюк, здыхляк такой, недоделок, ходит с повязкой, драгунка на ремне. Так что, я его буду бояться? У меня у самого СВТ в варивне под стрехой, если что, я его враз шпокну. И правда, он меня не трогал, побаивался. Но вот под весну таких, как я, вызывают в район регистрироваться. Некоторые пошли, испугались и — тю-тю! Забрали. Раз такое дело, я за СВТ и — в лес. Вот тогда Козлюк и осмелел. Приехал с оравой районных бобиков и — за батю. «Где сын?» — «Не знаю».— «Ах, не знаешь, так мы знаем!» И забрали батю. И — тю-тю батя. Из-за меня, героя. Очень смелого. А что бы послушать да спрятаться. Так где там отца слушаться. Он же на печи сидел, а я повоевал уже. Защитник родины, а батю защитить не сумел.

Малый на руках у матери начал проявлять беспокойство — затрепыхался в своем шелковом сверточке и впервые, наверное, подал свои тихий, плаксивый голос. Клава взяла его — очень бережно и неумело, тихонько приговаривая что-то ласковое, и Грибоед сказал понимающе:

— Ага, давай, давай! Бач, есть хоча. Ну, а ты адвярнися, чаго не бачыв?

Левчук отвернулся, и Клава пристроила ребенка к груди, слегка прикрывшись дерюжкой.

— А и хорошо! Ей-богу! — сказал Левчук, снова вытягиваясь на полу.— Не было бы войны, была бы у меня женка. Имел одну на примете, Ганькой звали. Да где там — ни Ганьки, ни женки. Война!

— Господи! — с внезапно прорвавшейся болью сказала Клава.— Да разве я понимала, что такое война! Я же сама пошла, сама напросилась. Брать не хотели, по блату в радиошколу устраивалась. Думала... А тут! Господи, сколько тут горя, сколько крови, смертей!

Как тут люди выдерживают, те, которые местные? Ну, мужчины, это понятно. А то женщины, девушки, дети. Их, бедных, за что? Бьют, собаками травят, сжигают. Да еще с такой звериной жестокостью!

— Во потому и бьють,— сказал Грибоед, тяжело вздохнув.— Бо без защиты. И разрешается. Партизанов не дуже побьешь — сдачи дать могут. А гэтых, як овечек. Приедуть, обкружать, погонять всех в клуб или в сарай, нибы документы проверить. Усе знають, что не документы, а идуть. Надеются. Уже и запруть где, а все надеются: а вдруг пужають? И уже стрелять начнуть — все надеются: а може не всех. Так до самой смерти всё надеются на лепшее. Каб яно спрахла, тое надеянье. Як яно помогае им уходвать наших!

— Ну хорошо, бьют немцы. А то ведь и наши. Полицаи эти. Как же у них руки поднимаются?

— Поднимутся,— сказал Левчук и сел ровно.— Потому как приказ. Если уж на такое пошли — форму надели, винтовки взяли, так сделают, что ни велят. Не откажутся.

— Но как же пошли на такое? — не могла понять Клава.

— Жить захотели. И чтоб лучше других. А некоторые по глупости. Думали, это им хаханьки — с повязкой ходить. Третьи со зла на Советы. Обиделись и подались к немцам. А те сперва добренькие — «я, я»,— посочувствовали, а потом винтовки в руки и приказ: пуф, пуф! Все с малого начинается.

— Хорошо еще, коли из-под силы,— рассудительно сказал Грибоед.— Оно и видать, коли из-под силы. Вунь был в Зарудичах выпадок, як палили: один немец угледел под печью подлетка, ды прикладом яго, прикладом запихал в самый кут — сяди. И гэный уцелел. Всех побили, попалили, а гэный уцелел. Немец уратовал. А которые, як звери. От крови, от самогонки шалеють. Чем болей льют, тым болей хочется.

— Боже! — сказала Клава.— До сих пор все за себя боялась, а теперь мне вдвойне бояться надо. За него вот. Такой махонький!.. Золотиночка ты моя горькая, несчастненький ты мой мальчишечка, как же мне уберечь тебя? Почему же доля наша такая несчастная?..

Левчук с недовольным видом встал на ноги и отошел к двери — он не выносил таких причитаний, тем более женских, к которым просто не привык в жизни.

— Ладно тебе плакаться! Вынянчим как-нибудь! Вот только бы подходящее место найти. Видать, тут ни черта никого не дождешься.

— Дык яе ж рано трогать. Лежать ей треба,— заметил Грибоед.

— Пусть лежит. И ты с ней побудешь. А я пойду. Надо все-таки людей поискать. Где-то же они должны быть. Не всех же перебили. Может, осталось еще.

— В Круглянку треба подойти. Целая вёска была. Отсюль километров десять.

— Что ж, можно и в Круглянку. У меня там дядька знакомый был. На май вместе полицию гоняли.

— Або в Шипшиновичи. Але Шипшиновичи невядома, уцалели али нет? При лесе стоять.

— При лесе навряд ли... Дай котелок, за водой схожу. Что-то пить хочется.

Только Грибоед потянулся за казанком, чтобы подать его Левчуку, как Клава, опять недобро содрогнувшись, вся напряглась во внимании.

— Что? — не понял Левчук.

— Слышите? Слышите?..

— Что? — недовольно прикрикнул на нее Левчук, и сам тут же застыл на середине тока.

В полуденной тишине неизвестно откуда донесся робкий мотивчик губной гармошки. Левчук молча схватил автомат и бросился к двери.

II

Дверь он только слегка приоткрыл и тут же прихлопнул снова— в узкую щель между досок и без того было хорошо видать, как по дороге из сожженной деревни ехали две повозки с темными седоками в обеих. В руках и за спинами этих седоков в черных пилотках торчали стволы винтовок, доносились голоса, смех и нежные звуки губной гармошки.

Левчук угрожающе-зло выругался.

— Что там, что? — начала испуганно добиваться Клава.— Немцы, да? Немцы?

— Немцы! — сказал Левчук и отпрянул от двери.— Грибоед — в угол! Ты накройсь! — подскочив к Клаве, он выдернул из-под ее спины кожушок.— И лежи! Тихо только. Они мимо едут,— сам не веря в свои слова, пытался он успокоить друзей.

Грибоед послушно подался в угол, нашел там удобную щель и прилип к ней, следя за дорогой. Левчук припал к щели возле двери, вперив взгляд в повозки, которые быстро спустились к ручью, переехали его, и, взбираясь на пригорок, поехали медленней. Он сосчитал седоков — в передней повозке их было четверо и трое в задней. Самое важное теперь заключалось в том, проедут ли они мимо или остановятся возле гумна.

Нет, они не поехали мимо — на этой стороне ручья повозки остановились. Послышалась какая-то команда или окрик, кто-то соскочил на дорогу, и вот все уже послезали с повозок. У Левчука недобро стиснулось сердце — похоже было на то, что из этой беды им просто не выбраться.

— Грибоед, смотри! Тихо!

Но и без его команды в току было тихо, Клава, вместо того чтобы прикрыться кожушком, привстала на коленях в соломе и, прижимая к себе младенца, не сводила глаз с Левчука. Грибоед напряженно сгорбился возле своей щели.

«Что они будут делать? Что будут делать?» — безмолвно твердил Левчук свой вопрос, наблюдая, как они там разбирали оружие, еще что-то, распихивали по карманам обоймы патронов. Но вот, оставив на дороге повозки, все тронулись по тропке к гумну. Почти в самом ее начале они разделились на две группы — одна взяла направление к току, другая, поменьше, начала обходить гумно с другой, от ольшаника, стороны. Все было бы просто и понятно, если бы они вели себя иначе, не с такой глупой беспечностью. Будто ничего не подозревая, покуривая и переговариваясь, без заметной опаски, открыто шли по стежке к гумну. Именно эта их глупая или показная беспечность вместе с неясностью их намерений и сбила Левчука с толку, внушив ему надежду — авось не сюда. Может, они идут дальше и пройдут мимо. Скованный ожиданием, он прижался к стене возле своей щели, поставил на боевой взвод автомат и большим пальцем левой руки тихонько потрогал переводчик, убеждаясь, что тот стоит в положении стрельбы очередями.

Четверо беззаботным, расслабленным шагом уже подходили к току. Их очень удобно было срезать теперь одной меткой очередью, но все та же неопределенность их замысла и удерживала Левчука

от этого. А вдруг пройдут мимо, ко ржи, по каким-то своим делам, потому что откуда им известно, что в этом току сидят партизаны, думал Левчук, деревенея от напряжения.

— Левчук, что? Что? Где они? — отчаянным шепотом домогалась Клава, но он только мотнул головой.

— Тихо!

На какое-то время полицаи скрылись за углом тока — Левчук прижался лбом к шершавому бревну стены и не мог ничего увидеть. Они появились уже возле самой стены за малинником. Впереди шагал рослый полицай в суконном мундире с обвисшим от тяжелых подсумков ремнем на брюхе, с немецкой винтовкой в руке. В пальцах другой он держал сигарету и поспешно несколько раз затянулся перед тем, как бросить окурок наземь.

Он уже был на середине двора, а у Левчука все еще тлела слабенькая надежда, что, может, пройдет себе дальше. Левчук напряженно следил через щель за направлением его взгляда, который сперва скользнул вдоль стены тока, слегка задержался на углу, наверно, на густой чаще малинника, потом метнулся куда-то в сторону и остановился на остатках их костерка, от нескольких головешек которого еще шел слабый, едва приметный дымок. Левчук молча выругал себя за роковую беспечность, но было поздно. Полицай шагнул к двери, и та тихо скрипнула.

Прижимаясь спиной к стене, Левчук вскинул навстречу автомат, все еще не в состоянии расстаться с последними мгновениями своей надежды. Он думал, что снаружи не много чего увидишь в сумеречном помещении тока. Но не успел полицай раскрыть дверь, как возле стены напротив взметнулась темная фигура Клавы, и в напряженной тиши грохнул один, второй, третий выстрелы. Полицай тихо вскрикнул и то ли упал за косяк, то ли просто скрылся в малиннике. Левчук сквозь доски двери стрикнул коротенькой очередью и, чувствуя, что тотчас выстрелят в них, растянулся на земляном полу. Под стеной напротив, забившись за солому, нервно тряслась с пистолетом в руке Клава.

— Ложись! Ложись! — успел крикнуть он дважды, и первая пуля снаружи ударила в стену, отколов от бревна возле двери толстую сухую щепку. Сразу же с двух сторон тока часто загрохали выстрелы, пули в нескольких местах продырявили истлевшие бревна стен, трухой и пылью осыпая чисто подметенный глиняный пол.

Недолго полежав возле двери, Левчук ползком бросился к стене напротив, заглянул в низкую щель. Винтовки грохали не поймешь откуда, под крышей и в небе взвизгивали пули, но камни фундамента неплохо прикрывали их у самой земли. Правда, малинник, которым оброс ток снаружи, местами наглухо заслонял щели, и Левчук опасался, как бы те сволочи не подошли слишком близко. С близкого расстояния они могли бы ворваться в дверь, забросать их гранатами или расстрелять из автоматов в упор. Во что бы то ни стало следовало держать их как можно дальше от тока. Издали пусть стреляют. Теперь, когда начался этот бой, для Левчука все стало просто и обычно, окончательно исчезла неопределенность, потому что кончилась наивная детская надежда на авось. Он понимал, что попались они как следует, и все в нем устремилось к единой цели — не даться.

Он метался по току от стены к стене, заглядывая в щели, но полицаи тоже, наверно, укрылись, и, пока в углу не начал стрелять Грибоед, Левчук не мог понять, куда они подевались. Но если Грибоед стрелял, значит, он что-то видел, хотя бы с той, своей, стороны. Клава лежала под стеной, прижав к себе малого и не сводя взгляда с двери. Левчук только раз взглянул в ее полные отчаяния глаза и

понял, что радистке не повезло окончательно. Попались они все здорово, но ей будет хуже всех. Он хотел как-то ободрить ее, только не нашел для этого слов и, молча выругавшись, метнулся к овину. Та сторона тока не была прикрыта никем — надо было прикрыть ее самому.

В провонявшем дымом и копотью овине было почти темно и не светилось ни одной щели, кроме подслеповатого узкого окошка в стене. Он ткнул в его мутное стекло стволом автомата и тотчас вытянулся на устланном жердями полу. Одновременно грохнул недалекий выстрел, и на черном боку бревна блеснуло белое пятнышко — след пули. Значит, они перекрыли уже и эту сторону тока, уныло подумал Левчук, значит, и в рожь тоже не выскочишь. Их незавидное положение час от часу и еще ухудшалось.

Полежав немного, он осторожно поднялся к окошку и сбоку взглянул в сторону ольшаника. На краю ржаной нивы чернели по грудь две фигуры в пилотках — они караулили его. Левчук, не высовывая автомата, дал наискось в окно коротенькую очередь в их сторону — пусть знают, что и тут есть кому выстрелить. Пусть не надеются! Затем, пригнувшись, перескочил высокий порог овина и упал под стеной возле Грибоеда, пристально наблюдавшего в щель. Клава лежала за соломой, бережно прикрывая собой беленький сверток с младенцем. Бахнул одиночный выстрел, взвизгнула под балкой пуля, и стрельба вокруг почему-то смолкла.

— Грибоед, патронов много?

Ездовой повернулся на бок, не отрывая взгляда от щели, ощупал карманы мундира, вытащил несколько обойм.

— Во четыре обоймы.

— И все?

— Ну.

— У тебя, Клава?

— Было восемь штук.

— Три выстрелила, осталось пять. Да-а... Повоюешь тут!

Положение, в общем, оставалось скверным, если не совсем безнадежным. Их обложили со всех сторон и держали под постоянным обстрелом. Конечно, патронов у полицаев хватало, а им просто смешно было думать, чтобы долго отбиваться жалкими пятью десятками. Но тогда что же? Надо было на что-то надеяться или на что решиться, только Левчук не мог придумать на что. Полежав, он сдвинул переводчик автомата на одиночный огонь. Теперь он решил стрелять только прицельно и только по одному патрону.

— Что же нам делать, Левчук? Боже, что же нам делать? —с тихим отчаянием вопрошала Клава.

— Тихо! Лежи! Смотри на дверь. Ты смотри на дверь. Если кто, бей прямо в лобатину! — приказал он и посмотрел на эту чертову дверь — огромную, из тонких нестроганых досок, обеими половинками открывающуюся наружу, отсюда же ее нельзя было ни подпереть, ни задвинуть. Стоит тем сволочам бросить гранату, и они вовсе останутся без двери, тогда врывайся и расстреливай всех на месте.

На какое-то время в перестрелке настала заминка, полицаи, наверное, совещались, как быть, и вот где-то поблизости раздался приглушенный стенами голос:

— Эй ты, Кудлатый! Не пора ли сдаваться?

Левчук вздрогнул: Кудлатым его одно время звали в разведке, и теперь этот голос показался ему до того знакомым, что он удивился — кто бы это мог быть?

— Эй! Слышь? Пора сдаваться, пока не поджарили. Или ты уже тае — загибаешься?

— Гэта ж той,— обернулся лицом к нему Грибоед.— Что со станции прибег.

— Кудрявцев?

— Ну.

Левчук тихо выругался, он был ошеломлен этим открытием. Минуту он молча лежал, чувствуя, как его наполняет неодолимое желание сейчас же выскочить из тока и всадить в того подлеца все, что еще оставалось в его автомате. Пусть тогда убивают и его самого. Но все-таки он заглушил в себе внезапную вспышку гнева и не выскочил, а на коленях подался к Грибоеду.

— Вунь за поветкой. За соломой вунь вытыркается.

— А ну дай!

Он взял у ездового расхлябанную его драгунку и удобнее устроился возле стены. Как он ни старался просунуть винтовку в щель, туда пролезал только тонкий ствол с мушкой. Хорошо еще, что щели в стене снаружи прикрывал малинник, за которым вряд ли что можно было заметить. Впрочем, и отсюда видать было плохо, Левчуку стоило немало труда направить винтовку на угол повети, где за соломой лежал Кудрявцев. Он дождался, когда тот шевельнулся, показав верх черной пилотки, и выстрелил. Потом, быстро перезарядив винтовку, выстрелил снова в то же самое место и подождал.

Но ждать не пришлось долго, из-за повети как ни в чем не бывало снова раздался зычный знакомый голос:

— Достреляешься, Кудлатый! Повесим за челюсть! На столбе подыхать будешь!

— А хо-хо ты не хошь! — крикнул Левчук, не сдержавшись.

— Брось дурить, кретин! Высылай из сарая радистку и поднимай руки. Жить будешь!

— Я и так жить буду, подлюга! А ты в веревке подохнешь, продажная шкура!

— Ну, пеняй на себя! — донеслось снаружи.— А ну, хлопцы, огонь!

На этот раз они задали такого огня, какого Левчук давно уже не слышал. Грохало за поветью, возле дороги, от ольшаника; лесное эхо вокруг множило выстрелы, и казалось, целый взвод палит по ним со всех четырех сторон. Пули со злым частым стуком долбили и крошили истлевшее дерево стен, на головы сыпались щепки, труха, сухой мох из пазов. Соломенный мусор густо осыпал пол, и пыль столбом стояла в подстрешье. Наверное, они бы легко перебили тут всех, если бы не прикрытый малинником фундамент, который по-прежнему спасал их от пуль. Правда, теперь поднять из-за него голову, чтобы выглянуть в щель, было невозможно, и все-таки выглянуть было необходимо. Левчук знал, что этот огонь не так себе, что под его прикрытием эти волки попытаются подобраться к постройке. И он, лежа под стеной, чутко прислушивался к беспорядочно частым выстрелам, чтобы уловить в них момент, когда следует ударить навстречу. У него уже был некоторый на этот счет опыт, и теперь он не так увидел, как внутренне почувствовал, что они близко. Тогда, вскинув автомат, он выстрелил через щель в одну сторону, в другую; рядом несколько раз грохнул из винтовки Грибоед. Скрываясь с головой за камнями, он успел заметить сквозь сухие стебли малинника, как кто-то там тоже упал на землю, кто-то, пригнувшись, метнулся в сторону, за поветь. Наверно, умирать в этом гумне им тоже не очень хотелось. Минуту спустя из ольшаника еще постреливали, но возле повети уже притихли. Похоже, что он опять выиграл какую-то для себя передышку, возможность подумать, как быть дальше. Но

тут его охватило новое беспокойство за тот конец тока, и он бросился по лестнице на овин.

Он сделал три шага по мягкой земляной засыпке и растянулся возле ветхого соломенного щитка. Здесь было несколько дыр, через одну он глянул сверху на рожь и злорадно ухмыльнулся: двое в черных пилотках, с расстегнутыми воротниками кителей по-воровски подкрадывались к току. Ощутив коротенькое удовлетворение в душе, он медленно взвел затвор. Полицаи, пригибаясь, чтобы не слишком высовываться над рожью, не могли здесь видеть его, и он, тщательно прицелясь, щелкнул одиночным выстрелом. Передний полицай, будто удивившись чему-то, выпрямился во весь рост, запрокинув голову, повернулся на каблуках и рухнул всем телом в рожь. Второй, не дожидаясь, когда попадется на мушку, прытко припустил к ольшанику, Левчук торопливо выстрелил вдогон без всякой надежды попасть и тут же пожалел напрасно истраченный патрон.

Двух выстрелов оказалось достаточно, чтобы его засекли, и как только первая пуля, сыпанув песком, ударила через потолок снизу, он скатился по лестнице в ток. Он ощутил в себе чувство признательности к этой старой постройке, которая своим простором и спасала их тут. Пусть стреляют, подумал Левчук, ток большой, не так легко здесь в кого-либо попасть.

Он лег у стены, к которой все время прижималась Клава, и в узкую щель между бревен попытался увидеть, куда девался бежавший из ржи полицай. Но, кажется, с этой стороны его нигде не было или, может, он уже успел скрыться в ольшанике. От повети еще раза два выстрелили, потом как-то разом все смолкло.

— Эй ты, живой еще? — глухо донесся все тот же голос Кудрявцева.— Хватит пулями кидаться! Давай радисточку и катись к чертовой матери! Слышь?!

В гнетущей тишине, наставшей после лихорадочной стрельбы, эти слова за стеной прозвучали зловеще. Левчук молчал, и те тоже замолкли: наверно, ждали ответа. Трудно было понять, почему они требуют радистку и откуда им известно, что она тут. Но, по-видимому, известно. И Левчук вдруг понял, что именно за этим они сюда и приехали. А он, балда, все на что-то надеялся, полагался на знаменитое авось — надо было сразу же секануть по ним очередью, может бы, меньше осталось. А теперь что сделаешь? Клава, во второй раз услышав их требование, опустила на солому малого и заплакала.

— Ой, господи!.. Ой, что же нам делать?..

Действительно, что делать — было неизвестно, но и не сдаваться же этим подонкам. И Левчук, лежа за фундаментом, громко прокричал в ответ:

— Эй ты! Иди возьми радисточку! Ну! Иди возьми!..

И, вскинув автомат, выстрелил туда через щель — выстрелил всего только раз, больше он не мог позволить себе, но и этого раза для них, наверно, было достаточно.

— Ну, падла! — крикнул Кудрявцев.— Держись! Скоро мы тебя поджарим, как кабана в соломе!

12

Левчук сразу понял, что это было их намерение, а не пустая угроза. Конечно, куда как соблазнительно было сжечь всех вместе с током, но для этого, наверно, надо было к нему подойти. И он решил ни в коем случае не подпускать их к току, отбиваться до последней возможности. У него был парабеллум с горстью патронов, пара обойм

оставалась у Грибоеда и пять патронов у Клавы — может, и удастся продержаться до ночи. Им очень нужна была ночь, может, в ночи они бы и спаслись. Но солнце, черт бы его подрал, висело еще высоко, до ночи еще надо было дожить. До ночи им было не ближе, чем до конца войны.

— Грибоед, смотри! Будут подползать — бей!

Про себя он прикинул, что двух, наверное, они подстрелили, а, может, даже и трех. По выстрелам трудно было определить, сколько их там осталось, но, пожалуй, не больше пяти. Двое лежали за углом повети, двое скрывались в ольшанике, и один, наверно, сидел в засаде во ржи. Второй там уже не поднимется. Постаравшись, наверно, можно подстрелить еще двух, и если к полицаям не придет подмога, то к вечеру их силы окажутся равными. Тогда они еще поглядят, кто кого.

Левчук стал следить за той стороной, от леса, которая теперь казалась ему наиболее опасной. Он думал, что кто-то из них поползет оттуда с огнем, чтобы поджечь ток. Или, может, прежде зажгут поветь? Правда, он не знал, с какой стороны дул ветер и куда понесет огонь. Но он как никогда прежде был бдителен и намерился не подпустить поджигателя.

Потому, когда из-за повети грохнул очередной выстрел и пуля, сверкнув в подстрешье, навылет пронизала крышу, он ничуть не встревожился, подумав, что это трассирующая. Следом грохнуло еще раз, никакой трассы не было видно, и он решил, что это обычная. И только когда прогремел третий выстрел, он понял, что́ они надумали, и от гнева у него помутилось в глазах.

Они начали обстрел зажигательными.

Клава лежала на боку под стеной, заслоняя собой младенца, в углу возле своей щели замер Грибоед — они не поняли еще ничего и он ничего не сказал им. Он ждал, когда загорится крыша, и против этого был бессилен. Он даже не мог долезть до нее, чтобы попытаться затушить огонь. Да и чем тут было тушить?

Долго ждать, однако, ему не пришлось — после четырех-пяти выстрелов в току потянуло дымом. Клава первая повернулась возле стены, глянула вверх и приглушенно вскрикнула, будто от боли:

— Левчук, Левчук!

— Тихо! Подожди! Тихо!..

Но чего было ждать, он не знал и сам. Первые минуты он только смотрел, как с конца тока, над их головами, занималась огнем стреха и ток все больше наполнялся дымом. В соломе сначала прогорела небольшая дыра, потом огонь от нее быстро побежал вверх и в стороны. Порывистое пламя, набрав силу, затрещало, загудело, пожирая сухую солому; сквозь дым на их головы посыпались соломенная гарь и угли. Вскоре Грибоед вынужден был оставить свой угол и перебраться поближе к двери; Клава с младенцем подалась туда же. Левчук оставался на прежнем месте, то и дело поглядывая в щель. Ему, в общем, пока было терпимо, если бы не клубами валивший в ток дым, от которого нечем было дышать, и Левчук представлял себе, что тут будет, когда займется вся крыша.

— Клава, в овин! — крикнул он радистке.— Живо!

Клаву не надо было уговаривать, она проворно перекатилась через порог, и Грибоед, стукнув дверью, запер ее в овине.

Вдвоем с Грибоедом Левчуку стало легче и проще, отпала надобность все время заботиться об этой несчастной матери. Пока по ним не стреляли, они могли посовещаться и решить, как быть, потому что очень скоро всякое их решение могло оказаться напрасным.

— Пропадем мы, напэвна, га? — спросил Грибоед, повернув к Левчуку растерянное лицо с покрасневшими от дыма глазами.

— Пусть они пропадут,— сказал Левчук, не найдя в утешение ничего другого.— А мы еще посмотрим...

Он лихорадочно перебирал в голове все возможные варианты спасения и не находил ничего. Пока полицаи караулили их со всех четырех сторон, выбегать из тока было безрассудством. Но и оставаясь тут, они не могли продержаться долго. Тогда что же делать?

Перегорев в креплениях, рухнула крайняя пара стропил, взбив в конце тока густой рой искр. Грибоед отодвинул в сторону босые ноги, а Левчук, едва увернувшись от огня, отбросил сапогом горящую палку и перебежал к двери.

— Ну во, зараз сгорим,— спокойно сказал Грибоед и закашлялся.

«Да, так, пожалуй, сгорим»,— подумал Левчук. Но прежде чем сгореть, надо было что-то сделать или хотя бы попытаться сделать, а если уж не получится, тогда что ж, тогда оставалось гореть.

— Грибоед! — крикнул он, тоже закашлявшись.— Грибоед, а ну дверь! Толкни дверь!

Грибоед протянул руку и толкнул половинку двери, та немного приотворилась, и сразу же из-за повети бахнули два выстрела. В тонких досках двери появились две новые дырки.

— Да-а... Холера на их!..

Однако другого выхода у них не было, надо было прорываться из этого ада, а прорваться можно было лишь через дверь. Уже пылал весь конец тока. Вверху гудело и трещало, солома и поплет почти сплошь прогорели, теперь пылали стропила и верхние венцы стен, по которым огненными змеями бегали языки пламени. Пол густо засыпало пеплом, гарью и огненным мусором догоравшей соломы. Грибоед закутался в обгоревшую полосатую дерюжку, Левчук спохватился, что горят сзади штаны, и, поерзав по земле, едва затушил их. Становилось невыносимо жарко, внизу тоже всюду дымилось, от дыма саднило в горле и слезы не переставая текли из глаз, порой вовсе не давая глядеть. Только возле приоткрытой двери еще можно было ухватить свежего воздуха.

В овине тоже, наверно, стало не лучше, хотя земляная присыпка на чердаке и предохраняла его от огня, который по крыше подбирался уже и к овину. Через несколько минут дверь из него резко распахнулась и, зайдясь в кашле, на пороге упала Клава.

— Не могу... Не могу больше! Левчук! Я выйду! Спасите ребенка...

— Молчи! — зло крикнул на нее Левчук.— Я тебе выйду! А ну ползи сюда!

Все кашляя, она подползла к двери, и он отодвинулся в сторону, давая ей место рядом. Одна половинка двери была немного приоткрыта, в нее задувал ветер и крутил дым, валивший не поймешь куда — то ли в ток, то ли из тока. Левчук потянулся и автоматом толкнул дверь дальше — она распахнулась шире. Опять грохнул выстрел, другой, одна пуля ударила возле пробоя, расколов раму двери, другая, по-видимому, прошла мимо. Он крикнул Грибоеду: «Держи!», чтобы дверь не закрылась, а сам кивнул Клаве:

— Давай! Слышь? Живо в малинник!

Она подняла к нему залитое слезами лицо и, прижав младенца к груди, несколько секунд смотрела, боясь или, может, не понимая его намерения. Но времени у них оставалось все меньше, полыхала почти вся крыша, огонь оседал ниже и принимался за стены тока. Было так жарко, что, казалось, вот-вот они загорятся сами. Испугавшись, что Клава не успеет, Левчук решительно толкнул ее к двери. Подобравшись, радистка покорно поднялась на четвереньки и, секунду помедлив, боком скользнула за прикрытую половинку в малинник.

Он ожидал выстрела, но с выстрелом полицаи промедлили, наверно, ее прикрыл дым из двери, и от повети ее не сразу заметили.

— Грибоед, бей! По тем бей! — крикнул Левчук, а сам, рискуя вспыхнуть или задохнуться в горячем дыму, бросился по лестнице наверх. Ему надо было прикрыть ее сверху, не дать застрелить возле тока или перехватить во ржи, куда она неминуемо должна была податься. Он не представлял точно, как помочь ей, не знал даже, сколько у него было в диске, но отчаянно взлетел под самый огонь на овин к знакомой дыре в щитке.

Ржаную ниву внизу густо застилал дым, посвежевший ветер клубами гнал его в поле, задыхаясь, Левчук метнул по ржи затуманенным от слез взглядом и нигде не увидел Клавы. Возможно, ее застрелили в малиннике или она уже успела отбежать от тока и скрыться во ржи. Действительно, два темных силуэта с краю ольшаника стреляли куда-то сквозь дым, и он, побольше ухватив ртом воздуха, быстро направил на них автомат. Из огня и дыма он выпустил по ним все, что еще оставалось у него в диске, затем снова вдохнул горячего, обжегшего его грудь воздуха и понял, что задыхается. В глазах у него потемнело, он испугался, что потеряет сознание, и, ухватившись левой рукой за бревно, ринулся через дыру в малинник.

Он сильно ударился бедром о камень, но тут же вскочил, почувствовав, как из-под рук рикошетом брызнула пуля. Кажется, она его не задела, и он, пригнувшись, бросился в рожь. Тут его сразу накрыло горячим дымом, он опять задохнулся и, запутавшись ногами во ржи, упал, вскочил, побежал — прочь от огня, от тока, возле которого зачастили выстрелы и, наверное, появились немцы. Начали стрелять и со стороны ольшаника — над рожью в дыму сверкнуло несколько огненно-зеленоватых трасс, и он бросился в другую сторону, в поле, потому что дорога в ольшаник уже была отрезана. Дым, однако, редел, удушливым туманом расползаясь по ржи, и Левчук, пригибаясь, бежал все дальше. Сзади стреляли, даже кричали что-то, но он не слушал, ему надо было скорее добежать до леса, хотя бы до того самого ольшаничка, так как в поле спасения ему не было. И он начал забирать в сторону, пересек одну, вторую межу, все время пригибаясь, споткнулся, вскочил, помогая себе руками. На боль в правом плече он давно перестал обращать внимание, он лишь стискивал челюсти, когда становилось особенно больно, кепку свою он потерял где-то, пот заливал его лоб, щеки и вместе с дымом выедал глаза. Потом стрельба по нему как-то отдалилась, вроде готовая и совсем прекратиться, и он подумал, что спасся. Только надо было в ольшаничек.

По белой от ромашек меже он выбежал из ржаного поля и тут же попятился назад. Но было уже поздно. На нешироком травянистом пространстве между рожью и лесом наперерез ему устало бежали двое; увидев его, задний что-то крикнул переднему, и тот, сноровисто упав на колено, выстрелил. Левчук, сильно пригнувшись, бросился назад, в рожь, и побежал поперек нивы. Вскоре, однако, рожь кончилась, впереди простиралась заболоченная луговина с некошеной осоковатой травой и за ней опять поле. Но в поле ему бежать было не за чем, там его запросто могла настичь пуля. Да и сил у него было в обрез, сердце размашистым стуком наполняло грудь, легким не хватало воздуха. Он остановился, вынул из кобуры парабеллум и звучно клацнул затвором, дослав первый патрон в патронник.

Скоро появились и его преследователи; выглянув над рожью, он увидал их черные пилотки и выстрелил два раза подряд. Пилотки исчезли, он выглянул снова и, когда первая появилась над рожью, выстрелил еще раз. Потом с пистолетом в руке обессиленно побежал краем лужайки наискось от ржи к ольшанику.

На бегу он явственно чувствовал, что не успеет, что вот-вот следом выскочат из ржи полицаи. И он старался изо всех своих сил, только силы его катастрофически убывали. Он все больше слабел, шаг его с каждой минутой делался уже, ноги подкашивались, и он боялся, что упадет и тогда — все.

Он оглянулся, когда сзади опять грохнул выстрел и пуля прошла очень близко над его головой. Но и тогда он не ускорил бег, наоборот, почти перешел на шаг. Его преследователь остановился на краю ржи, выстрелил с руки, потом перезарядил карабин и стал на колено, вперев в него локоть. Так, конечно, целиться стало удобнее, можно было ударить наверняка. Но и тогда Левчук не побежал. Кроме того что не осталось силы, что-то в нем надорвалось в этой бесконечной борьбе за жизнь, он про себя сказал тому: «Бей, собака!» — и, пошатываясь, побрел к ольшанику.

Ему оставалось совсем немного, чтобы скрыться в кустарнике, как полицай выстрелил. Пуля стремительно выбила в дерне из-под его ног косую черную полосу и срикошетила в небо. «Давай, давай!» — бросил он, не оглядываясь, и брел дальше. Он отчетливо чувствовал, как пуля в любое мгновение может пронзить его тело, но ничего уже сделать с собой не мог.

Третий выстрел донесся до его слуха на мгновение после того, как пуля хлестнула по поле пиджака и несколько патронов из кармана упали в траву. Он испуганно схватился рукой за карман, будто патроны теперь были дороже собственной жизни, и быстро собрал их в траве. Потом, держась рукой за карман, понял, что все-таки отошел от ржи далеко. Шанс получить пулю теперь значительно уменьшился, и он окончательно перестал обращать внимание на все еще грохавшие сзади выстрелы.

Он продрался через густое сплетение ветвей на опушке и взошел на хвойный пригорок. Тут начинался лес. Кажется, за ним не гнались, но он все шел, шел между сосен, пока не набрел на теплую сухую поляну, поросшую мхом беломошником. Споткнувшись о корень, упал на мягкий, усыпанный хвоей мох. У него уже не хватило сил повернуться на бок, и он остался лежать ничком.

Тем временем летний свет в небе начал тускнеть, солнце склонилось к закату, в лесу под соснами растекались прохладные сумерки, надвигалась ночь...

13

Потеряв надежду кого-либо дождаться, Левчук взял чемоданчик и пошел в подъезд позвонить. Думалось, может, он их просмотрел и они давно уже дома. Конечно, в лицо он никого не знал, хотя и чувствовал каким-то своим чутьем, что если где увидит, то обязательно узнает.

На его три звонка опять никто не отозвался, квартира глухо молчала. В этот раз соседка тоже не поинтересовалась им, и Левчук опять сошел вниз во двор. Убивая время, обошел вокруг дворовой территории и вернулся на свою скамейку под кирпичной стеной. Надо было ожидать. Не ехать же без уважительной причины назад, если уж приехал за пятьсот километров, хотя никто его тут и не ждал. Но эта встреча больше чем кому-либо другому была нужна ему самому. Он не мог забыть то, что тогда пережил, даже если бы и хотел это сделать. Так же как и ту ночь, когда ему повезло меньше. Тогда за его жизнь заплатил собственной жизнью другой, и эта дорогая плата, как невозвращенный долг, тридцать лет лежала на его совести. Трудно было жить с нею, но что сделаешь? Пережитого не переиначишь...

На рождество в сорок третьем они рвали «железку».

Сначала все шло хорошо, трое их под командой бывшего сержанта Колобова за ночь добрались из пущи до Селетнева, небольшой деревушки под лесом, от которой до железной дороги было два километра, передневали у своего человека и, как только стемнело, пошли на «железку». Охрана их проворонила, они быстро подложили мину, и спустя минут двадцать грохнули тяжело груженный состав, шедший в сторону фронта. Ошеломленные немцы не сразу пришли в себя и опоздали открыть огонь, подрывники кружным путем возвратились в деревню, выпили, поели и завалились спать. Но у них была еще одна мина-запаска, которую грех было нести назад в пущу, и в следующую ночь, дав порядочный крюк, они подошли к «железке» с другой, лесной, стороны. Думалось, немцы их тут не ожидают и все удастся не хуже, чем удалось вчера. Но на повороте железнодорожной насыпи они заметили патрулей и притаились на краю лесного завала в пятидесяти шагах от линии. Надо было ждать. Часа три пришлось дьявольски мерзнуть на сильном морозе, пока дождались, когда патрули пошли в бункер греться, и поставили мину. На линии, в общем, было спокойно, перед тем прошел состав со стороны фронта, вскоре должен был появиться другой — на фронт. И тогда Колобову пришло в голову, что в спешке они не совсем как надо замаскировали мину, патрули при обходе могут заметить следы их работы и поднять тревогу. Левчуку очень не хотелось снова лезть через заснеженный завал к насыпи, он будто чувствовал, что это добром не кончится. Но отговорить Колобова от чего-либо, что тот вобьет себе в голову, было невозможно. Правда, вместо того чтобы послать кого-нибудь из троих — Левчука, Филиппова или Крука, командир полез через завал сам.

Лезть через беспорядочно наваленные вдоль линии суковатые березы и ели было нелегко, пока он пробрался через них, прошло, наверно, немало времени, и на железной дороге что-то изменилось. Может, раньше времени начали свой обход патрули, а может, начальство вышло с проверкой на линию. Им из завала не очень было видать, что там случилось, только вдруг послышался крик, трассирующая очередь хлестнула по насыпи и вихрем пронеслась над завалом. Потом ударил пулемет из бункера. Чтобы прикрыть товарища, они несколько раз выстрелили туда из винтовок, но пулемет сыпанул по завалу такой густой очередью, что они сунулись головами под дерево и лежали так минут пять, не решаясь высунуться. И именно в это время Левчук услышал слабый крик Колобова и понял, что с командиром случилось наихудшее.

Пулемет захлебывался в своей слепой ярости, огненными потоками пуль осыпая завал, строчили патрули из-за насыпи, а Левчук через выворотины и суковины бросился на ту сторону, к линии. Потеряв рукавицы и разодрав рукав телогрейки, он выбрался наконец из завала и сразу наткнулся на Колобова, лежащего в окровавленном маскхалате возле суковатой рогатины-елки, перебраться через которую у него уже не хватило сил. Левчук молча ухватил его под мышки, обполз ель, под шквалом огня перевалил его через другое, косо поваленное дерево. Колобов молча постанывал, сжав зубы, из одной штанины его маскхалата лилась на снег черная кровь. Взмокнув на морозе от пота, Левчук за четверть часа все же одолел этот проклятый завал, выполз на его лесную сторону и не нашел там ребят. Он подумал, что, может, они отбежали в тут же начинавшийся лес, взвалил на себя Колобова и под непрекращавшимся огнем из бункера шатко побежал между деревьев — подальше от этого огненного ада, сотрясавшего окрестность на десяток километров вокруг.

Все время он ждал, что Филиппов с Крюком вот-вот встретят его, но он брел в сосняке с полчаса, а их нигде не было. Вконец умаявшись, он упал на снег и не скоро поднялся. Стрельба сзади будто стихала, хотя пулемет еще и трещал очередями, но тут, в лесу, его огненных трасс уже не было видно, и это вселяло надежду. Колобов все молчал, изредка поскрипывал зубами, и Левчук думал, что, видно, командиру досталось. Едва отдышавшись, он решил посмотреть раненого и расстегнул его брюки, но там все было так залито быстро густевшей на морозе кровью, что он испугался. Он снял с себя тонкий свой брючный ремешок и два раза обмотал им раненое бедро Колобова, пытаясь хотя бы остановить кровь. Затем, все прислушиваясь к звукам этой злосчастной ночи, долго нес командира через притихший настороженный лес, а ребят так нигде и не встретил. Сначала он злился, подумав, что те убежали, но так далеко убегать, наверное, не было надобности. Значит... Значит, они навсегда остались все в том же завале.

Примерно в середине ночи он выбрался из леса. Ельник кончился, начались какие-то кустарники, мелколесье, стало совсем тихо. В безмесячном небе роями сверкали звезды, входил в силу мороз. Его рождественскую хватку Левчук давно уже ощущал прежде всего по своим рукам, которыми он держал Колобова,— руки мерзли так, что, казалось, отмерзнут совсем. Телу и ногам в валенках было жарко, грудь горела от усталости, горячий пар валил изо рта, а руки зашлись так, что он едва мог терпеть. С Колобовым они не разговаривали, кажется, тот был без сознания или просто не мог вымолвить ни слова.

Неизвестно, как далеко он отошел от железной дороги и который был час, но ему казалось, что где-то должна была появиться деревня. Он все пристальнее вглядывался в сокрытую сумерками местность и не узнавал ее. Он просто не знал, куда шел, потому что в этих краях никогда не был, и брел наугад, надеясь все же прибиться к какой деревне.

Шло время, остановки его становились все продолжительнее, усталость брала свое, руки отмерзали, и он ничего не мог с этим сделать. Он выбивался из сил. До слез в глазах он вглядывался в ночной серый сумрак и все думал, что, может, где покажутся хоть какие-нибудь признаки близкой деревни. Только деревня могла спасти их обоих. Но его надежда на это таяла, как льдинка во рту,— местность вокруг лежала диковатая, малообжитая, в такой не скоро найдешь деревню, тем более ночью. И он в который уже раз, став на колени, взваливал на себя страшно отяжелевшее тело Колобова и куда-то брел в перелесках — в ту сторону, где, казалось ему, была пуща. Хорошо еще, что снег был неглубокий и особенно не затруднял ходьбу.

Он заметил их во время очередной остановки, как только опустил на снег Колобова и рукавом разодранного маскхалата вытер вспотевший лоб. В морозных сумерках показалось сначала, что это человек, но, всмотревшись, он понял: волк! Тот стоял среди мелколесья в полсотне шагов от него и настороженно вглядывался, будто дожидаясь чего-то. Левчук, однако, мало испугался — подумаешь, волк! У него была винтовка да еще автомат Колобова, что ему какой-то зимний оголодавший волк. Приподнявшись, он даже взмахнул на него рукой — мол, пошел прочь, дурак! Но волк только шевельнул ушами и слегка повел мордой в сторону, где появился еще один, а затем и два таких же, как и первый, подтянутых, настороженных, готовых к чему-то хищников. Левчук почувствовал, как похолодело в его разгоряченном сознании: четыре волка в его положении — это уже не шутка. Подумав, что они бросятся на него, Левчук взялся за автомат, висевший на его груди, одубевшими пальцами нащупал рукоятку затвора. Однако волки как будто не проявляли никакого враждебного к нему намере-

ния и продолжали стоять в редком кустарнике — трое впереди и один на два шага сзади. Все чего-то ждали. Чего только?

Его тревога передалась Колобову, и тот, привстав за его спиной, тоже вгляделся в ночной снежный сумрак.

— Сволочи! Еще не хватало...

Не сводя с волков глаз, Левчук встал на ноги, сделал несколько шагов к кустарнику. Волки без заметного страха тоже отошли на несколько шагов. Что было с ними делать?

Вернувшись к Колобову, Левчук взвалил его на спину и пошагал дальше. На ходу, с подвернутой головой, ему трудно было следить за волками, он едва видел снег под ногами, но чувствовал, что они не отстают. Они шли рядом, параллельно его направлению, пристально следя за каждым его движением, и Левчук думал: может, стоит запустить в них автоматной очередью, чтобы отстали? А может, наоборот — не следовало их трогать, ведь они же пока не трогали? Может, они пройдут так немного и свернут по своим делам? Зачем им люди?

Но у хищников, видно, были свои намерения относительно этих двух выбивавшихся из сил людей.

Тем временем кончился и кустарник, впереди забелело огромное пространство поля. Левчук с внезапно вспыхнувшей надеждой подумал, что уж тут наверняка где-то будет деревня и эти твари наконец повернут обратно. Он опустился коленями в снег, затем лег на бок, свалил с себя Колобова и не сразу поднял голову, чтобы посмотреть на волков. Но они были тут же и даже подошли еще ближе. Рослый передний волк с одним заметно длиннее другого ухом приблизился к людям, может, шагов на сорок и стоял с некоторым даже вызовом в своей настороженной выжидательной позе. Двое других ждали немного сзади, а четвертого почему-то тут не было, и Левчук удивился: куда он делся? Он удивился и еще больше, когда, оглянувшись, увидел, как, обходя кустарничек, где снег был поглубже, следовал еще один выводок. На чистом, притуманенном сумерками снегу были хорошо видны четыре зверя, быстро обходившие их с другой стороны.

Левчуку стало не по себе. Уже с твердым намерением отогнать их выстрелом, он перекинул через голову ремень автомата, и только потянул затвор, как рядом обессиленно завозился Колобов.

— Постой, ты что?

— А что? Смотри, их уже семеро.

— Где мы — ты видишь? — трудно просипел командир, и Левчук растерянно вгляделся в сумрак, стараясь угадать, куда они вышли. В самом деле, лес они весь перешли, впереди в чистом поле что-то темнело, не кустарник и не бурьян, как погодя догадался Левчук, это был наполовину засыпанный снегом камыш, и за ним тускло белела голая ровнядь. В стороне от нее, кажется, поднимался пригорок, но там под темным и звездным небом ничего не было видно.

— Заровское озеро,— сказал после паузы Колобов и упал грудью на снег.

— Заровское?

Левчук удивился,— куда же они забрели? Но, по-видимому, Колобов был прав. Та снежная ровнядь за камышом, которую он принял за поле, на деле оказалась озером. Конечно, озеро само по себе не представляло для них опасности, наверно, оно замерзло. Опасность была в другом, и она не дала Левчуку запустить по волкам из автомата. На длинном пригорке, что едва угадывался в темени ночи, знал Левчук, раскинулась большая деревня Заровье, которую они всегда обходили как можно дальше, потому что там располагался немецкий гарнизон с дзотами, траншеями, бункерами, круглосуточной

охраной и патрулями. Стрелять тут, под носом у гарнизона, было бы самоубийством. Тем более в их положении.

Но тогда как же быть с этой стаей?

Волки, наверное, тоже почувствовали, что их территория скоро кончится и начнется та, где они не хозяева. Они обошли людей с обеих сторон и встали на снегу, будто ожидая, что́ те предпримут дальше.

Вперед, однако, можно было пройти.

Чтобы воспользоваться этой пока что единственной для него возможностью, Левчук перебросил через голову ремень автомата, напрягся, взвалил на себя Колобова. На том месте, где лежал раненый, осталось темное пятно крови, и он подумал, что, видимо, кровь манит хищников, обещая им скорую поживу. Но уж черта! Если это Заровье, то надо скорее перейти через озеро, а там, помнится, была еще деревня, может, в ней не окажется немцев, значит, найдутся добрые люди, помогут.

Он не дошел до камыша каких-нибудь десять шагов, как одна его нога неожиданно провалилась в глубь снега, он рванулся в сторону и провалился обеими. Сразу же почувствовал, что попал в воду, наверно, тут была криница или незамерзшее с осени болото. Сильно развороти́в снеговую целину, кое-как выгребся на более твердое, уже зная, что по колени мокрый, в валенках хлюпала вода. С досады он выругался, вспомнив, как перед выходом на это задание едва уговорил Башлыка поменяться обувью и отдал ему свои исправные сапоги, взяв эти валенки. Теперь не успел он пройти полсотни шагов, как почувствовал, что мороз стальными клещами стягивает его ступни — как было идти дальше?

С Колобовым на спине он едва дотащился до берега озера, пробрался через тростник, еще раза два провалился, хотя и не так глубоко, как первый, и не до самой воды. Впрочем, теперь ему было уже безразлично, можно было идти и по воде. Ноги мерзли. Особенно скверно стало на льду, с которого ветер местами посдувал снег, Левчук застучал твердыми валенками, поскользнулся, едва не упал. В этот раз он прошел немного и почувствовал, что должен остановиться, иначе упадет вместе с ношей. Он осторожно опустился коленями на присыпанный снегом лед и бережно положил рядом Колобова.

Какое-то время волки еще бежали ленивой рысью следом за вожаком с оттопыренным ухом, но остановился вожак — и остановилась вся стая. Они ждали, и Левчук вдруг потерял выдержку. От всех этих бед, одна за другой сыпавшихся на его голову, трудно было сдержаться, он громко и зло выругался, давая тем выход своему отчаянию. Бежать было невозможно, стрелять тоже — неужто же им придется погибнуть на этом проклятом озере?

Наверное, волки почувствовали беспомощность двух ослабевших людей и совсем осмелели. Пока Левчук с Колобовым неподвижно лежали на льду, они обошли их полукругом и закрыли проход вперед. Из этого их полукруга оставался лишь выход назад, в лес, где в волчьей цепи был разрыв шагов в двадцать. Три другие стороны были уже отрезаны. Широко разойдясь по льду, но не приближаясь к людям, волки издали настороженно следили за ними.

— Сашка, ты видишь? Ты глянь, что делается! — возбужденно сказал Левчук, и Колобов с заметным усилием приподнял голову.

— Ладно, ты иди,— сказал он.

— Как? Они же тебя тут...

— Иди. Оставь автомат и иди.

— А если они... на меня?

— Не бойся. Я останусь... Ты пригони лошадь.

«В самом деле!» — мелькнуло в голове у Левчука. Это был выход. Он попытается вырваться из этой западни, добежит до деревни, пригонит лошадь. И приведет людей. Если только Колобов сумеет продержаться до того времени. И если волки вышустят его, Левчука, из своего кольца. И если он в деревне не налезет на немцев. И если немцы раньше времени не обнаружат Колобова... Слишком уж много насобиралось этих проклятых е с л и, но другого выхода у него не было.

Левчук с трудом поднялся на ноги, которые пока еще слушались его, схватил винтовку и помороженными руками едва управился с туговатым затвором, дослав в патронник патрон. Потом, сглотнув давящий ком в горле, бросился к самой середке волчьей цепи, отчетливо сознавая, что если волки не выпустят его, то наверняка растерзают. Винтовкой он мог действовать только как палкой, выстрелить из нее он не имел возможности: первый же выстрел оказался бы для них гибельным. Хорошо еще, если немцы из Заровья их не заметили, наверно, выручали самодельные маскхалаты, специально надетые ими на это задание.

Едва сдерживая в себе накипевшую ярость, Левчук шел к стае. Он видел перед собой лишь ближайшего волка, который, поджав толстый хвост, невозмутимо сидел на снегу. Заряженную на всякий случай винтовку Левчук занес над собой, готовый ударить волка, если тот не уступит ему дороги. И волк уступил. Ощерился, припал на передние лапы, словно собираясь прыгнуть, но, видимо почувствовав гневную решимость человека, в последний момент отпрянул назад и отошел на несколько шагов в сторону. Левчук, не сбавляя шага и даже не оглянувшись, лишь следя за ним боковым зрением, быстро прошел еще шагов десять и вышел из их кольца.

Волки за ним не погнались, лишь торопливо замкнули за ним кольцо и подались к середине, где остался Колобов. Побежавший было Левчук остановился — отсюда ему уже плохо был виден Колобов в его маскировочном костюме, зато он хорошо различал волков. Они уверенно сжимали кольцо, и с ним сжималось у Левчука сердце. Теряя самообладание, он бросился назад, к Колобову, затем, передумав, изо всех сил побежал в прежнем направлении по озеру.

Минуту он бежал, боясь оглянуться. Поскользнувшись на смерзшихся валенках, упал, больно ударившись обо что-то бедром, вскочил и все-таки глянул назад — несколько тусклых пятен едва серело в притьмевшей дали. Ни крика, ни выстрела, однако, не было слышно, и он побежал быстрее. Он очень боялся не успеть, боялся, что волки управятся с Колобовым раньше, чем он добежит до деревни, которая была черт знает где, а до раненого волки, наверно, уже могли дотянуться лапой.

И все-таки он бежал, обливаясь потом, с горячей одышкой в груди, то и дело оглядываясь и все время слушая. Он ждал самого худшего — выстрелов, может, волчьего воя и напряженно всматривался вперед, со все возрастающим нетерпением ожидая появления деревни. Ноги на бегу одубели — может, согрелись, а может, совсем отмерзли, он не чувствовал их, но на ноги он перестал обращать внимание — только бы они еще слушались.

Когда ночное безмолвие раскололо гулкая очередь сзади, Левчук замер как вкопанный и затаил дыхание. Показалось: это не выдержал Колобов. Но как-то чересчур стремительно ударило еще и еще — далеко над озером прокатилось чуткое ночное эхо. Что-то слишком уж гулко, подумал Левчук, наверно, автомат так гулко не может.

Будто подтверждая его сомнение, тотчас забахали винтовки, послышались крики, и он совсем растерялся.

Он чувствовал, что случилось похуже, чем если бы на Колобова бросились волки, наверно, волки тут ни при чем. Это немцы. Но откуда они стреляют? На слух палят по озеру или уже заметили Колобова? Чувствуя, однако, что тот в смертельной опасности, Левчук сорвался с места и что было силы побежал назад.

Пока он обессиленно трухал в своих смерзшихся валенках, на озере еще стреляли, доносились крики, а он даже не знал, что сделает, когда добежит до Колобова. Но все равно он бежал. У него была винтовка и сотня патронов в сумке, были две гранаты в карманах, только бы застать живым Колобова. Правда, подозрительно долго молчал его автомат. Стрелял пулемет, винтовки, автомат же упрямо молчал, и это его молчание скверным предчувствием терзало Левчука. Тем не менее он бежал, возможно, навстречу собственной гибели, потому как шансы отстоять Колобова были у него ничтожны.

А может, он успеет добежать раньше, чем это сделают немцы?

Эта счастливая мысль дала ему силы бежать быстрее, тем более что вскоре стрельба прекратилась. Раза два он услыхал голоса возле деревни и подумал, что это немцы спускаются к озеру. Если бы они еще только спускались, то он, возможно, и успел бы...

Левчук, однако, ошибался — они не спускались, они уже поднимались с озера, где вместо волков учинили свою расправу.

Он понял это, когда увидел невдалеке тот самый тростник, возле которого провалился в воду и где оставил Колобова. Узнал и то место на льду. Оно было теперь истоптано множеством человеческих и волчьих ног, среди которых местами были видны пятна крови. Волков нигде уже не было, Колобова тоже. Ветер сдувал со снега темное клочье шерсти — наверно, перепало и волкам. Но что волки! Широкая борозда-след в снегу, прорезанная телом Колобова, вела в сторону деревни, откуда еще доносились приглушенные расстоянием голоса, смех, знакомая злая ругань.

Едва сдерживаясь, чтоб не заплакать, Левчук потоптался еще на снегу и бегом пустился по озеру...

14

Несколько минут спустя он пришел в себя, сел — явь его продолжалась и напомнила о себе гулом далекой стрельбы, возможно, на той самой гати. Опершись руками на мшаник, он посидел, не сразу раскрыв глаза, а когда и раскрыл их, то все равно ничего не увидел — была ночь. Голова его, словно с похмелья, клонилась к земле, хотелось снова упасть на мох и лежать. Прислушиваясь к стрельбе, он определил, что бой шел несколько в стороне от того места, где была гать, похоже — в Круковском урочище. Значит, пришел черед первомайцев, добрались и до них каратели.

Все случившееся днем горячим туманом плыло в его сознании, но, по-видимому, надобно было время, чтобы припомнить все пережитые им подробности и разобраться в них. Лишь одно было для него бесспорно: он спасся — не сгорел в току, уберегся от пули, убежал в лес и теперь мог идти, куда хочешь. Только радости от того почему-то было немного, в сознании его жила, заглушая собой все другие чувства, острая боль несчастья, большой непоправимой беды. Как знало-предчувствовало его сердце, когда прошлой ночью он не хотел отправляться на это задание, что удачи ему тут не будет. Но тогда его беспокоило другое, а того, что случилось, он не предвидел. Действительно, он же отправлялся в тихую и безопасную зону Пер-

вомайской бригады, а не на прорыв, не в самое пекло блокады. Но, по-видимому, самая большая беда именно там и подстерегает человека, где он меньше всего ее ждет.

Левчук сел ровнее и все продолжал вслушиваться. Поблизости было тихо, как может быть тихо погожею ночью в безлюдном лесу. Правда, его настороженный слух различал множество мелких невнятных звуков и шорохов, но за месяцы партизанской войны он хорошо свыкся с лесом и знал, что человеческий слух ночью чересчур обострен и что большая часть лесных звуков лишь кажется, а действительно подозрительное обнаруживает себя явно и сразу. Здесь робкую тишину леса нарушали приглушенные порывы ветра в вершинах, изредка падала пересохшая ветка, сонно возилась птичья мелкота на деревьях — ничего другого поблизости не было слышно. И он, все настойчивее проникаясь своими заботами и прислушиваясь к далекой стрельбе, решил, что пора вставать и как-то добираться до Первомайской. Судя по всему, только ночью и можно туда добраться, днем его наверняка перехватят каратели.

Пошатнувшись, он встал на ноги, сдвинул с живота на бедро парабеллум. Натруженное плечо тупо болело, наверное, надо было поправить повязку, но он подумал, что сделает это завтра. В лесу стояла непроглядная темень, чтобы не наткнуться на острый сук или дерево, он вытянул руку и пригнул голову. Правда, лес тут был редкий и голый, сосны стояли почти без подлеска. Он вспоминал путь, которым брел сюда несколько часов назад, надо было снова выйти к болоту и по опушке свернуть налево. Дальше он не очень и помнил, какая там была местность, однако надеялся, что, ориентируясь по стрельбе и звездам, выдержит направление. Лишь бы не наткнуться на немцев.

Он долго и медленно брел в лесной темноте, будто слепой, вытянув руку и на ощупь обходя деревья, чутко ощупывая ногами траву с бесчисленным множеством пней и всевозможных рогатин, зарослей жесткого, непролазного папоротника. Прежде всего ему надо было выбраться из леса, думалось, что край его где-то тут близко, потом он пойдет быстрее. Все время он вслушивался в неутихавшие звуки стрельбы, но больше был занят дорогой, и из его головы не выходила мысль о токе. Его мучил вопрос, что произошло с Клавой и какова судьба Грибоеда? Впрочем, Грибоед, скорее всего, там и остался, вряд ли ему удалось выскочить в дверь. Но куда запропастилась Клава? Как выскользнула из тока, так будто провалилась сквозь землю — нигде он ее так и не увидел.

Как-то спохватившись, он заметил, что идет не на звуки стрельбы, а своим вчерашним путем, что стрельба давно уже осталась для него слева. Но он не стал поворачивать — только сейчас он понял, что ему необходимо именно туда, к гумну. Он не мог никуда больше податься, не зайдя на гумно.

Отчетливо поняв это, Левчук почувствовал в себе напряженное до боли нетерпение. Он перестал обращать внимание на кусты и рогатины и едва не бегом пустился по ночному лесу туда, где, по его представлению, должен был находиться ток. Он весь трясся от возбуждения, наново остро переживая вчерашнее. То, что еще час назад казалось для него удачей, теперь стало его бедой, он уже был уверен, что не должен был оставлять Грибоеда и Клаву, наверно, надо было поступить иначе. Правда, ни тогда, ни теперь он не знал, как; он изо всех сил старался спасти ее, Грибоеда, себя тоже. Запоздалое чувство вины быстро разрасталось в его сознании, определенно, он сделал что-то не так, потому что, кроме него, вряд ли кому удалось спастись из той пылающей западни, где он едва не остался сам.

Прежде всего ему надо было зайти на гумно. Его гнало туда странное чувство, будто он сможет там что-то переиначить, сделать удачнее, чем сделал вчера. Он понимал, конечно, что теперь уж ничего сделать нельзя, все, что можно было еще сделать, наверно, уже сделали немцы. Тем не менее его неодолимо тянуло туда, как преступника тянет на место совершенного им преступления.

Он вылез из кустарника где-то по соседству с тем местом, где днем вбежал в него. Сразу стих шум ветвей и стало светлее, над притихшей летней землей лежало белесое летнее небо с редкими звездами и туманной полосой чумацкого шляха вверху. В луговой траве мирно стрекотали кузнечики, и впереди брезжил край, наверно, того же ржаного поля, где он едва не нашел свой конец. Поблизости должно было находиться и гумно.

Левчук ненадолго остановился, задержал дыхание. Но, по-видимому, полицаи уже убрались, как всегда сделав свое страшное дело, вряд ли они остались ждать его тут. И все-таки, чтобы быть готовым ко всякой неожиданности, он потихоньку достал из кобуры парабеллум и, большим пальцем нащупав предохранитель, пошел вдоль опушки.

Он надеялся прежде увидеть огонь (не могло же гумно так скоро сгореть до тла), но впереди был лишь притуманенный полевой сумрак, и сколько он ни вглядывался в него, ничего различить не мог. Тогда он, удивившись, подумал, что, может, вчера так далеко отбежал по ржи? А может, вышел в другое место и вообще шел не туда? Но он помнил, что там была дорога, которую он не перешел, значит, гумно и деревня все-таки находились где-то здесь рядом.

Рассудив так, он пошел более уверенно, все всматриваясь вперед, неожиданно провалился в какую-то яму и едва не упал, а выбравшись из нее, увидел из-за веток куста робкий проблеск огня. Показалось, что это далеко — ничего не освещая вокруг, огонек лишь слабо краснел над рожью, и Левчук притих, даже присел под кустом. Нет, поблизости вроде никого не было, мирно трещали себе кузнечики да за лесом ослабленно погромыхивала перестрелка. Однако перестрелка была далеко и не нарушала согласной тишины ночи.

Короткими переходами он начал осторожно приближаться к гумну. Шагов десять-пятнадцать пройдет и затаится, присядет, всмотрится в светлеющий закраек неба: не маячит ли что подозрительное? Но вокруг было пусто и тихо, и он, минуту спустя высунувшись из-за ржи, неожиданно оказался перед тускло догоравшим в ночи пожарищем.

В удивлении остановившись, Левчук с трудом узнал то самое их гумно. Ток стал наполовину ниже вчерашнего, верхние его венцы сгорели совсем, остались обгоревшие нижние, на которых в различных местах светились раздуваемые ветром угли; далеко по ветру несло дымом и удушливой гарью пожарища. Выйдя из-за ржи, он увидел в темноте ближний конец с овином, где было больше затухающего огня и дыма и даже кое-где трепетали на ветру мелкие язычки пламени, бросавшие красноватые отблески на опаленную яблоню.

Левчука тянуло к двери, где он оставил Грибоеда и куда — перед тем, как бесследно исчезнуть, выскочила Клава. Обходить ток от дороги он не хотел, он побаивался дороги, а потиху вошел в рожь и пошел по ней, чтобы не шуметь, высоко поднимая ноги. Наверно, от ольшаника до тока было значительно дальше, чем ему казалось вчера, когда он наблюдал через щель, и он на полпути остановился, присел, послушал. Потом встал и, стараясь не очень шуметь рожью,

издали обошел овин. В глубине души он все еще надеялся где-нибудь найти Клаву, наверно, он бы заметил ее в этой скупо освещенной, истоптанной ржи. Но Клавы тут не было. Впрочем, вряд ли она и могла быть, решил он, убитую или живую ее забрали в деревню. Грибоеда тоже. Но ему хотелось своими глазами убедиться, что никого из них тут не осталось и потом уж отправляться в Первомайскую.

От яблони стал виден весь их вчерашний двор, где он варил картошку, даже было заметно черное пятно костерка на серой траве. Напротив была дверь в ток. Одна обгоревшая, густо побитая пулями половина ее косо зависла на нижней петле, другая, оборванная, валялась на земле рядом. И он заметил там что-то похожее на человеческое тело и выскочил из-за яблони. Стараясь не стучать подошвами, подбежал к двери, присел — от углей и золы пахнуло вонючим жаром, но сейчас можно было терпеть, не то что вчера. Отворачиваясь от жары, он протянул левую руку, пошарил ею и, напав на что-то мокрое и липкое, отдернул руку назад. Во второй раз он, однако, нащупал косматое, облитое кровью лицо Грибоеда, его обгоревшую одежду и встал. Горькая вонь пожарища и чадный смрад головешек забивали дыхание. Немного передохнув, он снова нагнулся, пошарил рукой пошире, стараясь нащупать винтовку ездового, но вместо нее нащупал его овчинную шапку.

С этой шапкой в руке он отошел на десяток шагов от тока, не в состоянии отвести взгляда от темневшего на земле тела убитого. В отряде Левчук его знал давно, и хотя большой дружбы между ними не было, смерть ездового отозвалась в нем жалостливо-щемящей ноткой. Они все рисковали на равных, но вот Грибоед лежал перед ним мертвый, а Левчук был живой. Может быть, надо было попытаться сперва спасти старика, а потом уж спасаться самому, подумал Левчук. Но тогда оба они старались спасти Клаву, вместо которой по счастливой случайности спасся Левчук, а Грибоед вот погиб.

Шапка его, однако, была цела и даже не обгорела вроде. Коекак сшитая из куска старой овчины, она бессменно зимой и летом служила ездовому, который больше всего заботился о своей однажды простреленной голове, бережно защищая ее от солнца... Левчуку живо припомнился теперь страшный расстрел Грибоеда и его удивительное воскресение в Чернолесском урочище, где они с санитаром Верховцом холодной апрельской ночью грелись у костерка на болоте. Разговорчивый Верховец рассказал, как днем ребята привезли из Выселок расстрелянного немцами Грибоеда, которого те захватили возле его опустевшей усадьбы. Неизвестно, то ли жандармы специально караулили его там, то ли застали случайно, но в этот раз они дотла разгромили Грибоедову усадьбу, а его самого старший жандарм поставил лицом к березе и выстрелил из пистолета в затылок. Ночью на его бездыханное тело наткнулись хлопцы из разведки и привезли в отряд, чтобы назавтра вместе с еще одним убитым похоронить на пригорке. Сидя возле костерка в ту ночь, они недолго погоревали над слишком жестокой даже для войны судьбой старика и перевели разговор на другое. Занятые этим разговором, они не обратили внимания на то, как за дымом, напротив, ежась и потирая озябшие руки, кто-то начал устраиваться подле костра.

— Погреюся у вас. А то околел, халера...

— Грибоед! — испуганно вскочил Верховец.— Ты что?!

— Ды околел, кажу. Ватовку нехта забрал...

Они вдвоем испуганно уставились на Грибоеда, который как ни в чем не бывало протягивал к огню руки, ни словом не обмолвившись о своем воскресении из мертвых, и они не отважились его о чем-либо спросить. Утром его осмотрел не менее их удивившийся

Пайкин, пару недель Грибоед полежал в санчасти, да так и остался там при конях. Рана на его голове зажила, особенной боли он не ощущал, только почти перестал спать и тщательно оберегал от жары простреленную свою голову.

Да вот не уберег, прострелили и во второй раз. На этот уже окончательно.

Молча посокрушавшись возле убитого, Левчук подумал, что надо бы вытащить его обгоревшее тело из тока да похоронить в лесу. Негоже оставлять человека догорать в этом пожарище — мало ему и без того досталось при жизни.

Всё прислушиваясь к тишине ночи, он сунул пистолет в кобуру, застегнул ее и снова шагнул к двери. Но только он нагнулся над телом убитого, как где-то поблизости ошалело залаяла собака и чуть в стороне от деревни взвилась в небо ракета; захваченный врасплох, Левчук вздрогнул, сжался в комок, высвеченный ее безжалостной яркостью, но тут же отскочил назад и притаился в тени за яблоней. Ракета, прочертив огненный шнур в небе, едва не долетела до гумна, упала, ударившись о землю, подскочила и быстро догорела в стороне от тока. Как только она погасла, Левчук бросился назад в рожь, с замершим сердцем, гадая, заметили его или нет. Однако выстрелов пока не было, а вторая ракета вспорхнула в небе совсем в другой стороне — над дорогой и лесом,— торжественно-ярко засияв над пожарищем и беспощадно осветив все вокруг неестественным мельтешащим светом. Но Левчук уже был к ней готов и, присев, проворно скрылся во ржи. Тут его не так просто было заметить, ракет он не боялся — боялся немцев и еще больше собак. Тот злобный лай овчарок в сожженной деревне был ему слишком знаком и больше всего заставил его встревожиться.

Когда и эта ракета сгорела, он вскочил и пустился по ржи к ольшанику. Но что-то смутило его, он смешался, присел, оглянулся. Показалось, где-то послышался голос, вроде бы даже обиженный детский плач, и он притих, затаил дыхание, вслушался. Уж не призраки ли завелись в этой ржи, удивленно подумал Левчук и опять, явственнее, чем первый раз, услышал недалекий слабенький детский плач. Но он не мог терять ни минуты, его явно обкладывали в этой ржи, скоро могли появиться собаки, и Левчук, спохватившись, бросился в сторону ольшаника.

Так бы он, наверное, и ушел в лес, если бы в тот самый момент путь ему не преградила густо засверкавшая над рожью трассирующая очередь. Спасаясь от нее, он снова распластался на усохшей земле ржаной нивы, слушая, как близкие разрывы пуль в ольшанике, будто передразнивая выстрелы, повторили их отдаленный стремительный треск. Теперь он уже знал наверное, что его заметили и что стреляли с дороги, значит, спасаться следовало все тем же, вчерашним, путем — через рожь полукругом к ольшанику. Как только очередь смолкла, он вскочил. Но прежде чем побежать, он свернул по ржи в сторону, описав в ней полукруг, пригнулся, послушал и вдруг увидел поодаль белое пятнышко у самой земли. Со смешанным чувством удивления и надежды он бросился в ту сторону, уже наверное зная, что это, подхватил теплый живой комочек и, притиснув его к груди, обежал круг пошире. Ему показалось, что где-то тут может лежать и Клава. Но Клавы тут не было, был лишь неизвестно как оказавшийся ее малой. Озадаченный, Левчук побежал по ниве к ольшанику.

— Ух, гады! Ух, гады! — шептал он про себя, оглядываясь и слыша, как уже совсем близко заливались лаем собаки. Несомненно, они учуяли его и с минуты на минуту могли настигнуть во ржи. Но, к

его счастью, ольшаничек темнел уже рядом. Только он с младенцем на руках успел сунуться в его спасительную темень, как сзади взмыла в небо очередная ракета, и длинная трескучая очередь разрывных прошлась по ветвям. Ослепительно яркий свет, перемешанный с причудливой путаницей теней, обрушился на него сзади, несколько трасс мелькнули над головой, обдав его треском разрывных пуль и мелким крошевом веток. Он нечаянно упал на бок, испугавшись, что так не далеко уйдет, что бежать с младенцем здесь невозможно. Но и бросить его в тот самый момент, когда сзади мчались собаки, у него не хватило решимости. Он не знал, чем это для него обернется минуту спустя, и слепо рванул в кустарник, левым плечом раздвигая ветви, а полой пиджака прикрывая младенца, который смиренно затих в тепле, слабо перебирая ножками в мокрой пеленке.

15

Первый проблеск рассвета застал его на краю нелюдимого болота в редком кочковатом ольшанике.

Наступал новый день, далеким нездешним светом занялся восточный закраек неба, вокруг стали различимы кусты, черные кривые ольхи, травянистая заболоть под ногами. Местность была незнакомая. Левчук давно уже перепутал все направления и петлял по каким-то заболоченным перелескам и вырубкам, перешел мокрую травянистую лужайку и снова забился в чащу ольшаника. В молодой плотный ельничек он не полез, обошел его стороной, и все оглядывался и слушал, хотя и без того было очевидно — его догоняли. Всю ночь сзади то тише, то громче заливались лаем собаки. В темноте они отстали от него, но след не теряли и с наступлением утра заметно заторопились, наверстывая упущенное.

С непривычной неловкостью он придерживал за пазухой маленькое теплое тельце и думал: хотя бы скорей деревня, хутор, лесная сторожка или просто случайный человек в лесу, чтобы можно было оставить у него младенца. Сам он, как ни старался, уже не мог спасти эту жизнь, у самого для того не было возможности. К тому же становилось все очевиднее, что немцы от него не отвяжутся. Вчера их было семеро, ночью стало побольше, они имели пулемет, собак и ракеты, видно, в этом направлении они замышляют что-то серьезное и имеют для того силу. А он, дурак, надумался тут проскочить в Первомайскую. Нашел место!

Он устало бежал краем поросшего ольшаником болота и не мог решить, что ему делать — обходить болото вокруг или лезть в воду. У него еще было в запасе несколько минут времени, еще можно было поискать убежище. Но без крайней нужды лезть в холодную воду не очень хотелось, думалось: где-то же она кончится и он обойдет болото. Однако, судя по всему, болото было огромное и тянулось издалека, он бежал по извилистым его берегам около часа, а оно не кончалось. Ночная стрельба слышалась теперь справа, но отдельные выстрелы раздавались также сзади и слева — похоже, во всех направлениях шли бои. Он же забрел в неведомый лесной закуток и бежал в ту сторону, куда его гнали преследователи.

Малой за пазухой все больше начинал беспокоиться — выгибаться, дергаться, но хорошо завернутый в шелковой пеленке пока терпеливо молчал, и Левчук с острой тревогой подумал: что́ будет, если он расплачется? Разве он способен понять, что если им не поможет счастливый случай, то очень скоро оба они распластаются в кустарнике, посеченные автоматными очередями. Еще их могут затравить овчарками. А то схватят, выведут на большак и подвесят на теле-

графном крюке за челюсть, чтобы умирали долго и мучительно, как некогда Трофим Дыла, связной их отряда в Чернущицах.

И все же Левчук продолжал надеяться, что раньше, чем немцы настигнут его, он наткнется на добрых людей и передаст младенца. Ему одному было бы гораздо сподручнее, сам бы он не очень и хоронился от этих подонков, а, подкараулив в удобном месте, встретил бы их огнем. Правда, для того надо бы иметь пулемет или хотя бы автомат, но из пистолета он тоже стрелял неплохо, научился в разведке. С младенцем же на руках он не мог себе ничего позволить, потому что не был уверен в удаче, а напрасно испытывать судьбу не хотел. И он все шел, брел, бежал, продираясь сквозь заросли и стараясь обойти болото.

Болото, похоже, в самом деле было бесконечным. С ночи тянулись кустарники, лужайки, лозняк и ольшаник, а никаких деревень нигде не было. Оставалось надеяться только на самого себя, свою удачу и выносливость. К сожалению, силы его, как и его возможности, убывали с каждой минутой, он понимал это, но ему очень хотелось уберечь малого. С какой-то еще неосмысленной надеждой он ухватился за эту кроху человеческой жизни и ни за что не хотел с ней расстаться. Действительно, все, кто был поручен ему в этой дороге, один за другим погибли, остался лишь этот никому не известный и, наверно, никому не нужный малой. Бросить его было проще простого и ни перед кем не отвечать за него, но именно по этой причине Левчук и не мог его бросить. Этот младенец связывал его со всеми, кто был ему дорог и кого уже не стало — с Клавой, Грибоедом, Тихоновым и даже Платоновым. Кроме того, он давал Левчуку обоснование его страданиям и оправдание его ошибкам. Если он его не спасет, тогда к чему эта его ошалелая борьба за жизнь? Жизнью он давно отвык дорожить, так как слишком хорошо знал, что выжить на этой войне дело непростое.

— Ничего, ничего, браток! — ободряюще проговорил он, обращаясь к младенцу, и не узнал собственного, охрипшего от долгого молчания голоса.— Еще мы посмотрим...

Может, это и хорошо, что собаки издали выдавали себя злым гончим лаем, теперь значительно усилившимся. Прислушиваясь к их приближению, Левчук пожалел, что в карманах у него не осталось горсти махорки, чтобы присыпать свой след. И он думал, что, наверно, придется забираться в болото, другого выхода не было.

Тут был твердый высоковатый берег с березнячком, болото немного отступало в сторону, он пробежал в прежнем направлении полсотни шагов и круто повернул назад. Там, где осоковатая заболоть ближе подступала к берегу, он широко отпрянул в сторону и, стараясь не очень следить в траве, полез к густому лозовому кусту, темневшему поодаль в болоте. Сначала было неглубоко, вода доходила не выше колен, но потом глубина увеличилась. Он пожалел, что не взял палку, хотя как ему было управляться с палкой? В болоте среди водяных окон местами зеленели кочки с лозой и ольшаником, и Левчук понял, что оно не слишком глубокое и, возможно, не погубит его.

Придерживая малого за пазухой, он торопливо пробирался от кочки к кочке, хватаясь левой рукой за ветки и постепенно погружаясь все глубже. В полсотне шагов от берега ноги его уже выше колен утопали в грязи, скоро мутная с торфом и грязью топь достигла бедер, и он думал: хотя бы она не стала глубже, потому что как тогда ему быть с ребенком? Но болото заметно становилось глубже, кочки редели, между ними заблестели чистые, без зарослей, прогалы черной воды, на поверхности которой плавало разлапистое листье

кувшинок. Левчук знал, что кувшинки любят глубину, и не лез к ним, держась ближе к кочкам, где можно было ухватиться за мох и ветки. Он спешил, но старался пробираться как можно тише, чтобы его бултыханье в воде не было слышно далеко. Временами он останавливался и слушал. Однажды ему показалось, что он слышит голос, будто бы окрик, он шире расставил ноги на дне и замер, однако больше ничего не послышалось. Очевидно, голос долетел издали и не мог относиться к нему. Значит, еще оставалось немного времени. Пока он прислушивался, ноги его до колен вошли в вязкий ил, и он с усилием освободил их — сначала одну, а затем и другую. Пока возился в воде, намочил снизу пиджак и подумал, что так скоро вымокнет весь, чем тогда укроет малого?

Кое-как добравшись до мшистой, обросшей аиром кочки, он прислонился к ней, осторожно стянул с плеч пиджак и обернул им младенца. Тот посучил ножками, но не заплакал и покорно притих в тепле еще не остывшей одежды.

— Ну вот и хорошо! Ну и лежи! Главное: лежи и молчи! Может, еще как-нибудь...

Стоя по бедра в холодной воде, он высматривал, куда направиться дальше. Хорошо, если бы поблизости попалась более-менее сухая моховина, пригорок или островок, где можно было бы укрыться от собак, переждать погоню. Но его надежда на моховину или островок была тщетной, болото становилось все глубже, кочки редели, и он пробирался между ними со все возрастающим риском уйти с головой в прорву. Сверток с младенцем он поднимал все выше и старательно обшаривал ногами дно, временами осклизаясь в нем на корнях кустарника и водорослей. Иногда он терял равновесие и едва удерживался над водой, поднимая со дна черную, быстро расплывавшуюся в воде муть. Тем временем совсем рассвело, тумана почему-то тут не было, в высоком утреннем небе стояло несколько разрозненных облачков, было очень тихо. И вот в этой тиши его напряженный слух уловил будто прорвавшийся откуда-то обозленный собачий лай.

Он испуганно оглянулся, поняв, что они уже тут, возле болота, и удивился, как он мало отошел от берега. С шумом раздвигая воду, бросился к ближайшей кочке, из которой торчал раздвоенный ольховый прутик с обвисшей над водой веткой. Как на беду, кочечка была маленькая и приютилась возле самого глубокого места, он весь вымок, пока добрался до нее и даже подмочил пиджак. К тому же он затратил на это чересчур много времени, они были уже где-то поблизости и, возможно, услышали его. Чтобы приготовиться к худшему, он пристроил пиджак с младенцем на мшистом краешке кочки и, придерживая его рукой, другой приготовил пистолет. Вода здесь доходила ему до груди, он спрятал голову за ветку и ждал, сознавая, что если полезут в болото с собаками, он должен увидеть их первым.

Только бы не заплакал малой.

Услыхал он их действительно первым еще до того, как увидел. В кустарнике невнятно-глухо прозвучал начальственный окрик, и на ольхе у берега качнулось несколько веток. Левчук еще глубже погрузился в воду, вперил взгляд в незаслоненный кустарником узенький край берега. Он перестал дышать, большим пальцем тихонько отвел предохранитель и тогда увидел их в небольшом промежутке между болотом и зарослями.

Первой из кустарника появилась коричневая, с подпалинами по бокам собака, ведя по земле чутким носом и бросая по сторонам быстрые взгляды, она стремительно шла по следу. Сзади, ломая кусты, едва поспевал ее поводырь в пятнистом разведчицком костюме

и зимней, с длинным козырьком фуражке. За ним следовал еще один, точно такой же, немец с собакой на длинном ремне. Они пробежали мимо и только скрылись в кустарнике, как на берег из зарослей высыпала вся их хищная стая — десяток карателей в одинаковых маскировочных костюмах, вооруженных автоматами, обвешанных сумками, флягами и биноклями. Длинной чередой они растянулись по берегу и, оглядываясь по сторонам, бежали по его следу, готовые в любое мгновение разрядить в него свои автоматы.

— Ох, гады! Ох, гады! — как заклятие, шептал он одеревеневшими губами, отчетливо сознавая, что его дело дрянь. Если только они не проскочат с его следа дальше, то ему долго тут не усидеть.

На какое-то время потом он перестал видеть их, скрытых ольшаником, он только слышал треск ветвей в зарослях и думал, что в ближайшие секунды все для него и решится. Пройдут или вернутся? Но там вскоре растерянно взвизгнула собака, послышался строгий хозяйский окрик, еще какая-то негромкая, произнесенная по-немецки фраза, и он догадался, что собаки потеряли след. Он по плечи опустился в воду, чуть наклонив голову в сторону, чтобы совсем скрыться за кочкой. Потом он оглянулся назад — за большим прогалом черной воды высился густой куст лозняка, где можно было бы укрыться надежнее. Секунду он преодолевал в себе рискованное теперь желание броситься туда, пока была такая возможность, но сдержался — наверно, теперь следовало сидеть на месте. Жаль, он недалеко отошел от берега, не хватило времени, если бы он раньше решился забраться в болото, то, возможно, и спасся бы.

Нет, дальше они не пошли — они возвращались.

Он снова увидел их в том же порядке — один за другим немцы выбегали из кустарника по его следу назад, и он сжался, впился в них взглядом, с замершим сердцем ожидая: а вдруг остановятся? Если остановятся и собаки укажут в болото, тогда все. Тогда считай, что он спекся.

Кажется, они проскочили дальше с его поворота, первая овчарка наверняка проскочила, и с ней пробежал поводырь, другие еще следовали по берегу, и тогда он увидел в прибрежной осоке своей след. Ну так и есть, несколько очень заметных на воде шагов — примятая осока, поднятая со дна, еще не осевшая муть, и он ужаснулся — бог мой, какая неосторожность! И так близко у берега! Хотя бы они не заметили, хотя бы прошли за собакой! Деревенея от стужи и напряжения, он следил, как возле этого места у березок пробежал один, другой, третий. Оставалось человека три, и вот мимо пробежал последний — нерасторопный толстяк с распаренным, обрюзгшим лицом. Левчук позволил себе вздохнуть глубже — может, еще и обойдется...

Ноги его на дне глубоко погрузились в ил, высвобождая их, он подвинулся грудью на кочку, склонился над малым, который неспокойно ворошился в его пиджаке, будто хотел сбросить его и взглянуть, что делается на свете. Левчук приподнял полу — личико младенца недовольно морщилось, и он испугался при мысли, что младенец сейчас заплачет. Чтобы как-то предупредить его плач, он выдернул из кочки стебелек аира и сунул его малому корешком в рот — соси! Тот и в самом деле зачмокал, притих, и Левчук подумал, что надолго или нет, но, кажется, обманул парня.

Затем он в напряжении замер — немцы, слышно было, возились поодаль, он думал, снова возвращаются, но пока что они не возвращались: наверно, они старались отыскать его потерянный след. Минуту слышна была их перебранка, потом чей-то звучный зовущий голос, на который откликнулись так близко, что показалось, сидели

напротив. Левчук опять затаился, он перестал понимать, что они затевали, и затревожился.

Он начал оглядываться в поисках лучшего укрытия, все больше поддаваясь искушению перебраться за куст лозняка, а может, и дальше, пока их не было рядом и пока они не заметили его след. Но только он подумал о том, как увидел напротив немца: перекинув через шею связанные вместе сапоги, тот босиком лез, кажется, по его следу в болото. Другой с автоматом на изготовку стоял на берегу и что-то приговаривал, наверно подбадривая товарища:

— Forwerts, dort nicht tief![1]

— Hier ist der Kluft[2],— недовольно ворчал босой, нерешительно шаря в воде ногами.

Левчук большим пальцем опять сдвинул предохранитель и опустил ствол пистолета на нижнюю ветку ольхи. Он решил подпустить немца не далее водяного окна с раздвинутым в нем покровом ряски и выстрелить. Уж этому немцу отсюда не выбраться, потом тот, с берега, наверно, расстреляет его. А может, Левчук еще успеет вторым выстрелом снять и того...

Ну вот и все!.. А столько было страха и переживаний, в то время как все оканчивалось так обыкновенно и глупо.

Как всегда в минуты безнадежности, от него отлетел страх, тем более испуг, мозг его начал работать трезво и точно, рука становилась сильной и меткой. В такой момент он не промахнется, он выстрелит наверняка. Немец, однако, будто чувствуя скорую смерть, не спешил, пробирался осторожно, высоко переставляя в воде белые худые ноги с подвернутыми выше колен штанинами. Когда он нагибался, сапоги болтались на его животе, там же болтался его автомат, который он придерживал правой рукой. Изредка он бросал вперед короткие взгляды из-под козырька фуражки, но больше глядел себе под ноги, отыскивая, куда ступить дальше.

«Ну что ж, может, так еще и лучше. Иди, иди, гад!»

И он шел, неся ему гибель и себе, видимо, тоже.

Погрязнув выше колен в болоте, немец подошел к кудрявому кусту крушины, ухватился рукой за ветку и, поскользнувшись на дне, ушел боком в воду. Пытаясь подняться, провалился еще глубже, невзначай рукой сбил фуражку, которая медленно поплыла от него, быстро погружаясь в воду. Замутив болото вокруг и уже не разбирая пути, бросился назад, к берегу, рассерженно приговаривая при этом что-то, обращенное к товарищу, который, стоя на берегу, надрывался от хохота.

Мокрый, облепленный тиной немец выбрался из болота и, все недовольно ворча, стянул с себя китель, брюки и все прочее, оставшись голым. Вдвоем они долго возились с его мокрой одеждой, выжимая из нее потоки болотной воды. Глядя на них, Левчук все больше коченел от стужи, его начинала донимать дрожь — он не мог дождаться, когда же они наконец закончат свою возню и уберутся отсюда. Вот немец уже натянул брюки, сетчатую голубую майку, начал обуваться. Напарник его, молодой длинноногий ефрейтор с фонариком на груди, что-то крикнул в кустарник, ему ответил издали другой голос, и Левчук услышал, как где-то на берегу клацнул затвор. Это его опять насторожило — что будет?

Но и в этот раз ждать не пришлось долго, издали гулко протрещала автоматная очередь, над болотом стремительно, с визгом, пронеслись пули. Левчук не понял — куда это они? Кажется, кроме него, тут никого не было, но ведь его они вроде бы еще не заметили. Да и

[1] Вперед, там неглубоко! *(Нем.)*

[2] Тут прорва. *(Нем.)*

стреляли не здесь, а где-то поодаль, куда побежала вся группа с собаками. А может, там обнаружился еще кто-нибудь, может, там партизаны? Эти два немца тоже подались на выстрелы, задний торопливо, на бегу, надевал китель, перехватывая из руки в руку свой автомат.

Левчук решил пробираться дальше в болото, и только подхватил на руки малого, как новая очередь оттуда взбила поблизости воду, обдав его множеством мелких брызг. Он затаился, грудью вжался в мох кочки, подобрав под себя младенца. Но вскоре он понял, что это случайные пули, били все-таки не по нем — в сторону. Тогда он опять опустился по самые плечи в болото, не сводя глаз с опустевшего края берега.

Погодя ему стало видно, что там происходит — они опять выстроились на берегу волчьей стаей и, не спеша обходя болото, начали расстреливать его из автоматов.

Немного воспрянувший духом, Левчук опять приуныл — не одно, так другое. Не взяли собаками, уберегся от немца, так расстреляют за кочкой слепой очередью, и он тихо опустится в мутную воду болота. Не самая лучшая участь из всех возможных, уготованных солдату войной. Хорошо еще, если вместе убьют и малого, а вдруг тот останется...

Наверно, растревоженный стрельбой младенец совсем забеспокоился и принялся потихоньку скулить в его пиджаке. Левчук потуже запахнул полы: что будет, если они услышат его? Особенно собаки, которые сразу же, как только началась стрельба, ошалело залаяли на разные голоса, захлебываясь от усердия,— наверно, рвались в болото. Но треск десятка автоматов, разумеется, оглушал в первую очередь собак и самих стрелков, которые пока еще не могли услышать далекого слабенького плача младенца.

Лишившись своих прежних надежд, Левчук уныло следил, как густые трассирующие потоки пуль приближаются к его кочке. Немцы не жалели патронов и расстреливали каждую кочку, каждый клочок мха, каждый кустик и каждое деревце в болоте. Тысячью брызг кипела, бурлила, перемешивалась с грязью вода, летела в воздух листва, мелкие ветки, осока, взбитая вместе с потоками воды зеленая ряска. Ободранные пулями стволы ольхи то тут, то там светились белыми пятнами на черной коре. Огонь был такой, какого Левчук не слышал давно, разве что в сорок первом на фронте под Кобрином. Уцелеть в нем было почти невозможно.

Он сгорбился, сжался за кочкой, насколько было возможно, опустился в воду. Жаль, что нельзя было в воду опустить и младенца, все время находившегося сверху и лишь слегка прикрытого мхом кочки. Пожалуй, ему достанется первому. Но та очередь, которая прикончит малого, не минет и Левчука, так что одинаково достанется обоим.

— Ах, гады, гады!..

Все на том же открытом краешке берега он снова увидел длинноногого ефрейтора с болтавшимся на груди фонариком, выйдя из кустарника, тот приставил автомат к плечу и запустил по болоту длинную очередь. Десяток пуль вперемежку с трассирующими взбили в воздух траву и мох с ближайшей от берега кочки, потом полетела вверх ольховая листва со следующей. Очередь неуклонно приближалась к Левчуку. Малый под руками, будто предчувствуя свой скорый конец, плакал вовсю, но в треске и грохоте выстрелов Левчук уже сам не очень слышал его. Он следил за мельканием трасс, чтобы успеть отметить для себя последнее свое мгновение, и старался дотерпеть до него. Дальше терпеть не будет уже надобности.

Тем временем на берегу их стало уже трое. Первый неожиданно перебежал дальше, зато двое других одновременно приложились к своим автоматам, и шквал пуль с ветром пронесся возле его ольшинки. Откуда-то сверху плюхнулось в воду маленькое сбитое пулями гнездышко, в воздухе мелькнул белый пух, несколько перышек осело на его голову и кочку. Левчук прижал младенца рукой, как можно ниже втискивая его в мох, другой направил пистолет на берег. Он твердо намерился выстрелить в крайнего немца, который, сменив магазин, прикладывался к автомату для новой очереди. Правда, для пистолетного выстрела было далековато, от напряжения и озноба ему было трудно сладить с рукой. И все-таки он прицелился. Новая догадка пришла ему в голову, когда он заметил, что бьют они как бы в воздух и все их очереди идут над его головой и дальше. Он тихонько оглянулся и увидел, как густо летит в воздух листва с лозового куста сзади, куда ему недавно еще так хотелось забраться. И тогда он понял, что они видят там наиболее подозрительное место и потому так старательно обстреливают его.

У Левчука опять возгорелась надежда. Оглушенный автоматным грохотом, бушевавшим из края в край над болотом, он плотнее запахнул младенца, почти не слыша его слабого плача, лишь чувствуя, как тот слабо шевелится под его руками. Хотя бы не задохнулся, подумал Левчук, судорожно сжав челюсти — было так холодно, что он едва находил силы терпеть в изнуряющей своей неподвижности.

Стрельба, однако, явственно перемещалась в сторону от него, наверно, тут уже все было ими прострелено. Вокруг в осоке валялись свежие ольховые ветки, густо плавала в воде листва, невдалеке, держась на тонком волоконце коры, свисала над водой сбитая пулями верхушка березки.

В этой стороне болота стало несколько тише, кажется, немцы уходили правее, и он решился. Он подхватил сверток с младенцем, прижал его к себе левой рукой и с пистолетом в правой тихонько, чтобы не плескать в воде, пустился за тот, расстрелянный многими пулями куст. Наверно, во второй раз расстреливать его не будут.

Тут, однако, еще можно было укрыться, хотя иссеченный пулями куст заметно поредел, на поверхности воды всюду плавали лозовая листва и белые корни водорослей; водоросли и зеленая тина плетями свисали с изуродованных лозовых ветвей. И он удивленно подумал, что, видать, еще не отвернулась от него удача, если что-то удержало его от того, чтобы не вовремя перебраться сюда. Тут бы он наверняка и лежал теперь, истекая кровью в холодной воде.

— Тихо, тихо, браток. Помолчи немножко,— сказал он малому. Немного отдохнул, осмотрелся и боком-боком, по пояс в воде, где пригибаясь, а где почти вплавь, подался дальше в болото, думая, что если оно не утопит, то в этот раз, возможно, спасет его...

16

Через час-полтора деревья и кустарник остались позади, с ними окончились и бездонные провалы-окна, на поверхности стало больше травянистых зарослей, мха. Хотя местами было глубоко и по-прежнему зыбились, уходили из-под ног водянистые кочки, но уже, наверно, можно было не утонуть. Стрельба постепенно отдалялась вправо, где треск очередей и тугой свист пуль продолжали сотрясать болото, разгоняя пугливую болотную птицу. Даже привычные к человеку сороки и те ошалело и молча неслись над самой водой, уходя прочь от пугающего огневого грохота.

Прижимая к груди младенца, Левчук бежал, прыгал, раскачивал-

ся на мшистых, обманчиво неустойчивых кочках, где успевая перебежать раньше, чем они погрузятся в воду, а где и нет. И тогда снова, в который уже раз, оказывался по пояс в торфянистой жиже, бросаясь то в одну, то в другую сторону и стараясь лихорадочно выбраться на что-нибудь твердое. Мокрая его одежда противно облипала тело, при каждом шаге ржавой водой плескало в лицо. Но он перестал дрожать, он начал уже согреваться. Он только берег, чтобы невзначай не выронить, свой сверток с маленьким в нем существом, а себя уже оберегать перестал. Самое трудное, кажется, постепенно кончалось, болото он одолел, впереди на пригорке плотной стеной зеленел ельник, значит, там начинался берег. Только что его ждет на зеленом том берегу?

Наконец он выбрался из болота и по мокрому, но уже устойчивому под ногами торфянику взбежал на заросший сивцом и вересом песчаный пригорок. Сапоги его, все цвиркая и чвякая, непривычно затопали по сухому. На вид он, пожалуй, был страшен — мало что мокрый с головы до ног, так еще весь облепленный тиной; на плечи и рукава понацеплялось каких-то волокнистых водорослей, ряска и прочая зеленая мелочь облепили всю его одежду. Но малого он, кажется, намочил не очень, и если тот неспокойно ворошился в пиджаке и плакал, то, видно, больше от голода. Этот его плач и подгонял Левчука. Трещавших за болотом выстрелов он не очень боялся, их угрожающая власть над ним кончилась, и теперь его подгоняла новая забота.

Он бежал. Он боялся за жизнь младенца и не хотел терять время на то, чтобы выжимать одежду, отдыхать. Взобравшись на пригорок, он продрался сквозь густую чащобу ельника и очутился на узенькой, хотя и хорошо наезженной лесной дорожке. «Если есть дорожка, то должна где-то быть и деревня,— с облегчением подумал Левчук,— только бы не наткнуться на немцев».

Он устало бежал по ней минут, может, десять, и от этого его бега малыш помалу затих, а потом и совсем умолк — заснул или просто укачался на его руках. Тогда Левчук перешел на шаг. Он уже согрелся и начал приглядываться к лесу, собираясь где-нибудь присесть и переобуться. По всей видимости, немцев тут не было, а идти ему придется еще неизвестно сколько, так он просто изуродует ноги в мокрых, со сбившимися портянками, сапогах.

Только он подумал об этом, увидев высокие, по пояс, заросли папоротника у самой дороги, как услыхал близкие голоса и топот лошадиных ног. Он проворно сбежал с дороги, но было уже поздно, и всадники на лошадях успели заметить его. Сгорбясь за кустом можжевельника, он напряженно выжидал, надеясь, что, может, они проедут. Но они не проехали. Топот на дороге вдруг оборвался, и едва не над его головой повелительно прозвучало:

— Эй, а ну вылазь!

Левчук в сердцах выругался — какого черта еще пригнало? Судя по голосу, это были вроде бы наши, но кто знает, может, немцы или полицаи? Не выпуская из рук младенца, он осторожно вытащил из кобуры парабеллум, тихонько склонился за кустом, чтобы выглянуть на дорогу, и неожиданно увидел их совсем рядом. Они, наверно, тоже увидели его. Это были три всадника, одетые, правда, по-партизански — кто во что, уставившиеся в папоротник и направившие сюда свои автоматы — наши советские ППШ.

— Руки вверх!

Похоже все-таки, это были партизаны, хотя полной уверенности в том у Левчука не было. Он не спеша поднялся из зарослей, оставив на земле свою ношу и пряча за собой руку с парабеллумом. Но эта его медлительность, очевидно, не удовлетворила всадников, один из них,

молодой парень в старой вылинявшей гимнастерке и сдвинутой на затылок кубанке, решительно повернул лошадь в папоротник.

— Бросай пистоль! Ну! И руки вверх!

— Да ладно,— примирительно сказал Левчук.— Свой, чего там...

— Смотря кому свой!

Левчук уже убедился, что встретил партизан, и ему не хотелось бросать пистолет, ибо неизвестно, получит ли он его обратно. И он тянул время, неизвестно на что надеясь. А они между тем все посъезжали с дороги и начали незаметно окружать его. Наверно, действительно надо было бросать пистолет и поднимать руки.

— Смотри, да он же из болота! — догадался другой — молодой парнишка с сильно заостренным книзу лицом.

— Из болота, факт. С того берега,— имея в виду что-то свое, сказал первый и соскочил с седла в папоротник.

В это время сбоку к Левчуку подъехал и третий — наверно, постарше двух первых, широкогрудый мужчина в сером расстегнутом ватнике, и его свежепобритое, с черными усиками лицо показалось Левчуку знакомым. Будто вспоминая что-то, всадник тоже вгляделся в этого необычного лесного встречного.

— Постой! Так это же из Геройского? Левчук твоя фамилия, ага?

— Левчук.

— Так это же помнишь, как мы вместе разъезд громили? Вон как дрезина по нас пальнула?

И Левчук все вспомнил. Это было прошлой зимой на разъезде, где они с этим усатым тащили на рельсы шпалу, чтобы не дать проскочить со стрелок дрезине, бившей вдоль путей из пулемета. Этот усатый еще потерял в канаве валенок, который никак не мог нащупать босой стопой в глубоком снегу, и они оба едва не полегли там под пулеметным огнем.

Левчук успокоенно сунул пистолет в кобуру, а ребята, доверяясь товарищу и заметно подобрев, поубирали за спины свои автоматы. Усатый окинул Левчука заинтересованным взглядом.

— Ты что, из болота?

— Ну,— просто ответил Левчук и осторожно поднял из травы младенца.

— А это что?

— Это? Человек. Где тут чтоб женщины какие. Мамку ему надо, малой он, сутки не ел.

Ребята молчали, слегка удивленные, а он развернул пиджак и показал им лицо младенца.

— Ого! Действительно! Смотри ты!.. И где взял?

— Длинная история, хлопцы. К какой-нибудь бабе надо. Есть ему надо, а то пропадет.

— Да в семейный лагерь отдать. Лагерь тут недалеко,— почти по-дружески сказал молодой, в кубанке, и вскочил в седло.— Кулеш, давай отвези. Потом догонишь.

— Нет,— сказал Левчук.— Я должен сам. Тут такая история, понимаете... Сам я должен. Это далеко?

— Смотря как. Дорогой далековато. А через ручей десять минут.

Они вышли из папоротника на дорожку. Лошади тревожно вертелись под седоками, которые, видно, торопились куда-то, но и этого болотного встречного, оказавшегося знакомым одного из товарищей, тоже неловко было оставлять без помощи.

— Ну ладно! — решил наконец парень в кубанке, бывший, по-видимому, старшим группы.— Кулеш, покажешь дорогу и догоняй. Возле Борти мы подождем.

Усатый Кулеш завернул лошадь, и Левчук торопливо подался за

ним по дороге. Он шел быстрым шагом, стараясь понять, в какую он угодил бригаду, хотя наверняка не в Первомайскую. Из Первомайской этот Кулеш не мог быть на разъезде — Первомайская тогда действовала где-то под Минском и только весной появилась в этом районе.

— Это не по тебе там немцы пуляли? В болоте? — спросил Кулеш, поглядывая на него из седла.

— По мне, да. Едва ушел.

— Смотри ты! Там же трясина, о-ёй!

— Ну. Думал пузыри пущу. А ты теперь в Кировской, что ли? — осторожно поинтересовался Левчук.

— В Кировском, ага,— охотно ответил Кулеш.— Защемили и нас сволочи! До вчерашнего было тихо, а вчера жеманули. Слышь, гремит? Отбиваемся.

Левчук уже слышал, как погромыхивало где-то в том направлении, куда они шли. Стрельба, правда, была отдаленная, зато густая, с раскатистым лесным эхом.

— Слушай, а это часом не твой? — кивнул Кулеш на его сверток.

— Нет, не мой,— сказал Левчук.— Друга моего.

— Вот как! Ну что ж, понятно...

— Не успел родиться и уже сирота. Ни отца, ни матери.

— Бывает,— вздохнул Кулеш.— Это теперь просто.

Левчук быстро шагал рядом с рыжей Кулешовой лошадкой и постепенно отходил душой от всего недавно им пережитого. Наверно, он окончательно уже спасся и спасет, наконец, малого, в это теперь он почти что поверил. Хотя он был слишком измотан для того, чтобы по-настоящему порадоваться такому исходу его похождений. Теперь, когда столько страшного осталось по ту сторону болота, все-таки смилостивившегося над ним, он почувствовал в себе только тягучую тупую усталость и, стараясь не отстать от коня, бросал вперед нетерпеливые взгляды — когда же наконец покажется этот лагерь? Уж дальше лагеря он не пойдет. Там он устроит ребенка и выспится, а потом, может, обратится к какому врачу со своей раной. Мокрая, так и не перевязанная как следует, она то тупо болела, то начинала нестерпимо саднить в его плече, как будто нарывала,— не хватало еще заражения, что ему тогда делать? Его все больше начинала беспокоить рана.

— Уже недалеко,— сказал Кулеш.— Перейдем речку и — лагерь.

Левчук устало вздохнул и глянул на малого — тот спокойно себе дремал на его руках. Дорожка шла вниз, с хвойного пригорка к орешнику над ручьем. И тогда они увидели, как на той стороне по лужку, будто наперехват им, без всякого порядка бегут вооруженные люди. Один, завидя их тоже, замахал рукой, и Кулеш потянул повод.

— Что такое?

На дорогу выбежал смуглый, с жестковатым выражением глаз человек в немецком мундире, с немецким автоматом в руке: на его груди болтался огромный немецкий бинокль, и Левчук догадался, что это какой-то командир кировцев.

— Кулеш, стой! — крикнул командир и забросил за плечо автомат.— Кто такой? — кольнул он Левчука придирчивым взглядом.

— Это из Геройского,— ответил за него Кулеш.— Во, малого в семейный лагерь несем.

— Какого малого! — возмущенно вскричал командир.— Все в строй! Немцы прорвались, слышь, что делается?

Из орешника на дорогу высыпало человек двенадцать партизан. Все с виду были усталые, наверно от долгого бега, и нерешительно один за другим останавливались, прислушиваясь к неожиданной стыч-

ке их командира со знакомым Кулешом и незнакомым партизаном из Геройского.

— Что, с ребенком в строй? — удивился Кулеш.

— Ладно, ты вези ребенка! — быстро решил командир.— А ты в строй! Где винтовка?

— Нету,— сказал Левчук.— Вот пистолет.

— Становься с пистолетом. За мной марш!

Левчук секунду помедлил, намереваясь сказать, что ранен, но возбужденные лица командира и его бойцов дали ему понять, что лучше послушаться. Такие не очень станут упрашивать или разбираться в твоих оправданиях — такие, обычно, если что не так, хватаются за пистолет. Левчук это знал по собственному опыту.

И он отдал ребенка Кулешу, который не очень ловко, с преувеличенной осторожностью поднял его в седло.

— Главное, к тетке какой. Чтоб покормила,— напомнил Левчук.

— Будет сделано. Ты не беспокойся.

Чернявый, с горячими глазами, взбежал на пригорок и оглянулся. Левчук, однако, стоял, почему-то испугавшись, что Кулеш упустит малого, а тот, пришпорив стоптанными каблуками коня, обернулся.

— Эй, а звать его как?

— Звать? — удивился Левчук.

Действительно, может, он расставался с ним навсегда, а имя ему так и не дал никакого. Да разве он думал про имя? Он даже не надеялся, что оно ему когда-либо понадобится.

— Виктор! — крикнул он, припомнив имя Платонова.— Виктор, скажи. А фамилия Платонов. Если что...

— Ясно!

Кулеш поскакал по дорожке и скоро исчез за поворотом в орешнике, а Левчук, зябко содрогнувшись от своей мокряди, побежал вслед за чернявым. Уже было слышно, как в том направлении забахали винтовки и первые пули певуче прорезали утренний воздух...

17

Некоторое время назад Левчук начал посматривать на балконы и не сразу, как-то с запозданием догадался, что третий балкон над подъездом — их. Действительно, если квартира на площадке слева, значит, окнами она выходит во двор, где и был этот балкон с узенькой застекленной дверью, какими-то цветочками в вазонах-корытцах, подвешенных к перилам. Там же виднелось плетеное кресло, столик, с крыши тянулся конец толстого провода от антенны. И неожиданно для себя он увидел там молодую женщину в светлом халатике, которая, неслышно выйдя из комнаты, полила из стеклянной банки цветы, глянула вниз и снова бесшумно исчезла в квартире, оставив раскрытой балконную дверь.

Левчук продолжал сидеть, не в состоянии сразу понять смысл этого ее появления, хотя он и знал, что дождался. Да, он дождался столько лет жданного его свидания. О н — т а м! Четверть часа назад Левчук краем глаза заметил, как какая-то пара прошла в подъезд, но он увидел только спину мужчины, невысокого, остроплечего, с худыми локтями, торчавшими из коротких рукавов тенниски, и не обратил на него внимания. В его воображении Платонов был иного сложения, и он сидел еще, все приглядываясь к каждому из нечастых тут, случайных прохожих. Но, пожалуй, настало время вставать. Жизнь редко балует человека свершением его надежд, она имеет привычку поступать по-своему. Но и человек любит настоять на своем, вот и возникают конфликты, которые иногда скверно кончаются.

Наверно, все, что Левчук намечтал за тридцать лет неизвестности — детская забава, не больше, наверно, все будет иначе. Но он должен знать — к а к? Слишком много спрессовалось для него в той его партизанской истории, чтобы без должной причины пренебречь ею. Тем более что потом удача окончательно покинула его, не пришлось заслужить ничего. В конце блокады отняли руку, и он занял место Грибоеда в санчасти — смотрел лошадей. А возле лошадей какие же заслуги? Жил прежними, главной среди которых был этот спасенный им от волчьей стаи малой, затем неизвестно куда девавшийся. Как Кулеш увез его по дороге, так он ни разу больше его и не увидел. Спрашивал у всех при каждом подходящем случае, да все напрасно. Кому было интересоваться младенцем, если пропадали сотни сильных, известных, выносливых; наградами Левчука тоже наделили не слишком: в то время, когда он воевал, награждали не часто, а потом, когда стали чаще, он уже не воевал — стал обозником. Потому наибольшей для него наградой оставался этот младенец, нынешний полноправный гражданин страны Виктор Платонов.

Медленно, превозмогая внезапную тяжесть в ногах, Левчук поднялся с лавки и пошел к подъезду. Волнение охватило его за все вместе: за то страшное, давно им пережитое, за встречу, к которой он стремился без малого тридцать лет, за свою какую ни есть, но уже идущую к закату жизнь...

Сдерживая в себе какую-то неприятно расслабляющую волну, он медленно, с остановками, поднялся по лестнице на третий этаж. Знакомая дверь по-прежнему была плотно закрыта, но теперь он услышал присутствие за ней людей и нажал кнопку звонка. Он ждал, что кто-то ему откроет, но вместо того услыхал низкий добродушный голос, донесшийся из глубины квартиры:

— Да, да! Заходите, там не закрыто.

И он, забыв снять кепку, повернул ручку двери.

Перевел с белорусского автор.

РИММА КАЗАКОВА

★

УЧАСЬ У СВЕТА И У ТЕНИ

Я четко поняла теперь,
учась у света и у тени:
приобретение потерь
важней иных приобретений.

Рассохлась изгородь тирад,
и больше не подменит слово
безмолвной храбрости: терять
и начинать от печки, снова.

Как в старой сказке, наперед
печалит искренность ответа:
пойдешь направо — конь падет,
налево — сам загинешь где-то...

Но ты идешь под этот нож,
идешь с душою на пределе,
смиряешь дрожь и душишь ложь —
безмерно рад такой потере.

Иди, дожертвуй, допотей!
Вот снова, быть собой желая,
выпрастываясь из потерь,
жизнь улыбается живая...

***

Что тревожит человека
под не очень молодой,
под звездою Улуг-бека,
самаркандскою звездой?

Может, то его тревожит,
брать привыкшего призы,
что звезда была моложе
в дни великого мирзы?

И не праздно, а пристрастно —
ошарашенный пострел,—
все понять желая страстно,
на звезду мирза смотрел...

Человек, добра носитель,
сын прогресса, человек,
чем еще ты не насытил
сердца, как мятежный бек?

Ты бредешь один, терзаясь,
по источенным камням,
и, как к будущему, зависть
у тебя к минувшим дням.

За тебя, с тобой тоскую,
за тобой, с тобой иду.
Где найти и нам такую
недоступную звезду?

Чтобы время неустанно —
пусть зачитан он до дыр —
оком нашего секстанта
перемеривало мир.

Чтоб дитя другого века
снова спорило с судьбой
под звездою Улуг-бека
и под нашею с тобой.

***

Пока ребенку нужен твой совет,
все — в этом, что у жизни ты просила.
Быть матерью — завидней доли нет.
Быть матерью — счастливейшая сила.

Пока тебе дает советы мать,
пусть их и перерос, вкушай их сладость.
Ребенком быть — такая благодать!
Ребенком быть — счастливейшая слабость.

***

Кто победит в нелепом этом споре?
Кто разрешит для нас с тобой его?
Не стоишь ты моей прекрасной боли,
я холода не стою твоего.

Нам друг для друга суждено остаться:
мне — слабостью, немыслимой в борьбе,
и бесполезной, если разобраться,
бездушной, скучной силою — тебе.

***

Эту зиму я вспомню, быть может,
в день зимы, долгожданный для всех,
когда больше уже не встревожит
той тревогой болезненной снег.

Когда снег будет радостно значить,
щедро в душу вдувая озон:
просто кончилась осень и начат
конькобежный и лыжный сезон.

Но какой-то снежинкой, носимой
слишком долго над белым ковром,
принесет эту лучшую зиму
с безысходным ее серебром.

Было небо странней и бездонней,
был январь холодней и длинней.
Все тепло собиралось в ладони,
жестковатой ладони твоей.

Мы красивый январь обижали —
с пароходными флагами труб...
Мы вселенную нашу сужали
до ладоней, до губ возле губ.

Но свои у вселенной законы:
развернулась, вернулась туда,
где язык протокола суконный
с поэтическим спорит всегда.

Стали туши автобусов ближе,
стал работником праздничный день,
и вернулись веселые лыжи
и житейских забот дребедень.

Где наш мир? Он из дали, что мглиста
и уныла, чуть виден пока,
как творение сюрреалиста:
глаз в сугробе... Отдельно рука...

Мы с тобою — гиганты, таланты...
И я думаю в долгих ночах:
всю вселенную мы, как Атланты,
удержать бы могли на плечах.

Но маячат в заснеженный вечер,
как бывало и будет не раз,
одинокие зябкие плечи,
укоряя из прошлого нас.

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

★

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ

Песни

I

И опять переступаешь
ты порог родного дома,—
в листьях августа истома,
ну а ты вперед шагаешь.

За тобою птичьи сплетни,
ну а ты птенцам щеглиным
светишь светом, отличимым
от сиянья ночи летней.

Ты, фасад ночей великих
блеском лунным разузорив,
пересчитываешь блики,
точно горсть пшеничных зерен.

Плащ шумней, чем птичьи хоры,
чем базар лесных пернатых,
ты влечешь сквозь коридоры
от лучей голубоватых

Утренней Звезды. И шелест
ветра, воду, и каменья,
и очей печальных прелесть
дай спасти мне от забвенья.

II

Над столом моим рабочим
голубой зари излуки,—
опишу твои ладони,
сердце, прыгнувшее в руки;

славлю голос твой и губы,
терпкие как шелковица,
уши — островки в лазури,
призывавшие Улисса.

В этом облаке твой облик,
в дереве и в небосклоне,—
сколько слов простых и добрых
я обрел в чернильном лоне!

Строки краше певчих пташек,
золотых и васильковых,—
выткан облик твой на наших
справедливейших основах.

День прошел. Век мчится дальше,
нет ему отдохновенья.
Эти руки, эти пальцы
дай спасти мне от забвенья.

III

Сколько, помнишь, истоптали
Мы путей с тобою рядом?
Сколько ливней повидали,
фонарей и снегопадов?..

Сколько горьких расставаний
в телеграфной канители?
Мы с тобой не уставали,
только бы дойти до цели.

Сколько мы с тобой трудились,
сколько слез нам ветер выжег?
Сколько — мы со счету сбились —
поцелуев? Лестниц? Книжек?

Сколько мы душой согрели
поэтических диковин?
Что поведал нам Корелли?
А Скарлатти? А Бетховен?

Взор твой жарче ясных свечек,
а в душе — потоков пенье.
Душ сиянье человечьих
дай спасти мне от забвенья.

IV

Вот наш день обыкновенный,
будний день под низким кровом,—
труд упрямо-неизменный
в напряжении суровом.

Солнце всходит и заходит,
сад цветет и увядает,
и событий половодье
нам ладони омывает.

Люди мы — и с нами люди,
и отсюда наша сила.
Теплый хлеб лежит на блюде,
лампа темень осветила.

Факел века — светом брызни,
озаряя мглу и просинь!
Мы с тобой стоим у жизни,
как ткачи у верных кросен.

Как ткачи под пестрой тканью
для иного поколенья.
Нашей лампы колыханье
дай спасти мне от забвенья.

V

Вечер, музыкой согретый,
что за пир для нас с тобою!
Любим трубы и кларнеты,
клавесины и гобои.

Есть у нас фонарик малый,
ярко-алая свеча в нем,
он нам служит запевалой,
прибавляет свет к звучаньям.

А о чем лепечет пламя
язычком прозрачно-узким
в час, когда плывет динамик
к нам с Концертом Бранденбургским?

На стене веселый танец
тени начали нежданно,—
стал заметнее румянец
Иоганна-Себастьяна.

Кантор лейпцигский улыбку
нам послал из обрамленья.
Теплоту мгновений зыбких
дай спасти мне от забвенья.

VI

Разве мы пришли на землю,
чтоб вкушать ее услады?
Нет, плоды земли приемля,
нам ее украсить надо!

Мы, пройдя сквозь лихолетье,
тех, кто пал в бою, оплакав,
зашагали по планете
в красоте машин и злаков.

В серебристых кинозалах
сколько раз в часы метели
мы среди друзей усталых
утомленные сидели.

Снова дни бегут за днями,
снова жизнь с работой дружит:
красота творима нами,
пусть она труду послужит.

Вьются хлопья — вихрь принес их
в серебре олененья.
Белый снег на темных косах
дай спасти мне от забвенья.

VII

Мы упорны и упрямы,
и работе нет предела.
Мгла уходит — и с утра мы
принимаемся за дело.

Солнце людям рукоплещет,
ярким блеском сердце кормит:
долгий путь проходят вещи
от бесформенности к форме.

Труженики заселяют
шар земной, их звавший немо.
Мир дрожит. Так возникают
Дом, симфония, поэма.

Ночь. Стоят как исполины
сосны. Снег на иглах зыбок.
Звезды спят в ночных глубинах,
как в нутре огромных скрипок.

А за окнами — Венера,
темных веток озаренья,—
этих стекол блеск неверный
дай спасти мне от забвенья.

VIII

Понятовский отдал имя
ледяной громаде моста:
над пролетами сквозными
снега хрупкая короста.

Над метелью блещут строго
фонаря седые склянки.
Погляди: людей немного
у автобусной стоянки.

Двое. Это мы с тобою
над оледенелой Вислой,
окруженные зимою,
будто лесом серебристым.

Трех ворон бы тут поставить
на мерцающем настиле,
чтоб они сквозь мглу и замять
клювы к людям обратили.

Пусть торчат. Пусть кличет вьюга,
обходя свои владенья.
Эти три вороньих клюва
дай спасти мне от забвенья.

IX

Из лесничества послал я
эти строки, дорогая.
Керосиновая лампа
на столе стоит, мигая.

Ходики стучат уныло,
в окна сумрак смотрит строго,
мать лесничего застыла
у скрипучего порога.

Вся в слезах скупых и жгучих,
воплощение печали,
говорит мне: — Снова в тучах
самолеты заворчали.—

Знаю — нечего бояться.
Все как есть отлично знаю.
Знать-то знаю, а, признаться,
дни лихие вспоминаю!

Мать, застынь, кулак вздымая,
это клятва поколенья.
Тень на лбу твоем, родная,
дай спасти мне от забвенья.

X

Вы простите, люди, если
в этих песнях дал вам мало,
не сложил такие песни,
что сложить бы надлежало.

Да, напевы эти явно
быть могли бы совершенней
без Иоганнов-Себастьянов
и ненужных украшений.

И сияний. Но всецело
свет любя всем сердцем храбрым,
озарю земли пределы
исполинским канделябром.

Лишь затем стихи пишу я,
что без них, сумбурных, нечем
мне зарю, зарю большую
двинуть к душам человечьим.

Чтоб весна, по белу свету
растекаясь, загорелась
от перстов пурпурных этой
яснолобой умной Эос.

Да, пока на полпути мы,
сердцу нет отдохновенья.
След мой, след неуловимый,
дай спасти мне от забвенья.

Восемнадцать желудей

Ветру б только шум содеять!
И попадали с ветвей
трижды шесть иль дважды девять —
восемнадцать желудей.

Старый дуб нахмурил брови,
а в душе чертовски рад:
значит, вновь шуметь дуброве,
если желуди летят!

Этот мир — как сдобный крендель
в пудре сахарных светил!
Дуб тряхнул зеленым бреднем,
всех на волю отпустил.

Дуб стоит зеленым князем —
это ж все вокруг свое!
Наземь, наземь, прямо наземь
повалилось желудье!

Как податливую челядь,
сбросил в травы чудодей
трижды шесть иль дважды девять —
восемнадцать желудей!

На любовь, и на беспечность,
и на музыку листвы,
и на вечную сердечность
заколдованной травы.

Пусть набита крона густо,
но под осень наяву
падает вдруг желудь с хрустом
в приувядшую траву,

чтоб гудеть дубком зеленым,
как уж сердце изберет,
всем беспечным, и влюбленным,
и печальным в свой черед.

Так, под Краковом со славой
льется в сумрачную стынь
исполин зеленоглавый
с добрым сердцем золотым.

Он шумит листвой тяжелой
будто пляшет после сна,
и земля за каждый желудь
благодарности полна.

Пусть дубы широкогруды,
тянут вихрей тетиву —
желуди, как изумруды,
с неба падают в траву!

Панна Венус

Принесенную небесным ветром
славит всех оркестров вдохновенность,—
ночью по тропинкам неприметным
я иду к тебе, о панна Венус.

Сновиденья темные толкуешь,
тайны всех помолвок и свиданий,
всюду ты смеешься и ликуешь,
в пляску мир ввергаешь стародавний.

Ты плывешь по ярмаркам предместий
с каждым днем все ярче и красивей,
тень твоя скользит с тобою вместе,
а в руке твоей платочек синий.

Ты явилась — и слепцы прозрели,
и здоровье вновь пришло к недужным.
Ты идешь, земли касаясь еле,
овеваемая ветром южным.

Все земные раны излечимы,
сняты все тревоги и томленья.
С плачем прибегут к тебе мужчины,
чтоб уткнуть лицо в твои колени.

Ты садами их ведешь, святая,
к рекам золотым прямой дорогой:
тяжких будней лестница крутая
им во сне покажется пологой.

Все меняется с твоим приходом —
громче гомон птиц и листьев шелест;
перстень твой сверкнул под небосводом —
и созвездья ярче загорелись.

Мрамор для тебя, и стих нетленный,
и тоска пластинок граммофонных,
и на всех ночных мостах вселенной
рокот семиструнных и влюбленных.

Для тебя желтеющая осень,
птичьи возвращенья издалече,
летний зной и шум зеленых весен,
снежных зим белеющие плечи.

Потому что ты тревога наша
и звучишь все шире и победней:
ты, в раскатах свадебного марша,
крик предсмертный и восторг последний!

Перевел АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА.

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ

Счастье

Держать, как каплю, на губах вкус каждого мгновенья,
Взрезать решительным ножом страницы свежих книг.

Атласом молодой руки брать пламя за язык,
Всем телом чувствовать коня и мышц его движенье.

Впивать глазами белый сад на звонком синем фоне,
Натягивать и отпускать поводья на скаку.

Ступней смакуя твердый грунт, шагать по большаку
И, как большой хрустальный шар, день ощущать в ладони.

Взлет

Друг другу глянем в очи... Почуют кони крылья,
Последний раз по камню раздастся стук копыт,

Квадрига прянет в небо — и вот уже парит,
Туч кремовые горы дробятся снежной пылью.

Дорогой солнц светящих, планет, плывущих сонно,
Взлетим, два юных бога, одним огнем горя,

Поймать рукою дерзкой три мыльных пузыря,
Три шарика стеклянных созвездья Ориона!

***

Не оборачивайся, даже если взгляд
Невольно в зелени полей окрестных тонет
И ласточек следит на куполе последних
И легких крыльев тень на зеркале пруда.

Не оборачивайся: птицы улетят,
Чтобы вернуться вновь к неведомым потомкам,
И эти провода густые на столбах —
Не ноты ласточек, а карты их отлета.

Вот поезд прогудел, прогрохотал... И нету.
Вдали торчит труба кирпичного завода.
Ночь приближается, искать ее не нужно.

Тень тенью кутается. Пусть. Так нужно. Боже!
Не знал я, что всего на свете тяжелее:
Задумавшись, идти, идти, не обернуться.

***

Не родится
никакой уже новый родник
так уж и останется до конца

неисчерпаемое вдохновенье детства
твой деревянный старый теплый дом

мой весенний ветер
и летний запах полыни

и все те же друзья
по могилам своим как живые

и все те же восторги
которых должно было хватить
на целую жизнь

и дальше

Перевел В. БРИТАНИШСКИЙ.

Август

Куропатки бродят стадом
паутина липнет к листьям
август время звездопада
близко близко

пани осень входит снова
снова смысл последний пряча
и звезды ночной и слова
и немой земли и плача

вереск полыхнет высокий
как костер разбрызжет искры
наши судьбы наши сроки
близко близко

будет тихий дождь осенний
желтый лист над белой зыбкой
дни забвенья просветленья
близко близко

Зеленый сад среди зимы

Мой мир это мой мир
я не могу вам его открыть

если бы я даже вам описал
эти статуи двенадцати месяцев
скрытые в гуще зелени

то каждый из вас увидит
иную зелень
иную статую
и не такую зелень

если бы я описал вам мою печаль
она показалась бы вам смешной
и детской

потому что моя печаль
полна очарованья

как сад зеленый
среди зимы

Омела

На высоком дереве
сидят зеленые гнезда
омелы

вечер прозрачен
деревья призрачно белы

два круглых шара
большой и меньший
не слышат как вечер дышит

омела к стволу прижавшись
черпает жизнь

о дерево опершись
ждет заката

цветом зари
перлы свои питает
для птиц

я как эта омела

Закопане

Я решил что летом поеду
в горы
в Закопане

я себе представил
голубое небо
зеленые ели

я думал
снова Рытард
снова Кароль
снова Войтек Ваврытко

а потом я напомнил себе
что нет уже голубого неба
нет зеленых елей

все припорошил
снег седины

и стало мне грустно

Птицы

Присядем перед дальней дорогой
на распускающейся ветви

не будем как эти глупые дикие гуси
которые полетели на север
крича на целое небо

еще зеленых юных листьев
не свернула в черные трубки
соседняя фабрика асфальта

глянь в воде прозрачной
скачут живые рыбы

под расцветающим деревом
скачут живые дети

мир такой прекрасный
присядем на краткое мгновенье

на цветущей ветви
перед дальним отлетом

Перевела Н. АСТАФЬЕВА.

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

★

СВЕТ В АВГУСТЕ

Роман

Фолкнер сочинил себе такую эпитафию: «Он писал книги и умер». Его жизнь (1897—1962) не очень богата событиями: разоренная плантаторская семья, служба в авиации в первую мировую войну, заработки — официант, продавец, почтмейстер, короткое пребывание в Париже; литературная поденщина в Голливуде — он один из авторов сценария по роману Хемингуэя «Иметь и не иметь». Все остальное время он прожил в маленьком городке Оксфорде, все отдано главному — творчеству.

Чем больше проходит времени, чем настойчивее осколочное видение возводится едва ли не в господствующий принцип современного письма, тем яснее вырисовывается величие самого фолкнеровского замысла — создать целостный мир, Йокнапатофу, вымышленную область на Юге США; создать модель — со своей историей и географией, своими мифами, своими святыми и негодяями, своими обыкновенными, чаще всего глубоко несчастными людьми. Его персонажи, как у Бальзака, переходят из романа в роман, и укрепляется ощущение достоверности: мы с ними уже знакомы. Этот мир так реален для самого автора, что он мог, например, заметить: «Тут есть парочка Сноупсов, и мне придется с ними столкнуться». И потому плод писательской фантазии превратился в реальность для читателей.

Его книги были о прошлом, уже когда он писал их; теперь они, естественно, отодвинулись еще дальше. Фолкнер черпал из истории, то есть из далекого. Черпал из местного, то есть дважды далекого для всех остальных. Однако сотворенный им художественный мир выстоял, приблизился, стал достоянием многих и многих.

Критики нередко упрекали Фолкнера в уходе от своего времени, а между тем он в романе «Свет в августе» изобразил фашиста Перси Гримма еще до прихода Гитлера к власти; Гримм страшен и сегодня. Лину Гроув, героиню этого романа, теперь подвозили бы не на тележке, запряженной мулами, а на машине, и никто не успел бы рассмотреть выражение ее лица; но обманутая девушка, которая надеется найти возлюбленного, вечна.

Человек у Фолкнера протяжен в пространстве и во времени, человек опутан связями с прошлым и со своим окружением — с реками и горами, с лесами и зверями. Особенно рельефна эта связь в фолкнеровском шедевре — повести «Медведь». Без такой постоянной прописки в природе не понять ни жизни, ни человека. Повсеместное заражение среды превратило старую истину в газетно-актуальную. Таков один — далеко не единственный — пример высокой современности Фолкнера.

Слава пришла к писателю поздно, сначала в Европе, потом на родине, в 1950 году он был удостоен Нобелевской премии. Сейчас Фолкнер пришел к нам. Переведены «Деревушка», «Городок», «Особняк», «Солдатская награда», «Осквернитель праха», «Реквием по монахине», «Сарторис», «Шум и ярость», «Медведь», рассказы.

В романе «Свет в августе», заслуженно причисленном к классике XX века, историческое проклятье рабства нависло над всеми, белыми и черными. Это проклятье пронизывает судьбу полукровки Кристмаса. Сложное сочетание ущемленности, страха, ненависти, слепых инстинктов — все это неотвратимо превращает Кристмаса в убийцу, а затем столь же неотвратимо делает убийцами его преследователей.

В этом романе, как и в других книгах Фолкнера, много ужасного. Но в заглавии есть слово «свет». Свет надежды из того далекого августа светит и сегодня.

1

Сидя у дороги, глядя, как поднимается к ней по косогору повозка, Лина думает: «Я пришла из Алабамы; путь далекий. Пешком из самой Алабамы. Путь далекий». Думает *меньше месяца в пути, а уже в Миссисипи, так далеко от дома еще не бывала. И от Доуновой лесопилки так далеко не бывала с двенадцати лет.*

Она и на Доуновой лесопилке не бывала, пока не умерли отец с матерью, хотя раз по шесть, по восемь в году, по субботам, ездила в город — на повозке, в платье, вышисанном по почте, босые ноги поставив на дно туфли, завернутые в бумагу, положив рядом с собой на сиденье. В туфли обувалась перед самым городом. А когда подросла, просила отца остановить повозку на окраине, слезала и шла пешком. Отцу не говорила, почему хочет идти, а не ехать. Он думал — потому что улицы гладкие, тротуары. А Лина думала, что, если она идет пешком, люди принимают ее за городскую.

Отец с матерью умерли, когда ей было двенадцать, — в одно лето, в рубленом доме из трех комнат и передней, без сеток на окнах, в комнате, где вокруг керосиновой лампы вилась мошкара, а дощатый пол был вылощен босыми пятками, как старое серебро. Она была младшей из детей, оставшихся в живых. Мать умерла первой. Она сказала: «За папой ухаживай». Лина ухаживала. Однажды отец сказал: «Поедешь на Доунову лесопилку с Маккинли. Собирайся, чтобы к его приезду была готова». И умер. Маккинли, ее брат, приехал на повозке. Отца похоронили днем, в роще за деревенской церковью, и поставили сосновое надгробье. Утром она уехала навсегда — хотя, может быть, и не понимала этого — на повозке, с Маккинли, на Доунову лесопилку. Повозка была чужая, брат обещал вернуть ее к ночи.

Брат работал на лесопилке. Все мужчины в деревне работали на лесопилке или при ней. Резали сосну. Резали уже семь лет и еще через семь должны были извести весь окрестный лес. Тогда часть оборудования и большинство людей, работавших на нем и существовавших благодаря ему и для него, погрузятся в товарные вагоны и уедут. Но часть оборудования останется — потому что новое всегда можно купить в рассрочку, — и уныло застывшие колеса, поражая взор, будут торчать из курганов битого кирпича и жесткого бурьяна, и выпотрошенные котлы упрямо, смущенно, озадаченно будут топорщить свои ржавые бездымные трубы над пнистой панорамой немой и мирной пустоши, непаханой, необороненной, в красных язвах буераков, прорытых тихими мокрыми дождями осени и бешеными косохлестами весенних равноденствий. И тогда иссосанные глистами самозванные наследники, растаскивая дома и сжигая их в плитах и очагах, не вспомнят самого названия деревни, которая и в лучшие дни не значилась в анналах почтового ведомства.

Когда приехала Лина, в деревне оставалось семей пять. Была там железнодорожная колея и станция, и раз в день товарно-пассажирский с воплем проносился мимо. Поезд можно было остановить красным флагом, но обычно он возникал из разоренных холмов внезапно, как привидение, — и, лешим взвыв, мимо недодеревеньки, стороной, как мимо потерянной бусины, когда порвалась нитка. Брат был двадцатью годами ее старше. Когда он забирал ее к себе, она его почти не помнила. Он жил в четырехкомнатном некрашеном доме с женой, изношенной от труда и родов. Чуть ли не по полгода в году невестка Лины либо ходила на сносях, либо оправлялась после родов. В это время Лина делала всю работу по дому и смотрела за другими детьми. После она говорила себе: «Потому, видно, и сама так быстро обзавелась».

Спала в пристройке, в задней части дома. Там было окно, которое она научилась бесшумно отворять в темноте, потому что в пристройке спали, кроме нее,— сперва старший племянник, потом двое старших, потом трое. Впервые открыла окно на девятом году своей жизни у брата. Она и открыть-то его успела всего раз десять, когда обнаружила, что его вообще не следовало открывать. Сказала себе: «Такое, видно, мое счастье».

Невестка сказала брату. Тут только он заметил, что она округлилась, а мог бы заметить и раньше. Он был суровый человек. Добродушие, мягкость, молодость (а было ему сорок только) и почти все остальное, кроме упрямой, безнадежной стойкости да угрюмой родовой гордости, вышло из него с потом. Он обозвал ее проституткой. Он угадал виновника (молодых холостяков — а опилочных Казанов и подавно — насчитывалось еще меньше, чем семей в деревне), но она не признавалась, хотя виновник отбыл полгода назад. Она твердила только: «Он меня вызовет. Он сказал, что вызовет меня», — непоколебимо, по-овечьи, черпая из тех запасов терпеливой прочной верности, на которые надеется и рассчитывает каждый Лукас Берч, не имея, впрочем, намерения оказаться под рукой, когда в этом будет нужда. Двумя неделями позже

она снова выбралась через окно. Теперь это далось нелегко. «Было бы раньше так трудно, небось бы теперь не пришлось вылезать», — подумала она. Она могла бы уйти через дверь, днем. Никто бы ее не удерживал. Может быть, она это понимала. Но предпочла — ночью, через окно. С ней был веер из пальмовых листьев и другие пожитки, аккуратно увязанные в платок. В узелке лежало среди прочего тридцать пять центов — пяти- и десятицентовыми монетами. Башмаки на ней были братнины — его подарок. Поношены самую малость — никто из них летом башмаков не носил. Почувствовав под ногами дорожную пыль, она сняла башмаки и понесла в руках.

Этим занималась она вот уже почти месяц. Четыре недели пути — и в сознании отпечатавшиеся — *далёко* как мирный коридор, вымощенный крепкой, спокойной верой, населенный добрыми безымянными лицами и голосами: *Лукас Берч? Не знаю. Чтоб где-нибудь поблизости такой жил — не слыхал. Дорога эта? В Покахонтас. Может, он там. Может быть. Вон повозка в ту сторону. До места не до места, а все подвезет,* и вот разматывается позади длинная однообразная череда мирных и неукоснительных смен дня и тьмы, тьмы и дня, сквозь которые она тащилась в одинаковых, неведомо чьих повозках, словно сквозь череду скрипоколесных вялоухих аватар: вечное движение без продвижения на боку греческой вазы.

Повозка поднимается к ней по косогору. Лина миновала ее милю назад. Повозка стояла у дороги, мулы спали в постромках, головой в ту сторону, куда шла она. Лина увидела повозку, увидела за забором у сарая двух мужчин на корточках. Только раз взглянула на повозку и мужчин, один лишь взгляд кинула — емкий, быстрый, простодушный и проницательный. Она не остановилась; скорей всего мужчины за забором даже не заметили, как она взглянула на них и на повозку. Она не оглядывалась. И, скрывшись из виду, продолжала идти, ступая медленно в расшнурованных башмаках, пока не взошла на пригорок в миле от них. Там она села на краю неглубокой канавы, свесила ноги, сняла башмаки. Немного погодя услышала повозку. Сперва ее было слышно. Потом стало видно, как она поднимается по косогору.

Лениво и сухо скрипит и громыхает немазаное рассохшееся дерево и металл: трескучие оглушительные раскаты разносятся за полмили над знойной мореной одурью и безмолвием августовского дня. Мулы плетутся мерно, в глубоком забытьи, но повозка словно не движется с места. До того ничтожно ее перемещение, что кажется, она замерла навеки, подвешена на полпути — невзрачной бусиной на рыжей шелковине дороги. До того, что устремленный на нее взгляд не может удержать ее образа, и зримое дремотно плывет, сливается, как сама дорога с ее мирным однообразным чередованием дня и тьмы, как нить, уже отмеренная и вновь наматываемая на катушку. До того, наконец, что кажется, будто этот вялый оглушительный звук ничего собой не означает и доносится из какого-то пустячного, ерундового места, отдаленного больше, чем расстоянием: морок, блуждающий в полумиле от собственных очертаний. «Так далеко слыхать, когда самой еще не видать»,— думает Лина. Думает о себе так, словно опять едет — думает *все равно как ехала полмили до того, как влезла в повозку — до того, как повозка подъехала к месту, где я ждала, а потом, когда слезу с повозки, она полмили все равно как со мной будет ехать.* Ждет, уже не следя за повозкой, а мысль течет досуже, быстро, плавно, полная безымянных добрых лиц и голосов: *Лукас Берч? Спрашивала, говоришь, в Покахонтасе? Эта дорога? В Спрингвейл. Обожди тут. Скоро повозка будет в ту сторону, докуда едет — подвезет.* Думает: «А если он до самого Джефферсона едет, Лукас меня услышит прежде, чем увидит. Повозку услышит, а не догадается. Так что одну услышит прежде, чем увидит. А потом увидит меня и разволнуется. И двоих увидит прежде, чем вспомнит».

Сидя на корточках в тени конюшни Уинтерботтома, Армстид и Уинтерботтом видели, как она прошла по дороге. Они сразу увидели, что она молодая, беременная и нездешняя.

— Интересно, откуда это у ней живот,— сказал Уинтерботтом.

— Интересно, издалека ли она его несет,— сказал Армстид.

— Видать, навещала кого-то в той стороне,— сказал Уинтерботтом.

— Да нет, видать. А то бы я слышал. И там, в моей стороне, никого у ней нет. Тоже слышал бы.

— Видать, не просто так гуляет,— сказал Уинтерботтом.— Не такая у ней походка.

— Недолго ей одной гулять, будет ей попутчик,— сказал Армстид.

Женщина уже удалялась — медленно, со своей набрякшей очевидной ношей. Она словно бы не взглянула на них, когда проходила мимо — в выгоревшем синем балахоне, с пальмовым веером и узелком в руках.

— Не из ближних мест идет, — сказал Армстид.— Ишь как потопывает — верно, порядком отшагала и еще шагать да шагать.

— Видать, навещала кого-то в наших краях,— сказал Уинтерботтом.

— Да нет, пожалуй. Я бы слышал,— сказал Армстид.

Женщина шла. Не оглядывалась. И медленно ушла из виду — налитая, обстоятельная, неутомимая, как сам набирающий силу день. Ушла и из их беседы и, может быть, даже из их сознания. Ибо, чуть подождав, Армстид сказал то, что надумал сказать. Он уже дважды заявлялся сюда — приезжал за пять миль на повозке и с бесконечной неторопливостью и уклончивостью своего племени по три часа сидел на корточках в тени сарая и поплевывал — для того, чтобы сказать это. Предложить Уинтерботтому цену за культиватор, который Уинтерботтом хотел продать. И вот Армстид посмотрел на солнце и предложил цену, которую предложить задумал, лежа в постели три дня назад.

— Я знаю одного в Джефферсоне, который отдаст за такую цену,— сказал он.

— Так ведь брать надо,— сказал Уинтерботтом.— Дешевка-то какая.

— Ну да, — сказал Армстид. Сплюнул. Снова посмотрел на солнце и встал.— Да-а, видать, домой пора собираться.

Он влез в повозку и разбудил мулов. Вернее, привел их в движение, потому что только негр поймет, спит мул или проснулся. Уинтерботтом дошел с ним до забора и облокотился на верхнюю слегу.

— Да, брат,— сказал он.— За такие деньги я сам бы взял. А ты не возьмешь — провалиться мне, коли я сам его не куплю за такую цену. А не хочет ли тот хозяин пару мулов своих отдать за пятерку? Нет?

— Ну да,— говорит Армстид.

Он правит; повозка предалась уже ленивому, перемалывающему мили громыханию. Он тоже не оглядывается. Но и вперед, должно быть, не смотрит — потому что женщины, сидящей в канаве у дороги, не видит до тех пор, пока повозка не вползает почти на самый верх. В тот миг, когда он узнает синее платье, он не может понять, заметила ли она вообще повозку, и уж совсем никому не понять, взглянул ли он сам на нее хоть раз, когда без малейших признаков перемещения они медленно приближались друг к другу, по мере того как оглушительно вползала на косогор повозка в ауре тягучей, осязаемой дремы и рыжей пыли, по которой лунатически-мерно ступали мулы, изредка позвякивая сбруей, вяло прядая заячьими ушами,— и по-прежнему ни спят, ни бодрствуют, когда он наконец натягивает вожжи.

Из-под блекло-синего чепца, полинявшего не от воды и мыла, она смотрит спокойно и любезно — молодая, миловидная, бесхитростная, доброжелательная и живая. Она еще не шевельнулась. Под балахоном того же блекло-синего цвета тело ее грузно и неподвижно. Веер и узелок лежат на коленях. Она без чулок. Босые ступни на дне канавы сдвинуты. Жизни в них ничуть не больше, чем в тяжелых, пыльных мужских башмаках, которые стоят рядом. В замершей повозке сидит Армстид, сутулый, с выцветшими глазами. Он видит, что кромка веера обшита тем же блекло-синим, что на чепце и платье.

— Далеко ли идешь? — спрашивает он.

— Да вот хотела засветло еще малость пройти,— отвечает она.

Она встает и поднимает башмаки. Медленно и неторопливо выбирается на дорогу, идет к повозке. Армстид не спускается на землю, чтобы помочь. Только удерживает мулов, пока она грузно перелезает через колесо и кладет башмаки под сиденье. Повозка трогается.

— Спасибо вам,— говорит она.— Уморилась, на ногах-то.

Кажется, Армстид и не посмотрел на нее ни разу открыто. Однако он уже за-

метил, что обручального кольца у нее нет. Теперь он на нее не смотрит. Повозка снова предается ленивому громыханию.

— Издалека ли идешь?— спрашивает он.

Она переводит дух. Это даже не вздох, а спокойный выдох — как бы спокойного изумления.

— А и впрямь конец немалый. Я иду из Алабамы.

— Из Алабамы? С этакой тяжестью? Где же родня твоя?

Она тоже на него не смотрит.

— Думаю встретить его где-нибудь там. Может, вы его знаете. Зовут его Лукас Берч. Тут по дороге говорили, в Джефферсоне он, на строгальной фабрике работает.

— Лукас Берч.— Армстид произносит имя почти тем же тоном.

Они сидят рядышком на продавленном сиденье со сломанными пружинами. Ему видны ее руки, сложенные на коленях, и профиль под чепцом; он видит их краем глаза. Она, должно быть, следит за проселком, стелющимся между вялыми ушами мулов.

— И ты всю дорогу сама, пешком прошла, за ним гоняясь?

Она отвечает не сразу. Наконец говорит:

— Люди все добрые попадались. Такие добрые люди.

— И бабы, что ли?

Украдкой смотрит на ее профиль и думает *не знаю, что Марта скажет*, думает: «Пожалуй, знаю, что Марта скажет. Бабы, они не так чтобы очень добрые, а скорей хорошие. Мужчина — он может быть. А баба — только плохая добра будет к другой бабе, которая в доброте нуждается». Думает *как же. Знаю, знаю я, что Марта скажет.*

Она сидит на краешке, неподвижно; профиль неподвижен, щека.

— Прямо удивительно,— говорит она.

— Что идет по дороге незнакомая девушка в положении и люди догадываются, что муж ее бросил?

Она не шевелится. Теперь повозка подчинена какому-то ритму, ее немазаное замученное дерево сжилось с ленивым днем, дорогой, зноем.

— И собираешься его тут найти.

Она не шевелится — наверно, следит за медленным бегом дороги между ушами мулов; даль, должно быть, дорогой прорезана, резка.

— Думаю, что найду. Дело немудреное. Он будет там, где больше всего народу собирается, где смеются и балагурят. Он всегда был до этого охотник.

Армстид крякнул — грубо, со злобой.

— Но-о-о, заснули там! — говорит он, и себе говорит — уже подумав, еще не произнося: «Найдет ведь. Спохватится парень, что маху дал, когда остановился по эту сторону от Арканзаса — или Техаса, для надежности».

Солнце клонится к западу, час ему до горизонта, до коротких летних сумерек — час. Они на развилке; в сторону отходит дорожка еще тише и глуше этой.

— Приехали,— говорит Армстид.

Женщина сразу оживает. Она наклоняется и подбирает башмаки — видимо, не хочет надевать их в повозке, чтобы его не задерживать.

— Большое вам спасибо, что подвезли,— говорит она.

Повозка снова остановилась. Женщина готовится слезть.

— Если и доберешься к закату до лавки Варнера, все равно оттуда еще двенадцать миль до Джефферсона,— говорит Армстид.

Она с трудом удерживает башмаки, узелок и веер в одной руке, чтобы опереться другой, когда будет слезать.

— Пойду-ка я, пожалуй,— говорит она.

Армстид к ней не прикасается.

— Поехали, заночуешь у меня,— говорит он,— там хоть бабы... женщина тебе... ежели что. С утра первым делом отвезу тебя к Варнеру, а там, глядишь, кто-нибудь тебя прихватит. В субботу всегда кто-нибудь в город едет. Не убежит он от тебя за ночь-то. Коли есть он в Джефферсоне, так и завтра там будет.

Она сидит, не шевелясь, все пожитки — в одной руке, чтобы удобнее было слезать. Смотрит вперед, куда убегает змейкой дорога, разлинованная косыми тенями.

— Несколько дней у меня еще есть, пожалуй.

— Ну да. Времени у тебя вдоволь. Только попутчик у тебя появится с часу на час, который ходить не умеет. Поехали ко мне.

Он пускает мулов, не дожидаясь ответа. Повозка сворачивает на малоезжую дорогу. Женщина опускается на сиденье, но по-прежнему держит веер, узелок, башмаки.

— Я не обременю,— говорит она.— Хлопот со мной не будет.

— Ну да,— говорит Армстид.— Поехали со мной.

Впервые мулы идут резво по своей воле.

— Корм почуяли,— говорит Армстид, размышляя: «Вот они, бабы. Сама же первая дорогу перебежит своей сестре, а сама гуляет по общественной земле, одна, без всякого стеснения, потому что знает — люди, мужики, ее пожалеют. До баб ей дела нет. Небось не баба ей вчинила это — чего она и хлопотами не желает назвать. Да, брат, их сестре дай только замуж выйти или так, без мужа, схлопотать — и сей же час из бабьего роду и племени она выходит и до самой смерти старается к мужскому роду примкнуть. Через это и к табаку их тянет, курить либо нюхать, через это и голосовать им подавай».

Когда повозка проезжает мимо дома к сараю, его жена наблюдает за ними из передней двери. Он в ее сторону не смотрит: и так знает, что должна там стоять, что стоит. «Да,— думает он с язвительной иронией, заворачивая мулов в распахнутые ворота,— знаю, знаю я, что она скажет. Мудрено не знать». Он останавливает мулов; ему не надо оглядываться — и так знает, что жена уже на кухне, уже не наблюдает за ними, просто ждет. Он останавливает мулов.

— Ступай в дом,— говорит он; он уже на земле, а женщина слезает медленно и все так же вдумчиво прислушиваясь к чему-то в себе.— Ежели встретишь кого — это Марта. Я скотину накормлю и приду.

Он не смотрит, как она идет через двор к кухне. Ему незачем смотреть. Шаг за шагом вместе с ней он подходит к кухонной двери и наталкивается на взгляд женщины, которая смотрит на кухонную дверь точно так же, как смотрела на повозку из передней двери. «Знаю, знаю я, что она скажет»,— думает он.

Он распрягает мулов, поит их, ставит в стойла, задает корму, впускает с выгона коров. Потом идет на кухню. Она еще тут — седая женщина, с неприветливым, суровым, раздражительным лицом, за шесть лет родившая пятерых детей и воспитавшая из них мужчин и женщин. Она занята делом. Он на нее не смотрит. Подходит к раковине, наливает из ведра в таз и закатывает рукава.

— Ее фамилия Берч,— говорит он.— То есть так якобы парня зовут, которого она ищет. Лукас Берч. По дороге ей говорили, будто он теперь в Джефферсоне.— Он начинает мыться, к ней спиной.— Пришла из самой Алабамы, говорит — одна и пешая.

Хозяйка не оглядывается. Она возится у стола.

— Недолго ей так ходить — в Алабаму свою с прибавлением явится,— говорит она.

— Да небось и к парню этому, к Берчу,— Армстид возится у раковины — очень занят водой и мылом. Он чувствует ее взгляд на себе — на затылке, на спине, сквозь вылинявшую от пота рубашку.— У Самсона ей говорили, будто парень по фамилии Берч или наподобие того работает на строгальной фабрике в Джефферсоне.

— И она надеется его там найти. Ждет ее не дождется. И дом уж, поди, обставил.

Он не может понять по ее голосу, смотрит она на него или отвернулась. Он вытирается распоротым мешком.

— Может, и найдет. Ежели он сбежать от нее думал, ох и спохватится парень, что оплошал, когда не оставил промеж себя и ее Миссисипи.

А теперь он знает, что она глядит на него: седая, не толстая и не тощая, закаленная, как мужчина, закаленная работой, в прочном сером платье, носимом без жалости и заботы,— руки уперты в бока, лицо — как у генералов, разбитых в бою.

— Эх, мужики.

— Что с ней прикажешь делать? Прогнать? Или в сарае положить?

— Мужики,— говорит она.— Мужики проклятые.

Они входят на кухню, миссис Армстид первой. Она идет прямо к плите. Лина останавливается возле двери. Голова ее теперь непокрыта, волосы гладко зачесаны. Даже синий балахон на ней как будто посвежел и отдохнул. Она смотрит на хозяйку — та гремит чугунными конфорками и ожесточенно, с маху, по-мужски набивает дровами топку.

— Я бы помогла,— говорит Лина.

Миссис Армстид не оборачивается. Она свирепо хлопает дверцей.

— Сиди уж. Ногам дай отдых — глядишь, и спина отдохнет.

— Я буду вам очень благодарна, если вы позволите помочь.

— Сиди уж. Тридцать лет затапливаю по три раза на дню. Прошло то время, когда мне помощь требовалась.— Она хлопочет у плиты, не оглядывается.— Армстид говорит, твоя фамилия Берч?

— Да,— отвечает Лина.

Тон у нее очень степенный, голос очень тихий. Она сидит не шевелясь, руки на коленях неподвижны. Миссис Армстид на нее не оглядывается. Она еще занята у плиты. Внимание, которого требует печь, не вяжется с той ожесточенной решительностью, с которой ее разжигали. Внимание к ней такое, словно это дорогие часы, а не печь.

— Стало быть, твоя фамилия уже Берч?— спрашивает миссис Армстид.

Молодая отвечает не сразу. Миссис Армстид уже не гремит у печки, хотя по-прежнему стоит спиной к Лине. Наконец она оборачивается. Они глядят друг на друга без утайки, наблюдают друг друга: молодая — на стуле, причесана гладко, руки на коленях неподвижны; старшая тоже замерла, отвернувшись от печи, седые волосы безжалостно скручены на затылке, лицо словно вытесано из песчаника. Наконец молодая говорит:

— Я вам сказала неправду. Моя фамилия еще не Берч. Меня зовут Лина Гроув.

Они глядят друг на друга. Голос хозяйки ни холоден, ни ласков. Он не выражает ничего.

— Стало быть, хочешь догнать его, чтобы твоя фамилия вовремя сделалась Берч. Так, что ли?

Лина смотрит вниз, словно разглядывая свои руки на коленях. В ее тихом голосе упорство. Но и безмятежность.

— Мне ведь от Лукаса обещаний не нужно. Так уж вышло нескладно, что ему пришлось уехать. Не получилось у него приехать за мной, как он задумал. Нам, думается, и не надо было друг другу словами обещать. Той ночью, когда узнал он, что должен ехать, он...

— Какой же это ночью он узнал? Когда ты ему про ребенка сказала?

Молодая отвечает не сразу. Лицо у нее невозмутимо, как камень, но без жесткости. В его упорстве что-то мягкое, оно освещено изнутри тихим, бездумным покоем, отрешенностью. Миссис Армстид наблюдает за ней. Лина начинает рассказывать, не глядя на хозяйку.

— Он еще задолго до этого узнал, что ему, наверно, придется уволиться. Только мне не говорил, потому что не хотел огорчать. А когда он в первый раз услыхал, что ему, наверно, придется уволиться, он понял, что лучше уехать — может, на новом месте мастер не будет к нему цепляться и ему будет легче продвинуться. Но все откладывал. А когда уж это самое случилось, откладывать стало нельзя. А мастер к Лукасу цеплялся, невзлюбил его, потому что Лукас молодой и никогда не унывает, а мастер хотел устроить на его место своего родственника. А он от меня скрывал, не хотел огорчать. А уж когда это самое случилось, нам больше нельзя было ждать. Я ему сама велела ехать. Он сказал — я останусь, если скажешь, пускай его придирается. А я ему сказала — ехай. А он все равно не хотел ехать, даже после этого. А я сказала — ехай. Только весточку пришли, когда сможешь меня принять. Да вот не получилось у него вызвать меня вовремя, как он хотел. Ведь на новом месте устроиться,

среди чужих — молодому время нужно. Он-то этого не знал, когда уезжал, не знал, что устроиться больше времени нужно, чем он думал. А в особенности парню вроде Лукаса, если он такой живой, и компанию любит, и повеселиться, и ему в компании тоже рады. Не знал, что у него больше времени уйдет, чем он думал,— и сам молодой и люди льнут к нему, потому что охотник посмеяться и побалагурить, от работы отвлекают, а ему невдомек, ему людей обижать неохота. Да и я хотела, чтобы он погулял напоследок,— для парня молодого, веселого женатая жизнь не то, что для женщины: для парня молодого, веселого она ох как долго тянется. Неправильно я говорю?

Миссис Армстид не отвечает. Она разглядывает сидящую на стуле женщину, ее гладкую прическу, неподвижные руки на коленях, мягкое задумчивое лицо.

— Он уж, верно, послал мне весточку, только она по дороге потерялась. Отсюда до Алабамы и то путь неблизкий, а ведь до Джефферсона еще идти. Я ему сказала, что письма от него не жду — письма-то писать он не мастер «Ты мне устным словом, говорю, передай, когда принять меня сможешь. Я буду ждать». Сперва, конечно, как он уехал, я немного волновалась, что фамилия моя еще не Берч, а брат с семьей не так хорошо знают Лукаса, как я. Откуда им знать? — На лице ее медленно появляется кроткое и радостное удивление — как будто в голову ей пришел ответ на вопрос, о самом существовании которого она до сих пор не подозревала.— Ну, правда, откуда им было знать? А ему сперва надо было устроиться, вся трудность-то на него легла — среди чужих жить, а у меня забот никаких, только ждать, покуда он со всеми заботами и трудностями сладит. А после, видно, мне хлопот хватило ребенка вынашивать, и недосуг было о фамилии своей беспокоиться да о том, что люди подумают. А нам с Лукасом промеж себя словесные обещания не нужны. Там какая-то неожиданность случилась, или, может, он послал мне весточку, а она потерялась по дороге. Так что решила я двигаться и больше не ждать.

— Откуда же ты знала, в какую сторону идти, когда в путь пустилась?

Лина рассматривает свои руки. Теперь они движутся — сосредоточенно и смущенно собирают подол в складки. Робости, застенчивости в этом нет. Кажется, что это непроизвольное движение самой задумчивой руки.

— А спрашивала. Лукас — парень молодой, веселый, с людьми сходится легко и скоро. Я и думаю: где он побывал, там люди его запомнят. Ну, и спрашивала. Люди очень хорошо относились. И правда, третьего дня мне сказали на дороге, что он в Джефферсоне, работает на строгальной фабрике.

Миссис Армстид разглядывает склоненное лицо. Она подбоченилась и наблюдает за молодой бесстрастно, с холодным презрением.

— Думаешь, он там будет, когда ты явишься? Это если он вообще там был. Услышит, что ты с ним в одном городе, и до вечера там усидит?

Потупленное лицо Лины спокойно, серьезно. Ее рука остановилась. Теперь она лежит на коленях спокойно, словно умерла там. Голос звучит ровно, невозмутимо, упрямо:

— Я думаю, семья должна быть вместе, когда рождается ребенок. В особенности первый. Я думаю, Господь об этом позаботится.

— Да уж, вижу, без Него не обойтись,— грубо, в сердцах произносит миссис Армстид.

Армстид лежит в постели, подперев голову, и смотрит поверх изножья, как она, еще одетая, склоняется под лампой к комоду и остервенело роется в ящике. Она достает металлическую шкатулку, отпирает висящим на груди ключом, вынимает оттуда полотняный мешочек, открывает его и вытаскивает фарфорового петуха со щелью в спине. Когда она опрокидывает и яростно трясет его над крышкой комода, в нем брякают монеты и редко, нехотя выскакивают по одной из щели. Армстид наблюдает за ней с кровати.

— Ты что это надумала делать с яичными деньгами на ночь глядя?

— Мои деньги — что хочу, то и делаю.— Она наклоняется к свету, лицо у нее сердитое, злое.— Небось я их растила, мучилась. Ты и пальцем не шевельнул, видит бог.

— Ну да,— говорит он.— Не сыщется в стране у нас человека, чтобы кур у тебя оспорил — вот опоссум разве да змея. И банк твой петушачий,— добавляет он, потому что, нагнувшись внезапно, она срывает с ноги туфлю и одним ударом разносит копилку вдребезги.

С кровати, рукой подпершись, наблюдает Армстид, как она выбирает из осколков последние монеты, кидает их с остальными в мешок и с яростной решимостью завязывает его и перевязывает — узлом, тремя, четырьмя.

— Ей отдашь,— говорит она.— А как солнце встанет, запряжешь и увезешь ее отсюда. Вези хоть до самого Джефферсона, если не лень.

— Пожалуй, от лавки Варнера ее и без меня подвезут,— отвечает он.

Миссис Армстид поднялась до зари и приготовила завтрак. Когда Армстид вернулся с дойки, еда стояла на столе.

— Поди скажи ей, чтобы есть шла,— велела миссис Армстид.

Когда он привел Лину, хозяйки на кухне не было. Замявшись на пороге — да почти и не замявшись,— Лина окинула взглядом кухню; лицо ее было сложено для улыбки, для речи — заготовленной речи, понял Армстид. Но она ничего не сказала; заминка даже не была заминкой.

— Есть давай да поехали,— сказал Армстид.— Тебе еще порядком добираться.— Он наблюдал, как она ест — усердно, с тем же чинным спокойствием, что и вчера за ужином, хотя сегодня оно подпорчено вежливой, слегка нарочитой умеренностью.

Потом он протянул ей мешочек. Она приняла его с удовольствием, но без особого удивления.

— Ой, я ей очень благодарна,— сказала она. — Только они мне не понадобятся. Я уж почти добралась.

— Ты возьми все-таки. Заметила небось — если Марта что задумала, ей лучше не перечить.

— Я очень благодарна,— сказала Лина. Она спрятала деньги в свой узелок и надела чепец.

Повозка ждала их. Когда они поехали по дорожке, она оглянулась на дом.

— Я вам всем очень благодарна.

— Это она,— сказал Армстид.— Кажись, моих заслуг тут нету.

— Все равно я очень благодарна. Вы уж попрощайтесь с ней за меня. Я надеялась сама ее увидеть, да...

— Ага,— сказал Армстид.— Она где-нибудь, наверно, по хозяйству. Я ей передам.

К лавке они подъехали рано утром, а там уже сидели на корточках мужчины, плевали через обглоданное каблуками крыльцо и смотрели, как она медленно, осторожно слезает с сиденья повозки, держа узелок и веер. И опять Армстид не шевельнулся, чтобы ей помочь. Он сказал сверху:

— Это, стало быть, мисс Берч. Ей надо в Джефферсон. Если кто туда нынче едет и захватит ее, она будет очень благодарна.

В тяжелых пыльных башмаках она встала на землю. Посмотрела на него снизу — спокойно, безмятежно.

— Я вам очень благодарна.

— Ну да,— сказал Армстид.— Теперь, надо думать, ты до города доберешься.

Он смотрел на нее сверху. И, настороженно прислушиваясь к тому, как язык с бесконечной нерасторопностью подбирает слова, молча и быстро думал, едва успевая за мыслью *Мужик. Всякий мужик. Сто случаев сделать добро упустит ради одного случая встрять, куда его встревать не просят. Прозевает какой угодно случай, проворонит любую возможность — богатства, почета, благого дела, а то и злодейства даже. Но случая встрять не упустит.* Потом язык нащупал слова, и он услышал их с не меньшим, наверное, изумлением, чем Лина: «Только я бы не очень надеялся... полагался на...» — думая *Не слушает она. Если бы она могла услышать такие слова, не вылезала бы она сейчас из этой повозки, с пузом своим, да с узелком, да с веером, одна не тащилась бы в город, которого сроду не видела, не гналась бы за парнем, кото-*

рого сроду ей не увидеть, которого и раз-то увидеть оказалось больше, чем надо — «...а если возвращаться будешь этой дорогой, все равно когда — завтра ли, нынче вечером...»

— Теперь, я думаю, все наладится...— ответила она.— Мне сказали, он в Джефферсоне.

Он повернул повозку и поехал домой — сутулый, с выцветшими глазами; он сидел на продавленном сиденье и думал: «Бесполезный разговор. Чужим словам, своим ушам не поверит, как не верит тому, что люди думают вокруг нее вот уже.. Четыре недели — она сказала. Как сейчас не чует и не верит. Сидит там на верхней ступеньке, руки на коленях, а они вокруг на корточках и плюют мимо нее на дорогу. И не ждет, пока ее спросят, сама рассказывает. По своей воле рассказывает про этого чертова парня, словно ей и нечего особенно скрывать или рассказывать,— даже когда Джоди Варнер или кто из них скажет, что этого парня на деревообделочной в Джефферсоне зовут не Берч, а Банч. Это ее тоже не беспокоит. А ведь она, пожалуй, еще больше Марты знает — как она вчера Марте сказала? — «Господь позаботится, чтобы все было по справедливости».

Двух вопросов оказалось достаточно. И сидя на верхней ступеньке, узелок и веер держа на коленях, Лина снова рассказывает свою повесть, с дословными повторами упорной и прозрачной детской лжи, а мужчины в комбинезонах, сидя на корточках, тихо слушают ее.

— Этого парня фамилия Банч, — говорит Варнер. — Он уже лет семь работает на фабрике. Почем ты знаешь, что и Берч твой там?

Она смотрит на дорогу, туда, где Джефферсон. Смотрит спокойно, выжидательно, чуть отрешенно, но раздумья во взгляде нет.

— Наверное, там. На строгальной этой фабрике. Лукас всегда любил развлечения. Тихая жизнь не по нем. Потому-то ему и не нравилось на Доуновой лесопилке. Потому он... мы и решили перебраться — ради денег и развлечения.

— Ради денег и развлечения, — говорит Варнер. — Этот молодец не первый увильнул от дела, для которого родился на свет, и от тех, кто положился на него в этом деле, — ради денег и развлечения.

Но она, очевидно, не слушает. Она тихо сидит на верхней ступеньке и смотрит на пустую дорогу, за поворот, откуда она изволоком убегает к Джефферсону. Мужчины сидят на корточках у стены, смотрят на ее покойное, безмятежное лицо и думают, как думал Армстид и продолжает думать Варнер, что на уме у нее мерзавец, который бросил ее в беде и которого она, наверно, больше не увидит — разве что полы его пиджака, развевающиеся от бега. «А может, она про эту, как ее, Слоунову, Боунову лесопилку думает, — говорит себе Варнер. — Ведь и дурочке, поди, необязательно забираться так далеко, в Миссисипи, чтобы понять, что новое место немногим отличается и ненамного лучше будет того места, откуда она сбежала. Даже если тут нет брата, которому не по нутру ее ночные гулянки», — думает *А я бы так же, как брат, поступил, и отец ее поступил бы так же. Матери у нее нет, потому что отцова кровь ненавидит с любовью и гордостью, а материнская — с ненавистью любит и сожительствует.*

А Лина об этом и не думает. Она думает о монетах, спрятанных в узелке у нее под руками. Она вспоминает завтрак и думает, что хоть сейчас может войти в лавку и купить сыру и печенья, а если пожелает — и сардин. У Армстида она выпила только чашку кофе с куском кукурузного хлеба — больше ничего, хотя Армстид ее угощал. «Вежливо кушала, — думает она, держа руки на узелке, где у нее спрятаны монеты, вспоминая эту единственную чашку кофе и деликатный ломтик диковинного хлеба; думает с горделивым спокойствием: — Как дама кушала. Как дама-путешественница. А теперь и сардин могу купить, если пожелаю».

И вот, хотя кажется, что она созерцает отлогий подъем дороги, а мужчины, сидя на корточках, поплевывая и поглядывая на нее украдкой, думают, что мысли ее заняты Лукасом и приближающимся событием, на самом деле она тихо противится извечным предостережениям земли, чьим промыслом, милостью и бережливым уставом она живет. На этот раз она не подчиняется. Она встает и, двигаясь осторожно, немного неуклюже, преодолевает артиллерийский рубеж мужских глаз и входит в

лавку; приказчик — за нею следом. «Возьму и куплю, — думает она. уже попросив сыру и печенья, — возьму и куплю»; а вслух говорит:

— ...и коробку сардин. — Она называет их «сырдинами». — Коробку за десять центов.

— За десять центов сардин не имеем,— отвечает приказчик.— Сардины пятнадцать центов. — Он тоже именует их «сырдинами».

Она раздумывает.

— А какие у вас есть банки за десять центов?

— С ваксой, больше никаких. Думается, такого вам не надо. Для питания то есть.

— Ну что ж, тогда за пятнадцать возьму. — Она развязывает узелок и мешочек. Распутать узлы удается не сразу. Но она терпеливо развязывает их один за другим, платит, снова завязывает мешочек и узелок и забирает покупки.

Когда она выходит на крыльцо, у ступенек стоит повозка. В ней сидит человек.

— Он едет в город,— говорят ей.— Он тебя подвезет.

Лицо ее оживляется — безмятежно, медленно, благодарно.

— Ой, спасибо вам большое,— говорит она.

Повозка едет медленно, равномерно, словно здесь, среди безлюдных солнечных просторов, не существует ни времени, ни спешки. От лавки Варнера до Джефферсона двенадцать миль.

— Приедем туда к обеду? — спрашивает она.

Возница сплевывает.

— Может, и приедем.

Он как будто ни разу не взглянул на нее, даже когда она влезала в повозку. И она на него как будто не взглянула ни разу. Не смотрит и сейчас.

— Вы небось часто в Джефферсон ездите?

Он говорит:

— Случается.

Скрипит повозка. Неотступно маячат где-то на полпути леса и поля — застывшие и вместе с тем текучие, изменчивые, как мираж. Однако повозка оставляет их позади.

— Вы, верно, не знаете в Джефферсоне такого Лукаса Берча?

— Берча?

— Найти его там надеюсь. Он работает на строгальной фабрике.

— Нет,— отвечает возница.— Не припомню, чтобы знал такого. Да я, пожалуй, много кого не знаю в Джефферсоне. Может, он и там.

— Да уж хорошо бы. А то путешествовать больно надоедает.

Возница на нее не глядит.

— Издалека ты приехала искать его?

— Из Алабамы. Путь далекий.

Он на нее не глядит. Спрашивает вскользь:

— Как же это тебя отец с матерью отпустили в таком виде?

— Нет у меня отца с матерью. Я с братом живу. Да так вот — решила идти, и все.

— Понятно. Он тебя известил, чтобы приезжала в Джефферсон.

Она не отвечает. Ему виден ее спокойный профиль под чепцом. Повозка едет — медленно, бесконечно. Под мерный шаг мулов, под скрип и стук колес тянутся рыжие мили. Солнце высоко над головой; тень чепца лежит на ее коленях. Она смотрит на солнце.

— Пора, пожалуй, покушать, — говорит она.

Краем глаза он наблюдает, как она разворачивает сыр и печенье, открывает сардины, протягивает ему.

— Мне неохота,— говорит он.

— Милости прошу, покушайте со мной.

— Мне неохота. Ты давай кушай.

Она начинает есть — не спеша, с усердием, медленно и увлеченно слизывая с пальцев вкусное масло. Потом останавливается, не вдруг, но намертво; челюсть перестает жевать, обкусанное печенье в руке, лицо опущено, глаза пусты. словно она при-

слушивается к чему-то очень далекому или совсем близкому — у себя внутри. Кровь отлила от лица, густой здоровый румянец исчез, и она сидит оцепенело, слушая и ощущая неумолимую древнюю землю, но без тревоги и страха. «Двойня, не иначе», — говорит она себе беззвучно, не шевеля губами. Потом схватка утихает. Она опять ест. Повозка не остановилась; время не остановилось. Они въезжают на последний холм и видят дым.

— Джефферсон,— говорит возница.

— Подумать только, — говорит она. — Мы уже почти на месте, да?

На этот раз не слышит мужчина. Он смотрит вперед, через долину, на противоположную возвышенность, где стоит город. Следуя взглядом за его кнутовищем, она видит два столба дыма: один от горящего угля, плотный, над высокой трубой, другой высокий, желтый, над купой деревьев, должно быть на отшибе.

— Дом горит,— говорит он.— Видишь?

Теперь уже она как будто не слушает, не слышит.

— Ну и ну, — говорит она, — всего четыре недели в дороге, а уже Джефферсон. Ну и ну. Носит же человека по свету.

2

Байрон Банч знает вот что. Это было в пятницу утром года три назад. Работавшие в сарае у строгального станка подняли головы и увидели незнакомца, который стоял и смотрел на них. Они не знали, давно ли он там стоит. Похож он был на бродягу — и вместе с тем не похож. Ботинки у него были пыльные, брюки тоже в грязи. Но сшиты из приличной диагонали и отутюжены, а рубашка его, хотя и грязная, была белой рубашкой; на нем был галстук и соломенная шляпа, новая, с твердыми полями, заломленная нагло и зловеще над неподвижным лицом. Он не был похож на рабочего-босяка в босяцком рубище, но бездомностью от него так и веяло, словно не было у него ни города, ни городка родного, ни улицы, ни камня, ни клочка земли. И сознание этого он нес как знамя, с выражением независимым, жестоким, чуть ли не гордым. «Словно, — говорили потом люди, — попал в полосу невезения, и не намерен в ней задерживаться, и плевать хотел на то, каким способом из нее выберется». Он был молод. И Байрон видел, как он стоял и наблюдал за рабочими в пропотевших комбинезонах, — с сигаретой в углу рта, с презрительным и мрачно-неподвижным лицом, чуть стянутым на сторону из-за сигареты. Потом он выплюнул сигарету, не дотронувшись до нее рукой, повернулся и пошел в контору, а люди в выгоревшей перепачканной рабочей одежде смотрели ему в спину с сердитым недоумением.

— Через станок бы его пропустить,— сказал мастер.— Глядишь, сняло бы с него эту мину.

Они не знали, кто он. Никто его раньше не видел.

— Между прочим, довольно опасно появляться с такой миной на людях, — сказал другой. — Ненароком сделает где-нибудь такую мину, а она кому-нибудь может не понравиться.

И они забыли о нем, во всяком случае перестали говорить. Они разошлись по рабочим местам — среди жужжащих, скрипящих шкивов и приводных ремней. Но не прошло и десяти минут, как управляющий привел незнакомца обратно.

— Дайте ему работу,— сказал управляющий мастеру.— Он говорит, что с лопатой, на худой конец, умеет обращаться. На опилки, что ли, поставьте.

Хотя остальные не прервали работы, в сарае не было человека, который не следил бы за чужаком в грязной городской одежде, за его мрачной невыносимой физиономией, исполненной безмолвного холодного презрения. Мастер посмотрел на него мельком с такой же холодностью во взгляде.

— Что же он — так в этом наряде и будет?

— Это его дело, — ответил управляющий. — Я не костюм его нанимаю.

— Да мне все равно, в чем он ходит,— дело хозяйское,— сказал мастер.— Значит, так, любезный. Ступай туда вон, возьми лопату и помоги ребятам опилки откинуть.

Пришелец повернулся, не говоря ни слова. Остальные наблюдали, как он зашел

за кучу опилок, появился оттуда с совковой лопатой и принялся за работу. Управляющий с мастером разговаривали в дверях. Управляющий ушел, мастер вернулся.

— Его зовут Кристмас [1],— сказал он.

— Как зовут? — переспросил один.

— Кристмас.

— Иностранец, что ли?

— А ты слыхал когда, чтобы белого человека звали Кристмасом? — спросил мастер.

— Я вообще не слыхал, чтоб человека так называли, — сказал другой.

И вот тут, насколько помнит Байрон, ему впервые пришло в голову, что имя человека может быть не просто служебным звуком названия, но и каким-то предвестием того, что́ человек совершит — если, конечно, другие сумеют вовремя разгадать его смысл. Ему казалось, что никто из них и не смотрел особенно на пришельца, покуда они не услышали его имя. Но когда услышали, впечатление было такое, словно имя намекает, чего от него ждать, словно он сам нес роковое предупреждение о себе — как цветок несет свой запах, как гремучая змея гремушку. Только ни у кого из них не хватило ума понять намек. Они просто решили, что он иностранец, и весь остаток пятницы, наблюдая за тем, как он работает в своем галстуке, в своей соломенной шляпе и глаженых брюках, рассуждали между собой, что так, должно быть, работают у него на родине; некоторые, правда, сомневались и говорили:

— Он переоденется. Завтра утром он не придет на работу в этом воскресном наряде.

Наступило субботнее утро. Последние, явившиеся к самому гудку, еще на ходу спрашивали:

— Ну что он?.. Где?..

Остальные показывали. Новенький стоял во всем вчерашнем, в той же наглой шляпе, и курил сигарету.

— Когда мы пришли, он был тут, — объясняли первые. — Вот так вот стоял, и все. Словно и спать не ложился.

Он ни с кем не заговаривал. И с ним никто не пытался заговорить. Но все помнили о его присутствии, об уверенной его спине (он работал очень неплохо, с сумрачным и сдержанным усердием) и руках. Наступил полдень. Все, кроме Байрона, пришли сегодня без обеда и начали собирать свои вещи, чтобы уйти уже до понедельника. Байрон один отправился в насосную, где обычно ели, и сел. Вдруг что-то заставило его поднять глаза. Невдалеке, прислонясь к столбу, курил незнакомец. Байрон понял, что он пришел раньше и не потрудился отойти. Или еще того хуже: вошел сюда нарочно, не обращая на Байрона внимания, как на столб.

— Что же, не пошабашил еще? — спросил Байрон.

Тот выпустил дым. Потом посмотрел на Байрона. Лицо у него было худое, ужасающе ровного пергаментного тона. Не кожа — само лицо, насквозь, словно голова была отформована с холодной, страшной правильностью и потом обожжена в раскаленной печи.

— Сколько здесь платят сверхурочных? — спросил он.

И тут Байрон понял. Понял, почему тот работает в выходном костюме, почему вчера и сегодня приходил без обеда, почему не кончил в полдень, как все другие. Понял так же ясно, как если бы тот сам объяснил,— что у него в кармане ни гроша, что вот уже два или три дня он, судя по всему, живет на одних сигаретах. И не успев подумать, уже протягивал свой котелок — движением таким же непроизвольным, как сама мысль. Ибо, прежде чем оно завершилось, тот, не изменив своего ленивого презрительного выражения, повернул голову и взглянул на предложенный котелок сквозь стелющийся дым сигареты.

— Не хочу. Убери свой корм.

Наступило утро понедельника, и догадка Байрона подтвердилась. Тот пришел в новом комбинезоне, с завтраком в пакете. Но в полдень он не ел с остальными, сидя на корточках в насосной, и на лице его было все то же выражение.

---

[1] Рождество *(англ.)*.

— Пускай его, — сказал мастер. — Симс не костюм его нанимал, но и не морду ведь.

«И язык его Симс не нанимал», — подумал Байрон. По крайней мере, так, видимо, полагал Кристмас — и так себя вел. Говорить ему было не с кем и не о чем, даже после полугода работы. Никто не знал, чем он занимается от смены до смены. Случалось, кто-нибудь из товарищей по работе встречал его после ужина на центральной площади, и Кристмас вел себя так, будто видел его впервые. Тут он ходил в новой шляпе и глаженых брюках, с сигаретой в углу рта, и дым сигареты змеился возле его лица. Никто не знал, где он живет, где ночует, и только время от времени кто-нибудь видел его на лесной тропинке у окраины города — как будто он жил в той стороне.

Сейчас Байрон знает не только это. Это он знал тогда — слышал, наблюдал, узнавая постепенно. А тогда никто из них не знал, где живет Кристмас, чем он на самом деле занимается за ширмой, завесой своей черной работы на фабрике. Может быть, никто бы так и не узнал, если бы не еще один новенький, Браун. А когда Браун все рассказал, человек десять сразу же признались, что третий год покупают у Кристмаса виски, встречаясь с ним ночью один на один за старым, колониальных времен плантаторским домом в двух милях от города, где жила в одиночестве старая дева по фамилии Берден. Но и покупавшие виски не знали, что Кристмас живет в негритянской развалюхе на участке мисс Берден, и живет уже больше двух лет.

И вот однажды, с полгода назад, на фабрике появился еще один незнакомец, искавший работы, как некогда Кристмас. Он был тоже молодой, рослый, пришел уже в комбинезоне, который, судя по всему, довольно давно не снимал, и тоже имел вид путешествующего налегке. У него было живое, миловидно-безвольное лицо с белым шрамиком у рта, выглядевшим так, словно на него подолгу любовались в зеркало, и привычка вскидывать голову и косить через плечо — как мул, когда его догоняет машина, думал Байрон. Но это была не просто оглядка, опаска; она еще, казалось Байрону, отдавала самонадеянностью, нахальством, словно он без конца показывал и доказывал, что не боится никакой опасности, которая грозила или могла бы грозить ему сзади. И когда мастер Муни увидел нового работника, Байрон подумал, что им обоим пришла одна и та же мысль.

— Н-да,— сказал Муни,— тут уж Симс надежно ничего не нанял, когда брал этого молодца. Путевой пары штанов и то не нанял.

— Вот-вот, — подхватил Байрон. — Он мне на ум приводит машину — она по улице едет, а в ней радио. И чего там радио в машине лопочет — не понять, и машина-то едет абы куда, а как поближе посмотришь — так она, оказывается, еще и пустая.

— Да,— сказал Муни.— Мне он на ум приводит жеребца. Не норовистого, а, как бы сказать, никчемного. На выгоне он лучше некуда, а только к воротам с уздечкой подходишь — он уже еле на ногах стоит. Бегает вроде резво, а как запрягать — обязательно у него копыто больное.

— Однако кобылам он, видно, нравится, — заметил Байрон.

— Ну да, — отозвался Муни. — Он и кобыле небось не может основательно навредить.

Новый работник приступил к уборке опилок с Кристмасом. С большим шумом приступил, рассказывая всем и каждому, кто он и откуда, самим тоном и манерой изобличая свою суть — такой от них разило лживостью и морокой. Такой, что его рассказам о себе веришь не больше, чем имени, которым он назвался, думал Байрон. Не было никаких оснований сомневаться, что его зовут Джо Браун. Но глядя на него, человек понимал, что в какую-то минуту жизни у такого непременно случается кризис глупости, когда он решает сменить имя и меняет его на Джо Браун, восторгаясь и ликуя так, словно первый его изобрел. Все дело в том, что у него не было никаких оснований вообще обзаводиться именем. Никого оно не интересовало — точно так же, думал Байрон, как никого (по крайней мере, из тех, кто носит брюки) не интересовало, откуда он прибыл, куда он отбудет и надолго ли здесь задержится. Ибо откуда бы он ни прибыл, где бы ни обретался раньше, всякому было ясно, что живет он на подножном корму, как саранча. И занимается этим, казалось, так давно, что

весь раструсился, высыпался, и ничего от него не осталось, кроме прозрачной легковесной оболочки, мотающейся бесцельно и бездумно по воле ветра.

Впрочем, он и работал — на свой манер. Его не хватало даже на то, думал Байрон, чтобы как следует, по-хитрому отлынивать. Желать этого хотя бы — потому что искусство увиливать от дела дается лишь человеку недюжинному, как искусство в любом деле, даже в воровстве или убийстве. Нужно стремиться к определенной и ясной цели, добиваться ее. А он видел, что у Брауна этого нет. Они узнали про то, как в первый же субботний вечер Браун просадил в кости весь свой недельный заработок. Байрон сказал Муни:

— Я удивляюсь. Я думал, он хоть кости умеет кидать как следует.

— Он-то? — сказал Муни. — С чего ты взял, будто он на какую-нибудь шкоду способен, если он не способен даже опилки кидать? Будто он может кого-нибудь обмануть в такой хитрой штуке, как кости, если с такой простой, как лопата, не может. — Потом он добавил: — Только, думаю, нет такого жалкого человека, чтобы не мог перещеголять другого хоть в одном каком-нибудь деле. Потому что этот Кристмаса перещеголяет, по крайней мере, в безделье.

— Ну да,— сказал Байрон.— Я думаю, быть хорошим — самое легкое для лентяя.

— Ну, думаю, он бы живо испортился,— возразил Муни,— если бы кто его научил.

— Ну, учителя он себе найдет — не нынче, так завтра,— сказал Байрон.

Оба повернулись и посмотрели на кучу опилок, где трудились Браун и Кристмас, один — с угрюмым, злым усердием, другой с холостой и суматошливой ретивостью, которая не могла бы обмануть даже самое себя.

— Да, пожалуй, что так, — согласился Муни. — Только если бы я дурное замышлял — упаси меня бог от такого напарничка.

Как и Кристмас, Браун явился на работу в чем был. Но в отличие от Кристмаса он не сразу сменил одежду.

— Как-нибудь в субботу выиграет в кости столько, сколько нужно на новый костюм, и чтобы в кармане бренчало полдоллара мелочью, — сказал Муни, — и в понедельник мы его не увидим.

Браун, однако, по-прежнему ходил на работу — в том же комбинезоне и в той же рубахе, в которых явился и Джефферсон,— так же проигрывал в кости недельный заработок по субботам, а может, выигрывал понемногу, приветствуя и то и другое одинаково бессмысленным гоготом, балагурил и зубоскалил с теми же людьми, которые, по всей видимости, регулярно его обирали. Как-то раз прошел слух, что он выиграл шестьдесят долларов.

— Ну, можете с ним попрощаться,— сказал кто-то.

— Не знаю, — сказал Муни. — Шестьдесят долларов — не та цифра. Вот если бы десять долларов или, наоборот, пятьсот, тогда, я думаю, ты был бы прав. А шестьдесят — нет. Теперь он как раз и решит, что хорошо здесь устроился, если цапнул столько, сколько за неделю получает.

И в понедельник он действительно вышел на работу, в комбинезоне; их обоих, Брауна и Кристмаса, увидели возле кучи опилок. За парой наблюдали с того дня, как появился Браун. Кристмас всаживал лопату в опилки неторопливо и размеренно, с силой, словно крошил зарытую змею («Или человека», — сказал Муни), а Браун, бывало, стоит, опершись на лопату, и, наверно, рассказывает ему какую-то историю, анекдот. Потому что немного погодя он разражается смехом, гогочет, закинув голову, а другой продолжает работать все с тем же молчаливым, неубывающим остервенением. Затем Браун тоже берется за дело и опять какое-то время работает не медленнее Кристмаса, но лопата его, летая по убывающей дуге, захватывает все меньше, меньше и наконец уже совсем не задевает опилок. Тогда он снова опирается на нее и, видимо, досказывает историю — досказывает человеку, который, кажется, и голоса его не слышит. Словно этот в миле от него или говорит на непонятном языке, думал Байрон. Случалось, субботним вечером их видели в городе вместе: опрятного Кристмаса в неизменной и строгой диагонали с белой рубашкой, в соломенной шляпе, и Брауна в новом костюме (бежевом в красную клетку, под ним цветная рубашка, на голове

соломенная шляпа, как у Кристмаса, но с цветной лентой), и Браун болтает, гогочет, и голос его разносится по всей площади и возвращается обратно эхом, вроде того как бессмысленный звучок в церкви, кажется, идет отовсюду одновременно. Словно хочет всем показать, какие они с Кристмасом дружки, думал Байрон. А потом Кристмас поворачивался, и как бы ни было мало скопление народу, привлеченного пустым звоном Браунова голоса, бесстрастно и хмуро выходил вон, а Браун шел за ним следом, продолжая болтать и гоготать. И каждый раз остальные рабочие говорили: «Ну, в понедельник он на работу не вернется». Но каждый понедельник он возвращался. Первым бросил Кристмас.

Он бросил работу в субботу вечером, без предупреждения, после трех без малого лет. И сообщил им об уходе Кристмаса не кто иной, как Браун. Среди рабочих были люди разного возраста, были семейные, были холостяки, образ жизни они вели самый пестрый, но в понедельник утром все выходили на работу степенно, почти торжественно. Были среди них молодые, и по субботам они пили, играли на деньги, случалось, ездили в Мемфис. Но в понедельник утром они выходили на работу серьезные и тихие, в чистых комбинезонах и чистых рубашках, тихо дожидались гудка и затем тихо приступали к работе, словно что-то сохранялось еще в атмосфере от воскресенья, утверждавшее как догмат, что человеку, как бы он этот праздник ни провел, надлежит и подобает являться в понедельник на работу чистым и тихим.

Вот что они всегда отмечали в Брауне. В понедельник он, как правило, выходил в той же грязной одежде, что и на прошлой неделе, и в черной щетине, не тронутой бритвой. И бывал он еще более шумным, чем всегда, кричал и выкидывал штуки впору десятилетнему. Их, серьезных, это коробило. Для них это было все равно, как если бы он явился голым или пьяным. Поэтому и получилось, что именно он оповестил их в понедельник об уходе Кристмаса. Он опоздал, но не в этом дело. Он был небрит, но дело и не в этом. Он был тихий. Они не сразу и заметили, что он здесь — он, которого в другое время половина из них уже ругала бы последними словами, и кое-кто от души. Он появился с гудком, пошел прямо к куче опилок и принялся за работу, не сказав никому ни слова, хотя кто-то с ним даже заговорил. Тут-то они и увидели, что он один, что его напарника Кристмаса нет. Когда подошел мастер, кто-то сказал:

— Ну, я вижу, одним заместителем истопника у тебя стало меньше.

Муни посмотрел туда, где Браун разгребал опилки так, словно это были яйца. Он плюнул.

— Да. Чересчур быстро разбогател. Не прельстишь его такой работенкой.

— Разбогател? — переспросил другой.

— Кто-то из них — да,— сказал Муни, все еще наблюдая за Брауном.— Вчера я их видел в новой машине. Он,— Муни кивнул на Брауна,— сидел за рулем. Этому я не удивляюсь. Я удивляюсь, что и один-то вышел сегодня на работу.

— Ну, по нынешним временам, — сказал тот, — Симсу нетрудно будет найти ему замену.

— Это нетрудно было бы в любое время, — сказал Муни.

— Да он словно бы неплохо управлялся.

— А-а,— сказал Муни.— Понял. Ты про Кристмаса говоришь.

— А ты про кого? Браун тоже сказал, что уходит?

— Ты думал, он тут копать будет, пока другой катается по городу на новой машине?

— А-а. — Тот тоже посмотрел на Брауна. — Хотел бы я знать, где это они раздобыли машину.

— А я нет, — сказал Муни. — Он в обед уйдет или до шести дотерпит — вот что я хотел бы знать.

— А что? — сказал Байрон. — Если бы я тут накопил на новую машину, я бы тоже уволился.

Несколько человек посмотрели на Байрона. Они слегка улыбнулись.

— Накопили-то они не тут, — сказал один.

Байрон посмотрел на него.

— Байрон чересчур уж, видно, дурного сторонится, потому и от жизни отстает, — сказал другой. Они посмотрели на Байрона. — Браун, можно сказать, слуга народа.

Кристмас заставлял их ночью тащиться в лес, за усадьбу мисс Берден, а Браун им сам теперь таскает, прямо в город. Говорят, если знаешь пароль, то в субботу вечером в переулке можешь получить бутылку прямо у него из-за пазухи.

— А пароль какой? — сказал еще кто-то. — Доллар без четверти?

Байрон смотрел то на одного, то на другого.

— Правда? Этим они занимаются?

— Браун этим занимается. Кристмас — не знаю. За него не поручусь. Только Браун от Кристмаса далеко не отстанет. Как говорится, свой своего ищет.

— Верно,— сказал другой.— Занимается этим Кристмас или нет, нам, я думаю, не узнать. Он, как Браун, штаны спустивши, при народе гулять не будет.

— А ему и незачем, — сказал Муни, глядя на Брауна.

И Муни был прав. До полудня они наблюдали за Брауном, пребывавшим в одиночестве у опилок. Потом раздался гудок, они взяли свои котелки, уселись на корточки в насосном сарае и стали есть. Вошел Браун с хмурым лицом, насупленный и надутый, как ребенок, и сел с ними на корточки, свесив руки между колен. Сегодня обеда у него не было.

— А ты чего, есть не будешь? — спросил кто-то.

— Холодные помои из сального ведерка? — сказал Браун. — С утра до вечера ишачить, как паршивому негру, и перерыва час — чтобы жрать помои из жестяного ведерка.

— Ну, может, кто и работает, как негры работают у него на родине, — сказал Муни. — Только негр бы тут полдня не продержался, если бы работал, как иные белые.

Но Браун будто не слышал, не слушал, хмуро сидя на корточках и свесив руки. Он, казалось, никого не слушает, кроме себя — себя слушает.

— Дурак. Только дурак на это пойдет.

— Тебя к лопате не привязывали,— сказал Муни.

— Правильно, черт бы ее побрал,— ответил Браун.

Раздался гудок. Рабочие разошлись по местам. Они наблюдали, как Браун трудится у опилок. Побросав немного, он начинал медлить, двигался все медленнее и медленнее, пока совсем не замирал, ухватив лопату, как хлыст, и тогда они видели, что он разговаривает сам с собой.

— Ну да, ему там больше не с кем про это потолковать, — заметил кто-то.

— Не в этом дело, — откликнулся Муни. — Он еще не совсем себя уломал. Не совсем уговорил себя.

— В чем?

— В том, что он еще дурее, чем я думал, — пояснил Муни.

На другое утро Браун не вышел.

— Теперь его адрес будет парикмахерская, — сказал один.

— Или проулок за парикмахерской, — сказал другой.

— Я думаю, мы еще разок его увидим, — сказал Муни. — Он придет получить за вчерашний день.

И точно. Часов в одиннадцать он явился. На нем был новый костюм и соломенная шляпа, и, остановившись у сарая, он стоял и смотрел на рабочих, как Кристмас три года назад,— словно сами былые позы учителя нечаянно воспроизводились послушными мышцами ученика, не в меру переимчивого и памятливого. Но там, где от учителя веяло угрюмым покоем и гибелью, как от змеи, у Брауна получалась только расхлябанность и пустое чванство.

— Навались, рабочая скотинка! — сказал он веселым, громким, зубастым голосом.

Муни посмотрел на Брауна. Тут зубы Брауна попрятались.

— Ты, случаем, не меня так назвал? А? — спросил Муни.

С подвижным лицом Брауна произошла одна из тех мгновенных перемен, к которым все давно привыкли. Словно оно было такое расхлябанное, на живую нитку сметанное, что даже Брауну ничего не стоило его изменить, думал Байрон.

— Я не с тобой говорю, — сказал Браун.

— А-а, понял. — Голос у Муни был мирный, ласковый. — Это ты остальных назвал скотиной

Тут же вмешался еще один:

— Так ты это про меня?

— Я сам с собой разговаривал, — сказал Браун.

— Ну вот, раз в жизни ты сказал святую правду,— согласился Муни.— То есть половину. Хочешь, подойду и шепну тебе на ушко другую половину?

Больше на фабрике его не видели, но Байрон знает (и вспоминает теперь), как колесил по городу — бесцельно праздно, непрестанно — новый автомобиль (с помятыми уже крыльями) и Браун, развалясь за баранкой, без особого успеха пытался вызвать зависть своим бесшабашным и праздным видом. Иногда с ним сидел Кристмас, но нечасто. И теперь уже не секрет, чем они занимались. Среди молодых людей и подростков стало притчей во языцех, что виски у Брауна можно купить с ходу, и город просто ждет, когда он попадется — когда он вытащит из-под полы дождевика бутылку и станет продавать агенту в штатском. До сих пор не известно наверняка, связан ли с этим Кристмас, но никто не поверит, будто у самого Брауна хватит ума нажиться даже на бутлеггерстве, и вдобавок кое-кому известно, что Браун живет вместе с Кристмасом в хибарке на участке Берденов. Но этим не известно, знает ли о своих жильцах мисс Берден, а если бы и было известно, ей бы все равно не сказали. Она живет одна в большом доме—женщина средних лет. Живет там с рождения, но все еще пришлая, чужая: ее родители приехали с Севера в Реконструкцию[2]. Северянка, негритянская доброхотка — до сих пор по городу ходят слухи о ее странных отношениях с неграми, городскими и иногородними, хотя прошло уже шестьдесят лет с тех пор, как ее дед и брат убиты на площади бывшим рабовладельцем в споре об участии негров в штатных выборах. Но и поныне что-то тяготеет над ней и именем — что-то темное, нездешнее, грозное, хотя она всего только женщина, всего только отпрыск тех, кого предки города не без оснований (так они считали, по крайней мере) страшились и ненавидели. Но тут оно: отпрыски тех и других в их связях с вражьими тенями и рубежом меж них — видение давно пролитой крови, ужас, гнев, боязнь.

Если и была в его жизни любовь, то всякий скажет, что Байрон Банч про нее забыл. А скорее она (любовь) забыла про него — про этого малорослого человека, которому уже не вернуть своих тридцати, который в течение семи лет по шесть дней в неделю проводит на деревообделочной фабрике, подавая доски на станок. Вторую половину субботы он тоже проводит там, один, в то время как остальные, надев выходные костюмы и галстуки, предаются в центре города пустому, тяжкому, зудящему досугу рабочего люда.

Вторую половину субботы, поскольку одному работать на станке нельзя, он грузит готовые доски в товарные вагоны и сам ведет счет времени — до последней секунды, до воображаемого гудка. Остальные рабочие, весь город — вернее, те, кто помнит или думает о нем,— считают, что он делает это ради сверхурочных. Возможно, причина эта. Человек так мало знает о своих ближних. В его глазах все мужчины — или женщины — действуют из побуждений, которые двигали бы им самим, будь он настолько безумен, чтобы поступать, как другой мужчина — или женщина. По сути, только один человек в городе мог бы более или менее уверенно говорить о Банче, но городу о его сношениях с Банчем неизвестно, ибо они встречаются и беседуют только по ночам. Фамилия этого человека Хайтауэр. Двадцать пять лет назад он был священником одной из главных церквей, если не самой главной. Он один знает, куда отправляется Банч каждый субботний вечер, когда прогудит воображаемый гудок (или когда громадные серебряные часы Банча покажут, что он прогудел). Миссис Бирд, в чьем пансиончике живет Банч, знает только, что каждую субботу в начале седьмого Банч приходит с работы, моется, надевает дешевый и ношеный диагоналевый костюм, ужинает, седлает мула, которого держит за домом в сарае, собственноручно отремонтированном и перекрытом, и верхом на муле отбывает. Куда он ездит,

---

[2] Реконструкция Юга — период 1865—1877 годов после Гражданской войны, когда происходила внутренняя перестройка Штатов бывшей Конфедерации и их превращение в полноправные члены Союза.

она не знает. Знает один священник Хайтауэр — что он уезжает за тридцать миль от города и проводит воскресенье, руководя хором в сельской церкви — служба длится весь день. Потом, около полуночи, он седлает мула и едет обратно в Джефферсон ровной, на всю ночь заведенной трусцой. А в понедельник утром, когда загудит гудок, он уже на месте у станка — в чистой рубашке и комбинезоне. Миссис Бирд знает только, что каждую неделю с субботнего ужина до завтрака в понедельник его комната и стойло мула пустуют. Одному Хайтауэру известно, куда он ездит и что там делает, потому что два-три раза в неделю поздним вечером Банч навещает Хайтауэра в его домишке, где бывший священник живет один и, как горожане говорят, в позоре,— в домишке некрашеном, тесном, уединенном, темном, пропахшем мужской затхлостью. Тут в кабинете священника они и сидят, беседуя тихо: щуплый, неприметный человек, который даже не подозревает, что он загадка для своих товарищей по работе, и пятидесятилетний изгой, отвергнутый своей церковью.

И вот Байрон влюбляется. Влюбляется вопреки всем заповедям своего ревнивого и строго деревенского воспитания, требующего, чтобы предмет любви был физически непочат. Это происходит в субботу за полдень, когда он один на фабрике. В двух милях все еще горит дом, и желтый дым стоит над горизонтом прямо, как памятник. Они увидели, как он взметнулся над деревьями, еще до полуденного гудка, до того, как разошлись.

— Ну, сегодня-то Байрон уйдет,— говорили они.— Бесплатно-то пожар посмотреть.

— Пожар большой,— сказал один.— Что бы это могло гореть? Вроде и не припомню там ничего такого большого, чтобы столько дыму давало, кроме дома Берденов.

— Может, это он и есть,— сказал другой.— Отец мой все вспоминает, как у нас тут говорили лет пятьдесят назад: спалить его надо, да с человечьим жирком заодно, чтоб занялся побойчее.

— Уж не папаша ли твой пробрался туда с огоньком? — сказал третий.

Все засмеялись. Потом снова принялись за работу, дожидаясь гудка, то и дело отрываясь, чтобы посмотреть на дым. Немного погодя подъехал грузовик с бревнами. Они спросили у шофера, который ехал через город.

— Берден,— сказал шофер.— Ну да. Она горит. В городе говорили, что и шериф туда отправился.

— Небось и Уатту Кеннеди охота поглядеть на пожар, даром что бляху нацеплять приходится.

— А если он кого-то разыскивает, чтобы арестовать,— сказал шофер,— то вид у площади такой, что он, похоже, правильно выбрал место.

Раздался полуденный гудок. Все разошлись. Байрон положил перед собой серебряные часы и сел обедать. Когда они показали час, он приступил к работе. Постелив для мягкости на плечо дерюжку и взвалив на нее стопу клепок, которую, казалось бы, ему ни за что не поднять и не унести, размеренно и неутомимо совершал он свои рейсы от склада к вагону; он был один на складе, когда в дверь за его спиной вошла Лина Гроув, безмятежно улыбаясь в ожидании встречи, губы уже сложив, чтобы произнести имя. Услышав ее, он оборачивается и видит, что улыбка ее гаснет, как волнение в роднике, куда уронили камешек.

— Вы не он,— говорит она с серьезным детским изумлением за гаснущей улыбкой.

— Да,— говорит Байрон. Он умолкает, полуобернувшись, с грузом на плече.— Похоже, что не он. А он кто?

— Лукас Берч. Мне сказали...

— Лукас Берч?

— Мне сказали, что я его тут найду.— В голосе ее какая-то безмятежная недоверчивость, и она смотрит на него не мигая, словно думает, что он пытается ее провести.— Когда я к городу поближе подошла, его все Банчем стали звать, а не Берчем. Я думала, они говорят неправильно. Или я расслышала неправильно.

— Нет,— отвечает он.— Так оно и есть: Банч. Байрон Банч.— Продолжая дер-

жать на плече клепки, он смотрит на нее — на тяжелое тело, на раздавшиеся бедра, на тяжелые мужские башмаки, покрытые рыжей пылью.— А вы миссис Берч?

Она отвечает не сразу. Она стоит в дверном проеме и смотрит на него пристально, но без тревоги — все тем же безмятежным, слегка растерянным, слегка недоверчивым взглядом. Глаза у нее совсем голубые. Но тенью в них — мысль, что он пытается ее обмануть.

— Мне по дороге говорили, что Лукас работает на строгальной фабрике в Джефферсоне. Много людей говорило. А как в Джефферсон приехала, мне сказали, где эта фабрика, и я спрашиваю про Лукаса Берча, а мне говорят: «Может, тебе Банча?» Ну, я и подумала, что они просто имя перепутали, а это он и есть. Хотя они сказали, что этот, про кого они говорят, лицом не смуглый. Неужто и вы скажете, что не знаете тут Лукаса Берча?

Байрон опускает свою ношу аккуратной стопой, чтобы поднять потом все разом.

— Не знаю. Лукаса Берча у нас нету. Я всех знаю, кто тут работает. Может быть, он в городе где работает. Или на другой фабрике.

— А есть тут другая строгальная фабрика?

— Нету. Лесопилки, правда, есть — их тут порядком.

Она наблюдает за ним.

— По дороге мне говорили, что он на строгальной фабрике работает.

— Я тут такого не знаю,— говорит Байрон.— И припомнить не могу никакого другого Берча, кроме меня, а меня зовут Банчем.

Она продолжает смотреть на него прежним взглядом, в котором не столько беспокойства за будущее, сколько недоверия к настоящему. Потом она вздыхает. Это даже не вздох, а глубокий спокойный вдох.

— Так,— говорит она. Обернувшись, она окидывает взглядом распиленные доски, штабеля брусьев.— Присяду-ка я, пожалуй. А то уж больно устаешь — по твердым мостовым ходить. Кажется, пока дошла сюда из города, больше устала, чем за всю дорогу из Алабамы.— Она направляется к низкому штабелю реек.

— Подождите,— говорит Байрон. Бросившись к ней, он сдергивает с плеча дерюжку. Женщина, уже подогнув колени, замирает, и Байрон стелит дерюжку на рейки.— Мягче будет.

— Спасибо вам большое.— Она садится.

— Так-то оно помягче,— говорит Байрон. Он вынимает из кармана серебряные часы, смотрит на них, потом садится на другой край штабеля.— Пять минут, пожалуй, будет в самый раз.

— Отдыхать пять минут? — спрашивает она.

— Пять минут как вы пришли. Я вроде уже с тех пор отдыхаю. По субботним вечерам я сам себе замечаю время,— объясняет он.

— И каждый раз как присесть на минутку, тоже замечаете? Откуда они узнают, что вы присаживались? Минутой больше, минутой меньше — велика ли разница?

— Я так думаю, за сидение мне не платят,—говорит он.— Значит, вы из Алабамы.

Она рассказывает ему — теперь его очередь,— грузно сидя на дерюжке, со спокойным, ясным лицом, за которым он так же спокойно наблюдает, рассказывает больше, чем ей кажется, как рассказывала уже многим незнакомым людям, среди которых четыре недели совершается ее путь с мирной неторопливостью смены времен года. И Байрон, в свою очередь, рисует себе историю молодой женщины, обманутой, брошенной и не сознающей, что она брошена, так и не успевшей сменить свою фамилию на Берч.

— Нет, видно, я его не знаю,— говорит он наконец.— Да и нет тут сейчас никого, кроме меня. Все остальные там, наверное, на пожаре.— Он показывает на желтый столб дыма, стоящий в безветрии высоко над деревьями

— Мы его видели, когда к городу подъезжали,— говорит она.— Пожар-то уж очень большой

— Да и дом-то большой. Он старинный. Там дама одна живет, больше никого. Думаю, кое-кто в городе будет говорить, что это бог ее наказал, даже теперь будут. Она северянка. Ее родня приехала сюда в Реконструкцию — негров баламутить. Дво-

их за это и убили. Говорят, она и сейчас возжается с неграми Навещает их, когда заболеют, все равно как белых. Кухарку не держит — не хочет, чтобы негры другим прислуживали. Говорят, у ней такое мнение, будто негр белому ровня. Поэтому никто к ней и не ходит. Кроме одного.

Она наблюдает за ним, слушает. Сейчас он на нее не смотрит, избегает ее взгляда.

— Или, может, двоих — так я слышал. Хоть бы они туда поспели, помогли ей мебель вынести. Может, поспели.

— Кто поспел?

— Да тут два парня, два Джо, они где-то в той стороне живут. Джо Кристмас и Джо Браун.

— Джо Кристмас? Чудно́е имя.

— Он и сам чудной.— И снова он избегает ее заинтересованного взгляда.— Товарищ его тоже фрукт. Браун. Тоже тут работал. Но уволились, оба. Потеря, однако, скажу, небольшая.

Сидя на дерюжке, женщина слушает спокойно, с интересом. Можно подумать, что это выходной день и пара, одетая в выходное, сидит на плетеных стульях перед деревенским домом, на гладкой, патиной подернутой земле.

— И товарища его зовут Джо?

— Да. Джо Браун. Но, может быть, это его настоящее имя. Потому что как подумаешь о человеке по имени Джо Браун, сразу представляешь такого пустомелю, который вечно смеется и громко разговаривает. Так что, я думаю, имя настоящее, хотя Джо Браун — как-то чересчур уж скоро да просто для настоящего имени. Но думаю, тут оно как раз настоящее. Потому что если бы ему выработку с болтовни считали, он давно бы был хозяином этой фабрики. Хотя людям он как будто бы нравится. По крайней мере, с Кристмасом ладит.

Она наблюдает за ним. Лицо ее по-прежнему ясно, но теперь очень серьезно — взгляд очень серьезен и очень внимателен.

— А чем они с ним занимаются?

— Да ничем таким, думаю, чего бы им не полагалось. По крайней мере, за руку их еще не поймали. Браун здесь вроде как работал — в свободное время, когда не смеялся и шутки над людьми не шутил. А Кристмас уволился. Они где-то там живут, там вон, где дом горит. Слышал я, чем они занимаются для заработка. Но это, во-первых, не мое дело. А во-вторых, люди друг про друга все больше неправду говорят — вот что главное. И надо думать, я других не лучше.

Она наблюдает за ним. Она даже не мигает.

— Так он говорит, что его зовут Брауном.— Может быть, это и вопрос, но ответа она не дожидается.— А чем, вы слышали, они занимаются?

— Возводить напраслину на людей не хотел бы. Зря я, видно, так разговорился. Вот уж правда, смотрю,— стоит человеку бросить работу, тут же нечистый его попутает.

— Что вы слышали? — спрашивает она.

Она не пошевелилась. Голос ее спокоен, но Байрон уже влюбился, хотя еще не знает этого. Он не смотрит на нее, чувствуя ее серьезный пристальный взгляд на своем лице, на губах.

— Толкуют здесь, будто они виски продают. Прячут его вон там, где дом горит. Говорят еще, как-то в субботу вечером Браун был в городе пьяный и чуть не сболтнул, про что болтать не следовало: как они с Кристмасом чего-то там ночью в Мемфисе или на темной дороге возле Мемфиса, и чего-то там с пистолетом... Не то с двумя пистолетами. Но тут же Кристмас вмешался, заткнул ему рот и увел. Словом, что-то там было такое, про что Кристмас не хотел трезвонить, да и у Брауна хватило бы ума не растрезвонить, если бы не напился. Так я слышал. Сам я при этом не был.

Подняв голову, он вдруг сознает, что опустил глаза раньше, чем встретился с ней взглядом. Он словно предугадывает уже что-то безвозвратное, непоправимое — он, веривший, что здесь, на фабрике, в субботу после отбоя, когда он один, случая причинить другому зло или вред у него не будет.

— А каков он из себя? — спрашивает она.

— Кристмас-то? Ну...

— Я не про Кристмаса.

— А-а, Браун. Ну да. Высокий, молодой. Смуглый. Женщинам он кажется интересным — по слухам, многим. Большой охотник посмеяться, подурачиться, над людьми подшутить. Но мне...— Голос его пресекся. Он не в силах поднять глаза, выдержать ее упорный трезвый взгляд.

— Джо Браун,— говорит она.— А нет у него такого белого шрамика вот тут, возле рта?

Он не в силах поднять глаза; он сидит на штабеле реек, но сделанного не воротишь, и он готов язык себе откусить.

3

Из окна кабинета ему видна улица. Она близко, потому что лужайка неширокая. Это маленькая лужайка, на ней пяток низкорослых кленов. Дом — некрашеный бурый скромный коттедж — тоже мал и закрыт разросшимися миртами, алтеем и садовым жасмином, если не считать просвета, через который окно смотрит на улицу. Закрыт настолько, что свет уличного фонаря на углу едва пробивается сюда.

Из окна ему видна и вывеска, которую он называет своим памятником. Она стоит в углу двора, невысокая, обращенная к улице. Продолговатая, полметра на метр, доска лицом повернута к прохожим, оборотной стороной к нему. Но ему и незачем ее читать, потому что он сам аккуратно сделал ее при помощи молотка и пилы, сам аккуратно и тщательно вывел на ней надпись, когда понял, что ему понадобятся деньги на хлеб, на дрова и одежду. Когда он бросил семинарию, у него был небольшой доход с отцовского капитала, но, получив церковь, он свои квартальные чеки сразу же стал переводить на исправительную колонию для девочек в Мемфисе. Потом у него отняли церковь, отняли Церковь, и самым горьким в жизни — горше утраты, горше бесчестья — было для него письмо, в котором он сообщал колонии, что отныне сможет посылать лишь половину прежней суммы.

Он продолжал переводить им половину доходов, которых и целиком едва хватало бы ему на жизнь. «К счастью, я кое-что умею»,— говаривал он в то время. Отсюда — вывеска, которую он сам аккуратно сколотил и сам написал, остроумно замешав в краску битое стекло, чтобы ночью под уличным фонарем буквы по-рождественски искрились:

ПРЕП. ГЕЙЛ ХАЙТАУЭР, Д. Б.[3]
Уроки рисования
Изготовление рождественских и поздравительных открыток
Проявление фотографий

Но минуло уже много лет, и учеников у него не было, а рождественских открыток и фотопластинок было мало, краска и дробленое стекло осыпались с полинявших букв. Их еще можно было прочесть, хотя, как и сам Хайтауэр, большинство горожан в этом не нуждалось. Лишь изредка нянька-негритянка со своими белыми питомцами останавливалась перед вывеской и читала вслух, праздно и тупо, как водится у этой досужей малограмотной публики, да приезжий, случайно попав на тихую, глухую, немощеную улочку, задерживался, чтобы прочесть надпись, и, взглянув на маленький, бурый, почти закрытый зеленью дом, шел дальше; случалось, приезжий поминал вывеску в беседе с каким-нибудь знакомым из местных. «А-а, да,— говорил тот.— Хайтауэр. Он там один живет. Приехал сюда священником пресвитерианской церкви, но жена ему подгадила. Повадилась тайком в Мемфис ездить, развлекалась там. Это было лет двадцать пять назад, когда они только приехали. Некоторые говорили, что он это знал. Якобы удовлетворить ее не мог или не хотел, и знал, чем она занимается. И вот в субботу ночью в Мемфисе ее убили — не то в публичном доме, не то еще где-то. В газетах шум. Пришлось ему уйти из церкви, а из Джефферсона уехать он почему-то не захотел. Пробовали его заставить — для его же блага, ну и ради города, ради церкви. Церкви-то, понимаешь, это совсем ни к чему. Приезжают люди, слышат

[3] Д. Б.—доктор богословия.

про такие дела, и вдобавок он из города выселяться не хочет. А он ни в какую. И живет там — когда-то это была центральная улица — с тех самых пор один. Теперь она хотя бы не главная. И то слава богу. Правда, теперь уж он никому не мешает, и, думаю, почти все про него забыли. Сам по дому хозяйничает. Вряд ли кто зашел к нему в дом за двадцать пять лет. Не знаем, зачем он здесь остался. В сумерки или вечером, если идешь мимо, обязательно видишь: у окна сидит. Сидит, и все. А так его и не видать почти — разве, случится, когда в саду работает».

Так что вывеска, которую он сколотил и написал, значит для него еще меньше, чем для города; он уже не воспринимает ее как вывеску, как весть. Он и не вспоминает о ней, пока в сумерки не займет свое место у окна в кабинете. А тогда это просто привычный продолговатый предмет невысоко над уличной стороной лужайки; ничего не значащий, может быть — такое же порождение трагической неизбывной земли, как низкий кустарник и раскидистые клены, выросшие без его помощи или противодействия. Он уже и не смотрит на нее — так же, как не замечает, в сущности, деревьев, из-за которых наблюдает за улицей, дожидаясь ночи, мгновения, когда она наступит. В доме, в кабинете за его спиной — тьма, и он ждет секунды, когда последний свет погасает в небе, и опускается ночь, и только слабым светом упорно дышит напоенная днем былинка и лист, задерживая на земле тихий свет, хотя ночь уже наступила. *Теперь скоро,* думает он, *скоро.* И даже про себя не говорит: «Еще осталось что-то от гордости и чести, от жизни».

Семь лет назад, когда Байрон Банч приехал в Джефферсон и впервые увидел маленькую вывеску *Гейл Хайтауэр, Д. Б. Уроки рисования. Рождественские открытки. Проявление фотографий,* он подумал: «Д. Б. Что такое Д. Б.?» — и спросил об этом, и ему сказали: Дрянной Безбожник. Гейл Хайтауэр, Дрянной Безбожник, по крайней мере для Джефферсона, сказали ему. И как Хайтауэр приехал в Джефферсон прямо из семинарии, отказавшись от других приходов, как он пустил в ход все связи, чтобы его направили в Джефферсон. И как он прибыл с молодой женой и вышел из вагона уже в возбужденном состоянии, объясняя, рассказывая старикам и старухам — столпам церкви, что он выбрал Джефферсон с самого начала, когда еще только решил стать священником; рассказывая с каким-то ликованием о том, как писал письма, как надоедал людям, как пускал в ход все связи, чтобы его послали сюда. Местным слышалось в этом ликование барышника после выгодной сделки. То же, наверное, слышалось и старейшинам. Потому что они внимали ему холодно, изумленно, с недоверием — казалось, город как место жительства был нужен ему, а не церковь, не составляющие церковь люди, перед которыми ему предстояло служить. Словно ему безразличны были люди, живые люди, и хотят они его тут или нет. А к тому же он был еще молод, и старшие пытались охладить его радость и возбуждение разговором о серьезных церковных делах, об обязанностях их церкви и его собственных. Байрону рассказывали, что и спустя полгода молодой священник все еще был возбужден и все толковал о Гражданской войне, и убитом деде-кавалеристе, и о горевших в Джефферсоне складах генерала Гранта, покуда не получалась полная каша. Байрону рассказывали, что так же он говорил и с кафедры, так же на кафедре заходился, превращая религию в непонятный сон. Не кошмар, но что-то развертывающееся быстрее, чем слова в писании,— смерч какой-то, совсем оторвавшийся от земли. И старикам, старухам это тоже не нравилось.

Будто и на кафедре он не мог отделить религию от скачущей конницы и покойного деда, застреленного на скаку. И в личной жизни, у себя дома, тоже, наверное, не мог отделить. Наверное, даже не пытался, думал Байрон, размышляя о том, что мужчине свойственно вытворять такое с женщиной, которая ему принадлежит, что поэтому-то женщинам, и приходится быть сильными, и нельзя их винить за то, что́ они творят с мужчинами, из-за них и ради них, ибо, видит бог, до чего это мудреное дело — быть женой. Ему рассказывали, что жена священника была маленькая, тихая с виду девушка и городу сначала показалась бессловесной. Но в городе говорили, что, будь Хайтауэр самостоятельным человеком — человеком, каким следует быть священнику, а не таким, который родился на тридцать лет позже того единственного дня, которым он словно бы и жил всю жизнь,— дня, когда его деда застрелили на ска-

ку,— с ней бы тоже ничего не случилось. Но он таким не был, и соседи часто слышали, как она плачет днем или поздно вечером в приходском доме, и соседи понимали, что он не знает, как помочь беде, потому что не знает, в чем беда. И как, бывало, она не являлась в церковь, где служил ее собственный муж,— даже в воскресенье,— и люди глядели на него и недоумевали, замечает ли он хотя бы, что ее тут нет, помнит ли хотя бы, что у него вообще есть жена, когда стоит на кафедре, размахивая руками, и догма, которую он должен проповедать, вся перемешана со скачущей конницей, доблестью и поражением — точно так же, как на улице, когда он начинал толковать им про скачущую кавалерию, она мешалась с отпущением грехов и чином боевых серафимов,— и, разумеется, старики и старухи решили в конце концов, что эти речи, произносимые в доме божьем, в божий день, граничат с самым настоящим святотатством.

И Байрону рассказывали, что после года жизни в Джефферсоне липо у жены сделалось застывшим, и когда прихожанки посещали их дом, Хайтауэр встречал их один, суетясь, без пиджака, в рубашке без воротничка, и в первую минуту казалось, что он вообще не соображает, зачем они пришли и чего от него хотят. Затем он приглашал их войти и, извинившись, исчезал. Ни звука не слышалось в доме, покуда они сидели там в своих воскресных платьях, разглядывая друг друга и комнату, прислушиваясь и не слыша ни звука. А потом он возвращался одетый, в воротничке, садился и говорил с ними о церкви и о больных, и они отвечали ему спокойно и оживленно, по-прежнему прислушиваясь и, может быть, поглядывая на дверь, может быть, гадая, известно ли ему то, что они уже считали известным.

Дамы перестали к нему ходить. Вскоре они перестали встречать его жену на улице. А он вел себя так, будто ничего не происходит. А потом она стала отлучаться на день или на два; люди видели, как она садится на утренний поезд, и лицо ее постепенно худело и заострялось, будто она никогда не ела досыта, и делалось застывшим, будто она не видит того, на что смотрит. А он все говорил, что она ездит навещать родню где-то на юге штата, пока в одну из ее отлучек джефферсонская женщина, приехавшая в Мемфис за покупками, не увидела ее, когда она торопливо входила в гостиницу. Вышло так, что женщина вернулась домой и рассказала об этом как раз в субботу. А на другой день Хайтауэр стоял на кафедре, и снова мешалась религия со скачущей конницей; жена вернулась в понедельник и в следующее воскресенье опять пришла в церковь — впервые за шесть или семь месяцев — и сидела отдельно сзади. После этого она стала ходить в церковь каждое воскресенье. Потом снова уехала — на этот раз среди недели (дело было в июле, в жару), и Хайтауэр сказал, что она опять поехала к родне в деревню, там прохладнее, и старики со старухами присматривались к нему, не понимая, верит ли он тому, что говорит, а молодые сплетничали за его спиной.

Но они не могли понять, верит ли он сам тому, что говорит, переживает ли из-за этого — если путает религию с дедом, застреленным на скаку,— словно дедово семя, из которого он произрос, тоже было в ту ночь на коне, и тоже было убито, и время для семени остановилось навсегда, и ничего с тех пор не произошло — даже он сам.

Жена вернулась до воскресенья. Стояла жара; старики говорили, что такой жары не припомнят. В воскресенье она пришла в церковь и села на задней скамье, отдельно. Посреди проповеди она вскочила и начала визжать, кричать что-то в сторону кафедры, грозить кулаками кафедре, где ее муж умолк и, подавшись вперед, замер с поднятыми руками. Сидевшие поблизости пытались ее удержать, но она отбивалась, и Байрону рассказывали, как она стояла — уже в проходе,— визжа и грозя кулаками кафедре, где, подавшись вперед, замер ее муж с поднятой рукой и искаженным лицом, застывшим в тот миг, когда прерван был громокопытный аллегорический период. Неизвестно, кому она грозила — ему или богу. Потом он спустился, подошел, она перестала биться, он повел ее на улицу, и все головы поворачивались вслед за ними, пока старший священник не приказал органисту играть. Во второй половине дня старейшины собрались при закрытых дверях. О чем там шла речь — неизвестно; видели только, как вернулся Хайтауэр, вошел в комнату собрания и тоже закрыл за собой дверь.

Но что там происходило, люди не знали. Знали только, что церковь собрала деньги, чтобы отправить жену в лечебницу, в санаторий, что Хайтауэр отвез ее, вернулся и в воскресенье, как всегда, произнес проповедь. Женщины, соседки — даже те, которые не заходили в дом священника несколько месяцев, — сочувствовали ему, носили еду и рассказывали друг другу и мужьям, какой кавардак в его доме и что священник, кажется, ест, как животное, — когда захочется и что попадется. Раз в две недели он навещал жену в санатории, но через день уже возвращался, а в воскресенье опять стоял на кафедре как ни в чем не бывало. Люди справлялись о ее здоровье с любопытством и сочувствием, и он благодарил их. А в воскресенье — опять на кафедре, неистово размахивая руками, и в неистовом восторженном голосе гремят призрачные бог и спасение, скачущая конница и убитый дед, а внизу сидят растерянные и оскорбленные старейшины и прихожане. Осенью вернулась домой жена. Она выглядела лучше. Она пополнела. Но главная перемена заключалась не в этом. Может быть, в том, что она выглядела очистившейся; по крайней мере, проснувшейся. Словом, такой, какой ее всегда хотели видеть дамы, какой, по их убеждениям, должна быть жена священника. Она регулярно посещала церковь и молитвенные собрания, дамы бывали у нее, она у них — и сидела тихо и смирно, даже у себя дома, пока они учили ее, как надо вести хозяйство, как одеваться, чем кормить мужа.

Можно сказать, что они ее простили. Никакого преступления или определенного проступка не было названо, и никакой определенной епитимьи на нее не налагали. Но город не верил, что дамы забыли ее таинственные поездки с конечным пунктом в Мемфисе и целью, относительно которой все придерживались одного мнения, хотя никто не выражал его словами, не высказывал вслух, ибо город считал, что добродетельные женщины нелегко забывают хорошее или дурное, дабы не улетучился аромат и вкус прощения, этого лакомства совести. Ибо город верил, что дамы правду знают, поскольку он верил, что дурное одурачит лишь дурную женщину, так как ей временами приходится отвлекаться от своей подозрительности. Но что добродетельную женщину оно не проведет, ибо, если она добродетельная, значит, ей уже нет нужды до своей или чужой добродетели и потому она в избытке располагает временем, чтобы учуять грех. Вот почему, считали люди, добро может в любую минуту ее одурачить и она примет его за зло, но само зло ее никогда не одурачит. Словом, через четыре или пять месяцев, когда жена опять уехала и муж опять сказал, что она уехала к родне, в городе решили, что на этот раз он и сам не обманывается. Так или иначе, она вернулась, а он как ни в чем не бывало продолжал проповедовать по воскресеньям, навещать прихожан и больных и разговаривать о своей церкви. Но жена совсем не ходила в церковь, дамы перестали бывать у нее и вообще появляться в доме священника. Даже соседи по обе стороны больше не видели ее возле дома. И скоро стало так, как если бы ее вообще не было, как будто все условились, что ее тут нет, что священник у них не женат. А он проповедовал им каждое воскресенье и не говорил, что она поехала к родне. Может быть, он даже радовался этому, думал город. Может быть, он радовался, что ему больше не надо лгать.

Так что никто не видел, как она садилась на поезд в ту пятницу,— а может, это было в субботу, в тот самый день. Увидели они лишь воскресную утреннюю газету, где говорилось, что в субботу вечером она выбросилась или упала из окна мемфисской гостиницы и разбилась насмерть. С ней в номере был мужчина. Его арестовали. Он был пьян. Они зарегистрировались как муж и жена, под вымышленными именами. Настоящее свое имя она написала на листке бумаги, который потом порвала и бросила в мусорную корзину — там его и нашли полицейские. Оно появилось в газетной статейке: жена пастора Гейла Хайтауэра из Джефферсона, Миссисипи. И в статейке описывалось, как редакция в два часа ночи позвонила мужу и как муж сказал, что ему нечего сказать. А в воскресенье утром, когда люди подошли к церкви, двор был забит мемфисскими репортерами, снимавшими церковь и дом священника. Потом появился Хайтауэр. Репортеры пытались остановить его, но он прошел прямо сквозь них к церкви и там на кафедру. В церкви уже находились старые дамы и кое-кто из стариков, оскорбленные и возмущенные не столько мемфисской историей, сколько присутствием репортеров. Но когда появился Хайтауэр и у них на глазах взошел на кафедру, они забыли даже о репортерах. Первыми поднялись и стали уходить

дамы. Потом поднялись старики, и в церкви остался только священник, который стоял на кафедре, чуть подавшись вперед и упершись руками в аналой с раскрытой Библией, но даже не опустив головы, и сидевшие рядком на задней скамье мемфисские репортеры, (они вошли в церковь за ним). Говорят, он не следил за тем, как уходит его паства, он не смотрел ни на что.

Байрону рассказывали: священник наконец осторожно закрыл Библию, спустился в пустую церковь, прошел по проходу, ни разу не взглянув на репортеров — так же, как не глядели на них прихожане, — и вышел в дверь. Там, расставив фотоаппараты и спрятав головы под черные покрывала, караулили фотографы. Священник, наверно, предвидел это. Потому что он вышел из церкви, заслонив лицо раскрытым псалтырем. Но и фотографы, наверно, это предвидели. Потому что они перехитрили его. Видно, он был еще неопытный и его легко было перехитрить, объясняли Байрону. У одного фотографа аппарат стоял сбоку, и священник вообще не заметил его или заметил слишком поздно. Он прятал лицо от того, что стоял впереди, и появившийся на другой день снимок был сделан сбоку: священник на ходу загораживает лицо книгой. А рот за книгой растянут словно в улыбке. Но губы плотно сжаты, и лицо напоминает лицо сатаны на старых гравюрах. На другой день он привез жену и похоронил. Город собрался на похороны. Но заупокойной службы не было. Он не перенес тело в церковь. Он отвез его прямо на кладбище и уже собрался сам читать отходную, когда вышел другой священник и отобрал у него Библию. Многие люди, те, что помоложе, остались и смотрели на могилу, когда он и другие ушли.

Затем даже в соседних приходах стало известно, что церковь просила его уйти и что он отказался. В следующее воскресенье собралось множество любопытных из других приходов. Он появился и вошел в церковь. Вся паства встала как один и вышла, оставив священника с чужими, пришедшими как на спектакль. И он проповедовал им, как проповедовал всегда — с яростным увлечением, которое свои считали святотатством, а эти, пришлые, восприняли как полнейшее безумие.

Он не желал уйти. Старейшины попросили церковный совет отозвать его. Но после заметки в газете, фотографий и прочего Хайтауэра не принял бы ни один город. Против него лично никто ничего не имеет, твердили все. Он просто родился невезучим. А в церковь совсем перестали ходить люди из других приходов, первое время забредавшие сюда из любопытства: теперь это даже не было спектаклем; это было только надругательством. Однако каждое воскресное утро в урочный час он приходил в церковь, поднимался на кафедру, и паства вставала и уходила, а бездельники, зеваки выстраивались на улице и слушали, как он проповедует и молится в пустой церкви. И однажды в воскресенье, когда он пришел, дверь оказалась запертой, и зеваки видели, как он подергал дверь, и покорился, и продолжал стоять, так и не опустив головы, под взглядами выстроившихся вдоль улицы мужчин, которые вообще не ходили в церковь, и мальчишек, которые не знали, в чем дело, но что-то чувствовали и останавливались, глазея на человека, неподвижно стоявшего перед запертой дверью. На другой день город услышал, что он явился к старейшинам и отказался от кафедры для блага церкви.

Город радовался, жалея — как жалеют порой того, кого заставили наконец подчиниться своей воле. Думали, конечно, что теперь он уедет из города, и церковь собрала деньги, чтобы он мог уехать и обосноваться на новом месте. А он не пожелал покинуть город. Байрону рассказывали, как все были потрясены — уже не просто оскорблены, — когда стало известно, что он купил этот домик на глухой улице, где живет и по сей день; и старейшины снова собрались на совет, потому что, говорили они, деньги даны ему на отъезд, и раз он потратил их на другое, значит, он получил их обманным путем. Явившись к нему домой, они ему так и сказали. Священник просил извинить его; он вернулся в комнату и принес все деньги, которые были ему выданы — точно до последнего цента и в тех же точно купюрах, — и настаивал, чтобы они их взяли. Но они отказались, а он не пожелал объяснить, где он достал деньги на покупку дома. Так что на другой день, как рассказывали Байрону, некоторые стали утверждать, будто он застраховал жизнь жены, а потом нанял убийц. Но все понимали, что это неправда, — и тот, кто рассказывал или повторял это, и тот, кто слушал.

А он не желал уезжать из города. И в один прекрасный день горожане увидели маленькую вывеску, которую он сам сколотил, написал и повесил на дворе, и поняли, что он действительно решил остаться. Он по-прежнему держал кухарку, негритянку. Она работала у него с самого начала. И вот, рассказывали Байрону, когда жена умерла, все вдруг сообразили, что негритянка — женщина и что эта женщина-негритянка целый день одна с ним в доме. И не успел еще, кажется, остыть труп жены в позорной могиле, как поползли слухи. Он, мол, нарочно развратил жену и довел до самоубийства, потому что он противоестественный муж, противоестественный мужчина, и все из-за негритянки. И большего не понадобилось; только этого и не хватало. Байрон слушал молча и думал про себя, что люди, в общем, всюду одинаковы, но, видно, в маленьком городке, где зло осуществить труднее, где возможностей скрытничать меньше, люди зато могут придумать больше зла — приписав его другому. Потому что этого хватило — одной мыслишки, одного единственного праздного слова, передававшегося из уст в уста. Кухарка отказалась от места. Прошел слух, будто однажды ночью к священнику явились люди в небрежно надетых масках и велели ее уволить. Потом прошел слух, будто на другой день кухарка говорила, что уволилась сама: хозяин якобы просил ее сделать что-то противное богу и естеству. И говорили, будто какие-то люди в масках припугнули ее, чтобы она уволилась, поскольку она была, что называется, темно-каряя, а в городе нашлось бы три-четыре человека, которые, что называется, возражали бы, если бы она совершила какой-то поступок, казавшийся ей противным богу и естеству, ибо, как говорили некоторые люди помоложе, если уж черной бабе он кажется противным богу и естеству, то это, надо думать, довольно пакостный поступок. Как бы там ни было, Хайтауэр не мог найти — или не искал — другую кухарку. Может быть, той же ночью те же люди припугнули и всех остальных негритянок в городе. Он готовил себе сам, но в один прекрасный день разнесся слух, что он нанял повара-негра. И этим, понятно, себя доконал. Потому что в тот же вечер какие-то люди, уже без масок вытащили этого негра из дому и выпороли. А наутро, когда Хайтауэр проснулся, окно его кабинета было разбито и на полу лежал кирпич с привязанной к нему запиской, требовавшей, чтобы до заката он убрался из города, и подписанной К. К. К.[4]. Но он не уехал, и на другое утро его нашли в лесу, в миле от города. Он был привязан к дереву и избит до потери сознания.

Он не захотел сказать, кто это сделал. Город понимал, что так не годится; к нему пришли несколько человек и опять пытались убедить его для его же блага покинуть город, говоря, что в следующий раз его могут убить. Но он отказался уехать. Об избиении он даже разговаривать не хотел — даже когда ему предложили подать на обидчиков в суд. Он не хотел ни того, ни другого. Ни рассказывать не хотел, ни уезжать. И вдруг буря улеглась. Как будто город понял наконец, что священник будет частью его жизни, пока не умрет, и лучше всего с этим примириться. Как будто, думал Байрон, вся эта история была пьесой, разыгранной множеством людей, и теперь, доиграв назначенные им роли, они могли спокойно жить друг с другом. Священника оставили в покое. Его видели за работой в саду или на дворе, встречали на улице или в магазине с корзинкой в руке и с ним заговаривали. Знали, что он сам стряпает и ведет хозяйство, и вскоре соседи снова начали посылать ему еду, хотя еда была такая, какую они посылали бы бедной фабричной семье. Но все же — еда, и от чистого сердца. Потому что, думал Байрон, люди многое забывают за двадцать лет. «Ведь, кроме меня, пожалуй,— думает он,— никто в Джефферсоне не знает, что он у окна сидит с заката до темноты. И каков его дом внутри. И не знают даже, что я знаю, не то, верно, нас обоих бы вытащили и избили, как в тот раз,— потому что забывчивость людская, видно, так же коротка, как память». Потому что еще одно довелось увидеть и узнать Байрону в нерабочее время, с тех пор как он поселился в Джефферсоне.

Хайтауэр много читал. То есть Байрон вдумчиво, с почтительной робостью рассматривал стены, заставленные книгами — книгами по религии, истории и по естественным наукам, о самом существовании которых Байрон никогда не слыхал. Однажды, года четыре назад, к священнику прибежал негр, живший в хибарке на краю города,

---

[4] Ку-клукс-клан.

прямо за домом, и сказал, что его жена рожает. У Хайтауэра не было телефона, он посоветовал негру сбегать к соседу и вызвать врача. Он видел, как негр подошел к воротам соседнего дома. Но не вошел, а, постояв там, двинулся по улице в город пешком: Хайтауэр знал, что он будет идти пешком всю дорогу до самого города и там по негритянской своей нерасторопности и неведению времени потратит, наверное, еще полчаса на поиски врача, вместо того чтобы попросить какую-нибудь белую женщину позвонить по телефону. Он подошел к кухонной двери и услышал, как воет в хибарке неподалеку женщина. Он не стал больше ждать. Он побежал туда и обнаружил, что негритянка слезла с кровати (почему — он так и не узнал) и, стоя на четвереньках, визжа и воя, пытается взобраться с пола обратно на кровать. Он поднял женщину на кровать, велел лежать тихо, припугнув ее, чтобы слушалась, побежал домой, снял с полки в кабинете книгу, взял бритву и шнурок, снова побежал к хибарке и принял младенца. Но младенец был уже мертвый; пришедший с опозданием врач сказал, что она, несомненно, придавила его, слезая с кровати на пол, где ее застал Хайтауэр. Действия Хайтауэра он одобрил, и муж тоже был удовлетворен.

«Но слишком свежа была еще та история, — подумал Байрон, — хотя прошло целых пятнадцать лет». Потому что уже на третий день поползла сплетня, будто ребенок был от Хайтауэра и он нарочно дал ему умереть. Байрон думал, что сами сплетники не верят в то, что говорят. Он думал, что слишком давней была привычка сочинять про опозоренного священника небылицы, которым город сам не верил, настолько давней, что от нее уже не могли избавиться. «Потому что каждый раз,— думает он, — когда что-то входит в привычку, оно почему-то далеко уходит от правды и действительности». И он помнит тот вечер, когда в разговоре с ним Хайтауэр сказал: «Они хорошие люди. Они должны верить тому, чему должны верить, тем более что именно я одно время был в вере их наставником и слугой. И поэтому не мне оскорблять их веру, не Байрону Банчу говорить, что они не правы. Ибо единственное, на что может надеяться человек, это чтобы ему было позволено спокойно жить среди собратьев». Случилось это вскоре после того, как Байрон узнал его историю, вскоре после того, как начались его вечерние визиты к Хайтауэру, и Байрон все еще недоумевал, почему тот остается в Джефферсоне, чуть ли не на виду, чуть ли не на слуху у церкви, которая изгнала его и отвергла. Однажды вечером Байрон спросил об этом. «А почему вы субботними вечерами работаете на фабрике, когда другие развлекаются в городе?» — спросил Хайтауэр. «Не знаю, — ответил Байрон. — Такая уж, видно, моя жизнь». «Ну, и моя, видно, жизнь такая»,— сказал тот.

«Но теперь-то я знаю почему, — думает Байрон. — Потому что не так страшна человеку беда, которая случилась, как та, которая может случиться. За привычную беду он цепляться будет — лишь бы ничего не менять. Да. Человек будет говорить, как бы он хотел скрыться от живых людей. Но вредят ему мертвые. От мертвых, что тихо лежат на месте и не пытаются его удержать, — вот от кого ему не скрыться».

Они уже прогремели мимо и беззвучно вломились в сумрак; ночь наступила. Но он по-прежнему сидит у окна, и за спиной его в кабинете по-прежнему темно. Фонарь на углу помаргивает и блещет, и обкусанные тени кленов как будто парят в безветренной августовской тьме. Издалека очень тихо, но очень внятно доносится слитное церковное пение; звук строгий и вместе с тем глубокий, смиренный и гордый накатывается и замирает в недвижной августовской тьме, как волны прибоя.

Затем он видит, что по улице приближается человек. В будний вечер он узнал бы его — по фигуре, осанке, походке. Но в воскресный вечер, когда эхо мнимых копыт еще беззвучно ломится в затопленный тьмой кабинет, он спокойно наблюдает мелкую пешую фигуру, движущуюся с мишурной, ненадежной ловкостью прямоходящих животных, той ловкостью, которой животное человек так глупо гордится и которая неизменно подводит его — по вине ли природных явлений, как, например, тяжести и льда, или посторонних предметов, им же самим изобретенных, вроде автомобилей и мебели в темноте, или остатков его же пищи на полу и тротуаре; и он спокойно думает, как правы были древние, сделав лошадь атрибутом и эмблемой воинов и королей, и в это время видит, что человек миновал вывеску, свернул в его ворота и приближается к дому. Подавшись вперед, он смотрит, как человек идет по темной

дорожке к темной двери; он слышит, как человек шумно спотыкается о темную ступеньку.

— Байрон Банч, — говорит он. — В воскресный вечер в городе. Байрон Банч в воскресенье в городе.

4

Они сидят и смотрят друг на друга через письменный стол. Теперь кабинет освещен — настольной лампой под зеленым абажуром. Хайтауэр сидит в старинном вращающемся кресле, Байрон — напротив него на стуле. Лица их заслонены от прямого света абажуром. Через открытое окно доносится пение из далекой церкви. Байрон говорит ровным, монотонным голосом:

— Странная вышла история. Я думал: где-где, а уж там, на фабрике, в субботу вечером у человека не будет случая причинить кому-нибудь вред. Да еще когда этот дом горит, можно сказать, прямо у меня под носом. И вроде, пока обедал, нет-нет да и подыму голову, посмотрю на этот дым и думаю: «Ну сегодня-то вечером я тут ни души не увижу. Сегодня вечером мне уж никто не помешает». Потом поднял голову — глядь, она стоит и уже улыбаться собралась, уже губы сложила, чтобы его имя назвать, и тут видит, что я не тот. А я ничего лучше не придумал, как все ей выболтать. — На лице его появляется легкая гримаса. Это не улыбка: только верхняя губа вздергивается на миг, и движение это не идет дальше, а тут же прекращается.— У меня тогда и в мыслях не было, что самого-то плохого я еще не знаю.

— Да, странная должна быть история, если Байрон Банч остался на воскресенье в городе, — говорит Хайтауэр. — Однако она его искала. А вы ей помогли его найти. Разве вы сделали не то, чего она хотела, ради чего шла сюда из Алабамы?

— Да уж это я ей сказал. Что и говорить. Смотрит на меня, сидит с большим своим животом и смотрит, а глаза такие, что и захочешь — не соврешь. Ну и болтаю, хотя дым этот прямо перед глазами, словно нарочно там зажгли — предупредить меня, чтобы язык не распускал, да не хватило ума догадаться.

— А-а, — говорит Хайтауэр. — Это дом, что вчера горел. Но я не вижу связи между... Чей это дом? Я тоже видел дым и еще спросил проходившего негра, но он не знал.

— Берденов старый дом, — отвечает Байрон.

Он смотрит на священника. Они смотрят друг на друга. Хайтауэр — высокий мужчина и когда-то был худым. Но теперь он не худой. Кожа у него цвета мучного мешка, и торс, похожий на плохо наполненный мешок, свисает под собственной тяжестью с худых плеч на колени. Потом Байрон говорит:

— Вы еще не слышали.

Священник смотрит на него. Байрон задумчиво говорит:

— Значит, и это на меня ложится. За два дня двоим людям сказать то, чего им не захочется слышать, чего им по-настоящему и слышать бы не нужно.

— Что же это такое, чего я, по-вашему, не захочу услышать? Чего это такого я не слышал?

— Не про пожар, — отвечает Байрон. — Они-то из огня выбрались.

— Они? Я думал, мисс Берден живет одна.

Снова Байрон останавливает на нем взгляд. Но лицо Хайтауэра выражает лишь серьезность и интерес.

— Браун и Кристмас, — говорит Байрон.

Лицо Хайтауэра все еще не меняется.

— Вы об этом не слышали,— говорит Байрон.— Они там жили.

— Жили там? Снимали комнаты?

— Нет. В старой негритянской хибарке за домом. Кристмас отремонтировал ее три года назад. С тех пор и жил там, а люди голову ломали, где он ночует. Потом, когда сошелся с Брауном, пустил его к себе.

— А-а, — сказал Хайтауэр.— Но я не понимаю... Если им было удобно и мисс Берден не...

— Думаю, они ладили. Они продавали виски, а старая усадьба была у них вроде штаба и для отвода глаз. Не думаю, что она про это знала — про виски. Люди, по крайней мере, не знают, знала она или нет. Говорят, Кристмас начинал один три года назад и продавал с оглядкой, только постоянным покупателям, которые даже не знали друг друга. А когда он взял в долю Брауна, Браун, видно, захотел расширить дело. Продавал четвертинками из-за пазухи, прямо в переулке, кому попало. То есть продавал, чего сам недопил. А как они добывали виски на продажу, это тоже дело темное. Потому что недели через две после того, как Браун ушел с фабрики и нашел себе другую работу — кататься на ихней новой машине, — в субботу вечером он был в городе выпивши и хвастался перед народом в парикмахерской, как они с Кристмасом чего-то там ночью в Мемфисе не то на дороге под Мемфисом. И чего-то про эту машину, спрятанную в кустах, и про Кристмаса с пистолетом, а потом все про какой-то грузовик и четыреста литров — но тут Кристмас вошел и сразу к нему, выдернул его из кресла. И говорит тихим голосом не то чтобы ласково, но и без злости: «Тебе поменьше надо пить этой джефферсонской воды для волос. Она тебе в голову ударила. Оглянуться не успеешь, как усы появятся». Одной рукой держит Брауна, а другой по лицу хлещет. И хлещет вроде не сильно. Но красное, говорят, даже сквозь баки у Брауна было видно, когда Кристмас руку отводил. «Выйди, свежим воздухом подыши, — Кристмас говорит. — Людей от работы отвлекаешь». — Байрон задумывается. Потом говорит: — И нате вам — она; сидит на рейках и смотрит на меня, я ей все это расписываю, а она смотрит. А потом говорит: «А нет у него такого белого шрамика возле рта?»

— Значит, это Браун, — говорит Хайтауэр. Он сидит неподвижно, глядя на Байрона со спокойным изумлением. В нем нет никакой воинственности, никакого праведного негодования. Как будто речь идет о жителях другой планеты. — Ее муж бутлеггер. Так, так, так.

И Байрон различает в лице священника что-то дремлющее, близкое к пробуждению, самим Хайтауэром еще не осознанное,— как если бы что-то внутри человека пыталось предупредить его или подготовить. Но Байрону в этом видится лишь отражение того, что он сам уже знает и собирается сказать.

— Словом, я и оглянуться не успел, как все ей выложил. Прямо язык себе готов был откусить, и притом не знал еще, что это не все.

Теперь он не смотрит на собеседника. За окном тихо, но внятно в вечерней тишине слышатся из далекой церкви согласные звуки органа и пения. *А он, интересно, слышит?* — думает Байрон. *Или он слушал это так долго и так часто, что и не слышит больше? И ему уже не нужно не слушать?*

— Сидела там весь вечер, пока я работал, и уж дым пропал, а я все придумываю, что ей сказать, что делать. Она хотела прямо туда идти и чтобы я ей сказал дорогу. А когда я ей сказал, что дотуда две мили, она только улыбнулась, словно я ребенок или еще кто. «Я пришла из Алабамы, — говорит. — Подумаешь, еще две мили». Тогда я ей говорю... — Голос его обрывается. Он как будто разглядывает пол под ногами. Он поднимает глаза. — Я, наверно, соврал. Только это не совсем вранье. Я ведь знал, что там люди собрались, на пожар смотрят, а она придет и будет про него спрашивать. А остального я и сам тогда не знал. Главного-то. Самого худшего. Ну, и сказал ей, что он занят своей работой и лучше всего искать его в центре после шести. Это как раз правда. Ведь он небось работой это называет — таскать свои холодные бутылочки нагишом на груди, — и если его на площади нет, значит, он идет сюда, только задержался или в переулок на минуту отошел. Словом, уговорил я ее подождать; она сидит, а я работаю и голову ломаю, что делать. Как подумаешь, что я тогда знал, из-за чего беспокоился, — теперь, когда остальное знаю, кажется, и беспокоиться было не из-за чего. Весь день думаю: как было бы просто, если бы снова сделался вчерашний день и никаких других забот не было, кроме вчерашних.

— Не понимаю все-таки, о чем вам беспокоиться,— говорит Хайтауэр.— Вина не ваша, что он такой, какой он есть, и что она такая. Вы сделали что могли. Все, что можно требовать от постороннего. Если, конечно...

Его голос тоже обрывается. Он замирает на этом переходе, словно праздное рассуждение стало мыслью, а затем чем-то вроде участия. Напротив него сидит неподвижно Байрон, потупив серьезное лицо. А напротив Байрона Хайтауэр еще не думает *любовь.* Он только помнит, что Байрон еще молод и провел жизнь в воздержании и тяжелом труде и что, судя по рассказу Байрона, женщина, которую он сам не видел, вызывает какое-то беспокойство по меньшей мере, хотя Байрон продолжает считать его просто жалостью. И теперь он смотрит на Байрона не холодно и не ласково, а испытующе; Байрон между тем монотонно продолжает рассказ: как к шести часам он все еще не мог ни на что решиться и как, подходя с Линой к площади, он по-прежнему был в нерешительности. И когда Байрон тихо говорит, рассказывает о том, как уже на площади он решил отвести Лину в дом миссис Бирд, на озадаченном лице Хайтауэра выражается опаска, дурное предчувствие. А Байрон рассказывает тихо, думает, вспоминает. Словно разлилось что-то в воздухе, в вечере, сделав знакомые лица людей непривычными, и он — еще ничего не услышав, не зная, что произошло событие, после которого прошлые его трудности покажутся детскими, — понял раньше, чем узнал о происшедшем, что Лина об этом слышать не должна. Без всякой подсказки было ясно, что он таки нашел пропавшего Лукаса Берча; теперь ему казалось, что только полнейшая тупость и скудоумие помешали ему это понять. Ему казалось, что сама судьба, случай предупреждали его весь день, воздвигнув этот столб желтого дыма, а он по глупости не разгадал знамения. И вот он не давал им говорить— встречным людям, самому воздуху, который был этим полон,-- только бы не услышала Лина. Возможно, он тогда уже понимал, что рано или поздно ей придется об этом узнать, услышать, что в каком-то смысле это ее право. Просто ему казалось, что, если ему удастся провести ее через площадь домой, с него будет снята ответственность. Не за зло, за которое он считал себя ответственным по той простой причине, что провел с ней вечер, когда оно творилось, что был избран случаем представлять Джефферсон, куда она добиралась тридцать дней пешком, без денег. Он не имел ни намерения, ни надежды уклониться от этой ответственности. Он хотел только оттянуть, для себя и для нее, миг удивления и ужаса. Он рассказывает об этом тихо, ровным, невыразительным голосом, запинаясь, понурив голову, и Хайтауэр смотрит на него через стол, слушает по-прежнему с опаской и неохотой.

Наконец они оказались у пансиона и вошли. И в ней как будто тоже проснулось дурное предчувствие — стоя с ним в передней и внимательно глядя на него, она впервые заговорила: «Что это они все хотели вам сказать? Что там стряслось, на пожаре?» «Да так, ничего,—ответил он, и собственный голос показался ему пустым и скучным.— Мисс Берден будто бы поранилась». «Как поранилась? Сильно поранилась?» «Да нет вроде. Может, и не поранилась вовсе. Скорей всего болтают просто. Что в голову взбредет». Он не мог посмотреть на нее, выдержать ее взгляд. Но чувствовал, что она наблюдает за ним, и будто слышал несметный гомон: голоса, приглушенные, напряженные голоса по всему городу, на площади, через которую он торопливо ее вел, — повсюду, где люди собирались среди мирных, привычных огней и разговаривали о том самом. В доме, казалось, тоже царили привычные звуки, но главным образом—оторопь, чудовищное оцепенение, и, глядя в тускло освещенную переднюю, он думал *Чего же она не идет? Чего же она не идет?* Наконец миссис Бирд пришла: уютная, с красными руками и растрепанными седоватыми волосами. «Это миссис Берч,— сказал он. Взгляд его, настойчивый, упорный, почти горел. — Она из Алабамы, только что пришла в город. Надеется встретить тут своего мужа. Его еще нет. Вот я ее и привел, пускай передохнет немного, пока ее не втянули в эти городские передряги. Она еще в городе не была, ни с кем не разговаривала — я и подумал: может, вы ее где-нибудь устроите отдохнуть, пока ее не начали донимать разговорами и...» Голос его, упорный, настойчивый, повторяющий одно и то же, пресекся, замер. Ему показалось, что она поняла его. Позже он сообразил, что не по его просьбе она умолчала о новостях, которые — он был уверен в этом — до нее уже дошли, а потому что обратила внимание на беременность и воздержалась бы от рассказа в любом случае. Она измерила Лину коротким пронзительным взглядом, как это делали в течение вот уже четырех недель другие незнакомые женщины. «Сколько она думает пробыть?» — спросила миссис Бирд. «Ночи две, — сказал Байрон. — Может, только сегодняшнюю. Надеется встре-

тить тут мужа. Она только что пришла и не успела еще спросить, разузнать...» Тон его был все так же настойчив, многозначителен.

Теперь миссис Бирд наблюдала за ним. Он думал, что она все еще пытается понять его намек. Она же, наблюдая, как он путается в словах, думала (или готова была подумать), что его замешательство имеет совсем другой смысл и причину. Затем она снова взглянула на Лину. Нельзя сказать, что холодно. Но без теплоты. «По-моему, ей не к чему сразу куда-то тащиться», — сказала она. «Вот и я так думаю, — живо подхватил Байрон. — Тут эти волнения, разговоры — ей придется слушать, а она к этим волнениям, разговорам не привыкла... Если у вас сегодня все занято, может, ее в мою комнату поселить?» «Да,— сразу откликнулась миссис Бирд.— Вы все равно сейчас уедете. Хотите, чтобы она в вашей комнате пожила до понедельника, пока вы не вернетесь?» «Сегодня я не поеду,— сказал Байрон. Он не отвел глаза.— В этот раз не смогу». Он выдержал ее холодный и уже недоверчивый взгляд, надеясь, что она прочтет в его ответном взгляде то, что там есть, а не то, что она ему припишет. Говорят, будто обман удается опытному лжецу. Но часто опытный, закоренелый лжец обманывает одного себя; легче всего верят лжи человека, который всю жизнь был каторжником собственной правдивости. «Ага, — сказала миссис Бирд. Она опять посмотрела на Лину. — У нее нет знакомых в Джефферсоне?» «Она тут никого не знает, — сказал Байрон. — Знакомые у ней все в Алабаме. Мистер Берч, наверное, утром появится». «Ага,— сказала миссис Бирд.— А вы где ляжете? — Но ответа она не дождалась. — Пожалуй, я ей сегодня поставлю койку у себя в комнате. Если она не против». «Прекрасно, — сказал Байрон. — Прекрасно».

Когда позвонили к ужину, он уже был наготове. Он улучил время переговорить с миссис Бирд. Ложь для этого он сочинял дольше, чем все предыдущее. Но она оказалась ненужной: то, что он хотел скрыть, само послужило себе прикрытием. «Мужчины будут говорить об этом за столом, — сказала миссис Бирд. — Я думаю, женщине в ее положении (*притом разыскивающей мужа по фамилии Берч*, — едко заметила она про себя) незачем больше слушать про мужское шалопутство. Приведете ее позже, когда они поедят».

Байрон так и сделал. Лина опять ела усердно, с тем же чинным усердием, и, не успев кончить, почти уснула над тарелкой. «Устаешь больно, путешествовать-то»,— объяснила она. «Поди посиди в гостиной, пока я тебе койку постелю»,— сказала миссис Бирд. «Я хочу помочь»,— сказала Лина. Но даже Байрон видел, что она не хочет: сон валил ее с ног. «Поди посиди в гостиной,— сказала миссис Бирд.— Я думаю, мистер Банч не откажется побыть с тобой минутку-другую».

— Я боялся оставить ее одну,— говорит Байрон. По ту сторону стола Хайтауэр не пошевелился. И вот когда мы там сидели, как раз в это время все выходило наружу, как раз в это время Браун у шерифа все рассказывал — про себя, про Кристмаса, про виски и про все остальное. Только виски было не такой уж новостью — с тех пор, как он взял Брауна в напарники. Я думаю, люди только одного не могли понять — почему он вообще связался с Брауном. Может быть, потому, что свой своего не только ищет, ему попросту не укрыться от своего. Даже когда у своих только одно общее; потому что даже эти двое со своим общим были разными. Кристмас шел против закона, чтобы заработать, а Браун шел против закона потому, что у него ума не хватало понять, на что он идет. Как в тот вечер в парикмахерской, когда он горланил спьяну, покуда Кристмас не прибежал и не уволок его. А мистер Макси сказал: «Как вы думаете, чего это он сейчас чуть не наговорил на себя и на того?» — а капитан Маклендон отвечает: «Я вообще про это не думаю». Тогда мистер Макси говорит: «Вы думаете, они правда ограбили чужой грузовик со спиртным?» И Маклендон говорит: «А вас бы не удивило, если бы вам сказали, что за этим Кристмасом не водилось грехов похуже?» Вот про что Браун рассказывал вчера вечером. Но это все знали. Давно уже говорили, что не мешало бы все-таки предупредить мисс Берден. Только, думаю, охотников не было идти туда предупреждать — никто ведь не знал, чем это кончится. Думаю, кое-кто из местных ни разу в жизни ее не видал. Я, пожалуй, не захотел бы идти в этот старый дом — да никто к ней и не ходил, иногда только проезжие с повозки видели, как она на дворе стоит в таком чепце и платье, что и негритянка не каждая наденет — до того страшны. А может, она и сама знала. И

может, была не против — раз она северянка и всякое такое. И кто ее знает, чем это могло кончиться. Словом, боялся я оставить ее одну, пока она не ляжет. Я сразу хотел к вам пойти, в тот же вечер. Но оставить ее боялся. Жильцы по передней ходят туда-сюда — думаю, еще взбредет кому-нибудь в голову подойти, заведут про это разговор и все ей выложат; уж слышу, они про это на крыльце говорят, а она все смотрит на меня, и по лицу видно, что опять хочет спросить про пожар. Поэтому и боялся ее оставить. Сидим мы в гостиной, глаза у нее слипаются, а я ей все толкую, что найду его непременно, только мне надо пойти поговорить со знакомым священником, который может в этом деле помочь. Я ей твержу, а она сидит, глаза закрыла и не знает, что я знаю, что они с этим парнем еще не женаты. Она думала, что всех обманула. И спрашивает меня, что это за человек, которому я хочу про нее рассказать, я ей отвечаю, а она сидит с закрытыми глазами, и в конце концов я ей говорю: «Вы ни слова не слышали, что я вам говорил». Тут она вроде как встрепенулась, правда глаз не открыла, и спрашивает: «А женить он еще может?» Я говорю: «Чего? Чего может?» «Священник-то он, — говорит, — настоящий? Может еще женить?»

Хайтауэр не шелохнулся. Он сидит за столом выпрямившись, руки лежат параллельно на ручках кресла. Пиджака на нем нет, рубашка без воротничка. Лицо у него худое и вместе с тем дряблое — словно два лица, наложенные друг на друга, смотрят из-под бледной лысой черепной коробки с венчиком седых волос, из-за пары неподвижно блестящих окуляров. Часть торса, возвышающаяся над столом, отечна, обезображена рыхлым ожирением сидячей жизни. Он напрягся, опаска, желание уклониться явственно написаны теперь на его лице.

— Байрон, — говорит он, — Байрон, что это вы мне рассказываете?

Байрон умолкает. Он смотрит на священника с выражением соболезнования, жалости.

— Я знал, что вы еще не слышали. Знал, что это на меня ляжет — рассказать вам.

— Чего же я еще не слышал?

— Про Кристмаса. Про вчерашнее и про Кристмаса. В Кристмасе есть негритянская кровь. Про него, и Брауна, и про вчерашнее.

— Негритянская кровь,— говорит Хайтауэр.

Голос его звучит легковесно, буднично — как перышко, падающее в тишину, беззвучно, невесомо. Он не шевелится. Не шевелится еще несколько мгновений. Затем кажется, что всем его телом овладевает — словно части его подвижны, как черты лица,— это желание уклониться, отвести от себя опасность, и Байрон видит, что его большое, вялое, застывшее лицо вдруг залоснилось от пота. Но голос его легковесен, спокоен.

— Что про Кристмаса, Брауна и вчерашнее? — произносит он.

Музыка в далекой церкви давно смолкла. В комнате слышен лишь настойчивый звон насекомых да монотонный голос Байрона. Выпрямившись сидит за столом Хайтауэр. С параллельно лежащими на подлокотниках ладонями, до пояса скрытый столом, он напоминает восточного идола.

— Это было вчера утром. Один деревенский с семьей ехал в город на повозке. Он первый увидел пожар. Нет, он попал туда вторым, потому что, говорит, там уже был один человек, когда он взломал дверь. Говорит, что, когда они увидели дом, он сказал жене: «Больно уж много дыму идет из кухни».— Потом они проехали еще немного, и жена сказала: «Дом горит». И, думаю, он, наверно, остановил повозку, они посидели немного в повозке, поглядели на дым, и, думаю, погодя еще немного он сказал: «Похоже на то». И, думаю, что это жена велела ему слезть и посмотреть. «Они не знают, что горят,— так, я думаю, она сказала.— Поди скажи им». Он слез с повозки, поднялся на крыльцо и немного постоял там и покричал: «Эй! Эй!» Он говорит, что огонь в доме уже был слышен, и тогда он вышиб дверь плечом, вошел и увидел того, кто первым увидел пожар. Это был Браун. Но деревенский его не знал. Он сказал только, что в передней стоял пьяный, вид у него был такой, как будто он только что свалился с лестницы, и деревенский ему сказал: «У вас дом горит, уважае-

мый» — и тут только понял, до чего тот пьян. И он говорит, пьяный все время твердил, что наверху никого нет, и что верх все равно горит, и бесполезно спасать оттуда вещи. Но деревенский смекнул, что наверху такого огня быть не может — весь огонь был в задней стороне, ближе к кухне. Да и слишком пьян был тот, ничего не соображал. И он сказал, что сразу заподозрил неладное по тому, как пьяный не пускал его наверх. Он пошел наверх, пьяный попробовал удержать его, но он пьяного оттолкнул и пошел. Он говорит, пьяный стал было подниматься за ним и все доказывал, что наверху ничего нет, но потом, говорит, когда он спустился и вспомнил про пьяного, того уж и след простыл. Только, думаю, он не сразу про Брауна вспомнил. Потому что, наверх поднявшись, он снова начал кричать и открывать двери, а потом открыл ту дверь и ее увидел.

Он умолкает. В комнате не слышно ничего, кроме насекомых. За окном пульсирует и бьется, навевая дрему, несметный насекомый хор.

— Увидел,— говорит Хайтауэр.— Он увидел мисс Берден.

Хайтауэр не шевелится. Байрон на него не смотрит; можно подумать, что он разглядывает руки на коленях, пока говорит.

— Она лежала на полу. Голова почти начисто отрезана; дама с проседью. Он рассказывает, как стоял там и слышал огонь, и в комнате уже был дым, словно нашел за ним следом. И как он боялся поднять и вынести ее, потому что голова могла оторваться. И как потом сбежал обратно по лестнице, выскочил из дома, не заметив даже, что пьяного нет, выбежал на дорогу и велел жене гнать к ближайшему телефону — и шерифа тоже вызвать. Потом побежал за дом к баку — говорит, уже вытаскивал полное ведро и только тут сообразил, что это глупо, когда вся задняя часть дома полыхает. Тогда он побежал обратно в дом и снова вверх по лестнице, в ту комнату, сорвал с кровати покрывало, закатал ее в покрывало, ухватил за края и вскинул на спину, как мешок крупчатки, вынес из дома и положил под дерево. И чего он боялся, говорит, как раз случилось. Покрывало развернулось, а она на боку лежит — передом в одну сторону, а лицом аккурат в обратную. Будто назад оглядывается. Это, говорит, она живая могла так сделать, а тут-то не должна была бы.

Байрон умолкает и смотрит, бросает взгляд на человека за столом. Хайтауэр не шевельнулся. Лицо его за парой отсвечивающих стекол обливается потом.

— Явился шериф, и пожарная команда явилась. Но сделать ничего не могла, потому что не было воды для брандспойта. И старый дом горел весь вечер, я видел дым с фабрики и еще ей показал, когда пришла, потому что не знал ничего. А мисс Берден отвезли в город, и в банке лежала бумага, в которой было написано, что с ней делать, когда она умрет. Там было написано, что на Севере, откуда она приехала — родня ее откуда приехала,— у нее есть племянник. Племяннику отбили телеграмму, а через два часа пришел ответ, что племянник заплатит тысячу долларов за поимку убийцы.

А Кристмас с Брауном скрылись. Шериф дознался, что в хибарке жили, и тут все сразу начали рассказывать про Кристмаса и Брауна — все, которые помалкивали, покуда один из них или оба вместе не убили эту даму. И до вчерашнего вечера ни того, ни другого найти не удавалось. А деревенский тот не знал, что пьяный, которого он в доме встретил, был Браун. Люди стали думать, что они сбежали — и он и Кристмас. А потом, вечером вчера, Браун объявился. Уже трезвый — вышел часов в восемь на площадь и стал кричать как ненормальный, что это Кристмас ее убил, и требовать тысячу долларов. Позвали полицейских, отвели его к шерифу и сказали, что деньги будут его, как только он поймает Кристмаса и докажет, что это сделал Кристмас. И тогда Браун сказал. Сказал, что когда они с Кристмасом познакомились, Кристмас уже три года жил с мисс Берден. Сперва, Браун говорит, когда он поселился в хибарке у Кристмаса, Кристмас ему сказал, что все время тут ночует. А потом, говорит, однажды ночью не мог уснуть и услышал, как Кристмас вылез из постели, подошел, постоял над его койкой, вроде как прислушиваясь, а потом на цыпочках — к двери, отворил ее тихонько и вышел. И Браун сказал, что он тоже поднялся — и за Кристмасом, и видит, как тот подошел к большому дому и вошел с черного хода — то ли, значит, его оставили для Кристмаса открытым, то ли ключ у него был. Тогда Браун вернулся в

хибару и лег. Но не мог, говорит, уснуть — такой его смех разбирал, что Кристмасу перехитрить его не удалось. Лежал он так с час примерно, а потом Кристмас вернулся. И тогда, он говорит, совсем уже не мог удержаться от смеху и сказал Кристмасу: «Ну ты и прохвост». И тогда, он говорит, Кристмас прямо замер в темноте, а он лежит, смеется над Кристмасом — мол, не такой уж он, выходит дело, ловкач, и все прохаживается насчет седых волос и насчет того, что, если Кристмас хочет, он согласен чередоваться с ним — по неделе, в уплату за жилье.

Потом он сказал, как он понял в ту ночь, что рано или поздно Кристмас убьет ее или еще кого-нибудь. Он, значит, лежал, смеялся и думал, что Кристмас опять собирается спать, а Кристмас вдруг чиркнул спичкой. Тогда он, говорит, кончил смеяться, только лежал и смотрел, а Кристмас зажег фонарь и поставил на ящик возле койки Брауна. И Браун говорит, что он больше не смеялся, только лежал, а Кристмас встал над его койкой и смотрит на него сверху. «Ну, ты нашел себе потеху,— Кристмас ему говорит.— Будет над чем посмеяться завтра вечером, когда расскажешь в парикмахерской». И Браун говорит, он не понял, что Кристмас взбеленился, и вроде тоже огрызнулся, но не так, чтобы его разозлить, и тут Кристмас говорит ровным своим голосом: «Недосыпаешь ты. Слишком долго не спишь. Тебе, пожалуй, надо больше спать»,— а Браун спрашивает: «На сколько больше?» — и Кристмас говорит: «Может, навсегда». И, Браун говорит, он понял тогда, что Кристмас взбеленился и дразнить его не стоит, и сказал: «Разве мы не друзья? С чего это я буду трепаться про чужие дела? Ты моему слову не веришь?» — а Кристмас сказал: «Не знаю. И знать не хочу. Но ты моему слову можешь поверить». И посмотрел на Брауна. «Можешь?» И Браун говорит, он сказал: «Да».

И стал говорить, как он боялся, что однажды ночью Кристмас убьет мисс Берден; шериф спрашивает — как же так он не удосужился сообщить о своих опасениях, а Браун говорит — он подумал, что если ничего не скажет, то сможет там жить и помешать этому, а полицию не беспокоить, и шериф вроде как хрюкнул и сказал, что это со стороны Брауна очень любезно и что мисс Берден наверняка бы поблагодарила его, если бы знала. И тут, я думаю, до Брауна дошло, что у него, значит, тоже рыльце в пуху. Потому что он принялся рассказывать, что машину Кристмасу купила мисс Берден и как он уговаривал Кристмаса бросить торговлю виски, пока они оба не попали в беду; полицейские смотрят на него, а он все быстрей и быстрей рассказывает, все больше, больше — что он, дескать, проснулся в субботу рано и видел, как Кристмас встал на рассвете и ушел. И он, дескать, знал, куда идет Кристмас, а часов в семь Кристмас вернулся в хибарку, стал и смотрит на Брауна. И говорит: «Я сделал это». Браун: «Что сделал?» А Кристмас говорит: «Поди в дом посмотри». И Браун сказал, что он испугался, но в чем дело, не подозревал. Он говорит, от силы думал, что Кристмас мог ее избить. И говорит, что Кристмас опять вышел, а он встал, оделся, и когда разводил огонь, чтобы приготовить завтрак, случайно выглянул за дверь и увидел, что вся кухня в большом доме горит. «В котором часу это было?» — шериф спрашивает. «Часов в восемь, наверно,— Браун говорит.— Когда человек встает, если он не богач? А я, видит бог, не из них». «А о пожаре,— шериф говорит,— сообщили только к одиннадцати. И в три часа дня дом еще горел. Вы что же хотите сказать — старый деревянный дом, пусть даже большой, будет гореть шесть часов?»

Браун сидит, смотрит туда-сюда, а они — вокруг, наблюдают за ним, кольцом окружили. Браун им: «Я вам правду говорю. Вы же сами просили». А сам туда-сюда смотрит, головой вертит. А потом чуть ли не в крик: «Почем я знаю, сколько было времени? Вы что думаете — человек, который заместо негра, раба на лесопилке ишачит, такой богач, чтобы часы носить?» «Ни на какой ты лесопилке и вообще нигде не работаешь полтора месяца,— полицейский говорит.— И если человек может позволить себе целый день кататься на новой машине, то он может позволить себе раз-другой подъехать к суду и время по часам заметить». «Сказано вам, это была не моя машина,— Браун говорит.— Это его машина. Она ее купила и ему отдала — женщина отдала, которую он убил». «Это дело десятое,— шериф говорит.— Дайте ему досказать». И Браун стал досказывать, и все громче, громче, все быстрей, быстрей — словно Джо Брауна старался спрятать за тем, что говорил про Кристмаса, покуда Браун не улучит момент цапнуть эту тысячу долларов. Вот ведь что самое удивительное: некоторые

люди думают, будто зарабатывать или добывать деньги — это такая игра, где никаких правил нет. Он сказал, что когда увидел пожар, у него и в мыслях не было, что она еще в доме, тем более мертвая. И, говорит, ему даже в голову не пришло заглянуть в дом: он только думал, как бы пожар потушить. «И это,— шериф говорит,— было около восьми утра. Вы так утверждаете. А жена Хемпа Уоллера сообщила о пожаре почти в одиннадцать. Долго же вы соображали, что не сможете голыми руками потушить пожар». А Браун сидит между ними (дверь они заперли, а окна все лицами снаружи загорожены), глаза туда-сюда бегают, зубы оскалил. «Хемп утверждает, что, когда он выломал дверь, в доме уже находился человек,— шериф говорит.— И что этот человек пытался не пустить его наверх». А он сидит посередке и глазами шныряет, шныряет.

К этому времени, я думаю, он отчаялся. Я думаю, он не только увидел, что тысяча долларов уплывает от него все дальше и дальше,— ему уже виделось, как кто-то другой ее получает. Я думаю, ему мерещилось, что эта тысяча вроде как у него в кармане, а тратит ее кто-то другой. Потому что, говорят, похоже было, будто то, что он сказал теперь, он нарочно придерживал на этот случай. Как будто знал, что, если влипнет, это его спасет, хотя белому человеку признаться в том, в чем он признался, едва ли не хуже, чем быть обвиненным в самом убийстве. «Ну конечно,— он говорит — Валяйте. Обвиняйте меня. Обвините белого, который хочет вам помочь, рассказать, что знает. Обвините белого, а нигера — на волю. Белого обвините, а нигер пускай бежит». «Нигер? — шериф говорит.— Нигер?»

И тут он вроде понял, что они у него в руках. Вроде, в чем бы они его ни заподозрили, все будет ерундой рядом с тем, что он им про другого скажет. «Ну, вы же умники,— говорит.— У вас тут все в городе умники. Три года вас дурачили. Иностранцем три года его называли, а я на третий день догадался, что он такой же иностранец, как я. Догадался до того, как он сам мне сказал». Все на него смотрят, взглядом перекинутся — и опять на него. «Ты знаешь, со словами поаккуратней, если про белого говоришь,— полицейский его предупреждает.— Все равно, убийца он или нет». «Я про Кристмаса говорю,— Браун отвечает.— Убил белую женщину после того как три года жил с ней на виду у целого города, — и ведь он все дальше, все дальше от вас уходит, пока вы тут обвиняете человека, который один может его найти, который знает, что он натворил. В нем негритянская кровь. Я это с первого взгляда понял. А вы тут, приятели, шерифы-умники и прочие... Один раз он даже сам признался — сам мне сказал, что в нем негритянская кровь. Может, спьяну сболтнул — не знаю. Только на другое утро он подошел ко мне и сказал (а сам Браун словами сыплет, зубами, глазами сверкает по кругу то на одного, то на другого), говорит: «Вчера вечером я сделал ошибку. Смотри не повтори ее». А я сказал: «Какую такую ошибку?» Он говорит: «Подумай немного». Я подумал — он про то, что однажды ночью сделал, когда мы были в Мемфисе, а я-то знаю, что за жизнь мою ломаного гроша не дадут, если я стану ему перечить, ну и сказал: «Я тебя понял. Не собираюсь я лезть не в свое дело. И никогда, по-моему, за мной такого не водилось». И вы бы так сказали,— Браун говорит,— если бы очутились с ним один на один в хибарке: там и закричишь — никто не услышит. И вы бы опасались — покуда люди, которым хочешь помочь, на тебя же не стали бы вешать чужое убийство». Он сидит, глазами рыщет, рыщет, а они на него глядят, и снаружи к окнам лица прилипли. «Нигер,— полицейский говорит.— Я все время думал: что-то в этом парне странное». Тут опять шериф вмешался: «Так вы поэтому до нынешнего вечера скрывали, что там творится?»

А Браун сидит среди них, зубы ощерил, и шрам этот маленький возле рта — белый, как воздушная кукуруза. «Вы мне покажите,— говорит,— человека, который бы по-другому поступил. Вот чего я прошу. Только покажите человека, который столько прожил бы с ним, узнал бы его, как я, и поступил бы по-другому». «Ну,— шериф говорит,— наконец-то, кажется, вы сказали правду. А теперь ступайте с Баком и проспитесь хорошенько. Кристмасом я займусь». «В тюрьму, значит, так я понимаю,— Браун говорит.— Меня, значит, в тюрьму, за решетку, а вам — награду получать». «Придержи язык,— шериф ему без злобы.— Если награда тебе положена, я позабочусь, чтоб ты ее получил. Бак, уведи его». Полицейский подошел, тронул Брауна за плечо, и он встал. Когда они вышли за дверь, те, что в окна наблюдали, столпились вокруг них:

«Поймали его, Бак? Это он, значит?» «Нет,— Бак им говорит.— Расходитесь, ребята, по домам. Спать пора».

Голос Байрона замирает. Ровный, невыразительный деревенский речитатив обрывается в тишине. Он смотрит на Хайтауэра тихо, с состраданием и беспокойством, наблюдает сидящего напротив человека, у которого закрыты глаза и пот сбегает по лицу, как слезы. Хайтауэр говорит:

— Это точно? Доказано, что в нем негритянская кровь? Подумайте, Байрон: что это будет значить, когда люди... если они поймают... Несчастный человек. Несчастное человечество.

— Браун так говорит,— отвечает Байрон спокойно упрямо, убежденно.— Ведь и лжеца можно так запугать, что он скажет правду — то же самое, как из честного вымучить ложь.

— Да,— говорит Хайтауэр. Он сидит выпрямившись, закрыв глаза.— Но они его еще не поймали. Они его еще не поймали, Байрон.

Байрон тоже на него не смотрит.

— Еще нет. Последнее, что я слышал,— нет еще. Сегодня они взяли ищеек. Но еще не поймали — это последнее, что я слышал.

— А Браун?

— Браун,— говорит Банч.— Браун. Браун с ними пошел. Может, он и помогал Кристмасу. Но не думаю. Я думаю, дом поджечь — это самое большее, на что он способен. А почему он это сделал — если сделал,— думаю, он и сам не знает. Вот разве только понадеялся, что если все это сжечь, то получится вроде как ничего и не было и они с Кристмасом опять будут кататься на новой машине. Я думаю, по его мнению, Кристмас не столько грех совершил, сколько ошибку.— Лицо его потуплено, задумчиво; снова по нему пробегает усталая сардоническая гримаса.— Теперь он, пожалуй, не пропадет. Теперь она сможет найти его, когда пожелает, если он в это время не будет на охоте с шерифом и собаками. Бежать он не собирается — зачем, если эта тысяча долларов, можно сказать, висит у него перед носом. Я думаю, он Кристмаса хочет поймать больше любого из них. Ходит с ними. Они забирают его из тюрьмы, и он идет с ними, а потом они возвращаются и обратно сажают его в тюрьму. Смешно прямо. Вроде как убийца самого себя ловит, чтобы получить за себя награду. Но он как будто не против, только жалеет, что время теряет понапрасну, когда сидит, вместо того чтобы бежать по следу. Да. Завтра я ей скажу. Скажу просто, что он покамест под замком — он и пара ищеек. Может, в город ее свожу посмотреть на них на всех троих на сворке — как они тянут и тявкают.

— Вы ей еще не сказали.

— Ей не сказал. Ему тоже. Потому что награда наградой, а снова сбежать он сможет. А так, если он поймает Кристмаса и получит эту награду, он, может, женится на ней вовремя. Но она пока не знает — не больше того, что знала вчера, когда с повозки слезала на площади. С большим животом слезала, потихоньку, с чужой повозки, среди лиц чужих, и говорила про себя, вроде как тихо удивляясь, только, я думаю, она не удивлялась, потому что пришла потихоньку, пешком, а разговоры ей не в тягость: «Ну и ну. Вон откуда шла, из Алабамы, а ведь и правда в Джефферсон пришла».

5

Было за полночь. Кристмас пролежал в кровати два часа, но еще не спал. Он услышал Брауна раньше, чем увидел. Он услышал, как Браун подошел к хибарке, ввалился в дверь — и силуэтом застыл в проеме, опираясь, чтоб не упасть. Браун тяжело дышал. Держась за косяки, он запел сахариновым гнусавым тенором. Даже от тягучего его голоса, казалось, разило перегаром.

— Заткнись,— сказал Кристмас.

Он не пошевелился и не повысил голоса. Браун, однако, сразу замолк. Он еще постоял в дверях, держась, чтобы не упасть. Потом отпустил дверь, и Кристмас услышал, как он ввалился в комнату; через секунду он на что-то налетел. Наступила пауза, заполненная трудным, шумным дыханием. Затем с ужасающим грохотом Браун сва-

лился на пол, ударившись о койку Кристмаса, и огласил комнату громким идиотским смехом.

Кристмас поднялся с койки. Где-то у него в ногах лежал, смеясь и не пытаясь встать, невидимый Браун.

— Заткнись! — сказал Кристмас.

Браун продолжал смеяться. Кристмас перешагнул через Брауна и протянул руку к деревянному ящику, который заменял им стол,— там они держали фонарь и спички. Но ящика он не нашел и вспомнил звон фонаря, разбившегося при падении Брауна. Он нагнулся к Брауну, который лежал у него между ног, нащупал воротник, выволок Брауна из-под койки, поднял ему голову и стал бить ладонью — резко, сильно, зло,— пока Браун не кончил смеяться.

Браун лежал обмякший. Кристмас держал его голову и ругал ровным, приглушенным голосом. Он подтащил Брауна к другой койке и бросил его туда навзничь. Браун снова стал смеяться. Кристмас левой ладонью зажал ему нос и рот, захватив подбородок, а правой снова стал бить — сильными, нечастыми, размеренными ударами, словно отвешивал их по счету. Браун перестал смеяться. Он стал биться. Под рукой у Кристмаса он издавал придушенный булькающий звук и бился. Кристмас держал его, пока он не утих, не замер. Тогда он немного расслабил руку.

— Теперь ты замолчишь? — сказал он.— Замолчишь?

Браун снова забился.

— Прими свою черную лапу, образина нег...

Рука опять сдавила. Опять Кристмас ударил его другой рукой по лицу. Браун замолк и лежал тихо. Кристмас расслабил руку. Через секунду Браун заговорил лукавым голосом, негромко:

— Ты же нигер, понял? Ты сам мне сказал. Сам сознался. А я белый. Я бе...

Рука сдавила. Снова Браун забился и захлюпал под рукой, слюнявя пальцы. Когда он перестал биться, рука расслабилась. Он лежал тихо, дышал тяжело.

— Теперь замолчишь? — сказал Кристмас.

— Да,— сказал Браун. Он шумно дышал.— Не души. Я молчу. Не души.

Кристмас расслабил руку, но не убрал ее. Браун задышал легче, вдохи и выдохи стали легче, свободнее. Но Кристмас не убирал руку. Дыхание Брауна обдавало его пальцы то теплом, то холодом, и, стоя в темноте над распростертым телом, он спокойно думал *Что-то со мной будет. Что-то я сделаю.* Не снимая левой руки с лица Брауна, он мог дотянуться правой до своей койки, до подушки, под которой лежала его бритва с двенадцатисантиметровым лезвием. Но он этого не сделал. Может быть, мысль зашла так далеко, в такую тьму, что сказала ему *Не его нужно.* Так или иначе, он не взял бритву. Немного погодя он снял руку с лица Брауна, но не ушел. Он продолжал стоять над койкой, дыша так спокойно, так тихо, что сам этого не слышал. Браун, тоже невидимый, дышал теперь тише, и вскоре Кристмас отошел, сел на свою койку, нашарил в висевших на стене брюках сигарету и спички. Спичка вспыхнула, осветив Брауна. Прежде чем прикурить, Кристмас поднял спичку и посмотрел на Брауна. Браун лежал на спине разбросавшись, рука свисала на пол. Рот был открыт. Пока Кристмас смотрел, он начал храпеть.

Кристмас закурил, щелчком отшвырнул спичку к открытой двери и увидел, как пламя погасло на полпути. Он прислушался, ожидая слабого пустякового удара горелой спички об пол; показалось, что услышал. Затем ему показалось, что, сидя на койке в темноте, он слышит несметную сутолоку звуков, таких же слабых: голоса, бормотание, шепот — деревьев, тьмы, земли; людей: свой собственный голос; другие голоса, вызывающие в памяти имена, времена, места, которые жили в нем постоянно, хотя он не знал этого, которые были его жизнью,— и он думал *Может быть. Бог, а я и этого не знаю.* Он видел это как напечатанную фразу, полнорожденную и уже мертвую *Бог и меня любит*, как блеклые полусмытые буквы прошлогодней афиши *Бог и меня любит.*

Он докурил сигарету, ни разу не прикоснувшись к ней рукой. И окурок тоже щелчком отшвырнул к двери. В отличие от спички он не погас на лету. Кристмас наблюдал, как он мигает, кувыркаясь в воздухе за дверью, лег на койку, закинув руки за голову, как ложится человек, не надеющийся уснуть, и подумал *Я лежу с дея-*

ти часов и не сплю. Не знаю, сколько сейчас времени, но уже за полночь, а я никак не усну.

— Потому что она стала обо мне молиться,— сказал он. Сказал вслух, и голос в темной комнате прозвучал неожиданно громко, заглушив пьяный храп Брауна.— Вот почему. Потому что она стала обо мне молиться.

Он поднялся с койки. Босые ноги коснулись пола беззвучно. Он стоял в темноте, в одном белье. На другой койке храпел Браун. Кристмас постоял, повернув голову в направлении звука. Потом двинулся к двери. Босиком, в одном белье он вышел из хижины. Снаружи было немного светлее. Над головой медлительно поворачивались созвездия; тридцать лет он знал, что звезды есть, но ни одна не имела для него названия, ничего не говорила ему своим цветом, яркостью, расположением. Впереди над плотной массой деревьев он различал трубу и щипец дома. Сам дом в темноте не был виден. Ни звуком, ни проблеском света не встретил его дом, когда он подошел и стал под окном комнаты, где спала она, и подумал *Если она спит вдобавок. Если она спит.* Двери никогда не запирались, и, бывало, в какой бы час ночи ни подняло его желание, он входил в дом и направлялся в ее спальню, уверенно находя в темноте путь к ее постели. Иногда она не спала, дожидаясь его, и произносила его имя. Иногда он будил ее жесткой грубой рукой и, случалось, так же грубо и жестко брал ее, еще не совсем проснувшуюся.

Тому уже два года, два года у них позади, подумал *Может, в этом и есть самое оскорбительное. Может, я думаю, что меня провели, обманули. Что она врала мне о своих летах, о том, что случается с женщиной в ее возрасте.* Он сказал вслух, стоя один, в темноте, под темным окном:

— Не надо было обо мне молиться. Ничего бы ей не было, если бы не стала обо мне молиться. Она не виновата, что состарилась и больше негодна. Но сообразить должна была, что нельзя обо мне молиться.

Он начал ругать ее. Он стоял под темным окном и ругал ее — медленно, обдуманно, похабно. Он не смотрел на окно. Казалось, он рассматривал в полутьме свое тело, словно наблюдая, как оно лениво и сладострастно купается в шепоте подзаборной грязи, подобно трупу утопленника в стоячем черном пруду чего-то более густого, чем вода. Он тронул себя ладонями и с нажимом провел ими вверх по животу и груди под бельем. Подштанники держались на одной верхней пуговице. Когда-то у него на белье все пуговицы были на месте. Их пришивала женщина. Было такое время — одно время. Но это время прошло. Он стал вытаскивать свое белье из семейной стирки раньше, чем она успевала добраться до него и пришить недостающие пуговицы. Она его опередила; тогда он стал специально замечать и запоминать, какие пуговицы отсутствовали, а потом появились. Перочинным ножом, с холодной, бесчувственной обстоятельностью хирурга он срезал вновь пришитые пуговицы.

Его правая ладонь быстро скользнула вверх по прорехе, как некогда нож. Ребром легко и резко она ударила по оставшейся пуговице. Темнота дохнула на него, дохнула ровно, когда одежда спала по ногам — прохладный рот темноты, мягкий прохладный язык. Шагнув, он ощутил темный воздух, как воду, он ощутил под ногами росу, как никогда не ощущал ее прежде. Он прошел через сломанные ворота и остановился у дороги. Августовский бурьян доставал до бедер. На листьях и стеблях лежала месячная пыль от проезжавших мимо повозок. Перед ним тянулась дорога. Она была чуть бледнее темной земли и деревьев. По одну сторону стоял город. С другой дорога взбегала на холм. Вскоре небо там посветлело; холм обозначился. Потом он услышал машину. Он не двинулся. Он стоял подбоченясь, голый, по бедра в пыльном бурьяне, а машина, перевалив через холм, приближалась, светя на него фарами. Он наблюдал, как тело его, белея, выделяется из темноты, подобно фотоснимку в проявителе. Он смотрел прямо в фары проносящегося автомобиля. Оттуда долетел пронзительный женский визг.

— Белые сволочи! — крикнул он. — Не первая ваша сука повидала!..

Но машина умчалась. Некому было услышать, дослушать. Она умчалась, слизнув поднятую пыль и свет, слизнув замирающий женский крик. Ему стало холодно. Как будто он пришел сюда, чтобы присутствовать при заключительном действии, и теперь оно совершилось, и он снова был свободен. Он вернулся к дому. Под темным окном

он задержался и поискал подштанники, нашел их и надел. На них не осталось ни одной пуговицы, и ему пришлось придерживать их, пока он возвращался к хибарке. До него долетел храп Брауна. Он тихо постоял перед дверью, слушая протяжные, хриплые, неровные вздохи, заканчивавшиеся придушенным бульканьем. «Кажется, я попортил ему нос сильнее, чем думал,— мелькнуло у него.— Сучье отродье». Он вошел и шагнул к своей койке, чтобы лечь. Уже опускаясь на подушку, он вдруг остановился, замер в наклонном положении. Может быть, мысль, что ему придется лежать до утра в темноте, под пьяный храп, и слушать несметные голоса в промежутках, показалась ему невыносимой. Он сел, тихо пошарив под койкой, нашел свои туфли, вдел в них ноги, снял с койки узкое полушерстяное одеяло, составлявшее всю его постель, и вышел из хижины. Метрах в трехстах стояла конюшня. Она разваливалась, лошадей там не держали уже тридцать лет, однако направился он к конюшне. Он шел быстро. Он думал, думал вслух:

— На кой мне черт лошадей нюхать? — Потом сказал неуверенно: — Потому что они не женщины. Кобыла и та все же вроде мужчины.

Он проспал меньше двух часов. Когда он проснулся, заря только занималась. Лежа в одеяле на щелеватом полу ветхой сумрачной норы, где першило в горле от тонкой пыли былого сена и спертый воздух запустения еще отдавал конюшенным аммиаком, он видел в окне желтеющий восток и бледную высокую утреннюю звезду зрелого лета.

Он проснулся отдохнувшим, словно проспал часов восемь. Сон был нежданный: он не ожидал, что уснет. Он снова вставил ноги в расшнурованные туфли и со сложенным одеялом под мышкой спустился по отвесной лестнице, нащупывая ногами невидимые подгнившие перекладины, сбрасывая свободную руку с одной перекладины на другую. Он вышел навстречу серому и желтому рассвету, в свежую прохладу, и вдохнул ее всей грудью.

Хибарка обрисовалась четко на разгоравшемся востоке — и купа деревьев, где прятался дом, весь, кроме одной трубы. Высокая трава отяжелела от росы. Его туфли сразу намокли. Кожа холодила ступни, мокрая трава скользила по ногам, как гибкие сосульки. Браун уже не храпел. Войдя, Кристмас разглядел его при свете из восточного окна. Теперь Браун дышал спокойно. «Протрезвел,— подумал Кристмас.— Трезвый, и сам того не знает. Несчастный балбес». Он посмотрел на Брауна. «Несчастный балбес. Ох и зол будет, когда проснется и поймет, что он опять трезвый. Целый час, наверное, потратит, пока опять напьется». Он положил одеяло, надел диагоналевые брюки, белую, но грязноватую уже рубашку и галстук-бабочку. Он курил. К стене был прикреплен гвоздями осколок зеркала. Завязывая галстук, он рассматривал в зеркале свое тусклое отражение. Жесткая шляпа висела на гвозде. Он не взял ее. Вместо нее он снял с другого гвоздя кепку, а из-под койки вытащил журнал — из тех, где на обложке бывают изображены либо молодые женщины в одном белье, либо мужчины, стреляющие друг в друга из пистолетов. Из-под подушки он достал бритву, помазок, палочку мыла и сунул их в карман.

Когда он вышел из хижины, уже совсем рассвело. Птицы распевали. На этот раз он направился прочь от дома. Он миновал конюшню и вышел на луг. Скоро его туфли и брюки пропитались серой росой. Он остановился, заботливо подвернул штанины до колен и пошел дальше. За лугом начинался лес. Росы тут было меньше, и он спустил штанины. Вскоре он очутился в лощинке, где бил ключ. Он положил журнал, набрал сушняку, развел костер и сел — спиной к дереву, ногами к огню. Вскоре от мокрых туфель пошел пар. Потом он почувствовал, как по ногам разливается тепло, а потом, открыв глаза, увидел высокое солнце, догоревший костер и понял, что он спал. «Ей-богу, уснул, — подумал он. — Ей-богу, по второму разу».

На этот раз он проспал более двух часов, потому что солнце светило уже на самый родник, дробясь и сверкая в неугомонной воде. Он встал, потягиваясь, расправляя онемевшую спину, будя затекшие мышцы. Потом вынул из кармана бритву, мыло, помазок. Став на колени у родника, он побрился, глядя в воду как в зеркало, правя длинную блестящую бритву на туфле.

Он спрятал в кустах бритвенные принадлежности и журнал и снова завязал галстук. От родника он пошел так, что дом остался далеко в стороне. На дорогу он выбрался в полумиле от дома. Чуть дальше стоял магазинчик с бензоколонкой. Он зашел в магазинчик, купил у женщины крекеры и банку мясных консервов. И вернулся к роднику, к кострищу.

Завтракал он, сидя спиной к дереву и читая журнал. До этого он успел прочесть только одну статью и теперь принялся за вторую, читая журнал подряд, как роман. Время от времени он, жуя, переводил взгляд со страницы на пронизанную светом листву, смыкавшуюся над лощиной. «Может, я уже сделал это,— думал он.— Может, больше не ждет меня это дело». Ему казалось, что желтый день мирно открывается перед ним — коридором, шпалерой в тихую светотень, ничего не требуя. Ему казалось, что, пока он сидит тут, желтый день глядит на него сквозь дрему, как сонно разлегшийся желтый кот. И он читал дальше. Он переворачивал страницы в строгой последовательности, но иногда будто задерживался на одной странице, на одной строчке, может быть — на одном слове. Тогда он не поднимал глаз. Он не шевелился — по-видимому, поглощенный, скованный единственным словом, которым, может быть, еще и не проникся; все его существо повисало на коротком пустячном сочетании букв в тихом солнечном пространстве, и, замерев неподвижно, невесомо, он как будто наблюдал сверху за медленным течением времени и думал *Я только покоя хотел,* думал: «Не надо ей было обо мне молиться».

Дойдя до последнего рассказа, он прервал чтение и пересчитал оставшиеся страницы. Потом посмотрел на солнце и снова начал читать. Теперь он читал так, как будто шел по улице, считая трещины в тротуаре,— до последней заключительной страницы, до последнего заключительного слова. Затем он встал, поджег спичкой журнал и терпеливо ворошил его, пока он не сгорел дотла. С бритвенными принадлежностями в кармане он пошел вдоль по лощине. Вскоре она расширилась — ровное, песком убеленное дно между крутых уступчатых стен, доверху заросших колючками и кустами. Деревья над ней по-прежнему смыкались; в небольшом углублении стены был навален хворост, заполнявший выемку целиком. Он принялся оттаскивать сухие ветви в сторону и, очистив выемку, нашел лопату с коротким черенком. Лопатой он начал рыть песок, до этого скрытый хворостом, и откопал один за другим шесть бачков с завинчивающимися крышками. Он не стал их отвинчивать. Он повалил бачки, пробил их острой лопатой, и песок под ними стал темнеть от хлынувшего струями виски, а в воздухе, в солнечной тиши разлился запах алкоголя. Он опорожнил их тщательно, не торопясь, с застывшим, как маска, лицом. Когда бачки опустели, он свалил их в яму, кое-как забросал песком, затащил хворост обратно и спрятал лопату. Ветки скрыли мокрое пятно, но не могли скрыть запаха. Он опять посмотрел на солнце. Полдень миновал.

В семь часов вечера он был в городе, в ресторане на боковой улочке, и ел, сидя на табурете за скользкой, отполированной трением деревянной стойкой, ужинал.

В девять часов он стоял у парикмахерской, глядя через стекло на человека, которого взял себе в напарники. Он стоял совершенно неподвижно, засунув руки в карманы, и дым сигареты плавал перед его неподвижным лицом, а кепка, как прежде жесткая шляпа, была заломлена лихо и вместе с тем зловеще. Так бесстрастно и так зловеще стоял он, что в ярко освещенном салоне, душном от запахов лосьона и горячего мыла, Браун, жестикулирующий и хриплоголосый, в грязных красноклетчатых брюках и грязной цветной рубахе, поднял голову на полуслове и пьяными глазами взглянул в глаза человека за стеклом. Так неподвижно и так зловеще, что молоденький негр, который, насвистывая, вразвалочку шел мимо, при виде Кристмаса перестал свистеть, взял в сторону, прошмыгнул за его спиной и потом все оборачивался, все оглядывался через плечо. Но Кристмас уже двинулся прочь. Он словно для того только и задержался здесь, чтобы Браун на него посмотрел.

Он шел не торопясь, прочь от площади. Улица, тихая во всякое время, в этот час была безлюдна. Она вела через негритянский район Фридмен Таун к станции. В семь часов ему встречались бы люди, белые и черные, направляющиеся на площадь и в кино, в половине десятого они бы возвращались домой. Но кино еще не кончилось,

и теперь он был на улице один. Он тихо шел, двигался между домами белых, от фонаря к фонарю, и плотные тени кленовых и дубовых листьев скользили по его белой рубашке клочьями черного бархата. Трудно представить себе что-либо более одинокое, чем рослый мужчина на безлюдной улице. И хотя он не был крупным, не был высоким, выглядел он более одиноко, чем телефонный столб посреди пустыни. На пустой, широкой, тенями омраченной улице он казался призраком, духом, который забрел сюда из другого мира, заблудился.

Потом он узнал место. Улица незаметно для него пошла под уклон, и не успел он оглянуться, как очутился во Фридмен Тауне, среди летнего запаха и летних голосов невидимых негров. Они, казалось, взяли его в кольцо, эти бесплотные голоса, и шептали, смеялись, разговаривали на чужом языке. Словно со дна глухой и черной ямы он видел вокруг очертания хижин, неясных, освещенных керосином, отчего уличные фонари как будто стали реже, словно дыхание черных сгустилось в какое-то плотное дыхательное вещество, так что не только голоса, но и движущиеся тела и сам свет должны были становиться жидкими и, вбирая в себя — частица за частицей — поспевающую ночь, сливаться с ней в нечто единое и неделимое.

Теперь он стоял неподвижно, тяжело дыша, свирепо озираясь по сторонам. Знойное тусклое свечение керосиновых ламп вырезало из черноты черные лачуги. Повсюду, даже внутри у него, бесплотно рокотали утробно-мягкие голоса негритянок. Казалось, и он и все мужское вокруг ввергнуто обратно в непроглядное, жаркое, влажное первородное чрево. Он побежал, сверкая зубами, сверкая глазами, к следующему фонарю, и воздух, врываясь в рот, холодил сухие губы и зубы. Рядом с фонарем из черной ложбины отходил в сторону и поднимался к параллельной улице узкий ухабистый переулок. Бегом Кристмас свернул в него и со стучащим сердцем бросился по крутому склону к верхней улице. Там он остановился, задыхаясь, поводя глазами, и сердце его все колотилось, словно он никак не мог или не хотел поверить, что воздух вокруг — холодный, резкий воздух белых.

Потом он успокоился. Негритянский дух, негритянские голоса остались позади и внизу. Слева лежала площадь, гроздья огней — сверкающие птицы, празднокрыло и трепетно повисшие над землей. Справа шагали вдаль фонари, редкие, разделенные обгрызенными невозмутимыми ветвями. Он шел — опять медленно, прочь от площади, опять между домами белых. И здесь на верандах сидели люди — и на лужайках в креслах; но тут он мог идти спокойно. Время от времени он видел их — силуэты голов, неясную белую фигуру в одежде; на освещенной веранде сидели четверо за карточным столиком — сосредоточенные белые лица, резкие в низком свете лампы, обнаженные руки женщин, ровно белеющие над пустячными картами. «Это все, чего я хотел, — думал он. — Кажется, не так уж много».

Эта улица тоже пошла под уклон. Но в ее уклоне была надежность. Его плывущая белая рубашка и мелькающие черные ноги затерялись среди теней, врезанных огромно и отвесно в звездное августовское небо, — хлопкового склада, цистерны, длинной и цилиндрической, как туловище обезглавленного мастодонта, вереницы товарных вагонов. Он пересек железнодорожную колею, рельсы блеснули в огне семафора двумя зелеными стрелами и снова отбросили свет мимо. За путями начинался лес. Но он отыскал тропинку безошибочно. Она шла в гору, среди деревьев; за долиной, где лежала железная дорога, снова стали показываться один за другим огни города. Но он не оглядывался, пока не взошел на вершину холма. Оттуда он вновь увидел город, зарево, отдельные огни — там, где от площади разбегались улицы. Он видел улицу, по которой вышел, и другую, которая чуть не предала его, а еще дальше — яркий, ломающийся под прямым углом городской вал, и в углу — черную яму, откуда он бежал с рвущимся сердцем и оскаленными зубами. Ни света не шло оттуда, ни дыхания, ни запаха. Она просто лежала там, черная, непроницаемая, в гирлянде трепетно-августовских огней. Может быть — изначальные недра, сам первозданный хаос.

Он шел уверенно, несмотря на тьму, на деревья. Он ни разу не сбился с тропинки, хоть и не мог ее разглядеть; лес тянулся на милю. Он вышел на дорогу, ступил в пыль. Теперь он начал видеть смутный расширяющийся мир, горизонт. Там и сям тускло светились окна. Но в большинстве лачуг было темно. Тем не менее кровь начала

снова — говорить, говорить. Он шел быстро, ей в такт; он, кажется, понял, что эти люди — негры, раньше, чем увидел или услышал их, раньше, чем они обозначились на фоне спящей пыли. Их было пятеро или шестеро, цепочка, в которой угадывались пары; снова донесся до него сквозь шум крови ропот глубоких женских голосов. Он шел прямо на них, шел быстро. Они увидели его, подались к обочине; голоса смолкли. Он тоже изменил направление, двинулся наискось, на них, словно ожидая, чтобы ему уступили дорогу. Дружно, как по команде, женщины отступили, обогнули его, очистив ему дорогу. Один из мужчин последовал за ними, словно погоняя их, оглядываясь через плечо. Другие двое остановились на дороге, повернувшись к Кристмасу. Кристмас тоже стал. Казалось, никто из них не движется, однако те двое приближались, наплывали двумя неясными тенями. Он почуял негра: почуял запах дешевой одежды и пота. Голова высокого негра наклонилась сверху, с неба.

— Это белый, — сказал он спокойно, не оборачиваясь.— Чего вы хотите, белый человек? Или ищете кого? — Голос не был угрожающим. Но и не был подобострастным.

— Юп, уходи оттуда, — сказал тот, что шел за женщинами.

— Кого ищете, начальник? — сказал негр.

— Юп,— сказала одна из женщин высоковатым голосом.— Уйди же ты.

Еще мгновение две головы, светлая и темная, будто висели в темноте, дыша друг на друга. Потом голова негра отплыла; откуда-то повеяло холодным ветром. Кристмас, медленно поворачиваясь, провожая взглядом фигуры, которые снова таяли, сливались с бледной дорогой, обнаружил, что в руке у него бритва. Не раскрытая. Он вынул ее не от страха.

— Суки! — сказал он. — Сучье отродье!

Из тьмы дул холодный ветер; пыль даже сквозь туфли холодила ноги. «Что за чертовщина со мной творится?» — подумал он. Он сунул бритву в карман, остановился, закурил сигарету. Перед тем как взять ее в рот, ему пришлось несколько раз облизнуть губы. При свете спички он увидел, как дрожат его руки. «Все это беспокойство», — подумал он.

— Все это проклятое беспокойство,— сказал он вслух, уже на ходу.

Он посмотрел на небо, на звезды. «Наверно, скоро десять»,— подумал он и почти в ту же секунду услышал бой часов на здании суда — в двух милях. Медленно, мерно прозвучало десять ударов. Он сосчитал их стоя на пустой, мертвой дороге. «Десять часов, — подумал он. — Вчера я тоже слышал, как било десять. И одиннадцать. И двенадцать. А часа не слышал. Может, ветер переменился».

Одиннадцать в эту ночь он услышал, сидя спиной к дереву, за сломанными воротами, и дом позади него снова был темен и скрыт лохматой рощицей. Сегодня он не думал *Может, и она не спит.* Сейчас он ничего не думал, думать еще не начал, и голоса еще не зазвучали. Он сидел там не шевелясь, пока часы в двух милях не пробили двенадцать — и после еще немного. Потом встал и двинулся к дому. Шел он небыстро. И даже тут не подумал *Что-то случится. Что-то со мной случится.*

6

Память верит раньше, чем вспоминает знание. Верит дольше, чем помнит, дольше, чем знание спрашивает. Знает, помнит, верит: коридор в кирпичном длинном островерхом холодном гулком здании, покрытом копотью не только своих дымоходов, стоящем на клочке убитой, засыпанной шлаком земли, стиснутом дымными заводскими трущобами, опоясанном трехметровой проволочно-стальной оградой, как каторжная тюрьма или зверинец, где сироты в одинаковых синих робах, с дискантовым детским чириканьем случайными, неровными порывами пролетают в воспоминаниях, но в знании хранятся постоянно, как унылые стены и унылые окна, по которым сажа из приближавшихся с каждым годом дымоходов сбегала в дождь черными слезами.

В тихом пустом коридоре в тихий послеполуденный час он был как тень,— маленький даже для пятилетнего, серьезный и тихий как тень. Окажись в коридоре свидетель, он не смог бы определить, где и в какой миг исчез мальчик, за какой дверью, в какой комнате. Но в этот час никого больше в коридоре не было. Он знал,

что никого нет. Он занимался этим уже почти год — с того дня, когда случайно наткнулся на зубную пасту диетсестры.

Очутившись в комнате, он подошел, босиком, бесшумно, прямо к умывальнику и взял тюбик. Глядя, как розовый прохладный и гладкий червяк, извиваясь, выползает на его пергаментный палец, он услышал шаги в коридоре, а затем голоса за дверью. Возможно, он узнал голос диетсестры. Так или иначе, он не ждал, пройдут они мимо двери или нет. С тюбиком в руке, ступая босыми ногами бесшумно, как тень, он пересек комнату и шмыгнул за занавеску, которой был отгорожен один угол. Там он сел на корточки среди легких туфель и развешанной мягкой женской одежды. Он услышал, как диетсестра и ее спутник вошли в комнату.

До сих пор диетсестра не значила для него ничего, кроме постоянного приложения к еде, пище, столовой, церемонии еды за длинными деревянными столами, — фигура, появлявшаяся время от времени в поле зрения, но не задевавшая чувств, разве только как приятное напоминание и сама по себе приятная для глаз — молодая, пухленькая, гладкая, бело-розовая, вызывавшая мысли о столовой, вызывавшая во рту воспоминания о чем-то липко-сладком, съедобном и тоже розовом, тайном. В тот день, когда он впервые вошел к ней и сразу обнаружил в комнате пасту, еще ничего о пасте не зная, он словно предвидел, что диетсестра должна обладать чем-то в этом роде и что он это найдет. Голос ее спутника тоже был ему знаком. Это был молодой врач из окружной больницы, ассистент приходского врача,— личность тоже примелькавшаяся в приюте и тоже еще не враг.

За занавеской он был в безопасности. Когда они уйдут, он положит пасту на место и улизнет. И вот он сидел на корточках, за занавеской и слышал, не вслушиваясь, возбужденный женский шепот:

— Нет! Нет! Не здесь. Не сейчас. Нас увидят. Войдут... Не надо, Чарли! Прошу тебя!

Слов мужчины он вообще не мог разобрать. Голос тоже был приглушен. Он звучал безжалостно, как до сих пор звучали голоса всех остальных мужчин, ибо мальчик был еще слишком мал, чтобы сбежать из мира женщин — на краткий срок, пока не сбежит обратно, чтобы остаться в нем до смертного часа. Он услышал другие знакомые звуки: шарканье ног, поворот ключа в двери.

— Нет, Чарли! Чарли, прошу тебя! Прошу тебя, Чарли! — шептала женщина.

Он услышал другие звуки — шорохи, шелест, не голоса. Он не слушал; он просто ждал, думая без особого интереса и внимания, что странно в такой час ложиться спать. Снова из-за тонкой занавески донесся слабеющий женский шепот:

— Я боюсь! Скорей! Скорей!

Он сидел на корточках среди мягких, женщиной пахнущих одежд и туфель. Он видел — ощупью только — смятый, некогда круглый тюбик. Не глазами — вкусом — созерцал прохладного невидимого червяка, который выполз на палец и механически следовал в рот, сладко и остро расплываясь по языку. Обыкновенно он выдавливал пасты на один глоток, а потом клал тюбик на место и выходил из комнаты. Даже в пять лет он знал, что больше нельзя. Возможно, животный инстинкт предупреждал его, что, если съесть больше, станет худо; может быть, человеческий рассудок предупреждал, что, если выдавить больше, заметит она. Сегодня он впервые взял больше. Пока он прятался и выжидал, получилось намного больше. На ощупь он видел исхудавший тюбик. Он вспотел. Потом оказалось, что он потеет уже довольно давно, что уже довольно давно он только и делает, что потеет. Теперь он совсем ничего не слышал. Он не услышал бы, наверно, и выстрела за занавеской. Он словно погрузился в себя, в наблюдение за тем, как потеет, за тем, как расползается во рту еще один червячок пасты, противный желудку. И правда — он не хотел проглатываться. Неподвижный, сосредоточенный мальчик, казалось, склонился над собой, как химик над колбой, и ждал. Долго ждать ему не пришлось. Проглоченная паста восстала внутри, стремясь обратно, на воздух, где прохладней. И сладкой она уже не была. В загроможденной, розово-женским пахшей темноте за занавеской он сидел с розовой пеной на губах и, прислушиваясь к своим внутренностям, обреченно, с удивлением ждал того, что должно было с ним случиться. И случилось. Окончательно сдавшись, он покорно сказал про себя: «Ну все».

Когда занавеска отлетела в сторону, он не поднял головы. Когда руки грубо выдернули его из блевотины, он не сопротивлялся. Безвольно, с разинутым ртом, он повис на руках, уставив остекленелый идиотический взгляд на не гладкое уже, не бело-розовое, а окруженное всклокоченными волосами лицо той, чьи гладкие руки когда-то наводили на мысли о лакомстве.

— У-у, гаденыш! — шипел тонкий злобный голос. — У-у, гаденыш! Шпионить за мной! Негритянский ублюдок.

Диетсестре было двадцать семь лет — достаточно много, чтобы рискнуть раз-другой на любовное приключение, но достаточно мало, чтобы думать не столько о самой любви, сколько об опасности быть за ней застигнутой. К тому же она была достаточно глупа и полагала, что пятилетний ребенок не только сможет сделать правильные выводы из того, что слышал, но и захочет рассказать о них, как всякий взрослый. Поэтому в следующие два дня, когда ей казалось, что, куда бы она ни взглянула, куда бы ни пошла, всюду торчит этот ребенок, наблюдающий за ней темным, напряженно-пытливым взглядом животного, она приписала ему еще больше взрослых черт: она решила, будто он не только намерен донести, но нарочно тянет с этим, чтобы увеличить ее страдания. Ей в голову не пришло, что он думает, будто это его поймали с поличным и мучают, оттягивая наказание, что он лезет ей на глаза, чтобы покончить с этим, получить взбучку, расплатиться, закрыть счет.

На второй день она дошла до полного отчаяния. Ночью она не спала. Почти всю ночь лежала, стиснув зубы и кулаки, задыхаясь от ярости и ужаса, хуже того — от раскаяния, этого слепого неистовства обратить время вспять хотя бы на час, на секунду. Пусть даже — время любви. Теперь молодой врач значил для нее даже меньше, чем ребенок: он был всего лишь орудием — но гибели, а не спасения. Она не знала, кто из двоих ей ненавистней. Не знала даже, когда она спит, а когда бодрствует. Потому что неотступно, неотвязно на смеженных веках, на сетчатке маячило это неподвижное, хмурое пергаментное лицо и наблюдало за ней.

На третий день она вышла из комы — полуяви-полусна, сквозь который — при свете и лицах — она несла свое собственное лицо как маску, застывшую в мучительной и неестественной гримасе личину, которую страшно было сбросить. На третий день она решилась. Найти его не составляло труда. Это произошло в коридоре, в пустом коридоре в тихий послеобеденный час. Он стоял там без всякого дела. Может быть, пришел за ней следом. Нельзя было понять, ждал он ее или нет. Но увидев его, она не удивилась — и он не удивился, услышав, обернувшись, увидев ее: два лица, одно — уже не гладкое, не бело-розовое, другое — хмурое, с серьезными глазами, выражавшее лишь ожидание и больше ничего. «Ну, теперь я отделаюсь»,— подумал он.

— Слушай,— сказала она. И умолкла, глядя на него. Она как будто не знала, что говорить дальше.

Мальчик ждал смирно, неподвижно. Мускулы на его спине и заду медленно, постепенно напряглись, одеревенели.

— Ты не расскажешь? — спросила она.

Он не ответил: ведь каждому ясно, что меньше всего на свете ему хочется рассказывать про пасту, про рвоту. Он не смотрел на ее лицо. Он следил за ее руками и ждал. Одна, в кармане юбки, была сжата в кулак. Под тканью было видно, что она сжата крепко. Его еще ни разу не били кулаком. Но и ни разу не заставляли три дня ждать наказания. Когда она вынула руку из кармана, он подумал, что сейчас его ударят. Но она не ударила; рука просто разжалась у него перед глазами. В ней лежал серебряный доллар. Она заговорила, настойчиво, тихо, шепотом, хотя в коридоре было пусто:

— Знаешь, сколько можно купить? Целый доллар.

Он никогда прежде не видел доллара, хотя знал, что это такое. Он смотрел на монету. Он хотел ее, как хотел бы блестящую крышку от пивной бутылки. Но не верил, что ее подарят, потому что сам бы он такую вещь не подарил. Он не понимал, чего она за это хочет. Он ожидал, что его выпорют и отпустят. Она продолжала говорить настойчиво, возбужденно, торопливо:

— Целый доллар. Понимаешь? Сколько можно купить. Вкусного — на целую неделю. А через месяц я, может, дам тебе еще доллар.

Он не пошевелился, не ответил. Он стоял, будто вырезанный из дерева, похожий на игрушку: маленький, неподвижный, круглоголовый, круглоглазый, в комбинезоне. От изумления и унизительной беспомощности он оцепенел. Глядя на доллар, он словно видел штабеля, поленницы тюбиков, бесконечные и устрашающие; внутри у него все скручивалось от сытого, острого отвращения.

— Я больше не хочу, — сказал он. И подумал: «Никогда больше».

Теперь он не решался взглянуть ей в лицо. Он ощущал, слышал ее, слышал ее долгий судорожный выдох. *Ну вот оно*, промелькнуло у него в голове. Но она его даже не встряхнула. Она держала его крепко, но не трясла, словно рука сама не знала, что ей хочется сделать. Ее лицо было так близко, что он чувствовал на щеке ее дыхание. Он и не глядя знал, как сейчас выглядит это лицо.

— Ну и рассказывай,— прошептала она.— Рассказывай! Негритянский гаденыш! Ублюдок негритянский!

Это было на третий день. На четвертый она тихо и окончательно сошла с ума. Она уже не строила никаких планов. Теперь она действовала по наитию, как будто за те дни и бессонные ночи, когда под личиной спокойствия она вынашивала в себе страх и ярость, все ее душевные силы сосредоточились в интуитивном постижении зла, от природы безошибочном, как у всех женщин.

Она сделалась совершенно спокойной. Она избавилась даже от нетерпения. Как будто у нее было вдоволь времени, чтобы осмотреться и рассчитать. В поисках выхода ее взгляд, ум, мысль сразу уперлись в сторожа, сидевшего в дверях котельной. Тут не было ни расчета, ни замысла. Она просто выглянула из себя, как пассажир из вагона, и, нисколько не удивившись, увидела этого грязного человечка в очках со стальной оправой, сидящего на плетеном стуле в закопченных дверях котельной, с раскрытой книгой на коленях,— фигуру привычную, почти данность, о существовании которой она знала уже пять лет, ни разу по-настоящему на нее не взглянув. На улице она бы его не заметила. Прошла бы мимо не узнав, хотя он был мужчиной. А теперь жизнь казалась ей простой и прямой, как коридор, и в конце коридора сидел он. Она отправилась к нему сразу — уже шагала по грязной дорожке, еще не осознав, что идет.

Он сидел в дверях на своем плетеном стуле, с раскрытой книгой на коленях. Подойдя ближе, она увидела, что это Библия. Но только заметила, как заметила бы муху у него на ноге.

— Вы тоже его ненавидите,— сказала она.— Вы тоже за ним следите. Я видела. Не отпирайтесь.

Он посмотрел на нее, сдвинув очки на лоб. Он не был стариком. Это не вязалось с его должностью. Он был крепкий мужчина, в соку, такому полагалось бы вести деятельную трудовую жизнь, но время, обстоятельства — или что-то еще — подвели его, подхватили крепкое тело и швырнули сорокапятилетнего человека в тихую заводь, где место шестидесяти-шестидесятипятилетнему.

— Вы знаете,— сказала она.— Знали раньше, чем дети стали звать его нигером. Вы с ним появились тут в одно время. Вы тут и месяца не проработали, когда Чарли нашел его у нас на ступеньках в ночь под рождество. Скажите мне.

Лицо у сторожа было круглое, дрябловатое, довольно грязное, в грязной щетине. Глаза — совершенно прозрачные, серые, совершенно холодные. И при этом совершенно безумные. Но женщина этого не замечала. А может быть, ей они не казались безумными. И вот в закопченной дверной коробке они смотрели друг на друга, безумные глаза — в безумные глаза и разговаривали, безумный голос — с безумным голосом, спокойно, тихо, отрывисто, как два заговорщика.

— Я за вами пять лет наблюдаю.— Ей казалось, что она говорит правду.— Сидите здесь, на этом стуле, и наблюдаете за ним. Вас тут нет, пока дети в доме. Но стоит им выйти на двор, как вы тащите к двери стул и садитесь, чтобы следить за ним. Следить и слушать, как дети зовут его нигером. Вот чем вы заняты. Я знаю. Вот для чего вы здесь — чтобы следить и ненавидеть. Вы были готовы к его появлению. Может быть, сами его подкинули, оставили на ступеньках. Все равно: вы знаете. И

мне надо знать. Когда он расскажет, меня уволят. И Чарли может... он... Скажите мне. Сейчас же скажите.

— А-а,— сказал сторож.— Я знал, что он тебя застигнет, когда пробьет Господень час. Знал. Я знаю, кто послал его туда — знамение и наказание за скотство.

— Да, он был за занавеской. Не дальше, чем вы от меня. Ну, говорите же. Я видела, какими глазами вы на него смотрите. Наблюдала за вами. Пять лет.

— Я знаю, — сказал он. — Я знаю зло. Или не я пустил его ходить по свету Божьему? Ходячей скверной сделал его перед лицом Господним. В устах младенцев Он не прячет. Ты слышала их. Не я им велел это говорить — прозывать по законному естеству его анафемского племени. Я им не говорил. Они дознались. Им было сказано, но сказано не мной. Я только ждал Его часа, когда Он рассудит, что пришла пора открыть это Его тварям. И теперь она пришла. Вот оно, знамение,— и обратно явлено через женский срам и блуд.

— Да. Но что мне делать? Скажите.

— Ждать. Как я ждал. Пять лет я ждал, когда Господь объявит свою волю. И Он объявил. И ты жди. Придет пора — и Он объявит свою волю тем, которые приказывают.

— Да. Приказывают.— Впившись глазами друг в друга, они не шевелились, дышали ровно.

— Начальнице. Придет пора — и он ей скажет.

— Вы думаете, она его отошлет, если узнает? Да. Но я не могу ждать.

— И Господа Бога торопить не можешь. Разве я не ждал пять лет?

Она начала постукивать кулаком о кулак.

— Неужели вам не понятно? Может, это и есть Господня воля. Чтобы вы сказали мне. Потому что вы знаете. Может, это и есть Его путь — чтобы вы сказали мне, а я сказала ей.— Ее безумные глаза были совершенно спокойны, безумный голос спокоен и терпелив; только руки не унимались.

— Будешь ждать, как я ждал,— сказал он.— Ты, может, три дня чувствуешь тяжесть Господней милостивой руки. А я пять лет под ней ходил, дежурил, ждал Его срока, потому что мой грех тяжелей твоего.— Хотя он смотрел ей прямо в лицо, он ее будто не видел — глаза не видели. Широко раскрытые, ледяные, фанатические, они казались незрячими. — Против того, что я сделал и какими страданиями искупал, твой грех и бабьи страдания — все равно что мушиный навоз. Я пять лет терпел; а кто ты есть, чтобы с поганым своим бабьим срамом торопить Господа Бога?

Она повернулась, тут же.

— Ладно. Можете не говорить. Все равно я знаю. Я сразу поняла, что в нем негритянская примесь.

Она вернулась в дом. Теперь она шла не спеша и страшно зевала. «Надо только придумать, как убедить его. Он говорить не станет, не поддержит меня». Она опять зевнула, раздирая рот; на пустынном ее лице бесчинствовала зевота; но потом и зевота кончилась. Ей пришло в голову что-то новое. Раньше она об этом не думала, но теперь ей казалось, что думала, знала с самого начала — ведь это так справедливо: его не только уберут; он будет наказан за страх и тревоги, которые ей пришлось из-за него пережить. «Его отправят в негритянский приют,— подумала она.— Ну конечно. Что им остается?»

Она не пошла сразу к начальнице. Она было отправилась к ней, но вдруг обнаружила, что дверь конторы осталась в стороне, а она идет дальше, к лестнице, и начинает подниматься. Она будто следовала за собой по пятам, чтобы посмотреть, куда она направится. В коридоре, теперь тихом и пустом, она опять зевнула — с огромным облегчением. Она вошла в комнату, заперла дверь, разделась, легла. Задернутые шторы почти не пропускали света; она неподвижно лежала на спине. Глаза у нее были закрыты, разгладившееся лицо ничего не выражало. Немного погодя она начала медленно раздвигать и сдвигать ноги, ощущая, как простыни перетекают по ним — то гладкие и прохладные, то гладкие и теплые. Мысли ее витали где-то между сном, которого она была лишена три ночи, и сном, которому она отдавалась, раскинувшись перед ним, словно сон был мужчиной. «Надо только убедить начальницу», — думала она. И вдруг подумала *Он будет там, как горошина среди кофейных зерен.*

Это было во второй половине дня. А в девять вечера, снова раздеваясь, она услышала сторожа, шедшего по коридору к ее двери. Она не знала, не могла знать, кто это, но вдруг поняла — по мерным шагам, по стуку в дверь, которая начала отворяться раньше, чем она успела к ней подскочить. Она не отозвалась на стук; она подскочила к двери, навалилась на нее, стараясь удержать.

— Я раздеваюсь,— сказала она жидким измученным голоском, уже зная, кто там.

Он не ответил, продолжая упрямо и ровно давить на отходящую дверь, за расходящейся щелью.

— Сюда нельзя! — закричала она почти шепотом.— Вы же знаете, они...

Ее голос слабел, прерывался, был полон отчаяния. Сторож не отвечал. Она силилась остановить, задержать медленно отходившую дверь.

— Дайте одеться, я к вам выйду. Дадите?

Она говорила замирающим шепотом, и тон у нее был несерьезный, легкомысленный — так разговаривают с сумасбродным ребенком или маньяком: успокаивая, заискивая.

— Подождите, ладно? Вы слышите? Вы подождете, правда?

Он не отвечал. Дверь продолжала медленно и неотвратимо отходить. Привалившись к ней в одной рубашке, она была похожа на марионетку в пародийной сцене насилия и отчаяния. Привалившись, застыв, глядя в пол, она, казалось, была погружена в глубокое раздумье — словно марионетка в разгаре сцены запугалась в самой себе. Потом она повернулась, отпустив дверь, отскочила к постели, схватила не глядя что-то из одежды и обернулась к двери, комкая вещь у груди, пригнувшись. Он уже стоял в комнате — должно быть, видел всю эту бесконечную паническую возню и спешку и ждал, когда она кончится.

На нем по-прежнему был комбинезон, но теперь еще и шляпа. Он ее не снял. Опять его серые, холодные, безумные глаза будто не видели ее, даже не смотрели.

— Если бы сам Господь явился к одной из вас в комнату,— сказал он,— вы бы подумали, что он явился по кошачьему делу. Ты ей сказала?

Женщина сидела на кровати. Обратив к нему бескровное лицо, комкая на груди одежду, она как будто медленно валилась на спину.

— Сказала?

— Что она с ним сделает?

— Сделает? — Она наблюдала за ним: его остановившиеся блестящие глаза, казалось, не столько глядят на нее, сколько окутывают взглядом. Рот у нее был разинут, как у слабоумной.

— Куда его пошлют?

Она не ответила.

— Не ври мне. Господу Богу не ври! Они пошлют его в приют для черных?

Ее рот закрылся, до нее словно только сейчас дошло, о чем он говорит.

— Э-э, я все обдумал. Его пошлют в приют для черных.

Она не ответила, она следила за ним — взглядом, хотя и немного испуганным, но затаенным, что-то прикидывая. Теперь и он на нее смотрел, его глаза будто вцепились в ее тело, в нее самое.

— Отвечай мне, Иезавель! — крикнул он.

— Тс-с-с-с! — сказала она.— Да. У них нет выхода. Когда они узнают...

— Ага,— сказал он.

Его глаза потухли, они отпустили ее и снова окутали невидящим взглядом. Глядя в них, она будто видела ими себя — ничтожней ничтожного, пустячней щепки, плавающей в луже. Затем его глаза сделались почти человеческими. Он начал оглядывать женское жилище, как будто прежде ничего подобного не видел: тесную комнату, теплую, неопрятную, пропахшую розово-женским.

— Бабья пакость,— сказал он.— Перед лицом Господним.

Он повернулся и вышел. Немного погодя женщина поднялась. Она стояла неподвижно, комкая одежду, и бессмысленно смотрела в дверь, словно не зная, что делать дальше. Потом побежала. Она ринулась к двери, налетела на нее, захлопнула, заперла, привалилась к ней, тяжело дыша и вцепившись в ключ обеими руками.

На другое утро во время завтрака хватились сторожа и мальчика. Они исчезли

бесследно. В полицию заявили сразу. Черный ход, ключ от которого был у сторожа, оказался незапертым.

— Это потому, что он знал,— сказала диетсестра начальнице.

— Что знал?

— Что этот ребенок, этот мальчишка Кристмас,— нигер.

— Кто? — переспросила начальница. Откинувшись в кресле, она сердито смотрела на диетсестру.— Ниг... Не верю! — закричала она.— Не верю!

— Вы можете не верить,— ответила та. — А он это знает. Поэтому он его и выкрал.

Заведующей приютом шел шестой десяток; у нее было дряблое лицо и добрый, нерешительный взгляд неудачницы. «Я этому не верю!» — сказала она. Но на третий день сама вызвала диетсестру. Выглядела она так, будто ни разу за эти дни не спала. У диетсестры, напротив, вид был вполне свежий, вполне безмятежный. Она не дрогнула, когда начальница сказала ей, что сторожа и мальчика разыскали.

— В Литтл-Роке. Он пытался сдать там мальчика в приют. Его приняли за ненормального и задержали до прихода полиции.— Она посмотрела на младшую.— Вы говорили мне... На днях вы сказали... Откуда вам это известно?

Диетсестра не отвела взгляда.

— Мне неизвестно. Я понятия не имела. Конечно, я понимаю — то, что дети прозвали его нигером, ничего не значит...

— Нигером? — повторила хозяйка.— Дети?

— Они не первый год зовут его нигером. Порой мне кажется, что у детей есть способность понимать такие вещи, которых люди моих или ваших лет просто не замечают. У детей и у стариков вроде него, вроде этого сторожа. Вот почему он всегда сидел в дверях, когда они играли на дворе: следил за мальчиком. Может быть, он догадался потому, что слышал, как дети зовут его нигером. Но, может быть, и раньше знал. Если помните, они тут появились почти одновременно. Он у нас и месяца не проработал до той ночи... под рождество, помните... когда Чар... когда ребенка нашли на ступенях? — Она говорила гладко, наблюдая за смущенным, обескураженным взглядом старшей, которая смотрела ей в глаза так, словно не могла оторваться. Сама же она глядела ласково и невинно.— Мы разговорились на днях, и он все пытался мне что-то сказать про ребенка. Что-то он хотел сказать мне — кому-нибудь сказать,— но в конце концов, наверно, побоялся, не захотел, и я ушла. Я совсем об этом забыла. Как-то вылетело у меня из головы... но тут... — Голос у нее пресекся. Она смотрела на старшую, а лицо ее прояснялось, как будто ее внезапно осенило; никто бы не мог определить, притворство это или нет.—А-а, так вот почему... А-а, теперь я все поняла. Ведь что было за день до этого, как они исчезли, скрылись? Я шла по коридору к себе; как раз в этот день у нас был разговор — когда он мне что-то начал рассказывать, а потом передумал; и вдруг — он навстречу, останавливает меня; я еще, помню, удивилась — раньше никогда его в доме не видела. И он сказал... он говорил как ненормальный и выглядел как ненормальный. Я испугалась. до того испугалась, что двинуться не могла, да еще он дорогу загораживает... и говорит: «Ты ей сказала?» Я спрашиваю: «Кому? Что сказала?» — и тут понимаю, что он о вас говорит: передала ли я вам, что он пытался завести со мной разговор о мальчике. Чего он хотел, что я должна была передать — непонятно; я уже закричать хотела, но тут он сказал: «Что она сделает, если узнает про это?» Как отвечать, как от него отделаться — ума не приложу, но тут он сказал: «Можете не говорить. Я сам знаю, что она сделает. Она пошлет его в приют для нигеров».

— Для негров?

— Сама не понимаю, как мы могли так долго этого не замечать. Только посмотрите на его лицо, на глаза, на волосы. Конечно, это ужас. Но больше его некуда девать, правда?

Нерешительные, встревоженные глаза начальницы смотрели сквозь стекла очков затравленно, студенисто, словно она пыталась уловить что-то за пределами их физической зоркости.

— Но зачем ему понадобилось увозить ребенка?

— Ну, если хотите знать мое мнение, то, по моему, он ненормальный. Вы ви-

дели его в коридоре в тот веч... в тот день. Конечно, это плохо для ребенка — после нас, после того, как он воспитывался с белыми, отправиться в негритянский приют. Не его вина, что он нигер. Но и не наша ведь...— Она умолкла, глядя на старшую.

Глаза начальницы смотрели из-за стекол все так же загнанно, нерешительно, безнадежно, губы ее дрожали, когда она выговаривала слова. И слова были безнадежные, но при этом достаточно решительные, достаточно определенные:

— Мы должны пристроить его. Пристроить немедленно. Кто к нам обращался? Если вы дадите мне папку...

...Когда мальчик проснулся, его несли. Была кромешная тьма и холод; его нес вниз по лестнице кто-то, двигавшийся безмолвно и с бесконечной осторожностью. Между мальчиком и державшей его рукой был зажат комок, в котором он угадал свою одежду. Он не вскрикнул, не проронил ни звука. По запаху, по воздуху он догадался, что находится на черной лестнице, ведущей от задней двери к комнате, где с тех пор, как он себя помнил, среди сорока других кроватей стояла его кровать. И опять же по запаху догадался, что несет его мужчина. Но он не проронил ни звука и лежал неподвижно, расслабленно, как и во время сна, плыл высоко на невидимых руках, ехал, медленно спускался к задней двери, которая выходила на площадку для игр.

Он не знал, кто его несет. И не беспокоился из-за этого, ибо думал, что знает, куда его несут. Вернее, зачем. Но и куда несут — не беспокоился. История была двухлетней давности, в ту пору ему шел четвертый год. Однажды они недосчитались девочки Алисы, ей было двенадцать лет. Он любил ее — настолько, что позволял себя нянчить; а может быть, за это и любил. Для него она была взрослой и почти такой же большой, как женщины, распоряжавшиеся его едой, мытьем и сном, с той только разницей, что она не была и так и не стала его врагом. Однажды ночью она его разбудила. Она прощалась с ним, но он этого не понял. Он был сонный, недовольный, так и не проснулся как следует — и не протестовал только потому, что она всегда старалась быть с ним ласковой. Он не понял, что она плачет, ибо не знал, что взрослые плачут, а к тому времени, когда узнал, память уже забыла о ней. И так же, не протестуя, он уснул, а на утро ее уже не было. Исчезла, не оставив следов, даже старой одежды, и сама кровать, на которой она спала, уже была занята новым мальчиком. Он так и не узнал, куда она делась. В тот день он слышал, как несколько взрослых девочек, собиравших ее в дорогу, говорили — приглушенно, таинственно, все еще с придыханием, будто собирали невесту,— о новом платье, о новых туфлях, об экипаже, который ее увез. Тогда он понял, что она уехала навсегда — сгинула за железными воротами стальной ограды. И тогда он словно увидел ее: фигурку, которая в момент исчезновения за лязгнувшими воротами стала героической и, не уменьшаясь в размерах, таяла в чем-то безымянном и великолепном, как закат. Больше года прошло, прежде чем он узнал, что она была не первой — не будет последней. Что и другие — не одна Алиса — исчезали за лязгнувшими воротами в новом платье или новом комбинезоне, с аккуратным, маленьким — порою меньше коробки от туфель — узелком в руках. Он думал, что именно это и происходит с ним сейчас. Он думал, что теперь ему понятно, как им всем удавалось исчезнуть, не оставив после себя следов. Он думал, что их уносили, как и его, в глухую полночь.

Он уже чувствовал, что впереди дверь. Она была совсем близко; он точно знал, на сколько еще невидимых ступеней спустится с безмолвной бесконечной осторожностью человек, который его несет. Он чувствовал под собой напряженные жесткие руки и узелок, комок, в котором он угадал свою одежду, собранную в темноте, ощупью. Человек остановился. Когда он нагнулся, ноги мальчика, описав дугу, стали на пол, и пальцы, коснувшись холодных, как железо, досок, загнулись вверх.

— Стой,— сказал человек.

И тогда ребенок понял, кто это.

Он узнал его сразу и не удивился. Удивилась бы начальница, если бы узнала, как хорошо он знает этого человека. Мальчик не знал его имени, и за те три года, что он был сознательным существом, они не перемолвились и сотней слов. Но человек этот был самой определенной личностью в его окружении, не исключая и девочки Алисы. Даже в трехлетнем возрасте мальчик чувствовал, что между ними есть связь, не нуждающаяся в словах. Он знал, что когда он играет на площадке, этот

человек следит за ним со своего стула в дверях котельной, следит с глубоким и неослабным вниманием. Будь ребенок постарше, он, может быть, подумал бы *Он ненавидит меня и боится. До того, что не может спустить с меня глаз.* А в тех же летах, но со словарем побогаче, мог бы подумать *Вот почему я не такой, как другие: потому что он все время за мной следит.* Он примирился с этим. И потому не удивился, узнав, кто забрал его ночью из постели и понес вниз; и стоя перед дверью в кромешной и холодной тьме, пока человек помогал ему одеться, он мог бы подумать *Он ненавидит меня настолько, что пытается предотвратить какое-то надвигающееся на меня событие.*

Дрожа, торопясь изо всех сил, он послушно оделся; оба они при этом путались в его маленьких вещах, но кое-как их натягивали.

— Ботинки,— сказал человек все тем же неслышным шепотом,— на.

Мальчик сел на холодный пол, чтобы обуться. Теперь человек его не трогал, но ребенок слышал, чувствовал, что и он наклонился, занят чем-то. «Тоже ботинки надевает»,— подумал он. Пошарив, человек опять дотронулся до него, поднял на ноги. Шнурки у мальчика не были завязаны. Он еще этому не научился. Он не сказал, что не завязал шнурки. Он вообще не проронил ни звука. Только стоял, а потом его завернули в какую-то вещь — по запаху он догадался, что она принадлежит этому человеку,— и снова подняли. Дверь открылась, разинулась. В нее хлынул свежий холодный воздух, свет уличных фонарей; он увидел фонари, голые фабричные стены, высокие бездымные трубы на фоне звезд. Высвеченная улицей стальная ограда стояла, как строй изможденных солдат. Пока его несли через площадку, его свисающие ноги качались в такт шагам мужчины а незашнурованные ботинки похлопывали по щиколоткам. Наконец они очутились у железных ворот и вышли за ограду.

Ждать трамвая им пришлось недолго. Будь мальчик постарше, он отметил бы, как хорошо этот человек рассчитал время. Но он ничего не замечал и не удивлялся. Он просто стоял на перекрестке рядом с мужчиной, в расшнурованных ботинках, до пят закутанный в мужское пальто, с широко раскрытыми, круглыми глазами и спокойным, совсем не сонным лицом. Подъехал трамвай — ряд окон,— дребезжа, остановился и жужжал, пока они входили. В вагоне было почти пусто — шел третий час ночи. Здесь мужчина заметил, что ботинки не зашнурованы. и зашнуровал их, а ребенок наблюдал за этим, сидя смирно, с вытянутыми ногами. Вокзал был далеко, а на трамвае ему уже приходилось ездить, так что, когда они добрались до вокзала, мальчик спал. Когда он проснулся, был день и они уже давно ехали на поезде. На поезде ему ездить не приходилось, но никто бы об этом не догадался. Он сидел смирно, как в трамвае, закутанный в мужское пальто весь, кроме головы и торчащих вперед ног, и рассматривал местность — холмы, деревья, коров и прочее: он никогда не видел, чтобы они плыли мимо окна. Увидев, что он не спит, мужчина вынул еду, завернутую в газету. Хлеб с ветчиной.

— На,— сказал мужчина.

Он взял и стал есть, глядя в окно.

Он не сказал ни слова, не выразил ни малейшего удивления — даже на третий день, когда пришли полицейские и забрали его и мужчину. Дом, где они жили теперь, ничем не отличался от того, который они покинули ночью — те же дети с разными именами, те же взрослые с разными запахами,— и так же мало причин уезжать из нового дома, как покидать старый. Но он не удивился, когда они пришли и велели встать и одеться, не потрудившись объяснить, почему и куда он опять должен ехать. Может быть, он понимал, что едет обратно; может быть, с детской прозорливостью еще вначале понял то, чего не понимал мужчина: что так не будет, не может продолжаться. И снова он видел из поезда те же холмы, те же деревья, тех же коров, но — с другой стороны, в другом направлении. Полицейский дал ему еду. Хлеб с ветчиной; только вынул его не из газеты. Мальчик заметил это, но ничего не сказал и, может быть, ничего не подумал.

Потом он очутился дома. Может быть, он ожидал, что по возвращении его накажут, хотя за какое именно преступление — узнать и не рассчитывал, ибо давно усвоил, что если дети могут принимать взрослых как взрослых, то взрослые детей не умеют воспринимать иначе как тоже взрослых. Он уже забыл историю с пастой.

Теперь он избегал диетсестру так же, как месяц назад старался попасться ей на глаза. Он был так занят этим, что давно забыл причину, а вскоре забыл и путешествие, ибо ему не суждено было знать, что между тем и другим есть связь. Путешествие он время от времени вспоминал, но рассеянно, смутно. И бывало это только тогда, когда ему случалось взглянуть на дверь котельной и вспомнить человека, который прежде сидел там, наблюдая за ним, а теперь исчез совершенно и, по обычаю всех покидавших дом, не оставил следов — даже плетеного стула на пороге. И куда он мог деться, ребенок тоже не интересовался, не задумывался.

Однажды вечером за ним пришли в класс. Это было за две недели до рождества. Две молодые женщины — диетсестры среди них не было — отвели его в ванную, вымыли, одели в чистый комбинезон, расчесали ему влажные волосы и доставили в кабинет начальницы. Там сидел мужчина, чужой. Он посмотрел на мужчину и все понял — раньше, чем начальница успела раскрыть рот. Может быть, память знала, знание начало вспоминать, а может быть — желание, ибо к пяти годам нельзя накопить столько отчаяния, чтобы родилась надежда. Может быть, он внезапно вспомнил путешествие в поезде и еду, потому что даже память простиралась ненамного дальше этого.

— Джозеф,— сказала начальница,— хотел бы ты уехать и жить в деревне с хорошими людьми?

Он стоял в новом жестком комбинезоне, с красным, горящим от простого мыла и грубого полотенца лицом и ушами и слушал чужого. Один раз посмотрел на него — и увидел плотного мужчину с густой коричневой бородой и волосами, стриженными не то чтобы недавно, но коротко. И борода и волосы были жесткие, буйные, без седины, словно пигмент оказался неприступен для сорока с лишним лет, прошедшихся по лицу. Глаза были светлые, холодные. Костюм — жесткий, строгий, черный. На колене лежала черная шляпа, ее придерживала чистая широкая рука, сжавшая в кулаке мягкий фетр. Поперек жилета тянулась тяжелая серебряная цепь от часов. Надежные черные башмаки покоились на полу бок о бок; они были начищены до блеска. При взгляде на него даже пятилетнему ребенку было понятно, что он не употребляет табак и в других этого не потерпит. Но мальчик не смотрел на него — из-за его глаз.

Однако он чувствовал на себе его взгляд — холодный и пристальный, но не нарочито суровый. Таким взглядом он мог бы изучать лошадь или подержанный плуг — заранее зная, что найдет изъяны, заранее зная, что купит. Говорил он обстоятельно, веско, с расстановкой — голосом человека, требующего, чтобы его выслушали если и не со вниманием, то хотя бы молча.

— Значит, вы либо не можете, либо не хотите ничего больше сказать о его родословной.

Начальница на него не смотрела. Глаза ее за стеклами очков были студенистыми — по крайней мере, в эту минуту. Ответила она сразу, как-то чересчур сразу:

— Мы не пытаемся выяснять их родословную. Как я уже сказала, его подобрали здесь на ступеньках в канун рождества, без двух недель пять лет назад. Если для вас так важна родословная, вам вообще не стоит усыновлять ребенка.

— Я не совсем то хотел сказать,— возразил незнакомец. Тон у него был слегка примирительный. Он ухитрялся извиняться, ни на йоту не отступив от своих убеждений.— Надо бы мне, пожалуй, потолковать с мисс Аткинс (так звали диетсестру), поскольку я лично с ней состоял в переписке.

И снова начальница ответила ему холодно и без промедления — чуть ли не раньше, чем он успел договорить:

— Я, вероятно, могу дать вам не меньше сведений об этом или любом другом из наших детей, чем мисс Аткинс, потому что ее официальные обязанности ограничиваются здесь кухней и столовой. Просто вышло так, что в данном случае она любезно согласилась служить секретарем в нашей переписке с вами.

— Не важно,— сказал незнакомец.— Не важно. Я просто подумал...

— Что вы подумали? Мы никого не принуждаем брать у нас детей, так же как детей не принуждаем уезжать против воли, если у них есть достаточно серьезные причины. Это вопрос, который стороны должны решать между собой. Мы только советуем.

— Ну, ну,— сказал незнакомец.— Это не важно, еще раз говорю. Я не сомнева-

юсь, что малец у нас приживется. Он найдет себе хорошую семью в лице меня и миссис Макихерн. Люди мы уже немолодые, живем тихо. Разносолов и праздности не найдет. И работы не больше, нежели ему на пользу. Я не сомневаюсь, что, несмотря на его происхождение, он взрастет у нас в страхе Божьем и в отвращении к праздности и суете.

Так вексель, который он подписал два месяца назад тюбиком пасты, был опротестован, а до сих пор не вспоминавший о нем должник, закутанный в чистую попону, маленький, бесформенный, неподвижный, сидел в коляске, трясшейся в декабрьских сумерках по заледенелым ухабам. Ехали весь день. В полдень мужчина накормил его, достав из-под сиденья картонку с деревенской едой, приготовленной три дня назад. Но заговорил он с мальчиком только сейчас. Одетым в варежку кулаком, в котором был зажат кнут, он показал вперед на единственный огонек, светивший в сумраке, и произнес одно-единственное слово.

— Дом,— сказал он.

Ребенок ничего не сказал. Мужчина смотрел на него сверху. Он тоже закутался от холода — большой, коренастый, бесформенный, чем-то похожий на булыжник, и не столько крутой, сколько безжалостный.

— Я говорю, вон твой дом.

Ребенок по-прежнему не отвечал. Он никогда не видел своего дома, поэтому ему нечего было сказать. А чтобы говорить, ничего при этом не сказав, он был еще слишком мал.

— Здесь ты найдешь кров, и хлеб, и заботу верующих людей,— сказал мужчина.— И работу себе по силам, которая убережет тебя от дурного. Ибо ты у меня скоро усвоишь, что два есть порока — леность и праздномыслие, две добродетели — работа и страх Божий.

Ребенок опять ничего не сказал. Он никогда не работал и не боялся Бога. О Боге он знал меньше, чем о работе. Работа, которую олицетворяли люди с граблями и лопатами на площадке для игр, происходила на его глазах шесть дней в неделю; Бог же появлялся только по воскресеньям. И тогда, если не считать непременного испытания чистотой, он был музыкой, приятной для слуха, и словами, слуха не задевавшими вовсе,— в целом приятным, хотя и несколько утомительным. Мальчик ничего не сказал. Коляска подскакивала, крепкие, ухоженные мулы поторапливались — к стойлу, к корму, к дому.

И было еще одно, что он вспомнил гораздо позже — когда память уже не признавала того лица, не признавала поверхности воспоминания. Они в кабинете начальницы: он стоит неподвижно, избегая смотреть в глаза незнакомцу, но чувствует на себе его взгляд и ждет, когда незнакомец скажет то, что думают его глаза. И он слышит:

— Кристмас. Языческая фамилия. Кощунство. Я ее переменю.

— Это ваше законное право,— ответила начальница.— Нам важно не как их зовут, а как с ними обращаются.

Но чужой уже никого не слушал — так же, как ни к кому не обращался.

— С нынешнего дня его будут звать Макихерн.

— Это разумно,— сказала начальница,— дать ему вашу фамилию.

— Он будет есть мой хлеб и соблюдать мою религию,— сказал незнакомец.— Почему бы ему не носить мою фамилию?

Мальчик не слушал. Он был безучастен. Его это мало беспокоило — не больше, чем если бы незнакомец сказал, что день жаркий, когда он на самом деле не жаркий. Настолько мало, что он даже про себя не сказал *Меня не Макихерном зовут. Меня зовут Кристмасом.* Беспокоиться из-за этого пока не стоило. Времени впереди было много.

— Почему бы и нет, в самом деле? — сказала начальница.

7

И вот что знает память — двадцать лет спустя память еще будет верить *В тот день я стал мужчиной.*

Чистая спартанская комната благоухала воскресеньем. Чистые штопаные зана-

вески на окнах колыхались от ветерка, пахшего взрыхленной землей и лесным яблоком. На желтом, под дуб, мелодеоне, педали которого были обиты вытертой и обтрепанной ковровой тканью, стояла ваза для фруктов с цветами шпорника. Мальчик сидел на жестком стуле за столом, на котором стояла никелированная лампа и лежала огромная Библия с латунными застежками и петлями и латунным замком. Мальчик был в чистой белой рубашке без воротничка и темных брюках, новых и жестких. Ботинки его были начищены недавно и неумело, как мог начистить восьмилетний ребенок,— с тусклыми пятнами там и сям, особенно на задниках, куда не попала вакса. На столе перед ним лежал раскрытый пресвитерианский катехизис.

Макихерн стоял у стола. Он был в чистой сатиновой рубашке и тех же черных брюках, в которых мальчик увидел его в первый раз. Его волосы, влажные и все еще без седины, были зачесаны на круглой голове гладко и аккуратно. Борода тоже расчесана, тоже еще влажна.

— Ты не старался выучить,— сказал он.

Мальчик не поднял глаз. Он не шевельнулся. Но лицо мужчины не стало от этого более каменным.

— Я старался.

— Тогда постарайся еще. Даю тебе еще час.

Макихерн вынул из кармана пузатые серебряные часы, положил на стол циферблатом кверху, придвинул к столу еще один жесткий стул с прямой спинкой и сел, чисто вымытые руки положив на колени, ровно поставив ноги в тяжелых начищенных башмаках. На них не было тусклых пятен, не смазанных ваксой. Вчера вечером, однако, во время ужина они были. А позже, когда мальчик, раздевшись на ночь, остался в одной рубашке, его выпороли, и он начистил их сызнова. Мальчик сидел за столом. Лицо его, потупленное, неподвижное, не выражало ничего. В чистую голую комнату замирающими порывами влетал весенний ветер.

Это происходило в девять часов утра. Они сидели тут с восьми. Церкви поблизости были, но пресвитерианская находилась в пяти милях и до нее был час езды. В половине десятого появилась миссис Макихерн. Она робко заглянула в комнату — уже в черном платье, в шляпе,— маленькая забитая женщина с чуть согнутой спиной. Выглядела она лет на пятнадцать старше своего кряжистого, ражего супруга. В комнату она даже не вошла. Остановилась на пороге, постояла — в шляпе, в черном платье, порыжелом, но, как всегда, вычищенном, с зонтиком и веером в руках; странное выражение было в ее глазах: казалось, все, что она слышит и видит, она слышит и видит через более явственный образ и голос мужчины, как если бы она была медиумом, а ее ражий безжалостный муж — духом. Возможно, он и услышал ее. Но не оглянулся и не заговорил. Она повернулась и ушла.

Ровно через час Макихерн поднял голову.

— Теперь знаешь? — спросил он.

Мальчик не шелохнулся.

— Нет, — сказал он.

Макихерн встал, медленно, не спеша. Он взял со стола часы, закрыл их и положил в карман, снова пропустив цепь через подтяжку

— Пошли,— сказал он.

Он не оглядывался. Мальчик последовал за ним по коридору в глубину дома; он тоже шел выпрямившись, молча, с поднятой головой Их спины выражали одинаковое упрямство, будто наследственное. Миссис Макихерн была на кухне — все еще в шляпе, все еще с зонтиком и веером в руках. Она смотрела на дверь, когда они проходили мимо.

— Па,— сказала она.

Ни тот, ни другой даже головы не повернули. Словно не слышали, словно она и не сказала ничего. Они прошли мимо двухзвенной цепочкой — более схожие в непреклонном отрицании всякого компромисса, чем если бы их связывало кровное родство. Они пересекли двор и вошли в хлев. Макихерн отворил дверь стойла и отступил в сторону. Мальчик вошел в стойло. Макихерн снял с гвоздя упряжной ремень. Ремень был не старый, не новый, как его башмаки. Он был чистым, как башмаки, и пах, как сам хозяин,— чистой, крепкой, ядреной кожей. Мужчина посмотрел на мальчика.

— Где книга?— спросил он.

Мальчик смирно стоял рядом, на его спокойном лице сквозь ровную пергаментную желтизну проступила легкая бледность.

— Ты ее не принес,— сказал Макихерн.— Ступай обратно и принеси.

Голос его не был недобрым. В нем вообще не было ничего человеческого, личного. Он был просто холодный, неумолимый, как писаное или печатное слово. Мальчик повернулся и вышел.

Когда он вошел в дом, миссис Макихерн была в коридоре.

— Джо,— сказала она.

Он не отозвался. Он даже не взглянул на нее — на ее лицо, на деревянное движение руки, приподнявшейся в деревянной пародии на самый ласковый жест, доступный человеческой руке. Он прошел мимо как деревянный, с непреклонным лицом — непреклонным, быть может, от гордости и отчаяния. А может быть — от тщеславия, глупого мужского тщеславия. Он взял со стола катехизис и вернулся в конюшню.

Макихерн ждал с ремнем наготове.

— Положи,— сказал он.

Мальчик положил книгу на пол.

— Не сюда, — сказал Макихерн без гнева.— Ты думаешь, что пол в хлеву, топталище скота,— место для Слова Божьего. Но я тебя и в этом направлю.— Он сам поднял книгу и положил на выступ.— Спусти штаны,— сказал он.— Мы их марать не будем.

Штаны упали на пол; мальчик остался в короткой рубашке, не закрывавшей ног. Он стоял, прямой и тонкий. При первом ударе ремня он не отпрянул, не дрогнуло и его лицо. Он смотрел прямо перед собой со спокойным, углубленным выражением, как монах на картине. Макихерн принялся хлестать, методично, медленно, с рассчитанной силой, по-прежнему без гнева и азарта. Трудно сказать, чье лицо было более спокойным и углубленным, в чьем было больше убежденности.

Он ударил десять раз и перестал.

— Возьми книгу,— сказал он.— Штаны не трожь.

Он подал мальчику катехизис. Мальчик взял его. И продолжал стоять — прямой, с поднятым лицом и книжкой, в позе благоговейного восторга. Он был точь-в-точь как мальчик из католического хора, только без стихаря, и вместо нефа таяло в сумраке стойло, грубая дощатая стена, за которой в сухом аммиачном уединении возилась, изредка всхрапывая и лениво стукая копытом, невидимая скотина.

Макихерн не сгибаясь сел на ясли и сидел расставив ноги, одну руку положив на колено, а на другой ладони держа серебряные часы; его чистое бородатое лицо было твердым, словно вытесанным из камня, глаза смотрели безжалостно и холодно, но не зло.

Так они провели час. Один раз за это время в задней двери дома показалась миссис Макихерн. Но ничего не сказала. Только постояла, глядя на хлев,— в шляпе, с зонтиком и веером. Потом вернулась в дом.

И снова ровно через час, секунда в секунду, Макихерн спрятал часы в карман.

— Теперь знаешь? — спросил он.

Мальчик не ответил — прямой, застывший, с раскрытой книжкой перед глазами. Макихерн вынул книжку из его рук. Мальчик при этом не шелохнулся.

— Повторяй катехизис,— сказал Макихерн.

Мальчик смотрел на стену прямо перед собой. Теперь лицо его было совсем белым, несмотря на ровный насыщенный тон кожи. Неторопливо и аккуратно Макихерн положил книгу на выступ и взял ремень. Он ударил десять раз. Когда он кончил, мальчик еще мгновение стоял неподвижно. Он еще не завтракал; они оба еще не завтракали. Затем мальчик пошатнулся и упал бы, если бы Макихерн не схватил его за руку и не поддержал.

— Поди,— сказал Макихерн и потянул его к яслям.— Сядь тут.

— Нет,— сказал мальчик. И стал выдергивать руку, которую держал Макихерн.

Тот отпустил.

— Что с тобой? Ты болен?

— Нет,— сказал мальчик. Голос у него был слабый, лицо белое.

— Возьми книгу,— сказал Макихерн, вкладывая ее в руку мальчика.

За окном показалась миссис Макихерн — она опять вышла из дома. Теперь она была в соломенной шляпе и длинном линялом платье и несла кедровую бадью. Она прошла за окном, не взглянув в их сторону, и скрылась из виду. Немного погодя до них донесся протяжный скрип колодезного ворота, звучавший мирно и удивительно в тишине богослужебного дня. Потом она снова прошла за окном, изогнувшись под тяжестью бадьи, и скрылась в доме, не взглянув на хлев.

Снова ровно через час Макихерн оторвал взгляд от часов.

— Ты выучил? — спросил он.

Мальчик не ответил, не пошевелился. Когда Макихерн подошел к нему, он увидел, что мальчик вовсе не смотрит на страницу, что глаза у него остановившиеся и пустые. Когда он взялся за книгу, он обнаружил, что мальчик цепляется за нее, как за веревку или за столб. Когда он силой отнял у него книгу, мальчик грянулся об пол и больше не шевелился.

Когда он очнулся, день был на исходе. Он лежал на своей кровати в чердачной комнате под покатой крышей. В комнате стояла тишина, вползали сумерки. Ему было хорошо; он лежал, покойно глядя на скошенный потолок, и не сразу почувствовал, что рядом кто-то сидит. Это был Макихерн. Теперь он тоже был одет по-будничному — не в комбинезон, в котором ходил в поле, а в выгоревшую чистую рубашку без воротничка и выгоревшие чистые брюки защитного цвета.

— Ты не спишь,— сказал он. Он протянул руку и отвернул покрывало.— Давай,— сказал он.

Мальчик не шевелился.

— Вы опять будете меня бить?

— Давай,— сказал Макихерн.— Встань.

Мальчик слез с кровати и встал — худенький, в мешковатом бумажном белье. Макихерн тоже зашевелился — туго, неуклюже, как будто его сковывали собственные мышцы и движение стоило ему неимоверной затраты сил; мальчик с детским интересом, но без удивления наблюдал, как он медленно и тяжело опускается на колени.

— Стань на колени,— сказал Макихерн.

Мальчик стал; в тесной сумрачной комнате стояли на коленях двое: ребенок в перешитом белье и безжалостный мужчина, не знавший, что такое сомнение или сострадание. Макихерн начал молиться. Он молился долго, монотонным, нудным, усыпляющим голосом. Он просил, чтобы ему простилось прегрешение против воскресного дня и то, что он поднял руку на ребенка, на сироту, любезного Богу. Он просил, чтобы упрямое сердце ребенка смягчилось и ему тоже простился грех непослушания — по ходатайству человека, которого мальчик презрел и ослушался,— и предлагал Всевышнему быть таким же великодушным, как он сам,— по причине и вследствие сознательного милосердия.

Он кончил и грузно поднялся на ноги. Мальчик остался на коленях. Он вообще не пошевелился. Но глаза его были открыты (он ни разу не отвернул, даже не потупил лица) и лицо было вполне спокойно — спокойно, безмятежно, вполне непроницаемо. Он услышал, как мужчина возится у стола, где стоит лампа. Чиркнула, вспыхнула спичка. Пламя выровнялось на фитиле под стеклянным шаром, на котором рука мужчины казалась кровавой. Тени метнулись и выровнялись. Макихерн что-то взял со стола возле лампы: катехизис. Он обернулся к мальчику: нос, гранитный выступ скулы, заросшей волосами до самой глазницы, прикрытой стеклом очков.

— Возьми книгу,— сказал он.

Началось это в воскресенье, до завтрака. Он так и не позавтракал; вероятно, ни он, ни Макихерн о еде ни разу не вспомнили. Макихерн и сам не завтракал, хотя подошел к столу и попросил прощения за пищу и необходимость ею питаться. Обеденный час мальчик проспал из-за нервного переутомления. А об ужине ни тот, ни другой не вспомнили. Мальчик даже не понимал, что с ним происходит, почему он ощущает такую слабость и покой.

Вот и все, что он чувствовал, лежа в кровати. Лампа еще горела; на дворе было темно. Время шло; но ему казалось, что если он повернет голову, то увидит обоих, себя и мужчину, на коленях возле кровати или, по крайней мере,— ямки на коврике от

двух пар колен, не заполненные ничем осязаемым. Сам воздух, казалось, еще источал этот монотонный голос, который был похож на бормотание сновидца и говорил, умолял, препирался с кем-то, неспособным даже оставить призрачную ямку на настоящем коврике.

Так он лежал — на спине, скрестив на груди руки, словно надгробное изваяние,— и вдруг снова услышал на узкой лесенке шаги. Шаги были не мужские: он слышал, как в сумерки Макихерн уехал на коляске в церковь, не пресвитерианскую, а ближнюю, в трех милях,— замаливать утреннее.

Не поворачивая головы, мальчик слышал, как карабкается по лестнице миссис Макихерн. Слышал, как приближается к его кровати. Он не смотрел на нее, но скоро ее тень упала на стену, стала видна, и он увидел, что миссис Макихерн несет какую-то вещь. Это был поднос с едой. Она поставила поднос на кровать. Он ни разу не взглянул на нее. Не шевельнулся.

— Джо,— сказала она.

Он не шевелился.

— Джо,— сказала она. Она видела, что глаза у него открыты. Она к нему не прикоснулась.

— Не хочу есть,— сказал он.

Миссис Макихерн не шевелилась. Она стояла, сложив руки под фартуком. Казалось, она на него тоже не смотрит. Казалось, она обращается к стене над его кроватью

— Я знаю, что ты думаешь. Нет. Он не говорил, чтобы я отнесла тебе поесть. Я сама догадалась. Он не знает. Эта еда не от него.

Он не шевелился. Его лицо было спокойно, как лицо изваяния, и обращено к скату дощатого потолка.

— Ты целый день не ел. Сядь и поешь. Это не он велел, чтобы я отнесла тебе поесть. Он не знает. Я сама собрала — ждала только, пока он уедет.

Тогда он сел. У нее на глазах он поднялся с кровати, взял поднос, ушел с ним в угол и перевернул, скинув посуду с едой на пол. Затем он вернулся на кровать, держа поднос как дароносицу, только вместо стихаря на нем было белье, купленное для взрослого и ушитое. Она уже не смотрела на него, хотя ни разу за это время не пошевелилась. Руки ее были спрятаны под фартуком. Он влез на кровать и снова лег навзничь, глядя широко раскрытыми глазами в потолок. Он видел ее неподвижную тень, расплывчатую, чуть согнутую. Потом тень исчезла. Он не повернул головы, но услышал, как она присела в углу и собирает на поднос разбитую посуду. Потом она вышла из комнаты. Стало совсем тихо. Лампа горела ровно, ровным язычком; на стене мелькали тени мошек, большие как птицы. Он чуял, слышал за окном темноту, весну, землю.

Тогда ему было всего восемь лет. Годы прошли, прежде чем память распознала то, что он помнил — годы с того вечера, когда через час после ее ухода он поднялся с кровати, пошел и стал на колени в углу, как не желал стоять на коврике, и, над поруганной пищей склонившись, стал есть, как дикарь, как собака.

Сумерки; ему полагалось быть за несколько миль отсюда — дома. Хотя в субботние вечера он принадлежал самому себе, никогда еще в такой поздний час он не отлучался так далеко от дома. Дома его ожидала порка. Но не за то, что он сделал или не сделал во время отлучки. Хотя он не совершил никакого греха, по возвращении его должны были выпороть так же, как если бы он согрешил на глазах у Макихерна.

Но он, наверное, и сам еще не знал, что не согрешит. Впятером они тихо собрались в сумерки у покосившихся дверей брошенной лесопилки, куда перед тем вошла и, раз оглянувшись, скрылась девушка-негритянка, за которой они наблюдали, спрятавшись метрах в ста. Устроил это один из ребят постарше — он и вошел первым. Остальные — подростки в одинаковых комбинезонах, жившие в радиусе трех миль отсюда и в свои четырнадцать—пятнадцать лет, подобно тому, кто звался среди них Джо Макихерном, умевшие пахать, доить и колоть дрова не хуже взрослых,— тащили соломинки, разыгрывая очередь. Он, наверное, и не думал об этом как о грехе, пока не подумал о человеке, который ждет его дома, ибо первейший грех для четырнадцатилетнего — быть публично обвиненным в девственности.

Настал его черед. Он вошел в сарай. Там было темно. Сразу же им овладело страшное нетерпение. Что-то рвалось из него, как раньше, когда он думал о зубной пасте. Но он не мог двинуться с места: внезапно почуяв женщину, почуяв негра, стоял, обуянный негроженским, охваченный нетерпением, и вынужден был ждать, пока не услышал от нее путеводного звука, который не был осмысленным словом и получился нечаянно. Тогда ему показалось, что он видит ее: что-то распростертое, жалкое может быть — и ее глаза. Нагнувшись, он словно заглянул в черный колодец и на дне его увидел мерцание — как отблески мертвых звезд. Он уже двигался, потому что его нога коснулась ее. Потом коснулась еще раз, потому что он ее пнул. И снова пнул, с силой, и продолжал пинать придушенный вопль удивления и страха. Она завизжала, он схватил ее за руку, рванул вверх и стал бить, исступленно, наотмашь, молотя, может быть, ее голос, но попадая в плоть,— обуянный негроженским, охваченный нетерпением.

Затем она отлетела от его кулака, и сам он тоже отлетел назад, потому что остальные навалились на него, толпясь, хватая, шаря, а он отвечал ударами, и в горле у него клокотало от ярости и отчаяния. Он чуял теперь только мужской запах, они — тоже, а где-то внизу визжала, пыталась выбраться Она. Они топали и мотались, молотя по всему, что касалось руки или тела, и наконец рухнули кучей — Джо в самом низу. Но он и тут отбивался, боролся, плача. Ее уже не существовало. Они просто дрались — словно ветром их обдало, резким и свежим. Они придавили его, растянули на земле.

— Ну, кончишь теперь? Ты попался. Говори, кончишь?

— Нет,— сказал он. Он извивался, пробовал встать.

— Кончай, Джо! Со всеми не сладишь. Мы же не хотим с тобой драться.

— Нет,— сказал он, пыхтя и вырываясь.

Ни один из них не мог разглядеть, где кто. Они совсем забыли о девушке, о причине драки и о том, была ли вообще причина. Для тех четверых все получилось автоматически, непроизвольно: инстинктивное побуждение самца драться за самку или из-за самки, с которой он спарился недавно или желает спариться. Но никто из них не понимал, почему дерется он. А он им сказать не мог. Они прижимали его к земле и переговаривались тихими сдавленными голосами.

— Эй вы, сзади, давайте отсюда. А потом мы его отпустим, разом.

— Кто его держит? Кого я держу?

— Эй, пусти. Так, погоди... вот он... Мы с...

Снова вся куча вздыбилась, напряглась. Они снова его прижали.

— Он тут, под нами. А вы отпускайте — и ходу. Дайте нам повернуться.

Двое поднялись и отступили за дверь. Затем другие двое, словно подброшенные взрывом, вылетели из темного сарая и бросились бежать. Джо ударил сразу, как только его отпустили, но уже никого не достал. Лежа на спине, он смотрел, как убегает в сумерках четверка, замедляет ход, оборачивается. Он поднялся и вышел из сарая. Он стоял у двери, отряхиваясь — тоже непроизвольно, а они тихо сошлись невдалеке и наблюдали за ним. Он на них не смотрел. Он зашагал прочь; комбинезон его сливался с сумерками. Час был поздний. Вечерняя звезда, тяжелая и сочная, висела, как цветок жасмина. Он ни разу не оглянулся. Он уходил, призраком тая в темноте; четверо ребят следили за ним, сбившись в кучу, и лица их в сумерках были маленькими и бледными. Вдруг один из них произнес неожиданно громко:

— Ага-а-а!

Джо не оглянулся. Другой голос тихо сказал, прозвучал тихо, внятно:

— Покедова, Джо, до завтра.

Он не ответил. Продолжал идти. То и дело механическим жестом он отряхивал комбинезон.

Когда впереди показался дом, небо на западе уже потухло совершенно. На выгоне за сараем бил родник: купа ив шумела и пахла, но была неразличима. Когда он приблизился, трели молодых лягушек смолкли разом, как струны, перерезанные ножницами. Он опустился на колени; в темной воде не видно было даже очертаний его головы. Он ополоснул лицо, заплывший глаз. Потом пошел дальше — через выгон, к свету в кухонном окне. Оно следило за ним выжидательно и угрожающе, как глаз.

Перед изгородью он остановился, глядя в освещенное окно. Постоял немного,

опершись на изгородь. В траве дружно стрекотали кузнечики. Над росно-серой землей между темных древесных стволов плавали и гасли светляки, блуждающие и неверные. На дереве возле дома пел пересмешник. Дальше, в лесу за родником, свистали два козодоя. А еще дальше, словно за самым дальним горизонтом лета, выла собака. Он прошел за ограду и в дверях хлева, где его дожидались две недоеные коровы, увидел неподвижно сидящего человека.

Он узнал Макихерна и даже не удивился, словно ситуация эта была совершенно логичной, разумной и неизбежной. Возможно, ему пришло в голову, что они двое всегда могут друг на друга рассчитывать, положиться друг на друга, что только ее поступки нельзя предугадать. Возможно, он не видел ничего несообразного в том, что, хотя он и воздержался от греха, который в глазах Макихерна был бы самым тяжким из возможных грехов, его сейчас накажут так же, как если бы он согрешил. Макихерн не встал. Он продолжал сидеть — бесстрастный, каменный,— и рубашка его смутно белела в черном зеве двери.

— Я подоил и накормил,— сказал он. Потом встал, неторопливо.

Возможно, мальчик знал, что ремень уже у него в руке. Он взлетал и падал неторопливо, по счету, с глухими неторопливыми хлопками. Тело мальчика было как будто из дерева, из камня: столп или башня, на котором чувствилище его размышляло, как отшельник,— созерцательно и отстраненно, в экстазе самораспятия.

К кухне они подошли бок о бок. Когда свет из окна упал на них, мужчина остановился, повернулся, приблизил к нему лицо, вглядываясь.

— Дрался,— сказал он.— Из-за чего?

Мальчик не ответил. Вид у него был бесстрастный, сосредоточенный. Немного погодя он ответил. Голос его был ровен, холоден.

— Просто так.

Они стояли.

— Ты что же, не можешь сказать или не хочешь сказать?

Мальчик не ответил. Он не смотрел в землю. Он ни на что не смотрел.

— Если ты сам не знаешь, ты дурак. А если не хочешь сказать, значит, ты нашкодил. Ты был с женщиной?

— Нет,— ответил мальчик.

Мужчина смотрел на него. Когда он заговорил, тон у него был задумчивый.

— Ты никогда мне не лгал. То есть — сколько я знаю.— Он смотрел на мальчика, на его спокойный профиль.— С кем ты дрался?

— Там был не один.

— Ага,— сказал мужчина.— Я полагаю, ты им оставил память?

— Не знаю. Наверно.

— Ага,— сказал мужчина.— Поди умойся. Ужин готов.

В ту ночь он ложился спать с твердым решением бежать из дома. Он чувствовал себя как орел: суровым, независимым, могущественным, беспощадным, сильным. Но это прошло, хотя он не понимал тогда, что ему, как орлу, клеткой была собственная плоть и все окружающее пространство.

Макихерн хватился телки только на третий день. И то потому, что наткнулся на спрятанный в хлеву новый костюм. Осмотрев его, он понял, что костюм ни разу не надеван. Костюм он нашел утром. Но ничего об этом не сказал. А вечером пришел в хлев, где Джо доил корову. Хотя он сидел на низком табурете, прислонясь головой к коровьему боку, нетрудно было заметить, что ростом он не уступит взрослому мужчине. Но Макихерн этого не видел. Если он что и видел, то ребенка, пятилетнего сироту, который сидел с ним в коляске декабрьским утром двенадцать лет назад, настороженно замерший и покорно-безразличный, как животное.

— Я не вижу твоей телки,— сказал Макихерн.

Джо не ответил. Он склонился над подойником, над шипящей струей молока. Макихерн стоял позади него, над ним, глядя сверху.

— Я говорю, твоей телки не видно.

— Знаю,— сказал Джо.— Она, наверно, у ручья. Я за ней сам присмотрю, раз она моя.

— Ага,— сказал Макихерн. Он не повысил голоса.— Пятидесятидолларовой телке вечером не место у ручья.

— Ну, это будет моя потеря,— сказал Джо.— Корова была моя.

— Была? — переспросил Макихерн.— Ты сказал, корова *была* твоя?

Джо не поднял головы. Струя молока из-под его пальцев с ровным шипением толкалась в подойник. Он слышал, что Макихерн двигается у него за спиной. Но не оглядывался, пока не кончил доить. Тогда он повернулся. Макихерн сидел на чурбаке у двери.

— Ты бы снес сперва молоко домой,— сказал он.

Джо встал; в руке у него покачивалось ведерко. Он ответил упрямо, но спокойно:

— Утром ее найду.

— Снеси домой молоко,— сказал Макихерн.— Я подожду тебя тут.

Джо постоял еще секунду. Потом повернулся. Он вышел из хлева и направился к кухне. Когда он ставил подойник на стол, появилась миссис Макихерн.

— Ужин готов,— сказала она.— Мистер Макихерн уже дома?

Джо отвернулся к двери.

— Скоро придет,— сказал он. Он чувствовал, что женщина смотрит на него.

Она сказала обеспокоенно, несмело:

— Ты как раз успеешь умыться.

— Скоро придем.

Он вернулся в хлев. Миссис Макихерн подошла к двери и смотрела ему вслед. Еще не совсем стемнело, и она увидела в дверях хлева фигуру мужа. Она не позвала его. Просто стояла и смотрела, как сходятся двое мужчин. Что они говорят, она не могла расслышать.

— Так, говоришь, она у ручья? — сказал Макихерн.

— Я сказал — может быть. На выгоне места много.

— Ага,— сказал Макихерн. Оба разговаривали спокойно.— Где же она, по-твоему?

— Не знаю. Я не корова. Не знаю, где она может быть.

Макихерн пошел.

— Давай посмотрим,— сказал он.

Джо вышел на пастбище следом за ним. До ручья было четверть мили. Перед темной лентой прибрежных деревьев мелькали светляки. Они подошли к деревьям. Стволы задыхались в болотной поросли, непролазной даже днем.

— Кликни ее,— сказал Макихерн.

Джо молчал. Не шевелился. Они стояли лицом к лицу.

— Корова моя,— сказал Джо.— Вы мне отдали ее теленком Я вырастил ее, потому что вы отдали ее мне в собственность.

— Да,— сказал Макихерн.— Отдал. Чтобы приучить тебя к ответственности владения имуществом, собственностью. К ответственности владельца перед тем, чем он владеет с Божьего соизволения. Чтобы научить тебя предусмотрительности и приумножению. Кликни ее.

Они по-прежнему стояли лицом к лицу. Возможно, смотрели друг на друга. Потом Джо повернулся и пошел вдоль топи. Макихерн последовал за ним.

— Почему не зовешь? — сказал он.

Джо не ответил. Он как будто вовсе не смотрел на ручей, на болото. Наоборот, он смотрел на одинокий огонек в той стороне, где был дом,— то и дело оглядывался на него, словно измеряя пройденный путь. Они шли не быстро, но вскоре очутились перед изгородью, отмечавшей границу выгона. Уже совсем стемнело. У изгороди Джо повернул и остановился. Теперь они смотрели друг на друга. Они опять стояли лицом к лицу. Потом Макихерн сказал:

— Что ты сделал с телкой?

— Продал,— сказал Джо.

— Ага. Продал. А могу я узнать, что ты за нее получил?

Лиц они уже не могли различить. Они были всего лишь двумя тенями, почти одинаковой высоты, только Макихерн был пошире. Голова его над белым пятном рубашки напоминала мраморные ядра на памятниках Гражданской войны.

— Корова была моя,— сказал Джо.— Если она была не моя, зачем вы мне так сказали? Зачем мне ее отдали?

— Ты прав. Она была твоей собственностью. Пока что я тебя не упрекал за продажу, если только ты взял за нее хорошую цену И если даже тебя надули, как это скорей всего и должно случиться с мальчиком восемнадцати лет,— я тебя все равно не упрекну. Хотя надо было спросить совета у старшего, кто лучше знает жизнь. Но ты должен учиться, как я учился. А спрашиваю я вот что: куда ты положил деньги на сохранение?

Джо не отвечал. Они стояли друг против друга.

— Может, ты отдал их на хранение приемной матери?

— Да,— сказал Джо. Сказал его язык — солгал помимо воли. Он отвечать не собирался. Он услышал свой ответ с каким-то тягостным изумлением. Но слова не воротишь.— Отдал ей, чтобы спрятала,— добавил он.

— Ага,— сказал Макихерн. И вздохнул — вздохнул чуть ли не с наслаждением — удовлетворенно, победоносно.— И ты, конечно, скажешь, что это приемная мать купила тебе новый костюм, который спрятан на сеновале. Ты был замечен во всех других грехах, на какие способен: в лени, в неблагодарности, в непочтительности, в богохульстве. Теперь я уличил тебя в последних двух: во лжи и разврате. Зачем тебе понадобился новый костюм, если не для распутства?

Так он признал, что ребенок, усыновленный им двенадцать лет назад,— мужчина. Стоя с ним почти нос к носу, Макихерн ударил его кулаком.

Первые два удара Джо стерпел — может быть, по привычке, может быть, от удивления. Но стерпел — чувствуя, как тяжелый кулак мужчины дважды врезался ему в лицо. Потом он отскочил, пригнулся, слизывая кровь, пыхтя. Они стояли друг против друга.

— Попробуй еще ударь,— сказал он.

Позже, когда, холодный, окоченелый, он лежал у себя на чердаке, он услышал их голоса, долетавшие по узкой лестнице из нижней комнаты.

— Я его купила! — говорила миссис Макихерн.— Я! На свои деньги от масла. Ты сказал, что я могу распоряжаться... могу тратить... Саймон! Саймон!

— Ты врешь еще нескладнее, чем он,— сказал мужчина.

Голос Макихерна, размеренный, суровый, бесстрастный, долетал по лестнице до его кровати. Он его не слушал.

— На колени. На колени. На к о л е н и, ж е н щ и н а. Проси у Бога милости и прощения — не у меня.

Она всегда старалась быть с ним ласковой — с того первого декабрьского вечера двенадцать лет назад. Когда коляска подъехала к дому, она стояла на крыльце — терпеливое забитое существо без признаков пола, если не считать аккуратного седеющего узелка на макушке да юбки. Казалось, не морил, не разлагал ее исподволь безжалостный фанатик-муж, превращая в нечто чуждое даже своим намерениям и ее разумению, а упрямо расплющивал ее, как ковкий, податливый металл, все тоньше и тоньше — в бесплотность немых надежд и неисполненных желаний, серых и тусклых, как зола.

Когда коляска остановилась, она пошла к ним так, словно заранее все наметила и отрепетировала: как она снимет его с дрожек, унесет в дом. С тех пор, как он научился ходить, его ни разу не брала на руки женщина. Он вывернулся и пошел в дом сам — зашагал, маленький и неуклюжий в широкой попоне. Она шла рядом, вилась вокруг него. Она его усадила; в том, как она вилась вокруг него, в ее проворстве, было что-то натянутое, растерянно-егозливое, словно ей хотелось повторить все сначала — чтобы он и она действовали так, как было намечено. Став перед ним на колени, она пыталась его разуть — до тех пор, пока он не догадался, чего ей надо. Он отвел ее руки и разулся сам, но на пол башмаки не поставил. Он не выпускал их из рук. Она стащила с него чулки и тут же принесла таз с горячей водой — принесла так быстро, что всякий, кроме ребенка, понял бы, что она держала его наготове, вероятно даже с самого утра. Тогда он заговорил — в первый раз: «Я вчера уже мылся».

Она не ответила. Она стояла перед ним на коленях, а он разглядывал ее макушку и руки, неловко копошившиеся у его ног. Теперь он не пытался ей помочь. Он не по-

нимал, что она затевает — даже тогда, когда его застывшие ноги погрузились в теплую воду. Он не верил, что это все,— слишком ему было приятно. Он ждал, когда начнется остальное, неприятная часть, какова бы она ни была. Такого с ним раньше никогда не случалось.

Потом она уложила его в постель. Уже почти два года он одевался и раздевался сам, никто за ним не присматривал, никто не помогал — разве что изредка какая-нибудь Алиса. Заснуть сразу он не мог, потому что слишком устал, и сейчас был растерян, нервничал, желая только одного — чтобы она наконец ушла и дала ему уснуть. А она не уходила. Наоборот, она придвинула к кровати стул и села. Печка в комнате не топилась, было холодно. На женщине была шаль, она куталась в шаль, и изо рта у нее шел пар, как будто она курила. Ему совсем расхотелось спать. Он ждал, когда начнется неприятная часть, какова бы она ни была, за какую бы провинность ни полагалась. Он не понимал, что это — все. Такого с ним тоже никогда не случалось.

С той ночи все и пошло. И он думал, что так будет продолжаться всю жизнь. В семнадцать лет, оглядываясь назад, он видел всю длинную цепь будничных, нелепых, напрасных усилий, рожденных жизненным крушением, беспомощностью и дремлющим инстинктом: кушанья, которые она готовила тайком и заставляла тайком брать и есть, когда он их не хотел, зная к тому же, что Макихерну это безразлично; случаи вроде сегодняшнего, когда она пыталась встать между ним и наказанием: заслуженное ли, нет ли, справедливое или несправедливое, оно всегда было нелицеприятным, и мужчина с мальчиком относились к нему как к естественному и неизбежному факту, покуда не вмешивалась она и не сообщала ему какого-то душка, утонченности, стойкого привкуса.

Порою он думал сказать ей наедине,— будучи уверен, что по беспомощности своей она не сможет ни перетолковать, ни оставить его слова без внимания,— сказать ей, чтобы знала и вынуждена была скрывать от мужа, чья немедленная и наперед известная реакция настолько бы заслонила и стерла само известие, что к нему больше и не возвращались бы,— сказать по секрету, расплатиться тайком за поданную тайком еду, которой он не хотел: «Слушай. Он говорит, что вскормил неблагодарного богохульника. Так вот, соберись с духом и скажи ему, кого он вскормил. Нигера он вскормил под своей крышей, за своим столом, своей собственной пищей».

Потому что она всегда была добра к нему. Мужчина, суровый, безжалостный судья, просто полагался на него — что он будет вести себя определенным образом и получать за это столь же определенное воздаяние; так же и он мог положиться на мужчину — что тот определенным образом будет реагировать на определенные его поступки и проступки. В женщине было дело — с ее женским влечением и склонностью к секретам, к тому, чтобы грешком приправить самое ерундовое и невинное занятие. За отставшей доской в стене его чердачной комнаты она спрятала в жестянке немного денег. Деньги были пустячные и прятались, понятно, не от кого иного, как от мужа, хотя мальчик думал, что мужу было все равно. Для него же это никогда не было секретом. Когда он был еще ребенком, она тайком приглашала его с собой на чердак, кралась туда со всяческими предосторожностями, как в ребячьей игре, и добавляла к своему кладу жалкие, считанные пяти- и десятицентовики (плоды невесть каких мелких уловок и обманов, против которых никто на свете и возражать бы не стал), а он смотрел серьезными круглыми глазами, как падали в жестянку монеты, в достоинстве которых он даже не разбирался. Это женщина доверялась ему, навязывала свое доверие, как навязывала свои кушанья: заговорщицки, тайком, делая тайну из тех отношений, которые этот акт доверия должен был подтверждать.

Дело было не в тяжелой работе, которую он ненавидел, не в наказаниях и несправедливости. С этим он свыкся еще до того, как узнал их обоих. Ничего другого он не ждал; это его не удивляло и не возмущало. В женщине: ее мягкость и доброту, чьей жертвой, казалось ему, он обречен быть всю жизнь,— вот что ненавидел он пуще сурового и безжалостного суда мужского. «Она хочет, чтоб я заплакал,— думал он, когда лежал на своей кровати, закинув руки за голову, холодный, окоченелый в полосе лунного света, и слышал настойчивое бормотание мужчины, долетавшее до его комнаты по дороге к небу.— Хотела, чтоб я заплакал. Тогда, думает, он у нас в руках».

8

Двигаясь бесшумно, он достал из тайника веревку. Один конец был заранее завязан петлей, чтобы закреплять в комнате. Теперь он мог моментально спуститься на землю и подняться обратно; теперь, после года с лишним упражнений, он умел, ни разу не коснувшись стены, взлететь по веревке с тенеподобной легкостью и проворством кошки. Он высунулся из окна, и отпущенный конец прошелестел вниз. В лунном свете веревка выглядела не толще паучьей нити. Затем, подвесив связанные ботинки сзади к поясу, он съехал по веревке, пронесшись, как тень, мимо окна, за которым спали Макихерны. Веревка висела прямо перед окном. Он оттянул ее вбок по стене и привязал. Потом прошел под лунным светом к хлеву, взобрался на сеновал и вытащил из тайника новый костюм. Костюм был аккуратно завернут в бумагу. Прежде чем развернуть его, он ощупал складки бумаги. «Нашел,— подумал он, — пронюхал». И шепотом произнес: «Сволочь. Гад».

Он оделся в темноте, быстро. Он уже опаздывал: пришлось дожидаться, когда они уснут после скандала из-за телки,— и виновата в скандале была женщина, потому что вмешалась, когда все уже было кончено или, по крайней мере, отложено до утра. В пакете лежала еще белая рубашка и галстук. Галстук он положил в карман, но пиджак надел, чтобы не так заметна была при луне белая рубашка. Он спустился и вышел из хлева. После стиранного-перестиранного комбинезона новая одежда казалась плотной, жесткой. Дом, темный и непроницаемый, предательски затаился в лунном свете. Из-за луны у него как будто появилась собственная физиономия: лживая, угрожающая. Он миновал дом и вышел на дорогу. Вынул из кармана дешевые часы. Они были куплены три дня назад на выручку от телки. Но он еще не привык иметь дело с часами и поэтому забыл их завести. Впрочем, и без часов было ясно, что он опаздывает.

Перед ним в лунном свете лежала прямая дорога, обсаженная деревьями; жирные резкие тени сучьев на мягкой пыли были как будто намазаны черной краской. Он шел быстро; дом остался за спиной, из дома его уже нельзя было увидеть. Дорога выходила на большак невдалеке. В любую минуту мимо мог промчаться автомобиль: он предупредил ее, что если его не будет на перекрестке, то он встретит ее у школы, где назначены танцы. Но машина не показывалась, и, выйдя на большак, он ничего не услышал. Дорога, ночь были безлюдны. «Может, уже проехала»,— подумал он. Он снова вынул бездействующие часы и посмотрел на них. Часы стояли потому, что ему помешали их завести. Из-за Макихернов он опоздал: это они не дали ему завести часы, и теперь он не мог узнать, опоздал он или нет. Там, позади, в конце темной дороги, в невидимом доме спала женщина — почему бы не спать, раз она сделала все, чтобы он опоздал. Он оглянулся назад, в сторону дома, и в этой позе, с этой мыслью замер; замерли ум и тело, словно их одновременно выключили: ему показалось, будто между теней на дороге кто-то движется. Потом он подумал, что ему просто померещилось, что это, может быть, его мысли спроектировались, как тень на стену. Подумал: «Но я надеюсь, что это он. Хорошо бы, если он. Хорошо бы, он следил за мной и поглядел, как я сажусь в машину. Хорошо бы, он попробовал нас догнать. Попробовал бы остановить меня». Но на дороге он ничего не увидел. Она была пуста, исчерчена предательскими тенями. Потом он услышал вдалеке, со стороны города, звук мотора. Он стал вглядываться и вскоре различил свет фар.

Она была официанткой в плохоньком ресторанчике на одной из глухих улиц города. Взрослый с первого взгляда понял бы, что ей уже за тридцать. Но Джо, вероятно, казалось, что ей не больше семнадцати,— из-за ее миниатюрности. Она не только ростом была мала — она была худа, как ребенок. Но взрослый заметил бы, что миниатюрность эта не от природной хрупкости, а от какой-то внутренней порчи в душе — хрупкость, в которой никогда не было ничего молодого, в чьих линиях юность и не живала. Волосы у нее были темные. Лицо ее с рельефным костяком всегда было опущено, словно голова на плечах сидела неправильно, с наклоном. Глаза ее напоминали пуговичные глаза игрушечного зверька — их взгляд мало было бы назвать жестким, хотя жесткости в нем не было.

И подступился он к ней только потому, что она была маленькая, словно это могло или должно было уберечь ее от плотоядных рыщущих мужских глаз, увеличить его шансы. Если бы она была крупной, он бы не отважился. Он подумал бы: «Бесполезно. У нее уже есть парень, мужчина».

Началось это осенью, когда ему было семнадцать лет. День был будний. Обычно они приезжали в город по субботам, на весь день, и привозили еду с собой — холодный обед в корзинке, купленной и хранившейся специально для поездок. На этот раз Макихерн поехал повидаться с юристом, с намерением закончить дела и вернуться домой к обеду. Но когда он вышел на улицу, где ждал Джо, было почти двенадцать. Он появился, глядя на свои часы. Затем он поглядел на городские часы и наконец на солнце — с выражением досады и возмущения. С тем же выражением он поглядел на Джо; открытые часы лежали у него на ладони, а в глазах было холодное недовольство. Он словно впервые изучал, оценивал юношу, которого воспитывал с младенческих лет. Потом он повернулся. «Пойдем,— сказал он.— Теперь уж ничего не поделаешь».

Город стоял на разветвлении железной дороги. Даже в будни на улицах было много мужчин. Весь дух города был мужской, транзитный город, где даже женатые люди бывали дома урывками и по праздникам, где мужчины жили отдельной, сокровенной жизнью, разворачивавшейся в далекой среде, а во время коротких наездов домой их ублажали, как посетителей театра.

Джо впервые видел заведение, куда его привел Макихерн. Это был ресторанчик на глухой улице — грязная узкая дверь между двумя грязными окошками. Он не сразу понял, что это ресторан. Вывески не было; не слышалось ни звуков, ни запахов кухни. Глазам его предстала длинная деревянная стойка с рядом табуретов, крупная блондинка за витриной с сигарами напротив входа, и у дальнего конца стойки — группа мужчин, которые ничего не ели и, повернувшись, как по команде уставились на вошедших сквозь табачный дым. Никто не проронил ни звука. Все смотрели на Джо и Макихерна так, словно дыхание оборвалось вместе с разговором, и даже дым сигарет оборвался и теперь плавал как попало под собственной тяжестью. Мужчины были не в комбинезонах — все в шляпах, и лица как на подбор — ни молодые, ни старые, ни сельские, ни городские. Они имели вид людей, которые только что сошли с поезда и завтра опять уедут, людей без адреса.

Сидя на табуретах за стойкой, Джо и Макихерн ели. Джо поел быстро, потому что Макихерн ел быстро. Даже за едой этот человек сидел с какой-то оскорбленной чопорностью. Еду он заказал простую — которую готовят наскоро и наскоро едят. Но Джо знал, что скупость здесь ни при чем. Скупость, возможно, привела их сюда, а не в другое место, но еду эту он заказал потому, что хотел поскорее уйти Не успев положить нож и вилку, Макихерн слез с табурета и сказал: «Идем». У витрины с сигарами Макихерн расплатился с латунноволосой. Было в ней нечто неподвластное возрасту: воинственная, диамантово-гладкая почтенность. Она не удостоила их взглядом — даже когда они входили, даже тогда, когда Макихерн протянул ей деньги. Так же, не глядя, она быстро и точно отсчитала сдачу, ссыпала на стекло монеты чуть ли не раньше, чем Макихерн протянул свою бумажку; за фальшивым блеском внимательно уложенных волос, внимательного лица в ней была четкость каменной львицы, стерегущей портал, и почтенность свою она выставляла как щит, за которым могли сбиваться в кучку праздные, сомнительные люди в шляпах набекрень, с косо влипшими в рот сигаретами. Макихерн проверил сдачу, и они вышли на улицу. Он опять стал смотреть на Джо. Он сказал: «Ты у меня запомни это место. Есть на свете места, куда мужчине можно зайти, а мальчику, юноше твоих лет, вход заказан. Вот это — такое место. Может, тебе вообще не следовало сюда заходить. Но повидать такое надо — чтоб ты знал, чего избегать и сторониться. Тем более что я находился рядом и мог объяснить и предостеречь. И обед здесь дешев». «А чего тут такого?» — спросил Джо. «Это дело города, не твое. Ты же просто запомни мои слова: я тебе не разрешаю ходить сюда без меня. А моей ноги здесь больше не будет. В другой раз, рано, не рано, а обед мы привезем с собой».

Вот что он увидел в тот день, быстро глотая еду рядом с несгибаемым, безмолвно негодующим человеком, с которым они сидели у середины длинной стойки, начисто отрезанные от всех — и от латунноволосой женщины с одного края, и от группы муж-

чин с другого, и от официантки, чьи большие, чересчур большие руки расставляли тарелки и чашки, а скромно потупленное лицо выглядывало из-за стойки на высоте чуть больше детского роста. Потом они с Макихерном вышли. Он не рассчитывал когда-либо вернуться сюда. И не потому, что ему запретил Макихерн. Просто ему не верилось, что жизнь занесет его сюда еще раз. Он как бы сказал себе: «Эти люди мне чужие. Я вижу их, но не понимаю, что они делают и почему. Слышу их, но не понимаю, что они говорят, почему говорят и кому. Я знаю, что-то тут есть, кроме еды, питания. Но что — не знаю. И никогда не узнаю».

И это ушло с поверхности сознания. В следующие полгода он изредка ездил в город, но ресторана не видел, мимо не проходил. Мог бы. Но как-то не думал об этом. Может быть, просто не чувствовал нужды. Мысли — может быть, безотчетно порой — выливались в картину, отстаивавшуюся, отстоявшуюся: длинная, пустая и какая-то сомнительная стойка; неподвижная, хладноликая, буйноволосая женщина будто сторожит ее с краю; с другого — мужчины с притягивающимися головами, в шляпах набекрень дымят и дымят, закуривая и бросая сигарету за сигаретой; и официантка, женщина с ребенка ростом, снует между кухней и залом с ношей посуды, каждый раз становясь досягаемой для мужчин, которые наклоняются к ней, что-то говорят сквозь табачный дым, шепчут, как бы потешаясь или торжествуя победу, и лицо ее задумчиво, скромно, потуплено, словно она не слышит. «Не знаю даже, что они ей говорят»,— думал он *Не знаю, может, то, что они говорят ей, годилось бы и для ушей проходящего мимо ребенка, и верилось Я не знаю еще, что в миг сна веки замыкают в темнице глаз ее лицо, скромное, задумчивое; трагическое, печальное и молодое; ждущее, осиянное смутной туманной волшебной зарей молодого желания. Что есть уже для любви пища: что во сне я знаю теперь, почему отверг и ударил ту негритянку три года назад, что и она должна это знать и гордиться, гордиться и ждать*

Так что он не рассчитывал снова ее увидеть, ибо любовь молодых сыта такой же крохой надежды, как и желания. Джо, по всей вероятности, не меньше был удивлен своим поступком и тем, что он обнажил и подразумевал, чем был бы удивлен Макихерн. Это произошло в субботу, уже весной. Ему недавно исполнилось восемнадцать. Макихерн опять поехал повидать юриста. Но на этот раз он подготовился. «Я пробуду здесь час, — сказал он.— Можешь погулять, посмотреть город». Как и тогда, он глядел на Джо пристально, оценивающе, как и тогда — с легким раздражением справедливого человека, вынужденного смирять свою справедливость ради здравого смысла. «На,— сказал он. Он открыл кошелек и вынул монету. Десятицентовую.— И постарайся не дарить первому же, кто согласится их взять. Странное дело,— с раздражением сказал он, глядя на Джо,— ну прямо не может человек научиться ценить деньги, пока швырять их не научился. Будешь здесь через час».

Он взял монету и отправился прямо в ресторан. Даже в карман ее не спрятал. Он поступил так без всякого обдуманного плана, почти невольно, словно его действиями управляли ноги, а не голова. Горячую маленькую монету он сжимал в кулаке, как ребенок. Он открыл затянутую сеткой дверь и вошел неловко, споткнувшись о порог. Блондинка (она словно не шевельнулась за эти полгода, пряди не сдвинула в жесткой, яркой, волнисто-латунной прическе, не переменила даже платья) наблюдала за ним из-за витрины с сигарами. Мужчины — всё такие же, в шляпах набекрень, с сигаретами в зубах, пропахшие парикмахерской,— наблюдали за ним, сидя у дальнего края стойки. Среди них находился хозяин. Джо увидел, заметил его впервые. Как и другие мужчины, хозяин был в шляпе и курил. Он был невысокий, ненамного выше Джо, и сигарета у него торчала в углу рта, словно заткнутая туда, чтобы не мешать разговору. У этого человека, невозмутимо прищурившегося за курчавым дымком сигареты, которая курилась беспризорно, без приложения рук, а догорев, выплевывалась и растаптывалась каблуком, Джо переймет одну из своих повадок. Но не теперь. Это произойдет позже, когда жизнь завертится с такой быстротой, что приятие подменит собой и познание и убеждения. Теперь же он только смотрел на человека, который прислонился к стойке с другой стороны,— человека в грязном фартуке, нацепленном так, как разбойник с большой дороги нацепил бы накладную бороду. Приятие пришло позже, вместе со всею суммой надругательств над доверчивостью: эти двое — как муж и жена; их заведение — как место, где едят, с чередой привозных официанток, неумело

разносящих тарелки с едой, самой дешевой и незамысловатой, только бы название ресторана оправдать; и он принимал и потреблял все без разбору во время недолгой бурной гулянки — с наивным восторженным изумлением, как молодой жеребчик на укромном пастбище усталых профессиональных кобылиц,— обобранный безымянными, несчитанными мужчинами.

Но это было впереди. Джо подошел к стойке, сжимая в кулаке монету. Он был уверен, что мужчины умолкли, наблюдают за ним, ибо не слышал ничего, кроме яростного шипения сковород за кухонной дверью, и думал *Она там. Вот почему я ее не вижу* Он потихоньку влез на табурет. Он был уверен, что все наблюдают за ним. Что смотрит блондинка из-за витрины с сигарами, что смотрит хозяин, перед лицом которого совсем, должно быть, застыла ленивая струйка дыма. Потом хозяин произнес одно короткое слово. Джо знал, что он не пошевелился и не дотронулся до своей сигареты. «Бобби», — сказал он.

Мужское имя. Это не было мыслью. Возникло мгновенно, целиком *Ее нет. Вместо нее взяли мужчину. Выкинул деньги — правильно он сказал* Ему казалось, что теперь нельзя уйти; если он поднимется, блондинка его остановит. Ему казалось, что мужчины у края стойки понимают это и смеются над ним. И он неподвижно сидел на табурете, опустив глаза, сжав в кулаке монету. Он не видел официантку, пока на стойке перед его глазами не появились две большие руки. Он увидел узор на ее платье, нагрудник и две мосластые руки, лежавшие на краю стойки так неподвижно, как будто они тоже были предметами, принесенными ею с кухни. «Кофе с пирожным», — сказал он.

Ее голос прозвучал понуро, пусто: «Лимонное какао шоколадное». Судя по тому, с какой высоты раздавался голос, эти руки просто не могли принадлежать ей. «Да», — сказал Джо.

Руки не шевельнулись. В голосе ничего не шевельнулось «Лимонное какао шоколадное. Какое». Со стороны они, должно быть, выглядели странно. Друг против друга, разделенные темным, заляпанным, сальным, до гладкости вытертым прилавком, они были немного похожи на молящихся: юноша с деревенским лицом, чисто, по-спартански одетый, в чьем облике от скованности появилось что-то немирское, невинное, и женщина перед ним, понурая, застывшая в ожидании, настолько маленькая, что и ей как будто сообщился тот же отпечаток — мира не плотского. Лицо у нее было худое, заострившееся, скулы обтянутые, под глазами темные круги. Глаза, полуприкрытые веками, казалось, лишены глубины и даже не отражают света. Нижняя челюсть выглядела слишком узкой, чтобы вместить подкову зубов.

«С какао», — сказал Джо. Сказал его язык, потому что ему тут же захотелось отказаться от этих слов. У него было всего десять центов. Но он так крепко держал монету, что забыл, что их всего десять. Ладонь, сжимавшая монету, потела, мокла. Он был уверен, что мужчины опять наблюдают за ним и смеются. Он их не слышал и не смотрел на них. Но был уверен в этом. Руки исчезли со стола. Потом вернулись, поставив перед ним тарелку и чашку. Теперь он посмотрел на нее — на лицо. «Почем пирожное?» — сказал он. «Пирожное десять центов». Она просто стояла перед ним за стойкой, ее большие руки опять лежали на темном дереве, и фигура ее по-прежнему выражала только усталость и ожидание. Она ни разу не взглянула на него. Он сказал слабым, отчаянным голосом: «Я, кажется, не хочу кофе».

Она не шевелилась. Потом большая рука оторвалась от стойки и взяла чашку с кофе; рука и чашка исчезли. Он сидел неподвижно, тоже потупясь; ждал. И наконец услышал. Не хозяина. Женщину за витриной с сигарами. «В чем дело?» — сказала она. «Он не хочет кофе», — сказала официантка. Ее голос, речь удалялись, как будто вопрос настиг ее на ходу. Голос был глухой, тихий. Блондинка тоже говорила тихо. «Он что, не заказывал кофе?» — спросила она. «Нет,— сказала официантка тем же ровным голосом, удалявшимся, уходившим.— Я не поняла».

Когда он вышел, когда душа скорчилась от унижения, горя и нестерпимого желания незаметно прошмыгнуть мимо холодного лица женщины за табачной витриной, он был уверен, что больше не захочет и не сможет видеть официантку. Он не мог поверить, что найдет в себе силы снова увидеть ее или хотя бы снова кинуть взгляд на эту улицу, на грязную дверь, даже издали; но не думал еще *Это ужасно — быть моло-*

дым. Ужасно Ужасно. Когда подходила суббота, он выискивал, придумывал причину не ехать в город, и Макихерн присматривался к нему — пока еще без особого подозрения. Джо убивал дни усердной работой, слишком усердной; Макихерн наблюдал за работой с подозрением. Но ничего не мог отсюда понять, заключить. Работать не возбранялось. Это позволяло Джо сладить и с ночами, ибо он слишком уставал, чтобы не спать. А со временем даже отчаяние, горе и стыд притупились. Он не перестал вспоминать и вновь переживать случившееся. Но теперь оно поистерлось, как сиплая, заигранная пластинка, сжевывающая голоса и узнаваемая лишь по рисунку мелодии. И, наконец, даже Макихерн вынужден был смириться. Он сказал: «Я наблюдал за тобой последнее время. И прямо не знаю — либо мне глазам своим не верить, либо ты и вправду признал наконец то, что Господь благоволил отпустить на твою долю. Но я не дам тебе возгордиться после моего хорошего отзыва. У тебя будет время и случай (и желание тоже, не сомневаюсь) заставить меня пожалеть о своих словах. Снова погрязнуть в лени и праздности. Однако награда положена человеку свыше, равно как и наказание. Видишь телку? С этого дня она твоя собственность. Смотри, чтоб мне не пришлось об этом пожалеть».

Джо поблагодарил его. Теперь он мог посмотреть на телку и сказать вслух: «Это принадлежит мне». Он посмотрел на нее и — опять не подумал, а возникло мгновенно, целиком *Это не подарок. Это даже не обещание — это угроза,* и подумал: «Я его не просил. Он сам дал. Я его не просил», зная *Видит Бог, я ее заработал.*

Месяц спустя. В субботу утром. «Я думал, тебе разонравилось ездить в город», — сказал Макихерн. «Еще разок съездить — невелика беда», — сказал Джо. В кармане у него было полдоллара. Ему их дала миссис Макихерн. Он попросил пять центов. Она заставила его взять полдоллара. Он взял, положил на ладонь с холодным презрением. «Ну что ж,— сказал Макихерн.— И работал ты старательно. Но город — дурная привычка для того, кому еще надо выбиться в люди».

Ему не пришлось убегать, хотя он не остановился бы и перед этим, даже если бы пришлось применить силу. Но Макихерн облегчил ему задачу. Джо отправился в ресторан, быстро. Теперь он вошел не споткнувшись. Официантки не было. Возможно, он заметил, обратил внимание, что ее нет. Он остановился у витрины с сигарами, за которой сидела блондинка, и положил на витрину полдоллара. «Я должен пять центов. За чашку кофе. Я сказал кофе с пирожным, а не знал, что оно — десять центов. Я должен вам пять центов».

Он не смотрел в глубину зала. Там сидели мужчины — в шляпах набекрень, с сигаретами. Там стоял хозяин — в грязном фартуке; Джо наконец услышал его слова, пропущенные мимо сигареты: «Чего там? Чего ему надо?» «Он говорит, что должен Бобби пять центов,— ответила женщина.— Хочет отдать Бобби пять центов». Она говорила тихо. Хозяин говорил тихо. «Господи спаси»,— сказал он.

Джо казалось, что все в зале обратилось в слух. Он слышал не слыша; видел не глядя. Он уже шел к двери. Полудолларовая монета лежала на стеклянной витрине. Хозяин, хоть и был далеко, заметил ее — он сказал: «А это за что?» «Он говорит, что должен за чашку кофе», — объяснила женщина. Джо уже подходил в двери. «Слушай, малый», — окликнул его хозяин. Джо не остановился. «Верни ему деньги,— сказал хозяин ровным голосом, все еще не двигаясь. Дым сигареты, должно быть, поднимался ровно перед его лицом, не потревоженный ни малейшим движением.— Отдай обратно,— сказал он.— Не знаю я, какая у него игра. Только с нами это не пройдет. Верни ему деньги. Шел бы ты к себе на ферму, селянин. Может, там уговоришь девочку за пять центов».

И вот он уже на улице, и полудолларовая монета купается в поту, потеет в руке, большая как тележное колесо. Смех гнал его. Джо вышел за дверь под смех мужчин — преследуемый смехом. Смех подхватил его и понес по улице; потом улетел дальше, замирая, оставив его на земле, на тротуаре. Перед ним стояла официантка. Она была в темном платье и в шляпе, шла быстро, потупясь, и увидела его не сразу. И снова, как в тот раз, когда она поставила перед ним кофе с пирожным, она на него даже не смотрела — раз взглянув, все поняла. Она сказала: «А-а. Вы пришли отдать мне деньги. При них. И они над вами посмеялись. Надо же».— «Я думал, вам самой пришлось заплатить... Я думал...» — «Надо же. Может, хватит об этом? Хватит?» Стоя

лицом к лицу, они не смотрели друг на друга. Их можно было принять за двух монахов, встретившихся в саду в часы созерцания. «Я просто подумал, что...» «Где вы живете? — сказала она.— В деревне? Надо же. Как вас зовут?» «Не Макихёрном,— сказал он.— Кристмасом». «Кристмас? Это ваша фамилия? Кристмас! Надо же».

В отрочестве и позже он и еще четверо или пятеро ребят ходили по субботам на охоту или на рыбалку. Девушек он видел только в церкви по воскресеньям. Девушки ассоциировались с воскресеньем и церковью. Поэтому он не мог их замечать: это было бы—даже для него—отречением от ненависти к религии. Но между собой они говорили о девушках. Может быть, кое-кто из них (например, тот, который договорился тогда с негритянкой) знал. «Они все хотят,— сказал он остальным.— Но иногда не могут». Остальные этого не знали. Они не знали, что все девушки хотят, а тем более, что бывает время, когда они не могут. Они представляли себе дело иначе. Но признавшись, что им неизвестно последнее, они тем самым признались бы, что не имели случая убедиться в первом. Поэтому они слушали, что говорил тот. «Это у них бывает раз в месяц». Он описал, как представляет себе физическую сторону события. Возможно, он знал. Во всяком случае, рассказ был достаточно живописным, достаточно убедительным. Если бы он стал описывать это как душевное состояние, о котором можно только гадать, они бы его не слушали. Но он развернул картину физическую, фактическую, доступную обонянию и даже глазу. Это тронуло их: временная и жалкая беспомощность того, что дразнило и не утоляло желание; гладкий прекрасный сосуд, обитель хотения, обреченного с неотвратимой регулярностью становиться жертвой периодической грязи. Так он излагал это, и остальные пятеро молча слушали, поглядывая друг на друга вопросительно и заговорщицки. В следующую субботу Джо не пошел с ними охотиться. Макихерн думал, что он отправился на охоту, потому что ружья дома не было. А Джо прятался в хлеву. Он просидел там весь день. В следующую субботу он опять ушел с ружьем, но один, рано, до того, как за ним забежали ребята. Он не охотился. В конце дня, меньше чем в трех милях от дома, он убил овцу. Он наткнулся на стадо в укромной лощине, подкрался и застрелил ее из ружья. Потом с пересохшим ртом, дрожа и озираясь, стал на колени и окунул руки в теплую кровь издыхающего животного. Так он преодолел это в себе, превозмог. Он не забыл того, что рассказывал приятель. Просто примирился с этим. Обнаружил, что может с этим жить. Словно сказал себе, отбросив логику, со спокойствием отчаяния *Ладно. Пусть это так. Но не для меня. Не в моей жизни, не в моей любви.* И вот прошло три или четыре года, и это было забыто, как забывается факт, уступив однажды настойчивости ума, отказывающегося признать его и истинным и ложным.

Он встретился с официанткой в понедельник ночью — через день после той субботы, когда пытался отдать деньги за чашку кофе. Веревки у него еще не было. Он вылез в окно, спрыгнул с трехметровой высоты на землю и прошел пять миль до города. Он совсем не думал о том, как будет возвращаться к себе в комнату.

Он пришел в город и встал на перекрестке, где она просила его ждать. Перекресток был тихий; он явился слишком рано и думал *Надо помнить об этом. Надо, чтобы сама мне показывала, что делать, как и когда. Надо, чтоб она не догадалась, что я не знаю и должен узнавать от нее*

Он ждал ее больше часа. Так рано он явился. Она пришла пешком. Подошла и стала перед ним, по-прежнему терпеливо и выжидательно, по-прежнему не поднимая глаз, с видом человека, вырвавшегося из тьмы. «Вы уже тут»,— сказала она. «Раньше никак не мог. Пришлось ждать, пока они лягут. Боялся, что опоздаю».— «Вы давно тут? Долго ждали?» — «Не знаю. Бежал почти всю дорогу. Боялся, что опоздаю».— «Бежали? Все три мили?» — «Пять миль. Не три».— «Надо же». Они умолкли. Стояли как две тени, лицом к лицу. Спустя год с лишним, вспомнив эту ночь, он вдруг понял и сказал себе *Будто ждала, что я ее ударю* «Да-а», — сказала она.

Он начал потихоньку дрожать. Он ощущал ее запах — запах ожидания, спокойного, мудрого, чуть усталого,— думал *Она ждет, чтобы я начал, а я не знаю — как.* Даже ему самому его голос показался дурацким: «Наверно, поздно уже».— «Поздно?» — «Я подумал — может, вас ждут. Не ложатся, пока вы...» — «Ждут... Ждут...» Голос ее утих, замер. Они стояли как две тени; она сказала, не шевелясь: «Я живу с Мейм и Максом.

Вы их знаете. По ресторану. Вы должны были их запомнить, когда хотели отдать эти пять центов...— Она засмеялась. В ее смехе не было веселья, не было ничего.— Подумать только. Представляю, как вы пришли туда с пятью центами.— Она перестала смеяться. Но и это не означало, что секунду назад ей было весело. Вновь послышался тихий, жалкий, понурый голос: — Я сегодня ошиблась. Я что-то забыла».

Может быть, она ждала от него вопроса — что? Но он не спросил. Он просто стоял, и тихий, падающий голос не проникал в сознание. Он забыл об убитой овце. Он слишком долго прожил с тем, что рассказал ему опытный приятель. Слишком давно купил убийством овцы исцеление, чтобы это могло сохраниться живым. Поэтому он сначала не понял, что она пытается сказать. Они стояли на углу. Это было на краю города, где улица переходила в дорогу, от правильных, отмеренных лужаек убегавшую к голым полям и разбросанным домишкам — маленьким дешевым домишкам, из которых складываются предместья таких городов. Она сказала: «Слушайте. Я сегодня нездорова». Он не понял. Ничего не ответил. Возможно, ему и не надо было понимать. Возможно, он и так ожидал какой-нибудь каверзы от судьбы, думая: «Больно уж все хорошо — не может такого быть»; и обгоняло мысль *Сейчас она исчезнет. Ее не станет. А я лежу в кровати, дома, и вовсе не выходил оттуда* Ее голос продолжал: «Я забыла, какой это день месяца, когда сказала вам «в понедельник вечером». Может, от неожиданности, что вас встретила. Тогда, на улице, в субботу. В общем, забыла, какой это день. А вспомнила, только когда вы ушли». Он говорил так же тихо, как она: «Очень нездоровы? А дома у вас нечего принять, лекарства какого-нибудь?» «Принять...— Голос ее замер. Она сказала: — Надо же.— И вдруг сказала: — Уже поздно. А вам еще четыре мили идти». «Я уже прошел. Я уже здесь.— Голос его был тих, спокоен, безнадежен.— Наверно, времени много»,— сказал он.

Затем что-то произошло. Не глядя на него, она почувствовала перемену раньше, чем услышала в его погрубевшем голосе: «Что у вас за болезнь?» Она молчала, не двигалась. Потом сказала, глядя в землю: «У вас никогда не было девушки. Ручаюсь, что не было». Он не отвечал. «Не было?» Он не отвечал. Она шагнула к нему. Дотронулась до него — впервые. Взяла его руку, легонько, обеими руками. Глядя на нее сверху, он видел силуэт головы — опущенной, как будто от рождения неправильно сидевшей на шее. Она объяснила ему — запинаясь, нескладно, теми единственными словами, какие ей были известны. Но он уже это слышал. Он уже бежал назад, мимо убитой овцы, своей платы за исцеление, к тому дню, когда он сидел на берегу ручья не столько удивленный или обиженный, сколько возмущенный. Рука, которую она держала, освободилась рывком. Она не верила, что он хотел ее ударить; она предполагала другое. Но результат не стал от этого другим. Провожая взглядом фигуру, тень, растворявшуюся в темноте, она думала, что он бежит. Она еще слышала его шаги, когда он пропал из виду. Она не сразу пошла назад. Стояла в той же позе, неподвижно, потупясь, словно ожидая удара, который уже был нанесен.

Он не бежал. Но шел быстро — и не к дому, стоявшему в пяти милях отсюда, а прочь от него, по-прежнему не задумываясь о том, как проникнуть обратно в комнату, из которой он вылез через окно. Он быстро шел по дороге, потом свернул в сторону и прыгнул через изгородь на вспаханную землю. На поле что-то росло. Дальше был лес, деревья. Он дошел до леса и углубился в чащу твердых стволов, ветвями крытую глушь, давящую тишиной, давящую запахом, непроглядную. В беспросветности тяжкого знания, как в пещере, он словно видел уходящий вдаль ряд мягкоконтурных ваз, выбеленных лунным светом. И ни одна не была целой. Каждая была с трещиной, и из каждой трещины сочилось что-то жидкое, зловонное, мертвенного цвета. Он прикоснулся к дереву. Он уперся в ствол руками, видя перед собой вереницу освещенных луной ваз. Его вырвало.

К вечеру следующего понедельника он успел запастись веревкой. Он ждал на том же углу; он опять явился рано. Наконец увидел ее. Она подошла к нему. «Я думала, вы не придете».— «Да?» Он взял ее за руку и потащил по дороге. «Куда мы идем?» — спросила она. Он молча продолжал ее тащить. Ей приходилось бежать рысцой, чтобы поспеть за ним. Она трусила неуклюже — животное, которому мешало то, что отличало его от животных: каблуки, платье, миниатюрность. Он потащил ее прочь от дороги — к изгороди, которую перепрыгнул неделю назад. «Подождите...— сказала

она. Слова выскакивали отрывисто.— Забор... Я не могу...» Когда она нагнулась, чтобы подлезть под проволоку, которую он перешагнул, платье зацепилось. Он наклонился и рванул его с треском. «Новое куплю», — сказал он. Она не ответила. Она покорилась рукам, которые не то тащили, не то несли ее между каких-то растений, по бороздам, к лесу, в чащу.

Аккуратно свернутую веревку он держал у себя на чердаке за той же отставшей доской, за которой миссис Макихерн держала свою мелочь, только веревка была засунута поглубже, куда миссис Макихерн не могла дотянуться. Идею он позаимствовал у нее. Порой, когда старики храпели у себя внизу, он размышлял над этим парадоксом. Даже хотел открыться ей, показать, как он прячет орудие греха, научившись у нее, воспользовавшись ее же идеей и хранилищем. Но он знал, что единственным ее желанием будет желание помочь ему — чтобы он продолжал грешить, а она помогала ему хранить это в секрете; что в конце концов при помощи многозначительных сигналов и шепота она разведет такую таинственность, что Макихерн поневоле заподозрит неладное.

Так он начал красть — таскать деньги из тайника. Очень возможно, что не она толкнула его на это, что о деньгах она с ним не говорила. Возможно даже, он не понимал, что платит деньгами за удовольствие. Просто он много лет наблюдал, как миссис Макихерн прячет деньги в определенном месте. Потом у него самого появилось что прятать. Он прятал в самое безопасное место, какое знал. И каждый раз, когда он засовывал или вынимал веревку, на глаза ему попадалась жестянка с деньгами.

В первый раз он взял пятьдесят центов. Он немного поколебался, взять ему пятьдесят или двадцать пять. Взял все же пятьдесят — ему как раз столько было нужно. На эти деньги он купил лежалую, засиженную мухами коробку конфет у человека, которому она досталась за десять центов в магазинной лотерее. Конфеты подарил официантке. Это был его первый подарок. Он дал ей коробку так, будто никому до него в голову не приходило что-нибудь ей дать. Когда она взяла большими руками эту обшарпанную, пестро размалеванную коробку, на лице ее было несколько странное выражение. Она сидела на кровати — дело происходило в ее спальне, в домике, где она жила с мужчиной по имени Макс и с женщиной по имени Мейм. Как-то вечером, примерно за неделю до этого, Макс к ней зашел. Она раздевалась — сидя на кровати, снимала чулки. Он вошел с сигаретой в зубах и прислонился к комоду. «Богатый фермер,— сказал он.— Джон Джейкоб Астор с сеновала». Она чем-то прикрылась и продолжала сидеть, неподвижно, потупясь. «Он мне платит». «Чем? Он что, не промотал еще свои пять центов?— Макс посмотрел на нее.— Обслуживаем землепашцев. Для этого я тебя вез из Мемфиса. Теперь остается только жратву раздавать бесплатно». «Я это в свободное время».— «Еще бы. Запретить я не могу. Мне просто смотреть на это противно. Пацан, долларовой бумажки в глаза не видел. А в городе навалом денежных ребят — эти бы хоть ухаживали как люди». — «А может, он мне нравится. Об этом ты не подумал?»

Макс разглядывал ее — макушку неподвижной опущенной головы, руки, лежавшие на коленях. Он курил, прислонясь к комоду. «Мейм!— сказал он. И, подождав немного, повторил:— Мейм! Поди сюда». Стены были тонкие. Немного погодя в передней послышались неторопливые шаги блондинки. Она вошла. «Слыхала? — сказал мужчина.— Говорит: может, он мне нравится больше всех. Ромео и Джульетта. Мать моя!» Блондинка посмотрела на темную макушку. «Ну и что?» — «Ничего. Прелесть. Макс Конфрей представит вам мисс Бобби Аллен, подружку малолетнего». «Выйди»,— сказала женщина. «Сей момент. Я просто занес ей сдачу с пяти центов». Он вышел.

Официантка не шевелилась. Блондинка подошла к комоду и прислонилась к нему, глядя на ее опущенную голову. «Он тебе платит хоть?» — спросила она. Официантка не шевелилась. «Да. Платит». Блондинка смотрела на нее, прислонясь к комоду, как перед этим Макс. «Ехать сюда из самого Мемфиса. Тащиться в такую даль, чтобы давать бесплатно». Официантка не шевелилась. «Максу же это не мешает». Блондинка смотрела на опущенную голову. Потом повернулась и отошла к двери. «Да уж, постарайся, чтоб не мешало,— сказала она.— Это дело недолговечное. Маленькие городишки долго такого не терпят. Я-то знаю. Сама в похожем выросла».

С пестрой дешевой коробкой в руках она сидела на кровати — сидела так же, как

во время разговора с блондинкой. Только не блондинка, а Джо теперь смотрел на нее, прислонясь к комоду. Она засмеялась. Она смеялась, держа в мосластых руках размалеванную коробку. Джо наблюдал за ней. Наблюдал за тем, как она встает и, потупясь, проходит мимо него. Она вышла за дверь и позвала Макса по имени. Джо видел Макса только в ресторане — в шляпе и грязном фартуке. К тому же он вошел сейчас без сигареты. Он сунул Джо руку: «Как жизнь, Ромео?» Джо пожал ему руку, еще не совсем понимая, кто это. «Меня зовут Джо Макихерн»,— сказал он.

Блондинка тоже пришла. Ее он тоже впервые видел вне ресторана. Он видел, как она вошла в комнату, наблюдал за ней, наблюдал за тем, как официантка открывает коробку. Она протянула ее вошедшим. «Джо мне подарил», — сказала она. Блондинка скользнула по коробке взглядом. Она даже не шевельнула рукой. «Спасибо», — сказала она. Мужчина тоже взглянул на коробку, не пошевелив рукой. «Так, так, так,— сказал он.— Смотри, как рождество иногда затягивается. А, Ромео?» Джо отодвинулся от комода. Он впервые попал в этот дом. Он смотрел на мужчину чуть озадаченно и примирительно, но без тревоги — наблюдал за его непроницаемым монашеским лицом. Но ничего не сказал. Сказала официантка: «Если не нравится, можешь не есть».

Он следил за Максом, следил за его лицом, слушая голос официантки — понурый голос: «Ни тебе... никому это не мешает... В свободное время...» Он не смотрел ни на нее, ни на блондинку. Он следил за Максом — по-прежнему мирно и с недоумением, но без испуга. Теперь говорила блондинка; казалось, они говорят о нем и при нем, но на своем языке, зная, что ему не понять. «Пойдем», — сказала блондинка. «Мать моя,— сказал Макс.— Только я хотел поднести Ромео...» «А он хочет? — спросила блондинка. Даже когда она обратилась непосредственно к Джо, можно было подумать, что она еще разговаривает с Максом:— Хотите выпить?» «Не мучай его неизвестностью — помнишь, что было в тот раз? Скажи, что бесплатно». «Не знаю,— сказал Джо.— Никогда не пробовал». «Мать моя, — сказал Макс.— Ничего не пробовал бесплатно». Он ни разу не посмотрел на Джо после того, как поздоровался. Опять они говорили о нем и отпускали замечания на его счет так, как будто их язык был ему непонятен. «Пошли,— сказала блондинка.— Пошли же».

Они ушли. Блондинка вообще ни разу не взглянула на него, а Макс, не глядя, ни разу не выпустил его из поля зрения. Потом их не стало. Джо стоял у комода. Посреди комнаты стояла официантка — потупясь, с открытой коробкой в руке. Комната была тесная, затхлая, пропахшая духами. Джо попал сюда впервые. Он не верил, что когда-нибудь окажется здесь. Шторы были задернуты. На проводе висела голая лампочка; вместо абажура была пришпилена страница из журнала, побуревшая от жара. «Ничего,— сказал он.— Ладно». Она молчала и не шевелилась. Он думал о темноте снаружи, о ночи, где они раньше оставались вдвоем. «Пойдем»,— сказал он. «Пойдем?» — переспросила она. Тогда он посмотрел на нее. «Куда? Зачем?» Он все еще не понимал. Он смотрел, как она подходит к комоду и ставит на него коробку. У него на глазах она начала раздеваться — срывать с себя одежду, швырять на пол. Он сказал: «Здесь? Прямо здесь?» Он впервые видел голую женщину, хотя жил с ней уже месяц. Но до сих пор он даже не знал, что не знает, какое зрелище может ему открыться.

В ту ночь они разговаривали. Лежали на кровати и разговаривали в темноте. Вернее, разговаривал он. И все время думал: «Господи. Господи. Так вот это что». Он тоже лежал голый, рядом с ней, трогал ее и говорил о ней Не о том, где она родилась и чем занималась, а о ее теле — словно никто еще такого не делал ни с ней и ни с кем другим. Словно, говоря, разузнавал о женском теле с любопытством ребенка. Она рассказала ему о болезни первой ночи. Теперь его это не потрясло. Подобно наготе и телесной форме, это было чем-то не существовавшим, не виданным до него. Поэтому и он рассказал ей то, что знал. Рассказал о том, что было с негритянской девушкой на лесопилке три года назад. Он рассказывал тихо и умиротворенно, лежа с ней рядом, трогая ее. Наверное, он даже не понимал, слушает она или нет. Потом он сказал: «Ты заметила, какая у меня кожа, волосы?» — и ждал ее ответа, медленно водя рукой. Она ответила тоже шепотом. «Да. Я думала, может, ты иностранец. И уж точно не из наших краев». «И даже не так. Не просто иностранец. Тебе не догадаться». — «А кто? Как это — не просто?» — «Угадай». Они говорили тихо. Было тихо, глухо, ночь уже изведана, желание, томление — позади. «Не могу. Кто ты?»

Рука его двигалась тихо и спокойно по ее невидимому боку. Он ответил не сразу. Не то чтобы он разжигал ее любопытство. Просто он как бы еще не надумал говорить дальше. Она снова спросила. Тогда он сказал: «Во мне есть негритянская кровь».

Потом она лежала совершенно неподвижно; но это была другая неподвижность. Он же, видимо, не замечал этого. Он тоже лежал спокойно, и рука его медленно двигалась вверх-вниз по ее боку. «Что?» — сказала она. «Наверно, во мне есть негритянская кровь. — Глаза его были закрыты, рука двигалась медленно и без устали.— Не знаю. Но думаю — есть». Она не пошевелилась. Но сказала тотчас же: «Врешь». «Вру так вру», — сказал он не шевелясь; но рука продолжала гладить. «Не верю», — сказал в темноте ее голос. «Не веришь — не верь»,— сказал он; рука продолжала гладить.

В следующее воскресенье он взял еще полдоллара из тайника миссис Макихерн и отдал официантке. Через день или два у него появились основания думать, что миссис Макихерн заметила пропажу и подозревает его. Потому что она подстерегала его, покуда не уверилась — и он эту уверенность почувствовал,— что Макихерн им не помешает. Тогда она сказала: «Джо». Он остановился и посмотрел на нее, зная, что она на него смотреть не будет. Не глядя на него, она сказала ровным и вялым голосом: «Я знаю, молодому человеку, когда взрослеет, нужны деньги. Больше, чем па... чем мистер Макихерн тебе дает...» Он смотрел на нее, пока ее голос не затих, не замер. Видимо, ждал, когда он затихнет. И тогда ответил: «Деньги? На что мне деньги?»

В следующую субботу он заработал два доллара, переколов соседу дрова. Он наврал Макихерну, куда он собирается, где он был и чем занимался. Деньги отдал официантке. Макихерн узнал про дрова. Возможно, он решил, что Джо припрятал деньги. Может быть, так ему сказала миссис Макихерн.

Ночи две в неделю Джо проводил с официанткой в ее комнате. Первое время он не представлял себе, чтобы это было доступно еще кому-нибудь кроме него. Возможно, он верил до самой последней минуты, что только для него и ради него сделано такое исключение. И, по всей вероятности, до последней минуты думал, будто Макса и Мейм надо задабривать — не потому, что у него какие-то отношения с официанткой, а потому, что он ходит в дом. В доме, однако, он их больше не видел, хотя знал, что они здесь. Полной же уверенности, что им известно о его пребывании здесь — или появлениях после того случая с конфетами,— у него не было.

Обычно они встречались на улице и не торопясь шли к ней или куда-нибудь в другое место. Возможно, он до последней минуты думал, что этот порядок заведен им. И вот однажды вечером она не пришла на место встречи. Он ждал, пока часы на башне суда не пробили двенадцать. Тогда он отправился к ней. Раньше он так не делал, хотя и не мог бы припомнить, чтобы она запрещала ему приходить туда без нее. Все же в эту ночь он отправился к ней, ожидая, что дом будет погружен в темноту и сон. Дом был погружен в темноту, но не спал. Он знал это — знал, что за темными шторами в ее комнате не спят и что она там не одна. Откуда знал — он сам не мог бы сказать. И никогда не признался бы в этой уверенности. «Это просто Макс,— подумал он. — Это просто Макс». Но не верил в это. Он знал, что в комнате с ней — мужчина. Две недели он с ней не встречался, хотя знал, что она его ждет. Затем пришел вечером на угол; появилась и она. Ни слова не говоря, он ударил ее кулаком, чувствуя, по чему ударил. Теперь он знал то, во что до сих пор не мог поверить. Она вскрикнула. Он ударил еще раз. Она прошептала: «Не здесь. Не здесь». Затем он увидел, что она плачет. Он никогда не плакал, сколько помнил себя. Он плакал, ругал ее и бил. Потом она обняла его. Тогда даже причины бить ее не стало. «Ну что ты, что ты, — приговаривала она.— Что ты, что ты».

В ту ночь они так и остались на перекрестке: не ушли с дороги и не пошли гулять. Они сидели на поросшем травой откосе и разговаривали. На этот раз говорила она — рассказывала. На долгий рассказ не набралось. Теперь ему стало понятно то, что он знал, оказывается, с самого начала: ресторан, бездельники с сигаретами, которые начинали подпрыгивать, когда мужчины заговаривали с официанткой, и сама она—беспрерывно снует взад-вперед, понурая, жалкая. Он слушал ее голос, а в нос ему, заглушая запахи земли, бил запах безымянных мужчин. Голова ее во время рассказа была опущена, руки неподвижны на коленях. Он, конечно, не видел этого. Ему и не нужно было

видеть. «Я думала, ты знал»,— сказала она. «Нет,— сказал он.— Не знал, наверно». «Я думала, знал». «Нет,— сказал он.— Не знал, наверно».

Через две недели он начал курить, щуря глаза от дыма,— и пить тоже. Пил вечерами с Максом и Мейм, иногда в компании еще трех-четырех мужчин и обычно одной или двух женщин — случалось, и городских, но чаще тех, которые приезжали из Мемфиса и в качестве официанток проводили неделю или месяц за стойкой, где целый день праздно сидели мужчины. Он не всегда знал, как зовут собутыльников, но научился заламывать шляпу не хуже их; вечерами за спущенными шторами в столовой у Макса он сдвигал ее набекрень и говорил с другими об официантке, даже при ней,— громким пьяным отчаянным юношеским голосом—называя ее своей курвой. Время от времени на машине Макса он возил ее за город на танцы,— всегда с предосторожностями, чтобы это не дошло до Макихерна. «Не знаю, из-за чего он больше взбесится, — говорил он ей, — из-за тебя или из-за танцев». Однажды им пришлось уложить его в постель мертвецки пьяного — в доме, куда он прежде и попасть не мечтал. Утром официантка отвезла его домой — до рассвета, чтобы его не заметили. А днем Макихерн наблюдал за ним с угрюмым, ворчливым одобрением. «Впрочем, у тебя еще будет случай заставить меня пожалеть об этой телке», — сказал Макихерн.

9

Макихерн лежал в кровати. В комнате было темно, но он еще не спал. Он лежал рядом с миссис Макихерн, полагая, что она спит, и думал быстро и напряженно, думал: «Надевал костюм. Но когда. Не днем, потому, что он у меня на глазах, кроме субботних дней после обеда. Однако в любую субботу после обеда он может зайти в хлев, снять и спрятать подобающую одежду, которую ему велено носить, и напялить то, что пригодно и потребно только для греховодничанья». И теперь он как будто знал, как будто ему сказали. Это означало, что костюм носили тайком, то есть, надо полагать, ночью. А если так, то какая еще могла быть цель у парня, кроме разврата? Сам он никогда в жизни не развратничал, и не было случая, чтобы он согласился слушать человека, рассказывающего о разврате. Тем не менее после получаса напряженных размышлений он знал о проделках парня почти столько же, сколько мог бы рассказать сам Джо,— за исключением имен и мест. Весьма возможно, что, даже услышав о них из уст самого Джо, он не поверил бы, ибо у этой породы людей бывают такие же твердо установившиеся представления о механике, драматургии зла, как и о механике добра. Так что фанатизм и прозорливость сошлись в одно, только фанатизм чуть припаздывал; когда Джо, спускаясь по веревке, тенью мелькнул мимо облитого лунным светом окна, Макихерн не сразу узнал его — а может быть, не поверил своим глазам,— хотя веревка висела у него прямо перед глазами. А пока он подошел к окну, Джо успел отвести и закрепить веревку и уже направлялся к хлеву. Наблюдая за ним из окна, Макихерн испытывал чистое, праведное возмущение — вроде того, что должен испытывать судья, видя, как подсудимый, которому грозит высшая мера, наклоняется и плюет на рукав приставу.

Притаившись в тени деревьев на полдороге между домом и большаком, он видел Джо на перекрестке. Он тоже услышал машину, увидел, как она подъехала, остановилась и как Джо сел в нее. Возможно, его и не интересовало, кто еще сидел в машине. Возможно, он уже знал и хотел только увидеть, в каком направлении они поедут. Возможно, он верил, что и это знает, поскольку машина могла поехать куда угодно, подходящих мест вокруг было сколько угодно и к любому вела дорога. Ибо, по-прежнему кипя чистым и праведным негодованием, он уже повернул назад и быстро шел к дому — словно верил, что еще более великое и чистое негодование поведет его и даже сомневаться в своем чутье ему будет не нужно. В ковровых шлепанцах, без шляпы, в ночной рубашке, заправленной в брюки, со спущенными подтяжками, он направился прямо к стойлу, оседлал свою большую старую сильную белую лошадь и тяжелым галопом выехал на дорогу и поскакал к большаку, хотя миссис Макихерн окликала его из кухонной двери, когда он выезжал со двора. Тем же медленным тяжеловесным галопом он устремился по большаку, вместе с животным напряженно клонясь вперед, подобно какому-то грозному воплощению скорости, хотя сама скорость отсутствовала —

словно при этой холодной, непреклонной, несокрушимой убежденности в собственном всемогуществе и в собственном ясновидении, вселившейся в них обоих, ни скорость, ни знание адреса не были нужны.

С той же самой скоростью он прискакал прямо к месту, которое искал и нашел посреди целой ночи и чуть ли не целой половины округа, хотя оно было не так уж и далеко. Не проехав и четырех миль, он услышал впереди музыку, а потом увидел у дороги освещенные окна однокомнатного здания школы. Он знал, где находится школа, но знать о том, что там состоятся танцы, ему было неоткуда и незачем. И все же он прискакал прямо к ней и въехал в рощицу, запруженную тенями пустых машин, колясок, оседланных лошадей и мулов, и соскочил на землю чуть ли не раньше, чем остановилась лошадь. Он даже не привязал ее. Соскочил и в ковровых шлепанцах, со спущенными подтяжками, круглоголовый, выставив короткую, тупую, возмущенную бороду, побежал к открытой двери и открытым окнам, где играла музыка и при керосиновом свете в какой-то планомерной кутерьме мельтешили тени.

Входя в комнату, он думал, наверно — если только думал в этот момент,— что его направлял и подвигает теперь сам воинственный архангел Михаил. По-видимому, зрение его не притупилось ни на миг от внезапного света и суматохи, когда, протискиваясь между тел с повернутыми к нему головами и оставляя за собой волну изумления и нарождающейся бури, он бежал к парню, которого усыновил по собственной доброй воле и старался воспитать так, как считал правильным. Джо танцевал с официанткой и еще не видел его. Женщина видала его только раз, но, наверно, запомнила—а может быть, одного его вида было достаточно. Она замерла, на лице ее появилось выражение, очень похожее на ужас, и Джо, увидев это, обернулся. Когда он обернулся, Макихерн уже был рядом. Макихерн и сам видал эту женщину только раз, да и в тот раз, наверное, не смотрел на нее — точно так же, как не желал слушать разговоры мужчин о блуде. Однако он направился прямо к ней, не обращая пока внимания на Джо.

— Прочь, распутная!— сказал он. Голос его прогремел в изумленном молчании, среди изумленных лиц под керосиновыми лампами, в тишине оборвавшейся музыки, в мирной лунной ночи молодого лета.

— Прочь, потаскуха!

Наверное, он не замечал того, что двигался быстро, что говорит громко. Наверное, самому ему казалось, что он стоит — справедливый и скалоподобный, чуждый спешки и гнева, а вокруг него дрянь слабого человечества томится в долгом вздохе ужаса перед посланцем разгневанного карающего Престола. И, наверное, даже не его рука ударила в лицо парня, которого он держал под своим кровом, питал и одевал с младенческих лет,— и когда лицо нырком ушло от удара и снова вернулось на место, оно, наверное, не было лицом того ребенка. Однако это его не удивило, ибо не детское лицо занимало его, но лицо Сатаны, которое также было ему знакомо. И когда, вперясь в это лицо, он твердо шел к нему, занеся руку для удара, очень может быть, что шел он в исступленном самозабвенном восторге мученика, уже сподобившегося отпущения,— навстречу стулу, который обрушил на его голову Джо; в небытие. Наверно, небытие его удивило, но не сильно и ненадолго.

Потом все унеслось от Джо, ревя, замирая, и он стоял посреди комнаты с разбитым стулом в руке, глядя на приемного отца. Макихерн лежал на спине. Теперь он выглядел вполне умиротворенным. Казалось, он спит: круглоголовый, неукротимый даже в покое,— и даже кровь на его лбу стыла спокойно и мирно.

Джо тяжело дышал. Слышал это — и что-то еще, тонкое, пронзительное, далекое. Слушал долго, пока не узнал голос, женский голос. Посмотрел, увидел: двое мужчин держат ее, она извивается, бьется, волосы свалились на лоб, белое искаженное лицо уродливо, заляпано яркой краской, рваная дырка рта, брызжущая криком.

— Обозвал меня потаскухой! — Визжа, вырывалась из рук мужчин.— Старая сволочь! Пустите! Пустите! — Голос перестал выговаривать слова, снова сорвался в визг; извивалась, билась, тянулась укусить руки мужчин, боровшихся с ней.

Держа разбитый стул, Джо пошел к ней. Сбившись кучками у стен, на него глядели люди: девушки в неказистой топорщившейся одежде, в чулках и туфлях, выписанных по почте; мужчины, молодые люди в стоявших колом костюмах тоже почто-

вой подгонки, с заскорузлыми расплющенными руками и выражением глаз, уже выдававшим потомственных созерцателей бесконечной борозды и сонного мулячьего зада. Джо побежал, размахивая стулом.

— Пустите ее! — сказал он.

Она сразу перестала биться и всю свою визгливую ярость обратила на него, словно только сейчас его увидела, осознала, что он тоже здесь.

— А ты! Притащил меня сюда! Ублюдок, дубье деревенское! Ублюдок ты! Сволочи такие, что один, что другой! Напустил его на меня, а я сроду не видала...

Джо как будто и не нападал ни на кого в отдельности, и лицо его под занесенным стулом было совершенно спокойно. Мужчины отступили от официантки, отпустили ее, но она продолжала дергать руками, словно еще не почувствовала этого.

— Уходи отсюда,— закричал Джо.

Он крутился, размахивая стулом, но лицо его по-прежнему было совершенно спокойным.

— Назад! — сказал он, хотя никто не сделал к нему ни шага. Все умолкли, оцепенели, как человек, лежавший на полу.

Джо размахивал стулом, пятясь к двери.

— Ни с места! Говорил, что убью когда-нибудь! Говорил ему! — Он размахивал стулом и со спокойным лицом пятился к двери.— Никому не двигаться,— сказал он, беспрерывно водя глазами по лицам, которые можно было принять за маски.

Потом он швырнул стул, повернулся и выскочил за дверь, на землю, залитую мягким и пятнистым лунным светом. Официантку он догнал, когда она садилась в машину. Он запыхался, но голос его тоже звучал спокойно: лицо было как у спящего, только дышал он так, что было слышно.

— Езжай обратно в город,— сказал он.— Я буду там, как только...

По-видимому, он не отдавал себе отчета ни в том, что говорит, ни в том, что с ним происходит: когда женщина вдруг повернулась в двери машины и стала бить его по лицу, он не шевельнулся и голос его звучал по-прежнему:

— Ну да. Правильно. Буду, как только...

Потом он повернулся и побежал, а она еще продолжала молотить по воздуху.

Он не мог знать, где Макихерн оставил лошадь, да и здесь ли она вообще. И все же он прибежал прямо к ней, словно и ему передалась крепкая вера приемного отца в безотказность хода вещей. Он вскочил на лошадь и повернул к большаку. Машина уже выехала на дорогу. Он видел, как уменьшались и пропали ее красные огни.

Старая сильная рабочая лошадь возвращалась домой коротким ровным галопом. Юноша на ее спине сидел легко, балансировал легко, сильно клонясь вперед, ликуя, наверно, как Фауст — что отбросил раз и навсегда все зароки, что освободился наконец от чести и закона. В движении тек навстречу приятный резкий запах конского пота — серный; обдувал невидимый ветер. Он закричал громким голосом:

— Сделал все-таки! Сделал все-таки! Говорил, что сделаю!

Он свернул с большака и под лунным светом, не сбавляя хода, прискакал к дому. Он думал, что в доме будет темно, но темно не было. Он не мешкал: секретная веревка стала теперь такой же частью изжитой жизни, как честь, надежда, как надоедливая старуха, которая тринадцать лет была одним из его врагов — и теперь не спала, дожидаясь его. Свет горел в ее и Макихерна спальне, а она стояла на пороге в ночной рубашке, с шалью на плечах.

— Джо? — сказала она.

Он быстро шел по передней. Лицо у него было такое, каким его увидел Макихерн из-под опускавшегося стула. Возможно, она еще не могла его разглядеть.

— Что случилось? — сказала она.— Папа уехал на лошади. Я слышала...

Тут она разглядела его лицо. Но отступить уже не успела. Он ее не ударил; его рука прикоснулась к ней не грубо. Просто торопливо, спеша убрать ее с дороги, от двери. Он откинул ее в сторону, как полог на двери.

— Он на танцах,— сказал Джо.— Отойди, старуха.

Она повернулась, одной рукой сжимая шаль, другую приложив к двери, и смотрела ему вслед, пока он шел через комнату и взбегал по лестнице к себе на чердак. На ходу он оглянулся. Тогда она увидела, как сверкнули в свете лампы его зубы.

— На танцах, слышишь? Только не танцует.

Он глядел назад, скалясь на лампу; отвернулся, продолжая смеяться и бежать, исчезая на бегу, исчезая наверху со смехом — сперва голова, потом тело,— словно вбегал очертя голову во что-то, стиравшее его без следа, как с доски рисунок мелом.

Она шла за ним, карабкалась по лестнице; она двинулась за ним почти сразу, едва он прошел мимо, — словно то же властное побуждение, которое увело ее мужа, вернулось в дом с приемным сыном и от него передалось ей. Она тащилась вверх по тесной лесенке, цепляясь одной рукой за перила, другой — за шаль. Она ничего не говорила, не окликала его. Она была как дух, послушный приказу отсутствующего повелителя. Джо не зажег лампу. Но комнату наполнял раздробленный свет луны, хотя, пожалуй, и без него она бы разобрала, что делает Джо. Она держалась на ногах, опираясь о стену, шарила по стене рукой и, наконец добравшись до кровати, опустилась на нее, села. На все это ушло немало времени, так что когда она посмотрела на свой тайник, Джо уже приближался к кровати, куда свет луны падал прямо, и она увидела, как он опрокидывает над кроватью жестянку, сгребает рукой маленькую кучку монет и бумажек и запихивает руку в карман. Только тогда он посмотрел в ту сторону, где сидела она — чуть отвалившись назад, опираясь на руку, придерживая шаль другой.

— Я их у тебя не просил, — сказал он.— Запомни. Не просил — боялся, что дашь. Я их сам взял. Не забывай это.

Он начал отворачиваться еще до того, как закончил фразу. Она смотрела, как он выходит на свет, бьющий снизу по лестнице, и спускается. Он скрылся из виду, но она еще слышала его. Потом услышала, как он быстро идет по передней, немного погодя опять услышала лошадь, пущенную вскачь, и немного погодя топот лошади замер.

Когда часы пробили где-то час, Джо, погоняя старую изнуренную лошадь, ехал по главной улице города. Лошадь давно уже тяжело дышала и спотыкалась, но он заставлял ее бежать, мерно колотя по крупу тяжелой палкой. Это был не хлыст, это был обрезок метловища, торчавший прежде в клумбе миссис Макихерн подпоркой какому-то растению. Хотя лошадь еще бежала галопом, перемещалась она немногим быстрей пешехода. Так же устало и ужасающе медленно поднималась и падала палка, но юноша на спине лошади по-прежнему клонился вперед, словно не знал, что лошадь изнемогла, или будто подавал, посылал вперед обессилевшее животное, чьи медленные копыта стучали мерно и глухо в пустоте лунно-пегой улицы. Они — всадник и лошадь — представляли собой странное зрелище: словно лупой времени растянут был этот упрямый заторможенный бег по улице к тому перекрестку, где он ждал когда-то — послушный побуждению, быть может, менее властному, но не менее нетерпеливый и более молодой.

А лошадь уж и не бежала на негнущихся ногах, она дышала глубоко и надсадно; каждый вздох — как стон. Палка взлетала и падала; по мере того как замедлялся ход лошади, удары учащались в обратной пропорции. Но лошадь все замедляла ход, ее вело к обочине. Джо тянул повод, бил ее, но она дотащилась до обочины и стала, дрожа, в яблоках лунного света, свесив голову, дыша так, что похоже было на человечий голос. А всадник все клонился вперед в стремительной позе и бил лошадь палкой по крупу. Если бы не мелькание палки и не стон животного, их можно было бы принять за конную статую, сошедшую с пьедестала и застывшую в позе крайнего изнеможения на тихой пустой улице, покрытой разводами и пятнами лунной тени.

Джо спешился. Он зашел вперед лошади и начал дергать ее, словно надеялся сдвинуть одной только силой, а затем вскочить в седло. Лошадь не двигалась. Он упорствовал; казалось, он склонился к лошади. И опять застыли изваяниями замученное животное и юноша, друг против друга, почти соприкасаясь головами — как будто молились, или прислушивались, или держали совет. Потом Джо поднял палку и принялся бить по неподвижной лошадиной голове. Бил упорно, пока не сломалась палка. Продолжал бить обломком чуть длиннее ладони. Но то ли понял, что не причиняет боли, то ли рука наконец устала, потому что вдруг бросил палку, повернулся рывком и быстро зашагал прочь. Он не оглядывался. Уменьшаясь, мелькая в белой рубашке между тенями, он расстался с лошадиной жизнью так бесповоротно, как будто ее никогда не существовало.

Он миновал перекресток, куда приходил на свидания. Если он вообще заметил, подумал что-нибудь, то сказал, наверно *Господи как давно Как давно это было* Улица сворачивала на гравийную дорогу. Ему оставалось пройти почти милю, поэтому он побежал — не быстро, но собранно, ровно, чуть опустив голову, словно разглядывал дорогу, которую толок ногами, работая локтями, как тренированный бегун. Выбеленная луной дорога петляла между новых, беспорядочно разбросанных ужасных домишек, в каких селятся люди предместий, вчера приехавшие ниоткуда, завтра уезжающие невесть куда. Все дома были темны, кроме того, к которому он бежал.

Он поравнялся с домом и свернул с дороги бегом, топая гулко и мерно в ночной тиши. Может быть, ему уже виделась официантка, ожидающая его в темном дорожном платье, в шляпе, с собранным чемоданом (как они уедут, на чем отправятся, он, наверное, ни разу не задумался), может быть — и Мейм с Максом, скорее всего неодетые: он без пиджака, а то и просто в нижней рубашке, она в голубом кимоно; оба хлопотливые, веселые, шумные, как положено при проводах. По существу, он вообще ни о чем не думал — ведь он даже не сказал официантке, чтобы она готовилась к отъезду. Может быть, ему казалось, что он ей говорил или что она сама должна догадаться, поскольку его прошлые действия и планы на будущее представлялись ему простыми и очевидными. Может быть, ему казалось даже, будто он успел объяснить официантке, когда она садилась в машину, что едет домой за деньгами.

Он взбежал на крыльцо. До сих пор, даже в золотые его деньки в этом доме, ему всегда хотелось как можно быстрее и незаметнее прошмыгнуть с дороги под защиту крыльца и в самый дом, где его ждали. Он постучался. Как он и предвидел, в ее комнате горел свет, в передней тоже; сквозь зашторенные окна доносились голоса, в которых он уловил скорее беспокойство, чем веселье; но он и это предвидел, думая *Наверно, думают что я не приду Чертова кляча Чертова кляча* Он опять постучал — громче, взялся за ручку, подергал, прижавшись лицом к завешенному стеклу двери. Голоса смолкли. Из дома не доносилось ни звука. Два света — озаренная штора в ее окне и матовая занавеска на двери — горели ярко и ровно, будто в доме все умерли, как только он тронул ручку. Он опять постучал, почти без паузы; он еще стучал, когда дверь (ни тени не упало на занавеску, ни шага не послышалось за ней) внезапно и беззвучно распахнулась под его рукой. Он уже шагнул через порог, словно его притянуло дверью, когда из-за нее возник Макс и преградил дорогу. Он был полностью одет, даже в шляпе.

— Кого я вижу,— сказал он.

Голос его был негромок, и все получилось так, будто он втащил Джо в прихожую, захлопнул дверь и запер ее раньше, чем Джо успел осознать, что он в доме. Однако его голос опять звучал как-то двусмысленно — сердечно будто бы и совершенно пусто, без тени удовольствия или веселья — как нечто исключительно внешнее, вроде личины, из-за которой он наблюдал за Джо, отчего и раньше Джо смотрел на Макса со смешанным чувством недоумения и гнева.

— А вот наконец и наш Ромео,— сказал он. — Король Бил-стрит.— Потом он заговорил чуть громче, а «Ромео» произнес совсем громко: — Заходи, гостем будешь.

Джо уже шел к знакомой двери, опять почти бежал — если этот бег вообще прерывался. Он не слушал Макса. Он никогда не слышал о Бил-стрит — этих трех-четырех кварталах Мемфиса, по сравнению с которыми Гарлем — кинодекорация. Он ничего не замечал. И вдруг увидел в глубине передней блондинку. Он не понял, как она появилась в передней,— когда он входил, ее не было. И вдруг оказалось, что она тут. Она была одета и в руке держала шляпу. А рядом с ним, за открытой дверью, в темной комнате был сложен багаж — несколько чемоданов. Может быть, он их не видел. А может, взглянув, увидел на миг, и мелькнуло быстрее мысли *Я не думал что у нее там много* И может быть, тогда он впервые подумал, что ехать-то им не на чем, подумал *Как же я все это унесу* Но не остановился, уже поворачивал к знакомой двери. И только прикоснувшись к ней, почувствовал, что за нею мертвая тишина, тишина, создать которую —он уже знал это в свои восемнадцать лет — один человек не может. Но не остановился и, наверно, не почувствовал даже, что передняя снова опустела, что блондинка снова исчезла, неслышно, незаметно для него.

Он открыл дверь. Теперь он бежал — то есть так, как забегает человек далеко вперед себя и своего знания в тот миг, когда он остановится точно вкопанный. Официантка сидела на кровати — он не раз видел ее в этой позе. Как он и ожидал, она была в темном платье и в шляпе. Она сидела потупясь и даже не взглянула на открытую дверь, и в неподвижной руке ее, огромной и уродливой на темном платье, дымилась сигарета. В тот же миг он увидел второго мужчину. Раньше он с ним не встречался. Но сейчас он этого не сознавал. Это он вспомнил позднее — так же, как сваленный в темной комнате багаж, на который он взглянул мельком, не поспевая зрением за мыслью.

Незнакомец тоже сидел на кровати и курил. Шляпа у него была нахлобучена на лоб, так что даже рот находился в тени. Он был не старый, но и не молодой. Они с Максом были точно братья — в том смысле, в каком любые двое белых, забредших в африканскую деревню, могут показаться туземцам братьями. Его лицо, вернее подбородок, на который падал свет,— было неподвижно. Смотрит на него незнакомец или нет, Джо не знал. И что Макс стоит у него прямо за спиной, тоже не знал. И слышал их голоса, не понимая, о чем они говорят, даже не прислушиваясь *Спроси его*

Почем он знает Возможно, он слышал эти слова. Но скорее нет. Скорее всего они пока что значили для него не больше, чем шорох насекомых за плотно завешенным окном или сложенные чемоданы, на которые он посмотрел, но пока еще не увидел. *Бобби говорит он сразу смылся*

А может он знает Попробуем выяснить хотя бы от чего мы бежим

Хотя Джо не пошевелился с тех пор, как вошел, он все еще бежал. Когда Макс тронул его за плечо, он обернулся так, как будто его остановили на полном ходу. Он и не подозревал, что Макс в комнате. Он посмотрел на Макса через плечо с досадой, чуть ли не с бешенством.

— Давай потолкуем, паренек,— сказал Макс.— Ну, что там?

— Где — там? — сказал Джо.

— Со стариканом. Как думаешь — укокал его? Только начистоту. Ты же не хочешь, чтоб Бобби влипла в историю?

— Бобби,— сказал Джо, думая *Бобби. Бобби* Он повернулся, снова побежал; на этот раз Макс схватил его за плечо, хотя не грубо.

— Ну так? — сказал Макс.— Ну, мы же тут все свои. Укокал его?

— Укокал? — сказал Джо раздраженно, сдерживая нетерпение, как человек, которого донимает расспросами ребенок.

Заговорил незнакомец:

— Ну, которого ты стулом огрел. Умер он?

— Умер? — сказал Джо.

Он перевел взгляд на незнакомца. При этом он опять увидел официантку и опять побежал. Но на этот раз он действительно двигался. Он совершенно забыл об обоих мужчинах. Он подошел к кровати, выдергивая что-то из кармана с восторженным и победоносным выражением лица. Официантка на него не смотрела. Она не посмотрела на него ни разу за все время, но он скорее всего упустил это из виду. Она так и не пошевелилась, сигарета еще дымилась у нее в руке. Неподвижная рука была безжизненной, большой и бледной, как вареное мясо. Опять кто-то схватил его за плечи. На этот раз оказалось — незнакомец. Незнакомец и Макс стояли плечом к плечу и смотрели на Джо.

— Не тяни волынку. Если смарал старика, так и скажи. Это, знаешь, недолго будет секретом. Глядишь, всплывет через какой-нибудь месячишко.

— Сказано вам, не знаю! — ответил Джо. Он глядел то на одного, то на другого с раздражением, но пока без злобы.— Я его ударил. Он упал. Я ему говорил, что он у меня дождется.

Он глядел то на одно, то на другое лицо — бесстрастные, почти неразличимые. Он начал дергать плечом, за которое его ухватил незнакомец.

Заговорил Макс:

— Так чего ты сюда пришел?

— Чего я... — сказал Джо.— Чего я сюда... — повторил он упавшим голосом, возмущенно переводя взгляд с одного лица на другое, но еще смиряя злобу. — Чего я при-

шел? Я пришел за Бобби. Вы что... ведь я домой ездил взять денег на женитьбу... а вы еще...

И снова он начисто забыл о них, выкинул их из головы. Он вырвался и повернулся к женщине — опять не помня ничего, гордясь и торжествуя. Вероятно, в этот миг обоих мужчин выдуло из его жизни, как два клочка бумаги. Вероятно, он даже не заметил, как Макс отошел к двери и крикнул, и через секунду появилась блондинка. Он нагнулся над кроватью, где неподвижно и понуро сидела официантка, склонился над ней, выгребая из кармана ей на колени и на кровать свалявшуюся массу бумажек и монет.

— Вот! Смотри что. Смотри. Достал. Видишь?

А потом ветер снова налетел на него, как три часа назад в школе, среди остолбенелых людей, которых он не замечал. Официантка вскочила, толкнув его снизу, он выпрямился от удара и стоял спокойно, в каком-то полусне, спокойно глядя, как она собирает скомканные и рассыпанные деньги и швыряет их, спокойно глядя на ее искаженное лицо, на кричащий рот, на глаза, которые тоже кричали. Он один из всех казался себе спокойным, невозмутимым, один лишь его голос был спокоен настолько, что проникал в сознание:

— Значит, ты не хочешь? — говорил он.— Значит, ты не хочешь?

И повторилось то же, что в школе: ее держали, она вырывалась и визжала, всклокоченная голова тряслась и дергалась, а лицо и даже рот, напротив, были неподвижны, как у покойника.

— Сволочь! Паразит! Впутал меня в такую историю, а я с тобой как с белым человеком! Как с белым!

Но для него, наверное, это было все еще просто шумом, никак не проникавшим в сознание,— просто долгим порывом ветра. Он просто смотрел на нее, на лицо, которого никогда прежде не видел, и говорил спокойно (вслух или нет — он сам не знал), с тягостным недоумением *Я же ради нее убил Я даже украл ради нее* — словно только что услышал, узнал об этом, словно ему только сейчас сказали, что он это сделал.

Затем и ее будто выдуло из его жизни долгим порывом ветра — как третий клочок бумаги. Он начал помахивать рукой, словно она все еще держала разбитый стул. Блондинка уже довольно давно находилась в комнате. Он заметил ее впервые, без удивления — выросшую, как из-под земли, неподвижную, в диамантовой своей невозмутимости вызывающую такое же почтение, как непререкаемо поднятая белая перчатка полисмена,— и хоть бы волосок выбился. Теперь голубое кимоно было надето поверх темного дорожного платья. Она тихо сказала:

— Заберите его. И давайте уходить. Тут скоро будет полиция. Они узнают, где его искать.

Возможно, Джо совсем не слышал ее, так же как визг официантки:

— Он мне сам сказал, что он нигер! Паразит! Пускать задаром эту негритянскую морду, чтобы из-за него же на деревенскую полицию налететь. На танцульке деревенской.

Возможно, он не слышал ничего, кроме долгого ветра, когда, размахивая рукой так, словно она еще сжимала стул, бросился на двоих мужчин. Должно быть, он даже не знал, что они сами двинулись на него. Потому что в каком-то исступленном восторге, подобно приемному отцу, он бросился прямо на кулак незнакомца. Возможно, он не ощутил ни первого, ни второго удара, но незнакомец дважды попал ему в лицо, прежде чем он рухнул навзничь и застыл, как тот, кого он сам поверг недавно. Он не потерял сознания — потому что глаза его были открыты и тихо смотрели на них. В глазах не было ни боли, ни удивления, ничего Но, видимо, он не мог пошевелиться; он просто лежал с выражением глубокой задумчивости и тихо смотрел вверх на двоих мужчин и блондинку, все еще неподвижную, гладкую, лощеную, как литая статуя. Возможно, и голосов не слышал, а если слышал, они и сейчас значили для него не больше, чем ровное сухое гудение насекомых за окном:

Надо же — запаскудить местечко о каком я мечтал всю жизнь

Нельзя ему с ними паскудами связываться

Да как ему удержаться? Если от первой-то ножницами отреза́ли

А он правда нигер? Что-то не похож

Он сам сказал Бобби ночью Только, думаю она и сейчас знает про это не больше него. Эти деревенские ублюдки кем хочешь могут оказаться

А мы узнаем Сейчас поглядим черная у него юшка или нет

Лежа тихо и покойно, Джо смотрел, как наклоняется незнакомец, приподнимает ему голову и снова бьет в лицо — на этот раз коротким резким ударом. Чуть погодя он лизнул губу — как ребенок ложку на кухне. Он смотрел, как незнакомец отводит руку. Но она не ударила.

Хватит Надо в Мемфис ехать

Еще разок. Джо лежал тихо и смотрел на руку. Тут рядом с незнакомцем оказался Макс — тоже нагнувшись. *Надо еще чуть-чуть пустить, чтобы знать наверняка*

Точно. И пускай не волнуется. Это ему тоже бесплатно

Рука не ударила. Возле них оказалась блондинка. Она держала руку незнакомца за запястье. *Хватит, я сказала*

Перевел с английского В. ГОЛЫШЕВ.

(Продолжение следует)

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ

★

ДОБРАЯ ОСЕНЬ

Каждую осень уже три года подряд я уезжаю к себе на родину, в Прикумье, смотрю там и слушаю жизнь моих земляков. «У дяди Тимохи», первые заметки об этих поездках, напечатаны в восьмой книжке «Нового мира» за 1971 год. Писал я в них о людях, близких мне с давних детских лет. И рассказ получался больше о прошлых, о минувших днях, чем о нынешних. Со временем круг моих наблюдений стал расширяться, и я потихоньку начал входить в заботы сегодняшнего дня.

Поскольку поездки как-то уж пришлись и, кажется, дальше будут приходиться на осень, то и заметки начали складываться в виде неких осенних дневников. «Добрая осень», предлагаемая вниманию читателя,— одна из начальных страниц этих дневников.

1

Я думал: вот теперь буду писать про дядю Тимоху. Вторую книгу. И уже наметил было снова поехать к нему. Но тут узнал, что он помер. Дяди Тимохи больше не было. Случилось это в марте, а в наших местах в марте уже совсем тепло. И в такую пору помирать, конечно, тяжело. Да и смерть пришла к нему не по годам рано, только что исполнилось семьдесят. Прокрался рак, это проклятье нашего века.

Лежал, говорят, дядя Тимоха царственно, не жаловался, не стонал, не произносил слов без нужды, а только злой был, не хотел уходить в землю раньше времени. Злой был на всех и на все. Как будто все и всё были виноваты в таком несправедливом решении судьбы.

Татьяна Ивановна плакала про себя, ему слез не показывала, старалась смягчить его боль.

— Ты уж, отец, потерпи маленько,— говорила она, присаживаясь на кровать,— ты потерпи немножечко, а там сестричка приедет, Петька приедет, надо попрощаться.

Это она о моих родителях говорила. Отец и мать приехали по письму, но опоздали, дядю Тимоху уже схоронили. А тогда он отвечал Татьяне Ивановне зло, обиженно:

— Не приедет сестричка. Не приедет Петька.

— Ну, ты ж на меня не серчай, отец. Придет время, все уйдем, все там будем.

Молчал. Он и сам все это знал, но не мог одолеть обиду свою.

— Я не серчаю. Только не трогайте меня. Молчите.

Другой раз, когда он глядел уже оттуда, уже ушел как бы, но еще находился в сознании, Татьяна Ивановна сказала ему:

— Отец,— сказала она,— ты ж меня не забывай, когда помру, пусти тогда к себе, чтоб рядом положили, скажи им, чтобы рядом положили.

Дядя Тимоха не слышал Татьяну Ивановну, к нему вроде не доходил уже голос ее. Но спустя минуту, не шевелясь, он ответил, однако, заговорил:

— Никого мне не надо... И могилку мою не топчите зря.

Я приехал на родину, а там уже не было дяди Тимохи.

2

Старый Гёте про одно свое сочинение сказал: «...все записано как попадалось на глаза; о плане и художественном округлении не было и мысли; все вылилось как вода из ведра».

Счастливый был человек. Вот я вернулся домой весь полон той жизнью, какую наблюдал в течение месяца, какою сам жил в родных своих местах, и мне также хотелось бы освободить свою душу от того, что теснит ее, что накопилось в ней, освободить без складу и ладу, вылить все, как воду из ведра. А не могу. Надо работать, надо думать, приводить все в порядок, от чего освободить душу, а от чего и не освобождать, а носить до поры до времени в себе. А то ведь мало ли что, можно ведь и сказать, в конце концов: что же это вы, автор уважаемый, все подряд льете, и вообще-то в вашем ведре много чего не хватает, а много чего и лишнего. Так что не выливайте все без разбору, скажет читатель.

Но это я так, чтоб с места сдвинуться, для разбежки. Написал, что дядя Тимоха помер, а дальше уперлось, ни с места, не знаю, что писать дальше, то есть не знаю, с чего дальше начинать, в каком порядке рассказывать, как все художественно округлить. Ну, и подумал: дай, думаю, вспомню про эту воду, хотя она, может быть, совершенно тут ни к селу и ни к городу. Скорей всего так оно и есть на самом деле.

А осень-то была добрая, тихая, солнечная, люди без пиджаков ходили. Вдруг после мелких дождичков, косых, промозглых, распогодилось, небо расчистилось, холодные ветры улеглись, и стало тихо и солнечно. А главное, хлеб был уже убран, виноград обрезан, пахали зябь, кукурузу доламывали — словом, управились хорошо, и год нынче был хороший, урожайный. В директорском кабинете на виду лежали три арбуза — белый, полосатый и зеленый, лежала тыква, тоже величиной с колесо от повозки. Это память о добром лете и как знак доброй осени. Они радовали директорский глаз, поддерживали настроение, да и посетителю приятно было посмотреть, удивиться: о-го!— вот это арбузы! Или: о-го!— вот это тыква!

Хорошо было на душе у людей.

В кабинете у Алексея Саввича сидел представитель Художественного фонда РСФСР.

— Небось деньги качает?

— Угадал,— весело обрадовался директор, как это я угадал, зачем тут сидит человек из Худфонда.— Вот просит тридцать тысяч, дороговато, конечно, а все не зря, все за дело. Не будем же мы отставать от века? Не должна же Цыгановка в хвосте ходить.

— Не должна.

Да, кончается наш старый-престарый нардом, где я в золотом своем детстве смотрел «туманные картины», первое наше кино, где позаседал дядя Тимоха, покурил папиросок в молодые свои года. Отживает нардом, уходит в прошлое, как ушел уже дядя Тимоха. Строит Цыгановка современный Дворец культуры. И вот уже представитель Худфонда тут как тут, из Москвы пожаловал, предлагает проект внутреннего оформления. Тридцать тысяч за одну только красоту, за эстетику, за то, чтобы не стыдно было принять у себя в Цыгановке ну хотя бы даже и МХАТ с его народными артистами, а то и Большой театр. Ни перед кем не будет стыдно.

Схлынула главная страда, ушли летние заботы, теперь и Дворцом поплотней можно заняться. И художники это чуют, из далекой Москвы пожаловали. Это хорошо. Это трогает душу, заставляет вспоминать, как жили когда-то и как теперь начинаем жить.

Алексей Саввич стал договор подписывать с Худфондом на тридцать тысяч, а мы с парторгом вышли поглядеть на будущий Дворец и рядом с Дворцом — на мемориальный памятник, уже готовый, открывали нынче осенью, до моего приезда. Собственно, никакого Дворца еще не было, заложен фундамент, выведены

кое-где стены, но уже сейчас виден был размах будущего здания. А вот мемориал стоит под сенью деревьев, под охраной пирамидальных тополей. Площадка из бетонных плит, усыпанных тополевыми листьями, и стела, мраморная стена, с именами цыгановских ребят, цыгановских мужчин, павших смертью храбрых на минувшей великой войне. И еще кусок бетонной скалы с барельефом солдатского лица и перед стеной воронка, прикрытая металлической звездой,— это для вечного огня.

На родине еще почему чувствуешь, что ты на родине? А потому, что фамилия парторга Алексея Михайловича Сорокина — своя, родная фамилия. И дядя Тимоха был Сорокин, и мать у меня Сорокина, и на стене, на мраморе, золотыми буквами среди многих имен и фамилий выбита и эта фамилия, да не один раз, а несколько раз. И Андрюшка Сорокин, сын дяди Тимохи, конопатый Андрюшка, который, по словам дяди Тимохи, «не должон бы погибнуть», погиб, тут значится, на мраморе, среди других Сорокиных. И моя, отцовская, фамилия тоже выбита тут в алфавитном порядке, на букву «Р», и тоже не один раз, а несколько. На родине все родное, в том числе и могилы, и память, и слава.

Да, посмотрели, помолчали, слышно было, как листья с тополей падали и ветерок протаскивал их по плитам, по шершавой поверхности, постояли; подумал — о чем? О чем можно думать перед этой стеной, перед этими именами? И Санька и Ленька Малакановы, по-письменному Башкировы, тоже тут значились, давние-давние мои дружочки. Сегодня видел дядю Андрея и тетку Нюрку, родителей их, на ишачке воду везли для бани. Сильный ишачок, топает, уши врозь, бочку воды везет, а Саньки и Леньки нет, полегли они далеко от дома, с фашистом сражались. А старики живут, воду сегодня везли с артезиана.

После обеда директор с прорабом и главным инженером механизированной колонны, которая подрядилась строить Дворец, собрались в степное село Арзгир, где подобный Дворец только что построен, стоит готовый к сдаче. Поехал и я в Арзгир. По-старому сто верст от Цыгановки, в сторону калмыцких степей. Там я овечек пас когда-то недалеко от Арзгира, на Синих буграх. Бугров в тех местах вроде никаких особых не было, тем более синих, а был поселок Синие Бугры; между двумя рядами мазанок, саманных хат тянулась глубокая балка. И дно и склоны ее покрыты были изумрудной травой-муравой. Там мы разные игры играли по вечерам. Влево, к Арзгиру, и вправо, к Калмыкии, лежала ковыльная степь с пересохшими и белыми от выступившей соли лиманами. Солнце тогда было бесконечным и ковыльные гривы волновались под ветром тоже без конца и края, гадюки грелись на мягких кочках ковыля, свернувшись в клубок.

Узнать степей этих не могу. Все распахано, полосами чередуются поля, и никаких ковылей. Потому что много жизни ушло с тех пор. Синие Бугры стояли где-то справа. А возможно, их не было уже и в помине. Алексей Саввич, например, об этих Буграх и не слыхал ничего. Потому что течет она без остановки, река жизни. Что было — того нет, чего не было — появилось.

И на эту тему поговорили немного, и на другие подобные темы. Но Алексей Саввич со своими спутниками больше всего говорил о проекте Дворца, об отступлениях от проекта, о том, как получилось у них, у арзгирцев, в какую копеечку влетит этот Дворец.

— По смете вы знаете,— сказал главный инженер.

— Вот и узнаем, как арзгирцы уложились в смету.

— Им стало это в миллион двести.

Алексей Саввич схватился за голову: вы же, мол, грабители, по миру пустите и так далее. Но заметно было, что директор ужаснулся не по-настоящему, с небольшим притворством. Конечно, он знал, в какую копеечку станец Дворец, но и то понять надо, что сумма-то для нашей Цыгановки, для ее культурного обслуживания, все-таки аховая. Можно и без притворства схватиться за голову.

В разговорах как-то незаметно, прямо из степи наш вездеход влетел в этот Арзгир. Мы с отцом были на войне, а мать пряталась тут, в Арзгире, от немцев. В какой-то из этих побеленных хаток из самана. Проехали одну улицу, поверну-

ли на другую. Вон он и Дворец новый, на самой окраине, возможно, в будущем центре будущего города.

Остановились. Вышли из машины. А вокруг Дворца самосвалы, бульдозер копается, украшают подходы, выравнивают землю для цветников, для газонов и клумб, марафет наводят, а сам Дворец, красавец, стоит чистенький, молоденький, еще не обжитой. Интересно было смотреть на Алексея Саввича, на его лицо, поднятое кверху, на его глаза, которыми он общупывал здание, каждый угол, каждый выступ, каждый камень. Выражение лица и глаз понять, конечно, можно, но передать нельзя.

— Видите,— говорит он своим спутникам,— фронтон они осадили назад, я вам говорил, тяжело будет, он давит у вас в проекте, они, видишь, убрали немного, молодцы. А это что? Спортзал? Укоротили, загнали вглубь? Дудки, так делать не будем, а столярка... Где же они столяркой такой разжились?— Алексей Саввич еще издали заметил добротный материал в деревянной обшивке, в дверях.— Это разузнать надо.

И пошел, поднимаясь по ступеням, ко входу, пошел к дверям гладить рукой столярку, которая вызвала в нем такую зависть.

Так. Вот это зал! Кресла, занавес, приспособления для подъема и для опускания занавеса, декораций, опять же столярка, стены от пола и почти до половины высоты обшиты этой замечательной столяркой. А потолок? Чем же это потолок облицован? Что за материал? Плитка какая-то. Где достали? Интересно, как с акустикой? Алексей Саввич попросил найти кого-нибудь из администрации или строителей. Нашли директора Дворца. Много чего выспрошено было у него, пока обходили сцену, фойе, потом поднялись на второй этаж, где и зал бракосочетания, и комнаты для изостудии, для балетной школы, буфет и так далее. Все осмотрели, общупали перила лестничные — а ничего перила, культурно сделано. Смотрел Алексей Саввич, вздыхал, охал, чесал затылок, что-то одобрял, чем-то восторгался, чего-то не принимал, но мне казалось — многое держал про себя. Он же хитрый хохол, как говорят мои земляки. Многое держал у себя на уме. А по дороге домой дал себе волю, размечтался. О новом центре села, о Дворце, об улицах, о нашем казеннике. О, этот казенник! Высокие кручи с одной стороны и с другой — речка Кума. В паводок она разливается, заполняет этот казенник водой. Огромное водное займище, чакан, топкие берега. Кручи все в норах, издали кажется, что пулями или снарядами побиты высокие кручи. Там птицы живут, щуры. Пока без дела, без пользы стоит казенник. Но будет такое тут сделано, что позавидуют в других местах, ездить будут к нам на экскурсии, на отдых. А пока Алексей Саввич только мечтает, ничего не предпринимает для устройства тут цыгановской Швейцарии, хотя уж и люди подталкивают, письма пишут на этот предмет. Алексей Саввич молчит. И тут, в дороге, я тоже понял: хохол, хитрый. Вот, говорит, канал подойдет вплотную—тут и мы возьмемся за свою Швейцарию. А канал тянут, уже недалеко от Цыгановки. На этот канал, на эту силу у Алексея Саввича какие-то есть расчеты свои. Но оставим это пока нераскрытым, пусть это будет пока у него на уме, не будем мешать ему в его замыслах и намерениях.

Теперь уже, на обратном пути, Синие Бугры где-то слева лежали и бередили мне душу незабытым детством. Пусть их и не было уже, Синих Бугров, но для меня они были. И на пути к ним — Романовка, и Петропавловка, и Десятое.

Была степная, еще безмашинная дорога через эти поселения. По ней когда-то, в разгар коллективизации, увозил нас отец на новые земли, полную повозку, фургон назывался, полный фургон ребятишек, моих братьев и сестренок, и ночь была тогда на этой дороге, молнии были, и дождь лился на нас безжалостно, а под удары грома мать в голос плакала, а мы, сбившись в кучку, промокшие, подвывали ей наподобие голодных волчат.

Как хорошо ехать этой степью, по новой дороге! Как хорошо, что год был урожайный, что вовремя управились с уборкой и теперь можно говорить о дворцах, о цыгановской Швейцарии в казеннике, о предстоящих праздниках. В эти дни доброй осени, кроме обычных для этого времени свадеб, кроме предстоящего

праздника работников сельского хозяйства, намечались открытия дворцов культуры в Арзгире, в Горькой Балке и в других местах моего Ставрополья. Из Горькой Балки цыгановские товарищи уже получили приглашение на открытие Дворца. Колхоз в Горькой Балке богатый и знаменитый. Социологи написали о нем ученую книгу-исследование...

Приехали домой, опять пошли к стройке, опять прикидывали, сравнивали, что надо принять во внимание, а чего не надо, ходили все вокруг стен, внутрь, в клетки из полувыведенных стен заглядывали.

— Ладно,— сказал Алексей Саввич, держа все время что-то на уме у себя.— Ладно, по домам пора.

Разошлись по домам.

3

— В пятидесятом году только весна пришла, а хлеба уже ни у кого ни грамма. Председатель Серков говорит: вот что, ничего в колхозе нету, каждый сам по себе держитесь до нового. Стали держаться. А легко ль, Вася, держаться? И пошли мы кто куда, по разным местам. Пошли в Петропавловку, в Романовку, на Десятое. К вечеру, уже темно стало, до Десятого дошли, дальше ноги не идут, хоть помирай, и голодные ж все. Постучались на огонь. Кто? — женщина спрашивает. Пустите, говорим, переночевать. Счас, говорит, у хозяина спрошу. Выходит сам. Дверь открыл, поглядел. Цыгановские? Цыгановские. Что ж, говорит, к нам-то пришли? Но в хату впустил. Стали работать. Продержались в ихнем колхозе.

Это Настя рассказывает, подружка детства, невестой моей обзывали ее тогда. Невесту я не узнаю совершенно. Ни одной черточки нет знакомой. Сидим за столом, поужинали, разговариваем. Гляжу на эту бабу в чистой кофте, в юбке со сборками и в теплом платке — платок она не снимает никогда, даже ночью, ложась спать. Слушаю тихий голос ее и никак не могу увидеть в ней той давнишней Насти, худенькой девочки, которая жила напротив, на одной со мною улице. А все же называю ее Настей, она меня тоже по имени. Ходим с ней по развалинам нашего детства, как слепые и вроде как чужие люди, но и как свои, потому что все там родное нам обоим.

— А почему ж ты Шитикова, Насть? Не Ваня ли Шитиков мужем твоим стал?

— А ты Ваню знаешь? — удивляется Настя, но удивляется незаметно, одними глазами, потому что сидит как-то неподвижно и невесомо, голова в платок закутана, то ли больная, то ли старая уж такая, хотя что же, не старая, крепенькая, маленькая, лицо круглое, колобком сдобным выглядит, и ходит Настя неслышно, уточкой. Глаза под платком темные, глядит ими и не глядит, не заметишь, да еще косит немного, мягко так, тоже почти незаметно, и рассказывает тоже вроде незаметно, без всяких выражений или с очень уж мягкими оттенками в голосе. Вся незаметная. Как улитка, спряталась в себя, живет молчком. Походила, видать, по ней жизнь, поездила на горбу у нее, угомонила, сделала тише воды, ниже травы. Тогда еще, когда была худенькой девочкой, невестой моей, уже тогда Настенька сиротой была, у тетки, без мамки, без тятьки жила.

— Ваня Шитиков — мужик мой первый,— сказала она незаметно, прошелестела.— Ванька. И годов-то у меня еще не было, а он пристал и пристал. Ну, поженились. В город, говорит, увезу, не станем тут жить. Уехали в Нальчик. И чтой-то ему не дали там работы, он бухгалтером был, туды-сюды, поехали дальше, за Нальчик, в аул. В ауле дюже не понравилось, вернулись домой. А в дороге простыл он. Лежал-лежал ды и помер. Воспаление получил легких. Вот поднимусь, говорит, все одно в город уедем. И не поднялся. А тут стал другой приставать, уговаривать. А у меня Мишка маленький, от Вани. Сошлись. А мать его дюже невзлюбила Мишку. Отдай, говорит, в приемник. Как же я свово дитя отдам? Не отдала. Ну, тогда, говорит, вам не жить, зачем ему чужой. А сам он ни рыба ни мясо, как говорится. Что мать скажет, то и делает. Взяла ды ушла

от него. Когда брали, вы ж знали, что не одна я, с ребенком? А теперь не нужен ребенок, чужой? Как хотите, так и живите, а я уйду. И ушла. И живу одна. Больше с мужиками етими не занималась, уж и забыла как чего.

— Ну, а все же кто лучше был — Ваня или тот, другой?— спрашиваю я, интересно мне стало.

С Ваней Шитиковым мы же в школу ходили до третьего класса, оба маленькие были, меньше всех, и дружили, возможно, поэтому, за арбузами бегали к нему на переменках, жил он недалеко от школы. И мне интересно, что он мужем стал Настиным и помер уже давно.

— А кто их знает. С тем-то я жила совсем ничего, с Ваней. С этим побольше. Ну, а первый все ж родной, сыну, придет, радуется, тетешкает Мишку. А этот неродной. Знать, первый лучше.

Из клетушки, или спаленки, через открытую дверь все кашель доходил, скрипучий, старческий. Под ветхим одеялом лежала там, тоже закутанная в теплый платок, Настина сестра, глубокая старуха. Кашляла весь день, поднималась только по надобности, поесть или выйти куда. А то все лежала день и ночь, жениха ждала.

— Вот,— говорит Настя,— не помирает, жениха все ждет.

— Как зовут сестру?— спросил я.

Настя незаметно улыбнулась.

— Да никак. Бабка. Можно — Ивановна.

Видно, услыхала Ивановна — про нее говорят, поднялась, вышла, поздоровалась, присела к столу. Скрипучая, согбенная.

— А я слышу, ктой-то балакает незнакомый, а ты Василь, значит? Родня нам по Дуньке, по первой Тимохиной жинке, она ж тоже сестра нам.

— Вот, Настя говорит — жениха ждешь, Ивановна? Так?— захотелось пошутить немного.

Но Ивановна пожевала губами и ответила совсем серьезно:

— Жду, Вася. А вот не идет, треклятый.— И чуть-чуть улыбнулась лукаво, почти кокетливо.— Со вторым-то я жила дюже хорошо, с им можно было жить. Рыбки, бывало, принесет — жарь, давай, старуха, ну, я жарю... Жить с им можно было. А как помер, к Насте перешла. На восемьдесят четвертом году кончился, все свое отжил. А мне цыганка ворожила, трех, говорит, переживешь. Ну, двоих пережила, а чтой-то не идет третий. Но прийтить должен, раз так цыганка нагадала.

Настя незаметно, про себя, смеется, рот платком прикрывает, я тоже улыбаюсь, смешно немножко. Да, носатая Ивановна, зубов мало, а рот хоть и старушечий, но еще сочный, плотоядный, губами все шевелит, кусает их. Грешница.

А Мишка Настин в городе живет, в аспирантуре учится, большим человеком собирается стать по научному хранению овощей.

Утром я первым делом к речке вышел. Снежок, маленькая злая дворняга, брешет во всю ивановскую, таскает цепь по проволоке и заливается лаем, а я сошел с порожка во двор и тут же по тропочке к реке, к желтой нашей Куме. Слева виноградник, справа кустики какие-то, розы еще держались кое-где, доцветали, между виноградником и розами с десяток шагов — и вот она, речка. Крутит воронки под кручей, тяжело течет, завивается, бурлит местами, вроде наизнанку выворачивается, и течет, не стоит на месте. На самой круче будка на замочке, электромотор там, когда нужно, воду качает к винограднику и в огород. А мотор откажет — тут же рядом можно набирать воду цыбаром, в других местах это называют колодезным журавлем. Вот и журавель стоит, к его длинной жердине ведерко прицеплено, то есть цыбарка по-нашему, по-северокавказски. Да, все тут налажено, все прибрано. И дом стоит большой, новый. Комнат много, да жить некому. А жить хорошо можно — и виноград свой, и куры, и пенсия идет, и Снежок на цепи бегает, и Кума под самым носом, розы цветут разных сортов. Улыбнулась жизнь Насте, хоть и в глубокой уже поре, но все же за все ее страдания улыбнулась наконец, и то слава богу.

Вот я заметил: кого ни коснись из моих земляков, какую жизнь ни начни распутывать от самых начал до нынешнего дня — и чего только там нет, я имею в виду,— каких только не содержится там ужасных испытаний, каких вавилонских слез не пролито, а все-таки во всех почти случаях мы приходим к хорошему финалу, все кончается хорошо, как, например, у Насти или у других, кого мы коснемся в дальнейшем. Значит, можно сделать вывод, жизнь правильно движется, в нужном направлении. По хозяйству, по дворцам, скажем, это сразу заметно всем и каждому, но это же подтверждается и в отдельности почти на любом, самом хотя бы и маленьком и незаметном человеке.

4

У меня тоже было хорошо на душе. Да и кто из нас, из русских людей, не любит тихую, добрую осень! Ведь хороша она не только в Болдине, но и повсюду, в том числе и в Цыгановке. Солнышко стоит незлое, смирное и ласковое, желтый тополевый лист летит, кувыркается в воздухе, падать не хочет, но деваться некуда — падает, а ты идешь по этим листьям, их уже много понасорено на дорожках, идешь, а на душе у тебя вроде тихая музыка играет. И нечего этого стыдиться.

С утра я походил по Настиному саду, по крутому берегу Кумы, на воду поглядел, на берега, поросшие вербой да тополем,— на эту речку я не могу наглядеться,— сорвал кисть черного винограда, оставленного в двух-трех кустах на всякий случай, а потом ушел к центру. И вот хожу по безлюдью, между каменным зданием конторы (новое здание), между нардомом, магазинами «Культтовары», «Промтовары» и желтеющим сквером. С одной стороны у меня эти здания, с другой — этот тихий сквер, густо поросший кленом да тополем. Небольшие пирамидальные тополька чуть слышно пошумливают наверху, а под ними, пониже, задумчиво молчат клены. Хожу и слушаю свою музыку. Людей нету, никто не мешает. Так, пройдет наискосок через сквер женщина с сумкой или школьники пробегут — и опять никого. В «Культтоварах» и «Промтоварах» сидят молоденькие продавщицы без дела, скучают. Оно хоть и кончилась горячая пора, а люди все на работе, кукурузу ломают, на фермах заняты, виноград закрывают — работа всегда найдется. А вот перед сквером кафе «Встреча», маленькая такая коробка из толстого стекла, через это стекло солнышко заглядывает, уютно там, и Танечка за стойкой тоже скучает, письмо кому-то пишет, на Север куда-то, далеко. Зашел я в эту «Встречу», еще тише тут, за стеклянной стенкой. Столики на железных ножках, с покрытием, гигиенические. Стульчики. Чистенько. Из-за стойки вылезает наружу медный кран, хорошо знакомый этот медный кран, ввинчивающийся в бочку. И точно. Стоит дубовая бочка — и в ней этот кран и парочка кружек возле на бочке. Главное, ни души и пожалуйста — пиво бочковое. Ну-ка, Танечка, налей-ка пару. И так я вспомнил сразу дружка своего, писателя, большого любителя и знатока пивного и вообще редкого знатока и ценителя хорошей минуты, счастливого мгновения наподобие того, какое переживал я сейчас. Солнышко до столика достает, до кружки с пивом, медовым светом играет. Вот, говорю, Юра, куда ехать надо, куда ехать-посидеть, по душам поговорить об жизни. Я отпивал глотками, не спешил. А куда спешить? Жалко стало, что курить бросил, тут бы еще закурить сигаретку какую-нибудь хорошую. В нашей быстрой жизни такая минута много значит, не часто она выпадает. И чем реже выпадает, тем нужней становится, тем больше понимаешь ее, ценишь. Пена в кружке садится, а я не спешу, я ценю эту минуту.

Вот чем еще хороша родина. Она тебе ко всему прочему и минуту эту одинокую подарит, чтобы ты один побыл и чтобы, кроме как тихого шороха опадающей пены, тихих звуков лопающихся пузырьков в пивной кружке, никаких других стуков и трюков не было, чтобы ты мог посидеть и к себе поприслушаться.

Открывается дверь стеклянная, и входит дурочка наша цыгановская, садится на стульчик около входа, молчит, улыбается чему-то. Танечка не обращает на

нее внимания, пишет свое письмо на Север. Между прочим, теперь дурочек так не называют у нас. Теперь говорят: а, говорят, это Тося, дебильная наша. А у Тоси рука левая в гипсе, держит ее на перевязи, как дитенка. Это у нее от мотоцикла. Поставил парень возле кафе мотоцикл, на минуту к Тане забежал, а ключ оставил. Тосе захотелось прокатиться, села, запустила мотор и врезалась в штакетник, поломала руку. Сидит с этой рукой — дитенком, улыбается, что-то про себя шепчет, дебильная.

А потом еще двое вошли. Парень с модными баками, волосы до плеч, со впалым, как нынче полагается, животом и девица, тоже вполне наша, на «платформах», в мини-юбке, прошла, слегка поигрывая бедрами, присела к столику, нога на ногу, круглые коленки выставила, не стесняется. Точь-в-точь как где-нибудь в «Метелице» на проспекте Калинина. Только тем отличается, что ни под глазами, ни вообще на лице нигде никаких теней, никакой дымки столичной, а все в высшей степени натурально, глаза ясные, улыбка открытая, без игры, и вообще вся кровь с молоком, а так — челочка, коленки, как у всех у нынешних. Она села, он прошелся по-над стойкой, с Танечкой поздоровался, взял пива себе и ей. Сидят они, пиво пьют, тоже не спешат. Они в одном конце, я в другом. Замок у куртки расплущен, сигаретка в руке, сполovинил кружку, закурил. Тоже наслаждаются минутой, молча пьют, поглядывают друг на друга.

— Тося,— сказал этот дебильной,— ты чего пиво не пьешь?

— У тебя есть деньги, а у меня нету,— по-детски простодушно ответила Тося.

Парень поднялся, взял новую кружку и поднес дурочке. Засветилась вся, головой закачала от радости, подняла кружку над забинтованной рукой, стала пить, часто отрываясь, чтобы вздохнуть глубоко и сказать единственное: вкусно, вкусно, ах, вкусно.

— Тось, а Жора на пиво не дает тебе, что ли?

— Я уже другого полюбила,— ответила дурочка.

— Кого же?

— Володьку, он передовиком стал, а Жора на второе место съехал.

— Коварная ты женщина.

— Не буду же я любить, если он на второе место съехал.

— Второе, первое, ты ведь считать не умеешь.

— Умею. Один, два, три, восемь, пятнадцать, еще семь, потом двадцать пять, сорок, сто тридцать и до тыщи могу.

Смеются, шутят — свои все, значит. И этот с баками, и эта с коленками голыми здешние, значит. Неужели и тут завелись модные эти волосатики и мини-девочки без определенных занятий? Пока я думал-гадал, еще один вошел. Этот плотненький, кругленький, рыжий, волосы густые, уложены мелкой волной, этакой парикмахерской рябью, но тоже с длинными баками. Взял кружку, к тем подсел. И что за народ такой, праздношатающийся? Не обошлась и ты без них, Цыгановка. И к тебе они прилипли.

Так я думал. И думал зря.

5

Вечером в нардоме было собрание всего совхоза, праздник сельского хозяйства, итоги подводили, но не всего года, не по всем отраслям, а только по животноводству, по садам-огородам, по птице, а по зерну, то есть у полеводов, будет после, через месяц-полтора. Мне хотелось поглядеть, как это у нас делается, в какой форме проходит это в нашем совхозе «Архангельский», в селе нашем Архангельском, которое я больше люблю называть по-уличному — Цыгановка. Я вошел тихонечко и прислонился к косяку входной двери, щекой к бархатной шторине приник. Все тут шло уже в полном разгаре, битком набитый зал слушал докладчика. Откуда набралось столько? За праздничным столом президиума хорошо одетые мужчины и женщины, директор наш Алексей Саввич Коваленко, парторг Алексей Михайлович Сорокин, и густо

сидят другие. Трибуна, как положено, за трибуной — докладчик читает по бумагам доклад, как положено. Там ведь цифр полно, их не запомнишь, ну, и конечно, формулировки, тоже надо точности придерживаться. Одним словом, как везде.

В зале также очень густо сидели. Костюмы, платки праздничные то и дело выделялись в рядах. Слушали с большим вниманием, потому что каждая цифра, каждая фамилия, каждый факт — это все они, сидящие так плотно в этом старом-старом зале.

Ничего особого я не испытывал, мне стало скучновато, потому что все это мне довольно хорошо знакомо — и доклад и президиум, и ничего особенного, оригинального, оказывается, в этих процедурах не найдено и тут, в моем Архангельском, в моей Цыгановке. Я только вспомнил, что в таких-то президиумах сиживал раньше дядя Тимоха, в оные времена, и там же, в президиуме, увидела его первый раз Татьяна Ивановна, и сильно тогда дядя Тимоха, худющий, носатый, не понравился ей. И в этом же зале я видел первое свое кино, дядя Тимоха привел меня тогда поглядеть «туманные картины». У меня, помню, волосы тогда шевелились. Как же так, прямо на стенке, как только потушили свет, на белой простыне стали живые люди копать землю. Копнет лопатой и бросает землю, копнет и опять бросает. И паровоз летел на меня страшенный. Вспомнил, а потом немного опять вслушался в доклад и подумал: ну, все, одним словом, ясно, можно и домой идти, к Насте. И так же, как вошел, так же тихонько и вышел. И уж на улицу вышел, на небо еще поглядеть не успел — парторг. Откуда он взялся? Берет под руку и ведет обратно. Я говорю, что, в общем-то, мне ясно, идея, так сказать, ясна, а остальное мне ни к чему. Нет, тащит. Нельзя, говорит. Директор, говорит, заметил. Так я снова тем же путем тихонечко приоткрыл дверь и вошел, теперь уже вдвоем, опять прислонился к косяку. И он, Алексей Михайлович, тоже стоит рядом.

Не успел подумать, зачем это вернул меня парторг, как встал в президиуме директор Алексей Саввич, руку протянул к докладчику, остановил его, извинился и сказал людям: мол, товарищи, в нашем зале находится наш земляк и так далее и так далее. В ужасном смущении пошел я вслед за Алексеем Михайловичем под пристальными взглядами незнакомых мне моих родных односельчан, пошел подниматься на сцену, в президиум.

Докладчик читал доклад, а у меня шумела голова. Зачем это сделал Алексей Саввич? А люди между тем, рабочие совхоза, отнеслись к этому просто. Да, вот жил тут человек, родился, вырос, а теперь вон где, в столице живет, и приехал, не забыл, на собрание пришел. почему же его не посадить в президиум. Я прочитал это на лицах. когда немного приспособился к обстановке и стал осматриваться потихоньку. Тут, в президиуме, во втором ряду сидела эта — с челочкой, с коленками. Вот что было неожиданно.

Потом, после доклада, стали зачитывать передовиков, вызывать их на сцену, вручать грамоты, ценные подарки и конвертики с денежными премиями. Кому что.

И когда прочитали — Романько Таисия Ивановна, доярка, встала и пошла к трибуне награду получать эта, с челочкой. Таисия, Тая, Таисия Ивановна Романько. И необъяснимо, почему все, кто поднимался на сцену получить награды, все, кто не поднимался и сидел за праздничным столом президиума и в полуосвещенном зале, все решительно, старые и малые, мне сделались такими близкими, что я закусил губу и уже новыми глазами начал смотреть на зал, полный очень родных лиц. Я стал теперь ждать, когда же поднимется тот волосатик с баками или тот рыжий с мелко завитой шевелюрой. Но ни один из них не появился. Я увидел их после, когда начался концерт.

Никто не приехал по случаю праздника, концерт давался собственными силами, и не самодеятельностью, нет, а штатными артистами Цыгановки. Раздвинулся занавес, и на сцену вышли музыканты, приспособились к своим инструментам, а мой знакомый с баками и волосами до плеч взял ослепительную, в инкрустациях электрогитару. И как ударили они, и как заговорила каким-то нездешним, вроде подземным голосом электрогитара... Ах ты стиляга цыгановский, ах ты битл

доморощенный, ах ты Пауль Маккарти, Джон Ленон, Ринго Стар и Роллинг Стоунс, ах ты молодец, какой умелец! Как он старался перед своим цыгановским народом! Он умел все на свете— и пел, и на своей ослепительной электрогитаре и на всех без исключения других инструментах мог. Давали они современные мелодии, современные ритмы, у всего зала сердце подскакивало.

После музыки вышел этот, другой, с мелкой парикмахерской рябью в шевелюре, рыжий. Ну, что он будет делать?— подумал я. Совершенно не похож на артиста, под глазами особые такие признаки, возможно, выпить любит, злоупотребляет этим, хотя молодой сравнительно. Что он может? А он начал какую-то байку рассказывать, вроде в качестве конферансье выступал. Нет, думаю, лицо невыразительное, и вообще это дело трудное, даже в Москве у нас не всегда посмеешься, юмор — это не всем дается, а тем более лицо у него невыразительное. И думая таким образом, я вдруг как заржал во всю свою мочь, даже испугался, но тут грохнул весь зал, и, уже не унимаясь, все стали смеяться страшно. Только затихнут — и опять взрыв, хохот. Смех такими волнами ходил, как на море при девяти баллах. А он все дает, а лицо такое удивительное, непостижимое, исключительно для большого юмора. причем у самого ни в одном глазу ни одной смешинки, скажет — и ничего, а народ давится от смеха, помирает. Вот, говорит, докладчик приехал, раз, раз — графин ставит, стакан рядом, папку раскрывает, вот кончил доклад. спрашивает: вопросы есть? Из задних рядов рука тянется, есть вопрос: у вас, товарищ докладчик, стаканчик не освободился? Ерундовина какая-то, а смеются, и я, мне кажется, громче всех. Вот бы заглянул кто-нибудь, удивился бы. Смеялась вся Цыгановка. На дворе уже ночь была, осень тихо молчала, звезды, памятник с именами погибших строго молчал, а тут вся Цыгановка помирала со смеху, и я вместе с ней.

6

На том же вечере я встретил Сашку Курдюшова, сына Василь Денисовича, Барыки по-уличному. Как хороший бригадир строительной бригады, он тоже выходил на сцену за получением грамоты. Все-таки машину он выхлопотал себе, «Запорожца». Гоняет этого «Запорожца» уже второй год. На работу, с работы, на рыбалку, в Прикумск и так далее. Все, говорит, поехали к Насте за вещичками, чего ты будешь жить там, давай к нам, в Непочетку. Никаких возражений слушать не стал. Сели после концерта; заехали к Насте, чемоданишко захватили — и в Непочетку, поближе к родной улице, к моей родной хате.

Наутро я сразу, конечно, к Василь Денисовичу. Где он? В летней кухне, видно, сидит. Приоткрыл дверь — точно: сидит перед столом, ножиком столовым картошку чистит. В старенькой-престаренькой телогрейке, в сапогах кирзовых, в помятой-перемятой ушанке. Одна нога свисает со скамейки, другую под себя подобрал. В кухне свет серенький, почти полумрак. Я подошел близко к Василь Денисовичу, вплотную, поздоровался, думал, что удивлю старика. Нет, повернул ко мне голову, лицо поднял, молчит, не отвечает. О, Василь Денисович! Как усох за два-то годика, с тех пор, как виделись мы. Личико уменьшилось, легким стало и заросло какой-то бросовой щетинкой, перестал доглядать за внешностью. Глаза совсем жиденькие, светленькие, нетвердые, и, что меня поразило и расстроило, хитреца из них ушла.

— Не узнаете, Василь Денисович?

— Нет, товарищ, не узнаю.

Я назвался. И глаза светленькие замутились, всплакнули. Рукой, в которой держал ножик, рукавом стеганки прикрылся немного, видно, слезу стер.

— Не узнал. Ды вот старуха супчику хочет сварить, а я вот сел почистить.

Положил в кастрюльку с водой очищенную картошку, ножик положил и опять лицом ко мне повернулся.

— Не хочу я жить, Василь. Ага...— И снова легонькие слезы потекли из глаз по мелкой сетке морщин, в бросовую щетину.— Не хочу.

— Сдался?— бодро спросил я, пытаясь перевести все на шутку.

— Ага, сдался.—Так же покорно глядел на меня Василь Денисович и отвечал без той прежней шутейности, так хорошо знакомой мне, безо всякого намека на нее.

— Штыки, значит, в землю?— продолжал я взбадривать дорогого мне Василь Денисовича.

— В землю, в землю.

— Да почему же? Что случилось такое?

— А ничего не случилось, заморился.

Вот те на, жить заморился. Дак отдохни, говорю, немного и живи себе.

— Не-ет, Вась... Ничего не надо, не хочу.

— Не понимаю, просто не могу понять, Василь Денисович.

— А чего понимать-то? Ну, заморился я жить — вот и все понятия. Ноги мои не ходют, глазами ничего не вижу. Тут отец приезжал твой, дык понес ему арбуз, хотел два взять, давно ж не виделись, а не унесу, стал быть, ноги не держут, насилу один донес.

И опять прослезился. Правда, отец говорил мне, что Василь Денисович арбуз приносил, насилу из мешка вытащили — такой арбуз. И как чуть что, говорит, так плачет, постарел.

— Знаю я про арбуз, он же в мешок с трудом поместился.

— Я бы другой взял, большой мешок, вошло бы два, ведь носил раньше, а теперь ноги не держут.

Ну, ладно, говорю, нашли от чего расстраиваться, конечно, возраст, но и в любом возрасте жить хорошо, в конце концов можно и без ног жить, живут люди. Сиди да гляди на мир божий, радуйся, дыши. Немного вроде разговорил я Василь Денисовича, поднялся он, сухонький, легонький, зашмурыгал сапогами, вышли мы во двор, в хату заглянули. Хату новую выстроил Сашка, саманную, но высокую, на дом похожую, не такой, конечно, как у него, у Сашки,—дом каменный,— из самана хата, а все же новая, просторная, чистая. С крылечка сразу входишь в первую комнату, кровать деревянная стоит, печка русская и ходики на стене. Радио, посмотрел я, нету, раньше-то Василь Денисович со всем миром связан был через это радио, в курсе всего был, теперь нету.

— Чего это ходики стоят?— спросил я.

— Ды не хочу я, чтоб они ходили. Тут-то, на этой кровати, прямо в сапогах я и лежу день-деньской, редко подымаюсь, жду...— И опять рукавом стал глаза вытирать.

— И радио, значит, не слушаете?

— И его вынес, не хочу ничего.

Мне было жалко Василь Денисовича, и я был уверен, что он зря поддался так рано, впал в это отчаяние, что его можно было еще как-то взбодрить, заставить по-другому взглянуть на свою жизнь. Мы вышли на улицу, сели перед Сашкиным домом. Я на скамейку со спинкой — Сашкина, конечно, работа. Василь Денисович на низеньком порожке умостился, обе ноги под себя подобрал, как-то они без труда у него подгибались, и так, и этак, вроде как неживые. Сидит он маленький, в старенькой стеганке, в ушанке своей и как без ног. Что было с человеком и что стало.

— Ну вот,— говорю,— как хорошо-то. Выгон виден весь, гуси-утки пасутся, школа наша бывшая. Вон хаты пошли рядком, а вот акация перед глазами, коршун в небе, мир-то завлекательный, сиди радуйся, чего еще.

Не слушал Василь Денисович, вроде не обращал внимания на мои разговоры, чуть набочок держал голову, молчал. У меня на скамейке стояла бутылка с пивом и стакан, так, для баловства вынес на солнышко, Сашка угостил. Отпил я немного и сказал:

— Хорошо, Василь Денисович!

— Я выпил бы пива,— сказал он, повернувшись ко мне,— сохнет что-то все, слова трудно выговаривать.

Я налил Василь Денисовичу, он хорошо выпил, без жадности, но и без всякой там старческой немощи, выпил живо, с аппетитом, стакан на место поставил.

— Не-е, Василь, ни к чему все это.— Видно, про выгон, про акацию, про ястреба и так далее, про это сказал он.— Я вот Сашке отдал все, сад, огород, видал, какой у меня виноград? Все отдал,— бери сынок, ухаживай, собирай, режь, вино дави, на базар или государству сдавай, моих сил больше нету. Откопался я, ведь его закрыть на зиму ды открыть весной, привязать, поливать, купоросом обрызгивать, кисти эти снимать, резать, вино давить... Отдавился. А это все — ястреб, говоришь, выгон,— это все ни к чему. Ды и жить-то к чему? Кто остался? Все повымерли, на войне убиты. Только что отец твой, Петька, ну, Максим еще, а где они? По разным местам, а тут все вымерли. А мне чего? Э-э-э, Вась... Тут вот, от кургана, все Курдюши жили, четыре дома. А где они?

— А где они, в самом деле? Четыре дома? Курдюшовы? Федора Ивановича помню хорошо. Во такой был, на животе ремень широкий, в галифе, в сапожках шевровых ходил, шея розовая, ворот рубахи в этой шее утопал.

— Помнишь?— слегка удивился Василь Денисович, и чуть-чуть заиграл в его глазах интерес, стал вроде оживать человек.

— Он же,— говорю,— никогда не сеял, не пахал. Чем он занимался? Странный был. И мужик и не мужик, интеллигент какой-то, у него ведь домашняя библиотека была, когда ее в селе-то не было.

— И это помнишь!

— Я же у него первую книжку прочитал, беседовал он со мной, к себе водил и книжки домой давал. Откуда он взялся такой в нашей Цыгановке?

— Ды наш он, мне брат двоюродный. Эти ж четыре дома родных братьев были, отцов наших. А Федор Иванович тоже пахал, почему не пахал? Пахал.

— Я-то помню, он на стульчике кожаном сидел, сапожничал. Толстый, как он мог пахать?

— Пахал. Опосля, правда, сапожничал.

— Помню, как он активистом ходил, в комсоде, в сельсовете, мне он совсем нездешним казался, на начальника был похож больше, чем приезжие, которые из города или откуда-то приезжали. Я помню, у него собрание сочинений Ленина стояло, толстые книги, красные, загадочные.

— В партию он записался давно, про колхозы еще ни слуху ни духу не было.

— Вроде он директором в совхозе в каком-то был? Где он сейчас-то, живой?

Василь Денисович вместо ответа мельком взглянул на меня и как-то так безнадежно рукой сделал, махнул, что ли, или знак какой-то безнадежный сотворил. А когда я переспросил, ответил:

— Нету Федор Ивановича. Сгорел.

— Как сгорел?

— Форменным образом, облили керосином и сожгли.

— Как? Почему сожгли?

— Он же попал тогда к этим, к немцам, а не один, свои кой-какие были, нашлись, а он партейный, выдали. Ну, облили керосином и это... сожгли.

Федора Ивановича сожгли, этого необыкновенного человека, первого грамотея непочетинского. Как же он горел, что думал? Василь Денисовичу тоже было нелегко говорить об этом, хотя он уже вроде привыкнуть должен, давно же знал, но, видно, нелегко, потому что тут же стал дальше рассказывать, чтоб отойти от Федора Ивановича.

— Ну, а другой брат,— сразу перешел он к другому брату, — энтот от голодухи помер, давно, после гражданской. Голод же был, помер от голода. Детей не было, никого не осталось. Была девчушка, кудай-то делась.— Василь Денисович махнул рукой.— Я и не знаю, по материной родне, кудай-то делась. А третий, вот рядом жил, ветеринарным доктором был, ученый, тоже давно дело было —

замерз. Этот дюже пил. Тогда ж не было этих больниц или там чего, все на дому было. Покличут его: корова, мол, или свинья какая заболела, овца, лошадь опоили, ну, любая животная,— бегить он, лекарства у него всякие с собой, кровь пустить или другое чего, сразу угощение, каждому ж хочется отблагодарить, там выпил, в другом месте выпил, весь день подносют, весь день пьяный ходит. Ну, и пить стал дюже сильно. Пришел раз ночью, а мороз, жинка тово, не открыла, пьяный же, язык не повернет. Не пустила в хату, а он лег тут-та, под дверями, ды замерз. Утром встали, а он мертвый, ага. Вот и все Курдюшовы! Никого нету.

— А вот, Василь Денисович, за углом, за Федором Ивановичем, по нашей улице, там эти все дома Карнаевы были, по-письменному Староотченко, они где? Мои дружки Гришка, Еремка?

— Нету. Ни Еремки, ни Гришки, никого.

— А эта вот хатка, рядом тоже там был Староотченко, активистом, как и Федор Иванович, ходил, помните?

— Э-э-э, Василь, этот ошибся. Помнишь его?

— Как ошибся?

Помолчал Василь Денисович, потом нетерпеливо как-то повернулся ко мне, глазки светленькие вскинул.

— А ведь меня тоже к высшим мерам подводили. Не знаешь?

— Нет,— говорю,— не знаю. Тоже по политическому делу?

— Не, по нашему, по крестьянскому, за убийство.

Василь Денисович кивнул куда-то через плечо, за спину — там, говорит, убийство сделали, с краю жила, ее и детей обоих прямо в хате ночью. Кого брать? Нашли. Двоих тут взяли, а меня заглазно, меня не было тогда в Цыгановке, я у брата, у Федора Ивановича, был, колодези чистил. Дюже тогда плохо у нас было, ничего на эти палочки не давали. Ушел я с одним к Федору Ивановичу в совхоз, а он же директором был. А там этих колодезей много, и все засоренные, взялись мы чистить. Он меня опускает в ведре, а я там чищу, грязь в ведро накладываю, он таскает, а то наверху, а он внизу. На колодцах работал. Не копали, а чистили. Ну, слух-то дошел, что присудили меня заглазно. Надо ийтить. Пошел. А триста верст до Цыгановки. Неделю шел, ни машин этих не было, ни лошади не ходили туда. Пришел. Переночевал. Собрался я в милицию ийтить объяснить, что я безвинно виноватый, меня и дома не было. Встрел меня наш один — куда, говорит, идешь. Иду, говорю, в милицию, надо ж объяснить. А энтих уже тово... Не ходи, говорит, чего тебе ийтить. Раз, говорит, безвинно виноватый, сиди дома, а придут,— тогда объяснишь. Вернулся. Живу дома, к Федору Ивановичу не пошел, не понравилось там, дюже комарей много, как начнут есть с утра — и до самой ночи. Живу дома. В колхозе стал работать, за палочки. Ну, приходют. Курдюшов? Курдюшов, говорю. Собирайся, пошли. Знаешь, говорят, что к высшим мерам приговоренный? Знаю. Сам объяснять стал. Товарищ, мол, следователь. Это уже в милиции. Я тебе, говорит, не товарищ, а гражданин. Нет, говорю, обожди, ты мне товарищ, потому что я безвинно виноватый, меня и дома не было. Как так? Да вот так. А я ж молодой был, живой, мог и убить вроде, ну, взяли. Пока, говорит, посидишь, выясним, расследуем. Я, говорю, справку из колхоза брал на выезд, там корешок должон остаться, погляди, мол, корешок. Ну, поглядел следователь корешок, в правлении, верно, брал давно. А не мог ли, говорит, приехать тайно и тово... На чем, говорю, приехать? Ладно, ты, говорит, посиди, придет моя очередь на лошадь, съездию тогда в Плавненское, в совхоз, проверю. У них одна лошадь была на всех. А пока, говорит, посиди. Стал сидеть. С этими, Василь, с уркачами, с бандитами, а исть нечего. И стал я пухнуть, с нар уже не слезу. Вот попал, Петрович, чтоб ты провалилась. Думал, помру. Нет, ничего. Пришла следователева очередь на лошадь, поехал он в Плавненское, все разузнал, наряды как раз на тот день были, когда убийство сделалось. Приехал и — хлоп, выпускают меня. Ночью приходют, говорят, можешь ийтить домой как безвинно виноватый. А я ийтить не могу, на ноги

не могу подняться, опухший весь, чуть живой. Тут счас носилки, правда, достали, вынесли меня за ворота и положили под ихним забором. Лежу. А тут грязцо как раз, пролез я по грязи поближе к стеночке, лежу. Утром с передачей пришли бабы разные. Того-сего мне подают, кто хлебушка, кто пышки, сальца немножко. Мужик на лошади приехал. Бабы к нему. Отвези, говорят, его на базар, а там найдутся цыгановские, подберут. Дело ж это в Прикумске происходило. Взял он, правда, привез меня на базар. Посадил где посуше. А сам постоял, поглядел — ходит народ, а все мимо. Пропадешь, говорит, тут, никто тебя не подберет. Давай отвезу тебя на станцию. Ну, вези. Посчастливилось мне с этим мужиком. Привез, посадил в поезд. А я ж грязный, опухший, никто меня не узнает. Приехал поезд на Плаксейку, на нашу станцию, и опять мне посчастливилось, свой нашелся. Глядел, глядел: ты, что ль? Я, говорю. Никогда б не узнал, если б не признался. Отвез меня домой. Семь недель на печке пролежал. Опадать стал, худой сделался, как скелет. Потом поправляться начал. Видать, счастье мне было, не пропал. Как ни было, а все одно не пропал. Посчастливилось.

То ли оттого, что он действительно такой везучий, то ли просто от воспоминаний от разговору, но Василь Денисович совсем вроде молодцом стал глядеть. Нет, сидел он по-прежнему поджавши ноги под себя и так же голову немного посиротски держал, а в глазах, которые то и дело плакали, как только что-нибудь задевало за живое, в глазах появилась жизнь, отдаленно засветилась эта шутейность, хитреца, отдаленно, правда.

— А я ж, Василь, и в Берлине ихнем был.— И забегали в оживших глазах маленькие, почти незаметные эти чертики.— Нет, не на войне. Тут сразу, как победили, мы в Берлин за лошадями поехали. Пахать же надо, возить то-се надо, а нечем, тракторов нету, лошадей нету, они ж все побили, позабирали, немцы. Теперь мы должны вроде вернуть свое. Из Цыгановки нас трое было, каждому по пять лошадей привезти, я для своего колхозу, другой для своего, третий тоже. Туда-то мы быстро, где военные подсобили — подвезли,— где сами, а назад с лошадями, на повозках, без харчей. Шесть месяцев ехали, полгода. Далеко ж этот Берлин. И как только от самого Сталинграда до него дошли? А все одно ведь дошли.

Василь Денисович цигарку стал делать, во вкус жизни, видать, вошел, покурить захотелось. Курил он самосад, крепкий табак. Я эти сигаретки, говорит, пробовал у Сашки, не, не годятся, один кашель от них. А может быть, лучше уже бросить курение? Нет, говорит Василь Денисович, только этим и держусь пока, покурю — и вроде ничего, вроде не так заморился.

— А на войну меня ж не брали. Нога у меня плохая, кость перебитая.

— Где же это вас?

— Ошибся, Вась. Неграмотный же, по ошибке все получилось. Тогда в колхозе я с лошадями был, конюхом. А бабы пололи в степе, Серков, председатель наш, давай, говорит, Курдюшов, бери бочку, бензин слейте, выжгите ее да вези бабам воду в степь. А этот Серков только что председателем назывался, а сам же неграмотный, ну, ни бе ни ме, что я, что он, бери, говорит, выжигай бочку. Стал выжигать, ну и ошибся. Я не один был. Соломку подожгли, бросили в бочку, эти-то успели, отбегли, а я ошибся, не успел. Как она рванула, хуже бомбы. Ногу задело, кость пополам. Составили потом кость, зажило все, а на войну уже не брали.

Из-за угла, из-за Федора Ивановичева домика, которого немцы сожгли, вывернулся остроухий ишачок, впряженный в почти игрушечную одноколочку. На одноколке сидели двое. Ишачок уже протрусил мимо, потом седоки оглянулись, остановили повозочку.

— Андрей с Нюркой поехали,— сказал Василь Денисович.— На пять лет старше меня, а бегает. Вот он да я, а больше никого и не осталось. Остановились. Это они тебя заметили, ты ж, Василь, сходи к им.

Я поднялся, бегом побежал. В этой маленькой повозочке-одноколочке еще и бочонок в задке стоял, за водой приехали на артезиан, баню топят. Здравствуй-

те, дядя Андрей, тетя Нюра! Господи, дядя Андрей! Так уж мне показалось, что он нисколько не изменился с тех пор, как мы с Санькой и Ленькой в дуку играли в ихнем дворе, в маленьком чугунке суп варили из воробьев. За руку поздоровались. Они знали меня ребятенком еще, а теперь вот и я уже мужчина, даже поседел уже. А Санька с Ленькой молодыми убиты на этой войне, имена их читал я на мраморной мемориальной стенке.

— Слыхали, что ты тут,— сказала тетя Нюра,— а не идешь к нам. Ты приди, в баню приходи.

— К Марии сперва хотел, к Наде.

— А,— сказала тетя Нюра,— поняй к им, они бедные, сперва к им поняй.

Дядя Андрей мягко так улыбался, глаза у него всегда были маленькие, маслянистые. И сейчас они маслено поблескивали, улыбались, он рад был, и я очень был рад видеть его живым и здоровым, тетю Нюру я уже видел в прошлый свой приезд, к ней уже немного привык, а на дядю Андрея никак не мог наглядеться. Ишачок ждал, стоял, а я прощался, опять тряс их руки, обещал обязательно прийти.

— Повидался?— спросил Василь Денисович, когда ишачок затопал к артезиану, а я вернулся к дому.

— Повидался. Звали к себе, в баню звали.

— Бегает Андрей. А старше на пять лет.

Женщина-почтальон прошла к соседней хате, это где ветеринарный доктор Курдюшов замерз пьяный. Жили в хате давно уже другие люди. Что-то вручила там почтальонша и оттуда позвала Василь Денисовича. Он поднялся, распрямил ноги, пошел. Гляжу, деньги она отсчитывает ему, двумя пачечками. Расписался Василь Денисович, зашмурыгал назад. Опять уселся на приступку, ноги под себя спрятал, сперва мне показал обе пачечки, потом за пазуху спрятал.

— Бабкины и мои. Плотит государство, а за что, не знаю. Я ж теперь ничего не делаю, а плотют, каждый божий месяц сорок пять рублей ни за что. Не подошла к нам, застеснялась, видит, с человеком сижу, бутылка у нас тут, застеснялась. Может, думает, выпивают, беседуют, не подошла. А то идет прямо домой, несет.

— Значит, Василь Денисович, ни за что платят?

— Ни за что, Василь. Чудно́.— Василь Денисович опять достал свою пачечку, пересчитал у меня на глазах.— Сорок пять, как один рупь. И каждый месяц.

— Это же пенсия. Положено.

— Пенсия. А за что? Я ж ничего не делаю, а теперь и жить не хочу, заморился, а они плотют. Это я с тобой чудок развеселился, а так ничего не хочу.

— Вы настрадались и наработались, много наработали за свою жизнь. Как же ни за что? Государство нам не чужое, а наше, оно никого не оставит, мы ж его сами создали, чего ж тут удивляться, что оно платит своему человеку, старенькому, неспособному больше к работе.

— Ага,— только и сказал Василь Денисович и опять рукавом фуфаечки стал глаза вытирать, опять всплакнул.— Вот и я говорю: бери, сынок, все — сад, огород, виноград, сам копай, ухаживай, вино дави, ешь, пей, а меня государство на полное обеспечение взяло, я уже ничего не хочу. Тут я хоть с пацанятами забавлялся, сижу с ими, шутю, играю. Вот, говорю, я колдун, возьму счас зубы свои выну и вас покусаю. Глядят глазенками. А я и правда вынаю зубы, они ж у меня, Вась, вставляются, вынаю ды начну ими клацать, они бегом от меня врассыпную, боятся. А теперь заморился. И пацаны бросили ходить.

7

Сашка — тертый мужик. Жизнь терла его в Сибири, на целине и в других местах. Теперь он крепко обосновался дома. Голова его, вытянутая толкачом, давно облысела. Да и не нужны ему никакие волосы на голове, крепкой, высоколобой. Вообще в нем ничего не осталось лишнего. Когда жизнь терла его, она все лишнее вытерла, в том числе и лишние волосы. Он крепок, жилист, тверд на

ногу, ловок, но не суетлив. В школу ходил совсем почти ничего, грамоте обучен плохо, но все, что надо знать про людей, про жизнь вообще, знает досконально. Пишет мне письма, никаких точек или запятых не признает, подряд шпарит. Приезжай, писал он мне, я покажу тебе все ходы у нас и выходы и как в Цыгановке делают деньги. Я и сейчас жалею, что не поинтересовался, когда приехал, этими входами и выходами и как делают в Цыгановке деньги. Ладно, в следующий раз.

Сашка не просто знает жизнь, а именно современную жизнь, как в ней жить именно сегодня. Он ходит в кино с супругой Валей, смотрит телевизор, слушает музыку, любит Моцарта и Бетховена, читает книги, ездит с Валей на рыбалку, сомов ловит. Машину (пока что, правда, «Запорожца») выхлопотал. Живет полной жизнью. Дом у него каменный, даже с некоторыми излишествами, с крыльцом каменным, ворота скрытные, железные, на столбах ворот какие-то стеклянные шары вроде рыболовных кухтелей для красоты поставил. Двор зацементирован. В прошлом году перестроил заново отцову хату, поднял ее повыше, покрыл шифером, чтобы не портила общий вид своим соседством. Полсотни кроликов держит, кабана, кур. За садовыми воротами стог сена сметан, каменный чан для воды, колонка и насос для полива виноградника, огорода.

Сперва, когда я приехал к нему от Насти, конечно, захотел поглядеть на Василь Денисовича, спросил Сашку, как отец, как Василь Денисович.

— Устарел отец,— сказал Сашка,— ни грамма, Петрович, нашего не понимает.

— Как же так?

— Ну, возьми сад. Когда он передал мне виноградник, я эти таркалы к едрени фени повыбрасывал, купил столбы железобетонные, он говорит — загубишь все; поставил я столбы, проволоку протянул, теперь кусты подвязываем к проволоке, а то ведь эти таркалы вытаскивай да опять ставь, вытаскивай, складывай, а потом опять теши их да ставь. Не хотел сперва — загубишь, говорит. Или вот дом. Я же, Петрович, все своими руками, топор да лопата и я один, ну, немного Валя помогала. Стал я копать фундамент, что ж я, думаю, дом, что ли, не построю, стал копать траншею под фундамент, после работы, приду, наработаюсь, и опять за лопату, а он не верит. Дом, говорит, не шутейное дело, ты это брось, говорит, людей смешить. А я копаю, а он не то чтобы помочь, а ходит по краю траншеи и все говорит. Копай, говорит, сынок, копай, порть землю, а отцу зарывать все одно придется. Ты, мол, накопаешь тут, а отцу заравнивать придется. А я молчу. Вот и фундамент стал класть, кирпич завез, и тут он только поверил, видит — дело серьезное, чтой-то получается, уже стены начинаю класть. Стал помогать немного, поверил. Так и все и во всем. Устарел он, Петрович. А вообще-то чего, живет, пенсию получает, лежит целый день, часто плакать стал.

Сашка знает, что лучше, чем у него, в Цыгановке нет нигде, поэтому он и увез меня без разговоров от Насти. Ведь у нас и сейчас еще едят, как ели всегда, не только на обед, но и на завтрак и ужин едят борщ или там лапшу какую. Сашка нет, он человек не то чтобы городской, но вполне современный. У него Валя утром начинает с салатика, яичко даст, бутербродик и так далее, кофе там или чай в тонком стакане. Да сверх того еще и пиво случалось под вяленую рыбку. И во всем другом Сашка хорошо знал, что мне надобно. Сегодня, например, он сказал:

— А счас пойдем на твою улицу, Петрович, пройдем ее до казенника.

— Зачем? — не сразу я понял как-то.

— Тебе ж это нужно.

— По развалинам детства? Так, что ли?

— Точно, Петрович.— И коротко, понимающе всхохотнул.

Сашка взял отпуск на несколько дней, чтобы всегда быть со мной, и я только потом, позже, понял, как серьезно относится он к этой своей миссии—быть со мной, провожать, показывать, наводить на след далекого моего детства и, само собой, знакомить с нынешней жизнью.

Перед угловой хатой Федора Ивановича раньше был курган, в нем находили

мы ржавые осколки клинков, черепки, монетки, копались в глине, просто сидели в прохладных нишах, в выемках, где глина была уже выбрана и где так хорошо и прохладно было сидеть в летний зной. Отсюда начиналась моя улица. Мы завернули за угол, и тут, если я буду останавливаться через каждый шаг, на каждом этом шагу что-нибудь да было когда-то со мной. Мы пойдем лучше вдоль канавы. От артезиана она текла прямо в нашу улицу. Возле Федора Ивановича канава была широкой, тут мы играли зимой на льду в орлянку. На кону куча медяков, и беленькие поблескивают среди этих медяков, серебряные монетки, все снежной крошкой пересыпано, иные монетки в лед втаяли. Азарт в глазах, взлетает медный пятак, головы задраны вверх, следят за полетом, потом бросаются на лед, где упал со звоном пятак. Орел? Решка? Сердце колотится, дух захватывает, и я, пяти- или шестилетний игрок, от восторга, от счастья, от не знаю чего начинаю бешено материться, как взрослые матершинники, я так увлекся, что не заметил, и никто не заметил, как отец, послушав немного, подошел со спины, поднял меня за уши и понес к дороге, где стояли наши лошади, отец вел их на артезиан попоить. Что-то трещало там, откуда росли уши, мне было не так больно, как страшно, что они оторвутся от головы и я останусь без ушей. Отец поставил меня на дорогу и поддал сзади, чтобы шел домой. О! И ничего больше не придумаешь сказать сейчас. Возьмите мои уши, оторвите их от головы, но только верните меня на этот далекий лед напротив Феди Курдюшова, Федора Ивановича, облитого керосином и сожженного немцами. Нет, никто не сможет этого сделать. Никто.

После глухой стенки Федора Ивановича хаты пойдет сухая канава и высокий вал, заросший сверху непролазной дерезой, тянулся он до самых Росляковых, до Васьки Рослякова, моего двоюродного брата, где-то в Грозном живет теперь, на нефтепромыслах. А дальше уже наша хата, моя родная. По левую сторону, напротив орлянки, — Гришка и Еремка Карнаевы, убитые на войне. Рядом — Васька Микишкин, живой, где-то живет, дальше Санька и Ленька Малакановы, самые близкие дружки мои, убитые на войне, нынче баня у них топится. Дальше Володька и Митька Сорокины, раскулаченные и высланные. Сидели они тогда на груженых санях в старых отцовских да материнских овчинных шубах, закутанные в них, глядели на нас непонятно и печально, потом отец пришел с матерью, тронулись они и пропали где-то в мире. А может, и не пропали. Никто этого не знает. Дальше Яшка Дунин, Настенька, моя бывшая невеста, дед Цога, Ванька Бастрыкин, Тараскины и последний перед проулком Колька Горбачев, в школе нынче завхозом работает. А уж по ту сторону проулка я никого не знаю. За нашей хатой Хоменки жили, двое Левиных, и до проулка больше никого.

И вот мы идем. А Сашка говорит вполголоса. Ты, говорит, Петрович, особо головой не крути, а иди спокойно, все и так увидишь.

Левины. А помнишь, Саша, у крайних Левиных Нюрка была? Красивая такая девка. Сашка все помнит. Но он мало говорит, отвечает односложно или просто осклабится вместо ответа — и все. Слева от казенника, по Куме, были тогда виноградники. И наш был виноградник в том месте и, конечно, сад-огород. Лето было. Отец разводил купорос, опрыскивать собирался, а я сидел на берегу, за деревьями, за лозняком прибережным, смотрел на удочку, отец воткнул ее в берег, смотрел на лягушек с выпученными глазами, комочками в них бросал. Тут было влажно и хорошо, над речкой нависали густые вербы, разлапистые тополя, они всю ее от берега до берега накрывали тенью, и лишь кое-где через густую зелень пробивались и падали на темную воду солнечные пятна. На другом берегу, над кручей, стенкой стоял лес, невысокий, но густой, путаный, колючий, с терном, карагачем и красными-красными кленами. И текла река, тихо журчала вокруг туго натянутой и скошенной по течению лески, сплетенной из конского волоса. Я сидел весь в зеленом свете, передо мной текла речка, и в густой зелени где-то надо мной кричала иволга, длинно, волнисто и влажно свистела она — фу-а-оа, фуа-оа... И теперь, где бы я ни слышал этот волнистый крик или свист ее, мне чудилась поблизости вода. Я и не думал тогда,— ах, как это прекрасно, как хорошо, я просто сам был и этой иволгой, и этой водой, и прутиком, торчав-

шим из воды и колеблемым водою, и листиком на дереве, и солнечным зайчиком на воде, я только теперь понимаю, как это хорошо было. И вот по течению скользит каюк, лодка такая, а в ней стоит во весь рост Нюра Левина, голая, с веслом в руке. Она правит каюком, чтоб его не разворачивало, легко правит, и по ней тоже пробегают солнечные зайчики. Мне было пять или шесть лет. Но помню, как было это хорошо и тайно и как-то ужасно подробно и особенно. Нюра причалила к берегу, и я совершенно был подавлен и скован этой непонятной и стыдной тайной. «Садись, покатаю», — сказала она певуче, почти как иволга. И склонилась, и протянула мне руку, а я подчинился ей, но боялся смотреть на ее груди, на ее живот, я влез, и сел на перекладинку, и сидел насупленный, не хотел, не мог смотреть на нее и все равно всю ее видел. А когда она оттолкнулась веслом и каюк наш отчалил от берега, а она опять выпрямилась и стояла в зеленом свете во весь рост перед моими глазами, и текли мимо нас зеленые берега, я угнул голову и еще больше насупился. «Ты чего,— спросила она,— такой сердитый?» Я прошептал, что я не сердитый. И больше ничего ей не сказал за все плаванье.

Мы уже проулок прошли с Сашкой, и я вспомнил Нюру Левину, оглянулся и сказал — вот на углу их дом. А Сашка сказал, что в этой хате уже давно живут не они, а совсем другие люди. И мы пошли дальше, к казеннику. Уже конец улицы был виден, когда Сашка сказал:

— Ты, Петрович, особо не оглядывайся, а увидь вон старуху, у калитки стоит, а я тебе потом про нее расскажу.

Да, у калитки, только что вышла, стояла высокая и прямая старуха. Пока мы проходили мимо, я хорошо ее разглядел, но оглядываться не стал, потому что ничего особенного в ней не нашел. Сашка чуть наклонился ко мне и в ухо сказал, что это и есть Нюра Левина. Я остановился, хотел пойти назад, но Сашка не пустил, за рукав удержал меня. Но я повернулся и быстро зашагал к ней. Вплотную подошел, она не смутилась, стояла так же строго и прямо.

— Здравствуй, Нюра.

— Здравствуй.

Я такой-то, сказал я. А, сказала она, помню. Чуть улыбнулась, показала несколько железных зубов. Сухая, подтянутая, никакой красоты, никаких от нее следов. Нюра, сказал я, и обнял ее, и она меня обняла.

— Нюра,— говорю я старухе,— помнишь, как в казеннике на каюке катала меня?

— Нет, Вася, не помню.

— Ты голая была и меня в каюк посадила.

— Значит, помнишь, как мы катались. А я вот не помню. Мужика моего, Вася, убило аж на войне еще, а я вот старела да работала, не таскалась, как другие.

И что-то жесткое появилось в ее лице, в глазах, как-то напружинилась вся, какая-то обида поднялась в ней, может быть старая еще обида, а теперь вот поднялась опять, расшевелилась. Я немножечко растерялся и скомкал разговор, сказал, что зайду как-нибудь еще, опять слегка обнял ее и ушел. Она тоже открыла калитку и ушла к себе во двор.

Вроде к огню прикоснулся, обожгло. Или в пропасть заглянул, глубоко и страшно.

— Ну?— спросил Сашка.

Что я мог сказать? Давай, Саша, пошли, давай дальше.

Кончилась улица. Дорога повела прямо к казеннику, к воде, а слева уже не было тропинки, которая шла когда-то в сады-виноградники, где катались мы с Нюрой на каюке. Не было той тропинки, потому что теперь садов тут не было, они были в других местах. Шла дорога горбатым выгоном, показались кручи и вода внизу. Мы остановились перед зеленой канавой. В ее глубине, на дне, сидели, привалясь к затравеневшим стенкам, двое подростков, хороших подростков, губы уже пушком обметало. Наверху стоял мотоцикл, гонкий, без люльки. На упоре держался, руль и колесо переднее вывернуты немного для устойчивости. Дальше, по луговине, паслись коровы с телятами, овечки.

Ребята оба красивые, особенно один из них, смуглый, кавказского типа. И сидели они красиво, в живописных позах. Между ними на траве стояла вскрытая банка консервов, ломтики хлеба и двухлитровая банка с вином, стаканчики. Ребята взглянули на нас спокойно, дружелюбно. Здравствуйте! Здравствуйте.

— Пожалуйста, — сказал кавказский паренек, — угощайтесь.

Он налил стаканчики и протянул к нам наверх, на колени приподнялся. Сначала хотелось мне сказать им: ай-яй-яй, как же так можно, выпиваете, значит? Но потом я раздумал. Хотя это и Северный, но ведь Кавказ! Я спросил, как их зовут. Кавказца звали Леней. И был он из Малакановых, потомок Саньки и Леньки, его младший братец Санька был дома. Значит, опять Санька и Ленька, теперь это Веркины дети. А те Санька и Ленька, дружки мои, ничего не знали про этих, да и кости тех давно уже сгнили где-то. А Катюша, старшенькая, уже замуж выскочила, в прошлый приезд свой я видел ее семиклассницей. Леня, говорю я, Леня. Тот был рыжий, желтоглазый, а этот прямо абрек какой-нибудь, глаза черные, яркие, лицо узкое, нос с чуть заметной горбинкой. Леня смотрел на меня, как я пью их вино, и лицо у него было доброе, доверительное, приятное. Потом товарищ его поднялся, вылез из канавы, запустил мотоцикл, вскочил на него и бешено помчался к стаду, раскидывая гром и клочья синего дыма. Собирал разбредшихся коров, телят, овечек.

— Пасете?

— Да, пасем, — учтиво ответил Леня.

Когда я к дяде Андрею зашел потом, тетка Нюра сидела в сторонке, мы с дядей Андреем пили домашнее вино, а Вера стояла возле печки и смотрела на нас, младший заявился, Санька, тоже хороший паренек, все выбегал куда-то и носил, показывал мне разные бумажки, рисунки свои, тетрадки, книжки, очень душевный паренек. И этот пришел, отец, пропойца. Но был он совершенно трезв, с помятым и довольно привлекательным лицом, умный тоже, как Санька душевный, общительный и скромный. И мне стало стыдно, как я грубо описал его прошлый раз. Ужасно стыдно стало, такой он мягкий и тихий, расспрашивает, интересуется, о сыне хорошо говорит — рисует, мол, и так далее, способный сынишка. Он растрогал меня окончательно, проводил до ворот, сказал, чтоб заходил к ним. Мы выпили с дядей Андреем, и тетка Нюра принесла из соседней комнаты, со стены сняла, увеличенные карточки Леньки и Саньки в рамках, туманные от увеличения. Узнаешь? Господи, как же мне не узнать. И мы все — Вера, тетка Нюра, дядя Андрей, Саня и отец Санин, — все смотрели эти туманные карточки.

— В честь их, Вася, назвали мы и вот его, Саню, и того, Леньку, ты в казеннике видел его.

...Дальше, к самой воде, прошли мы с Сашкой. Не совсем к воде, потому что она опала и подойти к ней мешала черная грязь, топкая, глубокая. Кручи с одной стороны вставали, а с другой — зеленая кипень кустарников, деревьев, высоких трав, и в этой кипени где-то там петляла желтая Кума. А посередке водная гладь с опрокинутым небом, с камышом и чаканом по закраинам. Вот тут и должна быть цыгановская Швейцария, пляжи, лодочная станция, легкие сооружения для отдыха, кафе с какими-нибудь достойными и завлекательными названиями, с молодыми голосами молодых и красивых людей, с мудрыми старичками и старушками, с резвыми детишками. Жалко, что не увидят этих дней ни дядя Митяй, ни дядя Тимоха, возможно, и многие другие не доживут.

— Теперь еще к Бастрыкину — и домой, — сказал Сашка.

И мы зашли за обратном пути к Ивану Бастрыкину. Сашка успел с ним договориться, узнать, когда тот свободен, когда дома будет: Иван пас лошадей, два дня с лошадьми, два дня дома. Ванька Бастрыка, как раз напротив жил, окна в окна смотрели наши хаты через канаву. Беленький такой бегал, щурился, шепелявил немного, носом шмурыгал. Теперь из этого Ваньки плотный мужик вырос, крепко пьющий. И застали мы его веселым, небритым, в сапогах. Голос тихий и ласковый, шепелявинка осталась, а во всем другом ничего похожего. Реденькие волосы, щетина по щекам неприбранная, грузный, большой, а вот глаза

еще прежние, ненашенские, не кавказские, а голубенькие, российские. Крепко мы обнялись и стояли какое-то время обнявшись, и поскольку Иван был уже сильно выпивши, то он за плечом у меня похлюпывал немножко. Вася, Вася, а я в ответ ему: Ваня, Ваня.

— Эх ты, как увидались-то,— сказал он, отойдя в сторонку от меня,— как увидались, а я уж думал... Мать, а ну давай уток руби. Это ж, Вася, жинка моя, а вон детишки, двор мой, вино, пойдем покажу, сам надавил. Вот вино, тут красное, тут белое, счас попробуем, я счас окороку отрежу, вот окорок, все свое, а ты, мать, живей уток давай, пару уток... Эх ты, как увидались-то.

Кто-то еще из Ивановых знакомых подошел, мы с Сашкой да Иван сидели прямо во дворе за столиком. Мать, говорил Иван, он не хочет в комнату, он тут хочет, на дворе, ты давай с утками, а мы пока выпьем тут. И мы пили Иваново вино, Ваньки Бастрыки. А он встал со своего места, подошел ко мне со стаканом, приложился головой к моей голове, мне говорит, Вася, рассказать тебе надо, какими я муками мучился...

Да что ж вы, мужики, что ж вы плакать все понаучились. Ах ты господи, и Ванька плачет. А потому что люди хорошие, души у всех мягкие, а жизнь сильно прошлась по этим душам. Мужик, а сам как чуть что — сразу в слезы, плакать, сам с собой не справляется.

Ну, ладно, Ваня, ладно, как-нибудь расскажешь еще, не последний же раз видимся, налей лучше вина своего, домашнего. Мать, ты наточи нам из того, из верхнего, Вася хочет попробовать этого... Сашка говорил мне: Иван в плену был долго, перенес много. Давай, Ваня, выпьем, давай стакан твой. Пожалиться хотел другу детства, какими муками мучился, да не одни мы были, неловко при всех. Где стакан твой, давай за встречу выпьем, Ваня.

Да, знал Сашка, что делает со мной. Почти весь день водил он меня по развалинам детства, весь день слушал я всякие рассказы, всякие истории с людьми, когда-то очень мне близкими. И от этих рассказов, историй и встреч какая-то щемящая мешанина копилась в сердце. Сначала все трогало до слез, потом немного притерпелся и принимал в себя все с любопытством, а потом уже смотрел мимо человека, и слова его также скользили мимо меня, почти не задевая. Я начал уставать и устал окончательно. И было отчего. Потому что, кого бы ты ни копнул, ни расшевелил, в каждом столько всего насобиралось, что хоть выходи на улицу и кричи караул. Тот же Иван Бастрыка, или другой, знакомый его, или третий еще — каждому хотелось вылить всю душу кому-то, освободить себя от тяжкого бремени выпавших ему переживаний. И бывает, оказывается, трудно носить это бремя. Вот моя жизнь, говорит мне один, вот она уже прошла, а тут у меня... Он чуть ли не раздирает ворот рубахи. Тут у меня такое... Езжай, говорят, к Шолохову, ему все расскажи. Собираюсь ехать, как вы считаете, Петрович? Надо ехать к Шолохову?

Вот и хожу я почти весь день, и слушаю, и смотрю. И откуда-то Сашке было известно, что смотреть и слушать — это и есть моя работа, и он к этой работе относился серьезно.

Смотреть и слушать. Даже думать некогда, после буду думать. А думать надо. Вот, например, хотя бы сам Сашка. Вроде я его знаю, а сразу понять не могу. И домой приехал, думал, а окончательно разобраться не могу. Бригадир строителей, хороший бригадир, при мне премию получал. Дома тоже образцово живет. Не пьет особо, интересуется всем, все делает собственными руками. А вот рассказал случай один, и я задумался. Хотели, говорит, завфермой сделать. Вызвал директор, Алексей Саввич, давай, говорит, Курдюшов, ферму принимай, надо порядок там наводить. Не буду. Почему, говорит? Не буду, потому что не хочу. У нас, говорит, с кадрами трудно, войди, говорит, в положение, Курдюшов. Сказал я — нет, значит, нет, не буду. Глупо, говорит, ты же знаешь, как нынче в животноводстве почетно работать, можешь вполне на Героя вытянуть, поможем выйти на Героя. Не нужен мне Герой, все равно не хочу. Там же, Петрович (это уже мне Сашка говорит),— там же, чтобы вытянуть, надо на ферме жить, я-то

знаю. Я бы вытянул, но тогда зачем мне машина? Куда я ездить буду, когда я телевизор глядеть буду, когда пластинку послушаешь, книжку почитаешь, на рыбалку съездишь? Про все это надо забыть, а я жить нормально хочу. Или забыть все, быть Героем и ферму вытянуть, или я жить нормально буду без Героя. Я тоже, Петрович, натерпелся и тоже хочу жить. Как он бился, Алексей Саввич, а не мог ничего сделать, дюже рассердился, обругал меня, из кабинета выгнал, вседно я не сдался. Правильно? Я жить хочу. Вот и все.

Помню я другие времена. Тогда не понимали так о жизни, тогда так было: надо — значит, надо. Какой телевизор? Какая рыбалка? Стыдно было подумать так! Надо — значит, надо. Общие интересы выше личных. А как же еще по-другому? Оказывается, можно. Сейчас ведь тоже общее выше личного? Сейчас ведь тоже надо — значит, надо? Тоже. Я чувствую, что Сашка не прав. Сколько война нарикошетила, до сих пор люди не придут в себя от прежних страданий, да и другого прочего немало было в жизни. Имеет же право человек сегодня жить так, чтоб и телевизор, и книжка, и рыбалка, и музыка, и с женой по-человечески побыть? Имеет. А все равно вроде не прав Сашка. Вот в чем не могу разобраться. А тут еще память подсовывает разные высказывания авторитетных людей. Чего уж яснее, никогда у меня не было на этот счет другого мнения: общее выше личного, общественные интересы выше личных интересов, это наш закон, наша мораль. А Чернышевский, великий революционер-демократ, чья жизнь целиком и полностью подтверждает правильность нашей морали, говорит: «Я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни — потребности сердца существуют, и в жизни сердца — истинное горе или истинная радость для каждого из нас. Это я знаю по опыту, знаю лучше других. Убеждения занимают наш ум только тогда, когда отдыхает сердце от своего горя или радости. Скажу даже, что лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы,— не от мировых вопросов люди топятся, отравляются, делаются пьяницами...»

Нет, Саша, ты не прав. Пошел бы, поправил дело, вытянул бы, а потом стал бы опять жить по своим понятиям. Нет, Петрович, слышу я Сашкин голос, таких моментов полно в жизни, только поддайся, оглянуться не успеешь, а жизнь уже прошла, да она и так почти прошла. Ну, хорошо. А кто ж тянуть будет? Кто?

8

Не знаю как где, но на моем Ставрополье очень многие парторги и секретари райкомов по пропаганде вышли из учителей. Возможно, это случайность, но в этой случайности есть что-то преднамеренное, заранее кем-то хорошо продуманное. С людьми нельзя разговаривать в форме приказов, указаний, команд и так далее, требуется душевная деликатность, большое понимание психологии, да и уровень образованности нужен нынче уже другой. Помню выступление секретаря по пропаганде одного обкома, выступал он перед газетчиками. Трудящиеся, говорил он, любят, чтобы в газетах писали правду, поэтому пишите, говорил он, правду о наших задачах и об выполнении задач. Сейчас перед нами какая задача? Заготовка кормов. Животные, говорил он, любят сочные корма. Значит, наша задача — больше сочных кормов. И так далее. Теперь этот уровень, конечно, уже недостаточен. Алексей Михайлович так не говорит. Он не Сократ цыгановский, не Луначарский, но он очень хорошо образован, ему доступны многие тонкости. Внешне он не похож ни на парторга, ни на директора школы, которым был совсем недавно. Потому что молод, сравнительно, конечно, и еще потому, что почти всегда, за исключением отдельных моментов, на его лице или прячется, или вполне открыто играет улыбка. И лицо очень уж свежее, круглое и розовощекое. Ни глубоких морщин, ни синевы под глазами или других каких следов умственных борений, простое розовощекое русское лицо. Но... Видел я и на бюро его и в беседах с людьми, слыхал, как он в иные минуты разговаривает с высшим начальством, нет, не весь он такой розовенький. И медь есть в нем, и бас, и другое прочее для трудной минуты.

— Надо к чабанам съездить, не хотите ли? — сказал Алексей Михайлович.

Кто же откажется к чабанам, конечно, хочу. И мы поехали.

Согласился-то я с радостью, но был у меня с давних пор один пункт такой, вроде недоверия какого-то к этим поездкам. В давние, да и не в очень давние времена я немало поездил с разными руководителями. Бывало так: зайдешь, спрашиваешь,— у себя, мол? Нет, по колхозам поехал. Когда будет? Обещал к пятнице вернуться. Да, думаешь, не сидит в кабинете, не роется в бумагах, а вот же по местам поехал. А память услужливо подсказывает другое, потому что видано тобой все это уже не один раз. Вот она пылит по проселку, «Волга» или какой-нибудь «газик», везде проходящий «козлик». Отмахав пятьдесят, а то и все сто километров по магистральной дороге, сворачивает «Волга» или «козлик» на проселок и пылит, оставляя хвост пыли за собой. И уж по этому хвосту натренированный председатель почти с любого места своих угодий увидит и узнает: едет. Подкатывает к правлению, а председатель уже тут, ждет. Здорово! Здравствуйте, Иван Иваныч. Ну как тут у тебя? Идет, Иван Иваныч, помаленьку. Счас вот заканчиваем этот клин, перебрасываю технику на другой. Ну давай, давай. Сводку отправил? Отправил, Иван Иваныч. Ну давай, ты уж давай не подводи. Стараемся, Иван Иваныч. Может, зайдете? Нет, нет, я в «Зарю», к тебе так, по пути. А в «Заре» уж зайдет в правление, снимет плащ, фуражку, сядет на лавку. Ну как тут у тебя? Ничего, тянем помаленьку. Сводку отправил? Ушла уже сводка. Ты уж давай не подводи. Когда заканчиваешь? Дак на неделе. А точнее? Точнее — к четвергу. Поздно, поздно, ты уж давай к среде кончай. Будем стараться. Ну вот, ты уж давай.

А где-нибудь возле мастерских поймает председателя, ногу на какое-нибудь колесо поставит для близости, так сказать, к земле, об железину рукой обопрется и тоже: ну как тут у тебя? Ничего? Ну давай, ты уж, гляди, давай, не подводи. Повестку на бюро получил? Ну, гляди, не опаздывать. И так далее.

Все это вставало в памяти, когда мы ехали с Алексеем Михайловичем по степи вдоль пожухлых акаций, корявеньких кленков да ясеней лесной полосы. Мне очень не хотелось опять услышать на месте, у чабанов: ну как вы тут? — и так далее. Мы были не одни в просторном микроавтобусе, и поэтому было шумно, всю дорогу не прекращался разговор, шутки, смех. И это, конечно, отвлекало.

Как раз в конторе оказался старший чабан кошары Юсуповых, отец и четыре брата работают на этой кошаре, чеченцы. Старшим чабаном был один из братьев, Зелимхан, молодой красивый горец в лихой шапке-кубанке, хотя стояла еще сильная теплынь, шапки он не снимал вообще ни зимой, ни летом. Сидел в нашем автобусике этот красавец Зелимхан, ровные ослепительные зубы показывал, все улыбался. Сидели еще две чеченки, одна в положении, с большим животом, другая с ребенком на руках.

— Твои? — спросил Алексей Михайлович.

— Не мои, одна родного брата, другая двоюродного.

— Вот,— ко мне обратился теперь Алексей Михайлович,— строитель коммунизма, а десять жен поменял уже.

Зелимхан смущенно засмеялся. Нет, говорит, не десять, только шесть. Потом по-чеченски сказал что-то женщинам, те тоже стали смеяться. Алексея Михайловича все они знали, и Алексей Михайлович знал их всех, а я человек был новый, и Зелимхан начал объяснять мне, чтобы я все понял правильно. Я, говорит, окончил десятилетку, не темный человек, но отец для нас — закон. Первую жену взял мне по моему согласию, потом прогнал, привел другую. Эта немного пожила, опять отец сказал — нехорошая жена, тоже прогнал, третью привел, потом четвертую, потом пятую. Вот Алексей Михайлович узнал, в партком вызывал. Теперь я сказал отцу, больше, отец, так не будет, партком вызывал, слово Алексею Михайловичу давал, эту, пятую, сам отвез домой, а взял и привез свою первую, учился с ней вместе, любит, теперь сказал отцу: все, хватит. Тут, понимаешь, только деньги заработаешь, все машину собирался купить, а он, давай, новую жену ведет, а калым у нас тысяча рублей, никак от старого не отойдем, шесть тысяч на калым ушло. Теперь все, теперь машину буду покупать.

— Как отец, не ругается? — спросил Алексей Михайлович.

— Конéчно, отец — закон, но я сказал ему — партком вызывал, слово Алексею Михайловичу давал, молчит отец. А что сделает отец? Ему партком тоже закон. Молчит.

— Зелимхан,— это я уже начал спрашивать,— вот ты старший чабан, отец слушается старшего чабана?

— Он закон в семье, в доме, ему все деньги отдаем, например. На работе меня слушает, я старший. Конечно, я прошу его, не приказываю, но что прошу, все делает.

Потом я сказал про Зелимхана-разбойника, кино такое было в моем детстве. Нет, сказал Зелимхан, он не разбойник, он бедных жалел, защищал от богатых. Зелимхан в нашем народе — герой.

В кошаре на берегу степного озера строили новый сарай для овец, старый совсем развалился. Наш микроавтобус остановился перед низенькой мазанкой, где жили чабаны. Вышел старый Юсупов, отец Зелимхана, мать вышла, старуха, поздоровались. Ну как тут у вас, спросил Алексей Михайлович. Помаленьку? Ну что ж, хорошо. Я слушал и улыбался. Все как по писаному.

Жена Зелимхана хозяйством занималась, ей помогала другая молодуха, совсем почти девочка. Кто?

— Жену привез брату,— сказал Зелимхан.

— Кто привез?

— Я привез,— сказал Зелимхан.

— Тебе отец возил, ты брату возишь?

— Я одну привез, больше не получит,— улыбнулся Зелимхан.

Братья были в степи, с овцами. Ну, что еще? Зашли в комнаты, поглядели, покивали головами, книги полистали, у Зелимхана книги стоят на полочке. Ребятишек погладили по головам. Ну что ж, надо ехать. К ребятам в степь заехали, они как раз овец поили, воду привезли. Ну как у вас тут, ничего? Вот и хорошо, что ничего. Ребята молодые, тоже красивые, одному уже старший брат жену привез. Что ж, постояли, посмотрели, как овцы пьют, толкутся перед корытом. Друг на дружку запрыгивают, тесно им очень. Посмотрели и поехали. До свидания, всего хорошего. Поехали цéликом, по убранному кукурузному полю, где паслись овцы, поехали дальше, к другим чабанам. Ну как у вас тут? Пасете? Пасем помаленьку. Ну давайте, давайте, пасите, только зеленя не травить. Что вы, Алексей Михайлович, у нас этого не бывает. Ну-ну, смотрите, будьте здоровы, до свидания. По дороге еще встретили чабана, сидел за рулем собственных «Жигулей», ездил куда-то по своим чабанским делам. Личи Муталиев, хороший чабан. Остановился, дверцу открыл, тоже в шапке-кубанке. Привет Алексею Михайловичу! Привет Личи! Ну как? Нормально. Разъехались каждый в свою сторону.

Конечно, я немножечко упрощаю все эти встречи и разговоры, чтобы понятней было, какими стыдными и ненужными казались мне они всегда, с давних пор. Неужели, думал я, затем только и мотаются они, руководители, мотаются не только летней порой, но и в непогоду, в грязь непролазную, в метель и мороз, застревают на плохих дорогах, выволакиваемые трактором колхозным или совхозным, неужели все для того, чтобы спросить: «Ну как тут у вас?» — и сказать в ответ «давай, давай!»? И я не мог ответить на этот вопрос до тех пор, пока не поставил самого себя на их место. Сейчас вот, в микроавтобусе, я сделал это впервые, а именно поставил себя на место Алексея Михайловича. И получилось, что ничего к тому, что говорил Алексей Михайлович и до него говорили многие при таких вот наездах на места, лично я прибавить не мог. Тогда зачем же гонять и гробить машины, зачем отвлекать от дела людей, держать шоферов? Зачем ездить? Зачем? А как же я буду тогда руководить? — думаю теперь как руководитель. Как буду я знать свой совхоз, все его отары и кошары, все его фермы, всех его Зелимханов, как я буду знать все это не в отвлеченном, а в живом виде, как я могу болеть за все это, думать обо всем этом, как буду мечтать и планировать жизнь своего совхоза, своего района, своей, в конце концов,

державы? Если ничего не буду видеть, если вместо живой жизни перед моими глазами будут одни цифры, одни сводки, донесения да протоколы? Я должен все видеть своими глазами, сколько бы это ни стоило, если, конечно, я хороший руководитель. И если нет особых таких дел, с которыми бывает, что надо разобраться на месте (только на месте можно разобраться с некоторыми делами), если их нет, то не стесняйся, спрашивай: ну как у вас тут? — не стесняйся, говори в ответ: хорошо, говори, давайте так держать, не подводите, не сдавайте темпов и так далее. Ничего. Зато ты каждого Зелимхана будешь знать в лицо, каждую отару овец, каждое стадо коров, ветхие и новые постройки, степи твои, твоего совхоза, твоей державы, реки, леса и луга. И когда ты не спишь, думаешь в том числе и о чабанах, которые в это время спят, то перед тобой, в твоей ответственной голове стоят живые лица людей, живая жизнь людей, и это помешает тебе сделать неверный шаг в твоих расчетах, допустить ошибку в твоих руководящих замыслах. Езди, слушай и смотри, говорю я себе якобы руководителю. Езди и не стесняйся, если даже какой-нибудь залетный литератор и фельетончик на этот счет нацарапает. Поймет и он когда-нибудь.

— Жизнь чабана подтягивать надо, отстала она от общего уровня.

Обратной дорогой мы ехали одни с Алексеем Михайловичем. Можно было и помолчать, подумать, перемолвиться не спеша о том, о сем. В кабине стояла тонкая пыль, иногда на поворотах ее косо пронизывал солнечный луч, и она становилась желтой и еще более плотной. Крутились под нами колеса, нас покачивало на мягких сиденьях и располагало к беседе.

Я согласился, что чабанская жизнь приотстала, конечно, от общего уровня. Вот у Зелимхана, например, бани нет на кошаре. Баню, сказал Алексей Михайлович, мы построим, людей не хватает, строителей, но баня будет. Только не в одной бане дело.

— Очень своевременно появились эти овцекомплексы,— как бы спохватился Алексей Михайлович.— Дорогая штука, больше половины миллиона стоит. Первый такой комплекс мы закончили строить, посмотрим, как оно пойдет. Все там механизировано, все поставлено на промышленный лад, и быт чабана станет другим. Вообще все деревенские работы постепенно переходят на промышленный лад, машины, автоматика, сельская жизнь становится, я бы сказал, заманчивой.

Я слушал, соглашался поддакивал, а думал о парторге, о нем, о его работе, например. Собственно, то, чем приходилось заниматься Алексею Михайловичу, как-то неловко было называть работой, потому что, кроме овцекомплексов, кроме ферм, садов и виноградников, кроме пахоты, сева, уборки и прочих хозяйственных дел, которыми занимался Алексей Михайлович вместе с директором совхоза и другими руководителями, кроме партучебы, культурно-массовой работы, самодеятельности, производственного соревнования и прочих дел по линии идеологической и политической, это, разумеется, можно было втиснуть в круг его служебных обязанностей, было много и такого, что ни в какой круг не вмещалось, что входило не в его обязанности, а в его жизнь. Куда деть, например, этих Зелимхановых жен? В какую графу их поставить? Это быт народа, чеченцев например, быт отсталый, но быт, уклад жизни. Надо заниматься этим? Алексей Михайлович занимается.

Он мне рассказывает дальше о кормах, о сенаже, и я на время отвлекаюсь от своих мыслей. Да, да, сенаж, что-то последние годы все сенаж да сенаж, раньше не слышно было про этот сенаж. Собственно, я об этом и не знаю толком, что это за сенаж. А это, говорит, рубленое сено, тот же силос, только сухой. А почему сухой? А потому что у того силоса, у влажного, накапливается большой процент молочной кислоты, и от этой кислоты страдают коровы.

— Как страдают? Диспепсия нападает на них, по-русски сказать, понос. От сенажа,— говорит Алексей Михайлович,— поноса не бывает, это его плюс, но и не только...

Алексей Михайлович замолчал, обдумывал что-то, а я не стал ждать и сам начал рассказывать ему про себя, про то, как я в гостях был у своих родственниц, у двоюродных сестренок.

Тогда дядя Андрей и тетка Нюра сказали мне: поняй, мол, к ним, они мол, бедные, поняй к ним сперва. Это к Марии и Надежде, к сестрам моим двоюродным. И слово-то какое, я и забыл его давно, думал, что оно относится только когда на лошадях едешь: поняй — значит, погоняй, мол, езжай. Оказывается, нет, можно и так сказать, без лошадей. Конечно, я пошел к ним сначала, они считаются бедные, их навестить надо было в первую очередь. Когда я первый раз приезжал на родину, они к Барыке, к Василь Денисовичу прибегали вечером, темно уже было, как следует я и не разглядел их в темноте, перед домом стояли. По голосу было слышно, что жалкие они, невезучие, плакали все, жаловались на судьбу. Отец их до войны еще помер, и мать тоже, старший братишка, Ваня, в войну убит был, остались сиротами, в детском доме жили, работать пошли рано. Я, говорила Мария, и замуж вышла за него, как он тоже натерпелся, из тюрьмы пришел, думала, обои мы такие, будем жалеть друг друга, а он так пить стал, так буянить.

Детишки тогда, помню, в темноте толклись, к Марии жались, к моим ногам. А я ведь не только их никогда не видел, но и самих сестер этих никогда не видел. И вот теперь домой к ним пошел. Через выгон пройти — и будет их улица. Только обогнул родную школу, где теперь квартировали бурильщики или контора их была, садик забит машинами, кранами, бурильными установками,— только миновал закрытую теперь школу, навстречу сыпанула кучка детворы. Это они были, дети Марии и Нади. Немножечко подросли, одна и вовсе вытянулась. Раечка, семиклассница. Как-то они признали меня, повисли на руках, потащили домой. Дом такой, кухней у нас называется. У нас если потолок есть, значит, можно домом называть, если нет потолка, значит, это кухня. У Марии была кухня. Две комнатки и посередине, разделяя эти комнаты, сенцы. Вот и ввалились мы в переднюю. Все чин чином, мебель новая, хорошая, даже, я бы сказал, отличная мебель: стол, стулья, шкаф зеркальный, кровать в подушках, как тут положено, белая, чистая, покрывалом покрытая, диванчик также, а в сенцах, заметил, телевизор стоит с большим экраном. Слава богу, как говорится, значит, и у Марии жизнь наладилась. Тут же я и узнал сразу, отчего так все переменилось. Валя, старшая дочка, потому что работать пошла, в продуктовом магазине работает, в передовые вышла, в сельсовет депутатом выбрали. Ее тут не было, торговала сейчас в магазине своем. Ну, сели за стол, а там уж гости сидели, он — тяжелый и огромный мужик, и жена его, с Ямана прибыли на мотоцикле, и мои были они какие-то очень дальние родственники. А стол хорошо накрыт, все что положено тут было. Мария говорит, что знала она, передали ей, и поэтому все меня дожидались. Суетилась немножечко и сильно рада была, что все у нее есть на столе, как у людей, и что в комнате так чистенько и не бедно, и что я, конечно, пришел, она даже порозовела слегка. И Надя, довольная, с уголочка сидела, и этот большой мужик с Ямана улыбался, ждал. Ну, давайте, Вася, давайте нальем да выпьем, сказала Мария, за встречу, Вася, все же пришел к нам... И заплакала, горемыка. И рюмочку поставила, а я в руке держал, и другие ждали. Посморкалась она, кулаком растерла слезы по лицу, это я, говорит, от радости, вы не глядите на меня, давайте, ну, давайте. Так и живем, Вася, плачем да смеемся, и тут же заулыбалась Мария, и глаза засветились хорошо. Веселая была сестренка моя. А Надя тихая, выпила тихо и закусывать стала молча. Мария, наоборот, говорит громко, смеется. Я, говорит, боевая. Валька работать пошла, хорошая она у меня, живем мы теперь ничего, Вася, лучше стали после него...

Я тогда о кухне не случайно сказал, потому что когда осмотрел все в комнате — кровать, мебель, стенки, поднял глаза на потолок, а потолка не было, была крыша одна шалашиком, а по гребешку, вдоль, тянулась тяжелая балясина, матица вроде называется. И все это с балясиной, с этим шалашиком, все было чисто-чисто побелено. А в балясину, толстую и тяжелую, как раз над столом, если поднять глаза, был вбит крюк, для люльки, конечно. Все дети Марии в люльке этой выросли.

— Тут вот он и задушился,— сказала Мария, когда я поднял глаза и так просто, мельком, посмотрел на балясину и крюк.

— Кто задушился? — спросил я, ничего не понимая.

— Да кто ж, мужик мой, отец их.— Она показала рукой на ребятишек, которые играли в сенцах.— А ты и не знал? Вот на этом крючке... Как он мучил нас, Вася. Если б ты знал, братик. Так-то он хороший был, а напьется — то зверь, а когда пить стал подряд, почти каждый день, я убегать стала. Бил он меня повсякому, что под руки попадется. Дети хоронятся, а он ревет, все ломает, бьет, хуже зверя. Ну, пришел так вот, ногой по дверям бах, бах, слова одни черные, меня сразу сбил, а я отползла в сенцы и на улицу, к соседям хорониться. Тогда он на стул поднялся, детей покликал, счас, говорит, душиться стану. Голову просунул в петлю, из платка сделал, и опять говорит детям, когда, говорит, синий сделаюсь, как у меня лицо, говорит, начнет синеть, то бегите за матерью, чтоб сняли меня, не прозевайте. И отшвырнул ногами стул, повис, хрипеть начал. Когда уж посинел, они за мной прибежали: мамка, папка задушился. Ну, я сразу не домой, а тут недалеко живет сын его от другой жены, он уже большенький, парень, можно сказать. Я к нему. Пойдем, Вова, отец задушился. Прибегли — висит. Одна ж я не справлюсь, не сниму. Вовка поглядел, поглядел и говорит: не надо, говорит, теть Мань, снимать его, раз он сам захотел, а то снимем, а он нас бить начнет и убить может. Не трогайте, пускай, говорит, висит... Чем такой отец, Вася, такой мужик, лучше без него, отмучилась, а теперь вот Валя пошла работать, ну, давайте за тебя, Вася, выпьем, а так он у меня был видный, высокий, вроде вот на тебя похож, такой вот...

Я поежился от этого сравнения, но выпил с Марией, с Надей и с этими, с ногайского хутора. Ты, говорит, приезжай в Яман, там у тебя в каждой хате родичи. А что, ты не знал? И засмеялся огромный мужик с Ямана. Я уж давно догадывался, что я ногайский татарин.

Словом, посидели мы хорошо, по-родственному, с ребятишками я поиграл, побеседовал, а вернулся к Сашке, ему рассказал. Я думал, что ты давно уже знаешь про это дело, сказал Сашка. Он тут вот ночевал часто, под школьным забором, прямо на земле. Я гляжу, бывало, поднимается утром, стоит, чешет голову, куда идти, не знает. Повернет к артезиану, значит, думаю, к этой бабе пошел, у него ж их две было. Идет, идет, стоп — остановился, подумал, почесал голову, назад повернул, значит, думаю, к Марии пошел. А часто было так: ходит, ходит туда-сюда, а после опять под забор уляжется и спит дальше.

Да, значит, нету его теперь, отмучилась Мария, да и ребятишкам легче стало без такого отца. Но как они ко мне прижимались, на руках висли, нужен им отец, тяжело без отца.

Да что они, черт бы их взял, в чем дело?! В каждом отдельном случае можно, конечно, разобраться, и то далеко не всегда, а вот надо в целом. В чем тут дело? Я знаю, заниматься этим придется в свое время вплотную, это станет когда-нибудь на повестку дня.

Мы всю дорогу говорили с Алексеем Михайловичем на эту тему. И дома говорили. Это большой вопрос. Никогда еще за всю историю человечества ни один парторг в мире не ставил так этот вопрос, как Алексей Михайлович. Да и парторгов-то не было за всю историю человечества. Это люди наших дней и нашей системы.

Я всегда обходил всякие такие случаи: вот повесился кто-то, отравился или другого отравил, зарезал, задушил. Это неверно. Ведь это болезни человечества, накопленные им в тягчайшей многовековой борьбе за существование. Никогда и никто не ставил перед собой цель, не отдельный человек, конечно, а общество, ни одно общество еще не задавалось целью приступить к излечению человечества от накопленных им болезней. Я имею в виду не малярию и не рак, а вот эту болезнь духа скорее, чем тела... Только социализм, в идеале которого стоит гармонический человек в гармоническом обществе, только он замыслил и накормить всех, и одеть всех, и жилища устроить для всех, сделать счастливыми и свободными всех, и, разумеется, избавить всех, все человечество, от болезней тела и духа. И если сейчас это делается исподволь, потому что на первом плане овцекомплекс

и всякие другие комплексы, машины, колеса и ракеты, то вслед за этим на первый план выступят те вопросы, и мы будем заниматься ими так же, по словам Алексея Михайловича, как нынче занимаемся сенажом, например. Когда мы думаем сегодня о двух системах, стоящих друг против друга, то мы, веря в нашу, социалистическую, систему, видим ее преимущество не только в том, что со временем у нас будет больше холодильников, чем у них, а в том, что мы, а не они, задались целью избавить человечество от страданий и болезней духа. Это входит в нашу программу.

9

А осень была добрая, солнечная. И праздничная. В Цыгановке и по всему краю, как я уже говорил, подводили итоги, праздновали сбор урожая. День за днем входил я в быт родного села, потихоньку становился тут своим человеком. Не так это просто после тридцатилетней разлуки.

Вечером Алексей Саввич, директор совхоза, сказал:

— Завтра с нами в Прикумск на районный праздник.

А чего тебе с ним ехать, говорил Сашка за ужином, директора ты и там увидишь. Я сказал, что хочу со всеми в автобусе. А чего тебе с ними в автобусе, у нас и своя есть, слава богу. И мы поехали с Сашкой на его «Запорожце». Из сарая-гаража вывел он на цементный дворик эту машину красного, пожарного цвета, открыл скрытные ворота из железа, и мы оказались на выгоне, а через пять минут прыганья по колдобинам и кочкам выскочили на прямую магистраль. Мотор Сашкиного автомобиля ревел, как турбореактивный.

Раньше, бывало, едешь, едешь в этот Прикумск на базар — и конца нет дороги. Перед Орловкой где-нибудь выпрягали лошадей, купались в Куме, а лошади вываливались на травке, они любят это делать. Теперь же я и не заметил этой Орловки, мелькнула где-то в стороне, а через двадцать минут мы были у Дворца культуры самого Прикумска. Тут уже стояли на приколе автобусы и машины со всего района.

Мне было приятно видеть в одном месте, перед Дворцом и в фойе Дворца, лучших людей моего родного Прикумья. Но каково было им! Я видел, как они перекликались друг с другом, шумно здоровались, тихо и радостно беседовали, отойдя в сторонку, или, обняв друг друга за плечи, шли к пивному ларьку, стоявшему напротив Дворца. Им было и подавно хорошо. Уже в одних этих встречах, разговорах чувствовался праздник.

Я оставил Сашку, у которого были свои дела, и один не ходил, не передвигался, а как бы плавал в оживленной толпе моих родных, но незнакомых мне земляков. Я подчинился их праздничному настроению, плавал в толпе и радовался вместе с ними. А вот и наши, цыгановские, хоть и смешались с другими, но держатся поблизости друг от друга. Алексей Саввич, Алексей Михайлович, наши трактористы, наши доярки, животноводы, виноградари, наша комсомолочка Тая, Таисия Ивановна Романько. Я постоял минуту среди своих и снова пошел сквозь толпу, вглядываясь в лица, вслушиваясь в их приподнятый, веселый разговор. Душа моя была неспокойна, она ликовала, и топорщила крылышки свои, и теснила мне грудь. Да потому, что, кроме этого праздника, я еще все время помнил, что хожу по земле, по асфальту перед Дворцом родного города, что стоит мне сделать шаг в сторону — и передо мной расступятся улицы моего детства, площадь моего детства, школа моего детства. А она стояла невидимой за деревьями сквера, которого тогда не было еще, а был ровный травянистый пустырь, где мы на переменках и после занятий гоняли в футбол. Я сделаю когда-нибудь этот шаг в сторону и расскажу еще о моем городе. А сейчас поднимусь по ступенькам и войду в фойе здания, где в золотые дни выходил я на сцену, играл в украинской пьесе одну роль вместе с настоящими артистами. «А шо там такэ на мисяци?» — вдруг услышал я свой звонкий голос из-за кулис. И кто-то, наверное Грек-Байкалов, режиссер и актер, отвечал мне со сцены: «Та то Кавыль Вавыля убыв!»

Топорщились крылышки, бились об грудную клетку. Где-то же ходит среди этих людей какой-нибудь школьный дружок мой, какой-нибудь передовой механизатор, или свинарь, или даже директор совхоза, ходит же... Не все ж разлетелись по разным далеким краям, оставив свой дом навсегда, как оставил я навсегда свой порог ради столичной жизни, ради столичной выучки и писания, может быть никому не нужных книжек. Тут, в фойе, тоже толпились наши лучшие люди, и среди них, наверное, мои школьные дружки, и стены вокруг были в ярких красках и линиях диаграмм, а перед ними дары осени, дары нашей прикумской земли. «Плодопитомнический совхоз „Солнечный"». И горы яблок. Вот пирамида отборных прозрачно-воскового цвета яблок кальвиль снежный, рядом такая же гора зеленых с румянцем бойкен — урожай 71,4 центнера с гектара, и отдельно румяные Вагнера призовое — 72 центнера с га, и красные до темноты — яблоко к яблоку — джонатан. Прикумская опытно-селекционная станция. Пшеница «прикумская». Сорго. Арбуз мелитопольский. Тыква крупноплодная белая... Медленно продвигаюсь вдоль стен, вдоль яблок, золотых снопов, тыкв и арбузов и повторяю милые мне слова: «прикумская», пшеница «прикумская»... И тут подходит ко мне и трогает меня за руку один из этих лучших людей. Я ведь предчувствовал. Не узнаешь? Нет, никак не могу узнать. В непочетинскую школу ходили, ну? И я стараюсь этого крепкого мужчину вернуть в тот забытый девятилетний возраст, когда в фиолетовых пятнах от чернил, босиком до первого снега, из двух Непочеток бегали мы в цыгановскую школу, которую занимают теперь бурильщики. Женя... Букреев Евгений Николаевич, директор совхоза. Я ведь это предчувствовал, я же знал, что здесь они, ходят где-то рядом со мной друзья мальчишеских лет, нынешние хозяева земли, хозяева сегодняшнего праздника.

Потом все они вошли в зал. Торжественная сцена, и там, откуда кричал мне когда-то Грек-Байкалов: «Та то Кавыль Вавыля убыв!» — там сидел президиум за красным длинным столом, и знамя осеняло их, и профиль Ленина светился над ними. Теперь я боялся только одного — я боялся, чтобы первым человеком моего Прикумья, первым секретарем, не оказался бы какой-нибудь не такой человек, малообразованный, я боялся, что вдруг он не покажется мне, не понравится с первой минуты, с первого слова, в том числе и внешностью своей. Я не знал его, не видел еще в лицо. И тут поднимается он, Павел Денисович, человек среднего роста, подобранный, чернявый. Открывает собрание. Голос сильный и приятный. Страшно не люблю тихоголосых. Одним словом, понравился мне Павел Денисович, вернее, стало мне как-то спокойно сразу за мой край.

Не успел увидеть, не успел как следует услышать, не успел познакомиться с человеком, не изучил, не проник еще во внутренний мир, а уж готово, уж и понравился ему этот человек. А может, он, этот Павел Денисович Поделякин, совсем не такой, каким показался в первую минуту, может, он только что получил выговор от крайкома, может, на него письма идут от трудящихся с жалобами — автор ничего еще этого не знает. Может, его район план не выполняет или вообще проваливает по какому-нибудь разделу из года в год? Ведь автор и этого не знает. Да, не знаю, говорю я, но разве с вами не бывает, когда вдруг, с первого взгляда, вам понравится человек? А уж Павел Денисович сел на свое место, предоставив слово докладчику. И докладчик сообщал людям об успехах и достижениях родного моего района: два с половиной миллиона тонн зерна засыпал район в закрома государства, это большая победа, вместо 24 тысяч тонн собрали и переработали в дождливых условиях этого года 29 тысяч тонн винограда, погом стал называть другие факты, другие показатели по животноводству, сколько работало в районе кормовых кухонь, сколько сена, сколько сенажа, о заготовке сена способом активного вентилирования, потом пошел называть лучшие хозяйства, лучших людей, их показатели, их достижения и так далее. И кое-где в докладе мелькала наша Цыгановка и ее передовые люди. Эти места меня волновали особо.

После доклада стали вручать переходящие знамена, вручать ордена и медали, ценные подарки и денежные суммы. И оркестр стал играть откуда-то сверху. И руководил всем этим Павел Денисович Поделякин. Его живого голоса, его

веселого характера вполне хватало на это праздничное, духоподъемное дело. Каждого он знал не только в лицо, но даже по голосу узнает, кто откликается на его вызов из зала, про каждого он знает все — и хорошее, и если есть плохое, то и плохое. Вот выкликнули чабана одного, представленного к почетной грамоте, а Павел Денисович наклоняется над столом и в зал говорит сильным своим голосом: это, мол, какой такой, не тот ли, говорит, который в прошлом году зеленя потравил, семь гектаров зеленей стравил? Тот? Тот самый, виновато отзываются в зале. Значит, вместо выговора грамоту? Нет, он исправился, достижения имеет.

А вот строем идут между рядами, идут на сцену директор совхоза, парторг и секретарь комсомола, за переходящим знаменем идут, головы гордо держат. Живей, живей, ребята, говорит Павел Денисович, а то у нас много сегодня наград и всяких вручений. И это неправильное обращение к директору, к парторгу — живей, ребята,— мне почему-то сильно понравилось. Может, потому, что и правда много наград, праздник большой такой, и слово «ребята» так уж сближало всех, кто тут сидел, что сильней сблизить и нельзя.

— Вьюгин Иван Дмитриевич, бригадир МТФ номер три совхоза «Архангельский», награжден орденом Трудового Красного Знамени!

На сцену поднимается наш мужчина, цыгановский, из моей Непочетки, Вьюгин. Ну как же! Бывало, у нас так говорилось: Вьюга да Синюга, дай им волю, они все село пропьют. Бывало, а теперь вот Иван Дмитриевич вышел, встал перед Павлом Денисовичем, а ему пришпиливают к праздничному пиджаку орден Трудового Красного Знамени. Заслужил честным трудом.

Потом под короткие всплески оркестра пошел на сцену Чуйков Иван Дмитриевич, звеньевой кукурузоводов, собрал самый высокий по району урожай кукурузы, 210 центнеров зеленой массы. Тоже наш.

Романько Таисия Ивановна, доярка. Тая наша с челочкой, уже хорошо мне знакомая.

И тут протрубил горн, и пионеры в белых рубашках, в белых блузках, в красных галстуках рядком прошли вдоль стены со знаменем, с горном и барабаном, поднялись, выстроились на сцене перед президиумом, и минута молчания, опустившаяся в зал, принесла нам, сидевшим в зале, новое чувство, новые переживания, какие приносят взрослым только дети в галстуках, со знаменем, с горном и барабаном. За их белыми фигурками, из глубины сцены, прозвучал сильный мужской голос, произнес ритуальные слова, и звонкие голоса ответили:

— Всегда готовы!

Сколько раз все это видано, сколько раз слышано, сколько раз и сам я выходил вот так же приветствовать взрослых, людей труда, и все-таки опять, как и в первый раз, перехватывает горло. Не надо, говорю себе и вам, пожилые мужчины и женщины, видевшие войну, видевшие много разного в нашей жизни, не надо, говорю, стыдиться чувствительности, не надо, Павел Денисович, прятать слезу.

Наконец были вручены все знамена, все ордена, медали, грамоты и премии, после перерыва объявлен был большой концерт.

Перед концертом я познакомился с Павлом Денисовичем Поделякиным, первым секретарем. Мы должны, Павел Денисович, ехать. Куда ехать? Домой, в Цыгановку, говорил я и показывал в сторону Алексея Михайловича, парторга нашего. Как ехать? Нет, нет! «А ну, парторг, давай сюда, садитесь. Вы что? За концерт заплачено пятьсот рублей, а они ехать. У нас, я говорю, коровы, Павел Денисович, не доены, нам нельзя задерживаться. Да, да, не доены, поддержал меня Алексей Михайлович. А тут занавес раскрылся, и на сцену вышел и стал говорить, играть на баяне и петь под баян знаменитый композитор Пономаренко.

Кроме всего прочего, на Ставрополье в эти дни во всю мочь разыгрывалась музыкальная осень. Композиторы, певцы и музыканты столичных городов разъезжали по нашему краю. Нам повезло на Пономаренко, и мы, смирившись, остались, тем более что слова ко многим его песням написаны были моим другом Виктором Боковым.

Пономаренко уже начал петь под свой баян, а Павел Денисович еще стыдил

нас, шепотом, правда, чтобы не мешать композитору. Вы что мне говорите, за кого меня принимаете, стыдил нас секретарь, я же знаю, что смена-то на фермах оставлена, коровы не останутся не доены, парторг называется, райком вздумал обманывать, сиди вот и слушай. А мне на ухо сказал: дорого, говорит, взял, а поет хорошо, у нас любят его песни.

А дело вот в чем было. В перерыве ходила одна наша, можно сказать, инициаторша, собирала складчину, чтобы по дороге домой завернуть в лесополосу и хорошенько обмыть награды, Цыгановке все же досталось немало наград. Я тогда посмотрел в ее списочек и тоже протянул свою трешку. Инициаторша приняла ее без всяких слов, записала меня в списочек, фамилию записала и напротив проставила должность — писатель. Разве я могу теперь сказать вам, как я был счастлив. Меня признали своим. Поэтому и торопились мы и про недоеных коров придумали с Алексеем Михайловичем. Хорошо, конечно, пел композитор, но мы вели себя неспокойно, ерзали в креслах, ждали конца и, разумеется, дождались.

О, эти лесные полосы южных окраин нашей великой родины! Как спасают они землю, хлеба на ней и человека от жутких ставропольских суховеев, от черных бурь, как много они дают душе степняка, как долго и часто ездили молодой председатель и молодая агрономша травить черепашку в эти лесополосы, ездили до тех пор, пока не расписались в районном загсе. Едешь степной дорогой, ветер сбивает с колес машину, и солнце нещадно палит во все лопатки, а вот и не игра обманчивого марева, не фата-моргана, а настоящий лес, полоса лесная показалась, и ты счастлив войти в нее и отдохнуть душой. И наш автобус стоит под ее зеленой простеночкой, и Сашкин автомобиль, и костерок протянул к небу синий дым, и наши люди, едущие с осеннего праздника домой, стоят тесным кругом, и граненые стаканы переходят из рук в руки. За ваши успехи, Ольга Николаевна, за вас, Вера Сергеевна, Таисия Ивановна, за вас, Владимир Григорьевич, за честный труд, за нашу Цыгановку, за нашу счастливую жизнь!

Умерли дядя Тимоха и дядя Митяй, и прошлая жизнь ушла вместе с ними, уходит плохое, остается хорошее, многое уходит из страшненьких рассказов Василь Денисовича, заморился он жить, а мы не заморились, мы полны сил и надежд, мы передаем стаканы из рук в руки, и женщины уже сбились отдельно под тополькой, поют хорошую степную песню. И вспомнился мне литератор один, которого я давно уже не уважаю: как он говорил, как переживал на трибуне, как пугал всех, что вот надвигается на наших людей бездуховная жизнь, что в погоне за телевизорами, автомобилями и сервизами народ наш забудет все и заболеет бездуховностью, вот, говорил он, проблема номер один, вот о чем думать надо сегодня. Сашка мой, владелец автомобиля пожарного цвета, посмеялся над этим. Многое видели наши люди, пережили холод и голод, пережили страшную войну и много прочих других бед и не впали в бездуховность, переживут как-нибудь и хорошую жизнь.

Ладно и трогательно пели женщины в лесной полосе, под низким, западающим за горизонт степным солнцем.

До свидания, люди, славные мои земляки, до свидания, милая моя Цыгановка. До новых встреч!

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

О. ОРЕСТОВ

★

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ И БЕРЕГ ДАЛЬНИЙ

(Об англичанах, их нравах и привычках)

ОСТРОВИТЯНЕ

В Англию можно попасть двумя путями: по воздуху или по морю. Пешком в Англию попасть нельзя.

Впрочем, один эксцентричный англичанин, пересекший Европу с юга на север, решил — с упорством, достойным истинного британца,— дойти пешком до родного Манчестера. На пароходе, пересекшем Ла-Манш (то бишь Английский канал), он ходил по палубе от носа до кормы и обратно, пока судно не достигло знакомого берега. По Малинину и Буренину получалось, что он не сделал ни шага по направлению к Англии...

Англичанам повезло, что их страна лежит на острове. В 1966 году они отмечали девятисотлетие со дня последнего вторжения неприятеля на их землю. Девятьсот лет английскую землю не топтали иностранные солдаты, хотя страна всегда была где-то рядом с европейскими полями сражений. Наполеон готовил армаду для высадки — не получилось. На острове Джерси я видел бетонные бастионы, построенные Гитлером: он рассчитывал совершить оттуда бросок на Англию — не вышло.

Я уже несколько раз упомянул слово «Англия»... До чего обманчиво это название! Однажды в Шотландии, точнее в Глазго, я записал для друзей свой адрес, добавив: «Корреспондент «Правды» в Англии».

— В Англии? — ехидно спросили друзья.— А что же вы делаете здесь? Тут не Англия, а Шотландия.

Это был для меня небольшой урок географии и этнографии. Мы еще часто — по исторической инерции — именуем страну Англией, и напрасно. Есть Великобритания (если не нравится «велико...», то просто Британия), или Соединенное королевство. В государство входят: Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия (или Алстер, который неточно называют Ольстер). Недавно автономный статус начали требовать и жители Корнуолла (юго-западного полуострова Великобритании).

Проехав на машине через английское графство Девон, славящееся сливками и мороженым, я остановился в ближайшем городке Корнуолла. В придорожном кафе я попросил порцию девонского мороженого. Молодая официантка обиделась:

— Сэр, вы уже не в Англии, а у нас есть свое, корнуоллское мороженое, которое, конечно, получше всякого девонского...

Если бы все эти национальные районы и впрямь откололись, от Англии, собственно говоря, ничего бы не осталось.

Чаще всего англичане и их пресса стараются говорить о национальном вопросе с деланной улыбкой, как о нелепой шутке. К шотландцам англичане относятся снисходительно. Кто-нибудь непременно вспомнит «бородатый» анекдот о пресловутой скупости шотландцев.

Традиционный комплекс превосходства и какое-то снисходительно-презрительное отношение проглядывает к ирландскому народу, хотя оснований для этого нет никаких.

События в Северной Ирландии смяли насмешливую улыбку и заставили задуматься. Стал более очевидным факт существования совсем рядом другого, не похожего на англичан и самостоятельного народа, который не хочет служить для Англии лишь

поставщиком чернорабочих. Ирландия была первой мишенью английского колониализма. Еще не были завоеваны земли в Африке и Азии, а англичане уже вели колониальную войну против ирландского народа. Весьма похоже, что Северная Ирландия будет и последней колонией Англии...

Северная Ирландия мечтает о воссоединении всей ирландской родины. В Шотландии националисты всерьез настаивают на полном отделении. В Уэльсе национализм и антианглийские настроения породили, с одной стороны, здоровую тягу к автономии, а с другой — деятельность полуфашистских-полувоенных тайных отрядов.

Так что о любви или симпатии между населяющими Британию народами говорить не приходится.

Не обходится и без курьезов. Я бывал в городе Берик-на-Твиде, лежащем на границе Англии и Шотландии. Протекающая через него река дала название знаменитым твидовым тканям. В старину город в ходе ожесточенных войн переходил то к Шотландии, то к Англии. Последняя все же присвоила город, предоставив ему, однако, особый статус. Так, например, в торжественных церемониях местный епископ следует сразу за архиепископами кентерберийским и йоркским — главами английской церкви.

В Берике хороший родильный дом. Но шотландцы везут своих жен не сюда, а в далеко отстоящие шотландские города. Ребенок, родившийся в Берике, будет считаться англичанином. А вдруг родится мальчик? Тогда он никогда не сможет играть в национальных командах Шотландии в футбол и рэгби... Таков неумолимый спортивный закон.

...Но взглянем на Англию с палубы приближающегося к ее берегам парохода. Виден самый верный ориентир — белые меловые утесы. По ним, воспетым бардами, мы знаем, что капитан не был пьян, что компас работал исправно и мы прибыли не к норвежским фиордам и не к голландским дамбам, а прямехонько к Англии.

В древности белые скалы увидели со своих галер солдаты Юлия Цезаря. Легионеры задумчиво покачали головами и назвали «открытую» ими страну Альбионом, то есть Белой, Белянкой, Белесой или как это там звучало на древней латыни!

Белые утесы Дувра стали символом, поэтическим образом. Когда байроновский Чайльд-Гарольд покидал Англию, он глядел на уходивший берег:

Надулся парус, ветер взмыл, играя,
Как будто рад нести скитальца вдаль;
Грань берега поблекла м е л о в а я,
И с пеной вод слилась небес вуаль...

Прощай, прощай! Мой брег родной
В лазури вод поник...
Мой бриг! С тобой привольно мне
Средь пенистых зыбей,
Неси меня к любой стране,
Лишь не к родной моей!

У кого только не стояли на пути знаменитые белые утесы!

«Когда на рассвете 25 августа 1852 я переходил по мокрой доске на английский берег и смотрел на его з а м а р а н н о-б е л ы е выступы, я был очень далек от мысли, что пройдут годы, прежде чем я покину м е л о в ы е у т е с ы его».

(А. И. Герцен, «Былое и думы»)

В годы второй мировой войны, когда фашисты варварски бомбили Лондон и Ковентри, у англичан была своя Шульженко по имени Вера Линн. Она пела, правда, не о синем платочке, а о грязном белье, которое вот-вот томми развесят посушить на «линии Зигфрида», и, конечно, о белых скалах английских берегов. Летчики и зенитчики, пехотинцы и матросы аплодировали ее «Песням блитца», которые и сейчас звучат в концертах и которые хором подхватывает любая аудитория.

...И снова голубые птицы
Будут летать н а д б е л ы м и с к а л а м и Дувра,
Ты увидишь это завтра, поверь мне...,—

пела Вера Линн перед пилотами «Битвы за Англию», которые в тот же день на своих «спитфайрах» вступали в бой с «юнкерсами» и «мессерами» и падали в пламени у самых белых утесов Дувра...

...Самолет летит от Москвы до Лондона три с лишним часа. Завтрак в Москве, и из-за разницы во времени в Лондон прибываешь опять-таки к завтраку.

Под крылом — английская столица. Пассажиры, пренебрегая правилами, отстегнув пояса, толпятся у правого борта: видно здание парламента, Вестминстерское аббатство, зелень Гайд-парка.

— Смотрите, смотрите, какая красивая Темза!

Не ведают, что говорят! Темза, или, точнее, Темз,— это мужчина. У нас есть матушка Волга, а в Англии — отец Темз, старый Темз.

Самолет идет на посадку в аэропорту Хитроу, забитому воздушными кораблями всех стран и цветов. Каждую минуту здесь садятся и взмывают в воздух лайнеры. Уже много лет ищут место для дополнительного аэропорта, подальше от города, и не могут найти. Куда бы ни сунулись проектировщики, их встречает протестующее население: все боятся аэродромного шума.

Вокруг Хитроу тоже длится давнишний скандал, похожий на тот, что описал американец Артур Хейли в романе «Аэропорт». У жителей окружающих районов дрожат стены и бьется посуда, люди затыкают на день и на ночь уши ватой, сердечники хватаются за нитроглицерин. Шлют петиции, пишут в газетах, ведут дискуссии по телевидению — все напрасно. Хитроу, один из мировых авиационных центров, ликвидировать или перенести невозможно. Правда, есть и польза от этого шума, в районе аэропорта квартиры стоят дешевле...

Покинув борт самолета, пассажир идет по длинным коридорам к «иммиграционному» контролю. Приезжего приветствуют два указателя: «Для подданных Соединенного королевства» и «Для иностранцев» — отсюда начинаются две отдельные очереди.

Эта система, по идее, должна ускорить проверку паспортов. На британского подданного, дескать, уходит несколько секунд, а с этими иностранцами так много хлопот. Дальше я расскажу, как жизнь опрокинула эту идею.

Но мне кажется, что две отдельные очереди помимо всего отражают характерное для англичан стремление обособиться от других народов. У нас в Шереметьевском аэропорту тоже проходят пограничную проверку и иностранцы и советские граждане. Но никому не приходит в голову облегчить просмотр паспортов советских граждан. Более того, любой наш работник постарается ускорить обслуживание приехавшего иностранца, помочь ему — ведь это гость нашей страны. Сколько раз я наблюдал, как в московских магазинах сами покупатели обязательно пропустят вперед человека с иностранным акцентом — таков закон русского гостеприимства. Этого не увидишь в Англии.

По-видимому, это не только национальная черта, но и пережиток эпохи существования огромной Британской империи, где англичанин ходил этаким барином и господином. Давно ли по мировой географической карте то розовой, то зеленой краской расползались британские владения — от Баффинова моря на севере до мыса Доброй Надежды на юге, от Полинезии на востоке до Гайяны на западе.

«Строитель империи» — англичанин, странствуя буквально по всему свету, всегда оставался самим собой, не приспосабливался к чужим нравам, не менял своих привычек. Расценивайте это как угодно — как плюс или минус английского характера.

Мне много приходилось ездить по Африке. В бывших французских колониях африканцы довольно свободно общались с французами, жили в одних с ними районах городов, смешивались. В английских даже города делились на английскую (белую) часть и африканскую (черную). Таковы были Аккра, Лагос и другие города. Я вспоминаю индийскую столицу до независимости: в Новом Дели индийцы жили только на положении слуг при домах англичан. Это был город для англичан, с английскими порядками и правилами. В «туземный» Дели, где жили индийцы и откуда по утрам ехали в Новый Дели мелкие индийские чиновники, англичане ездили только на экскурсии или

для покупок на экзотических базарах Чандни-Чоука. Это была не просто спесь колонизатора (ее хватало и у французов, и у голландцев, и у других), но и английский образ жизни, все та же «островная» психология.

В какую бы глушь ни забрасывала судьба англичанина, он сохранял свои обычаи и облик. В Лондоне я смотрел по цветному телевидению экранизацию рассказов Сомерсета Моэма — об англичанах конца прошлого и начала нынешнего века, живших в джунглях Малайи, на островах Индийского и Тихого океанов, в Китае. Усмиряя «туземцев», чиня суд над местным населением, бродя по девственным лесам, к восьми часам вечера англичанин возвращался в «бангало», принимал ванну с помощью «туземного» слуги, надевал вечерний тропический костюм с белой манишкой и галстуком-бабочкой, выпивал несколько порций виски и садился ужинать. Самое главное: он проделывал этот ритуал и тогда, когда был на острове единственным европейцем, без жены и детей.

За последние годы многие англичане (у кого есть на то деньги) устремляются в отпуск в Испанию. Они облюбовали два прибрежных района — Коста Брава и Коста дель Соль. Быстро-быстро они превратили их в два уголка Англии, и, говорят, летом здесь редко услышишь испанскую речь. Местные торговцы тоже приспособились к гостям: вывески теперь пишутся на двух языках. Может быть, англичане посещают рестораны, чтобы полакомиться испанской паэллой или щупальцами осьминога? Ни в коем случае! Везде готовят яйца с беконом, ростбиф, йоркширский пудинг, пирог с говядиной и почками и подают доброе шотландское виски и разливное пиво. Появились английские таверны, а ловкий делец открыл даже забегаловку с «фиш энд чипс», где, как и в милой сердцу Англии, жареную рыбу и картофель подают в обрывке газеты (не знаю, идет ли на это «Таймс» или мадридская «Информасьонес»).

— Зачем же ехать в Испанию, если Испания вас не интересует? — спрашивал я.

— О, сэр, какое нам дело до испанцев, было бы побольше солнца! — отвечали мне.

Англичанин жил в далеких имперских владениях не ради удовольствия: он служил ради наживы и обогащения. Он требовал, чтобы его обслуживал сонм «туземных» слуг. У любого среднего английского чиновника в Индии должны были быть: один-два «бера» — лакея, «мали» — садовник, «ая» — нянька для детей, «боварчи» — повар и поваренок, «чоукидер» — сторож, «джамадар» — уборщик, конюх (до автомашин) и другие слуги в зависимости от положения и состояния хозяина. Накапливая деньжишки, превращаясь в спесивого набоба, англичанин мечтал о возвращении в Англию, когда отставным военным или чиновником он сможет купить усадьбу в «саде Англии»— графстве Кент — и жить безбедно до конца своих дней. Он богател за счет угнетенных народов, оставаясь для них чужаком и господином. Имперская психология утвердилась прочно, в душе англичанин был убежден, что народы колоний, собственно говоря, обязаны служить Англии. Ему и в голову не пришло бы пригласить к себе на ужин простого малайца или кенийца. Жить десятилетиями в этих странах, брать почти даром продукты труда их народов — это естественно; предложить этим людям жизнь в Англии, где им хоть частично возвратили бы то, что было у них отнято,— это неестественно. В конце-концов, Англия — для англичан...

В середине нашего столетия рухнула великая империя. Если солнце, бывало, не заходило над Британской империей, то ныне, по словам одной из лондонских газет, приходится мириться с тем, что солнце восходит в Маргейте и заходит у островов Силли [1]. С трудом привыкают англичане к мысли, что больше нет у них колоний, от которых зависело их благополучие и где к их услугам было любое сырье и дешевые руки. Что греха таить, от колониального угнетения зависел и высокий жизненный уровень английских рабочих.

Потеря империи — это и психологическая травма для англичан, и экономический удар, который заставляет их отныне жить (или стараться жить) по средствам.

---

[1] Маргейт — курорт на восточном побережье Англии; острова Силли — у ее западных берегов. На этих островах обычно проводит отпуск лидер лейбористов Гарольд Вильсон.

А тут еще масла в огонь подливают индийцы. Газеты сообщали, что Индия хотела бы получить обратно знаменитый бриллиант «Кох-и-Нур» («Гора света»), который в 1850 году Ост-Индская компания подарила королеве Виктории. Легенда гласила (ее удобно придумал кто-то из англичан), что, если правитель Британии будет носить этот камень как украшение, англичане потеряют Индию. Поэтому бриллиант не был вставлен в королевскую корону. Уловка не помогла — Англия давно потеряла Индию. «Кох-и-Нур» поднялся в цене, как говорят, до 10 миллионов фунтов стерлингов и лежит под стеклянным непробиваемым колпаком в лондонском Тауэре.

Индийский представитель в Лондоне пояснил, что камень был похищен из Индии персидскими завоевателями. Затем англичане отняли его у персов. Индия считает, что он принадлежит по праву ей и должен находиться не в Тауэре, а в национальном музее в Дели.

Индийский представитель говорил, прямо скажем, мягко. По русской пословице все выходит проще: вор у вора дубинку украл.

В Британском музее я посещал залы, где находятся скульптуры, в свое время похищенные английскими «учеными» и «исследователями» с Акрополя. Сколько раз Греция настаивала на возвращении украденных произведений искусства! Но, видно, трудно расставаться с «добычей».

Куда больше хлопот принесли Англии не бриллианты и не отбитые от Парфенона произведения искусства, а живые люди — подданные Великобритании из бывших колоний.

Мы уже говорили, что в лондонском аэропорту есть особая очередь для проверки паспортов «подданных Соединенного королевства». И вот иммиграционные власти с ужасом заметили, что именно эти очереди становятся бесконечными. В соседнем зале уже давно прошли контроль иностранцы, а здесь все еще толпа. Англия словно проснулась и обнаружила, что «подданные Соединенного королевства» бывают разных цветов...

В колониях бывшей империи миллионы людей считались британскими подданными и обладали британскими паспортами. Так было, например, в Кении и Уганде, куда в свое время переселились многие пакистанцы и индийцы. Большей частью это были лавочники, ростовщики, ремесленники. Англичане называли их «цветными» и внушали, что они стоят на несколько ступеней выше местных африканцев. Но вот африканские колонии стали независимыми государствами. У «цветных», считавших себя оплотом Англии среди масс африканского населения, был выбор: принять гражданство африканского государства или числиться «британцами», то есть оставаться на положении иностранцев со всеми вытекающими из этого последствиями.

Наиболее дальновидные выходцы из Индии и Пакистана приняли местное гражданство. Другие (а их были десятки тысяч) двинулись в путь — на «родину», то есть в Великобританию. Британский паспорт открывал беспрепятственный въезд, без визы, без особых разрешений. Ведь им всегда внушали мысль, что они «британцы»,— вот они и воспользовались своим правом.

Ах, как негостеприимны оказались англичане! Забыты были десятилетия, прожитые на дармовщинку в колониях. «Коренные британцы» писали на стенах лондонских домов лозунг «Сохраним Британию белой!». Они бросились к парламенту, требуя, чтобы их депутаты прекратили «безобразие». Пакистанец или индиец мог размахивать британским паспортом где-нибудь там, в Африке, но это же не значит, что он и в самом деле... британец! «Белая» реакция шумела, гудела, протестовала и... действовала. Правительство приняло закон, ограничивающий число «британских» подданных не белого цвета, которым ежегодно разрешается въезд в Англию, да и то если у них есть здесь родственники и работа.

Аэропорт Хитроу стал свидетелем многих трагедий. Из Кении летели с женами и детьми тысячи людей: они становились в очередь «для подданных Соединенного королевства», предъявляли иммиграционному чиновнику британские паспорта с «двухспальным лёвою» и искренне думали, что через пять минут они смогут направиться в «свою» столицу — Лондон.

Не тут-то было. Закон уже начал действовать, и нежелательных британцев сажали на самолеты, летящие в обратном направлении. Но в Кении и Уганде их уже не при-

нимали, у них требовали въездную визу, как у любого иностранца. Было несколько случаев, когда людей направляли из Хитроу в Голландию, а там власти сажали их на самолет, скажем, во Францию, откуда их отсылали еще в какую-либо страну, и они путешествовали и месяц и два: ведь у них больше не было родины. В кармане лежал британский паспорт, который на поверку оказался картонкой с никчемными листками бумаги. Британия отказалась от детей своей империи!

...Итак, мы проходим иммиграционный контроль. Чиновник вежлив и расторопен. Проверка визы, штамп, пожелание хорошо провести время в Англии, мимоходное замечание о погоде. Дальше зал, где пассажир получает багаж и предъявляет его таможенникам. На Хитроу нововведение, рассчитанное на совесть пассажиров. Если пассажир везет предметы, подлежащие досмотру, он должен идти к столу, над которым горит красный сигнал. Но можно двинуться и к зеленому сигналу — здесь нет досмотра. Таможенный чиновник, правда, имеет право открыть чемодан, если он не уверен в честности человека, но, как правило, он ограничивается вопросом о том, откуда прибыл пассажир, и ставит мелом свой знак на багаже. Не берусь судить об эффективности этой системы в борьбе с контрабандой, но она намного ускоряет процедуру. Это большое преимущество, если учесть чудовищную загруженность лондонского аэропорта.

Можно наконец проститься с аэропортом Хитроу. Но что это? В просторном зале ожидания с метлой и тележкой для мусора движутся женщины в странном одеянии: шаровары до щиколоток, шаль на голове. Где я видел их раньше? Вспомнил: на Индостанском полуострове! Действительно, это пакистанки, те, кому все же удалось иммигрировать в Англию. Они прошли через все рогатки, доказали свою «британственность». Ну что же, если формальности соблюдены, живите в Англии и работайте... подметальщицами в залах аэропорта Хитроу, уборщиками мусора на улицах, чернорабочими. Но только не посягайте на хорошо оплачиваемую работу коренного британца!

Британцы не захотели расплатиться хотя бы частично за те колоссальные «займы», которые они силой или хитростью брали у народов колоний. Могут сказать, что против «цветных» иммигрантов выступает не английский народ, а правящие круги, реакционные организации. Я погрешил бы против истины, если бы не упомянул проходившую на моих глазах демонстрацию лондонских докеров в защиту расиста Инока Пауэлла, призывавшего запретить въезд «цветных» иммигрантов. Те же докеры выступали перед этим с выражением солидарности с далеким народом Вьетнама. Но они оказались отнюдь не на высоте, когда речь зашла о мнимой конкуренции рабочих-иммигрантов, которой пугают английский рабочий класс расисты.

Расскажу еще об одном эпизоде, оставившем у меня тяжелый осадок в душе.

Английские друзья пригласили меня в рабочий клуб в промышленном районе Северного Лондона. По вечерам здесь собираются рабочие местных заводов и фабрик с женами — отдохнуть и повеселиться. В большом зале за столиками с кружками пива сидели веселые завсегдатаи клуба. На небольшой эстраде . выступал самодеятельный оркестр, танцевали пары. В соседней комнате играли в карты. Собравшиеся время от времени хором пели популярные песни. Обстановка была непринужденная, семейная, товарищеская.

Я знал, что на предприятиях района работает много иммигрантов — выходцев из Вест-Индии, Африки, Пакистана, и поинтересовался, почему никого из них не видно в клубе. Мои прогрессивные хозяева смутились:

— Видите, устав рабочего клуба не допускает членства цветных рабочих. На заводе у нас нет дискриминации, мы вместе боремся, бастуем, помогаем друг другу, но отдыхать предпочитаем порознь. Боюсь, что наши жены не согласились бы танцевать с цветными, да и вообще у них другие нравы и привычки. Но им никто не мешает создавать свои собственные клубы, что они и делают.

Мой друг даже принес копию устава, где было ясно сказано, что приглашать в рабочий клуб «цветных» не разрешается.

Мне хотелось поскорее уйти из этого «демократического» клуба. Я как бы прикоснулся к больному месту общества, убедился, что это не пустые слова, когда говорят, что имперская, островная психология жива и в среде рабочего класса.

...Итак, мы удостоверились, что находимся на острове. Около него есть и другие острова: Ирландия, которая, будь ей позволено, с охотой оттолкнулась бы от Англии к середине Атлантики; остров Мэн, где родятся бесхвостые кошки; острова Джерси и Гернси, где говорят на средневековом диалекте французского языка; остров Сарк, правительница которого не позволяет завозить автомашины; и другие. Но главным остается остров Британия, для которого Европа — это не Европа, а континент...

Да и сами европейцы (континентальные!) поглядывают на Британию как на нечто духовно отдаленное, с жизнью, не похожей на их собственную. С давних пор этот остров в холодном море привлекает к себе обособленностью, самобытностью, оригинальностью уклада и традиций, странностями, которые, впрочем, вполне устраивают самих бриттов.

...А теперь прямо в Лондон — сердце острова.

НА НУЛЕВОМ МЕРИДИАНЕ

Гуси спасли Рим. Он раскинулся на холмах, белый, сверкающий, гордый своей древностью, величественный, как мраморный памятник...

Не знаю, кто спас Париж. Город купается в утренней сиреневой импрессионистской дымке, камни домов и мостовые дышат историей. Каждая улица, каждая площадь — изумительный архитектурный ансамбль...

Жаль, что гуси в свое время не залетели в Лондон. Здесь нет ни римского солнца, ни парижской музейной красоты. Я не помню, чтобы в Лондоне были особенно впечатляющие, выдающиеся ансамбли.

Когда мой друг Виктор Маевский, хорошо знающий Англию и любезно согласившийся прочитать мою рукопись, дошел до этой фразы, он возмутился:

— В Лондоне нет величественных ансамблей? Да что вы, в самом деле! А набережная Виктории с Иглой Клеопатры? А музей Альберта и Виктории? А парламент и Вестминстерское аббатство? А сама Риджент-стрит?

Он прав — это впечатляет. Но все эти ансамбли скучены в центре, на пятачке. А кругом лежит однообразный город, где одну улицу не отличишь от другой. Но если бы меня спросили, где бы мне хотелось пожить — в Риме, Париже или Лондоне, я не задумываясь сказал бы, что Рим и Париж красивее, но жить все-таки приятнее в Лондоне. В Рим мчались художники, и люди ахали от его великолепия. Красота Парижа стала общепринятой аксиомой. В Лондон ехали не ради красот, а для бизнеса, по делам. Или же в нем селились изгнанники, которым отказывали в приюте другие страны. Несмотря на всю свою консервативность, англичане терпимо относятся к иностранцам, если только они не вмешиваются в их собственные, английские дела. Лондон создан не для любования, а для удобной спокойной жизни, особенно для тех, кто любит покой и порядок. Здесь нет парижской консьержки, которая знает, кто к тебе пришел в гости. Здесь соседи не будут перекликаться из окна в окно или подглядывать, как твоя жена готовит спагетти...

Лондон родился из римского военного поселения Лондиниума, затем появилась могучая крепость Тауэр с ее кровавой историей. Вокруг нее квартал за кварталом нагромождались, словно капустные листья, новые районы — хаотично и беспланово. Город строился не для забавы, роскоши или развлечений — он нужен был здесь, в устье реки, для торговли, для набегов на чужие земли. Это была обитель коммерсантов и воинов.

Лондон построили англичане. Они в нем и живут. Когда проходишь по шумной, торговой, бурлящей Оксфорд-стрит, заполненной толпами туристов и покупателей, то, как любят шутить англичане, иногда даже слышишь английскую речь...

Во время пребывания в Лондоне я жил в западном полушарии. Если бы я переехал на несколько кварталов в сторону, я бы оказался в восточном полушарии. Нулевой меридиан, если вы захотите, может проходить и через вашу квартиру. Когда приезжали соотечественники, я вез их в Гринвич, где они фотографировались, поставив левую ногу в западном, а правую — в восточном полушарии Земли, то есть так, чтобы металлическая полоса, обозначающая знаменитый меридиан, проходила между ногами.

Пожалуй, больше всего поражает в Лондоне обилие зелени. Один из крупнейших городов мира, человеческий муравейник, а в нем повсюду (кроме Ист-энда, о котором речь дальше) зелень, садики у каждого дома и парки, парки...

Три часа назад самолет поднялся с заснеженного январского Шереметьевского аэродрома, а в Лондоне встретили ровные зеленеющие, никогда не вянущие газоны и лужайки. Они аккуратно подстрижены, за ними следят, по ним можно ходить. Американский гость спросил англичанина, как удается сохранять круглый год такую ровную, вечнозеленую траву. Англичанин ответил:

— Тут нет никакого секрета. Просто вот уже четыреста лет как мы ее аккуратно подстригаем...

«Очень странно: человек, очевидно, не считается здесь хищным животным. Здесь не держатся того мрачного мнения, что под его копытами трава не растет. Он имеет здесь право ходить по траве, как русалка или крупный землевладелец».

(Карел Чапек, «Английские письма»)

Парк есть почти в каждом районе. Около дома, где я жил, находится Голланд-парк. Войдешь в него и забудешь, что рядом гудит огромный город, носятся машины, стоит транспортный смрад. Тенистые аллеи, павлины распустили хвосты, бегают белки, на лужайках сидят мамаши с детьми и вяжут. Тихо, как в лесу.

Батерси — большой парк на берегу Темзы. Здесь шумнее — на его территории находится «луна-парк» с аттракционами, колесами обозрения, тирами, американскими горками. Весной здесь проходит карнавал. На лужайках скульпторы в живописном беспорядке ставят свои произведения. Кое-где работы знаменитого английского скульптора Генри Мора.

Правда, художнику В. Такеру не повезло. Он выставил в Батерси-парке трехметровую абстрактную скульптуру. Она состояла из трех прямоугольников, слегка наклоненных друг к другу, и двух шпилей наверху. Такер назвал произведение «Феб». Английские посетители парков любят порядок. Никогда и нигде они не сорвут цветка, не сломают ветки дерева, не бросят в парке бумажку или окурок. Посмотрев на скульптуру, они возмутились, решив, что хулиганы (наверное, иностранцы!) согнули элементы художественного произведения. Они аккуратненько выпрямили прямоугольники, поставив их вертикально.

Такер пришел на следующий день и схватился за голову: испорчен весь замысел, погибла идея! Он снова наклонил прямоугольники как полагалось. К утру дисциплинированные посетители опять навели порядок, поставив скульптуру «по-человечески». В ответ на протест Такера департамент паркового хозяйства столицы писал ему: «Похоже, что посетители действовали из лучших побуждений. К сожалению, они были до некоторой степени введены в заблуждение самой скульптурой». Разгневанный Такер убрал творение из парка.

Ричмонд-парк. Да разве его можно назвать парком, если нужно полдня, чтобы обойти его по периметру. Здесь и рощи, и открытые поля, где бродят стада оленей. «Осторожно — олени!» — предупреждают надписи мотористов, которым разрешается ездить по дорогам парка.

Кью-гарденс — ботанический сад с замечательным розарием и оранжереями, зарослями бамбука и березовыми рощами, озерами и рододендроновыми аллеями. Здесь все цветет и благоухает, искрится вся палитра природы.

И конечно, Гайд-парк — в самом-самом центре английской столицы. Благодаря тому, что можно ходить, сидеть и лежать на траве, здесь нет толкучки на аллеях, хотя в воскресенье отдыхают тысячи лондонцев. По извилистому пруду — Серпантину — скользят лодки. В чашу бьющего фонтана люди бросают монеты на счастье. В конце месяца работники министерства общественных работ на полном серьезе собирают со дна монеты, подсчитывают и сдают в казну. Летом «доход» достигает 12—15 шиллингов, не считая иностранной валюты, зимой падает до 1—2 шиллингов. Не оскудевают резервы английского Банка.

Гайд-парк незаметно переходит в другой парк — Кенсингтон-гарденс. Здесь несколько десятилетий стоит дерево сказок. Его сучья, ветви, корни превращены искус-

ным художником в фигурки гномов, фей, белок, птичек, мышей и лягушек разных цветов. Жаль, что дерево начинает сохнуть и гибнет на глазах. Рядом в маленьком пруду дети (а еще чаще взрослые) пускают управляемые на расстоянии пароходики. Большие бородатые дяди запускают разноцветных змеек.

У другого пруда интересный памятник — герою любимой сказки английских ребят Питеру Пэну, мальчику, который никогда не взрослел. В таком памятнике есть что-то теплое и романтическое, оригинальное потому, что он поставлен не человеку, а литературному герою.

И рядом с ним безвкусицей выглядит похожий на свадебный торт с сахарными украшениями памятник, который воздвигла королева Виктория своему мужу, принцу Альберту. Можно любить мужа, но зачем вынуждать жителей столицы взирать год за годом на это вычурное, переукрашенное сооружение?

Нельзя покинуть Гайд-парк, не зайдя на Уголок ораторов. По субботам и воскресеньям здесь может выступить любой оратор и говорить что только ему заблагорассудится (нельзя лишь задевать королеву). Справочники по Лондону восхваляют Уголок как символ английской «свободы слова». На самом деле он давно превратился в трибуну для неуравновешенных чудаков, эксцентриков, религиозных шарлатанов. Выступают здесь и прогрессивные деятели, но это пустая трата энергии. Уголок превратился в еще один аттракцион для туристов и фотографов-любителей.

Я провел немало часов в этом цирке «свободного слова», наблюдая за ораторами и слушателями.

«Конец света близок! Беги от гнева божьего!» Этот плакат на шесте держит некий Роберт Колстон, пожилой мужчина в старом грязном пальто, с небритой физиономией. Его четыре сподвижника в лохмотьях, напоминающие спившихся бродяг, неуклюже пританцовывают, распевая псалмы. Колстон подбадривает их выкриком:

— Аллилуйя! Аллилуйя!

Ораторов десятка два, они стоят на «ящиках из-под мыла», как именуют их самодельные трибуны, на стремянках. Вокруг небольшая толпа слушателей, которые задают вопросы, вступают в спор, бросают реплики и не стесняются в выражениях, когда хотят сказать, что́ они думают о самом ораторе.

На ящике немолодая женщина в модной шляпке. Она американка и защищает идею «всемирного правительства». В Лондон, по-моему, она приехала зря. Англичане не любят американцев, кичащихся своим образом жизни. Как писал один из моих любимых английских писателей Г. К. Честертон, «у настоящего американца никаких серьезных недостатков нет, беда лишь в том, что идеальный американец совершенно ужасен».

— Вы должны признать, — кричит разгорячившаяся ораторша, не чувствуя настроения толпы,— что США представляют в наше время лучший образец демократии!

Она переборщила, и слушатели заглушают ее криками:

— А где подстрелили президента и его брата?

— Ехала бы ты, тетка, обратно и восхваляла свою демократию перед американскими неграми!

Снова религиозные проповедники: методисты, баптисты, адвентисты, католики. Иезуит в сутане елейным голосом защищает папскую энциклику, осуждающую противозачаточную «пилюлю». Молодой, похожий на приказчика, с прилизанным пробором евангелист призывает слушателей «познать Христа» и покаяться в грехах.

— Сейчас перед вами выступит мой друг Джон, который спас свою душу и возвратился в лоно церкви.

На ящик поднимается здоровенный парень. Он заунывным голосом, по-видимому повторяя эти слова уже в сотый и тысячный раз, начинает заученный монолог:

— Кто-то постучал в дверь моего дома. Я вышел на порог и неожиданно ощутил, что меня охватила благодать...— Оратор поковырял ногтем в зубах, сплюнул и продолжал: — Я понял, что меня осенил господь, и с тех пор я перестал грешить и стал жить по библии...

Хорошо одетый мужчина лет пятидесяти несет политическую ахинею:

— Почему Англия переживает такой экономический кризис? Только потому,— оратор переходит на конфиденциальный театральный шепот,— что наши лейбористские лидеры Вильсон и другие — это коммунисты! — Оратор взвизгивает от удовольствия,

что открыл такую «тайну».— Да, они замаскировались под лейбористов, а на самом деле они агенты мирового коммунизма!

Из толпы раздается скептический голос:

— Тогда они действительно здорово замаскировались.

В толпе смеются.

Как я сказал, здесь иногда защищают в словесных баталиях свои права деятели профсоюзов, пацифисты, противники расовой дискриминации. Около сорока лет подряд почти каждую неделю здесь выступает левый лейборист священник-методист лорд Сопер. Он горячо поддерживал борьбу вьетнамского народа, клеймит апартеид, гонку вооружений.

Рядом с упомянутым иезуитом я видел седого мужчину, который спокойно, с неумолимой логикой защищал идеи атеизма, разделывая по косточкам Библию с ее несуразностями.

Вопрос о том, кто прислушивается к словам ораторов Уголка. Никто. Какое влияние оказывают их речи на жизнь страны? Никакого. Больше половины слушателей — это туристы или завсегдатаи, любители поспорить после пропущенных в пабе кружек пива. Мимоходом заглядывают лондонцы, гулявшие по зеленым полям Гайд-парка, послушают, вставят пару замечаний и отправятся домой, к очагу и неизменному «телли» — телевизору. Никто не может себе представить, чтобы премьер-министр или члены его кабинета прислушались к тому, что говорится в Гайд-парке. Но Уголок хранят как некую витрину демократии, его даже охраняют.

Я подошел к бродившим по Уголку двум полицейским, лондонским бобби,— один был коренастый, другой высокий, худощавый.

— Я иностранный журналист,— представился я.— Слушаете ли вы, что говорят ораторы, и вмешиваетесь ли, если произносятся крамольные речи?

— Нет, сэр, мы не имеем права вмешиваться, что бы ни говорил оратор. Мы только следим за порядком. У нас, знаете, свобода слова!

Я было растрогался. Но на следующее утро прочитал в газетах, что полиция арестовала парня, продававшего у Уголка ораторов газету «Морнинг стар», и конфисковала листовки с протестом против войны во Вьетнаме. Возможно, коренастый бобби волочил продавца газеты в «черную Марию», а худощавый вырывал из рук пацифиста антивоенные листовки.

Так, за чертой Уголка ораторов кончается пресловутая «свобода слова» буржуазной Англии.

...Рядом с Уголком ораторов, на пересечении Бэйсуотер и Эджуэр-роад, в мостовую вделана металлическая плита. На ней написано, что когда-то здесь стояло Тайбернское дерево, на котором вешали преступников. Их душили веревочной петлей. Сейчас жертвой стала свобода слова. Ее загнали на Уголок Гайд-парка легализованным безудержным пустословием; ее душат неподалеку, на узенькой Флит-стрит, руками буржуазных журналистов, в студиях радио и телевидения, где опытные специалисты расправляются с ней приемами модернизированной инквизиции и скальпелем нечистоплотного хирурга...

Гуляя по Гайд-парку, не забывайте об одном: вас могут в любой момент попросить покинуть парк. На практике, говорят, этого никогда не случалось, но юридически это возможно. Дело в том, что Гайд-парк принадлежит королеве, и, согласно правилам парка, из него может быть удален любой человек, который неугоден хозяину (хозяйке) парка. Вот она, частная собственность.

Так кому же принадлежит Лондон? Советскому человеку кажется нелепой сама постановка такого вопроса. Конечно, Англия — страна буржуазная, и, казалось бы, городом, его землей владеет Совет Большого Лондона, то есть столичный муниципалитет. Ничего подобного. Лондон не принадлежит Лондону, не принадлежит он и лондонцам. Он частная собственность крупных землевладельцев, торговых магнатов, именитых аристократов.

Взглянем на план Лондона. В самом центре — фешенебельный район миллионеров, Мэйфер. Он принадлежит герцогу Вестминстерскому. По его земле проходят богатые улицы Пикадилли и Бонд-стрит. Ему же принадлежит район Белгравия, где находятся 28 иностранных посольств.

Это здесь, в Мэйфер, «улица миллионеров» — Парк-лейн. Поселиться на ней не по карману и крупным бизнесменам, это заповедник магнатов. На Парк-лейн расположены лучшие отели, например «Дорчестер-отель». В нем богачи и их организации устраивают банкеты и рауты.

Вот меню одного из таких банкетов: холодная лососина по-парижски, зеленый соус, винегрет из огурцов, пулярка под ароматным соусом, плов по-турецки, зеленый горошек в масле, клубника со сливками, жемчужные бисквиты, кофе, коньяк, ликеры, сигары.

Можно было бы не утруждать читателей перечислением этих блюд, если бы банкет не был устроен в связи с тем, что на нем видный политический деятель сделал доклад на тему «Мировой продовольственный кризис, голод и меры борьбы с ним». Ешь ананасы, рябчиков жуй...

Семья лорда Портмэна владеет кварталом Лондона, где расположены крупнейшие магазины, торговая улица Оксфорд-стрит и четыре площади города.

Лорд Кадоган — собственник района Челси, заселенного интеллигенцией, артистами и художниками. Лорд сам решает, что будет строиться в «его» районе, и говорит о том, что хочет оставить своим внукам благоустроенный Челси.

«Хозяева» Лондона ведут активную куплю-продажу. Кажется невероятным, что человек может продать, скажем, площадь, пару кварталов или целую улицу многомиллионного города. Но вот миллионер Эллерман запросто купил в личную собственность всю улицу Грейт Портлэнд-стрит и кусок Оксфорд-стрит у прогоревшего аристократа.

Не отстает и англиканская церковь, владеющая с незапамятных времен землей, в том числе в Лондоне. Управление церковными землями имело в 1966 году капитал в 336 миллионов фунтов. В его руках около 20 тысяч домов и целые кварталы центрального Лондона. Церковь ведет бурную деятельность по скупке и продаже земли в городе и не стесняется тем, что в ее владении находятся участки Ист-Энда с беднейшими кварталами, где она из года в год повышает арендную плату.

К земельным китам принадлежит и королевская семья, владеющая в Лондоне парками и такими улицами, как Риджент-стрит... Но на смену уже приходят новые богачи, фабриканты и торговцы, агенты по скупке земель и биржевые спекулянты, рвущие на куски огромный Лондон.

Лондон резко разделен на районы по классовому признаку. Рабочий никогда не сможет поселиться в Кенсингтоне, Мэйфере или Белгравии — этого не позволят его средства. Но преуспевающий делец или финансист, в свою очередь, не станет искать жилища в Тауэр-хэмлетс, на Собачьем острове или в другом рабочем районе Ист-энда. Английский интеллигент тоже не будет искать квартиру в Мэйфере — дороговато, но не станет селиться и на Собачьем острове. Таким образом, каждый знает «свой шесток». Никаких ограничений или запретов жить там, где вам хочется, конечно, нет. Ограничение одно — деньги. Они и определяют статус лондонца, подсказывают, где ему надлежит иметь квартиру или дом.

Кстати, об Ист-энде (то есть Восточной стороне) Лондона.

Это обширные неблагоустроенные рабочие районы, тянущиеся вплоть до доков на Темзе. Иногда их именуют «трущобами Лондона». Будем справедливы: трущоб в полном смысле этого слова в Лондоне уже нет (хотя они еще есть в Глазго, Манчестере и в ряде других городов). За последние годы районные муниципалитеты Ист-энда построили немало жилых домов. Но есть еще узкие темные улочки, где ветер носит грязь и обрывки газет, где жилые дома чередуются с серыми заборами портовых складов.

Я говорил о зелени Лондона; так вот, ее нет в Ист-энде. Нет садов, нет парков. Не верьте названиям Модная улица, Цветочная улица, переулок Лилий — это пустые, мрачные закоулки с ветхими черными стенами домов, с лавочниками, торгующими дешевым хламом.

В этой связи хочется рассказать об одном телевизионном фильме, который привел в смятение Англию,— «Кэти, вернись домой».

Кэти и ее муж Редж — молодая рабочая чета. У них двое детей — четырехлетний мальчик и грудной младенец. После несчастного случая на производстве Редж остался без работы. Он не мог уплатить за квартиру и был выброшен на улицу.

Полные энергии, молодые Кэти и Редж не унывали. С детской коляской они бродили по улицам, но домовладельцы не пускают жильцов с детьми. Семья находит пустырь, где стоят старые «караваны» — большие прицепы к автомашинам, в которых летом путешествуют многие англичане. Группа «почетных» граждан решила изгнать незаконных «квартиросъемщиков», объявив их бродягами. В «караване» Реджа и Кэти хулиганы выбили стекла, а затем подожгли.

Семья разбивает шатер в районе городских трущоб. Под холодными дождями жить становится невмоготу. Муниципальные власти предлагают Реджу поселить жену и детей в городское «общежитие».

В эти «общежития» принимают бездомных женщин с детьми, но в них закрыт доступ мужчинам. Месяцами отцы не могут повидать детей или побыть с женами.

Кэти дали отдельную комнату, но... на три месяца. За это время Редж нашел работу на строительстве, но жить все же негде. Начинают ослабевать семейные узы разлученных супругов. Прошло три месяца, и Кэти переводят в комнату, где живут еще десять женщин с детьми. Кончился и этот срок, и представители социального надзора предлагают Кэти последний шаг: ее дети будут помещены в приют, а она может убираться на улицу. Кэти узнает, что Редж отошел от нее, по-видимому всерьез, и даже не платит за содержание семьи в «общежитии».

Последний эпизод фильма: Кэти с детьми сидит на скамье грязного зала ожидания на вокзале. Мимо проходят тысячи людей, уходят поезда, но никому нет дела до гибнущей женщины. Впрочем, за ее спиной принято трагическое решение. Когда она укладывает младенца спать на скамью, ее окружают представители социального надзора. Двое держат за руки сопротивляющуюся женщину, другие вырывают у нее детей и насильно увозят их прочь в приют. Рыдающая, обезумевшая Кэти сидит на вокзале, не замечая ни поездов, ни людского потока...

На телевизионной студии состоялось общественное обсуждение фильма. Один за другим зрители рассказывали, какова участь бездомных тружеников в Англии. Один из них обошел около ста агентств, сдающих квартиры, но никто не согласился предоставить ему жилье, узнав, что его жена ждет ребенка. Люди рассказывали, что жильцов муниципальных, то есть государственных, домов беспощадно выгоняют на улицу за несвоевременный взнос квартплаты или за то, что у них есть «незаконный» ребенок.

Представители властей доказывали, что фильм, мол, «преувеличивает» бедствие, но им пришлось признать, что только в Лондоне 200 тысяч бездомных или людей, не имеющих постоянного пристанища. За один год четыре тысячи детей по решению судов были насильно отняты у родителей только потому, что отцу или матери негде жить.

Далеко не все англичане мирятся с социальной несправедливостью. Нет, я наблюдал и эпизоды борьбы против произвола домовладельцев.

...Кэмелфорд-роад — грязная улица с обветшалыми домами, которые давно никто не ремонтировал. Говорили, что лет через шесть их должны снести. Но люди продолжали ютиться даже в подвалах и на чердаках. Улица эта не пригород, не окраина, она расположена недалеко от центра Лондона.

Дом № 7 по этой улице, которую я посетил, выглядел необычно. Он был завешан плакатами: «Муниципалитет не помогает этой семье, а вы помогаете ей?», «Лондон принадлежит миллионам, а не миллионерам!», «Эта семья будет жить здесь, и мы будем бороться за справедливость!» У здания стоял пикет: трое мужчин и девушка. Из окон второго этажа выглядывала женщина и ребятишки.

Здесь действовала так называемая «ассоциация скваттеров» (скваттером, согласно словарю, именуется человек, который селится на чужой земле или в не принадлежащем ему доме). Организация выявляет дома и квартиры, которые пустуют или за которые хозяева запрашивают непомерную арендную плату, и переселяют туда бездомные или ютящиеся в трущобах семьи.

Как-то в Восточном Лондоне члены ассоциации захватили частный пустующий дом и предоставили его бедствовавшим семьям. Полиция, вызванная домохозяином, силой вынудила скваттеров отступить.

На Кэмелфорд-роад обстановка сложилась иная. Захват дома № 7 вызвал всеобщее одобрение общественности и шумиху в печати. Ассоциация переселила в дом

вдову Мэгги О'Шэннон с двумя детьми, которая жила в темном подвале. Через день туда же переехал рабочий Мэтьюс с женой и тремя детьми, прозябавший на сыром чердаке.

Дом принадлежал муниципалитету. Так что на этот раз ассоциация вступила в конфликт с самим государством. На помощь двум семьям пришли почти все обитатели улицы. Вместе с членами ассоциации они пикетировали дом, чтобы защитить своих подопечных от возможного налета полиции.

Пикетчики рассказывали мне, что муниципалитет не решается принять суровые меры по выселению этих семей, так как весь Лондон следил по печати за событиями на Кэмелфорд-роад. Ассоциация внесла в лондонский муниципалитет квартирную плату от имени этих семей, но власти ее не приняли.

Мэгги О'Шэннон заявила:

— Мы останемся в этом доме, что бы ни случилось. Здесь хотя бы сухо и тепло.

В комнате О'Шэннон установили микрофон, через который она обращалась к жителям района за поддержкой. Соседи и пикетчики закупали для этих семей продовольствие и все необходимое.

Когда шум и сенсация стихли, власти все же выселили обе семьи, хотя и предоставили им жилье в другом месте.

Совет Большого Лондона не может помешать уничтожению пригодных для жилья домов или строительству новых зданий там, где они не очень нужны. Земля не принадлежит ему.

Я беседовал с одним из деятелей муниципалитета лондонского района Ламбет, который ездил в СССР, был гостем Москворецкого района.

— Мы делились своим опытом,—рассказывал он,—с работниками Москворецкого Совета, беседовали о наших проблемах и достижениях. Но больше всего я завидовал одному преимуществу вашей системы — москворецким властям не надо думать о покупке земли. А мы должны выискивать тысячи фунтов, чтобы заплатить землевладельцу за небольшой участок, где мы хотели бы построить школу.

То же говорил мне и Солли Кей, член муниципалитета района Тауэр-хэмлетс:

— Вся программа муниципального строительства зависит от наличия средств на покупку земли. Так, например, мы хотели купить пол-акра (0,2 гектара) земли у автомобильной компании, которая держала там старый гараж. Узнав, что муниципалитету нужен участок, она запросила сто двадцать пять тысяч фунтов! Кроме того, было необходимо оплатить компенсацию за «нарушение деловой деятельности», хотя в гараже стояла одна машина и работал только сторож.

Вот любопытная история лондонского тридцатиэтажного небоскреба, именуемого «Сентр пойнт», то есть «Центральная точка». Совет Большого Лондона намеревался выпрямить здесь улицы и расширить площадь Сэнт-Джайлс-сэркас. Владельцы земли заломили такую цену, что городские власти только развели руками. Тогда в Совет пришел миллионер, владелец строительной компании Гарри Хаймс. Он спросил:

— Говорят, у вас затруднения? Я могу вам помочь.

Хаймс сказал, что он купит землю и отдаст ее городу при условии, что ему разрешат занять прилегающий к площади небольшой участок. Он вынул из кармана полмиллиона фунтов, заплатил владельцам земли, и Совет начал дорожное строительство.

Рядом с площадью этаж за этажом Хаймс воздвигал невиданное в столице здание «Сентр пойнт», которое он отвел под учреждения. Когда подсчитали, что получил бы лондонский Совет, если бы он сам построил «Сентр пойнт», выяснилось, что он подарил «щедрому» Хаймсу ни много ни мало — 12,9 миллиона фунтов.

Строительство в нашей Москве идет так, чтобы жители каждого микрорайона имели под рукой все необходимое — аптеку и библиотеку, продовольственные и книжные магазины и т. д.

Англичане берегут свою изоляцию и покой. Они стараются, чтобы торговля и сфера услуг были сосредоточены на одной улице, подальше от их жилья. Обычно такая улица в каждом районе называется «хай-стрит» — нечто вроде «главная улица». Случается, что бродишь по жилым кварталам, но так и не найдешь, где бы перекусить или купить пачку сигарет.

В Англии зачастую адрес определяет общественное положение и профессию человека. «Он живет на Парк-лейн» — этим все сказано. «Этот врач принимает на Харли-стрит» — значит, что врач знаменит, опытен и уважаем.

Действительно, мечта каждого врача — когда-нибудь поселиться на Харли-стрит и начать там свою практику. Тогда ему будут и платить намного больше и его репутация будет иной. Человек шьет костюмы на Савиль-роу или в Барлингтон-Аркейд — значит он состоятелен и прикасается к высшему обществу. Если вы сшили там костюм, а второй раз придете лет через двадцать, то портной найдет вашу фамилию в своих архивах и лишь проверит, не изменились ли ваши габариты. За мебелью или обоями вы непременно поедете на Тотнемкорт-роад, где и выбор больше и качество получше.

Нотариусы сгрудились на Линкольн-Инн-Филдс, букинисты — на Чаринг-Кросс-роад, редакции газет — на Флит-стрит, театры — вокруг Пикадилли-сэркас, лучшие кинотеатры — на Лестер-скуэр.

Поэтому в жилых или «резидентских» кварталах, как правило, тихо и мертво, и самая популярная фигура — это англичанин или англичанка, выводящие на прогулку своих собачек.

Собаки в Лондоне — это общественный бич. Улицы, где расположены жилые дома, загажены до неприличия. Известный английский писатель Алан Силлитоу писал:

«У них небольшой домик в Королевском округе Кенсингтон. Округ собачьего дерьма, как я его называю. Нигде я не видел столько грязи от собак, как здесь на тротуарах. Только выйдешь из такси, и — шлеп! — прямо в грязь. Но в конце концов это королевская грязь, так что чувствуешь себя осчастливленным и соскребаешь ее у порога...»

Поскольку я тоже жил в Кенсингтоне, я могу подтвердить наблюдения Силлитоу. Не знаю, что подействовало на власти Кенсингтонского округа, но в 1972 году они открыли... уборную для собак. Этого не было и в Клошмерле! Открытие проводилось торжественно, присутствовали члены муниципалитета и даже герцогиня Сэнт-Олбанская со своей аристократической собачкой Муджи. Торжество омрачила демонстрация жителей бедных районов Ист-энда, которые несли плакаты: «Молоко детям, а не уборные для собак!» Это произошло в момент, когда консервативное правительство сократило ассигнования на бесплатное молоко школьникам.

Англичане не мыслят жизни без собак. Не дай бог покалечить собачку машиной — закон неумолим: водитель обязан тут же ехать в полицейский участок, сообщить о своем «преступлении» и понести суровое наказание.

Нет для меня ничего приятнее, чем бродить по незнакомому городу без особой цели, впитывать его атмосферу, открывать каждый раз что-нибудь новое. Я уже говорил, что улицы здесь однообразны. Даже крыльцо и палисадник словно копируют своих соседей в шеренге одинаковых домов. Иной раз думаешь: не был ли я здесь раньше, не ходил ли я уже по этой улице? Но нет, не ходил, просто за углом тянется такая же удивительно похожая улица. Однообразны названия улиц. Вокруг меня были: Аддисон-мьюс, Аддисон-роад, Аддисон-парк-роад, Аддисон-авеню, Аддисон-кресент, Аддисон-лейн, Аппер-Аддисон-гарденс, Лоуер-Аддисон-гарденс и т. д. Нумерация домов самая неожиданная. Иногда четные идут по одной стороне, нечетные — по другой, как и везде в мире. Но иной раз номера идут подряд по одной стороне, затем «заворачивают» и продолжаются по другой стороне в обратном порядке. Очень часто вместо номера видишь только названия домов: «Уютный уголок», «Садовый дворец», «Старый особняк» и тому подобное.

И все же нет-нет да и встретит тебя неожиданность. Вот здесь жил Оскар Уайлд, как гласит мемориальная доска; тут находится старинная лавочка сувениров: хозяин утверждает, что это и есть «Лавка древностей» Чарльза Диккенса.

В северо-западной части Лондона есть холм, на котором несколько лет назад поставили небольшой памятник... коту. Объясню, в чем дело.

По рассказам (или преданиям), жил в Лондоне бедный мальчик Дик Уиттингтон. Жить стало невмоготу, и парень с котомкой за плечами и любимым котом в руках отправился искать счастья. Дойдя до пригородного холма, он сел отдохнуть. И вдруг до

него донесся звон колоколов церкви Боу в центре Лондона. Колокола говорили ему: вернись, Дик Уиттингтон, трижды мэр Лондона!

Дик возвратился в город. Какой-то богатый восточный монарх искал кота, который переловил бы в его стране расплодившихся мышей. Дик, случайно узнав об этом, предложил своего кота, который так хорошо поработал в чужой стране, что ее властитель озолотил Уиттингтона. Вскоре стал богатым купцом, а затем и мэром Лондона.

Сказка есть сказка, ее знает каждый английский школьник. Но интересно, что, согласно архивам, лондонским мэром действительно трижды был некий Ричард (Дик — это уменьшительное от Ричарда) Уиттингтон. Что здесь ложь и что быль, собственно говоря, уже не имеет значения.

Как и многие посетители Лондона, проезжая по улице Бэйкер-стрит, я невольно искал дом под № 221-В. Ведь в нем, по словам Конан Дойля, жил знаменитый Шерлок Холмс. Писатель придумал номер дома — его нет и не было на Бэйкер-стрит.

Но «Таймс» рассказывала как о курьезе, что многие люди все еще верят в существование Шерлока Холмса, продолжая посылать письма по упомянутому адресу. Расхлебывать литературно-историческое недоразумение приходится работникам Аббейского национального строительного общества, находящегося в доме № 221 по Бэйкер-стрит. С английской аккуратностью они отвечают на все письма, адресованные... Шерлоку Холмсу.

— Мы получаем, по крайней мере, одно письмо в неделю,— говорят они.— Кое-кто, особенно за границей, все еще верит, что Холмс существует.

Накопились сотни писем. Из Дублина писали: «Дорогой мистер Холмс. Два года назад исчез мой брат Фрэнк. Ирландская полиция не может найти его. Все надежды теперь на вас».

Работники строительной конторы терпеливо отвечают: «Мы очень сожалеем, но слухи о кончине мистера Шерлока Холмса подтвердились. Мы заверяем вас, что мистера Холмса больше нет в этом бренном мире».

Иногда почитателям Холмса сообщают, что если бы они внимательнее читали Конан Дойля, то убедились бы, что известному сыщику было бы сейчас примерно сто двадцать лет...

В моих глазах, глазах советского журналиста, «достопримечательностью» являются и кварталы, где ищут убежища так называемые «цветные» иммигранты, особенно вокруг Ноттинг-хилл-гейт и Килборн-стрит. Они еще не превратились в местные гарлемы, но очень близки к этому.

...Почтальон Кен Шеперд, британский подданный, четырнадцать лет назад приехал с Ямайки и поселился в Лондоне. Его жена Луиза работает акушеркой в больнице, трое детей ходят в школу. Накопив немного денег, Шеперд решил купить в рассрочку домик в пригороде Саут Норвуд. Хозяин дома дал согласие, Шеперд внес задаток и собирался переезжать.

Но улица Варнклифф-гарденс, где находится этот дом, гудела, как улей.

— Рядом с нами будет жить негр? — шипели почтенные джентльмены и леди.— Не допустим!

Несколько семей, сложившись, срочно купили понравившийся Шеперду дом, хотя он и не был им нужен. Хозяин отказался от сделки с Шепердом.

Журналисты приперли к стенке одного из участников сделки, некоего Вильямса.

— Я отнюдь не расист,— беззастенчиво признался он.— Но если на нашей улице поселится хоть одна цветная семья, цена наших домов резко упадет. Никто их не купит, ибо улица перестанет быть белой.

Расовые предубеждения сомкнулись с чисто меркантильными соображениями частных собственников.

К чести некоторых обитателей Варнклифф-гарденс надо сказать, что они возмутились. Живущая там г-жа Доддс заявила, что «это позорное явление. Я была бы очень довольна, если бы мои детишки играли с детьми Шеперда».

Газеты печатали письма женщин, которых лечит и за которыми ухаживает Луиза Шеперд. Семидесятилетняя г-жа Болдуин писала, что она была бы счастлива, «если бы Шеперды поселились рядом или в доме, где она живет. Луиза Шеперд прекрасная, добрая и отзывчивая женщина».

Когда лондонское телевидение подробно рассказало об эпопее К. Шеперда, в студию сразу же позвонили 150 зрителей. Двое предложили немедленно продать дома Шеперду, но 148 заявили, что они... поступили бы так же, как «белые» обитатели Варнклифф-гарденс.

Оказывается, у агентов, продающих и сдающих внаем дома и квартиры, есть списки, в которых около многих домов и квартир сделаны чуть заметные пометки в виде крестика, галочки или точки. Они означают условия хозяина дома или квартиры: «Цветных просят не беспокоиться...» Не грубо, а вежливо — по-английски.

Не могу не сказать нескольких слов еще об одном районе Лондона — Сохо. Это злачное место, средоточие мелких иностранных ресторанов, стриптизов, лавок с порнографической литературой, кинотеатров, показывающих сексуальные фильмы, подпольных игорных домов, подозрительных «клубов». Здесь в узеньких улочках хозяйничают итальянцы, греки, турки, киприоты, иммигранты из других стран.

Около витрин стриптизов с фотографиями обнаженных девушек стоят мрачные зазывалы-вышибалы, которые упорно приглашают прохожих зайти в их «клуб». Иногда из дверей выбегают озабоченные, усталые «артистки» с чемоданчиками — это значит, что они кончили номер и спешат в другой «клуб», оттуда в третий и снова вкруговую, зарабатывая свои шиллинги.

Проституция в Англии официально запрещена, но она существует. В витринах газетных и табачных киосков — десятки маленьких объявлений, написанных от руки или на машинке: «Шейла. Знаменитая натурщица. Охотно принимает старых и новых друзей. Телефон...», «Только что прибыла восхитительная французская натурщица. Рыжая, некрашеная. Экзотический темперамент. Телефон...», «Красивая натурщица предлагает свои услуги. Готова на все. Телефон...» и т. п.

Так выглядит Сохо. Это не Монтекарло и не Лас Вегас, у него нет размаха. Он живет в серењком, дешевом разврате, на убогих, низкого пошиба развлечениях. В Сохо невесело, его атмосфера навевает уныние и тоску. Это грязный нарыв большого города.

Как и почему появилось Сохо в благопристойном, чуть-чуть пуританском Лондоне? Вероятнее всего, этот очаг разврата был своего рода отдушиной для тех, кто на людях, в обществе, и впрямь соблюдал пуританские обычаи, оставшиеся от времен Кромвеля. Лицемеры из так называемого высшего общества создали для себя этот запретный уголок и ссылались на то, что он, дескать, не английское порождение, а создание разных там иностранцев.

Нельзя сказать, чтобы англичане были добродетельнее, скажем, французов или итальянцев. Но в их характере всегда было больше ханжества и лицемерия. Французы в открытую говорят о «прелестях» Пигаля и Монмартра. Сдержанные англичане грешили молча, тайком, находя в темные ночи «удовольствие» в районах вроде Сохо.

Я сказал, что Сохо и подобные ему уголки — это тайное убежище «высшего» света. Английский рабочий в Сохо не ходит, этот район чужд его образу жизни.

В 1963 году Англию всколыхнул скандал с консервативным военным министром Джоном Профюмо, обличенным в связях с проститутками из Сохо. Газеты раскопали некую Кристину Килер, которая рассказала об оргиях с участием Профюмо и других людей из «высшего» света. Профюмо ушел в отставку, а через несколько лет газета «Ньюс оф Уорлд» заплатила Килер... 21 тысячу фунтов за ее скабрезные мемуары.

Надо было видеть, как всполошился «высший» свет и вступился в защиту лорда Профюмо. Консервативные газеты с умилением рассказывали, что Профюмо «исправился», что он занимается благотворительной деятельностью среди лондонской бедноты и чуть ли не приобрел ореол святого мученика.

Скажут, что случай с Профюмо единичен. Ничего подобного. В 1973 году во время облавы в Сохо полиция нашла список лиц, пользовавшихся сомнительным гостеприимством девицы по имени Бетти. Среди прочих лиц снова оказался видный консерватор — заместитель министра обороны лорд Лэмбтон, а также бывший лорд — хранитель печати граф Джеликоу.

Из этих эпизодов можно понять, кому служит убежищем район Сохо.

За последние годы в плотине лицемерия появились заметные бреши. Через них на страну выливается поток порнографии, и «наслаждение грехом» становится все бо-

лее открытым. Я не знаю, что породило это явление, которое стало чем-то обычным в соседней Скандинавии, но я наблюдал, как год за годом Англию — кино, театры, литературу — захлестывает эта грязь. И приезжающие парижане теперь восклицают: «О-ля-ля! Куда нашему Пигалю до лондонского Сохо!»

Издеваясь над порнографией, английские телевизионные журналисты Д. Форст и Э. Джей в своей книге «Англии — с любовью» писали, как кинотеатры, рекламирующие новые фильмы, словно соревнуются, чтобы доказать зрителю, что именно их фильм самый неприличный, порнографический:

«Итак, мы читаем: «Они вели себя, как примитивные звери, с обнаженной страстью впиваясь друг в друга когтями» — это фильм «Рожденная свободной»; «Рассказ о страшных пороках лондонских подростков, который потрясает вас!» — фильм «Оливер Твист»; «Невинная девушка в постели зверя» — сказка «Три медведя». И конечно, вы не найдете действительно невинного фильма, который и рекламировали бы, скажем, так же невинно: «Мы показываем на экране другую сторону жизни Сохо, странный мир, полный приличия и благопристойности. Сцены, которых вы никогда не видели — в том числе совершенно одетый итальянец, открывающий банку с сардинками; девушка, которая только что приехала из провинции и пишет письмо матери с просьбой прислать ей домашнего печенья; или школьный учитель и учительница, которые проводят вместе вечера за решением кроссвордов из «Дейли телеграф».

Да, этого и впрямь не увидишь.

...Я задумался над тем, что бы я ответил, если бы читатели спросили меня: Лондон — грязный город или чистый? Ответить трудно. Если сравнивать с нашей столицей, то с готовностью скажу, что Москва намного чище. Помню несколько писем в газетах англичан, которые возвращались из поездки в СССР. Они писали, что чистота московских улиц, метро, поездов их поразила, и призывали лондонцев учиться у москвичей.

В призывах нет недостатка и в Лондоне. Часто можно увидеть плакат: «Храните Британию опрятной!» И все же прохожие в центре Лондона спокойно бросают на тротуары прочитанные газеты, коробки, пакеты, окурки в расчете, что рано утром все будет убрано. Да, к утру город чист, и можно опять сорить Здесь нет противоречия с тем, что я писал о порядке в парках. На улицах, в метро, поездах можно сорить — потом уберут. Парк устроен для вашего отдыха — сорить в нем нельзя. Зато как вылизаны и приглажены палисадники у домов — ведь это личное, частное, твое собственное, как же за ним не следить.

Вспоминается мне и очень грязный Лондон. Это случилось, когда забастовали все уборщики мусора. Каждое утро они объезжают свои районы, выносят стоящие во дворах домов баки с мусором. Перед рождеством они приходят за праздничными чаевыми от жильцов дома. Это одна из самых низкооплачиваемых категорий английских рабочих.

И вот они потребовали повышения зарплаты и забастовали. Лондон представлял собой печальное зрелище. Рестораны, гостиницы, магазины выбрасывали горы мусора, бумаги и ящиков прямо на тротуары. Тысячи тонн отбросов скопились около рынков, где их окружали тучи мух и появившиеся внезапно крысы. Кое-где жители пытались сжигать накопившийся мусор, и пожарникам пришлось за ночь потушить до 300 самодельных костров. Муниципалитет роздал населению около двух миллионов целлофановых мешков для хранения мусора, но горы вонючих отбросов катастрофически росли, отравляя воздух города и создавая опасность эпидемий.

Характерно, что жители трудового Лондона проявили большую симпатию к борьбе уборщиков мусора. Во время опросов, проведенных газетами, они с негодованием говорили о мизерной оплате людей, занятых столь нужным и в то же время тяжелым и неприятным трудом. В одном из районов домохозяйки устроили баррикаду из мусорных баков и мешков с отбросами, чтобы преградить уличное движение и привлечь внимание местных властей к борьбе бастующих. В знак солидарности с уборщиками мусора во многих районах забастовали подметальщики улиц, гробовщики, сторожа публичных парков и другие коммунальные рабочие. Пикеты забастовщиков появились у королевского Букингемского дворца, парламента и резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, чтобы штрейкбрехеры не попытались вывезти мусор из этих зданий. Забастовка кончилась успехом рабочих.

Это было, конечно, исключительное явление, не типичное для повседневного Лондона.

...Читатель, я мог бы еще долго водить тебя по английской столице. Она велика, она самобытна и своеобразна. Интересны и сами лондонцы. Встаньте на рассвете и постарайтесь попасть на самый ранний поезд метро, который везет с южного берега Темзы тысячи женщин: они едут в Сити — убирать и чистить конторы банков, компаний, фирм до прихода служащих. Шум и гам в этом поезде, слышатся песни и такие соленые шутки, каких не услышишь в обыденное время. Попавший в поезд мужчина может оказаться прекрасной мишенью для громкогласных женщин, которых посылают по утрам рабочие кварталы...

Лицо города определяют люди, а не его достопримечательности. Все, что есть в Лондоне занимательного, отражает быт, мысли и характер английского народа.

«ДУ Ю СПИК ИНГЛИШ?»

Я люблю английский язык. Чем дольше я учу его и пользуюсь им, тем меньше, как мне кажется, я его знаю. Я прочитал сотни английских книг, годами жил среди англичан, перевел шесть-семь книг на русский язык, выступал с лекциями по всей Англии, а затем подошел к знакомому журналисту и в отчаянии спросил:

— Слушай, как же все-таки произносится слово — «директор» или «дайректор»?

Журналист раскрыл рот, чтобы ответить, затем закрыл его, ибо не нашел ответа. Попробовал шепотом произнести сначала так, потом иначе, покачал головой и сказал:

— А как тебе больше нравится? Понимаешь, по-английски можно произносить его и так и этак — ошибки не будет.

Мне нравится лаконичность английского языка, его выразительность, гибкость. Слова, как правило, недлинные, легко запоминающиеся. Помню, я попал на урок русского языка в университете города Лидс. Урок вел мой хороший знакомый Питер Фрэнк. Когда он написал на доске слово «усовершенствование», студенты тяжело все вместе вздохнули.

— Но это же нельзя произнести,— жаловались они.

Преподаватель расчленил слово мелом на составные элементы и принялся объяснять, где в нем запрятан корень...

Нравится мне слушать английских дикторов радио или телевидения с их чистым, ясным произношением. И всегда пугаешься, когда к микрофону подходят американцы. Боже мой, что же они сделали с чудесным английским языком! Не случайно в некоторых странах, в частности в Италии, теперь печатают американские романы с припиской: «Перевод с американского».

И конечно, когда приезжаешь в Англию, сразу же обнаруживаешь, что язык-то ты не знаешь — ты не понимаешь, тебя не понимают.

«Я ежедневно ездил до станции Ледбрук Гров. Подходит кондуктор, и я говорю: «Ледбрук Грэв». — «Э?» — «Ледбхук Гхэв!» — «...???Э?» — «Хевхув Хов!» — «А-а, Хевхув Хов!» — радуется кондуктор и дает мне билет до Ледбрук Грова. В жизни я этого не пойму!»

(Карел Чапек, «Английские письма»)

Я сидел в чужой гостиной в небольшой компании англичан. В разгар беседы сидевшая рядом красивая англичанка вдруг воскликнула:

— Мистер Орестов, не тяните меня за ногу!

Я ошалел, смутился и даже виновато взглянул на руки: одна держала сигарету, другая лежала на колене — моем собственном.

Откуда я мог тогда знать, что «тянуть за ногу» значит в английском языке «разыгрывать», «дурачить», «мистифицировать» и еще кое-что, не имеющее никакого отношения к ногам.

А знакомый джентльмен во время спора упрекнул меня:

— Не бегайте, пожалуйста, вокруг куста.

Поскольку в комнате, где шла беседа, естественно, не могло быть кустов, я понял, что опять поскользнулся на льду английского языка. Оказалось, это значит «не ходите вокруг да около» или, проще, «говорите прямо».

Адрес на конверте англичане пишут «задом наперед»: мой лондонский адрес по-нашему выглядел бы так:

Англия,
Лондон,
Аддисон-роад, 81,
м-ру О. Орестову.

Английский почтальон был бы шокирован и, конечно, пробормотал бы про себя: «О, эти иностранцы!» В Англии писать надо так:

М-ру О. Орестову,
81, Аддисон-роад,
Лондон,
Великобритания.

Наверное, потому, что английский язык гибок и пригоден для всякого непредвиденного случая, англичане почти не учат иностранные языки.

Много лет назад я с одним нашим дипломатом и шофером проезжал по югу Ирана. Это был дикий, горный и пустынный край, где было невыносимо жарко. Голые скалы, желтые пески, ущелья, а у нас на исходе бензин. Вдруг меж гор мы заметили небольшой поселок. Это были разработки английской нефтяной компании. Здесь жили два инженера-англичанина и иранские рабочие. Инженеры были любезны, дали нам бензина и предложили с ними пообедать. Из нас троих английский язык знал только я, дипломат говорил по-французски; оба мы говорили по-персидски. Стараясь наладить за столом общую беседу, я спросил инженеров, не говорят ли они по-французски или по-персидски. Один из них рассмеялся и сказал:

— Что вы! Зачем нам, англичанам, учить языки? Да мы к ним и не очень способны. Вот мы встретились здесь, в такой глуши, далеко от городов, где-то в дикой пустыне с тремя русскими, и что же? Один из них знает английский язык! Поверьте, я объездил полсвета, и везде обязательно находился человек, говорящий по-английски. К чему же нам тратить время на языки?

Это явление связано со своеобразным, говоря мягко, отношением англичан к иностранцам. Пожалуй, нигде в мире иностранцу не бывает так трудно сблизиться с аборигенами, как в Англии. Не скажу, что к ним относятся плохо. Нет, англичане слишком вежливы и любезны, чтобы обидеть иностранца, но он всегда остается лишь объектом любопытства, он чувствует недоверие к себе и в глазах даже умных, интеллигентных англичан всегда остается немного неполноценным существом.

В Англии вам обязательно скажут: посмотрите, как мы смеемся над собой — по радио, телевидению, в фильмах и пьесах, мы очень самокритичны... На самом деле это одна из форм снобизма — мы, дескать, можем позволить себе смеяться над собой, от нас не убудет, все равно мы самая цивилизованная нация в мире...

«Комплекс превосходства» англичан, не имеющий под собой никакого основания, иностранец ощущает постоянно. Его приглашают в гости, с ним спорят, соглашаются, но все же обращаются, как с неразумным ребенком. Снисходительно, свысока англичане глядят на всех: американцев (нувориши!), немцев, французов, русских и других. Чтобы меня не обвинили в предвзятом мнении, предоставлю слово англичанину, весьма уважаемому:

«Не было в мире страны, где так называемое преподавание истории преследовало бы другую цель, кроме как привить молодежи навыки националистического чванства и ненависти к иностранцам... Он всегда готов был утверждать, что английский ландшафт, английские полевые цветы, английские квалифицированные рабочие (когда их не сбивают с толку иностранные агитаторы), английская система верховой езды и английское мореходство, английское дворянство, английское земледелие, английская по-

литика, доброта и мудрость английского королевского дома, красота английских женщин, их несокрушимое душевное и телесное здоровье не только не могут быть превзойдены никаким другим народом, но даже не имеют себе равных во всем мире».

(Г. Уэллс, «Необходима осторожность»)

Сдается мне, что английский язык со всеми его особенностями наложил отпечаток на весь образ жизни англичан, на их манеры и поведение.

Образцом английской речи считается оксфордское или оксонианское произношение. При этом считается неприличной какая-либо жестикуляция — оратор не вправе помогать себе руками. Но вслушайтесь в речь оратора — и прежде всего вы спросите: он заика?

О нет, тогда вы ничего не поняли! Вся прелесть оксфордской манеры в том, чтобы запинаться посредине фразы и слегка как бы блеять: э-э-э... Не думайте, что оратор ищет ускользнувшее слово, что он потерял нить повествования. Ничего подобного: каждое «заиканье» продумано, для него уготовано особое место во фразе, им подчеркивается значительность следующего за ним слова или остроумный намек. Это своего рода манерничанье, обязательное для английского красноречия. Оратор говорит:

— Леди и джентльмены, разрешите поблагодарить вас за приглашение выступить с этой... э-э-э... почетной, высокой (мелкая лесть) трибуны. Я только что приплыл на ...э-э-э... крохотной лодочке (острит: он прибыл на океанском лайнере «Королева Елизавета») из-за Атлантического океана, чтобы вновь вступить на землю... э-э-э... старой доброй (патриотический порыв) Англии. Вы знаете, что я имею в виду...

Иностранцы жалуются, что англичане говорят на своем языке невнятно, почти не открывая рта. Это так, но помочь беде невозможно. В конце концов, это язык англичан и они говорят на нем так, как им нравится. Сами они друг друга прекрасно понимают.

Особенно труден для уха приезжего «кокни» — диалект лондонского трудового народа. По преданию, на «кокни» говорят в радиусе досягаемости звука колоколов церкви Сэнт-Мэри-Ле-Боу на улице Чипсайд, в Сити. Практически это весь Большой Лондон.

На «кокни» с вами говорят кондукторы автобусов, молочник, приносящий вам ежедневно «пинту», уборщики мусора, электрики, водопроводчики, слесари, проводящие ремонт в вашей квартире, любые прохожие к востоку от Сити.

Как-то во двор зашел рабочий, ремонтировавший тротуар на нашей улице, и что-то попросил, повторяя одно и то же слово. Я не понимал, а он смотрел на меня вытаращенными от удивления глазами, как на кретина. Прошло пять минут, прежде чем мы договорились с помощью жестов, и тогда выяснилось, что он повторял сравнительно распространенное слово «уотер» — «вода».

Один юморист, хорошо знающий Англию, писал, что после того, как он прожил в ней восемь лет, одна добрейшая леди сказала ему: «Вам грешно жаловаться. У вас чудесное произношение, без малейшего английского акцента».

Несколько слов о знаменитом английском «андерстэйтменте» — «недоговоренности»,— который свойствен языку всех классов и сословий. С нашим обычаем говорить прямо и откровенно, а иногда и безапелляционно, категорически речь англичанина кажется аморфной и неопределенной. Он не любит говорить «да» или «нет» и всегда найдет дополнительные слова, которые сгладили бы резкость суждения. Когда начальник увольняет подчиненного, он говорит (обязательно без гнева или раздражения):

— Я крайне сожалею, что за последнее время выполнение вами своих обязанностей не было таким же отличным и безукоризненным, как, скажем, год назад. Я боюсь, что вам было бы трудно в нынешних условиях нести такую тяжелую нагрузку, и я искренне надеюсь, что вы найдете в другом месте гораздо лучшее применение своим способностям. Мы все глубоко сожалеем, что вы будете отныне работать не у нас...

Все это можно было сказать кратко: вы уволены, так как работать стали отвратительно.

Живя долго в Англии, на вопрос, где находится такая-то улица, вы тоже не ответите двумя ясными словами, а невольно скажете:

— Боюсь, что это и есть улица, которую вы ищете.

Чего вы «боитесь», никому не известно.

«В Англии умеют преуменьшить даже самую страшную катастрофу. Если француз явится к званому обеду с опозданием на час просто потому, что он перепутал день, он целый вечер будет говорить об этом невероятном происшествии. Англичанин же, если он опоздает на несколько минут потому, что обрушилась крыша его дома, скажет, что его задержало маленькое недоразумение. Это одна из тысяч форм «андерстэйтмент», столь милого сердцу британца».

(П. Данинос, «Записки майора Томпсона»)

В романе Дж. Херси «Возлюбивший войну», когда самолет героя шел на одном двигателе и должен был грохнуться в море, штурман оставался до конца настоящим англичанином и спокойно говорил пилоту: «Сэр, вам не кажется, что вы отклоняетесь от установленного курса?..»

Таким образом, между английским языком и легендарной английской вежливостью существует тесная связь. Влияет ли специфика языка и упомянутый «андерстэйтмент» на поведение, или же англичане, будучи приучены к вежливости, выражают ее в языковых формах, судить не берусь.

Многие говорили мне, что английская вежливость нечто формальное, механическое, что, употребляя стандартные выражения и фразы, они, мол, не думают об их содержании. В этом есть доля истины, но я не вижу в том ничего плохого.

В магазине вы купили батон хлеба и фунт масла, килограммов еще не знают в Англии, и, получив пакет, говорите:

— Благодарю вас.

И продавец отвечает:

— Что вы, сэр, это мы должны благодарить вас.

Я знаю, что эта фраза ему ничего не стоит, что он повторял ее механически много раз, но... я приду за хлебом и маслом опять к нему.

Такой же разговор происходит в автобусе. Я подаю кондуктору деньги и говорю:

— Билет до Оксфорд-стрит, пожалуйста.

Кондуктор, беря деньги:

— Спасибо.

Я беру билет:

— Благодарю вас.

Кондуктор, отдавая сдачу:

— Пожалуйста, два пенса, спасибо.

Я, получив сдачу:

— Спасибо.

Это не преувеличение, так происходит каждый раз. Можно говорить об автоматизме подобной вежливости, но как хорошо, если бы так было повсюду.

Внутри автобуса тихо: люди разговаривают вполголоса, чтобы не раздражать шумом других пассажиров. Если в лондонском автобусе вы услышите громкие голоса, смех, выкрики, то знайте: это иностранцы. Англичане в этих случаях морщатся и совсем замолкают. Это «шокинг»! И уж, конечно, никогда не услышишь что-нибудь вроде: «А еще в шляпе!»

Лишь один раз я нарвался на «грубость» на улице. Я подошел к старому продавцу газет, стоявшему на Пикадилли-сэркас, то есть в самом сердце Лондона, где день и ночь кипит и бурлит жизнь, и спросил, как пройти к Уайтхоллу. Старик был вне себя, что-то кричал и ворчал, и я понял, что ничего от него не узнаю. Вероятно, не меньше миллиона людей обращались к нему с подобными вопросами и он был не в силах отвечать.

Действительно, через некоторое время я увидел фотографию в газете, на ней был тот же старик — он поставил около себя большой плакат: «Не спрашивайте меня о том, где какая улица!»

Есть много других правил вежливости, которые не следует нарушать, будучи в Англии. Скажем, у нас встречаются двое знакомых. Один рассказывает, что он перешел на новую работу в такое-то учреждение. Нет ничего зазорного, если знакомый спросит:

— А какая у тебя теперь зарплата?

— Двести пятьдесят рублей.

— Ну что же, неплохо, у меня вот двести тридцать рублей.

Все это в порядке вещей. Но англичанин был бы шокирован. В Англии считается верхом неприличия интересоваться заработком другого человека — это одно из проявлений вмешательства в чужую жизнь.

У меня закрадывалось подозрение, не есть ли это отражение нравов капиталистического общества: кто знает, из чего складываются заработки бизнесмена, какая часть доходов получена прямым, а какая кривым путем. Возможно, так и зародилось общее правило не спрашивать, сколько зарабатывает твой собеседник.

Вежливость подразумевает любезность, в которой, надо честно признать, англичане никогда не отказывают. Если англичанин обещал сделать что-то для вас в четверг в 3 часа 30 минут дня, то вы можете быть уверены, что дело не будет отложено на пятницу, что он сделает его не в 3 часа 45 минут, а точно в назначенное время.

Мне случалось видеть искренне расстроенных и опечаленных англичан, когда они опаздывали в гости или на обед на пять минут. Извинениям не было конца.

Случилось так, что я уезжал из Лондона и не успел оплатить счет за электроэнергию. Возвратившись в пятницу во второй половине дня, я выяснил, что в квартире нет света, холодильник разморозился и т. д. Я позвонил в управление электросети Кенсингтонского района.

— Одну минуту, сэр, я сейчас проверю,— ответил молодой женский голос.

Через минуту (не две и не три) девушка взяла трубку:

— Очень сожалею, сэр, но боюсь, что мы были вынуждены выключить электричество за неуплату по счету.

— Что же мне делать? — молил я.— Сейчас четыре часа дня, через час вы кончаете работу, и я останусь без электричества и субботу и воскресенье!

— Ну что вы, сэр, если вы уплатите по счету в вашей районной приходной кассе управления, через полчаса мы включим ток. Запишите, пожалуйста, адрес кассы. Я надеюсь, что вы будете довольны, сэр, до свидания.

Я не очень верю заверениям бюрократов. Тут же я поехал в кассу, вручил чек на нужную сумму и спросил клерка, когда, по его мнению, я получу энергию.

— О, сэр, не беспокойтесь — вы получите ее немедленно.

Через пятнадцать минут я был дома и с радостью услышал урчание холодильника и включил помрачневший было телевизор.

К сожалению, английская вежливость и пунктуальность сочетаются с определенной долей формализма. В основе его воспитанное в каждом британце уважение к закону, правилу, инструкции.

Поэтому нередко от вежливости веет каким-то холодком и безразличием. У кого-то из иностранных авторов, писавших об Англии, было приведено примерно такое письмо чиновника:

«Дорогой сэр, помощник государственного секретаря выражает свое глубокое уважение и сожалеет, что он не может пересмотреть Ваше дело, и просит разрешить уведомить Вас, что если Вы не будете так добры покинуть эту страну в течение 24 часов, Вы будете высланы силой.

Ваш покорный слуга...»

Англичане, так хорошо воспринимающие и ценящие юмор, в официальных делах могут быть ужасными формалистами и буквоедами.

Кто-то зло подшутил над английским министерством финансов. 1 апреля (этот день в Англии называют «День всех дураков») неизвестный направил туда письмо с предложениями к государственному бюджету Великобритании. Письмо он подписал: «Роберт Бернс, Аллоуэй коттедж, Эр». (Как известно, это маленький домик знаменитого шотландского поэта Роберта Бернса, который сейчас стал всемирно известным музеем.) Бюрократическая машина министерства сработала четко. Письмо получено — значит, надо отвечать. И вот хранитель музея в Эре получил внушительный конверт, на котором, как положено, стоял штамп: «На службе ее величества». В письме говорилось: «Уважаемый мистер Бернс. Министр финансов просил меня поблагодарить Вас за Ваше письмо и сообщить, что, хотя он не может сейчас комментировать Ваши пред-

ложения, он будет иметь их в виду при составлении бюджета». Хранитель музея, истинный шотландец, заметил, что это могло, конечно, случиться только в Англии.

— У нас в Шотландии ни один серьезный человек не поверил бы письму, подписанному: «Вильям Шекспир, Стрэдфорд-на-Эйвоне».

Дело в том, что бюрократическая машина работает на серьезе, она должна быть бесстрастна и равнодушна, какое бы дело ни попало в ее крутящиеся колеса.

Владелец маньчжурского ресторана в Лондоне задумал рекламный трюк... пустить по улицам рикш, которые доставляли бы клиентов к ресторану. Он обратился за разрешением к управлению общественным транспортом. Ему ответили, что, поскольку рикши не имеют двигателей внутреннего сгорания, управление не может заниматься этим вопросом. Владелец обратился в полицейское управление. Оттуда пришло письмо с запросом о том, с какой скоростью движутся рикши и могут ли они двигаться задом наперед (очевидно, имелась в виду их способность давать задний ход). Пришлось идти за юридическим советом к видному адвокату. Он сказал, что разрешения не потребуется, если рикши будут бесплатные. Но покопавшись в фолиантах, он напомнил о существовании закона XVI века, гласящего, что в определенные часы в Лондоне запрещается движение «повозок, которые толкает или тянет человек», так как их шум мешает послеобеденному сну почтенных леди и джентльменов.

Рикши так и не появились в Лондоне...

Иногда бюрократические привычки приобретают просто комический характер.

...Палата лордов обсуждала вопрос о намечавшейся экспедиции ученых на подводных лодках в шотландском озере Лох-Несс, где, по укоренившемуся давно поверью, обитает неизвестное науке чудовище. Поднялся с места консерватор лорд Килмани и спросил, уверено ли правительство, что подводные лодки не покалечат и не ранят чудовище, если таковое будет обнаружено. (Я излагаю эти дебаты без прикрас.) Отвечал помощник министра по делам Шотландии. Участники экспедиции, заявил он, заверили полицию Шотландии, что операция подводных лодок не преследует никаких агрессивных целей.

Лорд Килмани не успокоился и потребовал заверений, что чудовище не будут обижать. Он спросил, не подпадает ли чудовище под действие закона 1876 года о предотвращении жестокого обращения с животными. Помощник министра пояснил, что ученые намерены применить духовое ружье, которое стреляет маленькими стрелками, позволяющими взять на анализ небольшой кусочек ткани кожного покрова животного. Что касается закона 1876 года, то о его применении можно будет говорить лишь после изучения характера чудовища, ибо действие закона распространяется только на позвоночных животных.

Не знаю, были ли на глазах у шотландских пэров слезы, но растроганный лорд Хоук возмутился.

— Как бы понравилось помощнику министра,— спросил он,— если бы стрелка духового ружья вырвала кусок его собственного кожного покрова?

Дремавший до этого виконт Сэнт-Дэвидс напомнил палате, что чудовище может оградить от неприятностей также закон, запрещающий владельцам всех видов транспортных средств «беспокоить и разгонять местный скот».

Высокоинтеллектуальные дебаты прервал лорд Массарин, сообщив палате, что, по полученным им только что сведениям, на берег острова Малл у берегов Шотландии море выбросило неизвестное «доисторическое чудовище» и что местная общественность глубоко взволнована происшествием. Лордов успокоили заверениями, что это был просто-напросто дохлый кит.

Постепенно лорды один за другим снова погружались в дремоту...

С группой советских коллег я отвечал на вопросы на большом сборище в городе Хемель-Хэмстед, на котором находился и мэр города. Спрашивали, как нам нравится Англия, ее обычаи и... английская вежливость. Я рассказал о происшедшем со мною инциденте.

Два месяца я ждал очереди на сдачу экзаменов на водительские права, и наконец мне было сообщено, что надлежит прибыть в город Севеноакс, в тридцати километрах от Лондона. Я попал в автодорожный затор и опоздал на три минуты. Инспектор вышел ко мне и сказал:

— Сэр, ай эм вери сори (я очень сожалею), но вы опоздали, и я, к величайшему сожалению, не смогу принять экзамен. Мне очень неприятно, но закон есть закон.

Он был любезен, спокоен и вежлив, но неумолим. Никакие уговоры и просьбы не действовали. Пришлось возвращаться и еще два месяца ждать очереди.

Я сказал собравшимся, что у нас, вероятнее всего, инспектор накричал бы на меня, напомнил, что у него есть и другие дела, может быть, произнес бы пару нелестных замечаний по поводу моей неаккуратности, а затем все же сказал бы:

— Ну ладно, садитесь за руль, поедем...

Предоставляю читателю самому решать, что лучше.

Мне рассказывали о другом случае: двое наших туристов поехали в Шотландию взглянуть на родину Вальтера Скотта. Они прибыли на три минуты после закрытия музея. Сторож был еще на месте (он жил тут же, в музее), но вежливо и спокойно ответил, что не может пустить гостей даже взглянуть на внутренность дома. Туристы объяснили, что они проделали огромный путь из СССР, затем через всю Англию, что у них больше никогда не будет возможности увидеть дом, где жил их любимый писатель. Сторож внимательно и с интересом слушал, сокрушенно кивал, сочувственно вздыхал, глубоко сожалел и, казалось, был не против того, чтобы поболтать об СССР. Уговоры и разговор с ним длились примерно полчаса — иными словами, туристы могли бы легко пробежаться по залам музея и уехать удовлетворенными. Но сторож думал иначе: я могу болтать в свободное время сколько угодно и с кем угодно, но я не могу нарушить инструкцию и пустить кого-либо в музей...

Закон в глазах англичан есть что-то неумолимое. И, наверное, любой из них был бы потрясен до глубины души, если б узнал о существовании народной поговорки «закон что дышло...». Над законом смеяться недозволено.

Уважение к закону в Англии таково, что все абсолютно убеждены в непогрешимости английской юридической системы. Укоренилась твердая вера, что английский суд — образец для всех народов и всех времен. Я не хочу подвергать сомнению честность английских судей, адвокатов, присяжных заседателей. Но они действуют в обществе буржуазном, на основании буржуазной законности, морали и буржуазных представлений о справедливости.

В 1963 году было совершено так называемое «великое ограбление» почтового поезда. Мало-помалу разбойников переловили, хотя деньги так и не удалось полностью найти. Один из них, Рональд Биггс, бежал из тюрьмы, и полиция несколько лет искала его по всему свету. Наконец Биггса выследили в Австралии. Полиция задержала его жену и детей, а сам бандит скрылся. Г-жа Биггс сетовала на то, что ее мужу досталась доля всего примерно в 100 тысяч фунтов, причем огромные суммы пришлось уплатить за пластическую операцию, изменившую лицо Биггса, а также за фальшивые паспорта, визы и другие документы. Она растрогала допрашивавших ее журналистов, сказав, что ей пришлось «даже» пойти работать, чтобы дополнить «заработки» мужа. Кончилось дело просто: буржуазные журналисты уплатили г-же Биггс ни много ни мало — 30 тысяч фунтов за право печатать ее воспоминания о «деятельности» мужа, которому в случае поимки грозило тридцать лет тюремного заключения. Итак, в дополнение к украденным 100 тысячам фунтов буржуазное общество (представленное частными владельцами журналов) предложило жене разбойника еще 30 тысяч, чтобы ей не было нужды... работать.

Тем временем в английском городе Крю в бедной квартирке ютился шестидесятичетырехлетний Джек Милс, бывший паровозный машинист, который вел почтовый поезд с миллионами фунтов. Бандиты, в том числе Биггс, жестоко избили его, а когда Милс пытался защитить своего кочегара, ударили его ломом по голове. Милс был полупарализован, с трудом говорил и не мог поднять трясущиеся руки. Милс получил ничтожную пенсию и был забыт обществом, в том числе и прессой — он ведь не представлял такую сенсацию, как словоохотливая жена Биггса. Возмущенные всей этой историей, английские железнодорожники собирали средства в помощь Милсу, чтобы хоть как-то облегчить его участь.

Около трех лет в Лондоне длился процесс миллионера Джона Блюма, владельца крупной фирмы стиральных машин. Блюм жил на широкую ногу, имел виллу на юге Франции, яхты, личные самолеты, устраивал дикие оргии и был окружен сонмом при-

хлебателей. В один прекрасный день фирма лопнула, и выяснилось, что бизнес Блюма был дутым, а сам он промотал около миллиона фунтов из денег акционеров. Десятки тысяч фунтов были истрачены на услуги адвокатов. Наконец суд закончился, и судья вынес приговор: год тюрьмы или уплата штрафа в 30 тысяч фунтов. Более того, судья признал незаурядные деловые способности Блюма и лишь запретил ему в течение пяти лет занимать посты директоров каких-либо фирм. Жулик был в восторге и заявил, что ему ничего не стоит уплатить наложенный штраф — видно, где-то были припрятаны немалые суммы. После суда Блюм немедленно отправился «отдыхать» на фешенебельный курорт в Карибском море. Вдохновленный литературными успехами г-жи Биггс, Блюм продал издательству свои мемуары, озаглавленные «Выколачивать прибыль — это не грех».

Вспоминается еще один случай помельче. В лондонских автобусах не разрешается стоять. Когда все места заняты, кондуктор загораживает вход, не пускает никого внутрь и просит выйти тех пассажиров, которые оказались на площадке.

Газета «Пипл» напечатала сердитое письмо некой г-жи Стоунбридж, которая писала, что мы, дескать, учим детей вежливости, а вот что получается. Ее сын-школьник сел на империал (то есть верх двухэтажного автобуса), но вскоре вошла старенькая леди, и мальчик вскочил, уступив ей место. Свободных мест не было, и парень остался в проходе. Кондуктор, поднявшийся наверх, чтобы получить деньги за проезд, усмотрел нарушение правил, остановил автобус и попросил мальчика сойти с него. Парень пытался объяснить, что произошло, и тогда кондуктор обвинил его в грубости, то есть в том, что он смел возражать старшему.

«Я приказала,— писала г-жа Стоунбридж,— своим сыновьям больше не уступать места никому, кроме женщин с грудными детьми. Теперь становится ясным, почему дети сидят в автобусе так, будто их приклеили к сиденьям, и не уступают места старшим».

Это уже похоже на бунт против «законности и порядка», не правда ли?

(Окончание следует)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ЯКИМЕНКО

★

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Методологические проблемы современной литературной критики

Литературная критика привлекает все большее внимание не только потому, что она «истолкователь» художественного произведения. Возрастает значение аналитического мышления. Способность критика, оставаясь в сфере искусства, размышлять, определять, оценивать приобретает особое значение для формирования эстетических вкусов и представлений широких читательских кругов. Критика — неотделимая часть литературы, но она же еще и наука.

Одна из важнейших целей советской литературной критики — понять смену идей, характеров в их отношении ко времени, выступать против утилитаризма в искусстве, против приспособления его к скоропреходящим потребностям одного дня, выступать решительно и бескомпромиссно против всего, что мешает движению вперед, задерживает осуществление высоких исторических целей, поставленных нашей партией и нашим народом.

Современность — емкое понятие. Оно душа искусства. Критик должен ответить себе, читателям, показать писателю, как и в чем соотносится сегодняшняя литература и современность. Он судит, изучает то, что не отстоялось еще ни во времени, ни в читательском восприятии. Тем большая его ответственность. Критик должен обладать даром историзма, которым владел Белинский. Историзм мышления — не только свойство таланта, но и качественная характеристика уровня миропонимания. Партийность критика выражается и в глубине историзма его мышления. Проницательность суждений критика может основываться только на строго научном фундаменте.

Вот почему такое значение приобретают принципы изучения, принципы подхода к оценке литературных произведений. Вот почему все чаще ставятся вопросы методологии литературной критики. На Всесоюзном совещании критиков много раз—и во вступительном слове В. Озерова, и в докладах Л. Новиченко, Б. Сучкова, и в других выступлениях — поднимались методологические проблемы современного литературоведения и литературной критики.

Методологическим проблемам придается все большее значение и при решении конкретных, существенных вопросов истории советской литературы и литературной критики. Они освещаются в работах В. Борщукова, А. Бушмина, Д. Лихачева, С. Машинского, Н. Шамоты и других исследователей.

Дискуссии и споры, которые развернулись вокруг определения сущности метода социалистического реализма, различных форм обобщения, характера стилевых поисков в современном искусстве, показывают, сколь необходимо четко определить исходные методологические принципы исследования и оценок.

Все отчетливее утверждаются принципы историзма и конкретного исследования, чуждые привнесенным догмам и наслоениям. В работах М. Храпченко, Л. Тимофеева, Б. Сучкова, Д. Маркова, Г. Ломидзе, В. Озерова, А. Метченко, М. Пархоменко, С. Петрова, А. Дымшица, А. Овчаренко, Ю. Барабаша, Л. Новиченко, В. Гусева, В. Иванова, В. Новикова, Н. Гея, А. Мясникова, Ю. Суровцева, А. Эльяшевича и других исследователей были поставлены важные вопросы эстетики социалистического реализма, вытекающие из того или иного понимания сущности и характера современного мирового литературного процесса. Продолжаются творческие споры, они будут идти и дальше; важно, чтобы

обсуждение выдвинутых проблем приобретало все более конструктивный характер.

Особое значение проблемам методологии придали новые, претендующие на научную точность методы исследования, связанные со структурализмом и семиотикой. В работах М. Храпченко, Л. Тимофеева, Ю. Барабаша, П. Палиевского и других исследователей раскрыта философская сущность, методологические принципы и возможные объекты изучения, доступные для этих методов.

Таким образом, само развитие литературной критики, характер тех отношений, которые складываются между литературной критикой и литературным процессом, требуют решения ряда неотложных методологических проблем.

Методологические проблемы литературной критики включают в себя два аспекта: теоретический и практический. Методология науки определяет и принципы исследования, принципы оценки тех или иных фактов и явлений, и практические цели предпринимаемых усилий. Прежде всего возникают вопросы о предмете критики, о различении субъекта и объекта исследования, о роли восприятия и трактовки для понимания явлений искусства.

Проблемы методологии становятся предметом обсуждения и в зарубежном литературоведении. Появился ряд работ, в которых определяется предмет литературной критики, освещаются принципы оценки художественного произведения.

Жорж Пуле, один из представителей французской «новой критики», выросшей, по ее же утверждениям, на основе творческой практики «нового романа», в своей книге «Критическое сознание» (Париж, 1971) считает, что «критик как бы дополняет произведение. Он придает ему совершенство и законченность. До того, как не сказано последнего слова критики, произведение остается незаконченным, оно как бы ожидает критика. От него, от степени его понимания и осознания зависит в конечном счете судьба произведения искусства». Жорж Пуле приводит в своей книге слова другого представителя «новой критики», Г. Башляра, который заявлял: «Если субъект постигается объективно, он больше не субъект. То, что является субъектом, должно субъективно переживаться мыслью, которая сама является субъектом».

Марксистско-ленинская критика отвергает такого рода субъективистские концепции, основанные на требовании слияния субъекта и объекта познания. Она разделяет познающий субъект и познаваемый объект потому, что исходит из понимания сложной обусловленности художественного произведения исторической действительностью. Взаимосвязи литературы и жизни необычайно сложны, они могут быть выявлены только при понимании того, что сама литературная критика есть производное литературы и жизни. Невозможно отграничить предмет исследования отношениями только критики и литературы, отношениями критика и писателя.

Мы часто повторяем, что критика — неотъемлемая часть литературы. Б. Бурсов не без вызова назвал свои статьи, опубликованные журналом «Звезда» в 1973 году, «Критика как литература». Статьи Бурсова умны, содержательны, написаны увлеченно. Он размышляет над тем, какой должна быть критика, которая могла бы быть не только частью литературы, но и сама стала бы в подлинном смысле литературой. Можно разделить и мысль Б. Бурсова о необходимости размышлений над самым предметом критики: «Критика перестала рассуждать о самой себе, рассуждая лишь о литературе. Не задумываясь о собственной природе, она утрачивает меру для определения как своих достоинств, так и недостатков. Вследствие этого нередко возводится как бы какая-то стена между литературной критикой и всей остальной литературой. В критике интерес к собственной природе явно приглушен». Во многом справедливые слова! Но вот когда Б. Бурсов пытается определить, в чем же «собственная природа критики», в чем ее «предмет», он допускает, на мой взгляд, одну существенную неточность. «Литературная критика остается самой собою, лишь содействуя литературе в познании того, какова есть природа человеческая,—утверждает Б. Бурсов,— и ей приходится начинать с того предмета, который осуществляет это познание, иными словами — с писателя. Вопрос в том, какими путями и способами она это делает».

Так ли это? Не надо понимать упрощенно Б. Бурсова, когда он говорит о писателе как начальном предмете, к которому обращается критика. Речь идет не только о личности, точнее, не столько о личности, а о понимании того, как происходит процесс познания и осмысления, об общности цели писателя и критика.

И все же, мне кажется, здесь есть ограничение предмета критики, с которым трудно согласиться. Если критика действительно один из родов литературы, часть литературы и сама литература, или, точнее, самое свойство литературы, тогда надобно было бы более широко очертить и предмет критики. Критика обращается к литературе, но и к действительности, к жизни.

Может быть, нам стоило бы искать определение предмета литературной критики, исходя из более широкой формулы: жизнь — литература — литературная критика. Выявление такого рода взаимосвязей поможет нам более точно очертить тот обширный круг интересов критика, без которых немыслим суд, оценка литературного произведения.

Перед критикой стоит не только задача исследования творчества данного писателя, или отдельного произведения, или ряда произведений. Литературный процесс не есть совокупность отдельных произведений. Он результат сложнейшего взаимодействия общественного сознания, эстетического опыта и условий бытия того или иного общества. Без понимания закономерностей развития литературы невозможно установление верных эстетических критериев оценки творчества того или иного писателя либо отдельных произведений.

Предмет критики не может быть сведен к «писателю» при самой широкой трактовке понятия. Объект критики — вся литература в ее движении, в ее столкновениях, в ее противоречиях, в ее поисках. Обращенность литературной критики к писателю и к читателю определяет и особый характер взаимодействия жизни, литературы и литературной критики.

Проблема «жизнь — литература — литературная критика» допускает возможность различных решений.

Можно исходить из того, что литературный критик черпает свои знания о жизни опосредствованно: через литературу, философию, социологию и т. д. Это предполагает, что прямые жизненные наблюдения и впечатления для критика вторичны, что жизненный опыт критика складывается по большей части как бы из интеллектуального познания или интеллектуальных эмоций. Так сказать, чувственное познание критика лишено прямых, непосредственных связей с тем главным объектом, который мы именуем жизнью. Предмет критики при таком подходе ясен и отчетлив. Это действительность художественного произведения прежде всего; или более широко — литературный процесс как сложное движение познания и отображения действительности. При этом говорят, что критик не может знать жизнь лучше писателя. Эта формула становится удобным оправданием для всякого рода самоограничений.

Да, конечно, критик не может знать лучше писателя непосредственно объект, ставший предметом изображения в художественном произведении. И в этом смысле писатель «лучше» критика знает жизнь. Но любой читатель, к которому адресуется писатель, сознательно или бессознательно соотносит свой жизненный и эстетический опыт с тем, что предлагает ему произведение искусства. «Незаинтересованное суждение» невозможно по самому характеру тех связей, которые устанавливаются между реалистическим искусством и действительностью.

Критик судит художественное произведение не только в меру своей образованности, глубины понимания социальных процессов, знания эстетических законов, но и основываясь на том первичном суждении, которое определяется его непосредственным чувственным опытом. И чем богаче будет этот непосредственный опыт, чем богаче будут жизненные впечатления, накопленные критиком, тем глубже и серьезнее будет его внутренняя жизнь, тем полнее и объективнее будут его суждения о явлениях искусства.

Таким образом, проблема «жизнь — литература — литературная критика» включает в себя и прямую связь — «жизнь и литературная критика». Давно уже нами ощущается потребность в отчетливом решении этого вопроса. Он важен и теоретически и практически.

Когда-то, в начале 60-х годов, журнал «Октябрь» предоставил серию творческих командировок для критиков, чтобы в их статьях в той или иной форме отразились и непосредственные впечатления, которые они накопят во время поездок. По этим командировкам ездили многие критики (ездил и я). Может быть, они не дали немедленных впечатляющих результатов, но мне кажется, что была найдена одна из возможных форм укрепления связей литературной критики с жизнью. Такие или иные поездки (например, проведение дней советской литературы в разных республиках, краях и областях) много дают для ознакомления: расширяется круг жизненных

впечатлений, интенсивно работает мысль и чувство. И, главное, они укрепляют внутреннюю убежденность, без которой немыслим анализ, оценка и суд: потому что я увидел что-то новое, познакомился с интересными людьми, фактами, явлениями и потому еще, что само соприкосновение с какими-то новыми для тебя пластами жизни заметно активизирует твое участие в литературном деле, я бы сказал, обостряет чувство профессионального долга.

Не без влияния подобных поездок в нашей критике возникло своеобразное направление, родились и новые жанровые образования в критике. Элементы очерка, публицистические отступления и эстетические оценки, соединившись в нечто цельное, единое, во многом определяют жанровое своеобразие ряда работ таких критиков, как В. Дементьев, В. Сурганов, и некоторых других.

Но, конечно же, этим не исчерпывается сама проблема. В конечном счете для нас важнейшим остается то, с каких позиций соотносит критик явления жизни и литературы, насколько глубоко он понимает все богатство и многообразие отношений между искусством и действительностью.

Одним из решающих для эстетики социалистического реализма является понятие жизненной правды. Но выработано ли у нас научное определение того содержания, которое мы вкладываем в понятие действительности?

В работе М. Храпченко «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы» сделана, на мой взгляд, плодотворная попытка расширительного определения самого понятия действительности. «Действительность — понятие сложное, и оно не всегда характеризуется во всей его полноте,— пишет М. Храпченко.— Раньше всего действительность понимается как тот природный, предметный мир, с которым мы постоянно соприкасаемся, как бытие человека, формы его повседневного существования. Затем сюда относят политические, социальные отношения, общественные события. Значительно реже в понятие действительность, или, точнее, социальная действительность, включается духовная культура человечества, общественная психология людей. А между тем они не только существуют как реальные явления жизни, но и оказывают постоянное воздействие на другие ее стороны, и, конечно, на процессы художественного творчества. Это сужение понятия «действительность» тем более неоправданно, что сами культурные, духовные ценности часто объективизируются в предметной форме — книги, скульптура, живописные полотна и т. д.»[1].

М. Храпченко исходит из важного для искусства тезиса о развитии и движении самой действительности. В понятие «действительность» он включает «не только зримое или открытое наукой, искусством, но и непознанное, не только устойчивые связи и отношения, но и процессы движения, развития мира. Безграничное разнообразие действительности, непрестанные ее изменения, возникновение новых ее форм обуславливают и непрерывность научного, художественного познания» [2].

При всем значении конкретного, единичного, художественное произведение дает картину мира, воссоздает действительность. Да, конечно же, в неполном ее объеме, но все-таки в том конкретном, с чем мы встречаемся, сквозят черты вечного, сущего.

Давно уже отвергнуты в нашей литературной критике вульгарные, упрощенные истолкования отношений искусства и действительности по принципу прямого уподобления: «это есть в жизни», «этого нет», «такого не бывает». И все же проблема соотношения художественного мира, созданного художником, и мира действительности остается одной из сложнейших методологических проблем современной литературной критики.

Серьезный недостаток, на который было указано в опубликованном два года назад постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», как раз и заключался в «неумении соотносить явления искусства с жизнью». Так критик В. Староверов в статье «К портрету послевоенной деревни» пытается «проверить» роман Ф. Абрамова «Пути-перепутья» своим собственным жизненным опытом (по его утверждению, он жил в деревне, детские и юношеские годы его пришлись как раз на время, описанное в романе Ф. Абрамова). Он приводит статистические данные, социологические выкладки и т. д. Статья его искренняя по тону, убежденность сквозит в каждой строке этой работы. И все

[1] М. Б. Храпченко. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М. 1970.

[2] Там же.

же автор не достиг желаемого результата. Социологический подход как один из определяющих в советской литературной критике предстает в его статье упрощенным и обедненным. Действительность поэтического мира, созданного Ф. Абрамовым, оказалась не понятой критиком. Складывается впечатление, что критик и писатель разговаривают на разных языках.

Настораживает уже само название статьи В. Староверова. Почему критик решительно убежден в том, что Ф. Абрамов задался целью создать «портрет послевоенной деревни»? Но не будем строги и не будем придираться. Важнее определить характер той методики, при помощи которой автор пытается выяснить, насколько произведение Ф. Абрамова соответствует «жизненной правде». Он заранее исходит из тезиса, что «не соответствует».

В. Староверов исследует роман Ф. Абрамова как социологический труд или документальный очерк. Берет «проблему», излагает ее «по Ф. Абрамову», затем приводит доказательства «от противного» по своим впечатлениям, по данным статистики и т. д. «Однако, может быть, из-за больших налогов было невыгодно иметь подсобное личное хозяйство, огород, корову? — спрашивает В. Староверов и продолжает: — Именно так обрисованы дела у пекашинцев. И опять же дело обстояло не очень так, как показывает Ф. Абрамов. Огород и подсобное хозяйство были выгодны жителям деревни, хотя налоги были, конечно, не в пример нынешним, довольно высокими».

Далее автор статьи сообщает: «Если половина пекашинцев не имела коров, то в наших местах редкие семьи не имели коровы. Да и по стране то же самое». Рассуждая об «известных ограничениях», «не совсем обоснованных», которые были в 50-е годы, В. Староверов утверждает: «Но в целом картина выглядела не столь уж мрачно, как она представляется в изображении Ф. Абрамова».

Общий вывод, к которому приходит В. Староверов, хорошо характеризует методику критика: «Все эти и многие другие моменты разительно отличали жизнь моего села и, как свидетельствует статистика, жизнь большинства сел страны от той картины, которая нарисована в романе „Пути-перепутья"».

Внешне убедительно, не правда ли? Если бы не «но»...

Социальные проблемы в художественном произведении не существуют вне сложной системы образов, истории многих характеров, вне того эстетического идеала, который определяет пафос художественного произведения. Сведение произведения к сумме социальных проблем отмщается тем, что и сами эти проблемы вне эстетического и нравственного пафоса художественного произведения остаются непознанными глубоко.

Романы Ф. Абрамова «Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья» охватывают почти десятилетие в жизни русской деревни. И какие годы! Великая Отечественная война, восстановительный период... Скудная северная земля. Леса, болота, реки, пригорки с деревнями.

Публицистическую концовку избрал для своего нового романа Ф. Абрамов. Надвигается зима, улетают журавли. Михаил Пряслин провожает их глазами. «Но всегдашней тоски на душе у Михаила не было. Он стоял на нетесовском крыльце, широко расставив свои крепкие, сильные ноги, по-крестьянски, из-под ладони, глядел на удаляющийся журавлиный клин, и перед глазами его вставала родная страна. Громадная, вся в зеленой опуши молодых озимей. И это он, он все эти тяжкие годы вместе с пекашинскими бабами поднимал ее из развалин, отстраивал, поил и кормил города. И новое, горделивое чувство хозяина росло и крепло в нем».

Не знаю, не хочу спорить с писателем, надо ли было вот так прямо обратиться к читателю, сказать ему, что книга о том, как человек становится хозяином. Своей земли. Своей судьбы. Подсказка подсказке рознь. Очевидно, для самого Ф. Абрамова важен этот итог, это прямое указание на творческую цель, на внутреннюю поэтическую «сверхзадачу». Реализована ли она в полной мере — этот вопрос должны ставить и решать для себя критики и читатели.

В романе развертывается спор о бескорыстии и расчете, о путях социального прогресса, о конкретных жизненных условиях и социальной нравственности, которая сама способствует созданию этих условий и, в свою очередь, является их следствием.

Секретарь райкома партии Подрезов, председатель колхоза Лукашин, Анфиса Минина, Михаил Пряслин, Егорша Ставров-Суханов (который любил называть себя двойной фамилией), Лиза Пряслина связаны в романе «Пути-перепутья» не только

романными конфликтами, а как бы естественным течением самой жизни, тем историческим потоком, в котором, по выражению Энгельса, люди черпают мотивы своих действий и поступков.

Последовательная реализация этого эпического принципа позволяет писателю, не обходя драматического, тяжелого, показать неизбежность и необходимость новых решений, нового подхода, которые только и могли создать условия для исторического рывка.

Время действия романа Ф. Абрамова приближается ко времени появления очерка В. Овечкина «Районные будни». Разная среда, различна степень углубления во внутренний мир человека, но очерк В. Овечкина и роман Ф. Абрамова объединяет аналитический подход к явлениям действительности.

Откровенная до боли беседа у костерка, вдали от чужих глаз, между секретарем райкома Подрезовым и председателем колхоза Лукашиным; столкновение Подрезова с Анфисой Мининой, которая вместе с пекашинскими бабами на своих слабых плечах держала колхоз в военные годы и теперь вправе, по прошествии стольких лет, напомнить секретарю райкома об обещаниях старикам, женщинам, подросткам, терпевшим голод и лишения; бурный партийный актив, посвященный выполнению планов лесозаготовок и превратившийся в суд над Подрезовым (здесь резко, отчетливо столкнулось «старое» и «новое»),— все эти события в романе так или иначе связаны с размышлениями о судьбах русской деревни, о тех социальных факторах и моральных стимулах, которые могут создать гармонию личного и общественного.

В. Сурганов в рецензии на роман Ф. Абрамова[3] посчитал образ Подрезова открытием писателя. И действительно, в Подрезове намечены многие черты, позволяющие говорить о сильной личности и, главное, о том, что этот человек обстоятельствами как бы поставлен на грань времен.

Не случайно Ф. Абрамов сталкивает в конфликте секретаря райкома Подрезова и молодого директора лесопункта инженера Зарудного, о котором колхозный кузнец Илья Нетесов говорит: «Голова. Все знает, во всем разбирается. Трактор, к примеру, поломался,— механики копаются-копаются, все ничего, покуда директор сам не возьмется. Ну и об людях заботу имеет».

Молодой инженер привлекает внимание не только тем, что разбирается в технике и заботится о людях. Зарудный воплощает необходимость новых форм и методов руководства. Он «не отменяет» Подрезова. Он человек будущего. Волевым методам руководства противопоставлена потребность научного подхода и к хозяйственным и к общественно-социальным проблемам. Поэтому фигура Зарудного должна была бы, как мне кажется, приобрести большее значение в романе. Да и сам автор, как явствует из беседы, опубликованной в журнале «Вопросы литературы»[4] отчетливо сознавал важность образа Зарудного в общем плане романа: «Два года назад, например, я всю Мезень изъездил в поисках персонажа, который мне был нужен,— человека яркой, творческой индивидуальности, дерзающего, совершенно свободного от какого бы то ни было чинопочитания». Если бы характер инженера Зарудного был изображен глубже, полнее, то и конфликт между ним и Подрезовым мог бы приобрести куда большее социально-историческое и нравственное значение.

Бескорыстие Михаила Пряслина, его отзывчивость на чужую беду, сердечность и трудолюбие его сестры Лизы — не проявление какого-то извечного крестьянского стоицизма, они дети нового времени, на таких, как они, держались колхозы в самые тяжелые годы, они давали стране хлеб — источник жизни, а сами часто его не имели.

Лиза Пряслина — один из самых замечательных образов романа, выписанный с убеждающей пластичностью, с сердечной бережностью и любовью. Горестная женская судьба, какая-то душевная хрупкость и беззащитность и поразительная жизненная сила, твердое различие добра и зла, умение сделать выбор по велению совести. Нравственная заповедь ее «жить, так жить по-хорошему, по-честному», мысленное обращение к сыну-ползунку: «Не привыкай, не привыкай, как отец, все загребать себе. Оставь чего и людям» — открывают светлый и сильный характер.

Михаил Пряслин, который в романе «Две зимы и три лета» был безусловно главным героем, поступается теперь перед Лизой. Ему не хватает новых черт, того «самодви-

[3] См.: Вс. Сурганов. От романа к роману... «Литературная газета» от 8 августа 1973 года.

[4] «Вопросы литературы», 1974, № 3.

жения» характера, которое помогло бы увидеть нам по-новому, на большую глубину этот жизненно сильный и правдивый образ.

Если определять общее впечатление от романа, то, при всей выписанности многих драматических ситуаций, верности картин жизни, гибкости и поэтичности связей между людьми и природой, в романе «Пути-перепутья» есть излишняя, на мой взгляд, детализация, перегруженность теми подробностями, которые принадлежат времени и отошли в прошлое.

В этом смысле характерна фигура Ганичева, закоренелого, по мысли автора, догматика, для которого «идея» и «жизнь» не однозначные понятия. Инструктор райкома, пухнущий от голода, бескорыстный и честный человек, он с фанатической преданностью в любых условиях изучает «Краткий курс» и появившуюся к тому времени, совершенно непонятную ему работу Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». «Несопряжение» характера и реальных условий бытия приводит к тому, что образ утрируется автором, временами привносятся карикатурные черты, так несвойственные общей поэтике романа Ф. Абрамова.

Верно отмечал В. Сурганов также пассивность, беспомощность Лукашина в «Путях-перепутьях»: «Даже самовольная выдача зерна не выглядит рассчитанной решимостью пойти во имя колхозных интересов на необходимый и оправданный риск. Да и отношения с колхозниками у Лукашина весьма натянутые. Писатель подчеркивает это на каждом шагу».

В нашей литературе последних лет — не без поощрения со стороны некоторой части литературной критики — предпринимались попытки идеализировать прошлое, придать крестьянину исторически неизменные черты, сделать его своеобразным эталоном нравственности. Трезвый анализ в такого рода сочинениях подменялся умилительными картинами, и, право же, возникал нередко вопрос: да было ли у их авторов действительное знание деревенской жизни?

Споры, которые велись и ведутся в нашей литературе вокруг «деревенской прозы», привели и к новой постановке проблемы н а р о д н о с т и — важнейшей в эстетике социалистического реализма. Мы в пылу полемики не обратили должного внимания, что, по сути, речь шла не только о том, как изображалось прошлое или настоящее русской деревни, но и о том, в какой мере литература «о деревне» размышляла над коренными проблемами народного бытия. Для теоретика литературы, для литературного критика возникала задача осмыслить социальную и эстетическую сущность той трактовки народности, которая давалась в связи с произведениями деревенской прозы на страницах наших журналов и газет.

Журнал «Наш современник» опубликовал в двух номерах (1973, № 7 и № 10) статьи Ф. Бирюкова «Крестьяне в эпосе М. Шолохова». Эти статьи и своим содержанием и своим направлением убеждают, как необходимы точные социально-исторические и эстетические критерии при трактовке темы крестьянства в мировой и русской литературах.

Показательна скрытая полемика с А. М. Горьким. Автор статей в «Нашем современнике» приводит длинные выписки, из которых видна оценка Горьким различных «подходов» к изображению крестьянской жизни в русской литературе XIX века. Ф. Бирюков пишет: «Здесь правильно говорится о факте резкого расхождения во взглядах на деревню». Не совсем так! Горький говорил не о будто бы существующих в одно время «резких расхождениях во взглядах на деревню», а намечал как бы два исторических этапа в понимании и изображении крестьянской жизни, точнее, указывал на те основные тенденции, которые, по его мнению, преобладали в русской литературе в разные периоды ее развития. «...лет пятьдесят почти все русские писатели усиленно и чувствительно изображали русского мужика как существо особого типа, которое прежде всего жаждет «божьей правды», а затем земли. Писали как о пьянице «с горя и с радости», о драчуне, для которого убить человека — пустое дело, а также как о «богоносце», призванном спасти мир неисчерпаемой силой веры в торжество правды. Жизнь деревни писатели рисовали мягкими, светлыми красками, искренне и громко восхищаясь простотою деревенского быта; указывали, что в этой простоте таится великая мудрость, что из деревни снизойдет на город ясный свет истины. Говорили даже о «святости» деревенской жизни, указывая, что там надо учиться жить грешным и беспокойным людям, которые создали шумную, слож-

ную, суетливую, распутную жизнь города и погибают, мучаются в ней, как в грязном аду. Многие восхищались способностью мужика «терпеть»,— терпеливый человек весьма полезен для людей, одержимых нетерпеливой жаждой спокойной жизни»[5].

А. М. Горький считал, что такое отношение к крестьянину в русской литературе постепенно изменялось благодаря «влиянию» «великого умника» Глеба Успенского, «а также силе идей социал-демократии... Переходя в начале девяностых годов в более критическое и вдумчивое отношение»[6].

Не будем сейчас выяснять, прав ли Горький, столь резко отделяя один исторический этап русской литературы от последующего, обходя при этом почему-то идейно-эстетические взгляды и практику блестящей плеяды русских писателей — революционных демократов. Ф. Бирюков не согласен с Горьким в его оценке некоторых писателей, вошедших в литературу в конце XIX — начале XX века. Он ополчается против упомянутого М. Горьким Бунина. «Ведь если безоговорочно принять, скажем, линию Бунина,— пишет Ф. Бирюков,— то нельзя не видеть, как далека она по объективности, широте мышления, тону от поэзии Некрасова... Бунинская проза в какой-то мере отразилась, мне думается, на произведениях других реалистов. Перенасыщена жуткими сценами повесть В. Шишкова «Тайга», рассказы С. Сергеева-Ценского «Лесная топь» и «Жестокость». Нередко мрачно или с насмешкой писали о советской деревне Л. Гумилевский, Н. Ляшко, П. Романов, И. Бабель, Г. Никифоров, И. Жига, М. Чумандрин, Р. Акульшин».

Вспомним еще раз, что писал А. М. Горький: «Всего красноречивее и убедительнее в пользу правдивости и верности наблюдений Бунина и Чехова над жизнью деревни говорит сама деревня устами писателей-мужиков: подмосковного мужика Семена Павловича Подъячева и орловского — Ивана Егоровича Вольнова, в книге которого «Юность» деревня окрашена еще более мрачными красками, чем краски Бунина и Чехова».

Ф. Бирюков высказывает, на мой взгляд, ряд верных критических замечаний в адрес Бунина, при этом ничего не говорит о Чехове, вскользь — о Короленко, обходит Подъячева и Вольнова, то есть обходит как раз тех писателей, которые, как считал Горький, представляли в литературе более «критическое и вдумчивое отношение» к крестьянину.

Где же тут выяснение истины?

Принцип народности литературы не может быть истолкован столь односторонне. Ведь Горький не случайно отмечал, что рассказы А. Чехова «Мужики», «Новая дача», «В овраге» «были приняты народнически верующей публикой враждебно, как хула на мужиков. Но вслед за Чеховым еще более определенно отрицательно начал писать о деревне И. А. Бунин...»[7].

Любопытен тот итог, к которому приходит Ф. Бирюков, совершив беглый экскурс в историю крестьянской темы: «Я не делаю какого-либо систематизированного обзора произведений, которые вспоминаются при чтении Шолохова. Но эти два художника— Некрасов и Толстой — должны быть названы прежде всего».

Не будем строги. Не будем требовать от критика особой полноты. И все же...

Хорошо известны многочисленные свидетельства, которые показывают, сколь широким по своему идейно-эстетическому содержанию был опыт искусства, осваиваемый М. А. Шолоховым. На пресс-конференции в Стокгольме в 1957 году Шолохов говорил: «О творческом влиянии? Нельзя сказать, что только один Толстой... Многие... И русские... И иностранные... Трудно ответить, сколько процентов от Толстого, сколько от Чехова, от любого другого... Я считал полезным учиться у всех...»[8]. В одном из высказываний 30-х годов Шолохов даже с некоторым полемическим вызовом заявил: «Бесспорно, я люблю Толстого, поэтому, возможно, есть и его влияние. Но больше всего на меня влияет Иван Бунин — этот большой мастер своего дела. Влияет на меня и Гамсун и целый ряд западных писателей»[9].

Здесь, конечно же, под «влиянием» понимается скорее всего учеба. Высказывание Шолохова свидетельствует об обширности интересов писателя, о том напряжении, с которым осваивается им опыт русской и мировой литературы.

---

[5] М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. М. 1953, т. 24.

[6] Там же.

[7] Там же.

[8] «Огонек», 1957, № 12.

[9] «Ленинец» от 11 октября 1934 года.

Невозможно свести творчество М. А. Шолохова к «крестьянской теме» и только в этом ряду рассматривать его новаторство, его вклад в мировое искусство.

Шолохов продолжает и развивает в современном искусстве великие традиции реализма XIX века. Бесстрашный художник, он видит в изображаемой жизни борьбу различных традиций, навыков, предрассудков с тем новым, что вносила революция в сознание и положение народа. Грандиозный поэтический мир Шолохова открывает по-новому не только русского крестьянина. В эпосе Шолохова народ — в переломные моменты своей истории.

Какими же принципами руководствуется Ф. Бирюков, пытаясь определить вклад М. А. Шолохова в изображение крестьянской жизни? Чтобы показать ход авторской мысли, приведу обширную цитату из статьи: «Но изображения были часто неглубокими, иллюстративными или даже «разносными» (речь идет о художественных произведениях, изображающих жизнь крестьянства.—*Л. Я.*). У Шолохова подход более точный. В соответствии с реальным положением он делит крестьян на тех, для кого собственность была средством угнетения, обогащения, приобретательства за счет наемной силы, и на тружеников, кому она необходима была как средство к жизни и добывалась тяжелым личным трудом. Конечно, и в этом случае она приобретала власть над людьми. Земля, лошадь, волы, сарай, гумно, инвентарь, вся домашняя утварь,— ко всему этому прирастала душа крестьянина. Жаден Пантелей Прокофьевич. Он тащит в курень все, что может принести... Но (трепещите, «вульгарные социологи»! — *Л. Я.*) жадность вызывалась не только самой природой частной собственности, разжигающей страсть накопления, стремлением вырваться в ряд состоятельных и влиятельных хозяев. Крестьянин всегда находился во власти природы, ему грозили стихийные бедствия — засуха, падеж скота, пожары и прочие беды. Он должен был жить про запас, думать постоянно о том, чтобы не стать нищим, не закабалиться».

Что же, давайте повнимательнее разберемся в высказываниях Ф. Бирюкова. Может, и впрямь наша современная литературная критика, которая пытается понять сложнейший поэтический мир шолоховских героев, что-то недоглядела, что-то исказила, не поняла писателя.

Как уже говорилось, рассуждения о «Донских рассказах» и «Тихом Доне» автор предварил историческим экскурсом, беглым обзором крестьянской темы в «мировом масштабе». И почти всюду, по Ф. Бирюкову, оказались протори и убытки. Исключения сделаны для Некрасова и Л. Толстого. Вот как формулируется подход Некрасова: «Ничто не сбивало поэта в его устойчивом, выверенном в соответствии с реальным положением, очень ответственном взгляде на народ: пусть он беден, забит, темен, унижен, но жива в нем душа, он — носитель высокой нравственности, честной, ищущей мысли, поэтического восприятия мира, хранитель преданий, песен, легенд, сказов, образного языка».

Согласимся с этим. Хотя, право же, здесь явно не хватает бунтарской силы, поисков социальной справедливости, которые существенным образом влияли на художественное изображение крестьян у Некрасова.

Весьма упрощен автором и «подход к изображению народа» у Л. Толстого. Вот что пишет Бирюков: «Ближе всего к «Тихому Дону» и по миру героев, и по аналитической зоркости наблюдения над бытом крестьян — «Казаки» Толстого. Лукашка, Марьяна, дядя Ерошка — типы народные, яркие, стихийные, как и природа вокруг них, подчиняющиеся власти естественной жизни, непосредственных ощущений. Отсюда — свободолюбие, удаль, ловкость, выносливость, внешняя красота».

Разве шолоховские герои подчиняются «власти естественной жизни, непосредственных ощущений»? Неужели здесь точки соприкосновения Л. Толстого и М. Шолохова?

Ф. Бирюков говорит только о «Казаках», но уж коли речь зашла о «подходе к изображению народа», то следовало бы вспомнить и драму Л. Толстого «Власть тьмы». А «Война и мир» и «Воскресение»? В них-то как раз и виден действительно новый для искусства взгляд на природу крестьянина, глубокое этическое и эстетическое обоснование «настоящей трудовой и человеческой жизни».

Только в такого рода сопоставлениях могло быть определено новаторство Шолохова, принесшее ему мировую славу.

В трактовке шолоховских героев допущены странные передержки. «Жаден Пантелей Прокофьевич,— утверждает Ф. Бирю-

ков.— Он тащит в курень все, что может принести». Когда же это Пантелей Прокофьевич начал «тащить в курень»? И главное — откуда? От соседей своих, что ли, или, может, от Мохова, Листницкого? На такое Пантелей Прокофьевич не то что решиться, а и подумать об этом не мог.

Что же, выходит, Ф. Бирюков в полемическом пылу «присочинил» за писателя? Не совсем. «Тащить» Пантелей Прокофьевич начал в годы гражданской войны. И не у всех подряд. Зря наговаривает на него Ф. Бирюков.

У Пантелея Прокофьевича была своя «программа», свои моральные оправдания. «Да и что ж не взять у энтих, какие к красным подались?.. Грех у них не браты! А дома каждая лычка бы годилась».

Шолохов, изображая годы революции и гражданской войны, тернистый путь казачества, не просто демонстрирует нам «более точный подход», а силой и зоркостью большого художника-реалиста показывает, как противоречива, как сложна была народная жизнь, быт казачества в частности.

Приведенные выше слова сказаны Пантелеем Прокофьевичем как бы в поучение Григорию Мелехову. Грех, оказывается, не брать у тех, кто переметнулся к красным. Не без гордости за «хозяйственного» Петра рассказывает Пантелей Прокофьевич Григорию: «Ихний Двадцать восьмой полк за Калачом зараз... Я, сынок, поджился там неплохо. Петро — он гожий, дюже гожий к хозяйству! Он мне чувал одежи дал, коня, сахару... Конь справный...» «Своего мало? Хамы вы! За такие штуки на германском фронте людей расстреливали!..» — кричит взбешенный Григорий.

Впрочем, возмущение Григория мало подействовало на Пантелея Прокофьевича.

«Наутро часть полка выступила из хутора. Григорий ехал в уверенности, что он пристыдил отца и тот уедет ни с чем. А Пантелей Прокофьевич, проводив казаков, хозяином пошел в амбар, поснимал с поветки хомуты и шлейки, понес к своей бричке. Следом за ним шла хозяйка, с лицом, залитым слезами, кричала, цепляясь за плечи:

— Батюшка! Родимый! Греха не боишься! За что сирот обижаешь? Отдай хомуты! Отдай, ради господа бога!

— Но-но, ты бога оставь,— прихрамывая, барабошил и отмахивался от бабы Мелехов.— Ваши мужья у нас тоже небось брали бы. Твой-то комиссар, никак?.. Отвяжись! Раз «твое — мое — богово», значит — молчок, не жалься!

Потом, сбив на сундуках замки, при сочувственном молчании обозников выбирал шаровары и мундиры поновей, разглядывал их на свет, мял в черных куцых пальцах, вязал в узлы...

Уехал он перед обедом. На бричке, набитой доверху, на узлах сидела, поджав тонкие губы, Дарья. Позади поверх всего лежал банный котел. Пантелей Прокофьевич вывернул его из плиты в бане, едва донес до брички и на укоряющее замечание Дарьи:

— Вы, батенька, и с г... не расстанетесь! — гневно ответил:

— Молчи, шалава! Буду я им котел оставлять! Из тебя хозяйка — как из Гришки-поганца! А мне и котел сгодится. Так-то!.. Ну, трогай! Чего губы растрепала?

Опухшей от слез хозяйке, затворявшей за ними ворота, сказал добродушно:

— Прощай, бабочка! Не гневайся. Вы себе ишо наживете».

Приходится принести извинения за длинные выписки. Но без них не понять «методологии» Ф. Бирюкова. Потому что только эти сцены мог иметь в виду Ф. Бирюков, когда писал, что Пантелей Прокофьевич «тащит в курень все, что может принести».

Куда любопытнее те мотивы, которыми, по Ф. Бирюкову, руководствовался Пантелей Прокофьевич. Оказывается, Пантелей Прокофьевич «тащил» потому, как утверждает Ф. Бирюков, что «должен был жить про запас, думать постоянно о том, чтобы не стать нищим, не закабалиться».

За счет солдатки, за счет ее детей?! За счет отбитого, награбленного у защитников революции?! Психология стяжательства, осужденная с такой мощью в эпопее М. А. Шолохова, оправдывается Ф. Бирюковым «условиями существования».

Ход его мыслей, логика его рассуждений удивительно совпадают с логикой Пантелея Прокофьевича Мелехова: «Ты об себе думай,— втолковывал он Григорию.— Скажи на милость, какой богатей нашелся! Дома одна бричка осталась, а он...»

Сама эта сцена многое проясняет в методологии того спора, который ведет Ф. Бирюков. Он воодушевлен одной идеей: «защитить» и «оправдать». От кого? И кого? Под видом борьбы против вульгарно-со-

циологических трактовок Ф. Бирюков, по сути, игнорирует социальный конкретно-исторический анализ. Декларируя тезис о противоречивости, о собственническом, он пытается оправдать то, что не может быть оправдано. И попадает в весьма неудобное положение, демонстрируя несовпадение позиций критика и подхода писателя. Критик вынужден вступать в скрытый спор с автором «Тихого Дона», который характером и содержанием всей приведенной сцены, возмущенными высказываниями Григория Мелехова бескомпромиссно осуждает стяжательство.

Григория не поколебали доводы отца. «Ты мне оставь это! А нет — я живо провожу отсель! Я казакам морды бил за это, а мой отец приехал грабить жителев! — дрожал и задыхался Григорий».

В сущности, трагедийная сцена. Григорий тоже вырос на этой почве. Но его взгляды, его понимание казачьей чести, человеческого достоинства питались другой психологией. Она идет от труженика, наживавшего все потом и кровавыми мозолями. Крестьянин-то был не только собственником!

Человеческое совершенство и недостатки шолоховских героев определяются условиями их жизни, той средой, которая вспоила и взрастила их. Их недостатки не нуждаются в умилительном всепрощении. Строгим судом своим Шолохов отстаивает и защищает достоинство подлинно трудового, народного.

Правдоискательство Григория Мелехова не привнесено художником извне — оно в условиях его жизни, в том опыте, который он накопил в годы войн и революций. «Непролазная стена», о которой говорит Григорий, отделяет его от белогвардейских офицеров прежде всего потому, что он труженик, что он кормится трудом рук своих. В этом источник его нравственной силы и достоинства.

Труд в эпосе Шолохова выступает неотъемлемой частью жизни и быта. Он условие человеческого существования. Он источник нравственности. Трагические диссонансы, противоречия связаны с тем, что социально-нравственная содержательность труда проявлялась в условиях классового общества. Она нередко искажалась собственническими предрассудками и инстинктами.

Трагизм этих противоречий не в частных проявлениях. Судьба Григория Мелехова поучительна именно глубоким исследованием всех причин и следствий, которые коренились в самой эпохе, в условиях жизни.

Мировое значение творчества Шолохова определяется тем, что казаки-крестьяне предстали в его эпосе во всей полноте жизни, в радостях, горестях и страданиях. Они стремятся постигнуть правду жизни в один из переломных моментов истории человечества. Они ищут, сомневаются, ошибаются. Люди сильных страстей, глубоких чувств, они расширяют представление мирового искусства о возможностях человеческой личности. В битвах революции они обретают новые нравственные ценности.

«Темные стороны» жизни крестьянства не выдумка, не произвол, не следствие «верхоглядства, интеллигентского скепсиса, очернительства, чистоплюйства» (вот ведь какие сильные выражения употребляет Ф. Бирюков, рассуждая о крестьянской теме в литературе!).

Писатели-реалисты с болью и страданием писали об этих сторонах жизни крестьянства, потому что они были в самой действительности.

В том месте статьи, где Ф. Бирюков рассуждает о «собственническом», о темных сторонах, есть еще одна существенная неточность.

Крестьяне в эпосе Шолохова не совсем обычные крестьяне. Казаки были воинским сословием со своим укладом жизни, со своими привилегиями, преимуществами и обязанностями. Казаки отличались от крестьян не только тем, что с малых лет их готовили к военной службе, с детства воспитывали смелость, лихость, находчивость. Царское правительство культивировало среди казаков чувство сословной обособленности, презрения к «мужику» и «городскому» — рабочему. Из них старались воспитать верных слуг «царю, престолу и отечеству».

Это особое положение казачества, как показывает М. А. Шолохов в «Тихом Доне», проявлялось во многих традициях, навыках, обычаях.

Так вот, Ф. Бирюков зря приписал Пантелею Прокофьевичу те черты, которые характеризовали его якобы только как крестьянина-собственника. «Тащил» Пантелей Прокофьевич и по неписаной воинской традиции — победителю принадлежит все.

Грабеж на войне многими считался допустимым делом. Это не в оправдание, как понимает читатель, а для уточнения. Сословная замкнутость казачества выступала во многих случаях фактором, отягчающим их путь в революции.

Но и здесь Ф. Бирюков пытается «оправдать»: «Для кого-то сословность — знамя, идеологическое оправдание антинародных целей, корыстного классового расчета, для других — поверхностный налет, пережиток, его постепенно снимает время, события эпохи, в которых интересы трудовых казаков все больше и больше совпадают с освободительными стремлениями всего народа».

«Поверхностный налет, пережиток...» — серьезное ли это определение тех сословных предрассудков, которые были одним из источников трагических ошибок, заблуждений, метаний? Они изживались не в один день и не в один год.

В том-то и сила «Тихого Дона», что в той грандиозной битве идей и представлений, которую воссоздает Шолохов в своей эпопее, опасность автономизма, сепаратизма, национализма воссоздана во всей ее социальной и исторической конкретности. Не надо задним числом подправлять и «подкрашивать» историю!

Но дело не только в такого рода утверждениях и характеристиках.

Ф. Бирюков храбро переходит к современности. Повоевав с критиками конца 20-х — начала 30-х годов, которые многого не понимали в «Тихом Доне», трактовали его упрощенно, вульгарно-социологически, Ф. Бирюков ищет их «продолжателей» в современности. Выбор адресатов кое-что проясняет в его позиции.

«Все это, мне думается, полезно время от времени вспоминать, чтоб не были неожиданными некоторые нынешние рассуждения, к примеру, Ф. Кузнецова в статье «Судьбы деревни в прозе и критике» («Новый мир», 1973, № 6) — о «сентиментальных романтиках», стремящихся, по его воображению, реставрировать патриархальный уклад в первозданном виде, об «ограниченности» духовного, нравственного мира крестьян. Или его же непонятное пренебрежение (несмотря на все оговорки) к народной песне, одежде, уникальной вышивке, кружевам, обряду. Все это уже, как видим, было, когда развертывалось наступление на «Тихий Дон». Те критики в чем-то на сорок лет опередили Ф. Кузнецова».

После этого Ф. Бирюков походя отчитывает Ю. Лукина, В. Литвинова, В. Борщукова. За то, что «писали об ожесточившихся собственниках, хозяйчиках, бандитском анархизме, отщепенстве...». По Ф. Бирюкову, все они «вульгарные социологи», позабывшие о нравственных и духовных ценностях своего народа. Вот для чего понадобились ему отступления в прошлое: чтобы еще раз, развенчав развенчанное, бросить тень на возможных оппонентов в литературных дискуссиях нашего времени.

Примечателен вывод, к которому приходит Ф. Бирюков: «Шолохов отдал своим героям куда большую долю симпатии, понимания. А критики порой произвольно перераспределяют краски, переводят тон сочувствия в обличение».

Кому же сочувствует М. А. Шолохов? Григорию Мелехову? Несомненно. Григорий Мелехов — великая трагическая фигура, одно из замечательных открытий в литературе XX века. Хотя само сочувствие к нему и не исключает последовательного нравственного суда всех поступков и действий героя.

Но мог ли Шолохов сочувствовать стяжательству, грабежам, жестокости и насилию? Мы видели, с какой художественной глубиной проведено, например, осуждение Пантелея Прокофьевича в сценах с солдаткой.

Так кто же из критиков переводит «тон сочувствия в обличение»? Кто «произвольно перераспределяет краски»?

Современная критика в большей части своей, обращаясь к творчеству М. А. Шолохова, стремится вскрыть истинное отношение писателя к изображенным им ситуациям, показать всю глубину понимания им народной жизни и народных характеров.

Претензии Ф. Бирюкова явно не по адресу. «Перераспределяются краски» как раз в его статье.

Ф. Бирюков претендует и на то, чтобы определить «шолоховское направление» в современной советской литературе:

«Лучшие произведения советской литературы о деревне — М. Алексеева, А. Иванова, В. Белова, Ф. Абрамова, П. Проскурина, Б. Можаева, С. Крутилина, Е. Носова, В. Шукшина, В. Солоухина, В. Лихоносова — как раз и находятся на этом пути.

Мы не имеем пока чего-то равного по силе анализа, обобщениям, лепке характеров, художественности «Тихому Дону» и

«Поднятой целине». Но существует шолоховское направление — у нас и за рубежом. А это много обещает...»

Ф. Бирюков перечислил много хороших советских писателей, создавших произведения, которые вызвали интерес у читателей. У некоторых из названных им писателей были и такие книги, посвященные жизни деревни, которые вызвали и критические суждения. Как раз за то, что им не хватало социально-исторического, «шолоховского» подхода к изображению судеб крестьянства.

Стоило бы автору оговориться, что называются им только русские писатели, потому что невозможно говорить о «лучших произведениях советской литературы о деревне» и не вспомнить книг М. Стельмаха, И. Мележа, Й. Авижюса, А. Хинта и многих, многих других.

Кстати, о самом термине «литературное направление», одном из самых неразработанных в современном литературоведении. Ф. Бирюков оперирует им как чем-то само собой разумеющимся. Статья его скорее публицистическая, чем исследовательская, и небрежение к теоретическим понятиям могло бы ей и проститься. Но вглядываясь в список имен, предложенный Ф. Бирюковым, замечаешь весьма произвольный выбор. Когда говорится о «направлении», по-видимому, подразумевается единство исходных идейно-эстетических принципов, общность трактовки, которые могут проявляться и в подходе к предмету изображения, и в стилевых категориях, и т. п. Но что, скажем, соединяет в одном «направлении» М. Алексеева и В. Лихоносова, Ф. Абрамова и В. Солоухина, А. Иванова и В. Белова? Обоснований в статье Ф. Бирюкова никаких не приводится, а они были бы тут необходимы. Потому что речь идет о «шолоховском направлении», о том, как традиции М. А. Шолохова воплощаются в современной нам прозе о деревне. И если уж речь зашла о «шолоховском направлении», то, право же, стоило вспомнить В. Закруткина, А. Калинина, В. Фоменко, произведения которых о судьбах крестьянства никак в этом случае не обойдешь.

Свои рассуждения о крестьянстве в эпосе М. А. Шолохова Ф. Бирюков ограничил «Донскими рассказами» и «Тихим Доном». До «Поднятой целины» он «не дошел». А жаль! «Поднятая целина» — весомое свидетельство тех нравственных сил, которые накопило русское крестьянство, поэтическое подтверждение его стремления к обретению новых социально-нравственных ценностей.

Все это имеет прямое отношение к современным дискуссиям и спорам, связанным с так называемой «деревенской прозой».

Нравственные и духовные ценности, накопленные народом в многовековой истории его,— не разменная монета в полемических выпадах. Уважение к прошлому, желание понять доброе, ценное, то, что не может быть утрачено, требует бережного исследования, понимания сложного и противоречивого.

Советская литература наследовала лучшие традиции русской классической литературы XIX века. Ее эстетические принципы формировались под влиянием эстетики революционных демократов, выдвинувших понятие правды, требование познания всех сторон народной жизни как важнейшее условие развития реалистических принципов в искусстве.

Хорошо напомнил об этом недавно Ф. Абрамов: «Любить народ — значит видеть с полной ясностью и достоинства его и недостатки, и великое его и малое, и взлеты его и падения. Писать для народа — значит помочь ему понять свои силы и слабости»[10].

В одном из своих высказываний М. И. Калинин обратил внимание на историческое значение огромной работы передовой русской литературы в познании своего народа: «Художественная литература первой половины XIX века значительно двинула вперед развитие политической мысли русского общества, познание своего народа»[11].

Революционные демократы видели в народе силу, способную разрушить существовавший государственный строй и создать новое общественное устройство.

В известной статье «Не начало ли перемены?» Чернышевский изложил новое, революционное понимание народности в литературе. Познание народа для Чернышевского заключалось не только в изучении образа жизни народа, национальных обычаев, но и в понимании сильных и слабых сторон народа, в правде «без всяких прикрас».

Народность советской литературы предполагает конкретно-исторический, социаль-

---

[10] «Вопросы литературы», 1974, № 3, стр. 195.

[11] М. И. Калинин. О литературе. Лениздат. 1949, стр. 132.

но-аналитический подход к процессам народной жизни. Советские писатели показали, что только революция, только строительство социализма в нашей стране открыло крестьянину возможность для подлинного человеческого существования.

Забвение исконных принципов народности советской литературы приводит к искажению и процесса развития литературы и неверному истолкованию творчества крупнейших советских писателей.

Советская литература с первых своих исторических шагов приобрела мировое значение. Множество работ и советских и зарубежных ученых показывает, как в процессе взаимодействия и взаимовлияния в мировом литературном процессе появлялись новые качественные особенности. И эти особенности определялись часто воздействием советской литературы.

Для советского литературоведения и литературной критики остается насущной в высшей степени благодарная задача — определение вклада литературы социалистического реализма в современное мировое искусство.

Но разработаны ли у нас методологические принципы такого изучения современного мирового литературного процесса? Чаще всего мы идем по пути сравнений, сопоставлений творческих методов: критический реализм и социалистический реализм, модернистские течения XX века и социалистический реализм и т. п.

Безусловно, проделанная работа была необходимой и во многом плодотворной. Но при этом мы ограничивались главным образом сферой отношений искусства и действительности. Для определения вклада литературы социалистического реализма в развитие мирового искусства важно сопоставление и сравнение творчества отдельных писателей. Я бы вспомнил здесь книгу Б. Михайловского «Творчество М. Горького и мировая литература», дающую весьма ценный материал для выводов и размышлений, глубокую по концепции, широкую по своим сопоставлениям.

За последние годы нередко ставилась и тема мирового значения творчества М. А. Шолохова. Творчество Шолохова сопоставлялось с творчеством Фолкнера, Хемингуэя и других выдающихся реалистов XX века. Внимание многих привлекла работа П. Палиевского «Мировое значение М. Шолохова», опубликованная журналом «Наш современник» в № 12, 1973 год. Если иногда мы, рассуждая о советской литературе, пытаемся показать богатство художественных решений, находя соответствующее явление и в современном мировом искусстве, то П. Палиевский пошел по другому пути. Он пытается заинтриговать и увлечь читателя. Он начинает с парадоксов. У нас есть критики, которые любят парадоксы. Оглушить читателя, а затем повести за собою на цветной веревочке парадоксов. При этом писатель как бы отодвигается, уходит на второй план, а на первый план выступает личность самого критика, концепция критика, возникшая извне и приложенная к объекту в качестве некой измерительной линейки. П. Палиевский начинает весьма круто: «Не видно то новое, что внес Шолохов в литературу, возможно, из-за его презрения к форме — не к форме вообще, а к собственной оригинальной форме и стремлению выделиться».

Парадокс номер один. Получается так, что «новое» тем или другим способом связано со стремлением писателя «выделиться». В этом смысле действительно у Шолохова не было «стремления выделиться». Но не было такого же стремления и у Толстого, и у Чехова, и у Горького. Выходит, что тут Шолохов не исключение. И зря, видимо, так уверенно заявляется о его «презрении к форме». Положение о том, почему исследователю кажется не видным то новое, что внес Шолохов в литературу, ничем не подтверждается, да оно и не могло подтвердиться. Оно скорее игра ума, чем труд серьезного поиска.

Парадокс номер два: «Интересно, что наиболее заметные писатели XX века молчат о Шолохове. Словно бы он для них не существует». Не совсем точно. Из тех, которых называет П. Палиевский, не все молчали. Хемингуэй несколько раз упоминает в своих высказываниях имя Шолохова. Весьма спорное суждение о Шолохове имеется у Брехта. О Шолохове говорили Э. Колдуэлл, Стейнбек и другие.

Многие видные писатели в странах социалистического содружества, целые современные литературы испытали огромное воздействие творчества М. А. Шолохова, и об этом свидетельствуют исследования, проведенные за последние годы. Сошлюсь в качестве хотя бы одного из примеров на книгу, изданную Лейпцигским университетом ГДР на основе материалов междуна-

родной научной конференции, посвященной творчеству М. А. Шолохова, проведенной в 1965 году.

Присуждение Шолохову Нобелевской премии в 1965 году вряд ли было бы возможным, если бы тезис П. Палиевского соответствовал действительности.

Все эти утверждения автора были лишь подготовкой к главному положению, которое он высказывает в статье «Мировое значение М. Шолохова»: «По всем правилам Шолохова и быть бы не должно. Откуда было ему взяться сразу после взлета русской литературы XIX — начала XX в., особенно после Толстого, Чехова, Горького». Чем не парадокс! Номер три! Заключение вроде того, что «по всем правилам Шолохова и быть бы не должно», предполагает «знание» правил, по которым одним писателям должно являться, а другим не должно. П. Палиевский не просветил нас на этот счет, и мы должны сами решать, что подразумевать под этими правилами.

Можно сочувствовать П. Палиевскому, можно понять его стремление выделить крупно Шолохова как неповторимое явление мирового искусства. Но для чего же при этом устраивать скачку через барьеры?

Мировое значение М. Шолохова, смысл «поворота», который он совершил в мировой литературе, П. Палиевский определяет так: «Новый шаг, отношение к жизни, иная точка зрения». Пока не ясно, по отношению к кому и к чему эта «иная точка зрения», «отношение к жизни», «новый шаг». Но вскоре выясняется. Сопоставление с Толстым, Хемингуэем, сходные положения и ситуации должны были бы, видимо, прояснить смысл новаторства Шолохова.

Сопоставление сходных ситуаций и положений в творчестве столь различных писателей, казалось бы, должно было помочь решению глобального вопроса, в чем же новизна отношения к жизни у Шолохова. Сопоставляются Аксинья и Мария — «Тихий Дон» и «По ком звонит колокол», Шолохов и Хемингуэй. П. Палиевский пишет: «Или вот сцена, где Аксинью изнасиловал отец... Какой материал для фрейдиста! Вся последующая жизнь — сплошной подтекст и воспоминание, от которого женщина хочет и не может уйти... Но ведь и для реалиста тоже... О Хемингуэе... его ответ известен; все помнят рассказ Марии, который объясняет, наконец, ее характер. Женщина порутана навсегда, ее не поднимет и рыцарское внимание. Что же у Шолохова? Это событие просто забыто. То есть сыграть свою роль оно, конечно, сыграло, подмяло на время, но чтобы определить характер, остаться в центре души — об этом смешно и думать».

Вряд ли можно согласиться с той трактовкой, которую дает П. Палиевский Марии. Все-таки, как можно судить об этом из романа Хемингуэя, «рыцарское внимание» и любовь подняли Марию. Что касается шолоховской Аксиньи, то здесь тоже выходит не совсем так, как утверждается это критиком. Страшное, случившееся с Аксиньей, многое определило в ее жизни, и прежде всего трагизм ее отношений со Степаном. Не только страстное чувство, но и поруганное и оскорбленное женское достоинство бросило ее к Григорию Мелехову. «Сатанинская гордость» Аксиньи была следствием и характера ее и вытекала из стремления защитить, утвердить свое человеческое достоинство. «Порочность» ее, которая сквозила поначалу, проявлялась и в поведении (жизнь со Степаном и Григорием, связь с Листницким) и в деталях внешнего облика. Все это вместе определяет в высшей степени сложный психологический рисунок характера Аксиньи, в котором причины и следствия, обстоятельства и условия слились неразрывно.

Событие «не забыто», как утверждает П. Палиевский. Оно уведено писателем вглубь. Оно в истории жизни, в самой сути характера, а не только в подсознании, психологических толчках и разрывах.

На основе довольно зыбких сравнений и предположений делается кардинальный вывод о сущности шолоховского отношения к жизни. «Но если что-нибудь поражает в Шолохове, то, скорее, пренебрежение к жестокости, отсутствие того, чтобы ей придавалось какое-нибудь особенное значение... Шолохов допускает наибольший нажим на человека. Считает это нормальным (выделено мною.— *Л. Я.*). Не Михаил Александрович Шолохов, конечно, а его художественный мир. Вот что заставляет содрогнуться и задуматься».

Художественный мир Шолохова подгоняется под какое-то заданное восприятие жизни. Хочет этого критик или не хочет, но выходит именно так. Все сущее и происходящее оправдывается тем, что оно есть или было. «...общая атмосфера жизни и ее давление; у Шолохова она принята намного суровее, чем обычно у всех классиков ми-

ровой литературы; именно принята, а не с ужасом, отвращением или злорадством отображена».

«Принятие жизни» у Шолохова носит куда более сложный философский и эстетический характер. Необоримость жизни для Шолохова — в ее постоянном движении и обновлении. Движение жизни включает в «кругооборот» человека, общество, природу. Они взаимосвязаны, обусловливают друг друга. «Свирепая проверка человека на прочность», о которой говорит П. Палиевский,— это проверка не только обстоятельствами, но и самих обстоятельств.

Гуманистическая идея, пронизывающая собою все творчество Шолохова, не в покорном «принятии» безрадостного и свирепого лика жизни, а в идее обновления, изменения тех обстоятельств, которые давят на человека. Тут Шолохов — прямой продолжатель классиков русской литературы XIX века.

Без исследования того, как реализуется в эпосе Шолохова идея революционного изменения действительности, не понять ни произведений писателя, ни концепции человека.

Человек велик у Шолохова поисками социальной правды, неприятием «свирепых» обстоятельств, бунтом против них. Мотив «гордости», который характерен для многих героев Шолохова, определяется гуманистическим пафосом, направленностью всего творчества Шолохова. Григорий, Аксинья, Наталья, Ильинична, Семен Давыдов, Ипполит Шалый, Андрей Соколов — гордые люди. Они отстаивают и защищают жизнь, ее достоинство. Самую смерть попрал советский солдат Андрей Соколов.

Так что, видимо, отношение к жизни у Шолохова иное, чем то, о котором говорит П. Палиевский.

В нашей современной критике нередко ставится проблема вечных ценностей. Извечные вопросы человеческого бытия, жизни и смерти, трактовка их становятся предметом исследования и изучения.

П. Палиевский, пытаясь определить то особое место, которое занимает М. А. Шолохов в мировом искусстве XX века, видит его и в особом «отношении к смерти». «У Шолохова смерть — это какая-то метла в жизненном доме. Так и представляешь ее не с косой, как столько раз рисовали, а в виде нянечки или уборщицы. Ничего недопустимого или устрашающего за ней не признается. Ну, есть, нет, задержалась на время, пока не замусорилось,— все равно ей придется пройтись. Как ни странно, здесь у Шолохова осуществляется идея «предоставьте мертвым хоронить мертвых»...»

Не шолоховская это идея! Удивляет эмоциональная жестокость и бездушность самого уподобления смерти доброй нянечке в белом чепце или сердобольной уборщице.

Можно ли найти такую смерть в романах Шолохова, пронизанных болью, страданием, сочувствием к человеку? Нет. Наталья гибнет, как молодая яблоня в цвету, срубленная жестоким дровосеком. Аксинью срезает случайная пуля, как птицу в полете к счастью, за которое она боролась столько лет. Оно не давалось, уходило, чтобы вновь поманить напрасной надеждой. Давыдов и Нагульнов пали как солдаты. Насильственная смерть обрывает живое, полное сил.

Трагическая тема смерти как чего-то насильственного, идущего против жизни, противостоящего ей, продолжает в творчестве Шолохова гуманистические традиции мировой и русской литературы. «Все порубила, все отняла безжалостная смерть...» — где же здесь нянечка или уборщица, «метла в жизненном доме», «ничего недопустимого или устрашающего за ней не признается»? Это о ком-то другом. Только декадентская литература, только литература распада может опуститься до воспевания разрушения и смерти. Великий писатель никогда не примирится со смертью. Толстой бунтовал против нее до последней минуты. Вспомним прекрасные слова А. М. Горького из воспоминаний о Леониде Андрееве: «Для меня человек всегда победитель, даже смертельно раненный, умирающий».

Попытки «абстрагироваться», уйти в сферу вечных проблем, без конкретно-исторического анализа и обоснования привели критика к таким трактовкам, с которыми трудно, невозможно согласиться.

Мягко говоря, умозрительность проявляется и в трактовке одного из важнейших для эпоса Шолохова понятий, связанных с определением жизненных путей в революции. Здесь П. Палиевский подходит к серьезнейшей социально-исторической и нравственной проблеме. Но как он ее решает? «Одна из устойчивых идей Шолохова — это истребление середины,—утверждает П. Па-

лиевский.— Кажется, что она больше всего противоречит скреплению. Об этом говорит Бунчук («середки нету»), мечтает Кошевой: «По-моему, страшнее людской середки ничего на свете нету, ничем ты ее до дна не просветишь»...»

Необходимы некоторые уточнения. Странным образом у П. Палиевского соединяются два разных понятия. Та «середина», которая, в толковании П. Палиевского, «больше всего противоречит скреплению», только в высказывании Бунчука («середки нету») означает отрицание позиций между борющимися социальными лагерями; в высказывании же Кошевого речь идет о людской «середке», о загадке, тайне человеческого поведения, о необъяснимости некоторых поступков людей. Но «середина», как пытается доказать П. Палиевский, оказывается и вовсе «не середина, а центральное: и это центральное в шолоховском мире есть».

Туманная фразеология, которой пользуется П. Палиевский, не позволяет точно определить, что же понимается под этим «центральным», под «мощным стволом, соединяющим в целое, казалось бы, безнадежно распавшееся».

Из примеров, которые приводит критик, можно заключить, что речь идет о том исконном, что связано с народной нравственностью (отрицание крови и жестокости войны, материнское сострадание и т. д.), что идет из «корней».

Не очень многое проясняет и полемическое уточнение автора работы: «Это никакой не «третий путь», но то, что попадает на правильные или неправильные пути, без чего борьба теряет смысл и торжествует абсолютный распад. Связующая сила, дорога, которую ищут постоянно. Идет необходимое разделение и развал, но народ держит единство через правое дело, когда и не имеет для него наименования».

Думаю, что и в этом случае необходимы куда более точные социально-исторические критерии. И для определения «правого дела», которое в эпосе Шолохова имеет свое «наименование», и для определения «связующего» начала.

Нельзя же всерьез полагать, что социалистическая революция, свершившаяся в России в октябре 1917 года, означала «необходимое разделение и развал» внутри народа и что «единство» определялось теми, кто был «в середине», а точнее, был «центральным».

Привлекается для доказательств судьба Григория Мелехова, который, как говорит П. Палиевский, «ведь тоже не просто посередине и не между, хотя он там и бывает. Он также отсюда, из этой связи. Неустранимая линия его характера — искание правды, и не мечтательно, а в сражении за правду, в отстаивании ее — и вовсе не из неразборчивых средств». Куда как предпочтительнее было бы обходиться в этом случае более строгими конкретно-историческими и социальными понятиями.

О правдоискательстве Григория Мелехова много было говорено в нашей критике. Но само понятие правды весьма изменчиво в представлениях Григория Мелехова. Оно связано и определяется конкретными обстоятельствами революции и гражданской войны на Дону. Одну правду он отстаивает, когда сражается за советскую власть на Дону, и другую — когда ведет казаков под обманчивыми лозунгами «За советскую власть, против коммунистов!» во время Вешенского восстания 1919 года.

Представление об исторической общности, о «связи», лишенное твердых социально-исторических обоснований, теряет всякую определенность.

Неужели революция означала только «необходимое разделение и развал»? Почему бы тут не сказать о веками зреющих противоречиях, о том, что «развал» был следствием взрыва несовместимых, непримиримых интересов не внутри народа, а между теми, кто был «сверху», кто жил за счет этого народа, кто его эксплуатировал, и между теми, кто был «внизу», кого угнетали и подавляли?

«Развал» происходил не внутри некоего мифического единства, а в классовом обществе, разделяемом непримиримыми противоречиями. Калединых, красновых, листницких, коршуновых никто и никакая «связь» не смогла бы соединить, примирить с Кошевыми и Котляровыми.

По П. Палиевскому, «судьба Мелехова показывает, что народ воевал и на стороне красных, и на стороне белых (кто же был тогда под кокардами их фуражек); но точку зрения народа как целого — формировавшегося нового единства взамен распавшегося, отчего и шла гражданская война,— вынесли, доказали и объединили собой красные».

Дело здесь не только в терминологии. Дело в существе. Можно ли уподоблять судьбу Григория Мелехова судьбе на-

рода в революции?! Да еще в таком категорическом контексте: «...народ воевал и на стороне красных, и на стороне белых»! Вновь встречаешься с идеей о том, что революция якобы означала раскол «внутри народа». Сам народ для П. Палиевского нечто единое в своей судьбе, в своих идеалах и стремлениях. Но достаточно обратиться к «Тихому Дону», чтобы увидеть, как отчетливо дифференцируется Шолоховым понятие народа.

В одной из первых рецензий на два тома «Тихого Дона» Шолохова А. Серафимович говорил о том духе классовой борьбы, которым проникнуто это произведение. Революционный народ представлен в «Тихом Доне» большевиками, красноармейцами, матросами, казачьей массой, ставшей на сторону революции, такими героями романа, как Котляров, Кошевой, Штокман, Лихачев и другие. Колеблющаяся народная масса, настроения которой в ряде моментов выражал и Григорий Мелехов, проходит тернистый путь исканий. Но не в силу того, что она искала некую утраченную «мистическую связь», а потому, что заблуждалась и страдала из-за этих своих ошибок и заблуждений.

Не буду касаться других сторон статьи П. Палиевского.

Несомненно, одаренный критик задался важной целью определить мировое значение М. Шолохова. Думаю, что успех не был достигнут прежде всего потому, что исходные методологические принципы автора были лишены объективных социально-исторических критериев.

В. И. Ленин, определяя мировое значение творчества Л. Толстого, мерил его огромными историческими масштабами русской революции. Слабые и сильные стороны мировоззрения Толстого, художественный гений его — все было охарактеризовано не само по себе, а сопоставлено с ходом исторического процесса. Объяснено и истолковано во всей социальной значимости тех сил, которые пришли в движение.

Писатель не может быть понят вне времени. Марксистско-ленинская методология основана на конкретно-историческом изучении явлений искусства. Она вскрывает обусловленность эстетических явлений всей совокупностью тех воздействий, тех «биотоков», которые идут от эпохи.

Вечное, общечеловеческое обретает свое существование в конкретно-историческом, социально-обусловленном.

Методологическое значение таких работ, как статьи В. И. Ленина о Толстом, как раз и определяется принципами подхода, сущностью анализа, характером выводов, вскрывающих обусловленность искусства социальной действительностью.

Научность и объективность литературной критики могут основываться только на прочном теоретическом фундаменте. Единство социологического и эстетического подходов — в самой природе марксистско-ленинской критики. Мы много раз говорили о важности в повседневной литературной практике утверждать это единство. И все же часто не используем то, без чего невозможно добиться научности и объективности.

Мы часто говорим о сложности литературного процесса, о необходимости изучать те соединительные нити, без которых невозможно понять, как соотносятся литература и жизнь. Дискуссии, обсуждения стали неотъемлемой частью нашего сегодняшнего литературного бытия. «Вопросы литературы», «Литературная газета», «Литературное обозрение» публикуют диалоги, статьи авторов, которые спорят между собою. И все же нередко дискуссии оказываются бесплодными, потому что спорящие как бы не слышат друг друга. Создается такое впечатление, будто ты оказываешься в лесу. Каждый вроде не слышит другого и поет свое.

Особенно возрастает значение научных и объективных критериев при оценке тех явлений, которые связаны с новаторскими поисками. Мы наблюдаем заметные качественные сдвиги, которые проявились и в жанровой форме и в стилевом содержании нашей современной литературы. Иногда эти новаторские поиски более скрыты, иногда они более отчетливы.

Но всегда ли точно критика определяет тот объект, который может дать представление о характерном для литературного движения? Несколько раз, например, за последние годы объектом дискуссий становились произведения А. Битова. Достаточно вспомнить о спорах, которые развернулись вокруг таких произведений А. Битова, как «Пенелопа», «Колесо» и «Солдат».

«Литературная газета» в 1973 году отвела довольно большое место для дискуссии

о произведениях А. Битова. Мне показалось, что оба участника этой дискуссии — Вс. Сахаров и А. Марченко — оказались как бы завороженными самим фактом обнаруженных ими поисков формы. Причем этим поискам воздается непомерно много. Вс. Сахаров трактует их прямо-таки в мистических сопоставлениях: «Творческая лаборатория Битова представляется мне кельей средневекового алхимика, ищущего упорно «философский камень», некий «абсолют», неведомый не только нам, но и ему самому»[12]. Простим этот чрезмерный пафос, за которым, право же, так же мало сущностного, как и в изобретениях алхимиков. Обратим внимание на сам принцип подхода к творчеству писателя. Это подход декларативно-эстетический: я вижу что-то новое, оно меня привлекает, и я его пытаюсь понять, оставаясь в кругу чисто эстетических проблем и понятий.

По этому же пути идет и А. Марченко. «Суть стилистических поисков Битова,— утверждает она,— отрицание стиля как совокупности приемов, как выучки или ремесла»[13].

Но за этими утверждениями ничего не стоит. Это фраза, взятая напрокат, мелькавшая по разному поводу и в разных случаях. Вс. Сахаров попытался выйти из сферы «опытов алхимика», попытался указать на ограниченность художественного мира Битова. И все же оба критика, принимавшие участие в дискуссии, подходили, по сути, к прозе Битова с одинаковых позиций.

А. Битов-стилист привлек главное внимание. Не был поставлен вопрос о соотношении стилевых поисков со всем содержанием и направлением творчества писателя. «Действительность» художественного произведения заслонила то, что было источником — понимание писателем жизненных явлений. «Эксперимент» мог приниматься, мог отвергаться, возникали отдельные разногласия между Вс. Сахаровым и А. Марченко, но при этом вопрос о соотношении вымысла и сущего как бы считался уже решенным. Когда же оба критика попытались проанализировать одно из последних произведений Битова, опубликованное в журнале «Звезда»—рассказ «Солдат» (1973, № 7),— оставаясь в сфере чисто эстетических суждений о поисках стиля, об «алхимии прозы», то они не смогли высказать ничего существенного, важного для понимания литературного процесса.

Как же можно иначе определить сущность новаторских поисков писателя? Новаторских по отношению к чему? Если только это новаторство «внутри», связано с «саморазвитием» писателя, то оно вряд ли может представить общественный интерес. Если же эти поиски и открытия важны для литературы, то они могут быть поняты именно как поиск, как открытие только при осознании характера и направления всего движения.

Масштабность исторического мышления и подхода — важнейшее условие работы критика, обратившегося к изучению тех явлений, которые представляются новыми и необычными.

Эстетическая же критика ограничивается, как правило, одним произведением или творчеством одного писателя. Она не видит связей и обусловленностей.

А. Марченко увидела, как в рассказе Битова «исчезает и дядя Митя, и дядя Диккенс и возникает новое изображение — образ Солдата, отвоевавшего все выпавшие на долю русского XX века войны». По Вс. Сахарову, «в центре «Солдата» — обаятельный, чрезвычайно симпатичный Битову дядя Диккенс, умевший жить собственной жизнью, быть всегда верным себе и своему героическому времени». Но читаешь рассказ А. Битова и видишь, как писатель мельчит судьбу. Мельчит человека. Какой уж там Солдат! Странная смесь провинциального кавалерства предреволюционной поры с судьбой, сочиненной, не знаю, автором ли, или стечением обстоятельств.

Мне кажется, что дядя Диккенс, герой рассказа А. Битова,— это попытка перенести авторское мироощущение, временами неустойчиво-зыбкое, сентиментально-романтическое, под защитную броню солдатской судьбы. Человек и время разорваны и разъединены. Противоречия времени как бы заслонены неумирающей историей, в которой «он» и «она» и все те же вечные— он любит ее, она не любит его. И давняя история о том, как была выкрадена невеста, которая потом в буран и вьюгу запросилась домой: «Хочу к маменьке, хочу домой».

Вот что, оказывается, скрыто, как убеждает нас автор, за гранитным постаментом, за бронзовостью внешне ярко прочерчен-

[12] «Литературная газета» от 3 октября 1973 года. «Алхимия прозы».

[13] Там же. «Металлический вкус подлинности».

ной жизни: война (все войны! — и мировая, и гражданская, и финская, и Отечественная с ее финалом на Дальнем Востоке). В рассказе идет информация о переездах, которые были со стройки на стройку, об отзвуках каких-то подвигов и одиночестве — отутюженном, отглаженном, пытающемся сохранить достоинство. Пьяная тоска вечеров.

Тут даже спорить не хочется с А. Битовым. Сложное никогда еще не рождалось по принципу разъятия и смешения. Человеческая судьба — не цветные треугольнички, которые встряхивают, как в детской игрушке. Из них не складывается судьба. Запах лаванды и серебряный гребешок — слабое оружие против «бетонности» и ложной монументальности в искусстве.

Критика не может проходить мимо такого рода поисков. Она может их принимать или не одобрять, но она должна объяснить читателю их смысл, их значение в контексте литературного произведения.

Эстетический анализ — гибкий инструмент познания внутренней структуры произведения не в его формальных признаках, а в самом существенном: в характере поэтического мышления. Стиль обусловлен поэтическим мышлением художника и, в конечном счете, содержанием эстетического идеала, целью творчества.

Изоляция художественного произведения или творчества данного писателя от сущностных категорий времени может приводить лишь к обманчивому пониманию. Несущественное на таком уровне анализа может предстать важным и значительным, а существенное, социально весомое, психологически глубокое может потерять свою истинную ценность.

Словенский критик и литературовед Т. Кермаунер в статье «О критическом прочтении текста», опубликованной в журнале «Проблеми», утверждал, что современной критике необходим параллельный анализ двумя методами — «структуралистским и философским (марксистским)». С этим нельзя согласиться. Дело в том, что марксистский метод выработал свои всеобъемлющие принципы анализа художественного произведения. Причем такие, которые позволяют проанализировать художественные произведения в единстве его содержания и формы.

Мы отрицаем «автономность» художественного произведения. Советская литературная критика стремится установить и осмыслить генетические связи. Типологическое изучение литературы, развившееся в последние годы, основано на историко-сравнительных принципах исследования. Они позволяют нам увидеть взаимосвязь и обусловленность развития искусства. Только при единстве синхронного и диахронного подходов исследования мы сможем верно оценить и отдельные произведения, и литературные школы, и отдельные направления.

Я остановился лишь на некоторых проблемах современной литературной критики. Методология литературной критики пока еще не существует как отдельная теоретическая дисциплина. Разработка методологических принципов исследования должна помогать нам глубже и полнее оценивать опыт искусства, чтобы воздействовать на него и помогать движению его.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ПОГОНЯ ЗА КОНФУЦИЕМ

КНР

Кан Ли, «Конфуций в Москве» («Хунци», 1974, № 1).

★

В Китае проходит очередное маоистское мероприятие: критика Линь Бяо и Конфуция. «Жэньминь жибао» торжественно объявила, что кампания проводится под руководством самого Мао Цзэ-дуна. Конфуция разыскивают повсюду. Псевдоним Кан Ли уверяет в своей статье, будто изгнанная тень древнего философа, скончавшегося в 479 году до н. э., ныне обрела пристанище... в Москве. Он уверяет, что в СССР поклоняются Конфуцию.

Кан Ли с иронией пишет о том, что Конфуций и при жизни не сумел сделать карьеру у себя на родине. Разочарованный, отвергнутый княжескими дворами философ, непризнанный политик, которому не позволили провести в жизнь свои идеи собственными руками,— в минуту отчаяния Конфуций говорил, что готов покинуть Китай, и Кан Ли за это его высмеивает. Теперь же, когда прошло чуть ли не две тысячи пятьсот лет, в Китае изгоняют Конфуция с помощью массовой политической кампании, но мудрецу, дескать, повезло: в Москве о нем помнят и пишут научные статьи, в которых называют его «государственным деятелем».

С одной стороны, всякого, кто упоминал о Конфуции, Кэн Ли объявляет реакционером, но, с другой стороны, он старается подбирать лестные высказывания о Конфуции лишь патентованных реакционеров вроде Юань Ши-кая, который в 1916 году объявил себя императором Китая и процарствовал восемьдесят три дня.

Кан Ли раздражен тем, что Конфуций осуждал деспотизм и произвол, и объявляет его за это лицемером. Кан Ли глубоко симпатизирует политико-философской школе легалистов-законников, которые в древнем Китае выступали против конфуцианства и создали стройную теорию, оправдывающую деспотическую власть государя. В тех же видах Кан Ли намеренно путает понятия диктатуры класса и политического строя. Послушать его, так диктатура любого класса может быть выражена политически лишь единоличной диктатурой, подобной правлению древних китайских императоров или режиму личной власти Мао Цзэ-дуна в современном Китае.

В ходе новой кампании среди политической трескотни, в длинных пропагандистских статьях маоистской прессы наговорено столько, что уже можно разобраться что к чему и высказать первые соображения о мотивах кампании и тех обстоятельствах, которые приводят к столь экстравагантным, иррациональным заявлениям, к погоне за Конфуцием.

В отчетном докладе Чжоу Энь-лая X съезду КПК Линь Бяо был назван «авантюристом, интриганом, двурушником, предателем и изменником». Чтобы очернить Линь Бяо, его посмертно назвали «советским супершпионом». Маоисты всемерно старались использовать дело Линь Бяо для того, чтобы нагнетать напряженность в советско-китайских

отношениях и, как открыто писала китайская печать, воспитывать «национальную ненависть» к советскому народу[1].

Однако, как ни странно, массовая кампания против Линь Бяо оказалась прямо связанной с именем Конфуция, древнекитайского мыслителя, основателя конфуцианства, которое с течением времени стало официальной идеологией императорского Китая, господствовавшей в стране две тысячи лет. Кан Ли пишет: «Линь Бяо не читал ни книг, ни газет, погрузившись в изучение конфуцианства»[2].

Дело Линь Бяо, завершившееся его гибелью в сентябре 1971 года, потрясло Китай. Ведь миллионам китайцев Линь Бяо был известен как преемник, ближайший соратник, самый верный ученик Мао Цзэ-дуна. Линь Бяо и на самом деле, как говорил Чжоу Энь-лай в отчетном докладе маоистскому съезду, «не выпускал из рук цитатника и не закрывая рта возглашал здравицы». Линь Бяо как тень сопровождал Мао Цзэ-дуна в годы «культурной революции» во всех официальных репортажах, кинофильмах, на парадных фотографиях и картинах. Маоистская пропаганда тогда старалась представить их неразлучными. Падение Линь Бяо было для миллионов китайцев, не посвященных в тайны междоусобных распрей высшего руководства, громом средь ясного неба. Стало ясно, что не существует непогрешимого, всепонимающего, дальновидного и мудрого Мао Цзэ-дуна, способного разрешить любое сомнение подходящей к случаю цитатой. Оказалось, что великий Мао Цзэ-дун не имел представления о том, что рядом с ним долгие годы — несколько десятков лет — находился не преданный соратник и лучший ученик, а авантюрист, интриган, двурушник, предатель и изменник Линь Бяо. Раздоры среди высшего руководства, непрочность маоистского «нового порядка» стали ясны для тех, кто прежде не смел об этом и помыслить.

Чтобы справиться со смятением умов и, главное, всемерно развенчать Линь Бяо, в прошлом одного из талантливейших китайских военачальников, чья армия в годы гражданской войны, не зная поражений, победоносно прошла с севера на юг через всю страну, маоисты, себе на горе, предали гласности захваченные у Линь Бяо бумаги. И хотя документы не были полностью опубликованы в официальной печати, с ними так или иначе познакомился широкий круг лиц. Это знакомство вряд ли было бы возможно без санкции наивысшего руководства. В пекинских же газетах публикуются выдержки из документа под названием «Протокол объекта 571» и из наставлений Линь Бяо своему сыну. Тут следует упомянуть, что по-китайски цифра «571» звучит в произношении весьма близко к словам «вооруженное восстание». Этого оказалось достаточно, чтобы Линь Бяо обвинили в попытке устроить военный переворот в Пекине.

Итак, документы Линь Бяо доступны только в отрывках, причем эти отрывки отобраны его врагами с целью опорочить и изобличить Линь Бяо. Тем не менее и эти высказывания Линь Бяо свидетельствуют о его позиции и прежде всего опровергают нагромождения лжи, в которой путается маоистская пропаганда.

Оказалось, что документы Линь Бяо (как приватные вроде надписей на стенах его клозета, ныне бесстыдно опубликованные в качестве улик, так и предназначенные для узкого круга друзей вроде уже упоминавшегося протокола) пронизаны конфуцианским духом. «Линь Бяо утверждал, что конфуцианские принципы «добродетели, благоволения, любви, верности, искренности» суть принципы «человеческих взаимоотношений», он говорил, что в этом и заключается «исторический материализм» (! — *А. Ж.*), говорил также, что «конфуцианский принцип — благоволением и любовью отвечать на верность, великодушием и милосердием — на искренность»[3]. Линь Бяо под флагом «требовать для народа права на существование» требовал «амнистии», говорил, что «всем надо предоставить политическое освобождение»[4]. Линь Бяо писал: «Если и не добьемся успеха, то станем известны как доброжелатели народа»[5]. Подчеркивая жестокость и деспотизм Мао Цзэ-дуна в своих приватных бумагах, Линь Бяо называл его «новым Цинь Ши-хуаном», сравнив его со свирепым и кровожадным деспотом китайской древней истории.

---

[1] «Гуанмин жибао» от 13 декабря 1973 года.
[2] «Хунци», 1974, № 1.
[3] «Хунци», 1974, № 2.
[4] «Жэньминь жибао» от 21 января 1974 года.
[5] «Хунци», 1974, № 2

По приведенным отрывкам можно судить о тех мотивах, которыми руководствовался Линь Бяо, вступая в борьбу за власть с Мао Цзэ-дуном. Гибель Линь Бяо раскрыла его платформу более широкому кругу людей, а это привело к серьезным последствиям. Маоисты столкнулись с неприятным для них фактом: обвинения Линь Бяо в адрес Мао Цзэ-дуна, причины его недовольства произвели глубокое впечатление даже на их собственную среду. Апелляция к историческим примерам, опора на традиционную китайскую политическую философию, демонстрация неудач маоистского курса в решении насущных вопросов благосостояния народа (а в Китае прожиточный минимум — проблема проблем) — все это не могло не воздействовать на умы людей. Вот почему маоистам пришлось развернуть массовую критическую кампанию и против Линь Бяо и против Конфуция одновременно. «Критикуя Линя, надо критиковать Куна[6], корчуя дерево, надо выкорчевывать корни» — под такой шапкой «Женьминь жибао» 9 февраля 1974 года поместила материалы кампании.

Судя по приведенным материалам, критикой Конфуция пришлось заняться волей-неволей. Эта критика сочеталась с официальным восхвалением древнего императора, создателя объединенной китайской империи Цинь Ши-хуана. Маоисты не решились отрицать явного сходства между Цинь Ши-хуаном и Мао Цзэ-дуном и предпочли заняться оправданием деспота. Надо сказать, что история дает мало возможностей для оправдания Цинь Ши-хуана, хотя при правлении Цинь Ши-хуана (246—210 гг. до н. э.) было достигнуто объединение страны, введено деление империи на уезды, единая система мер, унифицирована письменность, что было несомненно прогрессивно, но установленные в империи порядки отличались крайней суровостью, наказания были жестокими, строительство дорог и Великой китайской стены разорило народ. Сооружались пышные дворцы и гробницы, на границах содержались армии в десятки тысяч воинов, недовольство народа подавлялось беспощадными расправами. Законы Циньской империи были принципиально беспощадными и не знали снисхождения.

Труднее всего маоистским апологетам деспотизма Цинь Ши-хуана было, однако, оправдать указ о сожжении книг, находящихся во владении частных лиц. За нарушение этого запрета в 213 году до н. э. закопали заживо в землю около 460 конфуцианских ученых, а широкое народное недовольство привело к победоносному восстанию, в результате которого всего три года спустя после смерти основателя империи династия циньских императоров была свергнута, а последний император убит.

Кричащую, очевидную аналогию между сожжением книг Цинь Ши-хуаном и сожжением книг во время «культурной революции» в Китае не отрицает никто, даже сами маоисты. Но если такую аналогию принять, то последовавшее всего через шесть лет после сожжения книг падение династии оказывается прямым историческим предупреждением, грозным предсказанием непрочности, эфемерности маоистского «нового порядка». Несмотря на широкий размах кампании и массу опубликованных статей, маоисты так и не смогли выбраться из противоречий, не смогли разрешить в свою пользу задачу, поставленную перед ними китайской древней историей.

В Китае до сих пор распространено традиционное восприятие истории как урока прошлого на будущее, как зерцала веков, которое предупреждает об опасностях и способно предотвратить политические ошибки, если правитель внемлет историческому опыту. Такое восприятие традиционно свойственно китайскому народу — как маоистам, так и их противникам. Воздействие исторического примера — гибели династии Цинь, политика которой, чего не отрицают маоисты, сходна с их собственной,— серьезный фактор во внутриполитической обстановке Китая, который может сказаться на отношении народа к курсу Мао Цзэ-дуна и его деспотическим методам управления страной.

Пекинскому руководству необходимо было дать точное и строгое предписание, как трактовать это событие в духе официальной доктрины, «идей Мао Цзэ-дуна». И вот появилась установочная статья с характерным названием «Как правильно понять сожжение книг и закапывание ученых заживо Цинь Ши-хуаном?» Маоистский автор, стремясь обелить эти акты деспотизма, пишет: «В указе о сожжении книг главный

---

[6] Кун, или Кун-цзы, или Кун Лао-эр — так именуют теперь в Китае Конфуция. Прежнее имя Кун Фу-цзы теперь малоупотребительно, так как считается слишком уважительным.

упор был вовсе не на сожжении книг, а на их запрещении. Указ запрещал клеветать на новый строй, укреплял централизацию власти через систему уездов, и смеем утверждать, что книг, подлежащих сожжению, было немного. Множество исторических книг, собранных в императорском дворце, а также сочинения философов не были сожжены; не сжигались книги по медицине, гаданию и сельскому хозяйству... Это была мера по развитию феодальной культуры... Клевещут, будто Цинь Ши-хуан, сжигая книги, хотел «полностью ликвидировать образование и культуру». Это бесстыдная клевета, искажающая историческую истину. Он закопал заживо не более 460 ученых. Удар не был доведен до конца... [7].

Совершенно очевидно, что реабилитация кровавого деспота китайской древности призвана обелить и оправдать вандализм «культурной революции», освятить деятельность маоистов национальной традицией.

В разгар кампании китайская печать перешла от оправданий Цинь Ши-хуана к прямым восхвалениям: «Цинь Ши-хуан, приказав «сжечь книги и заживо закопать ученых», революционными методами подавил попытки реставраторства со стороны учеников Конфуция и Мэнцзы, совершил революцию в сфере надстройки, установив диктатуру в сфере идеологии и культуры» [8].

Так маоисты в своих статьях превратили императора древнего Китая в «революционера в сфере надстройки». Одобряя расправу с учеными-конфуцианцами, они опирались на высший авторитет. Ведь сам Мао Цзэ-дун говорил на пленуме ЦК КПК в 1958 году: «Цинь Ши-хуан закопал живьем всего только 460 конфуцианцев. Однако ему далеко до нас. Мы во время чистки расправились с несколькими десятками тысяч человек. Мы поступили, как десять циньшихуанов. Я утверждаю, что мы почище Цинь Ши-хуана. Тот закопал 460 человек, а мы — 46 тысяч, в сто раз больше. Нас ругают, называют циньшихуанами, узурпаторами. Мы это признаем и считаем, что еще мало сделали в этом отношении, можно сделать еще больше» (сборник «Да здравствуют идеи Мао Цзэ-дуна». Пекин. 1967). Развивая это высказывание Мао Цзэ-дуна, маоисты признали свое духовное родство с Цинь Ши-хуаном и принялись всемерно оправдывать его, безудержно понося Конфуция и конфуцианство. Не поиск истины, а политическая установка момента господствует во всех антиконфуцианских статьях.

Наследники «культурной революции» с пеной у рта отрицают всякую связь между падением династии и ее жестоким, невыносимым для народа деспотизмом, желая уверить себя, что история не может повториться вновь. Так, в статье известного и серьезного историка Гао Хэна, которая обильно цитирует исторические материалы, дается заключительный абзац, абсолютно не вытекающий из основного текста статьи. В нем читаем: «Борьба продолжается и сегодня, после Освобождения. Политические обманщики типа Лю Шао-ци и Линь Бяо стоят на позициях класса эксплуататоров, выступают против курса на социалистическую революцию, а потому пропагандируют Конфуция и учение конфуцианцев, чтобы бороться против идей Мао Цзэ-дуна, хотят раздуть черный ветер из конфуцианского притона, чтобы поколебать высоко поднятое пятизвездное знамя, сеют черное учение конфуцианского притона, чтобы затмить недавно взошедшее красное солнце» [9].

Этот абзац обнажает действительные причины антиконфуцианской кампании, а именно — желание продолжить «культурную революцию» и бороться с теми силами внутри КПК, которые понимают необходимость преодоления маоистского курса.

Однако маоистов больше всего тревожит постоянно присутствующая в умах людей мысль о том, что деяния Цинь Ши-хуана закончились крахом династии, что пример его — дурной пример хотя бы потому, что приводит к печальному результату. Эта историческая аналогия, отрицать которую не берутся они сами, крайне неприятна для маоистской пропаганды, ибо она не позволяет ей свести концы с концами. В статье под выразительным заглавием «О деспотизме Цинь Ши-хуана», написанной коллективно «критическими бригадами» Пекинского университета и университета Цинхуа, маоистов деспотизм сам по себе ничуть не тревожит, их тревожит лишь пе-

[7] «Гуанмин жибао» от 29 октября 1973 года.
[8] «Жэньминь жибао» от 24 января 1974 года.
[9] «Гуанмин жибао» от 31 октября 1973 года.

чальный конец Циньской династии, ее быстрый, катастрофический крах в огне гражданской войны: «Действительно ли революционное насилие Цинь Ши-хуана привело к гибели династию Цинь? Действительно ли пламя сожженных книг спалило его императорский дом? Какое отношение имеет сожжение книг и закапывание конфуцианцев в землю заживо к сохранению престола домом Цинь Ши-хуана?!» — риторически вопрошают «критические бригады»[10].

Но ответ на риторические вопросы маоистских бригад известен давным-давно, этот ответ был дан еще в глубокой древности. Размышляя над причинами гибели династии Цинь, ханьский конфуцианец Цзя И писал две тысячи двести лет назад: «...[Цинь Ши-хуан] сжег слова ста авторов, чтобы оглупить черноголовых (простой народ.— *А. Ж.*)... Хотел поставить сыновей и внуков царями и императорами на десять тысяч поколений... Но один простолюдин поднял бунт — и рухнули семь родовых храмов [правитель] пал от руки подданных и стал посмешищем для всей Поднебесной. Почему? Пренебрегали благоволением и долгом [перед людьми], а завоевание власти и сохранение власти требуют разной [политики]»[11]. Перечислив ниже многочисленные политические ошибки циньского императора, Цзя И указал на прямую связь его политики и последовавшего краха: «Циньский царь запретил книги и ужесточил законы и наказания, поставил насилие над благоволением и долгом, сделал деспотизм и жестокость первоначалом Поднебесной»[12].

Актуальность этих рассуждений более чем двухтысячелетней давности поразительна и лишний раз убеждает в жизненности традиций китайской культуры. Историческое прошлое, даже столь давнее, оказывается в фокусе политической кампании, преследующей конкретную цель: обеспечить удержание власти в руках маоистской группировки.

В этих условиях понятен еще один пируэт китайской пропаганды, которая решила «бороться с конфуцианцами»... в Москве. Ведь поскольку Линь Бяо, соперник Мао Цзэ-дуна в междоусобной борьбе за власть, оказался «конфуцианцем», слепая логика антисоветизма заставляет пекинскую пропаганду пуститься на розыски Конфуция в СССР. Источником сведений для всех опубликованных за последние месяцы антисоветских статей оказался обзор агентства Синьхуа[13].

Китайские журналисты бегло ознакомились с научной литературой и повыбирали отдельные фразы, которые им показалось выгодным процитировать в заданных целях. Они обнаружили, что еще в царской России в энциклопедическом словаре конца прошлого века было отмечено, что конфуцианцы стремились ограничить царскую власть. Или недавно в статье, опубликованной в журнале «Проблемы Дальнего Востока», Конфуций назван «тонким и умным политиком»[14]. Подобных примеров оказалось достаточно, чтобы Синьхуа начало твердить о «почитании Конфуция» в СССР. Но конфуцианство наравне с другими течениями общественной мысли и религиозными вероучениями служит для советской науки объектом исследования. И, надо сказать, в этом вопросе существуют серьезные расхождения во мнениях, советское китаеведение еще не выработало единого, общего взгляда на конфуцианство

Но одно дело исторический анализ, а другое — поиск исторических параллелей для оправдания политического курса и таких деяний, как сожжение книг в XX веке или запрет на культуру для многосотмиллионного народа, что практиковали маоисты в период «культурной революции» и от чего они не намерены отказаться по сей день.

Изучение конфуцианства в СССР проводится серьезно, вне поиска «оправданий» или «аргументов», чем всецело поглощена маоистская кампания. Для изучения Конфуция вовсе не обязательно поклоняться ему и «чтить» его так, как чтят Мао Цзэ-дуна в Китае. Изображение Конфуция и конфуцианства одной черной краской, а императора Цинь Ши-хуана — одним красным цветом ни на шаг не приблизит к исторической

---

[10] «Жэньминь жибао» от 21 января 1974 года.

[11] Цит. по кн.: Сыма Цянь. Исторические записки (Ши-цзи). Пекин. 1959, т. 1.

[12] Там же.

[13] «Жэньминь жибао» от 22 февраля 1974 года.

[14] Л. С. Переломов. О сущности легизма. «Проблемы Дальнего Востока», 1973, № 2.

истине и не поможет понять ни подлинного значения этих фигур, ни смысла древней китайской истории. Тот факт, что недавно впервые в СССР издан полностью перевод основного первоисточника «Лунь юй»[15], свидетельствует лишь о внимании к культурному наследию китайского народа в СССР в духе ленинского завета об овладении всем богатством культуры прошлого. Интерес к философскому наследию древнего Китая безусловно говорит о росте культуры в нашей стране в целом, о приобщении советских людей ко все более широкому кругу духовных ценностей, в том числе и созданных китайским народом за четыре тысячелетия китайской цивилизации.

Статья Кан Ли еще раз свидетельствует о слепом антисоветизме пекинского руководства, его стремлении пронизать антисоветской пропагандой любую кампанию. В своем усердии пропагандисты доходят до прямых нелепостей вроде погони за Конфуцием по страницам китаеведческих научных статей, откуда выхватываются отдельные фразы и выражения. Но вряд ли такая погоня убедит кого-нибудь. Разница между изучением конфуцианства и «почитанием Конфуция» в том смысле, как оно понимается в современном Китае, слишком велика.

Никакими политическими кампаниями, сколь бы массовыми они ни были, маоистам не удастся погрузить китайский народ в тьму невежества. Кампании приходят и уходят, и китайские ученые в будущем сами внесут свой решающий вклад в разработку на подлинно научно-исторической основе, свободной от крикливой кампанейщины, существенных проблем наследия древнего Китая, и конфуцианского учения в том числе.

---

[15] «Древнекитайская философия». Перевод и вступление В. А. Кривцова. М. «Мысль». 1972, т. 1.

А. ЖЕЛОХОВЦЕВ.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Елисеева. Лично ответствен.— **Елена Клепикова.** Север сокровенный.— **Л. Антопольский.** Нет контакта. — **Рейнер Розенберг.** О марксистском наследии — современно — **Л. Лазарев.** Это печаталось в газете.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Л. Леонтьев Троянский конь антикоммунизма. — **И. Кон.** Этнос и этнография.

Литература и искусство

ЛИЧНО ОТВЕТСТВЕН

Григорий Медынский. Избранные произведения в двух томах. М. «Художественная литература». 1973. Т. 1, 448 стр. Т. 2, 624 стр.

Любое, самое простейшее по сюжету судебное дело содержит в себе некую тайну, которую не всегда удается раскрыть до конца на судебном процессе.

Речь не о том, что в ходе процесса так и не удается порой до конца обнаружить истину, и не о судебных ошибках, к сожалению, еще не изжитых. Нет! Возьмем типичный случай. Суд, прокуратура, следователь в строгом соответствии с основами советского социалистического правосудия провели полное и объективное исследование обстоятельств дела. Выявили все «уличающие и оправдывающие, отягчающие и смягчающие» вину обстоятельства. И вот вынесен приговор — суровый и справедливый. Конвоиры увели юного правонарушителя, так и не поднявшего глаз за долгие часы процесса. Лишь пронзительный материнский вскрик, догнавший его у дверей, заставил преступника испуганно оглянуться (не этот ли миг и стал для него началом отрезвления!). Опустел судебный зал до следующего дела. Все как будто ясно...

Да так ли уж ясно!

За строками судебного приговора осталась неизученной целая жизнь в шестнадцать — восемнадцать мальчишеских лет. Как втиснешь в судебный процесс, как исследуешь в краткие его часы день за днем, год за годом все, что накладывало свой отпечаток на психику, что приглушало совесть, толкало, вело, подготавливало к преступлению? Как совершилось нравственное падение и почему, оказавшись в сложной ситуации перед выбором — куда идти, человек свернул с прямой дороги в топь, оказался нравственно и духовно беззащитным перед лицом житейских испытаний?

Мучительные вопросы, постоянно тревожащие ум, сердце каждого из нас, ибо, как ни мал процент правонарушений в стране, исчисляется-то он в человеческих единицах!

В писательской судьбе Григория Медынского раздумья над мучительными вопросами, связанными не столько с воспитанием, сколько с перевоспитанием человека, над главнейшей педагогической проблемой — нравственного здоровья человека — стали на известном этапе определяющими.

Не сразу и не легким путем пришел писа-

тель к своим трудным книгам. О своих сомнениях, тревогах, долгих внутренних борениях он рассказывает в предисловии ко второму тому, содержащему публицистические работы. Это очень искренняя, мужественная и гражданственно страстная исповедь — размышление о долге писателя, его позиции, личной ответственности за человека. В ней читатель найдет и ответ на вопрос, что же побудило писателя, работавшего до того, как сам он пишет, «над темой счастливой, светлой юности, утверждающей себя и свое будущее в труде, в учении, в стремлении осуществить самые смелые возможности («Повесть о юности».— *В. Е.*)», обратить свой мысленный взор на другую — темную сторону жизни. Обратить вопреки не изжитой в то время в нашей критике прямолинейно-вульгаризаторской тенденции рассматривать едва ли не всякое обращение писателя к жизненно острым конфликтам современности как упадничество, очернение действительности. Полемику с подобными радетелями лакировочной литературы Г. Медынский неустанно ведет своими публицистическими, художественными произведениями, выступлениями в периодической печати, в устных речах при встречах с читателями.

Может ли писатель вводить в свою книгу оступившихся в жизни? — задал себе Г. Медынский вопрос, оказавшись однажды в зале судебного заседания, когда там шел процесс, сходный с тем, о котором я рассказала в начале статьи. Может быть, это превратное, искаженное, извращенное видение? Разве в этом наша жизнь?

Нет, отвечал он себе, не в этом, но это есть в нашей жизни. «Так что же делать? Пройти мимо? Это, конечно, спокойнее, но это значит примириться со злом. А какой же я тогда писатель, гражданин и просто человек? А как же художнику бороться со злом, если не раскрывать и не обличать его средствами искусства?.. В чем же заключается пафос революции и моральная сила коммунистического идеала, как не в преодолении зла и в торжестве всего лучшего, честного, сознательного и передового».

Так утверждалась тема, продиктованная частным случаем, за которым писатель увидел общественно значимую проблему. С подлинно короленковской страстью погрузился он в дотоле незнакомый для него мир, чтобы изучать, действовать и неустанно — как художник, как публицист, как гражданин — пропагандировать, отстаивать гуманистические принципы нашего общества.

...Милиция задержала группу преступников, в которую входило и несколько учащихся старших классов. Жизнь столкнула Медынского с этим судебным делом, заставив его наряду с юридическим следствием повести свое, писательское следствие, избрав из всего множества аспектов изучения преступности наиболее близкие ему, литератору-педагогу, области — этическую, социальную, психофизическую. Вот как он сам описывает, что служило ему творческой лабораторией для будущей повести «Честь»: «Хожу по семьям, школам, изучаю обстановку, окружение провинившихся ребят, беседую с прокурорами, адвокатами, присутствую на суде, потом получаю доступ в тюрьмы, встречаюсь там со своими «клиентами», а попутно и с другими представителями преступного мира. Затем еду в детскую трудовую колонию, изучаю там постановку воспитательского дела, весь педагогический процесс и его результаты».

Только страстная убежденность в общественной значимости поставленной перед собой цели давала писателю силы, терпение вести месяцы, годы подобную исследовательскую работу. Тяжкий, подчас невыносимо тяжкий труд! Были минуты, когда иное собеседование с нравственно искалеченным подростком, оказавшимся за тюремной решеткой, вызывало такую душевную боль, что, как признается Г. Медынский, не хватало дыхания и он, распахивая ворот рубахи, просил парня: «Подожди немного, давай передохнем!» И хотя, читаем мы в одной из статей писателя, в подавляющем большинстве своем бывшие преступники выходят из колонии настоящими людьми, твердо вступившими на правильную дорогу, его не оставляет тревога за их будущее, и он неизменно прослеживает их дальнейшие судьбы.

Нашел ли писатель в этих долгих исканиях ответ на свои тревожные «почему»? Почему ребята, не знавшие нужды, выросшие при советской власти, так бездумно, так легко пошли на преступление, нарушив нравственные законы нашего общества? Ведь как бы ни был противен хулиган или преступник, пишет Г. Медынский, родился он у нас, учился у нас, и у нас же он стал «таким». Почему?.. «Предопределение? Обреченность? Судьба? Папа с мамой недосмотрели? Сам виноват? Или всесильные гены?»

Как возникла пугающая шаткость нравственных устоев, бездумность: толкни — и упадет. Как оказался в плену полной бездуховности юноша, получивший среднее образование? Почему равные социальные и педагогические условия дают столь разительно контрастные результаты?

Ох, какие это все не простые вопросы! А ответа на них однозначного нет и быть не может при всех неоспоримо огромных достижениях нашего общества, советской науки в изучении и борьбе с преступностью. Но есть и будут нерешенные проблемы, связанные с ней и требующие к себе постоянного пристального внимания общественности, ученых, писателей, педагогов, родителей. Многие из этих проблем и нашли сильное, острозлободневное художественное и публицистическое воплощение в произведениях, вошедших в двухтомник Г. Медынского. Разумеется, мы не можем, не должны снимать вину ни с папы, ни с мамы и ни с самого преступника, пишет он, «но если мы серьезные общественные деятели, марксисты, то мы не можем не видеть и не искать за проступком человека целый комплекс разнообразных причин и условий, в которых нужно разобраться, чтобы устранить их».

Вся сложность гигантской задачи, связанной с формированием личности человека, да к тому же оказавшегося в необычной остроконфликтной ситуации, встала во весь рост перед писателем с первых же шагов работы над новым произведением о правонарушителях.

Поиски писателя ведут его в специальные научно-исследовательские институты, к ученым, педагогам. В «Трудной книге» Г. Медынский рассказывает с благодарностью о помощи, которую оказывал ему своими советами профессор П. Симонов, о дружбе с В. Сухомлинским, духовно обогатившей его.

Может быть, ни в какой иной области не дается с таким трудом продвижение вперед, как в области изучения поведения человека. Ожесточенные споры вызывают вопросы, связанные с этой проблемой. Какова специфика человеческих потребностей и инстинктов? Каким образом нормы общественной морали усваиваются личностью, становятся частицей ее внутреннего мира, фактором, направляющим поведение? Почему эти нормы соблюдаются одним членом сообщества и нарушаются другим, выросшим почти в таких же условиях? Их ставят перед собой ученые, те же вопросы возникают во всей своей сложности перед писателями, педагогами.

Раздумьями над неразгаданным в мотивах человеческого поведения, над педагогическими поисками путей, ведущих к искомой цели — формированию полноценной человеческой личности, воспитанию в человеке коммунистического общества высоких нравственных, духовных ценностей, проникнуты произведения двухтомника. Вовлекая читателя в сам процесс исследования человеческих судеб, Г. Медынский не без основания призывает не рубить сплеча при выборе средств борьбы с преступностью. Совет отнюдь не праздный, ибо ни в одной, пожалуй, области не раздаются с такой легкостью и решительностью рекомендации и советы, как в данной. При этом чем меньше обременен человек знанием предмета, тем категоричней и поспешней его приговоры. А приговоры, как бы ни разнились они по форме, чаще всего сводятся у невежественных поборников очищения общества от всяческой скверны к одной немудрой рекомендации — пожестче взыскивать, поменьше рассуждать. Без преувеличения можно сказать, что во множестве причин, мешающих если не полной ликвидации преступности в нашем обществе, то сведению ее к минимуму, подобного рода теорийки занимают не последнее место. Вот почему и в повести Г. Медынского и в его публицистике не утихает гневная полемика со сторонниками ужесточения наказания, с их позицией, будто зло уничтожается только злом, жестокостью.

Полемика, имеющая принципиально важное значение для поисков наиболее разумных методов борьбы с преступностью, выходит далеко за рамки только этой задачи. Пафос произведений Г. Медынского, главная мысль их — активная, наступательная, страстно-заинтересованная проповедь новой морали, принципов истинной человечности.

Одному из своих многочисленных корреспондентов, выразившему признательность писателю за то, что он посвятил «свое перо заключенным», Г. Медынский не без вполне понятного раздражения отвечает: «Нет, не посвящал я и не думал посвящать перо свое жизни заключенных. Я посвящаю его борьбе за здорового, светлого и сильного духом человека. И за такого человека я болею.

И чтобы помочь ему утвердиться, чтобы обнажить все трудности и опасности, лежащие на его пути, чтобы уберечь его от липнущей грязи, я занялся исследованием этой грязи — не ради ее защиты, а ради ее преодоления и искоренения, ради того, чтобы в конце концов некого было судить».

Да, герои повести «Честь» — юные правонарушители. Но произведение это по сути своей полностью отвечает творческому кредо писателя. Зародилась «Честь» в недрах светлой «Повести о юности». В свою очередь, все последующее («Трудная книга», состоящая из размышлений, писем, документальных историй, и публицистические статьи, объединенные в главе «Пути и поиски») — родные дети «Чести». Все эти произведения тесно переплетены, взаимосвязаны и взаимообусловлены.

В творческой биографии Г. Медынского произведения двухтомника заняли почти два десятилетия. Но при чтении их не можешь не испытывать ощущения некой «единовременности» — будто созданы они на одном дыхании и не разделены годами.

Размышляя о высоких идеалах нашего общества, автор часто обращается к именам Ленина, Дзержинского, обращается не всуе, а для того, чтобы глубже, яснее раскрыть содержание таких этических понятий, как доброта, честь, совесть, долг, в их не абстрактном, а подлинно гуманистическом, революционном звучании.

Тех из своих оппонентов, кто в любом случае готов поставить знак равенства между понятиями «доброта», «любовь» и абстрактным гуманизмом, Г. Медынский опровергает не в философически-спокойной манере, а разит их с темпераментом бойца, «очередями» контрдоказательств. Он черпает эти контрдоказательства всюду: в революционной героике Октября, в нравственных заповедях нашего общества. С нежностью и гордостью говорит он о щедром и мудром сердце Дзержинского, цитируя строки, извлеченные из его писем и дневников. «Я хотел бы написать о могуществе любви... Любовь — творец всего доброго, возвышенного и сильного, теплого и светлого...» Нет, восклицает писатель, это не сентиментальная, не пассивно-христианская умиленная любовь. Это любовь, неотделимая от ненависти, от страсти, от борьбы, потому что только в этом и выражается подлинная любовь — активная, действующая и действенная. Ленин, Маркс, декабристы... Разве не та же любовь к человеку лежала в основе их жизненной практики!

И в подтверждение — прекрасные слова Дзержинского из письма к сестре по поводу того, сильнее ли для революционера любовь ко всем вообще любви к отдельным людям: «Не верь никогда, будто это возможно. Говорящие так — лицемеры: они лишь обманывают себя и других. Нельзя питать чувство только ко всем вообще: все вообще — это абстракция, конкретной же является сумма отдельных людей... Человек только тогда может сочувствовать обществу несчастью, если он сочувствует какому-либо конкретному несчастью каждого отдельного человека».

С полным правом эти слова можно поставить эпиграфом к двухтомнику Г. Медынского — столь полно и ясно определяют они мироощущение писателя, его веру, его позицию.

Г. Медынский не опускает стыдливо глаз перед темными сторонами жизни, не пытается выхваченных им из жизни оступившихся, а то и совершивших тягчайшее преступление подростков вывести на люди приукрашенными и причесанными. Он «вставляет» их в книжку такими, какие они есть. Не для того, чтоб услышать удивленное или соболезнующее читательское «ах», а чтобы сильнее и жестче определить меру ответственности всех причастных к мальчишеской судьбе.

О «Чести», о «Трудной книге» публиковались обстоятельные критические статьи. Нет нужды вновь возвращаться к анализу этих произведений, получивших заслуженную высокую оценку в нашей печати. Они не только выдержали испытание временем, но, собранные вместе в двухтомнике, обрели как бы новую силу. Проблемы же, поднятые писателем, не утратили ни на йоту своей злободневности и остроты, и особо зрим ныне их широкий охват. Исследуя причины и следствия какого-либо конкретного дела, Г. Медынский идет от данного конкретного случая к раздумьям о духовном мире современника, этических, социальных, психологических проблемах. Нужен очень зоркий писательский глаз, умная, требовательная доброта, чтобы увидеть, распознать в недавнем прошлом подростка первые признаки грядущей житейской драмы. Даже простой перечень тем, поднятых в «Трудной книге», дает представление о стремлении писателя не односторонне, а во

всей сложности и во всех ипостасях рассматривать любой из вопросов, касаемых нравственного мира человека. Одна из граней — личная ответственность человека. Она имеет принципиальное значение для позиции писателя, его отношения к человеку. Скрупулезно исследует он то, мимо чего порой равнодушно проходили и родители и школа: семейный конфликт, в котором самым страдающим лицом оказывается подросток; просчеты иных учителей, обучающих, но забывающих о главной своей задаче — воспитании человека; о множестве причин, порождающих этическую глухоту. Главная же мысль, проступающая сквозь все, что содержит двухтомник,— воспитание в человеке с младых ногтей личной ответственности за свои поступки, свое поведение перед близкими, родиной, народом, воспитание той высокой нравственной стойкости, что выдерживает любые испытания и приходит лишь в одном случае — когда знания становятся убеждением. Без этого бесцельны все педагогические усилия, ибо, как верно заметил Сухомлинский: поставь над тобой и сто учителей — они окажутся бессильными, если ты не можешь заставить себя.

Наряду с этими мыслями явственно ощущается, что «Трудная книга» Г. Медынского — плод глубоко осознанной личной ответственности писателя за человека, за то, каким входит он в общество, с каким духовным багажом, мировоззрением, нравственным идеалом.

В. ЕЛИСЕЕВА.

★

СЕВЕР СОКРОВЕННЫЙ

Юрий Казаков. Северный дневник. М. «Советская Россия». 1973. 368 стр.

Юрий Казаков развивает в современной прозе распространенный тип рассказа, обработанный до чеканной структурности поколениями художников в приблизительном диапазоне от Тургенева до Бунина. Именно этой линии русской прозы благоговейно касался Паустовский, а еще ранее долго опирался на нее Пришвин.

Казаков откровенно, жадно и всесторонне использует традиции. Поначалу он так азартно их осваивал, так безоглядно проникался ими, что порой чужую литературную площадку принимал за собственный строительный участок. Но срок освоения традиций истек, и Казаков стал писать «личную», резко характерную прозу. Опознаваемые в его рассказах тургеневские, бунинские либо пришвинские мотивы подчинены задаче возведения Казаковым собственного литературного здания.

Сегодня чуть ли не каждый рассказ Казакова отдельно рецензируется как книга. Вокруг него — опасный для действующего писателя холодок общепризнанности, авторитетности, стилевой догмы. Кажется, он и сам вдохнул этой атмосферы пиетета. В новой книге его заметен налет литературного менторства, нравственного ригоризма. Глава «О мужестве писателя» — не только проникновенный гимн писательству, но и кодекс моральных и творческих норм, универсализация творческих канонов, хотя половина четких этих постулатов носит явно приватный характер.

Законченный теперь автором «Северный дневник» заметно корректирует традиционный взгляд на «консервативность», завершенность стиля Казакова. Документальность материала и открытое обнаружение автора существенно меняют внутренний строй прозы Казакова: сюжет становится текучим, вольным, деталь — свободной, авторская позиция — определенней, стилевой прием — наглядней.

Связь всех частей этой книги прежде всего тематическая, вернее «настроенческая»— все так или иначе связано с Севером, который то «место действия», то «пейзаж души», то герой за сценой, то центральный герой. Многостороннее переживание писателем Севера — лирический стержень сборника, его, так сказать, эмоциональный контрапункт. «Север, Север!..» — восклицает Казаков, нащупывая характеристические признаки этого мощного природного комплекса, отдаленного от привычной среднерусской полосы — классической территории русской прозы.

По «Северному дневнику» мелькают слова «первобытный» и «первозданный», именно здесь писатель переживает головокружительные «провалы времени», наблюдая фантастическое почти совмещение давно минувшего и современности, без промежу-

точных культурных слоев: «Я как бы провалился на минуту в доисторические времена, и мне показалось, что жизнь на земле еще не начиналась». Север, по Казакову,— отзвук вечности и бесконечное творчество жизни. Именно здесь писатель смог удовлетворить свое стремление к генерализации явлений. Его видение мира укрупняется — от предмета он переходит к явлениям, пользуясь при их оценке «планетарными» эпитетами: «...внизу на марсиански красной и желтой тундровой поверхности пошли пятна снега...»

Совмещение крупных массивов времени с бегущей минутой резко ее оттеняет. Результаты человеческого труда посреди «вечного, доисторического» особенно могущественны. На фоне «безбрежного океана воды, неба и льдов» масштабней мощная динамика Мурманского порта: «Веет кругом крепкий запах рыбы, досок, снастей, воды. Красные скалы на той стороне залива мощно возносятся к небу. Дымят, рявкают, гукают, сходятся и расходятся, стоят у причалов, медленно вытягиваются или, наоборот, втискиваются сотни траулеров, сейнеров, рефрижераторов, буксиров, ботов и катеров».

Индустриальный город ворожит Казакова не менее северных пейзажей. Величественная панорама Архангельска представлена с детальной обзорностью — указывается на то, что «перед глазами» и что «за спиной». В контрасте с вечной, застывшей природой город привлекает писателя своей незавершенностью, возбужденной ритмикой строительства, непрерывной пульсацией перемен и обновлений. Наглядно описывает Казаков работу на архангельском лесокомбинате и рыбокомбинате, ловлю рыбы и разделку ее в «чреве» могучих сейнеров. Величествен труд на фоне природной дикости и бездушия; для Казакова это мощный универсальный процесс человеческой жизнедеятельности, метафорически сопоставленный с универсальными вечными явлениями природы.

Если природа Севера воспринята Казаковым «средоточием всего ледяного и свирепого», то труд на такой земле приравнивается, по современным рабочим меркам, к подвигу, подвижничеству, а то и к фанатизму — таков путь авторских рассуждений. Находясь среди своих «тихих героев», которые т а к о й труд превратили в жизненную норму, Казаков с повышенной совестливостью ощущает свой нравственный долг перед народом.

Что значит природа в жизни современного человека, в чем тот тайный, жаркий искус, исходящий из нее? Общение с природой для героев «Северного дневника» — могущественное обновление бытия, праздничное ощущение реальности, внезапное явление сверкающего, лучезарного подлинника жизни. И, соответственно, главное усилие Казакова-прозаика — удержать реальность средствами живописной пластики, не упустить ее из виду, соблазнившись эстетическим, лирическим либо умственным истолкованием. «В эти короткие миги, жадно озирая их, успевая схватить какие-то подробности в их движении, в их выражении...» — такова «формула» лихорадочного постижения живой, «ускользающей» реальности, охраны ее суверенитета от посягательств собственных чувств и настроений.

Казаков не удовлетворяется художественной «съемкой» местности, хотя и в этих пределах творческого овладения предметом он не раз демонстрирует свое мастерство. Порою уточнение капризных, уклончивых черт явления происходит в виду читателя, с небрежной уверенностью в блестящем результате: «Чернильные облака наверху были — как бы это сказать? — в параллельных горизонту зебровидных размывах...»

Не удовлетворяет Казакова и эмоциональное «усиление» природы, предложенное Паустовским, который с любой детали пейзажа взимает обязательную дань лиричности. Не влекут его и безыскусственные, разъяснительно-ученые описания Пришвина. Хотя знание предмета, его отличительной природной функции неизменно присутствует в художественной детали Казакова. И, конечно же, на полемическое небрежение у Шкловского («Пели внизу соловьи, или не соловьи») Казаков тотчас же откликнется уточнением. Вещь у него, предмет, пейзаж, целый край, природные стихии, как то: море, северное сияние, ветер, небо — исследованы с возможной для человека полнотой — на вкус, запах, цвет, звук, форму. И все же не видовая съемка его влечет, хотя и здесь он мастер, но мастер по традиции. «Что толку в поэзии, если не понимать великой важности всего, к чему прикоснулся?» — восклицает Казаков. И эту важность, весомость природных форм в своей прозе неизменно усиливает. Известны слова Эйнштейна о том, что каждый ху-

дожник предлагает собственную модель мира. Казаков не удовлетворяется созданием еще одного «личного» мира с субъективными параметрами. Он хочет воссоздать в слове единый для всех мир, выделить его универсальные знаки. Он свято верит во «внезапную божественность слова», несущего правду о мире. Он знает, что слово, вернее хитрая комбинация слов, «схватывает» суть предмета.

В «Северном дневнике», где мастерство Казакова приобрело некоторую автономию от требований жанра, наблюдается углубление примет, совмещение художественной съемки с промерами внутрь. Заметен у него переход признаков вещи из живописных, локальных, видовых в глобальные, суммарные. Пейзаж оглядывается панорамно, крупными родовыми «скоплениями», в которых выделена коренная, опорная деталь. Казаков не лирик и не философ, а скорее «физиогномист» природы, угадывающий по внешней красочной оболочке главный нерв живого целого.

Во всех перипетиях путешествия Казакова по Северу, в шутливых, бытовых, трудовых эпизодах ощутимо биение единого природного комплекса, живущего вплотную с людьми: «Я смотрю на эти ослепительные пятна вдали и вверху, одни дающие свет земле и воде, и мне чудится в них что-то непорочно чистое, снежное, как бы Северный полюс, предел всего, что есть на земле, прозрачный солнечный чертог, что-то необыкновенно отдаленное от меня, от моих мыслей и чувств,— то, к чему мне надо идти всю жизнь и чего, может быть, так никогда и не достигнуть».

Духовное противостояние человека и природы — типичная для «Северного дневника» ситуация. И тем не менее на первый план выходит некий момент душевной заминки, сомнения, за которым видится спор автора с самим собой, с любезной ему некогда картиной мира «в его первичной сути» и естественно человека, управляемого природными инстинктами. Жизненные, реальные впечатления опровергают былую версию возвращения человека к натуральному, «естественному» бытию.

«Природные» герои в старых рассказах— такие, как Егор в «Трали-вали» или Манька из одноименного рассказа,— это устойчивые универсальные характеры, отлитые природой, встречающиеся на Руси, люди вне среды и почти вне времени. Они живут стихийными порывами души и жизнью своей не управляют. Оставляя им полную свободу самовыражения в рассказах, Казаков не скрывал своего расположения и даже некоего идиллического, стороннего любования широтой и стихийной мощью этих цельных природных натур.

В «Северном дневнике» естественный характер предстает не столь живописно и без всякой поэтизации. Кир из рассказа «Нестор и Кир», казалось бы, идеальный, по прежним представлениям Казакова, герой — так сильны в нем инстинкты, в таком завершенном соответствии с природным ритмом находится стихийный лад его души. Однако тут привычное для Казакова стороннее любование «дитем природы» сопровождается уже нравственным отчуждением от него: «...но — дикий, дурачок, и тяжело как-то с ним». Трезвая критическая реальность рассказа «Нестор и Кир» убеждает в убожестве человеческого существования, лишенного духовных порывов, замкнутого в кругу ритуальных физических действ.

Казаков всегда слишком доверял внешней выразительности, уполномочивал ее свидетельствовать о внутреннем, духовном в человеке, поддаваясь гипнозу расхожей морали — в здоровом теле здоровый дух. Доверие к физическим знакам личности, многозначительное их истолкование — существенная особенность мироощущения Казакова.

И не только мироощущения, но и художественного его письма: «Егор крепок, кадыкаст, немного вял и слегка косолап». («Трали-вали»); «Старшему было лет сорок, был он косолап, лохмат, черен, но со светлыми длинными глазами» («Плачу и рыдаю...»); «Был он сух, костист и как-то пронзительно, часто до неприятности даже, остер, стремителен»; «А Петр Вылко — брат его — крепко сбит, низок и слегка кривоног. Стремителен и хищен он в движениях, резок и горяч и весь будто налит черной огненной кровью, опален и прокопчен» («Северный дневник»).

Эти категорические, резкие характеристики дают мгновенную вспышку подлинности, обозначают, замыкая, личность героя, схватывая ее суть по внешним, физическим приметам. Физические знаки отобраны острохарактерные, знаменательные в человеке.

В жанре рассказа острые эти характеристики служат как бы психологической заставкой к герою и «продлеваются» в диа-

лектике его чувств и поступков. В дневнике же, очерке внешними знаками личности Казаков нередко и ограничивается. Универсализация природных действ, перенесенных на человека, в чем-то его обезличивает. Сходные признаки в разных людях подчеркивают скорее их этнический, национальный или профессиональный тип, чем индивидуальные отличительные свойства. Герои эти объединяются в колоритную массу, сливаются с лесом, врастают в пейзаж.

Есть своя какая-то языческая мощь в объединении деревьев, людей, зверей в единый родственный коллектив. Но один и тот же прием, испытанный на разных людях, утрачивает свою действенность, знаменательная в человеке внешняя черта становится декоративной, видовой. Конечно же, путевой жанр не требует исчерпывающего знания о человеке, и разветвленный психологический инструментарий здесь неуместен. Но, может быть, уместнее в документальной прозе характеристики предположительные, а не категорические и выделение в человеке интимных, тайных, душевных его движений?

Цепкий и виртуозный описательный метод Юрия Казакова, так безошибочно срабатывающий на природных объектах, порою оказывается недостаточным в приложении к человеку. Писатель сам это ощущает и пытается усовершенствовать, а то и изменить собственную методологию. Об этом можно судить по «Северному дневнику».

Упомянутый уже рассказ «Нестор и Кир» идет сразу же вслед за первой частью «Северного дневника» с его многослойной стилистикой, «раскованным» сюжетом. Коснемся главного героя этого рассказа — Нестора.

Границы авторского обнаружения здесь сдвигаются к традиционной зоне «рассказчика», свидетеля. В рассказе царит стилистическое хладнокровие, душевная аскеза, когда автор, кажется, сознательно опускает моменты интимной жизни, поглощенный важностью центральной задачи рассказа — постижения уже не пейзажа, а человека.

Нестор, старый угрюмый помор, находится все время на некотором объективном обзорном отдалении от автора и читателя. Вглядываясь в него, буквально провоцируя на споры, жадно вслушиваясь в его нечаянные обмолвки, Казаков пытается «раскусить» этого человека путем постепенного уточнения облика. Вот наглядный ход анализа: «Хозяин? Кулак? Не знаю, я еще не разобрался в нем»; «И руки его были добры, тогда как мысли — злы»; «... и впору было его пожалеть»; «Ах, Нестор, Нестор!». Такой эмоциональной досадой, недоумением кончается рассказ, отданный на «довершение» читательскому субъективному опыту. Важны Казакову моменты постепенного знакомства, а не законченный портрет в конце.

Казалось бы, жизнь Нестора неотделима от северной мрачной природы и связи его с ней загадочны, крепки. Однако не это сформировало его характер и убеждения, а тяжелая, принципиальная его тяжба со временем. Нестор — во временной, социальной, бытовой и трудовой определенности, он сложен и противоречив. Он спорит со временем, фанатически опровергает современные нормы общежития. Здесь неоднозначность и незавершенность духовного облика — противовес «природным» героям Казакова. Пожалуй, впервые у Казакова появился герой предположительный. Автор не настаивает на своей нравственной оценке и ясно ощущает ее приблизительность.

Предшествующий рассказу искус вольного сюжетного строения с движущейся «целью» анализа, видимо, повлиял на жанровую структуру психологического рассказа Казакова. Психологическое «продление» образа Нестора на глазах читателя, незавершенность его облика — тому подтверждение.

На просторах документального вольного изложения с нечеткими жанровыми требованиями Казаков свободней, чем в рассказах, характеризует своих «случайных» героев, встреченных в разных уголках северных просторов — на рыболовном сейнере, на пустынном перевозе, в лесной глуши, на глухарином току, в рыболовецкой тоне, в колхозах и в промысловой избушке: «...а я задумал уловлять души человеческие и побрел потихоньку к избе». Люди в «Северном дневнике» заполняют весь передний план воссоздаваемой Казаковым картины жизни. И там, где «традиционная» проза Казакова пасует, очерк властно вторгается в неизведанную область: «Давно хотелось мне выяснить экономическую основу здешних колхозов...» Казаков, как и его герои, чувствует себя государственным человеком, остро ощущает ответственность — писательскую и гражданскую—

за все, что происходит в стране. С этим, собственно, и связаны и северные его поездки и северный его дневник. Казаков рассказывает о природе и о людях, о людях, которые живут и работают «не только во имя себя и своих детей, но и во имя неисчислимых других людей». На Севере явственнее, очевиднее процессы перемен и резкие социальные сломы в жизни всей страны, потому что Север «не закончен», это край, чья реальность состоит прежде всего из потенций, из возможностей, где первобытное прочно совмещено с современным. Писатель ищет вечные, коренные, глубинные признаки в настоящем, в быстротекущем, в современности.

Впечатление от этой книги сильное. Автор «нежных дымчатых рассказов», получив в документальном материале свободу «делового» взгляда на мир, проникает в суть — от пейзажных до социальных — явлений, нащупывая в них определяющие признаки.

Казаков создает вещи как бы заново. С каждой новой осознанной им центральной приметой вещи добавляются все новые пласты отвоеванного словом мира. Этот прозаик имеет право на декларацию о мужестве писателя, вошедшую в «Северный дневник» и звучащую как полновесный итог всей его книги.

Ленинград.

Елена КЛЕПИКОВА.

★

НЕТ КОНТАКТА

Василий Воронов. На практике. Рассказ. «Дон». 1974, № 1.
Владимир Ляленков. Крещенские морозы. Рассказ. «Аврора», 1973, № 12.

Общеизвестно, что, создавая свое произведение, писатель думает о контакте с читателем. Редки случаи, когда художественное самовыражение замкнулось бы в себе и тем исчерпалось. Автор хочет не только «проявлять себя», но и убеждать. Он формирует единомышленников, выдвигает свои критерии, свои за и против, желая, чтобы мы любили с ним заодно и ненавидели заодно.

Бывает так, что авторская настроенность на убеждающий диалог из тайного стремления превращается в явный категорический императив. В такую силу, которая вырвалась наружу и заявляет о себе активно. И тогда факты, из которых соткано повествование, уже не просто факты. Они становятся чем-то вроде аргументов, включенных в разговор, а то и в спор. Они воссоединяются в свою особую структуру, где есть важнейшее, важное, второстепенное, третьестепенное. Все это выстраивается в согласии с правилом соподчинения. Создается некий образ, подобный художественному, да только подобие это мнимое. Ибо тут не живая художественная идея из семени вырастает, набухая собственной плотью, но выстраиваются в иерархическом порядке факты. Образ формируется снаружи.

И как часто бывает в этих случаях: стряхнешь гипноз авторской увлеченности и вдруг увидишь — а ведь второстепенное здесь ясно выбивается из подчинения главному. Кажется, писатель тут только и думал о воздействии на читателя. Однако читателя-то он как раз и упускает.

Василий Воронов пишет о комбайнере Макаре Пантелеевиче в сдержанно-уважительной манере: человек это пожилой, поживший. Он на фронте был, о боевых своих делах рассказывает молодому собеседнику без похвальбы и рисовки, рассказывает отчасти в поучение, потому что этот молодой собеседник, практикант, смотрит на мир через выпуклую романтическую линзу и, похоже, не слишком охотно приглядывается к обыденной действительности, к ее изнанке. Стихи, которые он пишет, весьма патетические: «девятый вал», «ветер времени» на «солдатском штыке»... Однако Макар Пантелеевич слушает эти стихи сдержанно и скоренько переходит на другое — на скотину, на мотоцикл, на водку, на те вещи, которые ближе. Чужда комбайнеру всякая пышность.

Кончается рассказ трагической сценой, но и в ней есть своя полемика: вот как старый комбайнер понимал героическое. Загорелось хлебное поле, двинулся огонь клином, и Макар Пантелеевич со своим комбайном помчался наперерез, стал тушить, огонь оказался сильнее, охватил промас-

ленный комбинезон — не унять... На память рассказчику осталась скромная самодельная папиросница — как некий символ жизни Макара Пантелеевича.

В сцене гибели героя — в а ж н е й ш е е о нем. И автор стремится убедить читателя: то, что человек сделал на хлебном поле, не случайность, но закономерный итог прожитого. Вспомнить только, как Макар Пантелеевич любил душевно поговорить о хлебе! Он не просто разглагольствовал, но мог и грозно встать на защиту хлеба, охранить от вора... Факты — как аргументы в споре. Приглядимся же к ним внимательнее. Молодой комбайнер Сашка Стрельцов ссыпал бункер пшеницы в скирду, набил полную коляску мотоцикла — скотину кормить. А Макар Пантелеевич заставил его все вернуть. Был между ними «тихий» разговор, после которого у Сашки остались «свежая ссадина и синяк под глазом». Такой уж человек Макар Пантелеевич — кляузу затевать не будет, все сам рассудит, на том и точку поставит. Но позвольте... разве это не смахивает на прямой самосуд, на кулачное право в чистом его виде? Выходит, застыло правосознание героя где-то в далеком прошлом. Неужто автор и это одобряет? Вполне. А писатель все ведет повествование в том же кротко-уважительном тоне, не меняя интонации. Без тени сомнения описывает не только бесчувственность героя ко всяким там юридическим и моральным тонкостям, не только назидательный мордобой героя, но и его последующее полюбовное соглашение с ворюгой. Возвращая пшеницу, Сашка говорит: «Помни уговор. И чтобы этот,— он указал на меня,— держал язык за зубами».

Рассказчик-практикант, глядя на Макара Пантелеевича во все глаза, учась и нас поучая, вместе с автором подбирает новые факты-аргументы. Снова и снова нажимает на отношение героя к хлебу. И как-то не замечает, что пережимает. Рассказывает герой, как голодать пришлось после войны, как ценился тогда кусок хлеба: «А маленькая дочка в поезде возьми да урони кусочек в окно. Так я бил ее за это. Пятилетнего дитя бил». Заметьте, не шлепнул, не смазал, даже не за волосы оттаскал, но бил рукой, набравшей на войне тяжести.

В другой раз Макар Пантелеевич может высказаться вслух задумчиво эдак: «Зверя никакого не бойся ночью, а человека остерегайся...» Высказался — будто проговорился невзначай. А ведь это убеждение, накопленное за годы общения с людьми! Под словами этими — темный колодец. Бездна мнительности, болезненного недоверия. И получается: «абсолют хлеба» потеснил из его души «человека».

Вот и оказывается при ближайшем знакомстве с героем рассказа, что человек он сложный, да настолько, что мы и не ожидали. Он с противоречиями нешуточными, с путаницей в голове! Есть в нем светлое, есть темное. Но автор не собирался прояснять сомнительное и непонятное. У Василия Воронова нацеленность иная: затушевывая одни факты, укрупняя другие, как можно быстрей двинуться к «итогу». «Итог» же откровенно сориентирован на трагический исход.

Тягостное ощущение оставляет гибель героя, когда в ней нет возвышающего начала. Она привносит напряжение, но не дает разрядки, не высветляет и д е и, воссоединяющей жизнь и смерть в единстве их одухотворенности, когда высокая трагедия соответствует высоте прожитой жизни. Нельзя, чтобы читательские эмоции просто подверглись бы насильственному натяжению.

Все это не может не учитывать рассказчик, держащий в руках хвостик нити «обратной связи», стремящийся во что бы то ни стало добиться контакта с читателем. Беда в том, что н а л а ж и в а е т он этот контакт способом наипростейшим: берет о т н о с и т е л ь н о подходящий человеческий материал и о с т р у ю ситуацию, выпуклости и шероховатости подстругиваются, а если все-таки выпирают, то с сознательной идеей рельефа или контрастного сопоставления. «Зверя никакого не бойся ночью, а человека остерегайся» — это выскочило голышом. Как нечто неуправляемое. Нарушен необходимый принцип, который требует четкости в отборе в а ж н е й ш е г о факта, целесообразности во всей цепи соподчинения. Задача тем более усложняется, когда замысел писательский — показать не «просто человека», но раскрыть духовную динамику, р а з в и т и е личности...

Журнал «Аврора» в последнее время читается все с большим интересом — молодежный журнал набирает силу. На его страницах печатается немало интересного, вещи, отмеченные художественным своеобразием и вкусом. Однако исключение тоже примечательно.

Исключение это — рассказ Владимира Ляленкова «Крещенские морозы».

Что за жизнь была у героини рассказа Любови Никитичны Жуковой в молодости? Малоинтересная, правду сказать, жизнь была. Очень уж не жаловала Любовь Никитична вниманием своим книгу. Скучно ей было над книгой сидеть. Говорит о себе она сама так: «...читаю, читаю, а в голове мысли все о чем-нибудь другом. Никак не запомню прочитанное, шваркну книгой об пол, прыгну и начну ее топтать. Потом разорву, в печь брошу и сожгу». Бесовский же был у Любаши темперамент! И матушка шабаш такой с книгами не одобряла. Отец же ничего, не против. Отец убеждения такого, что бабу надо учить ремнем да кнутом. Слушали люди, как он рассуждал на эту тему, и смеялись, «и я смеялась, и бросила я ученье». С ученьем не вышло, зато с другим пошло. Мужчинами Люба увлеклась, и мысли и сны о мужчинах. Тринадцати лет случилось у нее наваждение с соседом-ветеринаром, но родители так выпороли ее ремнем да мокрым полотенцем, что наваждение прошло, и стала расти Люба спокойнее и ждать подходящего человека. Девкой видной она была! Наденет платье крепдешиновое, туфли на высоком каблучке, чулки шелковые натянет — всякий залюбуется. Ох и крутила Любовь Никитична первым своим ухажером Павлом Комраковым, ох и вертела им! Но замуж за другого вышла. За Василия Чеснокова, железнодорожного милиционера. Не по любви вышла, а по голому расчету. Очень нужным оказался Чесноков всему семейству Жуковых. А семейство это было вот какое. Любило торговать, промышлять, разные махинации устраивать. С базаром любило дело иметь. Когда в собственном саду яблок не было, то отправится старший Жуков к деревеньке, у деревенских «глупых людей» купит оптом фрукты по дешевке, а «матушка перепродавала». Или еще любил скупать всякие драгоценности. У одной старушки года три эти самые драгоценности вытягивал. Муж у старушки был адмирал, имел документ из Москвы от властей, так что «запугать доносом» его, как других, не удалось бы. Поэтому приходилось действовать потихоньку да полегоньку. Умом и лаской. Умел отец людей охмурять. В это семейство и прибыл Василий Чесноков, человек совершенно других принципов, самого отрицательного понятия о деньгах. Он жуликов и спекулянтов ненавидел лютой ненавистью — как первых врагов коммунизма. Но сильно полюбил он Любу, ничего не видел вокруг. Жуковы и задумали вить из него веревки. Обманным манером добивались они многого. Посылают к родственнику, например, сальца и яблок передать, а в чемоданчике везет одновременно Чесноков, не зная того, и золотой тазик, который милиция разыскивает в сю пору. Отправляя муженька дорогого на такое дело, сильно смеялась над ним Любовь Никитична. Некий «смехун» на нее напал. В ней буквально все ходуном ходит из-за «смехуна», и про себя не без издевки именует она Васю «гусем лапчатым». Потому что когда муж покидает ее, она дает волю своему бесу, тешится с Павлушкой, берет отгул за долгие «постные дни».

Вот какой была Любовь Никитична Жукова в яркой молодости. По жилочкам у нее перекатывались огонь и дикость. Ничего такого особенного не таилось за душой. Все снаружи — эгоизм, секс и торгово-денежные балансы. Да еще сильное уважение к отцу, который был в те годы единственным ее духовным пастырем.

Владимир Ляленков показывает смело, какой героиня б ы л а. Не подкрашивает ничего, не ретуширует. Он думает о контрасте, о переломе. Думает показать д р у г у ю Любовь Никитичну, а произошел этот перелом будто бы так: после того как у немцев город отбили, стала она какой-то новой. Во-первых, дух торгашеский из нее улетучился. Отец учит деньги грести, пользуясь моментом, а она ему: «Отстань». Не хочу, мол, на базар шляться! Во-вторых, открылся в ней альтруизм. Отец умер, и городскую свою квартиру она сдала горсовету. «Пусть, думаю, люди живут, а мне куда ее!» В-третьих, ей никаких мужчин будто уже и не надо. Еще в первые дни войны убило мужа, так теперь она «нашла Васину могилу на кладбище, оградку заказала». Удивительные перемены, радикальные. Воистину превращение какое-то. Отчего же оно произошло? Откуда оно?

Начало было вот каким: когда Вася погиб под немецкой бомбой, он во сне к жене являться стал. Стыдит, ругает, а то и за горло схватит — душит. С криком просыпалась Люба. И замечает такое о себе она: «Видно, тогда уж совесть начала просыпаться во мне».

Любовь Никитична говорит о с о в е с т и; имеет ли она представление о понятии такой огромной нравственной емкости? Верно, почти во всяком человеке можно совесть разбудить. Только к а к это с Жуковой про-

исходило, из рассказа Владимира Ляленкова не узнать. Едва-едва советские войска отступили, как семейство Жуковых вместе с другими мародерами сбило замок с продуктового магазина и давай его грабить. И смотрите, как весело героиня об этом рассказывает: «Потеха! Стреляют уже совсем близко, пули свистят, цокают по стенам, а я ношусь как угорелая с мешками на горбу». Неудержим дух приобретательства! Нет ему предела, и страха он будто не ведает...

Но автор выставляет перед нами свои факты-аргументы. Первый — убила Люба немецкого офицера, который покушался на ее честь. Второй — несчастье случилось с нею, ибо немецкие солдаты сделали то, что офицер лишь пытался сделать. И третий — ее жизнь у «лесных братьев», полупартизан, которые фашистов не бьют, но в гуще лесной укрываются и мечтают все-таки бить. Что говорить, факты весомы. Из биографии их не вычеркнешь. Они структурны — так же, как важнейший факт в рассказе «На практике». И как бы тоже подъемлют героиню к трагически высокому. И, уж наверное, имеют они отношение к внутреннему миру героини?

Слушая рассуждения Любови Никитичны о немецком офицере, можно подумать: будто владеет ею осознанное чувство ненависти к врагу. Вроде бы внешне хорош этот высокий немец, «чистый, сапоги блестят, руки в перчатках», а какую-то жуть вызывает, от «своего, какого ни есть ледащего мужичонка» она то же самое бы вынесла, но этот — оккупант. Он совершает насилие большее, безмерное, он топчет своими сапогами нашу землю — как же не испытывать к нему того невыносимого омерзения, которое резко, как самое непосредственное чувство, и еще сильнее его сгущенным своим смыслом?

О, если б мироощущение героини располагало подобным настроем чувств, можно было бы прислушаться к ней с доверием. Но подобные чувства слишком «абстрактны», отвлеченны для нее. Она-то живет самым конкретным, теми нравственными категориями, которые доступны касанию пальцев. Никакой принцип, превышающий обыденность, не колеблет, не волнует ее души. Она все время спокойна, очень спокойна, слова «спокойно побежали дни» — лейтмотив для нее. Нечто амебообразное во всем этом есть. И после того, как настигли ее подлецы в погребе и получили свое, она живет по законам простейших биологических реакций. Конечно, нам жаль ее, растоптанную, опозоренную, с истерической злобой кинувшуюся на старика Ермолая, который ее выручает. Жаль. Однако не можем не видеть, что осталась она сама собою — такою же, как была всегда. А чему поучилась она у «лесных братьев»? Многому будто: ...«другие дичают в лесу, а из меня лесная-то жизнь дикость и дурь всю выгнала». Каким таким путем выгнала и что нового дала — это, правду сказать, секрет авторский. Можно наблюдать: поначалу дичилась героиня «братьев», потом притерлась к ним и даже жалеть стала, сблизилась с Юрой Ковалевым, затяжелела от него. И только.

Обстоятельства военного времени пронеслись над Любовью Никитичной подобно опасной буре и пригнули ее. Не так она весела, как была раньше, поутихла она. Однако ж не заронила буря в ту душу семени, которое пошло бы в рост. «Диалектика души» не состоялась. Другой женщины нет, не видно.

Но ведь что-то совершилось в рассказе В. Ляленкова? Да, кое-что совершилось. Есть факты биографии героини. Автор рассчитывает на наши читательские ассоциации. Опыт нашей памяти должен наполнить их героическим, жертвенным и прекрасным содержанием... В конце рассказа героиня, оставшись одиночкой, все никак не угомонится, приглашает к себе мужика за мужиком. Она пивом пошла торговать, но разве поднимется теперь перо обвинить ее в аморализме, в пустоте жизни, если она вздумает даже состояние на пивной пене возводить? Нет, разумеется! Это просто кощунством было бы! Предполагается, что наше читательское сомненье в героине, покорно свернувшись, улеглось и не протестует. Мы уже преобразованы, мы умилены — героиня-то возвысилась! Но никуда не уйти от реальности: ведь как и Макар Пантелеевич, так Любовь Никитична — оба они подтягиваются авторами на какой-то более высокий уровень, нежели тот, на котором действительно расположены. Перед нами образы, из которых как бы само собой, автоматически должен изливаться некий «типический смысл», поучение, квинтэссенция... Строят авторы свои искусственные жития, хотят внушить читателю некие нравственные критерии. Ничего не скажешь, рассказы явственно несут следы этой деятельности. Нацеленной, но бесцельной. Нет контакта.

Л. АНТОПОЛЬСКИЙ.

О МАРКСИСТСКОМ НАСЛЕДИИ — СОВРЕМЕННО

Александр Дымшиц. К. Маркс и Ф. Энгельс и немецкая литература. М. «Художественная литература». 1973. 336 стр.

Маркс и Энгельс были первыми, кто применил принципы исторического и диалектического материализма к литературе, поэтому изучение их теоретико-литературных высказываний, исследование практической литературно-критической и литературно-организаторской деятельности имеет особое значение.

В истории советского литературоведения начиная с 30-х годов тема «Маркс и Энгельс и немецкая литература» разрабатывалась в различных теоретико-методологических и историко-литературных аспектах, в том числе такими авторами, как Ф. П. Шиллер, А. Иезуитов и Г. Фридлендер.

А. Дымшиц дает оценку достижениям своих предшественников, развенчавших точку зрения о том, что высказывания Маркса и Энгельса по вопросам эстетики носили спорадический характер и не имели внутренней связи с принципами научного коммунизма. Он выделяет вопросы, на которые литературоведы-марксисты отвечают по-разному, четко разграничивает научные разногласия (например, со сторонниками Лукача) и идеологические (выступая против реакционных буржуазных фальсификаторов научного коммунизма и «обличителей» пошиба Петера Деметца).

Свою работу Дымшиц определяет как историко-литературную. Объектом его научного интереса являются связи Маркса и Энгельса с немецкой литературой — их отношение к литературному наследию, общение с немецкими писателями-современниками, суждения о тех или иных актуальных для того времени процессах, происходивших в литературе. В том, что Дымшиц, помимо этого, вовлекает в орбиту исследования целый ряд теоретико-литературных вопросов, «повинен» сам предмет; в том, что свою точку зрения он отстаивает со страстностью, сказывается личность автора, выступления которого против западногерманского историка литературы Ганса Майера и Петера Деметца обогащают книгу образцами боевой публицистики.

Дымшиц хорошо знает немецкую литературу, которую исследовали Маркс и Энгельс, потому приводимые им суждения классиков в книге, как правило, полно документированы и удостоверены историческим материалом. Автор дает, пожалуй, одно из наиболее достоверных и целостных представлений об этом комплексе проблем из всех ныне существующих. И хотя главный акцент работы перенесен на раскрытие исторического материала, наше внимание привлекают прежде всего те теоретические вопросы, рассмотрение которых Дымшиц подключает к современным дискуссиям. Это касается отношения научного коммунизма к досоциалистическому (в особенности к буржуазному) культурному наследию, проблем тенденции и партийности, нереалистических литературных течений, в частности революционного романтизма. Важно, что Дымшиц в контексте своего историко-литературного исследования пытается установить отношение Маркса и Энгельса к этим вопросам. Такое прочтение классических текстов, когда суждения Маркса и Энгельса о литературе ставятся в принципиальную связь с развитием теории общества и революционной политической практикой, в методологическом отношении представляет собой пример того, как следует «держать совет» с Марксом и Энгельсом при рассмотрении актуальных вопросов.

Непреложным законом для Дымшица является уважительное отношение к классическому наследию — требование, которое автор подчеркивает особо: «К сожалению, в последнее время отдельные литературоведы пытаются «вычитать» из текстов Маркса и Энгельса нечто такое, что в большей мере отвечает их собственным представлениям, чем тому, что реально содержится в этих классических текстах. Думается, что одна из задач большой коллективной работы, которая ведется в области изучения взглядов Маркса и Энгельса на литературу, искусство, культуру, состоит в бережном обращении с их текстами, в том, чтобы не подменять суждения основоположников марксизма вольными прочтениями».

Научные дебаты по вопросам «прочтения» Маркса сегодня ведутся не только с позиции марксизма-ленинизма; наряду с левосектантами и ревизионистами к Марксу все чаще апеллируют и буржуазные идеологи.

Что касается дискуссий внутри марксистского литературоведения, то на них до сих пор отражается тот факт, что Маркс и Энгельс истолковывались некоторыми теоретиками — например, Георгом Лукачем — преимущественно через призму традиционной связи научного коммунизма с прогрессивным буржуазным наследием. Выдвижение этого аспекта на первый план в работах Лукача и других объясняется объективными причинами: в то время был необходим союз рабочего класса и его партии со всеми антиимпериалистическими силами против поднимающего голову фашизма. В этой борьбе активизация революционных, демократических традиций буржуазии была немаловажным фактором. Лукач (при верной в принципе постановке задачи) практически свел прогрессивные досоциалистические литературные традиции к реалистическим традициям XIX века, выведя из них субъективные критерии для оценки социалистической литературы.

Выявить историческую связь марксизма с классической философией, с самыми передовыми достижениями буржуазной теории развития общества, подтвердить, что он является наследником духовных завоеваний всех предыдущих поколений,— вот задача, которая после освобождения Европы от фашизма приобрела особое значение. В этом свете историко- и философско-литературные работы Лукача выполняли важную культурно-политическую задачу в ГДР и других социалистических странах. Но в то же время они вызвали к жизни и представления, по которым коммунизм являлся в конечном счете воплощением идеалов прогрессивной буржуазии, а реалистическая литература XIX века с ее буржуазным героем выдавалась за образец для современной социалистической литературы.

Полемика со взглядами Лукача красной нитью проходит через книгу Дымшица. Не ставя Лукача на одну доску с теми, кто извлекает из его взглядов политическую корысть, Дымшиц все-таки не оставляет и тени сомнения в том, как он относится к известным ошибкам и заблуждениям Лукача. При этом он пишет, что «проблемы культурного наследства, в частности наследства художественного, литературного, всегда являлись проблемами политическими». Ссылаясь на ленинскую критику Пролеткульта, исследователь утверждает, что вопросы культурного наследия в сегодняшних политических схватках приобретают исключительную остроту. Справедливость этой мысли по-своему ежедневно подтверждают действия «ультралевых», анархистских сил в западных странах, а также теория и практика маоистской «культурной революции».

Важна мысль Дымшица о том, что размежевание с Лукачем и порожденными им традиционалистскими историко-литературными и эстетическими концепциями ни в коем случае не должно умалять в наших глазах значение досоциалистического наследия. Книга Дымшица может быть воспринята как вклад советского литературоведения в изучение этого наследия, поверенного конкретно-историческим методом работы Маркса и Энгельса. В своей работе автор обращается и к французской романтической историографии, показывая нам, что Маркса и Энгельса у французских утопических социалистов интересовало не только их представление о социализме, но и их историческая концепция. Особенно выразительно Дымшиц раскрывает огромный диапазон интересов Маркса и Энгельса в немецкой литературе, акцентируя внимание на немецком романтизме. При этом подчеркивается, что науки и теории, используемые в процессе создания основ научного коммунизма, трансформировались Марксом и Энгельсом так, что в системе марксизма они получали новое место и значение. Можно, пожалуй, посетовать, что обширность приведенного в книге материала не позволила автору конкретно проанализировать то, как происходила эта переработка.

Таким образом, если за главами о наследии и числится некоторая «задолженность», то главы, посвященные взаимоотношению Маркса и Энгельса с немецкими писателями-современниками, как раз отличаются живым и детальным анализом. В этих разделах Дымшиц не сводит задачу только к приведению в систему высказываний Маркса и Энгельса о современной им немецкой литературе. Он понимает связь Маркса и Энгельса с немецкими писателями как марксистскую практику активного воздействия на литературный процесс и доказывает необходимость именно такого понимания для правильного толкования их литературно-критических работ. Лично мне то, как Дымшиц вводит этот ракурс в общую картину общения Маркса и Энгельса с немецкими писателями, кажется в методологическом отношении наиболее интересным, возьмем ли мы, к примеру, те требования, которые Маркс и Энгельс, не впадая в практицизм,

предъявляли союзникам рабочего класса среди писателей и авторам, претендовавшим на выражение позиции рабочего класса, или разбор принципов редактирования «Новой Рейнской газеты». Все это позволяет автору отчетливее, чем это делалось до сих пор, проследить линии, ведущие от литературно-критических работ Маркса и Энгельса к основным положениям ленинской статьи «Партийная организация и партийная литература».

Используя письма Энгельса к Минне Каутской, Дымшиц убедительно демонстрирует читателям, как классики конкретно-исторически определяли задачи и возможности социалистической литературы. Перед нами еще одно опровержение всех и всяческих версий, будто бы классики судили о литературе и искусстве по «обычным» эстетическим меркам или практицистски, исходя из сиюминутных нужд борьбы. Из конкретно-исторического определения Марксом и Энгельсом общественной функции литературы А. Дымшиц делает интересные теоретико-литературные заключения, возвращаясь к полемике с Лукачем. Представляя суждение Энгельса о социалистически-тенденциозном романе (в письме к Минне Каутской) как конкретно-историческое определение, он отвергает вариант Лукача, по которому революционные художники вообще не должны предъявлять какие-либо требования к действительности, потому что это приводит к «недооценке роли субъекта в художественном творчестве». Дымшиц напоминает: эта позиция Лукача в конце концов привела к тому, что он и ленинский принцип партийности социалистической литературы определил как «художественное воспроизводство» диалектических противоречий действительности». В противовес этому автор приводит энгельсовское понятие тенденции, выражающее объективную тенденцию общественного развития как субъективную позицию художника. Он наглядно показывает, что Ленин, исходя из такого понятия тенденции, развил принцип партийности и что ни тенденция, ни партийность не являются исключительно вопросами определенного художественного метода. Принципиальная задача книги Дымшица состоит в доказательстве того, что теоретические посылки классиков для разработки марксистской эстетики не сводились к абсолютизации литературного способа изображения Такая направленность против еще встречающегося схематизма эстетических критериев в сегодняшнем марксистском литературоведении и критике ощущается во всех главах рассматриваемой книги.

Проникая в самую гущу споров, ведущихся в наши дни среди литературоведов-марксистов, Дымшиц вносит в них не только исторический материал, но и — это я хотел выделить особенно — свои живые теоретические и методологические аспекты.

Берлин.

Доктор **Рейнер РОЗЕНБЕРГ.**

Перевел с немецкого П. Френкель.

★

ЭТО ПЕЧАТАЛОСЬ В ГАЗЕТЕ

Анатолий Аграновский. А лес растет. Очерки. Фельетоны. Статьи. М. «Советский писатель». 1973. 640 стр.

В сборнике Анатолия Аграновского очерки и фельетоны нередко сопровождаются примечаниями. Иногда совсем короткими — одна-две фразы. Автор просто ставит читателей в известность о том, что произошло после его выступления:

«После того, как опубликован был этот очерк, после еще двух выступлений газеты на ту же тему И. И. Назаров был утвержден в звании доцента, а вскоре награжден орденом Ленина, с чем я от души поздравил его».

«После публикации очерка прокурор Львовской области Б. Антоненко сообщил редакции «Известий», что факты все при проверке подтвердились, что ответ обкому профсоюза был дан областной прокуратурой «неправильный» и что на юристов, допустивших нарушения законности, наложены строгие взыскания».

Иногда примечания, выдержанные в том же «протокольном» стиле, более подробны — в них излагаются или цитируются официальные документы: приказы, постановления и т. п., касающиеся проблемы, поднятой А. Аграновским.

«После того как была напечатана эта статья, после других выступлений печати в защиту заповедника ЦК КПУ и Совет Министров УССР приняли постановление:

«Остановить сельскохозяйственное использование 1 тысячи гектаров площади, распаханной в середине заповедной степи, с тем чтобы провести природное обновление степной растительности; исключить из числа хозяйственных угодий института «Аскания-Нова» 11 тысяч гектаров заповедной степи с ее охранной зоной и обеспечить сохранение этих площадей как заповедного фонда природы Украинской ССР. Контроль за состоянием и сохранением заповедной степи возложить на Академию наук УССР».

Не надо недооценивать этой сугубо деловой «прозы» примечаний: речь идет — в связи с тем или иным конкретным делом, конкретным случаем, конкретной судьбой — о восстановлении справедливости, рациональном решении сложных проблем — хозяйственных, правовых, научно-технических, за которыми у А. Аграновского неизменно встают проблемы нравственные. Если критику позволено ссылаться и на свой собственный опыт — а я проработал в газете не один год,— то могу засвидетельствовать: совсем не просто бывает добиться той счастливой развязки, о которой сообщается в коротеньких заметках, публикуемых под рубрикой «По следам наших выступлений». Появившаяся на страницах газеты статья или фельетон очень часто лишь начало трудной и продолжительной борьбы; не случайно у А. Аграновского в некоторых примечаниях упоминаются повторные выступления по одному и тому же поводу. А надо еще непременно иметь в виду, что опубликованные материалы — только видимая читателю часть «айсберга»...

Обо всем этом говорить можно и больше и подробнее. Как и о других достоинствах очерков и статей А. Аграновского — например, об основательном знании предмета, которого автор касается, о его щепетильной, безупречной точности. Точности, которая не просто добросовестность, но своего рода искусство. Мне пришлось в этом убедиться неожиданным, но, пожалуй, самым верным способом. Героем одного из очерков А. Аграновского стал человек, которого я давно и хорошо знаю,— человек поистине недюжинный, одаренный разносторонне, с яркой судьбой. Непросто автору в таких случаях быть верным «оригиналу», добиться сходства — очень тянет к монументальности, к голубизне... Портрет же, нарисованный А. Аграновским, и глубок и точен, в нем схвачена индивидуальность героя.

Анатолий Аграновский не только журналист, но и писатель. И прежде всего писатель, хотя его произведения первоначально, как правило, публикуются на газетной полосе и речь в них идет о подлинных событиях и реальных людях.

Уже не один год литературоведы (особенно та их часть, которая посвятила себя теории журналистики) весьма воинственно спорят о том, где должна проходить граница между журналистикой и литературой, между газетным очерком и очерком художественным, между статьей журналиста и писательской публицистикой. Спор этот, затеянный вокруг жанровых дефиниций, кажется мне бесплодным. Если спуститься с высот такого рода теории на землю — обратиться к литературной практике, то выяснится, что мы (даже при несовершенстве определений) все-таки не путаем газетные однодневки с произведениями искусства. Мы прекрасно знаем, что очерки и фельетоны М. Кольцова, И. Ильфа и Е. Петрова, публицистика и очерки военных лет А. Толстого, И. Эренбурга, В. Гроссмана, Л. Леонова, К. Симонова, очерки В. Овечкина и Е. Дороша — все это настоящая литература. И так же хорошо мы знаем, что дельная газетная статья лучше посредственного рассказа. Кстати, о необходимости проверять теоретические построения живой практикой, о пагубности умозрительных схем, о никчемности классификации ради классификации много и горячо говорилось на прошлогоднем пленуме Правления Союза писателей СССР, посвященном писательской публицистике, оперативному участию литературы в реализации пятилетнего плана. Чтобы не уходить далеко в сторону, сошлюсь лишь на доклад Г. Маркова: «Огромное количество страниц в литературоведческих исследованиях занято схоластическими спорами по поводу жанровой классификации и художественных возможностей публицистики, причем каждый автор по мере сил увеличивает царящую здесь теоретическую неразбериху».

Именно потому, что А. Аграновский писатель — вернусь к тому, с чего я начал,— нельзя судить о написанном им, учитывая лишь практический эффект его выступлений. У писателя иные способы воздействия на действительность. Если бы КПД статей и очерков А. Аграновского исчерпывался теми организационными мерами, которые

после них были приняты, вряд ли по прошествии какого-то времени эти выступления представляли бы живой интерес. Читатели очерка, опубликованного на страницах газеты, а потом перекочевавшего в книгу, ищут в нем не одно и то же. «Я любил и люблю работу журналиста,— признавался как-то Константин Симонов,— но она имеет одну неотъемлемую особенность — чем дальше идет время, тем все меньше и меньше из написанного тобою в прошлом ты вправе заново предлагать вниманию читателя». Спорить с этим трудно... И у А. Аграновского есть «отходы» — не все он включил в вышедший сборник. Да и в книгу все-таки попало несколько очерков, в которых преобладает информация (например, «Наташа», «Рубеж надежности», «Строка закона»), а ничто так быстро не устаревает, как информация, даже когда это интересная информация. Но удивляться надо не тому, что «отходы» у А. Аграновского есть, а тому, как они незначительны.

И вот я читаю книгу, в которую вошло то, что написано автором за последние пятнадцать лет — срок, в общем, немалый. Читаю очерки и статьи, которые хорошо помню по их первым — газетным и журнальным — публикациям. Пропустить их было трудно — такой у них обычно читательский резонанс, что обязательно кто-нибудь тебе укажет: «А вот в последней статье Аграновского...»; или: «Непременно посмотрите в «Известиях» Аграновского..» — или что-то еще в этом роде. Я перечитываю сегодня его статьи и очерки, как ни странно, с новым и живым интересом. В некоторых из них материал утратил злободневность, но, может быть, именно поэтому яснее видно, что они брали не просто материалом, что в них есть достоинства более глубокие и прочные. К тому же они выиграли и оттого, что собраны вместе: отчетливее проступил круг *нравственных* проблем, волнующих автора в первую очередь, *человековедческий* пафос его сочинений.

Иногда считают, что художественный очерк от газетного репортажа отличается тем, что написан «красиво», языком образным, метафорическим. Это наивное, хотя и довольно распространенное заблуждение, причем не только читательское. Несколько лет назад в одной газете я прочитал заметку, которая начиналась так: «Море... Солнце... Песок... Передний край курорта...» Элементарные сведения о работе дома отдыха автор хотел «приподнять» стереотипной и до смешного в данном случае неуместной патетикой. Сделано это крайне неловко, но и ловкие «украшатели» похожи друг на друга кудряво-безликим стилем. Стремясь воспроизвести «внешние» признаки художественности, неизбежно берут то, что лежит под руками, то, что в литературе стало расхожим, превратилось в штамп...

У А. Аграновского своя манера, свой почерк. Его руку узнаешь по первому же абзацу.

Вот начало одного очерка:

«В городе Ростоке на берегу Балтийского моря я не пошел на знаменитые верфи. Миновал порт, рыболовные суда, заводы, электронно-вычислительные центры. Не без сожаления прошел я мимо этих объектов, для журналиста заманчивых, и направил свои стопы в сберкассу. Кто куда, а я в сберкассу».

А вот — другого:

«Почему-то самые большие склоки бывают в самых маленьких коллективах. Есть в Кандалакше заповедник, где все всё обо всех знают. Обиды не забываются... разборы тянутся годами. «Значит,— спросил я у Коханова, секретаря партбюро,— при прежнем директоре было у вас две враждующих группировки?» «Почему две? — сказал он.— Три. Научные сотрудники разбились на три группы». А их там всего десять человек».

Не знаю, как вы, уважаемый читатель, а я, пробежав эти первые фразы, уже не смогу отложить газету, не дочитав очерка до конца. Думаю, что и вы тоже. А цитаты я здесь выбрал наудачу — можно привести начало любого другого очерка А. Аграновского.

Он начинает непринужденно и иронично, стремится увлечь читателя, заинтересовать его, но ирония не мешает ему оставаться серьезным, а непринужденность — глубоким и последовательным. Трудно писать и увлекательно и глубоко — А. Аграновскому это удается.

Напомню «детскую» задачку в киноэстетике: какой оператор лучше — тот, которого мы не замечаем, который полностью подчинил свою работу виденью режиссера, или тот, работа которого заставляет «ахать» зрителей, забыв о героях и смысле картины? В кино за этим — взаимопонимание или противостояние двух творческих индивидуальностей. Литератор тоже должен усмирять в себе «оператора», же-

лающего, невзирая ни на что, блеснуть сногсшибательным ракурсом съемки. И пора уже сказать, что манера автора книги «А лес растет» производна от его способа исследовать действительность. Увлекает в очерках и публицистике А. Аграновского прежде всего анализ явлений и характеров, мысль. А. Аграновский пишет ярко и изящно; непринужденность и легкость — результат нелегкой работы. Но в стиле его нет показного щегольства — стиль этот органичен и функционален, «оператор» здесь работает только на «режиссера». Очеркистом движет любовь к истине, и его манеру определяет стремление сделать читателя сопричастным к поискам истины, которые ведет.

Это действительно поиски, подлинное исследование, а не решение задачи с готовым ответом. А. Аграновский всегда объективен, исследуя проблему. Самым внимательным образом выслушает все аргументы своих оппонентов. И не только выслушает, но и воспроизведет их. И воспроизведет не только их, но и то, что не было, а могло быть сказано. Он, как говорится, «войдет в положение» своих противников, он изложит и доводы, придуманные за них, которые им в голову не приходили.

В одном очерке А. Аграновский, вспомнив воображаемый разговор Пушкина, напишет (и это не просто сюжетный прием, а очень характерный для него ход мысли): «Если бы я был министр высшего образования, я бы пригласил к себе журналиста Аграновского и сказал ему: «Эта ваша последняя вещица о вузах «Кандидат в студенты» — так, кажется? — бойко написана». Тут бы журналист смущенно потупил взор, а я бы продолжал: «Да-да, бойко, но, знаете ли, поверхностно, и потому ваша статья пользы не принесет», а я: «Но, согласитесь, в ней есть дельные мысли. В Горьком мне, например, говорили...» — «Что Горький! Вы не знаете общей ситуации, не видите тенденций развития высшей школы, а между тем...»...»

Доказывая научную несостоятельность опытов, проводившихся на экспериментальной базе АН СССР в Горках Ленинских, А. Аграновский особо подчеркнет, что главный зоотехник «как придет на ферму в четыре утра, так и кружится до ночи. Тут вообще, он считает, такие люди нужны, чтобы имели часы, да не смотрели на часы. В тот день, когда мы встретились, он был нездоров, но все равно, сопя и кашляя, вышел на работу. Говорят, когда главный зоотехник уходит в отпуск, на ферме снижаются удои. Такой он работник». Автор прямо и определенно скажет, что главному зоотехнику неведомы элементарные принципы научной работы, что на экспериментальной базе наукой и не пахнет, но, сказав это, он не забудет повторить, что главный зоотехник «научился не спать ночей и болеть за дело».

А. Аграновский не стремится к легким победам, не упрощает дело, хорошо зная, что легкие победы таят в себе тяжелые поражения.

Конечно, тщательно взвешивая все аргументы за и против, можно незаметно для себя счесть их равновеликими, можно утратить масштаб — тактическое и стратегическое окажется в одном ряду, можно проглядеть главное, решающее. Бывает и так, но А. Аграновскому удается избежать этой опасности.

В очерке «Аскания-Нова» автор выступил в защиту этого уникального заповедника, который уничтожался под лозунгом «народнохозяйственного значения не имеет» (я уже цитировал принятое по этому поводу постановление ЦК КПУ и Совета Министров УССР). Он перескажет все соображения практического порядка, которыми с ним поделились сотрудники заповедника, защищающие свое детище, он сошлется на почерпнутые в документах сведения. Он изложит все это для того, чтобы в заключение сказать: «Но тут я разозлился, и оторвался от бумаг, и сказал себе, что и впрямь пора вернуться к жизни. Ближе к жизни, товарищи! Асканийские энтузиасты, затюканные хозяйственниками, сами заговорили их языком. Им говорят, что дикая лошадь не имеет народнохозяйственного значения. А они доказывают: нет, имеет. Да разве в этом дело? Разве только в этом? А если зебру так и не удастся запрячь в бричку, убить ее за это, что ли? А если, не дай бог, молоко канны не окажется целебным, что же, и ее тоже того... отстрелять?.. Мы просто обязаны вручить нашим детям, детям наших детей мир не голым, не обструганным, а живым, во всем его красочном многообразии». Таков его главный аргумент, вот что для него решает дело.

В очерке, посвященном состоянию техники безопасности в сельском хозяйстве, автор подробно, не боясь наскучить читателю, займется экономической стороной

проблемы. Но и здесь решающий для него довод — он в конце подойдет к нему — находится в иной сфере, в иной плоскости: «Чтобы умно поступать, одного ума мало, заметил Ф. М. Достоевский (и мысль эту записал в свой блокнот А. П. Чехов). Ну, докажем мы, что вложение капитала в охрану труда выгодно. А если б оказалось невыгодно, что тогда?.. Хочу познакомить вас с людьми, которые независимо от веяний, мод и кампаний бьют в одну точку. Забота о человеке нужна потому, что она нужна человеку,— этого им предостаточно. Мечту их легко осмеять с позиций житейского расчета, но трудно подняться до их мечты».

Важнее всего для А. Аграновского человеческое содержание проблемы, ее нравственный эквивалент. Он тоже бьет в эту точку. В одном очерке он напишет: «Трубу в конце концов можно переложить и железо можно послать на переплавку, но кто переплавит обиду людей? Кто подсчитает цену усталости, безверию?.. Нравственные потери — они ведь самые невосполнимые». В другом подведет к мысли, что, «взяв дело не по способности, заняв не свое место, трудно, а может быть и невозможно, быть честным человеком вообще». В третьем, рассказывая о «чудаке» пенсионере, взявшемся бескорыстно доставать врачам-новаторам оборудование, подчеркнет: «Надо видеть всю стратегию развития промышленности, строить большие заводы, создавать научные базы, планировать их, финансировать — это, конечно, главное. Но рядом, параллельно с этим, и в будущем останутся энтузиасты. Никакой канцелярией не заменишь Курбаку. У него есть великое преимущество. Курбака — это не учреждение. Курбака — это Человек». О чем бы ни писал А. Аграновский, он пишет именно об этом...

«Ты думаешь, тут машины испытывают? Все так думают. А тут не машины — людей испытывают: чего кто стоит» — эти слова известного летчика-испытателя Алексея Гринчика, одного из любимых героев А. Аграновского, принципиальны для автора: так думает и он сам, так смотрит на любое дело...

Сказав «любимый герой», я не оговорился, хотя непривычно это звучит, когда речь идет об авторе очерков. Не романов, не рассказов, а очерков. Но если очерки принадлежат художественной литературе, у автора могут быть излюбленные герои — ничего здесь странного нет. Есть они и у А. Аграновского. Это люди, одержимые своим делом, ищущие, не терпящие никакой рутины, «идеалисты», как говаривали в былые времена. У них разные профессии — летчики-испытатели и археологи, строители и хирурги, филологи и конструкторы, но все они люди одного склада, одной закваски, им свойственны «гордость мысли, незаемность принципов, самостоятельность суждений», они «мечтают о благе человечества, а не о повышении по службе».

Есть у А. Аграновского цикл очерков, который называется «Счастливые»,— о тех, кому повезло в науке: открыл комету, расшифровал письменность исчезнувшего народа, обнаружил поселение древнего человека и т. п. А. Аграновскому тоже везет, все ему идет в руки — люди, события, проблемы. И природа успеха та же, что у его героев. Он упорен и настойчив, он чурается проторенных дорог. Побывав, скажем, за рубежом, он не станет писать путевые заметки о том о сем — жанр, изживающий себя, но легкостью своей все еще привлекающий многих литераторов. Нет, в ГДР он займется финансами — вот почему в Ростоке очеркист пошел не на знаменитые верфи, а в обыкновенную сберкассу. А в Венгрии будет изучать производство лекарств. Тут-то он и обнаружит — конечно, после серьезного изучения — поучительный опыт, а главное, интересных людей, проявивших себя в деле. Потому что, хочу повторить, главное для него — люди, обеспечивающие дело, и дело, служащее людям.

Однако приверженность очеркиста (точно так же, как и романиста) к людям одного склада не только дает ему преимущества (прежде всего доскональное знание), но может оборачиваться и слабостями. Во-первых, некоторые мотивы, некоторые соображения начинают вольно или невольно повторяться: когда подряд читаешь очерки А. Аграновского, это обнаруживается. И пусть повторы у него не очень часты и не очень существенны, но они есть. Во-вторых (это уже не упрек автору книги «А лес растет» — для упрека пока оснований нет,— а только предостережение), в подобном случае может ослабевать сопротивление материала, возникать та обманчивая «легкость», которая мешает двигаться вперед, совершенство-

ваться... Характерно, что лучшие из написанных им в последнее время очерков — «Как я был первым», «Двумя этажами ниже», «Вишневый сад» — посвящены новым для него типам.

Этим предостережением, которое имеет смысл только тогда, когда речь идет о писателе с будущим, о писателе, отнюдь не исчерпавшем своих возможностей, я мог бы кончить рецензию.

Но в конце я все-таки хочу сказать о другом — вновь коснуться проблем изучения современного очерка...

Вспоминают, что Михаил Кольцов любил называть себя «писателем в газете», выделяя оба слова и ставя на них одинаковое ударение. Право же, было бы полезно теоретически «освоить» эту формулу (и ей подобные: писатель в кино, писатель на телевидении) и не видеть в ней профанации высокого искусства. Стоит ли спорить о том, какое место в иерархии литературных жанров занимает очерк, когда сама эта иерархия в высшей степени условна. Взаимоположение и взаимовлияние жанров не определяется постоянными величинами, оно изменчиво. Бывают времена, например, когда очерк занимает едва ли не лидирующее положение, открывая не только неведомый материал, но и новую эстетическую структуру. Хочу напомнить мысль Юрия Олеши, высказанную почти четыре десятилетия назад в связи с фельетонами Ильи Ильфа и Евгения Петрова: «Ценность и значение современной литературы зависит именно от наличия в ней журналистской природы. Хемингуэй и многие другие крупные современные писатели — журналисты. Интерес к технике, к политике, к дипломатии — интерес к тем областям жизни, которые обычно привлекали журналистов,— в наши дни создает большую литературу». А разве теперь мы не являемся свидетелями широкого вторжения поэтики документальности во все жанры литературы и искусства? И может быть, плодотворнее изучение современного очерка и публицистики вести с другого конца, идя не от теоретических постулатов, а от конкретного опыта наших очеркистов? Это еще одно соображение, которое возникает при чтении книги Анатолия Аграновского — мастера этого жанра.

Л. ЛАЗАРЕВ.

★

Политика и наука

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ АНТИКОММУНИЗМА

Герберт Майснер. Теория конвергенции и реальность. Перевод с немецкого. М. «Прогресс». 1973. 225 стр.

Иной читатель, увидя название этой работы, может подумать: да стоит ли еще доказывать, что теория конвергенции — растущего якобы сходства двух противоположных социально-экономических систем (социализма и капитализма) и их неизбежного в будущем слияния — не имеет ничего общего с реальностью современной эпохи? И разве теория эта все еще «в моде» у буржуазных идеологов?

Книга Герберта Майснера, экономиста из Германской Демократической Республики, всем своим содержанием доказывает необоснованность такого рода сомнений. Спору нет, теория конвергентного пути развития двух систем далека от истины, как небо от земли. Но тем не менее она отнюдь не сдана в архив нашими идейно-политическими противниками. Скорее наоборот: они стремятся еще шире использовать эту теорию в борьбе против марксистского мировоззрения, против социализма. Занимая одно из центральных мест в пропагандистском арсенале антикоммунизма, теория конвергенции в ее различных проявлениях приобретает особое значение, когда с развитием принципов мирного сосуществования идеологическая борьба становится все более острой формой противоборства между социализмом и капитализмом.

Чем объясняется поразительная на первый взгляд живучесть концепции, представляющей собой прямой вызов фактам? Теория конвергенции взята лагерем империализма на вооружение по крайней мере по двум причинам.

Во-первых, она своим острием направлена против мира социализма. Ведь такие «столпы» антикоммунизма и антисоветизма, как З. Бжезинский и С. Хантингтон, еще не-

сколько лет назад засвидетельствовали с полным знанием дела: «Большинство теорий так называемой конвергенции в действительности постулируют не конвергенцию, а поглощение противоположной системы» (то есть социализма).

Во-вторых, в отличие от неприкрытого, откровенного антикоммунизма конвергентные концепции, как правило, преподносятся под этикеткой объективной научности и надклассовой беспристрастности. Антикоммунистическое существо этих концепций закамуфлировано, в силу чего они служат подходящим средством для обмана легковерных, политически незрелых, неустойчивых людей. К тому же, как известно, этикетка теоретической системы в отличие от этикетки товара порой способна обмануть не только покупателя, но и продавца.

Таким образом, важность и актуальность темы, избранной автором, очевидны. Его работа — значительный вклад в не слишком богатую литературу по этому вопросу. Исследование Майснера отличается широтой постановки проблем, серьезностью марксистского анализа, боевым наступательным духом полемики. Наряду с критическим разбором наиболее известных вариантов конвергентной идеи, связанных с именами У. У. Ростоу, Дж. Гэлбрейта, Р. Арона, Я. Тинбергена и других, автор рассматривает выступления ряда западногерманских экономистов, социологов, политологов. В их проповедях «служебная роль» теории конвергенции — стремление агрессивных сил империализма (в данном случае реваншистских кругов ФРГ) к «поглощению противоположной системы» (то есть ГДР) — выступает особенно наглядно.

Появление и распространение теории конвергенции во второй половине 50-х и в начале 60-х годов Майснер справедливо расценивает как одну из примет того, что соотношение сил на международной арене меняется в пользу социализма, в ущерб капитализму. И само появление этой теории — признак идейной немощи империализма, следствие крушения его иллюзий относительно гибели социализма, подтверждение фиаско «политики силы». «Лишь во второй половине 50-х годов,— отмечает автор,— империалистические политики и идеологи осознали, что «политика силы» уже в самом начале потерпела провал и социализм не „покатился назад"».

Решающую роль в этом отношении автор отводит таким фактам и событиям, как провал империалистов в Корее и Вьетнаме, провал попытки совершить путч в ГДР в июне 1953 года, заключение Варшавского договора, разгром контрреволюционного путча в Венгрии осенью 1956 года, победа кубинской революции и отпор попыткам интервенции против социалистической Кубы, мероприятия по охране государственных границ ГДР, осуществленные в августе 1961 года. Перечень этот, конечно, может быть существенно расширен.

О росте мощи социализма свидетельствуют и такие впечатляющие события, как запуск первого искусственного спутника Земли Советским Союзом в октябре 1957 года и первый полет человека в космос — полет советского гражданина Ю. А. Гагарина в 1961 году. К числу важнейших факторов и вместе с тем показателей быстро растущего изменения в соотношениях сил на международной арене в 50—60-х годах необходимо отнести, естественно, выдающиеся победы хозяйственного и культурного строительства социализма в СССР и других странах социалистического содружества, развал колониальной системы империализма под натиском национально-революционной борьбы народов, подъем и рост сплоченности коммунистического и рабочего движения во всем мире.

В новой обстановке прежний лейтмотив пропагандистского аппарата монополий, изображавшего капитализм как воплощение всех добродетелей, а социализм — как воплощение всех пороков, уже явно не годится. Поэтому и пришлось идеологам империализма искать что-либо более подходящее. Поиски привели к теории конвергенции. Ее авторы утверждают, что в процессе индустриального развития, в обстановке научно-технической революции капитализм становится все менее капиталистическим, а социализм — все менее социалистическим, капитализм пропитывается элементами социализма, а социализм — элементами капитализма. Следовательно, нет двух противоположных социально-экономических систем, а есть две разновидности общественного строя, различия между которыми все уменьшаются, а черты сходства все возрастают, ввиду чего они неизбежно сольются в «единое индустриальное общество». При ближайшем рассмотрении «новое индустриальное общество», рисуемое сторонниками теории конвергенции, оказывается похожим

как две капли воды на капитализм, чуточку «подремонтированный» по рецептам буржуазных и правосоциалистических реформистов.

Отсюда ясна социальная функция теории конвергенции, состоящая, как пишет Майснер, в том, чтобы «идеологически и теоретически поддержать новую империалистическую стратегию и тактику «эрозии» социализма и размягчения его». На основе извращенного представления о пути развития современного общества строятся авантюристические расчеты на «примирение» противоположных идеологий — буржуазной и социалистической, выдвигаются требования «деполитизации» экономики и «деидеологизации» политики стран социализма, развертываются программы «тихой революции». Иначе говоря, высказывается надежда, что эти страны можно вернуть в лоно капиталистической системы, проводя подрывную работу, внося раскол в ряды социалистического сообщества, разжигая национализм и антисоветизм.

Все это дает основание для той оценки теорий конвергенции, которая общепринята в мире социализма, в рядах коммунистического и рабочего движения: эта теория — идеологическая диверсия империалистической реакции в современной борьбе двух систем.

«Речь идет не просто об идеологической борьбе, которая велась всегда,— пишет Г. Майснер,— а о тех новых формах скрытой и замаскированной идеологической борьбы, которая — в виде психологической войны — должна выхолостить идеологию социалистических стран, чтобы легче было поколебать и уничтожить политическую власть рабочего класса. При этом исходят из признания того факта, что идеологическая и политическая стабилизация социалистических стран лишает явно антисоциалистические силы какой бы то ни было опоры. Поэтому призывы к реставрации и контрреволюции не имеют никаких шансов на успех».

Теория конвергенции — подлинный троянский конь антикоммунизма. Те, кто планирует глобальную стратегию империализма, поставили перед ней весьма существенные задачи: смазать основное противоречие современной эпохи — объективно существующую противоположность двух общественно-экономических систем; нейтрализовать революционное воздействие идей социализма, целостного марксистско-ленинского мировоззрения; «канализировать» растущие антикапиталистические настроения народных масс, направляя помыслы людей не в сторону реально существующего социализма, а в сторону слегка подправленного капитализма, выдаваемого за «оптимальный общественный строй»...

Однако почему в таком случае конвергентную идею поддерживают не только слуги империалистической реакции, рыцари «холодной войны», но и некоторые представители либерально-буржуазной интеллигенции, занимающие реалистические позиции по таким кардинальным проблемам современности, как вопрос войны и мира, как принцип мирного сосуществования двух систем? Автор дает свое объяснение и такому странному на первый взгляд явлению. Адептов теории конвергенции этого типа он характеризует следующим образом: «Они не могут и не хотят больше безоговорочно выступать в поддержку капитализма и его политики. Но, оставаясь на буржуазных позициях, они не могут также мириться и с победой социализма над капитализмом. Они — «колеблющиеся между двумя мирами»: одного мира они уже не хотят, другого — еще не хотят! Они хотели бы мира, гуманности, культуры и благосостояния, но они страшатся борьбы и не хотят понять, почему все это поставлено под вопрос. Они пытаются, по крайней мере духовно, устроиться в этом расколовшемся мире. Тут нет ничего соблазнительнее, чем ориентироваться на концепцию, которая избавляет их от принятия решения в пользу той или другой стороны, потому что она приписывает современному противоречию между двумя общественными системами относительный характер, а будущее сближение и окончательное влияние их считает неминуемым».

Марксистская критика теории конвергенции призвана убедительно и глубоко разоблачать главный, в сущности, аргумент поборников этих идей, спекулирующих на том, что при достигнутом уровне производительных сил и капиталистические и социалистические индустриально развитые страны обнаруживают черты, которые являются выражением растущего обобществления производства и интернационализации хозяйственной жизни. Сюда относятся: урбанизация, стремительное повышение роли науки в производстве, увеличение численности работников науки и инженерно-тех-

нического персонала, сдвиги в отраслевой структуре экономики, изменения в квалификационном и профессиональном составе рабочего класса и основной массы служащих в результате автоматизации производства и кибернетизации управления, быстрый рост непроизводственной сферы, небывалое расширение поля действия разделения труда не только в национальном, но и в международном масштабе. Все эти явления и процессы порождаются современным развитием производительных сил в условиях развертывающейся научно-технической революции. Но характер общественного строя определяют не производительные силы, взятые сами по себе, в отрыве от производственных отношений, а лишь единство производительных сил и господствующих в данном обществе производственных отношений. Коренное различие между системами производственных отношений социализма и капитализма обусловливает различие природы, характера и путей развития перечисленных явлений и процессов, которые могут представляться одинаковыми лишь на первый, поверхностный взгляд. Именно за эту внешнюю форму проявления и цепляются приверженцы теории конвергенции. Между тем при капиталистическом строе обобществление производства оказывается в непримиримом противоречии с господством капиталистической частной собственности на средства производства. А в социалистическом обществе те же процессы развиваются на основе господства общественной собственности, соответствующей общественному характеру производства.

Как известно, излюбленным предметом спекуляций пропагандистов теории конвергенции являются процессы совершенствования хозяйственного механизма в странах социализма, в частности мероприятия, связанные с более широким применением экономических рычагов — таких, как цена, прибыль, премии, кредит и т. д. При первых же сообщениях об экономических реформах в СССР и других странах социалистического содружества многие органы буржуазной прессы поспешили преподнести в самом сенсационном духе свое «открытие», будто социалистические страны заимствуют капиталистические методы хозяйствования. Несмотря на то, что под давлением фактов мало-мальски уважающие себя газеты вскоре вынуждены были протрубить отбой, «открытие» вдохновило многих сторонников конвергентных идей, пренебрегающих элементарными требованиями научной добросовестности. Подобные трюки широко применяются для замазывания основного противоречия современной эпохи — противоположности между двумя общественными системами.

Поэтому последовательная борьба против буржуазной теории конвергенции предполагает ясное понимание природы и роли социалистического товарного производства и свойственных ему экономических категорий, нового, присущего социализму содержания товарно-денежных отношений, необходимость совершенствования которых была отмечена XXIV съездом КПСС. Именно так ставит этот вопрос и Г. Майснер: «Возрастающее овладение законами социалистического товарного производства обусловливает и все более широкое применение связанных с ним экономических категорий. То, что при этом речь идет не о заимствовании капиталистических методов хозяйствования, очевидно уже из того, что все более широкое и более квалифицированное использование экономических закономерностей социалистического товарного производства ведет к укреплению экономических и политических отношений социализма».

Борьба против теории конвергенции требует, как правильно подчеркивает автор, системного подхода к исследованиям, системного мышления. Такой подход органически присущ марксизму, который прослеживает, как структура общественных связей «объединяет отдельные элементы, области, частные системы в общественную систему в целом, конкретно-исторический характер которой определяется соответствующими производственными отношениями и формой собственности на средства производства». Причем «характер системы в целом, будучи системоопределяющим, в конечном счете берет верх и во всех частных областях».

Г. Майснер приводит относящееся к этому вопросу замечание Маркса: «Сама эта органическая система как совокупное целое имеет свои предпосылки, и ее развитие в направлении целостности состоит именно в том, чтобы подчинить себе все элементы общества или создать из него еще недостающие ей органы». Отсюда следует, «что в таких противоположных организациях общества, как капитализм и социализм, от-

дельные области общественной жизни (например, воспитание, народное образование, постановка высшего образования, искусство и культура, наука и исследовательская деятельность и т. д.) также соответствуют характеру той или иной системы в целом, вследствие чего им чуждо какое бы то ни было системонейтральное сближение с другой системой или слияние с ней».

В этой связи представляет несомненный интерес и дальнейшее рассуждение автора. Если социализм, отмечает он, рассматривать только как переходный строй, который, с одной стороны, несет на себе родимые пятна старого общества и стремится от них избавиться, в то время как, с другой стороны, он должен создать лишь фундамент для нового, коммунистического общества, то все явления рассматриваются только в свете преодоления старого и перехода к чему-то новому. Все постоянно находится в переходном состоянии, и многое можно оправдать указанием на остатки старого или незавершенность нового, когда отсутствует ясная ориентация на современное. Напротив, мы исходим из того, что после победы социалистических производственных отношений все элементы и частные системы социализма будут развиваться на собственно социалистической основе, что главным вопросом современности становится открытие закономерностей и системных связей социалистического строя как первой фазы коммунистического общества и оптимальное развитие способа его функционирования.

Приведенные здесь соображения о системном характере таких противоположных форм организации общества, как капитализм и социализм, не только служат ключом к глубокому раскрытию несостоятельности конвергентных спекуляций, но и представляются существенно важными для понимания закономерностей развития социализма как первой фазы коммунистической общественно-экономической формации. Необходимость комплексного, системного подхода к проблемам социалистической экономики в настоящее время никто не оспаривает. Однако такого рода признание не всегда сопровождается должным учетом целостности социалистической системы, специфического характера ее экономических законов и категорий. Иным экономистам трудно отказаться от укоренившегося представления о делении этих законов и категорий на «хорошие» и «плохие», причем к числу «плохих» часто относят категории социалистического товарного производства. Категории, которые успешно служат экономическими рычагами централизованного планового управления социалистической экономикой, подчас по старой привычке рассматриваются не как внутренне присущие социализму отношения, а как рудимент, родимое пятно капитализма в социалистическом обществе.

Позитивные сдвиги в международных отношениях, порожденные успехами мирного наступления Советского Союза и всего социалистического содружества, неизбежно вызывают яростное сопротивление наиболее агрессивных, авантюристических кругов империализма. Стремясь сорвать разрядку международной напряженности, враги мирного сосуществования сознательно пугают торгово-экономические отношения с вмешательством во внутренние дела стран другой системы, клевещут на социалистический строй, на его основные устои. Враги мира разжигают так называемую кампанию «за права человека». Превратно толкуя «свободу обмена идеями», практически пытаясь навязать нам свои идеи, они стремятся затруднить нормализацию отношений между государствами с различным социальным строем.

Прежде сторонники теории конвергенции ограничивались лишь предсказаниями, будто капитализм и социализм со временем будут сближаться или сливаться. Ныне эти «теоретики», видимо не надеясь на то, что такое «слияние» произойдет само собой, старательно призывают к нему. Их призывы — это открыто провокационные требования к странам социализма отказаться от революционных воззрений и социалистических завоеваний, взять равнение на капиталистические нормы и эталоны справедливости и добра, принять буржуазные критерии морально-нравственных, культурных, эстетических ценностей. Реакционная пропаганда пытается убедить свою аудиторию, будто бы согласие с подобными наглыми и абсурдными притязаниями есть непременное условие мирного сосуществования и сотрудничества. Такова истинная агрессивная направленность современных конвергентных идей. Невольные саморазоблачения сторонников нового варианта конвергенции приближают полный крах этой концепции.

Напоминая, что революции не делаются, а также и не отменяются по заказу или со-

глашению, Л. И. Брежнев в речи на Всемирном конгрессе миролюбивых сил говорил: «Нет на земле силы, которая могла бы повернуть вспять неумолимый процесс обновления общественной жизни. Там, где есть колониализм, будет борьба за национальное освобождение. Там, где есть эксплуатация, будет борьба за освобождение труда. Там, где есть агрессия, там будет и отпор ей».

Л. ЛЕОНТЬЕВ,
член-корреспондент Академии наук СССР.

★

ЭТНОС И ЭТНОГРАФИЯ

Ю. В. Бромлей. Этнос и этнография. М. «Наука». 1973. 284 стр.

Еще тридцать лет назад, будучи студентом исторического факультета, я твердо усвоил, что самые неясные и запутанные проблемы всеобщей истории — это проблемы, связанные с этногенезом, историей происхождения народов, их миграциями и т. п. Тогда мне казалось, что это объясняется недостатком фактов и неопределенностью показаний источников. Но с течением времени стало ясно, что не меньшее значение имеет неразработанность теории вопроса и прежде всего понятия «этноса» — народа.

Нет общественной науки, которая бы так или иначе не касалась этнических проблем. Историк, пишущий историю какого-либо народа, имеет дело с конкретным этносоциальным организмом. Культуролог не может абстрагироваться от национальных (этнических) особенностей культуры. Психолога занимают этнические особенности психики (проблема «национального характера»). Социолог изучает взаимодействие этнических и социально-экономических процессов и структур. Демографическое исследование населения также имеет свой этнический аспект и т. д. Но что, собственно, значит «этнос», «этнический», «этносоциальный»?

В социологическом словаре Д. и А. Теодорсонов (1969) этнос определен как «специфические черты и комплексы, которые характерны для определенной культуры и отличают ее от других культур», а этнические группы как «группы, связанные общей культурной традицией и чувством принадлежности». То есть акцент делается на общности культуры. А вышедший в том же году словарь Т. Хоулта определяет этнос как «социальную группировку, которая является полностью однородной по расе и культуре», то есть подчеркивается также общность происхождения. Терминологические нюансы отражают реальную сложность и многоплановость явления.

В качестве основных типов этнических общностей обычно называют племя, народность и нацию, которые в учебниках исторического материализма обобщенно называются «историческими формами общности людей». Понятие «исторической формы общности», несомненно, правомерно, подчеркивая социально-историческую, а не естественнобиологическую природу описываемых явлений. Но оно не указывает определенного системообразующего признака, отличающего эти исторические общности от других. То, что народность или нация — исторические формы общности, бесспорно. Но разве не является «исторической формой общности» также класс или семья? Чем же отличается этот тип общностей от остальных? Не вполне отчетливы и грани, отделяющие одну «форму общности» от другой. Особенно проблематична в этом смысле категория народности. Споры о времени превращения той или иной народности в нацию зачастую не могут закончиться не столько из-за нехватки фактических данных, сколько потому, что система логических признаков понятия недостаточно отработана и определенна.

Поэтому разработка теории этноса, классификация его свойств и типология этносов и этнических процессов имеют важное методологическое значение для многих наук, и прежде всего, конечно, для этнографии.

Весьма плодотворной была в этом отношении дискуссия, начатая статьей С. А. Токарева в «Вопросах философии» (1964) и продолженная затем на страницах «Советской этнографии». В работах В. И. Козлова, Н. Н. Чебоксарова, С. А. Арутюнова и других ученых впервые в нашей литературе подверглись серьезному обсуж-

дению важнейшие теоретические проблемы, включая сами понятия этноса, этнической общности, этнических процессов и многие другие. Однако, как всегда бывает в подобных дискуссиях, не только подходы, но и термины, употребляемые разными авторами, сплошь и рядом не совпадают, так что нельзя двигаться дальше, не подведя итогов проделанной работы.

Нелегкий труд такого обобщения, с тем чтобы наметить пути дальнейшего движения вперед, взял на себя директор Института этнографии, член-корреспондент Академии наук СССР Ю. В. Бромлей в рецензируемой книге. Его изящно оформленная книга делится на две части. Первая часть «Этнос как динамическая система» посвящена общим вопросам теории этноса. Начав с характеристики этноса в широком смысле слова (этнос как народ), автор затем определяет более узкое, специальное значение этого термина как «исторически сложившуюся совокупность людей, обладающих общими относительно стабильными особенностями культуры (в том числе языка) и психики, а также сознанием своего единства и отличия от других таких же образований».

Ю. Бромлей последовательно, с привлечением огромного фактического материала, рассматривает место этноса в системе человеческих общностей; соотношение этноса и этносоциального организма; диалектику этноса и культуры и этнические функции культуры; вопрос об этнических аспектах психики, включая проблему национального характера; связь этноса с определенным населением и проблему эндогамии как «стабилизатора» этноса (речь идет о соотношении «внутринациональных» и межнациональных, смешанных браков). На этой основе он предлагает затем опыт типологизации этнических общностей и дает теоретический анализ основных этнических процессов.

Большое достоинство книги состоит в том, что теоретические проблемы, неизбежно включающие в себя отработку терминов и, так сказать, аксиоматики, рассматриваются не отвлеченно, а на конкретном фактическом материале. Например, в главе об этнических аспектах психики читатель найдет не только дискуссию о соотношении понятий «психический склад», «национальный характер» и т. д., но и фактическую информацию о том, в каких именно сферах психической жизни существование национальных различий можно считать доказанным и где они проблематичны, как эти различия преломляются в самосознании этнической группы и в ее отношениях к «чужим». В главе об эндогамии (браки внутри определенной этнической группы) приводятся интересные данные о динамике и специфике смешанных, межнациональных браков в разных районах нашей страны и за рубежом. В связи с типологией этнических общностей и этнических процессов обсуждаются разные варианты этнической ассимиляции и т. д.

Вторая часть книги «Этнография как наука об этнических общностях» посвящена методологическим вопросам этнографии. Надо сказать, что сам термин «этнография», подчеркивающий описательный аспект этой дисциплины, представляется не слишком удачным и уступает в этом отношении принятому за рубежом термину «этнология». Ю. Бромлей вполне осознает это обстоятельство, замечая, что «для современной науки предпочтительней наименование, подчеркивающее ее обобщающие, а не описательные функции». Однако он совершенно справедливо полагает, что дело, в конце концов, не в названии, перемена которого вызвала бы ненужные терминологические дебаты, а в содержании науки. Уже само определение этнографии как науки об этнических общностях подчеркивает ее предметную автономию, и автор последовательно проводит мысль о том, что описательные функции ее, сами по себе весьма почтенные и важные (ходячее представление, будто наука имеет дело только с законами, очень далеко от реальной исследовательской практики, в которой описание явлений всегда играет важную роль), тем не менее подчинены решению определенных теоретических задач. Выделяя самостоятельный предмет этнографического исследования и анализируя его теоретико-методологические основы, автор вместе с тем, и это также надо приветствовать, ратует не за автаркию и за размежевание дисциплин, а за их сотрудничество и кооперацию. В книге подробно анализируется взаимодействие этнографии с историей и социологией, прослеживается роль демографии, антропологии и географии в изучении этнических общностей и т. д. Причем Ю. Бромлей не просто призывает других к сотрудничеству — кто же в наши дни станет отрицать значение междисциплинарных связей? — а сам показывает при-

мер живого интереса к смежным областям знания. В своей книге он свободно и широко оперирует новейшими данными социологии, истории, психологии, лингвистики, археологии и ряда других дисциплин. И конечно, важное место в ней занимает философия, без которой обсуждение теоретико-методологических проблем любой науки вообще немыслимо.

В краткой рецензии (причем — в неспециальном журнале) невозможно обсуждать по существу частные научные проблемы, поставленные в этой весьма информационной, содержательной, но нелегкой для чтения книге. Подводя итог сегодняшнему состоянию науки, Ю. Бромлей не претендует на бесспорность и окончательность всех своих суждений, которые должны еще проверяться и уточняться дальнейшими исследованиями. Однако я не могу не сделать одного критического замечания общего характера.

Давно известно, что наши недостатки — это продолжение наших достоинств. Это верно и в отношении рецензируемой книги. Работа Ю. Бромлея — обобщающая, синтетическая. При этом автор, как и подобает серьезному ученому и интеллигентному человеку, очень внимательно и уважительно относится к труду своих предшественников. К сожалению, об этом качестве приходится говорить специально, потому что оно довольно дефицитно. В нашем обществоведении появляется немало работ, авторы которых либо вовсе игнорируют труд своих предшественников, либо упоминают их только уничижительно: вот, мол, как все до меня ошибались. Ю. Бромлея в этом не упрекнешь. Многочисленные сноски в его книге не формальная дань вежливости, а свидетельство серьезного, внимательного чтения. Но тут тоже возникают издержки.

Я уже говорил, что в рецензируемой книге большое место занимает анализ научных понятий и терминов. Но разные авторы, приступая к обсуждению проблем этноса, формулировали их в разных терминах. Отсюда — терминологические расхождения, которые в некоторых случаях несут в себе более или менее существенные смысловые нюансы, а в других остаются чисто словесными. Как бы то ни было, вместо строгой системы взаимосвязанных упорядоченных категорий, в этой области налицо скорее гордиев узел стихийно, независимо друг от друга сложившихся терминов и определений.

Чтобы довести до конца свою теоретическую задачу, автору нужно было отобрать только те понятия, которые необходимы, и свести их в стройную логическую систему (очень помогают при этом графические изображения). К сожалению, решительности на это Бромлею не хватило. Даже полемизируя со своими предшественниками, он пытается сохранить, упорядочив их определения, едва ли не все термины, когда-либо возникшие в ходе этнографических и иных дискуссий, и еще добавляет собственные. В результате местами читатель тонет в море терминологических нюансов (чтобы не сказать — излишеств), которые он не в состоянии запомнить и необходимость которых не везде очевидна.

Прошу понять меня правильно. Я отлично понимаю, что наука не может развиваться без обогащения своего понятийного словаря, отражающего появление новых значений и смыслов. Не шокируют меня и иностранные термины, сама чужеродность которых подчеркивает их специальный, условный характер (подобно формулам и символическим обозначениям в естественных науках). Если этнографам нужен термин для обозначения человека как носителя этнических свойств, пусть будет «этнофор» (от греческого этнос + форос = несущий). Но все ли термины действительно необходимы и достаточно четко отличаются друг от друга? Нужно ли рядом с понятием «этнической группы» понятие «этнографической группы»? Такого рода трудности существуют во многих науках (например, «психические» и «психологические» свойства или возведенное некоторыми авторами в ранг теоретического принципа различение «социальной»» и «общественной» психологии, которое вообще непереводимо на многие иностранные языки). Мне кажется, здесь нужна осторожность и тщательный отбор с учетом всей системы понятий соответствующей науки.

Некоторые недоразумения возникают при вторжении автора в сопредельные области знания. Идеи основателя французской социологической школы Э. Дюркгейма никак нельзя именовать «неопозитивистскими». На странице 252 упоминается «конкретно-историческая социология, которую не следует смешивать с социологией (философией) истории и социальной историей». Никакой «конкретно-исторической социологии» в природе не существует. Вообще «конкретная социология» не слишком удачный тер-

мин, появившийся у нас в свое время для обозначения эмпирических (в отличие от философско-теоретических) социальных исследований. Реально существует (к сожалению, больше в потенции) историческая социология, а также применение социологических методов в истории.

Но эти частные недостатки и спорные суждения никоим образом не меняют общей высокой оценки рецензируемой книги. Работа Ю. Бромлея — первая советская книга, в которой столь широко и основательно поставлены важнейшие вопросы теории этноса в связи с задачами этнографии как науки. Нет никакого сомнения в том, что она будет способствовать повышению теоретического уровня дальнейшей работы в этой области.

И. КОН,
доктор философских наук.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

АЛЬБЕРТ БЕЛЯЕВ. Выше нас — одно море. Рассказы и повесть. М. «Советская Россия». 1973, 176 стр.

В краткой издательской аннотации, предваряющей книгу Альберта Беляева «Выше нас — одно море», сообщается, что автор в прошлом моряк. Впрочем, и без аннотации это угадывается сразу. Для того чтобы так любовно описывать смелых, упорных тружеников моря, надо их хорошо знать, надо немало прожить в их среде, постичь премудрости кораблевождения, испытать на себе превратности морской стихии.

Авторская установка на «документальность» придает книге очерковый характер, что отнюдь не умаляет ее достоинств.

Альберт Беляев описывает жизнь моряков нашего Севера. На страницах его книги шумят пронзительные полярные ветры, гремят валы жестоких волн, бьют снежные заряды. Но силам стихии противостоит мужественный человек, способный преодолеть все преграды: буря беснуется, корабль идет! Люди, которых описал Беляев, запоминаются, в их характерах угадываются черты нашего времени — это советские люди, советские моряки. В обрисовке своих героев писатель далек от беллетристического «украшательства». В портрете Якова Богданова, капитана рыбацкого сейнера «Пикша» (рассказ «Выше нас — одно море»), запоминается и задубелая красная кожа в глубоких резких морщинах и резкий излом рта: очень важно, что всего острее запоминается волевая собранность, его проницательный и твердый взгляд. Женщины в этом рассказе не те знакомые по иным книгам романтические рыбачки, а вполне земные, «со всячинкой», скорые на хлесткое словечко бабы, всегда готовые к любой тяжелой, зачастую совсем не женской работе. Им нелегко живется, женщинам, в этих Семи Двориках, продуваемых со всех сторон злыми северными ветрами!

А. Беляев показывает силу духа и закалку наших моряков как их естественное, органическое качество. Вот в рассказе «Море шумит» два голодных, полузамерзших матроса, чудом спасшихся при гибели траулера, идут на свет дальнего маяка и срывающимися голосами поют «Интернационал». У Альберта Беляева эта волнующая деталь — пение «Интернационала» — написана очень достоверно.

Несколько особняком стоит в сборнике повесть «И снова в море». Если рассказы Беляева чаще всего о суровой мужской дружбе, то в повести речь идет и о превратностях любви. «Любовная» линия, как нам кажется, разработана автором с меньшей тщательностью психологических мотивировок, чем линия, скажем условно, «человек и море». Повесть «И снова в море» остается в памяти читателя прежде всего благодаря умению автора ввести нас в нравственный мир людей моря, правдиво и увлеченно живописать их трудовые будни. Именно тому умению, которое определяет серьезный читательский интерес к рецензируемому сборнику.

Ник. Кружков.

★

ПОГРАНИЧНИКИ. Сборник. Серия «Жизнь замечательных людей». М. «Молодая гвардия». 1973. 384 стр.

Мы привыкли к тому, что в этой популярной серии выходят книги, которые посвящены одному человеку, показанному, однако, крупным планом,—революционеру, ученому, писателю, врачу, композитору, художнику, путешественнику, полководцу, летчику, разведчику. А тут случай иной, довольно редкий в практике ЖЗЛ: коллективный сборник, состоящий из небольших очерков о людях разных характеров и судеб, но общей профессии, и из этих-то нескольких образов складывается собирательный образ Пограничника.

Вторая особенность книги: по биографическим очеркам можно представить себе всю историю пограничных войск Советского Союза, историю поистине героическую. Сама служба пограничника, ее специфика требует ежечасного напряжения и выдержки, постоянной готовности вступить в неожиданную схватку со шпионами, с диверсантами. Тревожные дни и ночи государственной границы много лет испытывали пограничников, пробовали на излом их волю и мужество. Не говорю уж о войне, когда солдаты границы первыми приняли на себя подлый, вероломный удар врага.

Судьбы героев очерков (их в книге девять) прослеживаются в течение всей их жизни. Одни из них погибли молодыми, как красноармеец Андрей Коробицын в 1927 году или начальник заставы на Буге лейтенант Алексей Лопатин в 1941 году, посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза. Другие умерли в пожилом возрасте, пройдя Великую Отечественную и дослужившись до больших званий и должностей—это Герой Советского Союза генерал армии Иван Иванович Масленников,

генерал-лейтенанты Григорий Алексеевич Степанов, Кузьма Романович Синилов, Тимофей Амвросиевич Строкач, генерал-майор Сергей Ильич Гусаров, вице-адмирал Яков Терентьевич Резниченко. Особняком стоит фигура Николая Михайловича Быстрых, одного из видных чекистов, первых организаторов пограничной охраны в нашей стране. В петлице у него было четыре ромба, когда он погиб, хотя и не в бою.

С некоторыми из героев книги мне посчастливилось общаться, о некоторых знал только по рассказам или читал в документах и литературе. Но и те и другие теперь предстали будто живые. Оговорюсь сразу: причиной этому не столько высокие литературные достоинства очерков, сколько богатый фактический материал, положенный в их основу. Мы действительно воочию видим людей, вышедших из народа и до последнего дыхания верно служивших ему на своем — ратном — месте. Каждая жизнь, воспроизведенная в книге,— достойный пример мужества, стойкости, честности, душевной широты.

Очерки о героях-пограничниках, руководителях и организаторах наших пограничных войск создали писатели и журналисты Анатолий Марченко, Михаил Слонимский, Анатолий Чехов, Дмитрий Жуков, Михаил Смирнов, Георгий Миронов, Владимир Беляев, Геннадий Ананьев. Написанные с неодинаковой степенью мастерства, очерки эти несут в себе одинаковый заряд любви и уважения к памяти тех, кто столько лет отдал границе.

Выпустив сборник «Пограничники», издательство «Молодая гвардия» несомненно сделало доброе дело.

Олег Смирнов.

★

Яннис РИЦОС. Избранное. Перевод с греческого под. ред. М. Ваксмахера. Составитель и автор предисловия С. Ильинская. М. «Прогресс». 1973. 426 стр.

С мужественной и драматичной поэзией Янниса Рицоса, одного из интереснейших греческих поэтов, стоящего в мировой литературе рядом с Маяковским, П. Элюаром, Н. Хикметом, П. Нерудой, советский читатель знаком. Его стихи выходили в Советском Союзе отдельными книгами и неоднократно печатались в журнале «Иностранная литература» и других периодических изданиях.

Новый сборник дает довольно полное представление о многогранном творчестве Я. Рицоса, в котором как в зеркале отразился нелегкий путь поисков и открытий, пройденный новогреческой литературой за последние сорок лет. В книгу вошли стихи, за написание которых на Рицоса заводили судебные дела, стихи, изъятые из продажи в годы фашистской диктатуры Метаксаса и сожженные в 1936 году на площади в Афинах, стихи, написанные за колючей проволокой концлагерей.

Открывается сборник стихами из первой поэтической книги Я. Рицоса «Гракторы» (1934). Молодой поэт, ставший коммунистом уже в студенческие годы, масштабными метафорами, «рифмой молота, ритмом вселенной» взволнованно повествует о великих свершениях в советской стране. Эти стихи, преисполненные революционного пафоса и гуманизма, напоминают своим строем поэзию Маяковского. Многие стихи глашатая революции Рицос переводит на греческий язык и посвящает ему замечательную поэму «Здравствуй, Владимир Маяковский!».

Наряду со стихами и поэмами, в которых ощутимо влияние греческой фольклорной традиции, и стихами, отмеченными смелыми поисками новых форм, нового поэтического языка (сборник «Заметки на полях времени»), вниманию читателя предлагаются и большие философские полотна — обобщения социальной жизни, остро ставящие проблему личного и общественного, проблему ответственности человека за свой жизненный выбор (поэмы «Лунная соната», «Филоктет», «Орест»).

Дух свободолюбия и непокорности, дух сопротивления фашизму и реакции остро ощутим в творчестве Я. Рицоса. В его поэзии находят яркое выражение лучшие качества греческих патриотов— страстность и преданность, любовь и мужество (поэма «Греция»).

О несгибаемости греческого народа, о его неиссякаемом оптимизме свидетельствуют стихи из цикла «Макронисос» («Каменное время»), написанные в конце 40-х годов в концлагере на одном из островов Эгейского моря, куда был заключен поэт вместе с десятками тысяч коммунистов и демократов после поражения демократических сил в Греции.

Стихи и поэмы 50—60-х годов насыщены внутренним драматизмом, сложными ассоциативными образами. В них господствует стиль непосредственного разговорного общения. Эти доверительные и проникновенные стихи, являющиеся убедительными свидетельствами сложной и противоречивой эпохи, побуждают читателя к поиску истины, смысла жизни (сборники «Свидетельства I», «Свидетельства II»).

Внимание читателя несомненно привлекут поэма «Гибель Милоса» и стихи одной из последних книг Янниса Рицоса — «Камни», относящиеся к новому «концлагерному» периоду его творчества (после фашистского переворота в Греции с 1967 года по 1971 год поэт находился в заключении). Здесь современность тесно переплетается с древнегреческой мифологией и античной историей, что дает поэту возможность философски осмыслить греческую действительность, провести исторические параллели, показать героику и трагизм судьбы греческого народа, раскрыть сложный духовный мир своего современника.

Новая книга Янниса Рицоса на русском языке — плод нелегкого труда ее составителя и большого коллектива переводчиков. Над подготовкой работали Е. Долматовский, М. Ваксмахер, Р. Казакова, М. Матусовский,

Ю. Мориц, Б. Слуцкий и другие известные поэты и переводчики, сумевшие донести до советского читателя всю силу поэзии Янниса Рицоса.

В. Соколюк.

★

А. БЕЛКИН. Читая Достоевского и Чехова. М. «Художественная литература». 1973. 300 стр.

Посмертно изданная книга А. Белкина — яркий человеческий документ, отражающий ход современной научной мысли и те особенности нашей эпохи, которые характеризуют состояние ее нравственного и эстетического развития. Статьи Белкина о Достоевском и Чехове не только исследование того или иного конкретного художественного произведения, но всегда синтез эстетических, психологических и философских проблем, связывающих литературу с жизнью.

А. Белкин не преподносит истины в готовом виде, нередко он бьется над их постижением, порой свободно и легко импровизирует, но всегда предоставляет читателю право размышлять самому и делать самостоятельные выводы. Отсюда и исследовательская манера А. Белкина — постоянные вопросы, направленные к живо ощущаемому собеседнику и создающие впечатление двустороннего контакта с аудиторией. А. Белкин возбуждает в читателе то чувство сопричастности процессу исследования, в котором, быть может, и таится изначальный интерес к науке. Ученый апеллирует не только к интеллекту аудитории, но в равной мере к ее гражданским и этическим чувствам, а потому все, о чем он пишет, проникнуто высоким нравственным пафосом.

Литература для А. Белкина — это форма жизни, то высшее проявление духа, благодаря которому не хлебом единым жив человек. Поэтому в работах А. Белкина нет ни академически-сухой отстраненности от предмета исследования, ни того узкопрофессионального подхода к литературе, когда она становится лишь объектом интеллектуального эксперимента. А. Белкин живет литературой; отсюда кровная заинтересованность литературой и эмоциональность изложения.

Пристальное внимание к слову позволило А. Белкину сделать ряд любопытных общих и частных наблюдений. Так, статья «„Вдруг" и „слишком" в художественной системе Достоевского» открывает нам одну из неожиданных сторон миросозерцания писателя, а вместе с тем один из конструктивных принципов сюжетостроения у Достоевского, объясняет, в чем кроется у него катастрофическое, трагедийное, роковое начало. Статья «Чудесный зонтик» прослеживает принципиальное, по слову Белкина, значение художественной детали у Чехова, ее многозначность и активность. Наконец, разборы Белкина вскрывают подспудный смысл каждого слова, каждой, казалось бы, невзначай оброненной писателем фразы. Концепции А. Белкина рождаются из конкретных частных наблюдений, всегда устремленных к общему и связанных с системой творчества и взглядов писателя в целом. Разборы эти не просто комментированное чтение, но сложнейшая работа над реконструкцией контекста произведения, возвращение вспять, к истокам: попытка проследить ход мысли писателя, распутать нить его ассоциаций, обнажить творческий импульс.

Всегда субъективно, лично заинтересованный предметом исследования, А. Белкин неуклонно стремится к научной объективности в изучении материала. Он видит произведение в разных ракурсах, в его исторической подвижности и изменчивости. Благодаря бескорыстной и отчасти подвижнической любви к искусству, скрупулезной осторожности в обращении с мыслью и словом писателя, боязни нарушить гармоническую цельность произведения Белкину чужды тенденциозность, нетерпимость, уверенность в том, что он обладает окончательной истиной. Прокрустово ложе мертвых схем — вот что последовательно отвергал и с чем боролся исследователь.

В отличие от «разборов», созданных А. Белкиным в последние годы жизни, статьи были написаны им в разное время. Этим объясняется то, что некоторые положения их кажутся подчас несколько устаревшими. Что ж, это не удивительно — наука развивается и идет вперед, и сам Белкин, понимая это, нередко пересматривал свои прежние взгляды. И в этом, как всегда и во всем, был бескомпромиссно требователен к себе — даже в мелочах. Нравственный критерий, применяемый не только к литературе, но и к действительной жизни в самых разнообразных ее проявлениях, направлял и во многом определял творчество самого А. Белкина — педагога и ученого. А потому несомненно, что не одно поколение читателей долго еще будет слышать убежденный и честный голос исследователя, для которого эстетический идеал искусства был всегда неразрывно слит с идеалами человеческой нравственности.

И. Подольская.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

Л. И. Брежнев. Великий подвиг партии и народа. Речь на торжественном заседании в Алма-Ате, посвященном 20-летию освоения целины. 15 марта 1974 года. 31 стр. Цена 3 к.

Великий подвиг партии и народа. Материалы Торжественного заседания в Алма-Ате, посвященного 20-летию освоения целинных и залежных земель. 207 стр. Цена 76 к.

В ногу с жизнью. Партийную работу — на уровень задач, выдвинутых XXIV съездом КПСС. 287 стр. Цена 49 к.

П. Игнатовский. Развитой социализм: общественно-экономическая динамика. 287 стр. Цена 1 р. 13 к.

История Коммунистической партии Советского Союза. Изд. 4-е, дополненное. Авторы Б. Н. Пономарев и др. 752 стр. Цена 1 р. 24 к.

К. Киселев. Записки советского дипломата. 527 стр. Цена 1 р. 57 к.

Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил во второй мировой войне. Под общей редакцией и с предисловием Маршала Советского Союза А. А. Гречко. 502 стр. Цена 1 р. 67 к.

А. Ушаков. Борьба партии за гегемонию пролетариата в революционно-демократическом движении России (1895—1904). 224 стр. Цена 1 р. 5 к.

Ю. Цеденбал. Избранные статьи и речи. 1962—1973 гг. 560 стр. Цена 1 р. 7 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Адамович. Горизонты белорусской прозы 318 стр. Цена 94 к.

Д. Брегова. Сибирское лихолетье Федора Достоевского. Роман. 535 стр. Цена 1 р. 4 к.

Д. Гулиа. Стихотворения и поэмы. Переводы с абхазского. («Библиотека поэта». Большая серия. 2-е издание) 238 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Макаенок. Затюканный апостол. Пьесы. Переводы с белорусского. 280 стр. Цена 92 к.

М. Траат. Танец вокруг парового котла. Роман. Рассказы. Перевод с эстонского Р. Миннн. 224 стр. Цена 38 к.

И. Эренбург. Летопись мужества. Публицистические статьи военных лет. Предисловие К. Симонова. 383 стр. Цена 64 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Калидаса. Избранное. Драмы и поэмы. Переводы с санскрита С. Липкнна. 405 стр. Цена 2 р. 98 к.

С. Кирсанов. Собрание сочинений. В 4-х томах. Т. 1. Лирические произведения. 495 стр. Цена 1 р. 90 к.

Л. Озеров. Избранные стихотворения. 494 стр. Цена 1 р. 25 к.

Русская поэзия XIX века. Т. 1. Составители Е. Винокуров и В. Коровин. Вступительная статья Е. Винокурова. («Библиотека всемирной литературы») 702 стр. Цена 2 р. 7 к.

И. Сельвинский. Собрание сочинений. В 6-ти томах. Т. 6. О, юность моя! Роман. 512 стр. Цена 2 р. 50 к.

А. Сеспедес. Металл дьявола. Роман. Перевод с испанского Р. Лицер и Г. Степанова. 270 стр. Цена 88 к.

В. Тушнова. Стихотворения. 224 стр. Цена 56 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Алексин. Звоните и приезжайте!.. Пьесы и повесть. 287 стр. Цена 62 к.

Н. Бирюков. Воды Нарына. Роман. 591 стр. Цена 1 р. 19 к.

Р. Роллан. Кола Брюньон. Перевод с французского М. Лозинского. 254 стр. Цена 2 р. 20 к.

Г. Фиш. После июля в семнадцатом. Повесть о двух побегах.— Так это было.— Клятва. Повести, рассказы, очерки. 415 стр. Цена 1 р. 7 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

К. Бадигин. Секрет государственной важности. Повесть. 335 стр. Цена 93 к.

М. Глинка. Васильевский остров. Повесть и рассказы. 158 стр. Цена 38 к.

Детям о Владимире Ильиче Ленине. Стихи и рассказы. Составитель В. Путилина. 127 стр. Цена 67 к.

М. Ефетов. У высокой лестницы. Повесть. 144 стр. Цена 41 к.

В. Железников. Жизнь и приключения чудака. Повесть. 159 стр. Цена 67 к.

М. Скрябин и Н. Реут. Совсем не просто. Повесть. 190 стр. Цена 44 к.

А. Сурков. Лирика. Вступительная статья К. Симонова. 192 стр. Цена 41 к.

Терем-теремок. Русские народные сказки. 160 стр. Цена 2 р. 49 к.

«СОВРЕМЕННИК»

Б. Боотур. Весенние заморозки. Роман. Перевод с якутского В. Дудинцева и Н Гордеевой. 376 стр. Цена 86 к.

Ф. Васильев. Светлая осень. Стихи. Переводы с удмуртского. 144 стр. Цена 50 к.

Чили — в наших сердцах. Стихи, очерки, статьи. Составитель И. Ляпин. 134 стр. Цена 76 к.

И. Шкляревский. Ревность. Новая книга стихов. 135 стр. Цена 57 к.

ВОЕНИЗДАТ

И. Глушко. Танки оживали вновь. («Военные мемуары») 192 стр. Цена 67 к.

С. Поплавский. Товарищи в борьбе. («Военные мемуары») 295 стр. Цена 86 к.

И. Шиян. На Малой земле 181 стр. Цена 44 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Закруткин. В донской степи. («Писатель и время. Письма из деревни») 72 стр. Цена 9 к.

Л. Иванов. Глубокая борозда. Очерки. Предисловие Н. Яновского. 432 стр. Цена 92 к.

Костры. Сборник стихов цыганских поэтов. Перевод с цыганского. Составитель Н. Саткевич. 117 стр. Цена 45 к.

Т. Лихоталь. Повесть о славных богатырях, златом граде Киеве и великой напасти на землю русскую. 271 стр. Цена 47 к.

Б. Полевой. Десятое море инженера Бочкина. («Писатель и время. Письма с заводов и строек») 60 стр. Цена 8 к.

В. Сикорский. Полюса. Стихи. 111 стр. Цена 23 к

К. Эрендженов. Береги огонь. Роман. Перевод с калмыцкого А. Дугинец. 272 стр. Цена 59 к.

«ИСКУССТВО»

Актеры советского кино. Выпуск 10. Сборник критико-биографических очерков. Составитель М. Ильина. 271 стр. 47 к.

М. Алпатов. Древнерусская иконопись. Альбом. 331 стр. Цена 22 р. 75 к.

Ю. Алянский. Варвара Асенкова. Документальная повесть о судьбе русской артистки в восьми главах и двух письмах автора героине. 207 стр. Цена 63 к.

Из истории кино. Материалы и документы. Выпуск 9. 192 стр. Цена 1 р. 47 к.

О. Рейтерсверд. Импрессионисты перед публикой и критикой. Перевод со шведского. Предисловие Б. Зернова. 299 стр. Цена 3 р. 46 к.

«ПРОГРЕСС»

Аун Лин. Рикша. Роман. Перевод с бирманского. 119 стр. Цена 31 к.

Ф. Бебей. Сын Агаты Модио. (Повесть камерунского писателя) Перевод с французского Е. Антоновой. 136 стр. Цена 34 к.

П. Дювиньо, М. Танг. Биосфера и место в ней человека. Экологические системы и биосфера. Перевод с французского П. Рафеса. Под редакцией А. Н. Формозова. 269 стр. Цена 1 р. 65 к.

А. М. Матуте. Ловушка. Роман. Перевод с испанского Е. Любимовой. 237 стр. Цена 62 к.

Погибли за Австрию. Сопротивление гитлеровским оккупантам. Сборник писем и документов. Перевод с немецкого Л. Леваневской. Вступительная статья Г. Г. Куранова. 287 стр. Цена 54 к.

«НАУКА»

Византийская литература. Сборник статей. Ответственный редактор С. Аверинцев. 263 стр. Цена 88 к.

Высокоученый Куинь и другие забавные истории. Перевод с вьетнамского и предисловие Н. Никулина. 120 стр. Цена 31 к.

Лесной жасмин. Новеллы писателей Южной Индии. Переводы. 136 стр. Цена 36 к.

Наследие А. Н. Островского и советская культура. Сборник статей. Ответственный редактор С. Шаталов. 352 стр. Цена 1 р. 85 к.

Г. Попов. Такин Кодо Хмайн. Жизнь и творчество. 240 стр. Цена 9 к.

Советские люди в освободительной борьбе югославского народа 1941—1945 гг. Воспоминания, документы и материалы. 207 стр. Цена 67 к.

Современные литературы Африки. Восточная и Южная Африка. Авторы И. Никифорова и др. 311 стр. Цена 1 р. 92 к.

«МЫСЛЬ»

В. Алексеев. География человеческих рас. 351 стр. Цена 1 р. 74 к.

А. Богомолов. Буржуазная философия США XX века. 343 стр. Цена 1 р. 41 к.

А. Клинский. Планирование экономического и социального развития. 216 стр. Цена 91 к.

Марксистско-ленинская теория народонаселения. Под редакцией Д. И. Валентея. 415 стр. Цена 1 р. 64 к.

А. Матюгин. В. И. Ленин об исторической роли рабочего класса. 342 стр. Цена 1 р. 43 к.

Р. Пименова. Аргентина. Экономико-географическая характеристика. 239 стр. Цена 1 р.

А. Субботин. Фрэнсис Бэкон. 175 стр. Цена 20 к.

Ю. Сычев. Микросреда и личность. Философские и социологические аспекты. 192 стр. Цена 64 к.

«ЭКОНОМИКА»

Т. Кравченко. Процесс принятия плановых решений. Информационные модели. 183 стр. Цена 55 к.

Ю. Ребров. Проблемы использования основных производственных фондов. 111 стр. Цена 31 к.

Н. Фаддеев. Совет Экономической Взаимопомощи. 1949—1974. 375 стр. Цена 3 р. 14 к.

ПРОФИЗДАТ

Безопасность труда и профсоюзы. Из опыта работы профсоюзов социалистических стран по охране труда. 176 стр. Цена 51 к.

Л. Климасенко и А. Шиховец. Опыт освоения новых производственных мощностей. 80 стр. Цена 11 к.

А. Салимгареев. Трудовые традиции коллектива. 47 стр. Цена 12 к.

И. Слепов и Г. Черненко. НОТ сегодня и профсоюзы. 192 стр. Цена 58 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Д. Блынский. Сегодня ждут меня. Стихи и поэма. Тула. Приокское книжное издательство. 231 стр. Цена 69 к.

Э. Бээкман. Шарманка. Роман. Перевод с эстонского Е. Поздняковой. Таллин. «Ээсти раамат». 239 стр. Цена 55 к.

Л. Вышеславский. Основа. Избранное. В 2-х томах. Т. 2. Стихи. Поэмы. Из украинской поэзии. Киев. «Днипро». 286 стр. Цена 1 р. 4 к.

Я. Гордон. Гейне в России. 1830—1860-е годы. Душанбе «Ирфон». 360 стр. Цена 1 р. 29 к.

К. Курбансахатов. Тойли Мерген. Роман. Перевод с туркменского Б. Рунина. Ашхабад. «Туркменистан». 345 стр. Цена 67 к.

Г. Митин. Художник из Апсны. Очерк творчества И. Папаскири. Сухуми. «Алашара». 102 стр. Цена 15 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Почтовый адрес: 103006, Москва, К-6. Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 8/V 1974 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 15/VII 1974 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)
А 02324. Тираж 175 000 экз. Зак. 1648.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», г. Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 03617.

Цена 70 коп. 70636